

В.В. Розанов.

**Во дворе
ЯЗЫЧНИКОВ**



В.В.Розанов

Собрание
сочинений

В.В. Розанов.

**Во дворе
ЯЗЫЧНИКОВ**

**Собрание сочинений
под общей редакцией
А.Н. Николюкина**

**Москва
Издательство "Республика"
1999**

УДК 1
ББК 87.3
Р64

Составление

А. В. Ломоносова и А. Н. Николюкина

Комментарии

А. В. Ломоносова

Указатель имен

В. М. Персонова

Розанов В. В.

Р64 **Собрание сочинений. Во дворе язычников / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. — М.: Республика, 1999. — 463 с. ISBN 5—250—02737—7**

В настоящий том Собрания сочинений В. В. Розанова вошел сборник очерков "Во дворе язычников". Замысел автора опубликовать эти очерки единой книгой осуществлен здесь впервые. В них писатель обращается к рассмотрению религий древнейших цивилизаций — Вавилона, Египта, Иудеи, Греции.

Адресовано всем, кто интересуется философией, религией и культурой.

ББК 87.3

ISBN 5—250—02737—7

© Издательство "Республика", 1999

Язычество столько же истинно, как и христианство, и притом в таких же существенных [частях]. Оно было побеждено насилием и риторикою; "Апостол языков", обращаясь к народам древнего мира, изрек памятно и обещающе: "Мне в вас тесно, а вам во мне не тесно". Вошли. И задавились. И [нрзб.] вопль: "Слишком тесно".

Предисловие

Со смущенным сердцем издаю я этот сборник. "Что за хаос", — спросит читатель, увидев не более 2—3-х статей на эту тему, какая поставлена заглавием книги, а остальное — на темы то житейские, то литературные? "Где же тут язычники? язычество?" Дорогой читатель, это только у Иловайского история переплетена в три переплета [с] заголовками: "Древняя история", "Средняя история", "Новая история", где действительно нельзя встретить наполеоновских войн среди карфагенян и римлян, а Горация Коклеса — при дворе которого-нибудь из Людовиков. Здесь все крохи того исторического "каравая", который довольно непрерывно кушало человечество, аккуратно подметены щеточкою и замечены каждая в один из трех небольших, скучных и, я думаю, довольно [ложных] тома, которые пришло же на ум автору назвать "Всемирною историею", "Всемирная"!.. "история"!.. Я согласен с Митрофаном из фон-визинского "Недоросля", что "истории, которые рассказывает ключница Лукерья, — куда интереснее" этих трех томов, по которым миллион учеников и учениц русских выучились римлянам, грекам, итальянцам, немцам, Ваалам, Зевсам и "всем святым" нашей эры.

На самом деле история, конечно, одна, как и человечество, исшедшее из одного Адама. Я хочу сказать, что следует научною мыслью столь же настаивать на "единстве истории", как религия [открыла нам] "единство рода человеческого". Но и как человечество, будучи "единородным", разделяется по коренным признакам народов на 5—6 рас, [нрзб.] из очень давно живших рядом друг с другом, то без слияния, то [давая] [нрзб.] так называемых "метисов" (помеси); так точно и история, совершившаяся под одним Провидением, в разных [как бы] [нрзб.] представляется всюду довольно разного состава. Я хочу сказать, что так называемые "[нрзб.] всемирной истории" есть понятия более [нрзб.] чем анатомическое, более химическое, чем физическое. В Петербурге мы живем "после Р. Х.", но близ Колы и Онеги, за Каспием, вблизи Казбека... конечно, еще ютится по деревням история "до Р. Х.". "Языческое",

”язычники” вовсе не умерли с Зевсом и Палладою; но живут среди нас то как странствующие люди, то как странствующее явление, то как оттенок нашей биографии, души, совести; наших идеалов, чаяний и надежд.

До 1898 г. я о древнем мире, можно сказать, вспоминал только по поводу ”братьев-чехов”, которые обучали нас [Кюннеру]: мучительное и брезгливое воспоминание. Можно сказать, никто не имел более ледяного и равнодушного отношения к блестящей гвардии [нрзб.] ”богов и богинь”, чем я, и к героям их, стать похожим на этих ”богов и богинь”. В душе моей всегда жили ”маленькие Капулетти и Монтеки”, что-то провинциальное, по существу враждебное этой [типичной] величественности, с какой у нас связано представление о всем греческом и римском. Уезд мне нравится более губернии, губерния более столицы; деревянные дома лучше каменных, — дом на окраине города — лучше, чем в его центре. До 1898 г., и особенно между 1891 и 1898 гг., я был как бы христианский [прозелит], который [нрзб.] около туловища ихнего ”болвана” (бога), где-нибудь в Александрии, тащил его с пьедестала, чтобы потом надругаться над самими кусками. Во мне это было бытовое: я как бы шел на штурм за милую провинцию, против нивелирующей и самонадеянной столицы. Христианство, все маленькое в нем, все маленькое в нас, этим ”Монтеки и Капулетти” в [самых] пороках своих мне казались ”святыми”, ”блаженными”, простительными и уже заранее оправданными; а это здоровое дубье язычества в самом героизме своем казалось противным и несносным. Так было дело, таков был непрерывный строй моей души... пока писк маленького ребенка, замученного, оставленного, не всполошил во мне всех чувств с тем особенным смятением, какое, я думаю, подымается в селе с полухристианским, полуеврейским населением при затерявшемся ребенке. ”Это — опять жида! Разве вы не знаете? У них есть тайный закон, тайное верование, тысячелетний [нрзб.] — употреблять в каком-то [проклятом] обряде кровь замученного христианского ребенка”. И — погром! Вопреки документам, суду, ясному закону Моисея: ”кровь никакого животного (и след., тем паче человека) не употреблять в пищу, ибо она есть душа его”. Страсти — подняты! Рассудок потемнен! Все равно погром, ибо они ”распяли Христа”, а вот теперь ”мучат христианских младенцев”. Только у меня это смятение души поднялось в направлении диаметрально противоположном тому, какой в [Нюрнберге], в Польше, в Венгрии поднимался ”против жидов”: как жида любят детей своих, а мы? Не забуду впечатления от картины, какую я рассмотрел в полухолодной комнате, куда была вынесена разная мебель и выходили пациенты знаменитого доктора из приемной — ”покурить”. Небольшая, аршина в 1 1/2, она представляла, очевидно, одну из средневековых сцен ареста еврейской семьи именно по поводу ритуального убийства. В комнату в рыцарских и, во всяком случае, военных доспехах вошли несколько

мужчин. "Дубье, как у язычников": все совершенные Марсы. В ужасе отшатнувшись, ибо убежать было некуда, сжалась еврейская семья; и меня тронуло самое расположение. Старец и старуха — очевидно, родители, или тесть и свекр; но вообще — старая, дедовская линия; [возле] них — молодая женщина, дочь или невестка, даже две или три таких молодых женщины, может быть, тут и замужняя дочь с мужем, и сын уже женатый — и его жена; еще — мальчики; и наконец — младенец, в люльке или около груди матери — уже не помню. Вся семья сжалась перед Марсами. И у Марсов есть жены? да, верно, скучающие дома, пока мужа воюют, [нрзб.], арестуют жидов и т. п. и вообще исполняют "1001" нужду из *столичных* забот; забот большой улицы истории — против именно этого исторического захолустья, которым было всякое "жидовское гетто". Впечатление как впечатление, не больше себя и не меньше себя. Картина была мила и я ею вообще залюбовался бы, но теперь она была уже лишь мыслью в ряду других, какие начались у меня с 1898 г.

"Монтекки и Капулетти", все маленькое и ничтожное, что, пожалуй, было вполне более [человеческим] влечением, нежели [обширным помещением] религиозного и исторического созерцания и даже определяли собою выбор этих обширных помещений, — стали [повертываться] лицом туда, куда стояли спиной, и спиной туда, куда стояли лицом. Вот уж... "светопреставленье", перемещение на противоположные концы, сравнительно с прежними, источников света и тьмы. "Всегда я думал", что жида мучат детей, а мы любим их..." А вот... Художник нарисовал, что жида жмутся к детям, а мы... их арестовываем! Да что художник: это аллегория и пример. В жизни-то, в жизни как? "Здоровое дубье — это — язычество". Да, но ведь не чахоточные и не раковые больные и зачинают детей? Не правда ли? Дитя есть плод здоровья, а не болезни, силы — а не бессилия: хорошо, и уж приходится, при всем меланхолическом сочувствии болезням и больным, однако же, сказать, что есть правда и красота, а наконец, и нравственность просто в здоровье и в здоровых! Особенно в отношении-то детей: плод здоров и [нрзб.], они вызовут [тематическое] (как тема), а не побочное отношение к себе у здоровых; тогда как санатория для чахоточных, где случилось бы родиться ребенку, естественно все-таки будет думать (о здоровье полуумирающих, чем об этом крошечном, [красном] и страшно здоровом существе) о своих болезнях, о своих стенаниях, нежели собственно о судьбе и будущем этого ребенка. И ведь [может случиться], что его задавят? Сошлют на кухню? Зашибут, простудят? Все может быть: чахоточные [лежат] стенают, погруженные в тот особый вид, пожалуй, самого ужасного эгоизма, какой присущ больным, капризным, надорванным существам. И представьте, больные бы победили! Да и им сообщено бы было бессмертие: но такое, о котором они ничего не знают, а ежечасно о себе думают, что вот — последние их минуты. Картина,

весьма похожая на нашу цивилизацию. Больные (бессмертные!) сложились бы в организацию, [закон] "порядок", строй, дали правила жизни: все приноровленное к их "стенаниям" и решительно равнодушное и даже враждебное к "здоровому дубью-язычеству". Появилась бы некоторая сумасшедшая [извращенная] цивилизация: и ведь "терпение, смиренно-мудрие, любовь" — все эти [великие качества] христианина могли бы очутиться в тех самых загнанных и прогнанных с глаз здоровых людей, самый запах которых противен [вечным кощелям], которые "предсмертно" кушают "акриды". Цивилизация "воздыханий" и "воздыханства", раз это последнее получило господствующее положение, взяло скипетр и надело венец, может дать лютого Цезаря — с кротким выражением лица, беспощадного Суллы — с сердобольными причитаниями, свирепого Мария, — который всех ["бенедиктствует"].

О МИФОЛОГИИ

Краткий очерк мифологии греков и римлян.
Составил Евг. Ветнек. Ревель. 1897 г.

Наша педагогическая литература имеет одну неприятную особенность: она всегда запаздывает. Думая быть воспитательною, она наивничает, и действительным последствием этого бывает только то, что она оказывается не нужна. Г. Ветнек, по-видимому, не подозревает, что "ученики старших классов", для которых он составил свою книжку, читают — худо это или хорошо — вещи очень серьезные, и, в общем, они берут в руки только такую книгу, которая содержит в себе живую и интересно развиваемую мысль. Между тем его "Краткий очерк мифологии" не только заботливо избегает мысли в общем течении своем, но, по возможности, устраняет ее и в каждой порознь главке. Получился не "краткий очерк мифологии", как думает автор, но словарь — и тоже "краткий" — мифологических слов и речений со всеми недостатками словаря: отсутствием связующей мысли, общего воззрения на предмет и нужной характеристики при изложении отдельных мифов. Он не имеет и тени той живости изложения и осмысленности содержания, как вышедшая 112 лет назад <книга> "Храм всеобщего баснословия или баснословная история о богах египетских, еллинских, латинских и других" (Москва, 1785), — которую без скуки можно читать и теперь и откуда узнаешь содержание древней мифологии и часто догадываешься о ее замечательной красоте. У г. Ветнека в древней мифологии умерло воображение, исчезла живость, отлетела мысль: "Тотчас после рождения Аполлон победоносно борется с враждебными силами зимы и мрака: он убивает дракона Пифона, или Дельфину (почему это — "силы зимы"?) около Дельф (Πυθώ), отчего он получил прозвание Πύθωσ. Память об этой победе праздновалась пифийскими играми, повторявшимися через каждые четыре года. Местом празднества была крисейская равнина около Дельф". Это — только объяснение слов. Или вот еще: "Убив около Марафона быка, привезенного Гераклом из Крита и выпущенного в Микенах на свободу, Фезей участвовал в походе Геракла на амазонок

и женился на царице их Гипполите. Сыном ее и Фезея был Гипполит. По смерти Гипполиты, Фезей женился на сестре Ариадны, Федре, которая оклеветала своего пасынка перед Фезеем и тем стала виновницей его смерти". Несомненно, что похождения Ваньки Каина куда занимательнее этого формулярного списка Тезея. Книжка г. Ветнека принадлежит к числу тех многих, которые, закрывая от читающего предмет свой, подрывают авторитет его; и, в числе этих других, она служит не к поддержанию у нас классического образования, а к его расшатыванию. Автор пишет "Фезей" и "Промефей", не уважая вековой и стойко утвердившейся традиции писать "Тезей" и "Прометей". В начале он помещает целую почти страницу ученых "источников", коими пользовался при написании, хотя, вероятно, для него совершенно достаточно было бы одного, также помещенного в списке, "источника" — "Олимп" (Мифология древних греков и римлян. Дютшке. Перевод М. Корш. СПб., 1892 г.), которая, вероятно, еще не вся распродалась, и мы ее советуем "ученикам старших классов" приобрести вместо книжки г. Евг. Ветнека. Наконец, только что появилась полная интереса и глубины книга г. Властова "Теогония Гезиода и Прометей", о которой уже было упомянуто недавно. Она войдет умным, ценным и никогда не теряющим интереса приобретением в маленькую библиотеку ученика; и, может быть, в даровитом ученике она пробудит глубокий, серьезный, долго не замирающий интерес к древностям классическим и к их источнику — древностям Востока.

О ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИХ ОБЕЛИСКАХ

Кто не наблюдал, с безмолвным любопытством, древнеегипетских обелисков, этих "кристалловидных" игл, когда-то уходивших в небо —

Там, где вечно чуждый тени
Моет желтый Нил
Раскаленные ступени
Царственных могил.

И которые теперь бестолково торчат под нашим белесоватым небом:

Цвет небес свинцово-бледный,
Скука, холод и гранит.

Мысль их непонятна теперь, как и вообще в пору нашей грамотности она никому не была объяснена, может быть уже забытая к концу их собственной (египетской) грамотности. Мы можем думать, догадываться, гипотезировать; но мы можем еще приводить аналогии. Последние набегают почти случайно, при чтении тех или иных страниц; и для мыслящего человечества была бы некоторая, хоть и очень небольшая,

потеря, если б эти пльвучие наблюдения не попадали вовсе в круг общего размышления.

Нам уже приходилось указывать в печати* на тожество так называемых апокалипсических животных с главными типами служившего предметом поклонений в Египте животного царства. Сфинкс, имеющий фигуру льва и "лицо как бы человеческое", сливается с двумя указанными у новозаветного тайнозрителя фигурами; остальные две фигуры последнего — "как бы орел" и "как бы телец" — сливаются с египетскими "копчиком" и "аписом". Нужно знать слишком тонко животную организацию, и, может быть, нужно вообще иметь гораздо высшее ведение о жизни, чем каким мы владеем, чтобы объяснить, почему именно эти типы животных вызывали религиозное волнение; но несомненно, что мы встречаем их, встречаем одно и то же, на площадях живых еще Фив и Гелиополиса и в тайносказаниях Иоанна и Иезекииля. Не гипотизируя, мы остаемся при зрительном впечатлении. То, что мы хотим сейчас высказать, продвигает несколько далее эти наблюдения.

Два места из Иоанна и Иезекииля имеют странное соответствие с тайною мыслью, которая, без сомнения, легла в изобретение обелисков. Вот они:

Апокалипсис Иоанна, глава 21, стихи 10—11. "И вознес меня (Ангел) в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, Святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога".

Он имеет славу Божию; светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному.

Это так называемый "небесный Иерусалим", может быть, суть и "дыхание" и истина земного, коего полная мысль и миссия нам непонятна, и, вероятно, по неусовершенству и неудаче всего земного никогда полно и чисто не была осуществлена. Во всяком случае, в приведенных двух стихах начато и кончено изображение вида его: обелискообразный камень, очевидно, составляет центр его, главный в нем символ; это — "слава Божия", или она почиет на нем. За приведенными стихами следуют меры стен его, но ничего существенного из содержания не указывается; содержание, т. е. мысль "камня кристалловидного", раскрывается в последних стихах той же главы:

Стихи 22—27. "Храма же я не видел в нем (т. е. в небесном Иерусалиме), ибо Господь Бог Вседержитель — храм его и Агнец".

И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его и светильник его Агнец.

Таким образом, "Бог", и "слава Божия", и "Агнец" — все это сливается как душа и "храм" Иерусалима, как его "светило" и вместе символизировано "драгоценнейшим камнем", "как бы камнем ясписом кристалловидным". Обратив внимание, что обелиск имеет четыре грани,

* "Смысл аскетизма" — в "Новом Времени" за 1897 год и "Брак и христианство" — в "Русском Труде" за 1898 год.

что он есть вполне и точно — кристалл с правильностью плоскостей и углов; что он ставился, обыкновенно парно, перед входом в египетские храмы и имеет на себе символы молитвы (молитвенно поднятые к небу руки и также "скарабей" — символы загробного бессмертия), — мы придем к заключению, что некоторый таинственный, но общий "х" содержится как в египетском теизме, так и в видениях апокалипсических. По крайней мере, никогда бы нам не пришло в голову "Славу Божию" и "Вседержителя" представить в образе ограненного камня; странность этой мысли для обыкновенного воззрения и доказывает, что было что-то "необыкновенное" и ярко своеобразное, может быть невоскресимое и неразгадываемое, в законе мышления и представления, какое мы одинаково находим здесь и там. Переходим к Иезекиилю.

Глава 28, стихи 11—16. "И было ко мне слово Господне:

Сын человеческий! плачь о царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог: ты — печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты.

Ты находился в Едеме, в саду Божьем; твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего.

Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на Святой Горе Божьей*, ходил среди огнистых камней".

Огнистый, игристый камень есть непременно кристалл, в гранях и углах которого завязывается игра света; величина его — безразлична; символ, очевидно, лежит в форме. Обелиск, оканчивающийся пирамидкою, есть чрезвычайно огромный кристалл, есть тоскливое увеличение, поднятие "до неба" того тайного образа, который влек жителей Тира к установлению "в саду Божьем" этих же, но только меньшей величины, может быть, совсем маленьких обелисков, которые тогда и представлялись просто "огнистыми камнями". Во всяком случае, в трех приведенных местах, Иоанна, Иезекииля и египетских обелисков, — мы имеем единственное слияние трех образов в один, и под которым, очевидно, символизирована "слава Божия".

* * *

Вернувшись к Апокалипсису, мы находим в подробностях небесного Иерусалима глубокое соответствие некоторых из приведенных строк о Тире Иезекииля:

* Это так называемые финикийские "высоты", "бамост", о коих часто упоминается в книгах царств. Для построения Сиона была также избрана "гора", и до сих пор евреи устраивают в каждой местности синагогу на самой возвышенной точке этой местности (см. г. Переферковича — "Талмуд").

”Основания стены города (неб. Иерусалима) украшены всякими драгоценными камнями: основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс, шестое — сардолик, седьмое — хризолиф, восьмое — вирилл (”берилл” наших коллекций), девятое — топаз, десятое — хризопраз, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист” (Ап., гл. 21, стихи 20—21).

Внешнее раскошествование этого описания невольно напоминает стих нашего поэта:

Чертоги пышные построю
Из бирюзы и янтаря...
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью;
И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой,
Возьму с цветов росы полночной,
Его усыплю той росой.

Закон воображения замечательно одинаков, родствен в обоих случаях; они в особенности сливаются до полного согласия, если мы оттеним их ”сырым и убогим”, именно по внешности убогим и сырым, что уже давно составляет идеал, которому мы поклоняемся. Здесь, может быть, мы подходим к угадыванию давно похороненного теизма: т. е. как в Тире, так и в Фивах; он высвечивается как яркое, как ”огнистый камень”, в особенности около сумрака наших темных и отчасти дырявых, принципиально дырявых, одежд. Закончим, однако, видение небесного Иерусалима:

”Спасенные народы будут ходить в свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою.

Ворота его не будут запираются днем; а ночи там не будет.

И принесут в него славу и честь народов.

И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни” (Апокалипсис, глава 21, стихи 24—27).

* * *

Обратим внимание, что в ”Бытии”, при описании Эдема, — термин, повторенный Иезекиилем в применении к Тиру, — есть также упоминание золота и кристалла:

”И золото той земли (где был дан первым человеком Едем) хорошее — там бдолах и камень оникс (глава 2, стих 12)”.

Таким образом, природа, игра ”цветных камней” не удалена из счастья человеческого и нисколько не разрушает ”круг его спасения”. Так, по крайней мере, по новозаветному Тайнозрителю, книга коего имеет совершенный канонический авторитет. Гениальный Шекспир от-

метил, в бессмертном очерке юдоической психологии, это влечение к красоте пересыпающихся драгоценностей:

”Так, так, так, так! Пропал бриллиант, за который я заплатил во Франкфурте две тысячи червонцев. До этих пор проклятие не обрушивалось на нашу нацию, и я не чувствовал его до этих пор. Две тысячи червонцев пропали — а сколько еще драгоценных, драгоценных камней! Я хотел бы, чтоб моя дочь лежала мертвой у моих ног, с драгоценными камнями в ушах” (“Венецианский купец”).

Так говорит Шейлок, бесконечно любящий свою Джессику, но у которого ум путается между потерей дочери и потерей... не суммы, не итога ценностей, но их самих как сыплющейся перед глазами красоты:

...дочь моя

Украла их. И дорогие камни —
Два дорогих, два богатейших камня
Украла дочь. Правдивый суд, сыщи
Девчонку мне — у ней мои червонцы
И камни драгоценные!

Наш русский Шекспир, Достоевский, в статье “Status in statu” сорок веков бытия” (в “Дневнике писателя”), давая компактную характеристику таинственного еврейского племени, также заканчивает ее стихом, выражающим тоскливое ожидание им минуты, когда

Загорит, заблестит луч денницы:
И кимвал, и тимпан и цевницы,
И серебро, и добро, и святыню
Понесем в старый Дом, в Палестину.

”Святыня” и ”добро”, ”святыня” и ”серебро” здесь не только не враждуют, не только примирены, но, как и в Откровении Иоанна, — почти требуют друг друга, взаимно притягиваются; это — какая-то роскошествующая святыня или, пожалуй, нарядная, блистающая святость. Мы вспоминаем царицу Савскую; вспоминаем Соломона. Они были мудры; а Соломон был избран и выслушал особенные и исключительные благословения от Бога. Есть какой-то тип богатства, какой-то тон в богатстве, при котором оно перестает быть грешным. Мы указали на царицу Савскую; вспомним московского Корзинкина: каждодневно он уходил в нищенский трактир и съедал на 15 коп. какое-то ”с подправочкой” пойло; умер; и печи, трубы, сундуки его оказались набитыми процентными бумагами. Вот — грешное богатство, скопческое богатство, отвратительное богатство. Мы не отказались от имущества, вовсе нет, но мы припрятали его ”духовно”, ”прислуживаем” ему ”за человека”; мы его оскопили только. У ”игристых камней” мы стерли ”границы”, навели мат на плоскости; нет света, пересекающихся радуг. Наше богатство — скудно, отвлеченно, и это-то придает ему какую-то безнравственную окраску.

Впрочем, мы отвлеклись в несколько общую сторону; наша частная цель была — показать, что некоторый общий ”х” связывает Иоанна, Иезекииля и древнеегипетские религиозные представления.

О ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ КРАСОТЕ

I

Признаюсь, я никогда не мог равнодушно читать знаменитый стих Грибоедова:

А все — Кузнецкий мост и вечные французы,
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы —
Губители карманов и сердец!
Когда избавит нас Творец
От шляпок их, чепцов, и шпилек, и булавок,
И книжных, и бисквитных лавок!

Я говорю, что не мог читать этого стиха по его жестокосердию; и в то же время я никогда не мог в своем сердце простить жестокосердие того человека, который был изобретателем зеркала. Мы *не все равно прекрасны* — вот мучительная истина, которую темный гений этого изобретателя въязвил в душу человека, заразил ею душу человека, отравил ею душу человека.

Сколько несчастья произошло от этого! И как померк образ человека: по нему разлилась зависть или — злобное торжество. Как одно чувство, так и другое именно низвергнули вниз человека, и это, по-видимому пустое и ничтожное, изобретение было, в сущности, одним из самых ядовитых плодов среди той серии, которую преемственно кушал и кушает человек и в меру их съедания — удаляется от Бога, припадает к дьяволу. "Мы все прекрасны"; "нет ни дурнушек между нами, ни уродцев": мы — *все хороши*, — вот альфа сознания и первая ступень к тому, чтобы *действительно все стали хороши*. Но я перейду к давно мне враждебному стиху:

А все — Кузнецкий мост...

Я любил садиться на лавочку Гостиного двора, со стороны Иверской часовни (в копии), и наблюдать лица во множестве проходящих здесь женщин, молодых и старых, иногда детей, но большею частью молодых, то жен, то девушек и возможных невест.

Один любит отравлять свое сердце радостью, другой любит отравлять его грустью — и вот я полчаса и часы "млел" в той особенной, какой-то трансцендентной грусти, которую испытывал и испытываю всякий раз, когда вижу очень много дурных и от дурного сознания — несчастных лиц. Весь мир, около меня бежавший, уже был отравлен зеркалом. Увы, зеркало не могло им сказать ничего хорошего. И вот тут выражается удивительная грубость, топорное непонимание Грибоедова:

От шляпок их, чепцов, и шпилек, и булавок...

Ну — да, я расплавил бы перо, которым пишу эти строки, в булавку, если бы это могла быть волшебная булавка, имеющая силу согнать хотя одну морщину с озабоченного лица стареющей девушки; как и "Горе от ума", впрочем, можно было бы изорвать на папильотки в этих же целях. Не будем умны, будем лучше прекрасны; или, точнее, мы станем истинно умны, как только станем прекрасны и сознаем, что мы в самом деле и все, притом в одинаковой степени, прекрасны.

"В будущем веке" не будет зеркал; это "будущим веком" я с некоторого времени стал называть не за-гробную жизнь, но по сю-гробную, земную, но в совершенно иных условиях и с переполнившимся сердцем: о, человек так много страдает на земле, что именно на земле же ему должно быть сделано некоторое "отдание Пасхи", некоторая пасхальная песнь, пасхальная радость. Иначе — земля в ее специальных и особенных законах запутана и уж слишком "проклята", только "проклята". Но оставим землю и будем думать о "Кузнецком мосте".

Губители карманов и сердец...

И вот — урывая от обеда, от детей, от мужа, — бедная "дурнушка" зажимает рубль в руке и бежит сюда: сколько мучительной проверки, что именно выбрать; и у купивших — сколько сомнения, что они купили не то, что выбор мог быть тщательнее и вещь — удачнее. Вот — неудачная покупательница: лицо ее темно. Нельзя же войти обратно в лавку и, швырнув картонку, потребовать обратно деньги. Деньги лежат в "конторке", перемешанные со всякими другими:

Тут есть дублон старинный — вот он...

.....
И сколько человеческих забот.

Обманов, слез, молений и проклятий

Оно тяжеловесный представитель.

"Дублона" нельзя обратно взять; и между тем вещь, за "обман, слезы и проклятие" взятая, не стоит вовсе его; или, пожалуй, и "стоит", но с придачей рубля — могла бы быть взята другая и, наконец, настоящая, насыщающая вещь, к которой так порывалось сердце, но бедная женщина, запрятав этот второй "рубль" особенно далеко, сберегла его все-таки для мужа и купила совершенно негодную, до слез негодную вещь. И приходилось видеть именно слезы или глубокое расстройство на лицах, несущих покупку. Что может быть печальнее неудачной покупки: ведь это месяцы ожидания, тысячи мысленных "примериваний" и, наконец, тончайшая деликатность: на кислое замечание продавщицы: "сударыня, нельзя же вечность примеривать" — она берет последнюю бывшую в руках вещь, совершенно неудачную, и уходит почти плача, извиняясь, с ужасным унынием в душе. Она дурнеет, и к ней уже ничего не идет, но она верила и надеялась, что это — не она дурна, а вещи дурны и, наконец, настоящая вещь скажет настоящую и еще "приемлемую" оценку лицу, — когда неуместное и грубое замечание приказ-

чицы о "вечности" выбора вдруг прервало ее нервную переборку вещей; и она отдала свой "дублон", скомкала "сдачу" и поспешно вышла. Как сложны и нераспутываемы теперь ее чувства. В "будущем веке" не будет неудачных покупок.

И вот, приходя домой, я любил раскрывать что-нибудь из Иезекииля или о Небесном Иерусалиме: эту роскошь образов, которая сыта в себе и насыщает взор.

"И проходил Я мимо тебя и увидел тебя, брошенную на поприще в кровях твоих, и сказал тебе: "В кровях твоих живи!" Так, Я сказал тебе: в кровях твоих живи!

Умножил тебя как полевые растения; ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты: поднялись груди, и волоса у тебя выросли; но ты была нага и непокрыта.

И проходил Я мимо тебя и увидел тебя, и вот — это было время твое, время любви; и простер Я воскрилия Мои на тебя и покрыл наготу твою; и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, — и ты стала Моею.

Омыл Я тебя водою и смыл с тебя кровь твою и помазал тебя елеем.

И надел на тебя узорчатое платье и обул тебя в сафьянные сандалии, и опоясал тебя виссоном и покрыл тебя шелковым покрывалом.

И нарядил тебя в наряды и положил на руки твои запястья и на шею твою — ожерелье.

И дал тебе кольцо на твой нос и серьги — к ушам твоим и на голову твою — прекрасный венец*.

* Конечно, мысль о подражании не приходила Лермонтову (в те очень юные годы, когда он создавал самое незрелое свое творение, но почему-то очень его занимавшее), но читатель не может не заметить *родственности* художественного соображения северного и арийского писателя с резцом южанина и семита:

"...прекрасное созданье.
К иному ты присуждена
.....
Прислужниц легких и волшебных
Тебе, красавица, я дам;
И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой,
Возьму с цветов росы полночной
Его усыплю той росой;
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью;
Дыханьем чистым аромата

Окрестный воздух напою!
Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я.
Чертоги пышные построю
Из бирюзы и янтаря;
.....
Я дам тебе все... все земное!
Люби меня!"
— И он слегка
Коснулся жаркими устами
К ее трепещущим губам... Etc.

Конечно, это — арийская водица перед липкостью и густотою семитического глагола, но образы сравнения и *вся суть дела* — здесь и там одинаковы. Акварель мальчика около масляных красок старца Рембрандта. Вот с кем (не опознанное) родство у нашего нераскрывшегося поэта, а не подражание Байрону и — где родник его трансцендентности (и религиозности). Но повторяем и настаиваем, что по незрелости и бессилию — это ребяческая мазня, и мы указываем не на сходство, но на тенденцию к *схождению*.



Фиг. 1. Из № 1 "Мира Искусства",
рисунок-фантазия г. Васнецова

Так украшалась ты золотом и серебром, и одеждою тебе был виссон и шелк, и узорчатые ткани; питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива и достигла царственного величия.

И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который Я возложил на тебя, говорит Господь Бог" (Иезекииль, глава 16, ст. 6—14).

Никакой бедности; ничего похожего на печальный образ, какой, напр., нарисовало воображение знаменитого нашего Васнецова к имени и подвигам Прокопия Устюжского, о котором, несколько переметывая смысл, мы можем повторить стих г. Мережковского:

Мы — для новой красоты
Преступаем все пределы.
Переходим все черты.

Странно: в тех бедных мечущихся лицах, которые я наблюдал в Гостином дворе, я как будто наблюдал эту же "новую красоту", которая, просуществовав XVIII веков как "подвиг", как "алкаемое", в XIX-м уже повисла на шею как цепь, которую — увы — нельзя и поздно уже снять. Юница с "отросшими волосами" так долго носила обезображивающий корсет, этого "змия", "уязвляющего в пяту", что когда наконец с мучительным воплем сбросила его — под ним не оказалось ничего, кроме детски-неразвитых грудей, израненных, без молока, без возможности в них молока. Мы *соскребли* с себя лик Господней красоты, вымазывали лицо грязью, и вот теперь тщетно ищем

и шляпок, и чепцов, и шпилек и булавок,

т. е. хоть позумента, хоть бронзы и меди, чтобы опять "прийти в полноту", испытать "время свое", "время любви своей".

И вот от Иезекииля я переходил к Иоанну:

"И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойдя, я покажу тебе Жену, невесту Агнца".

Какое соответствие с Иезекиилем!

"И вознес меня в духе на великую и высокую гору ("бамот" — "высоты" финикиян) и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога".

Не "воскрилия" ли это Господни?

"Он имеет славу Божию; светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному.

Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых.

Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу.

Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс, шестое — сардолик"...

Да это — свадебная шкатулка, раскрыв которую растерялась Гретен; я хочу сказать, что в XIX веке, "нищие и убогие", мы растериваемся среди сверкающих красот, коими оделяется таинственная Невеста Агнца.

"Седьмое основание — хризолит, восьмое — берилл, девятое — топаз, десятое — хризопрас, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист".

А мы думали, обмазавшись грязью, что там будут только "говорить правду"...

"А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло".

Но где же добродетель?

"Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его и Агнец.

И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо Слава Божия осветила его и светильник его — Агнец.

Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою.

Ворота его не будут запираются днем, а ночи там не будет".

Какая же "ночь", когда от богатства и роскоши из глаз "искры" сыплются: все равно светло и "как бы день".

"И принесут в него славу и честь народов.

И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни".

До чего странно. Как странны образы. До чего это далеко от вековечно ожидаемых и твердо установленных наших представлений. Ведь мы думали и продолжаем думать, притворствуя в филантропических комитетах, что и "награда на небесах" нашей земной добродетели будет состоять в окончательном упостнении наших лиц, до крайности пересохших, "умерших" мускулах и, так сказать, в вечном, неугасимом и непогасимом "заседании" без всяких перерывов некоего всемирного филантропического комитета. Ничего подобного, и в самых точных словах:

"И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.

Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки — древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой..."

Между тем ведь мы именно ожидаем, что характерною и непременною чертою "рая" будет отсутствие в нем "рождений". Относительно нас и животных — это твердо решено, и вот только не ясно, как будет с растениями: дозволено ли будет им расцветать и приносить плод, или и у них самые бутоны будут обрываться, или, еще вернее и безопаснее, это будут растения без соков, а "примерные" и связанные из засушенных частей наподобие тех, какими мы украшаем плохие гостиницы.

"И листья дерева — для исцеления народов.

И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему.

И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их.

И ночи не будут там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков.

И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре.

Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей.

Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтоб поклониться ему;

Но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись.

Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есмь корень (начало, первый, праотец) и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.

И Дух и невеста говорят: прииди! и слышавший да скажет: прииди! Жаждающий пусть приходит и желающий пусть берет воду жизни даром" (Апокалипсис, гл. 21—22).

Удивительно. Удивительно прежде всего по коренному противоречию нашим обычным представлениям... "Вода жизни", "живая вода", о чем что-то лепечут даже народные сказки; за которою, за каплею которой Рустем, заколов в ослеплении сына, спешит к шаху и, разумеется, получает отказ. Что такое "живая вода", "вода жизни"? Да

что такое "утренняя звезда"?.. "И бысть вечер и было утро — день первый" (Бытие, I).

"Утро" — это начало, это "корень", напр., между прочим, и Давида. В Египте, на одной стене храма, был найден рисунок, который мы здесь помещаем (фиг. 2). Как удивителен он! Как волнует! На вас смотрит *глаз* оттуда, где всякий человек видит только *зерно*: т. е. зерно, из которого выросло *это* и вырастает *всякое* дерево, приравнено к *глазу*, объяснено через *глаз*, переименовано в *глаз*... Почему? *Глаз видит путь, знает путь, ведет по пути* — человека, как зерно, *ведет по пути* дерево.

"И сказал Бог (человеку): вот Я дал вам всякую траву, *сеющуюю семя*, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого *плод древесный, сеющий семя*, — вам это будет в пищу" (Бытие, I).

Семя — *провидит* дерево; и никогда дерево, фигурой листьев или видом и вкусом плодов, не сможет выйти из орбиты этого *семянного провидения*, которое по отношению к нему может быть названо, да даже и в точности есть — *провидение*; есть брызг "провидения", субъективно и сосредоточенно здесь собранного около дерева, "управляющего" дерево, "regentis arborum". И мы невольно припоминаем: "Deus mundum regit"* — фразу из Кюнера, в 1-м классе гимназии, которая нам когда-то помогла различить "подлежащее" и "прямое дополнение", а теперь помогает разгадать каприз, по коему египтяне переименовывали "зерно" в "глаз".

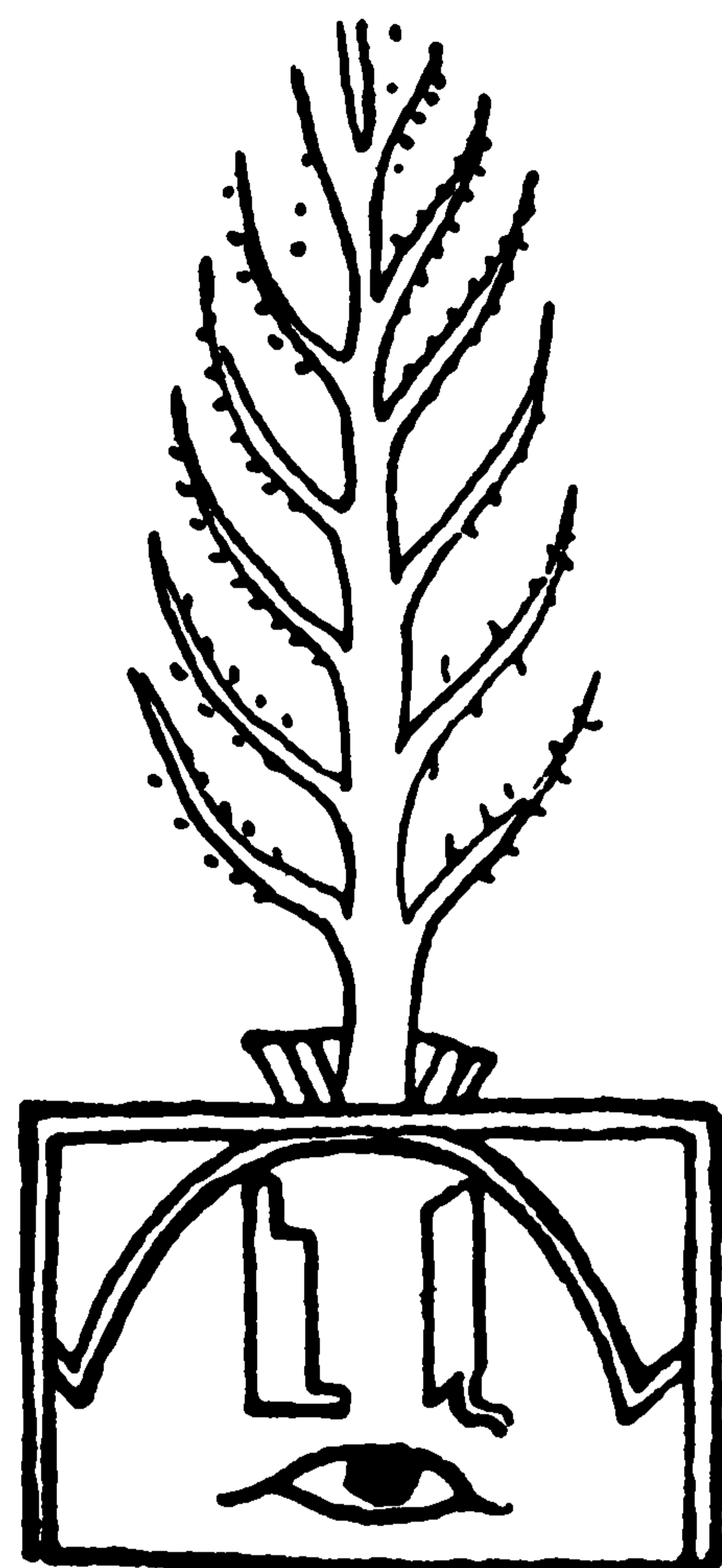
"И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода — *по роду их*, и всякую птицу пернатую — *по роду ее*. И увидел, что это хорошо.

И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь.

И сказал Бог: да произведет земля *душу живую по роду ее*, скотов, и гадов, и зверей земных — *по роду их*. И стало так.

И создал Бог зверей земных *по роду их*, и скот *по роду его*, и всех гадов земных *по роду их*. И увидел, что это — хорошо" (Бытие, I).

Как утомительно: ни разу не забыть прибавить "по роду" в книге такой компактной, могучей сжатости! Как бы мы говорили: "по душе *его*", т. е. говорили бы: "и каждое животное вышло *сообразно душе его*", "склубилось *вкруг души своей*"; или как медленно и недоуменно шамкал наш тихий и многодумный старец (Н. Н. Страхов), "каждый организм выражает, обозначает, оделяет средствами глаголаня", или, пожалуй, "фразирует", "душу свою", которая есть "путник" и "путь", "провидение" и "провидение" всего, что в нем совершится, всего, что он совер-



Фиг. 2

* Бог правит миром (лат.).

шит. Мысль плана этого сотворения, как оно написано у Моисея, египтяне и выразили (фиг. 3) виньеткой к 162-й главе "Книги усопших" (*Lepsius* — "Das Todtenbuch der Aegypter, nach dem hieroglyphischen Papyrus in Turin", Berl., 1842, текст без перевода и египетские виньетки к тексту).



Фиг. 3

II

Мы привели в конце предыдущего рассуждения удивительную египетскую виньетку — по-видимому, *окрыленного и идущего* глаза. Всмотримся в нее; вдумаемся в ее мысль; вдумаемся в нее не нашею, XIX века и новой эры, мыслью, а древнеегипетскою же.

Здесь — тоже "зерно", т. е. точка зерна и зерен, но уже у человека: и выражено опять как "вѣдение" и "провидение", как "глаз", определяющий "путь". Но уже здесь — с крылами. "Летящее провѣдение", "провидение" не как "знание" только, но и как взлет *сил* "ведущих" — так хочется переименовать, так нужно изъяснить рисунок. И удивительная эта виньетка повторяет, или, пожалуй, предшествует* не только Моисееву плану творения с его неизменным штрихом "по роду его", "по роду их", но и одному замечательному месту из Платонова "Федра"** . Собственно, она выражает два стиха, приводимые Платоном, но чтобы мысль их была понятнее, мы приведем текст немного *перед* и *после* этих стихов.

Сократ только что объяснял "золотокудрому Федру" о предмирном существовании душ, о ниспадении их на землю, и о воспоминании прежнего своего существования в земных странствиях:

* "Книга усопших" — древнейшего египетского происхождения, до вхождения туда Иосифа с братьями и даже до вхождения Авраама.

** По поводу сделанного нами, в гл. I настоящего исследования, сближения одного фрагмента из Лермонтова с фрагментом же из Иезекииля мы получили от крайне дорогих нам лиц упрек *в неосторожности*. Это сближение было *преднамеренно*, и мысль его объяснится в самом конце исследования; что все относящееся к категории *отчества* и *материнства* (и его инстинктов), будучи до нашей эры относимо к Лицу Благодеющему, будучи молимо и просимо, — с начала нашей эры, с века III—IV, и чем позднее, тем глубже, стало относиться к категории явлений злых, охвачено в скобку "демонизма". И Лермонтов, по детству и необразованности, возвращаясь инстинктом к "отчеству", то выражает их в гимне — "Я, Мать Божия, ныне с молитвою", то пугливо и следуя толпе переименовывал их ("Сказка для детей", "Демон") несоответствующим делу образом.

И долго на свете томила она
Желанием чудным полна...

”Так вот куда, любезный Федр, привела нас беседа о четвертом виде исступления. В нем находится тот, кто, видя земную красоту и воспоминания о красоте истинной, *окрыляется* и, окрылившись, пламенно желает *лететь* выспрь. Еще не имея сил, он, подобно *птице*, смотрит вверх, а о дальнем, земном не заботится, как будто и в самом деле сумасшедший... Всякая человеческая душа, как я раньше сказал, по природе своей созерцала Первообраз сущего; без этого она и не вошла бы в это, данное ей тело. Но вспоминать по-здешнему (т. е. при созерцании земного) о тамошнем (т. е. предмирном и дожизненном) легко не для всякой души; это нелегко особенно для тех, которых созерцание там было кратковременно, и для тех, которые, ниспадши сюда, подверглись бедствию, т. е. под какими-нибудь влияниями уклонились к неправде и забыли о виденных ими священными предметами”...

Как все это *сродни* нашему поэту:

Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов
О Боге великом он пел...
.....
И звук его песен в душе молодой
Остался без слов, но живой...

”Остается немного душ, у которых еще довольно памяти; да и они, *видя* какое-нибудь подобие тамошнего, так поражаются им, что выходят из себя и, не имея достаточно разборчивого чувства, сами не понимают, что значит страсть их. Приступая к здешним образам с тусклыми здешними орудиями, немногие, и то с трудом, воспоминают нездешние их прообразы. Восхитительно было зреть красоту тогда, когда, вместе с хором духов следуя за Зевсом, мы наслаждались дивным видением и зрелищем, посвящены были в тайну, блаженнее которой и назвать невозможно; когда мы праздновали ее, как непорочные и чуждые зла, ожидавшего нас в будущем (т. е. по ниспадении на землю). Допущенные к непорочным, простым, постоянным и блаженным видениям и созерцая их в чистом сиянии, мы и сами были чисты и внемогильны, т. е. вне этого тела, связывающего нас, как улитку связывает раковина... Ведь что касается красоты, то она блистала, существуя еще там, — с видениями; пришедшие же сюда, мы замечаем живость ее блеска и здесь, и замечаем это яснейшим из наших чувств. Ведь между телесными чувствами зрение слывёт у нас самым острым, которым, однако ж, не постигается разумность; иначе последняя возбудила бы сильнейшую любовь, если бы могла представить зрению столь же непосредственно живой образ себя и всего достойного любви в себе. Ныне этот жребий (т. е. быть созерцаемым и любимым) принадлежит одной красоте; ей только одной суждено быть нагляднейшею и любезнейшею. Впрочем, не свежепосвященный или застаревший в грязи стремится не сильно отсюда туда, к красоте как небесному прообразу, если ее отпечаток и видит на ком-нибудь здесь. Без уважения и ища удовольствия, он

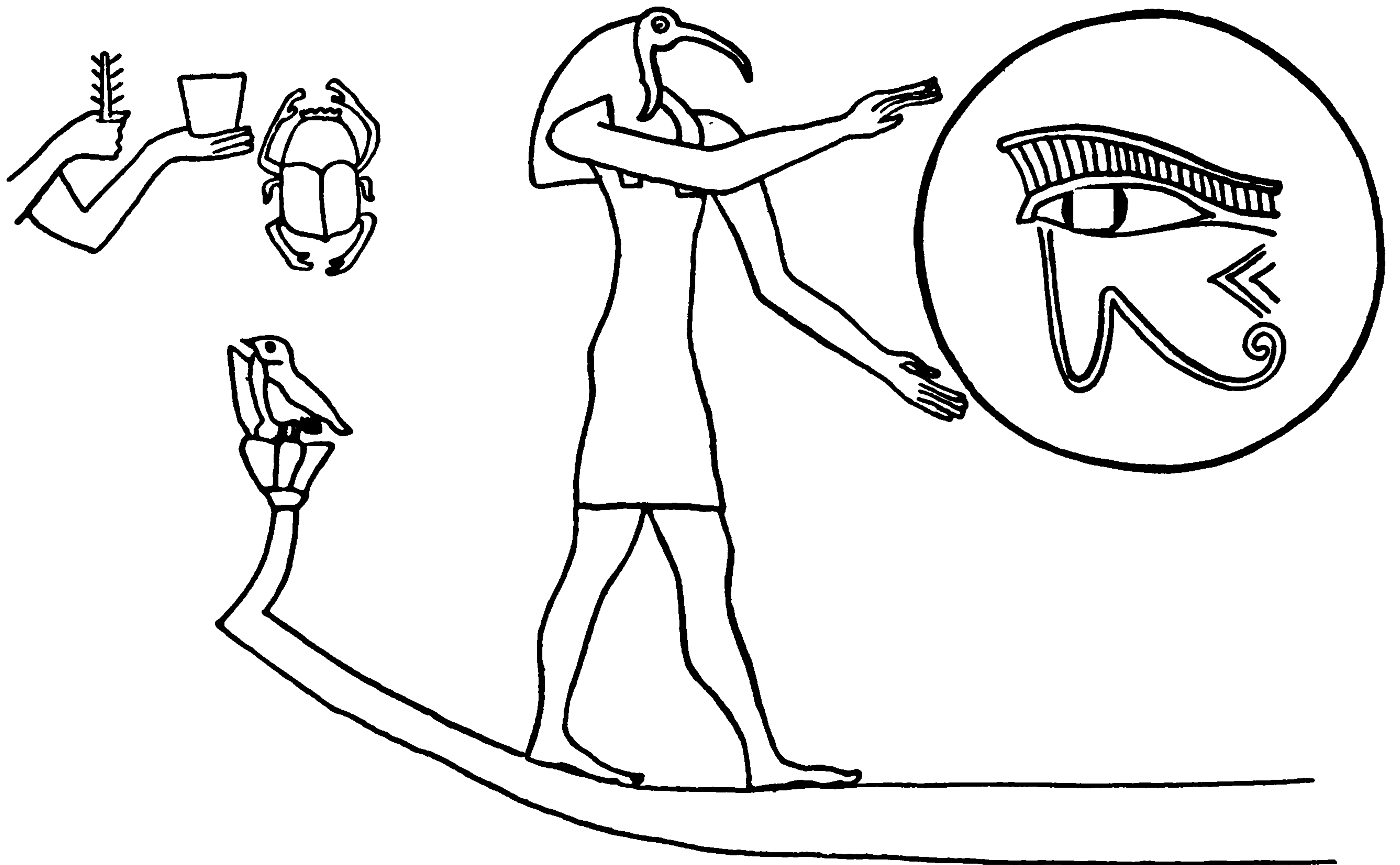
повторяет животных, не постигая открытого одному только человеку. Напротив, свежепосвященный и долго созерцавший тамошнюю красоту (т. е. "среди хоров духов"), при взгляде здесь на богообразное лицо, хорошо отпечатлевшее на себе красоту или какую-нибудь бестелесную идею, сперва приходит в трепетное волнение и объемлется каким-то страхом потустороннего бытия; потом, присматриваясь, чтит его как бога, и если бы не страх прослыть потерявшим память в исступлении — он приносил бы жертвы любимому существу, будто священному изваянию или богу... *Перо**, вздымаясь и поспешно выбегая из корня, разрастается во всех видах души его, потому что некогда душа была вся *перната...*"

Вот, может быть, разгадка, хоть какая-нибудь разгадка той логики мысли или логики воображения, почему в Египте, как и в Апокалипсисе, среди четырех, и поклоняемых и поклоняющихся, "животных перед Престолом Божьим", одно взято — *пернатое*: "одно животное как бы с лицом *орлиным...*"

"В это время, — продолжает Сократ, — душа целым своим существом кипит и брызжет; и какое страдание бывает от зубов, когда они только что начинают расти, т. е. зуд и несносное раздражение десен**, то же самое терпит и душа человека, начинающего выращивать перья: вырастая их, она находится в жару, раздражается. Взирая на непорочную красоту — душа подымается в каком-то вихре, разжигается, испытывает легкость от скорбей и радость. Когда же одна остается, то отверстия, из которых спешат выбиться перья, засыхают, а засыхая, сжимаются и замыкают в себе ростки перьев. Эти ростки, запертые внутри, бьются наподобие пульса и толкаются во всякий преграждаемый им выход, так что душа изъязвляется со всех сторон, мучится и терзается, и только одно воспоминание о прекрасном радует ее. Смешение этих противоположностей повергает душу в странное состояние; находясь в междучувствии, она неистовствует и, как бешеная, не может ни спать ночью, ни оставаться на одном месте днем, но бежит с своею жаждою туда, где думает увидеть обладателя красоты, а увидев его, успокаивается, освобождается от уязвлений и скорби, и в те минуты питается сладчайшим удовольствием. Тут забываются и матери, и братья, и друзья, тут нет нужды, что через нерадение гибнет имущество. Презрев все обыкновенные правила своей жизни и благоприличия, которыми гордилась когда-то, она готова рабствовать, потому что не только чтит его как обладателя красоты, но и находит в нем единственного врача своих скорбей. Эту-то страсть, мой прекрасный Федр, я говорю тебе — люди ее называют Эросом; но услышав, как называют ее боги, ты, по молодости, непременно будешь смеяться. Об Эросе есть два стиха, которые, как

* Платон выше развил мысль, что, "следуя за Зевсом", душа "в горнем мире" была крылата; пока, сломав крыло, — не пала бескрылая на землю; но *место* крыла и даже возможность *отращивания* его сохраняется здесь на земле.

** Говорится об известной болезни младенческого возраста.



Фиг. 4

я полагаю, заимствованы из тайных стихотворений какими-нибудь гомеристами-рапсодами. Поются же они так:

Это пернатое у людей называется Эрос
 ...У богов оно Птерос* (= "крыловращатель").

"Приведенным стихам, — кончает Сократ речь свою, — можно верить и не верить: но причина и страсть людей любящих — *это самое*"**.

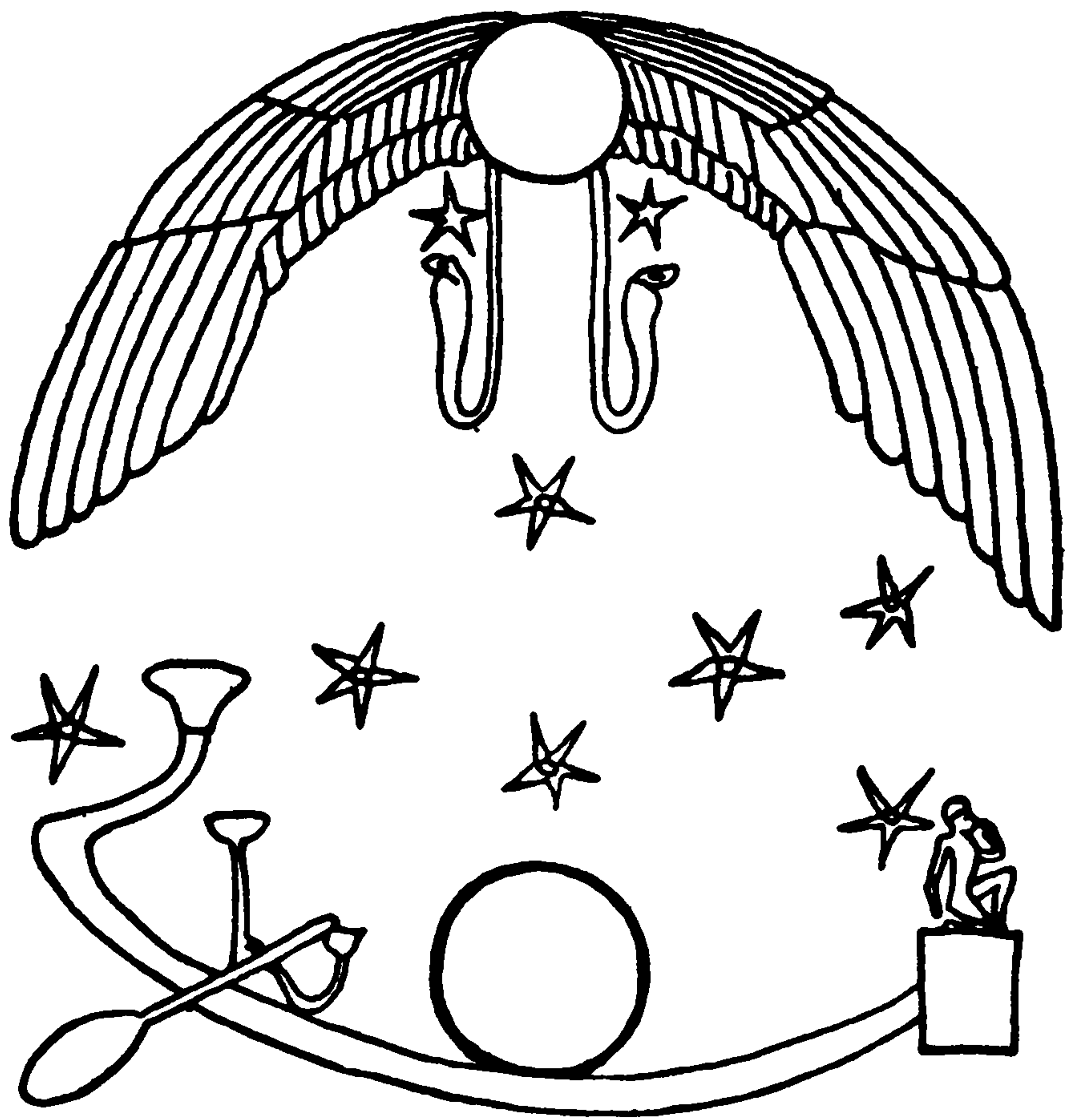
Речь падает в самую точку египетских изображений — "под деревом", или "под человеком", "в человеке". Но замечательно, что слово "крыловращатель" как бы срисовано с приведенной виньетки в "Книге усопших". И все характерные выражения Платона выражены в других египетских изображениях, напр. отношение как бы богослужebное*** ("принесил бы жертвы как священному изображению или богу", см. выше).

На помещенном рисунке взята капля "живой воды", ну, той самой, за которую спешил Рустем; и птиценосный Тот, этот египетский Платон,

* Слово *Птерос* — не находится в греческом языке и встречается единственный раз только здесь, у Платона; т. е. оно им придумано для выражения своей собственной и оригинальной мысли. "Птерикс" (Πτερυξ) — по-гречески *крыло*.

** Платон. "Федр", 249 E — 252 C.

*** Фиг. 4 — см. *Lepsius* "Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien", 12-томный атлас снимков с египетских древностей. Приведенное изображение находится в большом храме, в Дендере.



Фиг. 5

”председатель книжных зал” — как он определяется в некоторых надписях, стоит перед этой простою каплею, но с ”провидящим Оком” в ней, ”воздев руки ”горе”, как Сократ перед Федром или перед ним же сам Платон; все это — на ладье, т. е. плывет, движется ”в разделении чувств”, и сама лодочка оканчивается бутоном с ”древа-жизни”; а над ним, пожалуй, и ”крыло-вращатель”, во всяком случае ”с лицом” как бы ”орлиным”. Две руки, в той же благоговейной позе и приносящие дары (чаша и ветвь) перед Скарабеем, выражают, по существу, то

же самое, что и молитва Тота; но мысль Скарабея не входит пока в нашу тему. Вот еще рисунок*, где ”ока” нет, но взята другая сторона, звездное, ”Зевсово” (по Платону) происхождение этого ока в дереве или в человеке; здесь взята ”душа” — ”капля” не с ”отрастающими на земле крыльями”, но с несломанными в парении среди сонмов духов:

И небо, и звезды, и тучи — толпой
Внимали той песне святой...
Он душу младую в объятиях нес...

Почти самое замечательное в этом рисунке — это то, что уморительные слепыши-египтяне не преминули в каждую звездочку вложить ”душу живую”, т. е. повторить в ней каплю, которая и ”на земле — низу”, и ”наверху — горе” равно является у них поклоняемой. В самом деле, гипотеза астрономов (наших), что солнце пылает и светит ”от множества метеоритов, на него падающих и развивающих громадную теплоту ударом падения”, — чудовищна. На все ведь звезды (= тоже ”солнца”) должны падать такие ”метеориты”, и где же им взяться на целое небо, и особенно падать неистощимо от ”начала паки бытия”. Тогда мир должен быть полон — метеоритов, и скольким же ”планетам”, ”спутникам” должно было для этого разбиться (”метеориты суть осколки разбитых планет”, по гипотезе ученых же). Целый сон метеоритов, сон (т. е. выдумка, воистину ”гипотеза”) — ”исчезнувших планет” для того

* Фиг. 5 — Ombos, grosser Tempel, Philae. У Lepsiusа в его ”Denkmäler”.

простого и милого явления, что солнце греет наши старые кости пять тысяч лет. Чудовищная несообразность; азбука мышления, где *б* побивает *а* и никто ничего не понимает в природе, дешифрируя ее при помощи этой азбуки. Звездочки — капельки: не вероятнее ли это? Живые капельки, "животные" — почему нет? Творец взял кропило, и, погрузив его в "живую воду", в "воду жизни", — в радостный день сотворения, в "четвертый день" сбрызнул таинственную влагу к востоку — и вышли восточные созвездия, на запад — и вышли западные созвездия, на север — и там зажглись свои огни, на юг — и загорелся "Большой крест" (созвездие южного неба). Так и не потухают и даже не охлаждаются огоньки: как медведь встает по весне с тою же температурою, с какою он заснул по осени. Медведь — и медведица. Там и небесная медведица, "Большая медведица", сколько ни испускает тепла и света из своей шкуры, сосет себе лапу и не может остынуть среди межзвездной, т. е. ужасающей, до стоградусной стужи. Вторая прелесть рисунка — опять бутоны; бутоном оканчивается лодка; бутон растет из палки, как он вырос некогда из Ааронова жезла, около него вращается рулевое весло; и даже веревка, которою передвигают руль, как бы воскреснув из мертвенного льна, фабричного льна, тоже распустила на себе цветочек. И вот это-то и есть причина странных волнений, которые Платон описывает и, вероятно, ощущал, а вовсе не скульптурная "красота", на которую он ссылается. Да ведь сам же он говорит, что все дело — в "птеросе", и странных "крылах" его, и возбуждаемом им "парении". Что за красота! — Но много — тайны! Во всем монологе Платона есть одна ошибка, или, точнее, недосмотр и темнота к главной стороне явления. Он не обращает внимания на *возраст* беседующих лиц; и не видит, что в *Федре* главная притягательная сила — его *непорочность*. *Небесна* — она; около нее — звезды; она вызывает у нас "зуд перьев сломанного крыла", чтобы лететь *за нею, вслед ей* к Зевсу ли или соответственно нашим дням:

О Боге великом он пел — и хвала
Его непритворна была.

Уж если кто есть Бог, уж если что есть Он то — *непорочность*, Он — "Святой". И вот "напоминающее"-то об этом святом, напоминающее его видом — мы и любим, волнуемся, и как он правдиво написал — вдруг забываем "отца", "мать", "друзей", "имущество" и бежим, презирая всякие приличия, чтобы ненасытно созерцать его. Гамма наблюдений Платона не была достаточна: мы прожили лишних две тысячи лет, а в эти годы морщинки "Лица Человеческого" углубились и мы можем выпуклее прочесть на нем буквы, казавшиеся слитыми, неясными греческому мудрецу.

III

В "зернышке" есть Провидение — будущего растеньица; но, может быть, есть и "о зернышке" Провидение? Кто знает, о чем думал поэт, когда написал:

Ну, тащися, сивка!
Выбелим железо
О сырую землю...
Зернышку сготовим
Колыбель святую...

Ведь не сказал: "крепкую", "полезную" или, что соответствовало бы делу: колыбель "влажную", "глубокую", "своевременную". Настоящий "египтянин", т. е. я хочу сказать, — Воронежский прасол, как будто вместе с греческим Платоном странствовал для ознакомления с "древнейшею наукою" в Саис или Фивы и подсмотрел в этих городах то, что Масперо наивно назвал: "L'arbre sur le tombeau d'Osiris"* — подсмотрел и перенес в свою песню:

Зернышку сготовим
Колыбель святую.

— Отчего святую? — Кольцов бы не ответил. — "Да кто же тут "святой?" — И опять он промолчал бы. — "Зерно, что ли?" — "О, уж оно-то непременно!" Это бы воскликнул Кольцов, и мы, с нашей точки зрения, поддержали бы его инстинктивное восклицание: "потому оно *свято*, что в нем — *Провидение*". — "Но, может быть, и о зерне есть Провидение?" — "Ну конечно, Провидение — и *около зерна*, и *над ним*, да и *езде...*" Но мы остановили бы торопящегося прасола, закрепив только идею, что и "около" и "над" зерном "есть свой глаз", как, напр., на этом египетском рисунке**, где "око" стоит и блюдет *над* зерном; да ведь и Кольцов же написал

Зернышку сготовим...

а не взял темою для стихотворения картину, как он "отмеривает зерно" и "обмеряет в зерне" мужиков какой-нибудь деревни "Растегаевки". Стихотворение его есть, собственно, песнь провиденциальной о зерне заботливости, конечно, — "песнь" и зерну, "молитва" — зерну, насколько "молитва" и "песнь" смешиваются или могут быть смешаны. Но мы хотели привести рисунок (фиг. 6). Вот, в самом деле, зерно *в росте*: три

* Первую нами приведенную виньетку — *дерево* и под ним *глаз* — Масперо объясняет ("без объяснений"): "L'arbre sur tombeau d'Osiris" ("Дерево над могилой Осириса" — *лат.*). Почему — *arbre* над *Озирисом*, почему *Озирис* символизирован *глазом*?

** Фиг. 6. Maspero, vol. II, p. 206. Рисунок, составляющий виньетку к тексту самой книги, без сомнения, взят как одно из часто повторяющихся древних изображений и не сопровождается вовсе никакими объяснениями французского автора.

бутона и тоже три уже распустившиеся цветка; т. е., как можно догадаться, египтяне нарисовали здесь бутон в его переходе к цветку. Зерно... "умерло"? Как "умерло"? Оно именно теперь усиленно и особенно осмысленно... не существует косно, а живет, переходя из бутона в цветок, и не какой-нибудь "вообще", а именно в тот определенный, какой оно видело в себе и знало у себя, относительно коего оно и было Провиденьем, "святой" заботливостью, как и крепкою мудростью. И вот поэтому-то его могуществу и священству Кольцов в песне, а всякий пахарь на практике сговаривают не просто "ямку", а "святую колыбельку". Зерно не "умерло": оно стоит "оком", зрящим и блюдушим от колыбели и до могилы растеньице, — и годовалую травку, и тысячелетний "дуб Мамврийский". И вот "растеньице", ну, напр., сам Алексей Кольцов, умерло: что мы можем спросить о нем? у кого? и кто "Судья" его? и с каких точек зрения и применяя какие меры могли бы судить? Да только и есть в суде единственный осмысленный вопрос: не вышел ли он, не отклонился ли он от "святой" воли "зернышка", которое ему предшествовало, при жизни стояло над ним "оком" и теперь уже в новой и окончательной могиле, будет судить его. Посмотрите же (фиг. 7)* на этих злодеев египтян: умер Алексей Кольцов, но они переименовывают его, по ожиданиям грядущего (и, мы догадываемся, возможного) суда, в "раба Божия Алексея", молятся о нем (коленипреклоненная женщина, жена — с рукою, поднятою ко лбу), трепещут за тайную и, может быть, грешную жизнь, ибо он не просто будет положен в усыпальницу — "яму", в "каменный

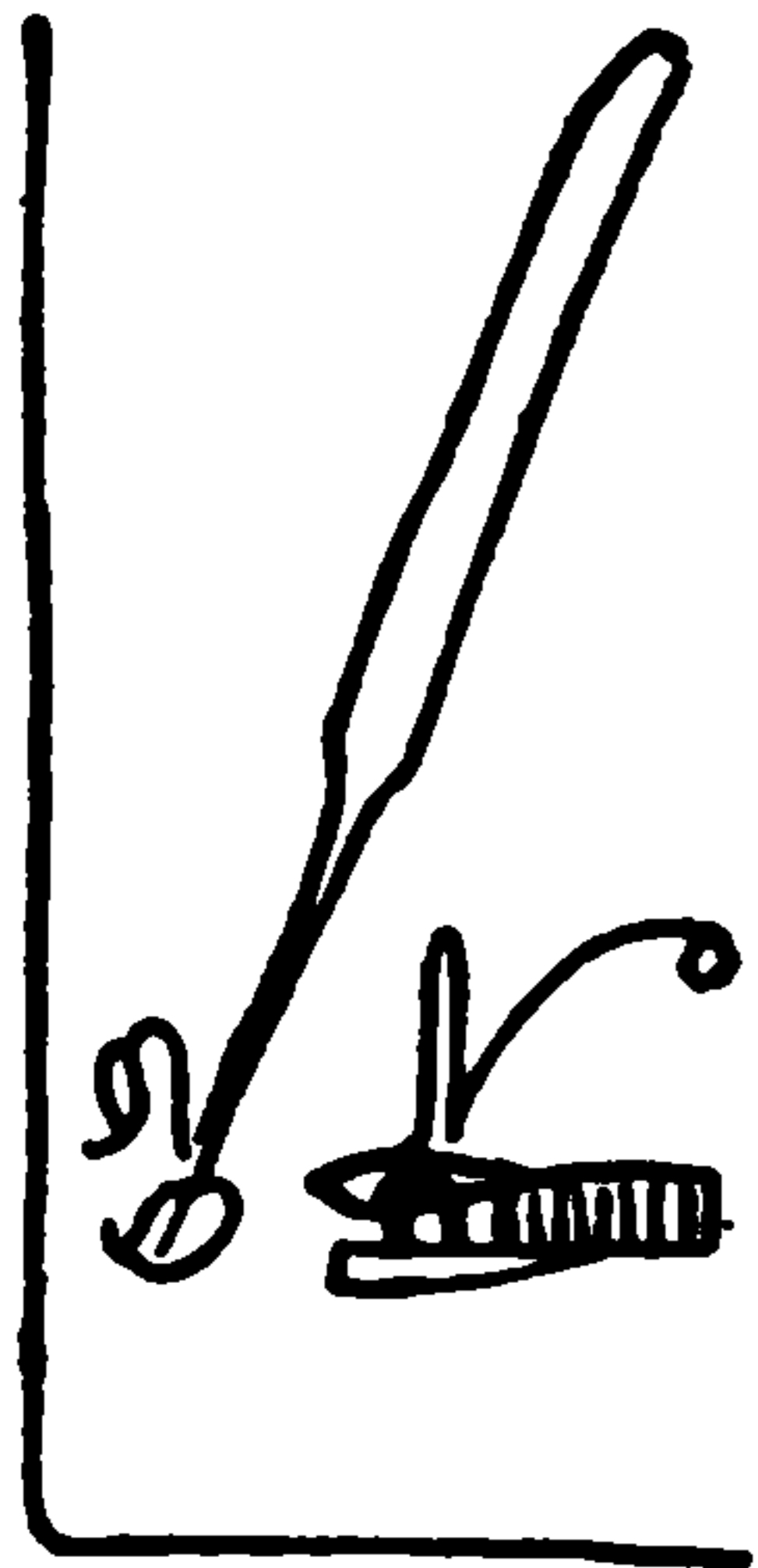


Фиг. 6



Фиг. 7

* Фиг. 7 — Maspero. "Hist. des peuples l'Orient classique", vol. I, p. 180. Объяснение Масперо к рисунку "La momie reçue par Anubis à la porte de tombeau et l'ouverture de la bouche" ("Мумия, встречаемая Анубисом у входа в гробницу, и открытые уста" — фр.).



ящик". Они с ужасом отступили бы от циничной мысли щеголя нашей эры:

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать.

От этого ужаса цинизма они отпрядывают в "святую" мысль, что

Есть на свете Провиденье,

Фиг. 8

и как оно блюло нас при жизни, так станет судить за гробом. Какое "Провидение"? — Да то, которое вывело нас от тьмы небытия, выгнало из могилы — "колыбельки", по терминологии Кольцова, и вот оно же поставлено над второй могилкою, куда "раб Божий" ходит. Чтобы не оставалось в этом никакого сомнения, самую "мумию" они представили как разрез растения, с "клеточками" и "междуклетчатую тканью"*.

"Растеньице" — человек умерло ли, обмерло ли, но его возможный "грех" есть просто "не так" против "ока", в пути ведущего" (рис. 8): "оступился", и сумма этих "оступаний" есть все "преступление", есть всякое преступление. Т. е. действительное и возможное преступление есть непременно всегда преступление против семени своего, ex quo et in quo мы "есмы" и "существуем", и оно будет нас "судить": конечно, не тем ужасным судом, взглянув на картину коего поэт нашей эры насмешливо воскликнул:

Сто на сто я терплю: процент невероятный!

(Пушкин — "Подражание Данту")

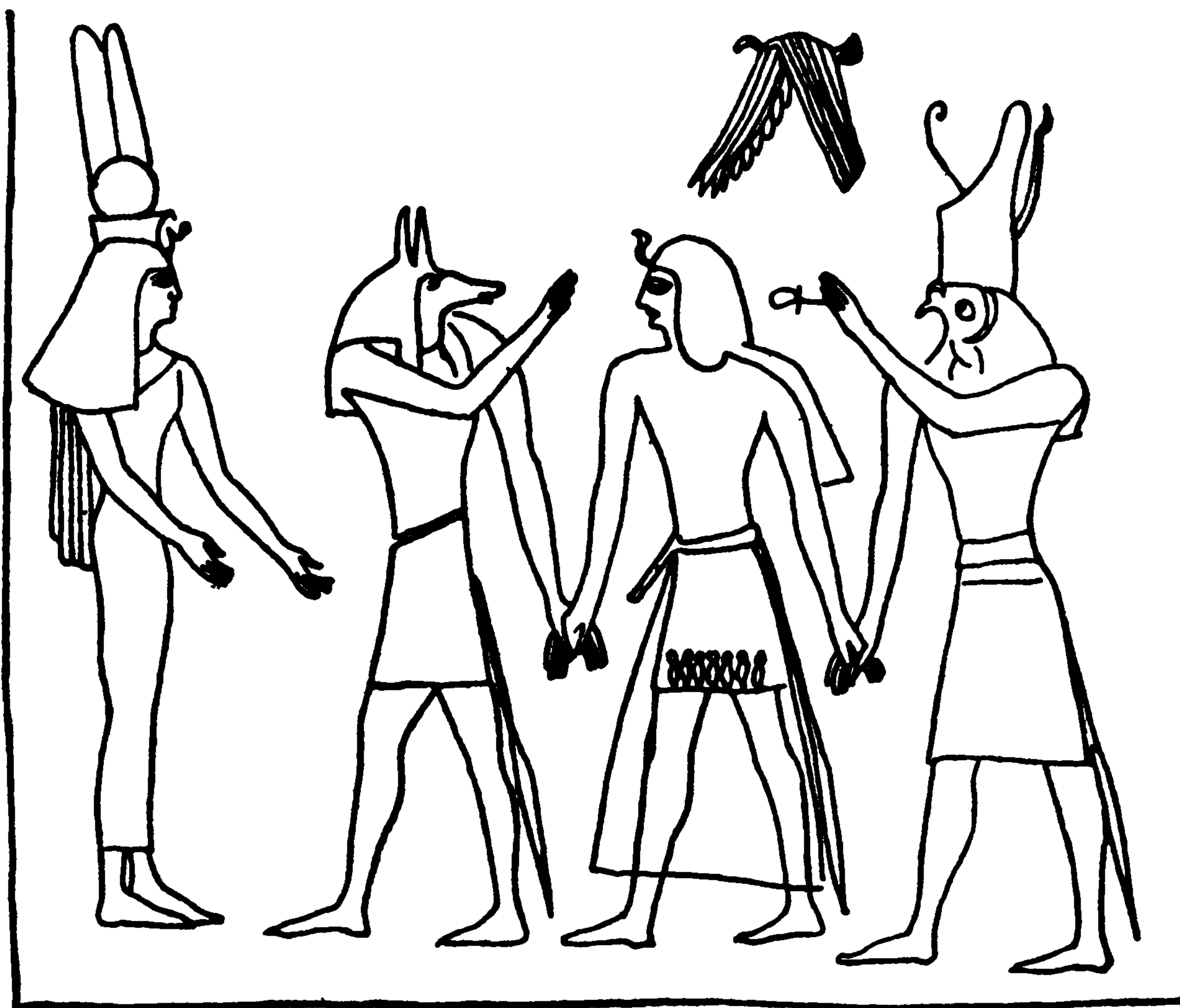
И в самом деле было отчего воскликнуть:

страх объял меня:

Бесенок, под себя поджав свое копыто,
Крутил ростовщика у адского огня.
Горячий капал жир в копченое корыто
И лопал на огне печеный ростовщик.

* Фиг. 8 — Виньетка к 148 гл. иероглифического текста "Книги усопших" *Lepsius Das Todtenbuch*, ed. 1842 — *глаз и весло* ("направление в пути", "траектория пути").

"Целлулярная", "клеточная" теория Вирхова, по коей суть всего живого сосредоточена в "клетке", где ведь и свидригайловский "уголек" горит, т. е. горит невидимая этой клетки "душа", но ее уже Вирхов не заметил, и нужно было быть "романистом", сочинителем "романов", чтобы ее открыть.



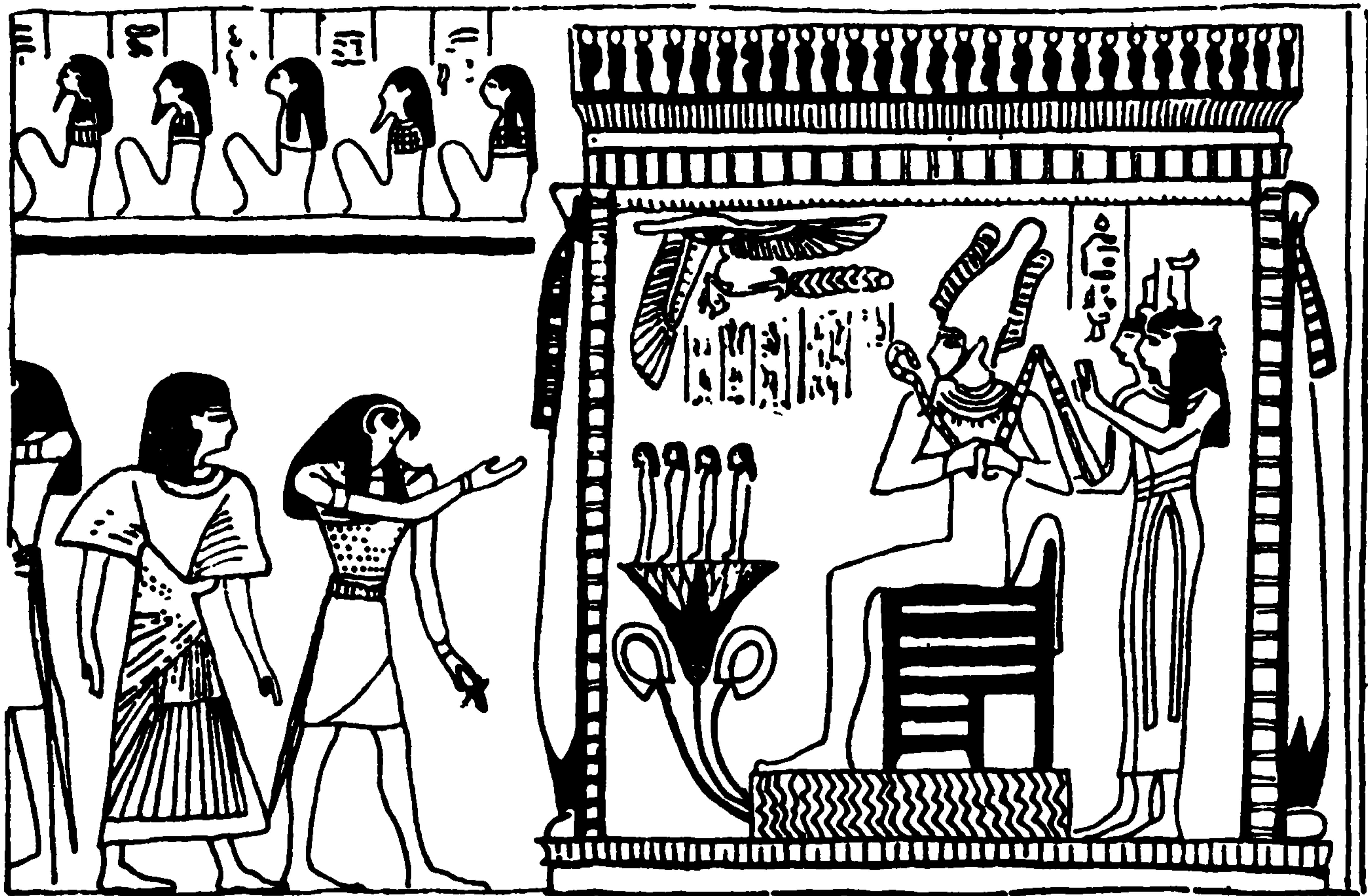
Фиг. 9

В Абидосе, в храме или, может быть, "капище", построенном Сети I-м, "грешник" ведется на "суд". Может быть, он боится: у него есть тайные грехи... "Не бойся, сын наш": посмотрите, с какой любовью взяты обе его руки. О, он не "волочится", не "толкается" в "геенну":

Схватили под руки жену с ее сестрой
 И обнажили их, и вниз (по стеклянной растрескавшейся
 горе) пихнули с криком —
 И обе, сидючи, пустились вниз стрелой:
 Стекло их резало, впивалось в тело им!

Свободные руки ведущих подняты: угроза ли это? Ведь это — успокоение: "не бойся, сын наш"! Кто умеет читать манеры, согласится, что в интерпретации нашей нет вымысла, произвола, что это — простое и естественное чтение, "буки-аз-ба" древних иероглифов, без всякой натяжки и подстановки в них своего смысла, своей "души".

Всякий мог бы усумниться, "усопший ли" это и куда "ведут" его, если бы в совершенно той же позе и тех же отношениях "ведущего" и "ведомого" мы не встретили, на этот раз, "грешницу", "жену" или "сестру".

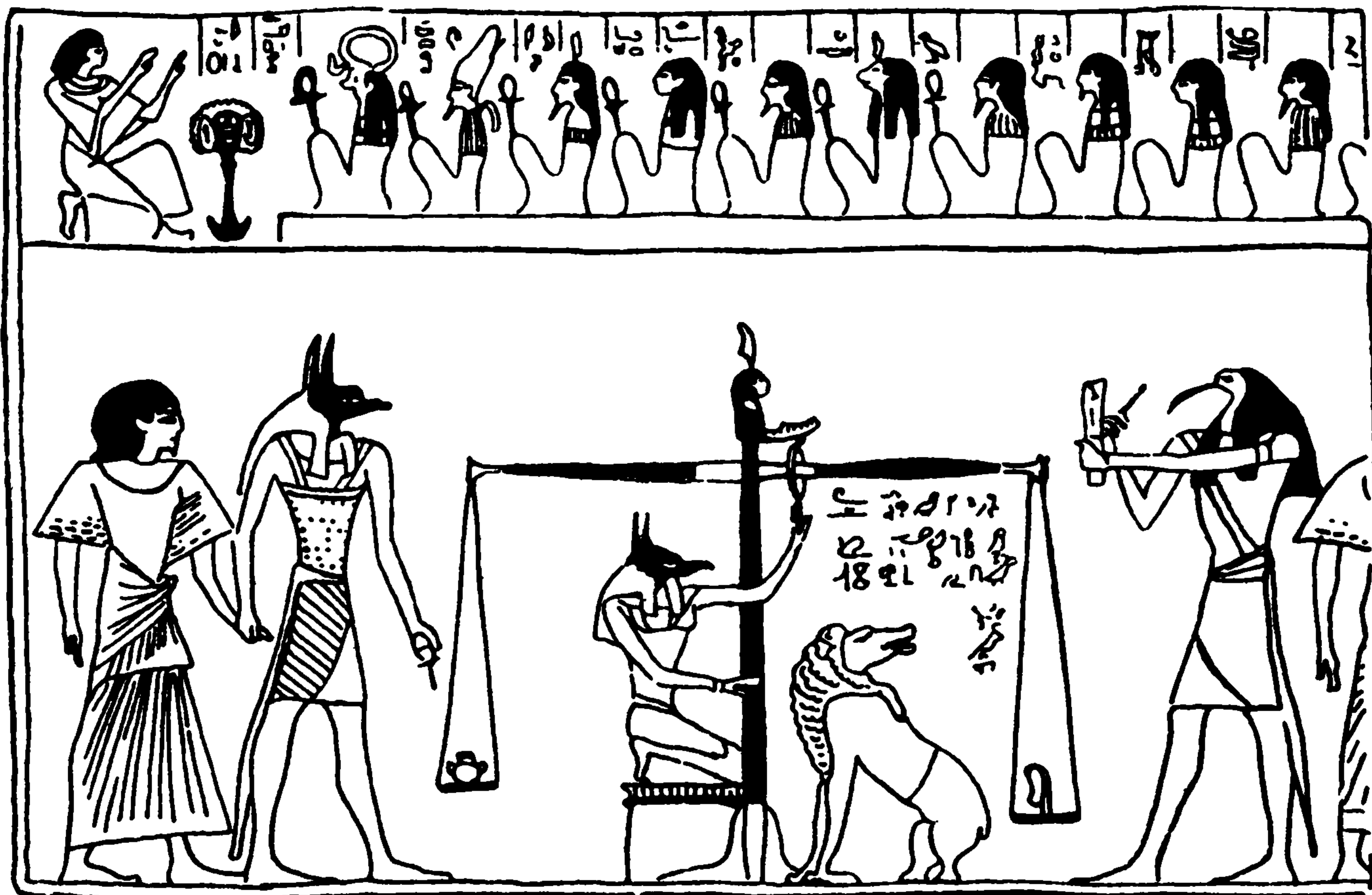


Фиг. 10

Здесь (фиг. 10) все растения* уже "на том свете". Четыре человеческие фигурки стоят на широко раскрытом цветке. Эмблемы ли это? Символы ли? Какой-то "медный змий", на который "взгляни и не умреш". "Души ли" это цветка? или "цветок" показан как эмбрион человека? Но только похоже на апокалипсическое: Аз есмь... "корень и потомок Давида". Те же огромно выросшие цветки, *деревья-цветки*, поддерживают и трон Судящего. Но *кто* он? Да "око" и вместе "крыло-вращатель" Платона, в каком-то странном, однако вполне ожидаемом слиянии "судящего" и "судимого". "Око" в "шатре-соборе", "небесной скинии"**, и можно принять его за *обитателя* ее: тогда, конечно, оно только символизирует судью; но — по положению и обороту — оно как бы только что *влетело* сюда, *летит* к судье — и его можно принять равно за предстателя ведомого "грешника". Бог знает что такое, — и, может быть, в представлениях самих египтян тут, в этом пункте, была уже путаница. След этой путаницы читается в одном твердо установленном факте: как кто-нибудь умирал — он переименовывался в "озириса". Мы пишем это слово с маленькой буквы, ибо в папирусах, заготовляе-

* Фиг. 10 из Maspero, t. I, p. 189. — Объяснение автора: "Le mort est amené par Horus, fils d'Isis devant le naos du juge Osiris" ("Умерший подводится Гором, сыном Изиды, к целле Осириса" — *фр.*).

** В *еврейском* тексте Библии Моисеева скиния называется: "шатер собор"; в Апокалипсисе "Небесный Иерусалим" назван: "скиния завета Бога с человеком". В обряде еврейского венчания до сих пор над брачующимися несут *шатер*, и замечательно: это есть одно из *трех* условий действительности бракосочетания (второе условие — *осуществленность* брака).

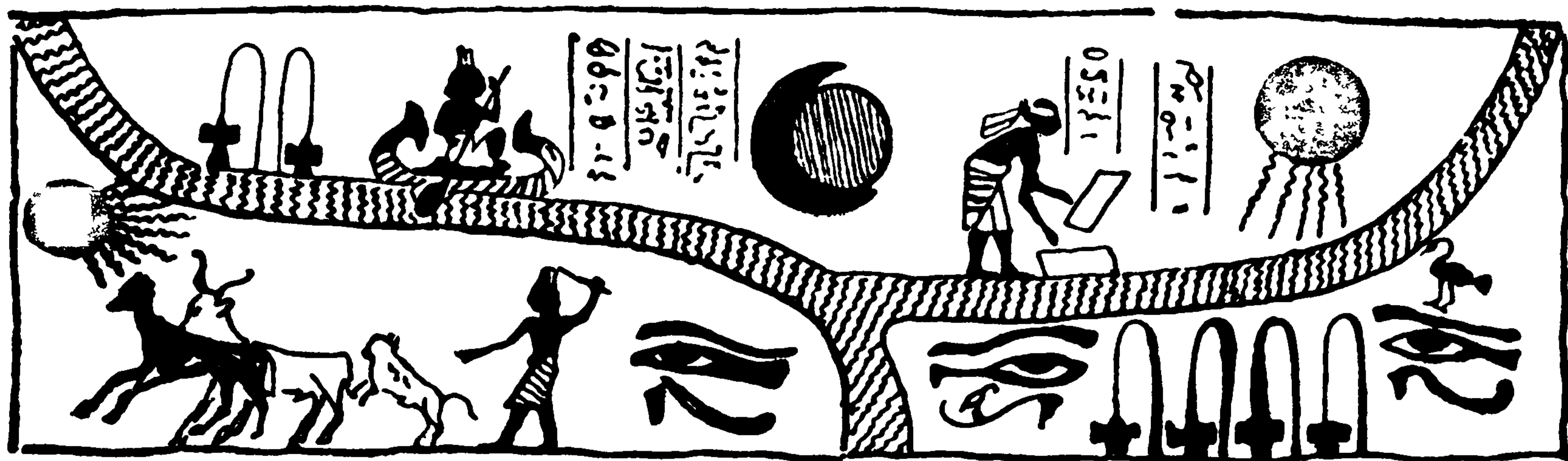


Фиг. 11

мых заранее, где от имени усопшего писалась молитва "в тот свет", так и стояло — с "имярек" — "я, озирис...". Мы обозначили точками пустое место, куда в папирусе *вписывалось собственное имя умершего*, около коего "озирис" стояло, очевидно, нарицательным: "озирис Алексей", если бы дело шло о Кольцове... И, в то же время, твердо установлено, да и на рисунке мы читаем, что "озирис" есть некто с большой буквы и отделен от "грешника", ожидает его к суду. Два эти факта, равной твердости и незыблемости, упорно подводят к мысли, что "судящий" есть тот же, кто "судимый"; что "там", "в лучшем мире", человек предстает перед суд себя же, но уже на этот раз с большой буквы: Себя, — чудовищность, которую и нельзя никак объяснить иначе, как с точки зрения "зерна"-"ока"-"крыловращателя", коим мы "живем" и дышим и *перед ним же, только* перед ним и "грешим": "оступаемся", "сворачиваем с прямого пути" и вообще так или иначе, но не повинuemся "рулевому веслу" Блудущего Ока (см. фиг. 8). Но как бы ни был облегчен и почти радостен суд — он совершается.

Что особенно* смешно, то это то, что весы десятичные, той особенной конструкции, с передвижной гирей по одному плечу коромысла весов, на каких взвешивают багаж на наших железнодорожных станциях. Я всегда их с любопытством рассматривал, неясно давая себе отчет, как именно взвешивают на них и почему они "вернее" лавочных весов, без

* Фиг. 11 — у Maspero, t. I, p. 188. "Anubis et Thot pèsent le coeur du mort dans la balance de vérité" ("Анубис и Тот взвешивают сердце умершего на весах правды" — фр.).



Фиг. 12

этих фокусов и с простыми гирями. Но в данном случае надо взвесить "верно", и на самой стрелке весов сидит и отсчитывает загробное "мани, факел, фарес" фигурка: чуть ли не "око" же или "крыловращатель", ибо здесь, как и на фиг. 5, какое-то странное "перо", и во всяком случае *одна* отметина, *один* символ у обоих. Процесс взвешивания совершает другая фигурка, "песья голова" по переименованию наших благочестивых старушек (*Островский*, кажется, в "Грозе"); третья — полуживотное, получеловек, "с лицом как бы орла" (*Апокалипсис, Иезекииль*) — вписывает результаты взвешивания в "книгу живота". И, наконец, робкое, трепещущее "обмершее" *там*, еще на земле, тело следит и есть само свидетель "правого суда" и зрит теперь собственное сердце на одной чаше, и меру света его или почернелости на другой. Ничего ужасного. Просто нужен вообще суд. Нужно же, чтобы человек задумался, — если не *здесь*, то *там* — и разом окинул свой жизненный труд, "вспомнил бы себя и Бога"... странно вспомнил бы: перед Собою-Богом.

И вот* он, этот "грешник" или "эти грешники" (фиг. 12), — в "лучшем мире": там, где и, по Платону, "ходит солнце" и движется луна. Какая-то "небесная река", апокалипсическая "река воды живой", и усопший плывет по ней в суденышке. Оставим его: он сам теперь для наших созерцаний — *х*, и солнце там — *вовсе*, в сущности, *не наше* солнце, как это и отметили египтяне на рисунке, поместив над землею, "в нашем мире", солнце же. Тут начинаются "другие солнца", к которым комментарии имеют свое начало и свой порядок, имеют особый свой ключ. Пока же мы видим на этом рисунке (фиг. 12), что Провидение бодрствует над землею, и сейчас же на другом (фиг. 13) — видим, что Оно же, без какой-либо перемены,

* Фиг. 12. Виньетка одного Туринского папируса, приведенная у Масперо, с объяснением его: "Le mort se promène en canot sur les canaux des champs d'Jalou" <"Умерший катается на лодке по каналам Полей завистников" — *фр.*>.



Фиг. 13

бодрствует и по ту сторону гроба*. Да — перемен нет: "свивается" одно "небо" (*Апокалипсис*), раскрывается другое лишь для зрения нашего, перед коим как бы всемирная лежит пелена, и наше зрение в уровень с ее краем: и вот самое незначущее перемещение, происходящее в так называемой "смерти", дает этому зрению, дотоле *под-пеленному*, *над-пеленное* положение, и оно видит все иначе — и иное, "другое небо", и "другую землю", хотя, в сущности, ничего не переменилось, кроме ее собственного положения. Этим и объясняется название папируса, огромного** и сложного, свиток коего давали в руку каждому "рабу Божию — имярек". Лепсиус называет его "Das Todtenbuch" — "Книга Тота". Но Тот (по египетским объяснениям) есть "Председатель книжных зал", и собственно не один этот папирус, но и всякий был "книгою Тота", "Todtenbuch". Лепсиус поправился: это "Книга мертвых", — так назвал он ее позднее, потому что она давалась в руки мертвым, "всем" и "каждому". Странная идея: во-первых, она ничего не выражает и "Книга мертвых" так же не соответствует делу, священному делу, как если бы, найдя "явленный" образ на березе (такие находения случались), мы назвали его "березовым образом"; или, найдя такой же другой образ плывущим по реке (тоже случилось в истории), назвали его "речным образом". Нужно заметить, что папирус и до сих пор не имеет точного и неоспоримого перевода и продолжает комментироваться. Знаменитейший после Лепсиуса комментатор Руже назвал его "Rituel funèraire" (погребальный обряд). Теперь судите же, как были глубже египтяне: иероглифическое наименование папируса, не принятое европейскими учеными, читается: "Выход из дня". Дело в том, что

* Фиг. 13 — виньетка того же Туринского папируса у Масперо и с его объяснением: "Le labourage et la moisson des manes dans les champs d'Jalou" ("Пахота и жатва умерших душ в Полях завистников" — *фр.*).

** В издании Лепсиуса 163 главы.

в нашу эру, когда "жир ростовщика каплет в корыто", мы, в сущности, что бы ни говорили и как бы ни разрисовывали — то "Адом", то "Раем" (Dante) — бесконечность по ту сторону гроба, в сущности мы совершенно ее отвергаем и решительно не можем поверить чистосердечно, чтобы "когда умрем" — еще "жили". Так Лепсиус и пишет: "Книга мертвых"; Руже — тоже удивительно посюсторонне — поправляет: "Погребальный обычай". Но египтяне не только рисовали, как они странствуют и пашут "на том свете", но и просто у них *не было слова смерти, не было словооборота, коим они могли бы выразить: "человек умер", "я умер".* "Выход из дня" и объясняет это бессилие назвать смерть: просто — отправились путешествовать, путешествовать ужасно, ужасно далеко...

Замечательно, что так же это формулировал и один странный герой Достоевского:

"— Я же сто же вам и здесь надо? — проговорил дежурный полицейский чин.

— Да ничего, брат, здравствуй! — ответил Свидригайлов.

— Здесь не место.

— Я, брат, еду в чужие края.

— В чужие края?

— В Америку.

— В Америку?

Свидригайлов вынул револьвер и взвел курок. "Чин" приподнял брови.

— А же сто же, эти сутки (шутки) здесь не места!

— Да почему же бы не место?

— А потому же сто не места.

— Ну, брат, это все равно. Место хорошее; коли тебя станут спрашивать, так и отвечай, что поехал, дескать, в Америку.

Он приставил револьвер к правому виску и спустил курок" ("Прест. и наказ.", стр. 468).

Рисунок Достоевского всегда верен, хотя он ни за что не мог бы объяснить, *почему именно так* он рисовал. Слишком древни были корни его творчества, и он вовсе их не знал. Напр., почему, нарисовав во всех произведениях не более двух-трех фигур евреев, одну из них он поставил *тут*, свел Свидригайлова перед кончиной лицом к лицу с *евреем*? Шутка, каприз, случай! Удивительнейший инстинкт, ибо — вне всякой догадки Достоевского — фигура Свидригайлова вовсе выходит из цикла всей нашей 2000-летней эры и даже всего арийского племени, племени "смерти" и непонимания, в сущности, "выхода из дня", "Америки" — и падает в племя совершенно иное, где именно по смерти "идут в путь"... "в путь всей земли" (Бытие), "в лоно отцов — Иакова, Исаака, Авраама". Но мы заняты здесь аналогиями не с Израилем, а с Египтом. Свидригайлов не только в данном пункте говорит об "Америке". С первого же появления — речь его все сбивается на "предпринимаемый вояж", "нужный вояж", и он говорит о нем задумчиво; а когда другие, не догадываясь, о чем идет речь, начинают шутить над "вояжем", он раздражается

и начинает грубить. Маленькая параллель: ариец Раскольников, "головник" и выдумщик, вовсе, в сущности, не верит "в тот свет", тогда как Свидригайлов... Ну да пусть они сами говорят и высказываются:

"Я согласен, что привидения являются только больным, но ведь это только доказывает, что привидения могут являться не иначе как больным, а не то что их нет, самих по себе.

Конечно, нет! — раздражительно ответил Раскольников.

— Нет? Вы так думаете? — продолжал Свидригайлов, — медленно посмотрев на него. — Ну, а что, если так рассудить (вот помогите-ка): "Привидения — это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а, стало быть, должен жить одною здешнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну, а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме*, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновения с другим миром больше, так что, когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир". Я об этом давно рассуждал. Если в будущую жизнь верите, то и этому рассуждению можно поверить.

— Я не верю в будущую жизнь, — сказал Раскольников.

Свидригайлов сидел в задумчивости.

— А что, если там одни пауки или что-нибудь в этом роде, — сказал он вдруг.

"Это помешанный", — подумал Раскольников.

— Нам вот все представляется вечность, как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, этак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится.

— И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого? — с болезненным чувством воскликнул Раскольников.

— Справедливее? А почему знать, может быть, это и есть справедливое, и знаете, я бы так непременно нарочно сделал! — ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь.

Каким-то холодом охватило Раскольникова при этом ответе" ("Преступление и наказание", изд. 1884 г., стр. 264—265).

Разберемся. Кто из них трансцендентнее? Раскольников *хочет* лучшего мира не потому, чтобы он верил в который-нибудь из них, худший

* В самом деле: нельзя не рассматривать болезнь, как *пошатнутость* в организме стихий, начало, так сказать, *разваливания* "красной глины", которая слеплена около нашего "я" и частью залепляет глаза этому я. Высвобождаясь от нее, очищаясь от комков земли, светлое "я", трансцендентное "я", *по мере очищения* и подымается в ощущении трансцендентности: предчувствия, видения, пожалуй — "привидения", пока, выпорхнув мотыльком из глины, оно вдруг и само становится "озирисом *имярек*", — "привидением" ли, вещью ли, но только по ту сторону "дня" и посещает живых излюбленно "ночью" же. *Что-то такое* есть или возможно.

ли, лучший ли, но чувство и знание Свидригайлова до того поражают его, вовлекают в свой вихрь, нагнетают на душу, что, сущий ребенок в познании "миров иных", он восклицает, он *выбирает*: "о, не это, а — *то*". "То *или* это, но тут надо обдумать". Он заражается простою близостью к трансцендентному человеку: и, светлый грек вчера, сегодня он собирается в Nikeю для составления символа. Вот история, в кратком личном диалоге. Ее пережили народы; ее переживает каждый в личном сознании. Но, может быть, это только басня, "роман"? Может быть, нам нечего ухватить для *себя* и *вечности* из приведенного диалога? Разберемся, посмотримся.

У Достоевского есть дико странный рассказ "Бобок" ("Дневник писателя" за 1873 г., печатается сейчас же за знаменитым разбором некрасовского "Власа"), ни разу не обращавший на себя внимания. Что такое "Бобок"? или "бобок"? Чепуха, ничтожество, но в самом словосложении (т. е. заглавии) вы чувствуете какое-то нахальство. Ну, что же делают в "Бобке":

" — Ваше превосходительство, это просто никак невозможно-с. Вы объявили в червях, я вистую, и вдруг у вас семь в бубнах. Надо было условиться заранее насчет бубен-с.

— Что же, значит, играть наизусть? Где же привлекательность?

— Нельзя, ваше превосходительство, без гарантии никак нельзя. Надо непременно с болваном, и чтоб была одна темная сдача.

— Ну, болвана здесь не достанешь.

Какие заносчивые, однако, слова! И странно, и неожиданно. Один такой веский и солидный голос, другой как бы мягко услащенный; не поверил бы, если не слышал сам. На литии я, кажется, не был. И, однако, как же это здесь в преферанс, и какой такой генерал? *Что раздавалось из-под могил*, в том не было и сомнения. Я нагнул и прочел надпись на памятнике: *Здесь покоится тело генерал-майора Первеедова... таких-то и таких-то орденов кавалера. Гм... Скончался в августе сего года... пятидесяти семи... Покойся, милый прах, до радостного утра*".

Вы чувствуете, что это — свидригайловские "пауки"? Но их суть в том, что на место тона стихов:

Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей ("Евг. Он."),

где мы видим поэта, издали любующегося на чужую веру, но без *своей* веры, — на место всего этого поставлена, конечно, мерзость, но до такой степени насыщенная реализмом, что нигилист Раскольников содрогается и "собирается на Nikeйский собор". "Это в самом деле так, тут нужно подумать". Продолжим несколько цитату, и мы увидим, что рисунок, бесспорно принадлежащий Достоевскому, принадлежит как будто Свидригайлову: его язык, его цинизм, его закон воображения:

— Нет, я бы пожил! Нет... я, знаете... я бы пожил!” — раздался вдруг чей-то новый голос где-то в промежутке между генералом и раздражительной барыней.

— Слышите, ваше превосходительство: наш опять за то же. По три дня молчит-молчит и вдруг: ”я бы пожил, нет, я бы пожил!” И с таким, знаете, аппетитом: хи-хи!

— И с легкомыслием.

— Пронимает его, ваше превосходительство, и, знаете, засыпает, совсем уже засыпает, с апреля ведь здесь, и вдруг: ”я бы пожил!”

— Скучновато, однако, — заметил его превосходительство.

— Скучновато, ваше превосходительство. Разве Авдотью Игнатьевну опять подразнить, хи-хи?

— Нет, уж прошу уволить. Терпеть не могу этой задорной криксы.

— Матушка, Авдотья Игнатьевна, — возопил вдруг опять лавочник, — барынька ты моя, скажи ты мне, зла не помня, что ж я по мытарствам это хожу, или что иное дается?..

— Ах, ах... ах, что же это со мною? — закричал вдруг чей-то испуганный новенький голосок.

— Новенький, ваше превосходительство, новенький, слава Богу, и как ведь скоро! Другой раз по неделе молчат.

— Ах, кажется, молодой человек! — взвизгнула Авдотья Игнатьевна.

— Я... я... я от осложнения и так внезапно! — залепетал опять юноша. — Мне Шульц еще накануне: у вас, говорит, осложнение, а я вдруг к утру и помер. Ах! Ах!

— Ну, нечего делать, молодой человек, — милостиво и очевидно радуясь новичку заметил генерал, — надо утешиться! Милости просим в нашу, так сказать, долину Иосафатову. Люди мы добрые, узнаете и оцените. Генерал-майор Василий Васильевич Первоедов к вашим услугам”. (Изд. 1883 г., ”Дневник писателя” из журн. ”Гражданин”, стр. 49 и след.)

.....

— И неужели, неужели ничего утешительнее?

— Нет, почему же: я непременно бы так сделал. Баня и — пауки.

.....

Теперь, когда после этой выдержки нет никакого сомнения в слиянности Свидригайлова и знаменитого художника, начертавшего его мистически-странный образ, мы можем перебросить мост от бедных, скудных пауков, этого жеста авторской *испуганности собою и зиянием бездн своей души*, — к иным видениям его. ”Бобок” — это в своем роде ”Покаянный канон” Андрея Критского: ”увы мне! горе мне! На что надеяться? Чего заслужил? Кто я? и что делаю?” Но не все видения автора таковы, и посмотрим теперь на совершенно противоположный полюс их:

— Лучше бы ты какой анекдотец! — проговорил Иван.

— Анекдот есть, и именно на нашу тему, т. е. это не анекдот, а так, легенда, — ответил Приживальщик. Легенда-то эта об рае. Был, дескать, здесь у вас на земле один такой мыслитель и философ, "все отвергал, законы, совесть, веру", а главное — будущую жизнь. Помер, думал, что прямо в мрак и смерть, а перед ним — будущая жизнь. Изумился и вознегодовал. "Это, говорит, противоречит моим убеждениям". Вот его за это и присудили. Чтобы прошел во мраке квадрильон километров (у нас ведь теперь на километры), и когда кончит этот квадрильон, то тогда ему отворят райские двери и все простят... Ну, так вот этот осужденный на квадрильон постоял, посмотрел и лег поперек дороги: "не хочу идти, из принципа не пойду!"

— Ну, что ж, и теперь лежит?

— То-то и есть, что нет. Он пролежал почти тысячу лет, а потом встал и пошел.

— Вот осел-то! — воскликнул Иван, нервно захохотав, все как бы что-то усиленно соображая. — Не все ли равно, лежать ли вечно или идти квадрильон верст? Ведь это биллион лет ходу?

— Даже гораздо больше, — вот только нет карандашика и бумажки, а то бы рассчитать можно. Да ведь он давно уже дошел, и тут-то и начинается анекдот.

— Ну-ну, что же вышло, когда дошел?

— А только что ему отворили рай и он вступил, то не пробыв еще двух секунд — и это по часам, по часам — воскликнул, что за эти две секунды не только квадрильон, но квадрильон квадрильонов пройти можно, да еще возвысив в квадрильонную степень" ("Бр. Карамазовы", изд. 82 г., глава "Кошмар Ивана Федоровича").

Секунда эта, указанная здесь и коей только *имя* произнесено, раздвинута в образ в странном и фантастическом полете на новую "звездочку", на такую же "землю", как и наша, но "еще не оскверненную", землю самоубийцы-нигилиста ("Сон смешного человека"). Во всяком случае, два фрагмента — *тот* светлый и *тот* темный, "с пауками", — и образуют мистическое раздвоение, два "пути" после узелка — смерти, перед которыми трепещет или куда рвется душа, вышедшая "из дня" — по египетскому представлению.

Определяя путь ее, выбирая для нее путь, на рисунке (фиг. 11) и взвешивают ее сердце, а птиценосый зверек заносит результаты взвешивания в свою карманную и космически значительную книжку.

IV

Достоевский — это фигура нашей истории, и фигура огромная. Неважно, что "болтал" Приживальщик Ивану ("Бр. Карам.") или чего боялся для себя Свидригайлов, но тот, кто нарисовал и *эти образы*, и тысячи других и с неустанной энергией говорил

— тот уже есть нестираемая точка нашего исторического плана, незатираемая черта и общеевропейского развития, даже развития арийского. Мы знаем семитов как *племя*, но есть еще *семитизм* как точка зрения, как уклон внимания, и на него-то вступил Достоевский. В его лице мы наблюдаем вдруг характерную голову еврея, не наших проходящих дней, но древнего еврея, вырезавшуюся среди светлого и беззаботного ария "Квадрильон лет скитаний" — как это характерно! "Квадрильон лет сомнений, поисков Бога в Европе, тысячи бессильных апологий, апологий еще со времен Тертуллиана, т. е. живого язычества, значит в самой колыбели христианства, и всегда бессильных! Дикое зрелище: Бог не может уловить человека! Бог не может прикрепить к Себе человека! Однако от Тертуллиана до Боссюэта и до наших дней непререкаемо свидетельствуют об этом все апологии, эта бессильная ловля человека в тенета веры. "Бог с нами", "с нами Бог и повинуйтесь языцы": ведь вот настоящее и к настоящему Богу отношение, коего неверие не может коснуться. В Достоевском забился ключ этой особой религиозности: создатель характерных фигур, не повторяющихся еще нигде в литературе, от Свидригайлова до Грушеньки" ("Бр. Кар.").

Достоевский, умирая, говорит жене:

— Открой Евангелие и прочти.

Анна Григорьевна повиновалась. Открылось Матф., гл. III, ст. 11: "Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду".

Когда она прочла это, Федор Михайлович сказал: ты слышишь — "не удерживай" — значит, я умру. И закрыл книгу. Предчувствие в самом деле не обмануло его. За два часа до кончины он заповедал передать это Евангелие, бывшее с ним в каторге, своему сыну" (Биография и письма, стр. 324).

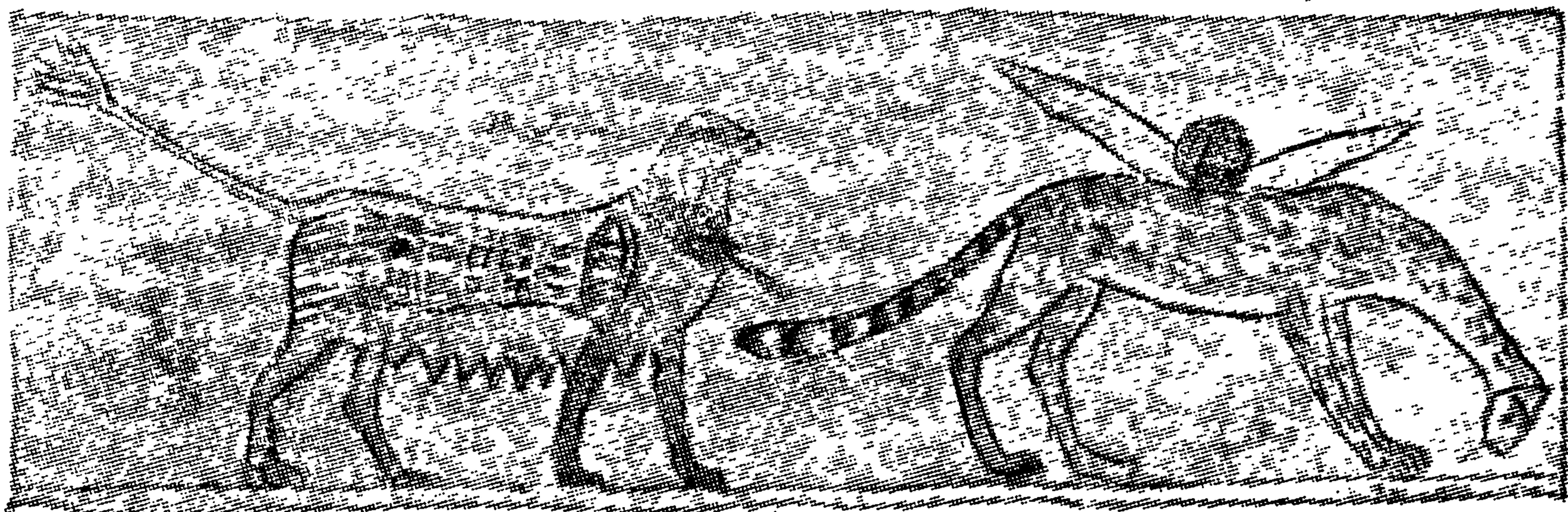
Вот и вся история "Египта" — у постели умирающего петербургского литератора.

В *pendant** к этому так и просится строка из частного письма Достоевского: "живуч (я) как кошка, тревога, горечь, самая холодная суетня, самое ненормальное для меня состояние, и вдобавок — один, — прежних-то и прежнего, сорокалетнего, нет уже при мне. А между тем все мне кажется, что я только что собираюсь жить! Не правда ли: кошачья живучесть?" (письмо к А. Е. Врангелю — см. "Биогр. и письма", ч. I, стр. 282).

"Кошачья живучесть", т. е. как у Египта, который и поклонился *этой своей* и общей космической "живучести":

" — Нужно жизнь полюбить больше, чем смысл ее...

* дополнение (*фр.*).



Фиг. 14

— Непременно так, полюбить прежде логики, и тогда только я и смысл пойму. Вот что мне уже давно мерещится” (“Бр. Кар.”).

Вот что и нарисовано египтянами на этом фантастическом рисунке, который Масперо так смешно истолковывает: “quelques-uns des animaux fabuleux qui habitaient le désert d’Egypte”*(vol. 1, p. 85). Ну, где же они “habitaient”?.. Взять “колос”, опять “клеточка”, конечно с “угольком”, “душою” в ней. И вот “крылья” как вечное стремление в “таинственный вояж”, “выйти из дня”, или как ту же мысль, но мертвенно-скучно (философски) перефразировал Платон: “тело есть темница души, которую оставляя, она радуется” (“Федр”, “Федон”). Платон недоглядел в Египте: молчание фивских и гелиопольских мудрецов он принял за скорбь о жизни, скорбь над телом. Какая ошибка!

Он не разглядел, что вечно молчаливые египтяне лишь преднамеренно через свое молчание сковывали в себе “пророчество”, “восторг” и, не изглаголав его, как семиты, через Исаию или Иезекииля, пророчествовали в пирамидах, через труд — это четырёхтысячелетнее упоение созиданием, коего фундаменты мы не можем вырвать из “матери-земли” в течение 2000 лет. Пирамиды... нужно же было чем-нибудь, каким-нибудь невероятным трудом, противоестественной тяжестью придавить, удержать около земли и, наконец, просто ввести в русло, благоустроить то опьянение души “мыслями”, тот оргазм, какой, загоревшись в одном Достоевском, наделал столько хлопот либеральному нашему квиетизму. Достоевский... куда его деть? как с ним справиться? *Один* — он сильнее всех и в 60 лет пишет лучшее и глубочайшее творение (“Бр. Карамазовы”), он еще перед могилою “пророк” (Пушкинская речь), как, впрочем, и всегда “пророк” же.

* “Какие-то сказочные животные, которые жили в египетской пустыне” (фр.).

Во всяком случае, "тот свет" *есть*, как и учили египтяне, даже без всякой перемены против здешнего, только "высоко-высоко над землею"; и "облака" те же и как будто "не те же"; и "серп месяца", а "как будто" и "не месяца"; "сон" ли, "действительность" ли? Но щемит сердце и так легко бегут ноги, как никогда на земле! "Квадрильон верст прошел"... и не заметил, по крайней мере не устал...

Да ведь *чему же* и улыбаются умирающие, решительно все, и как бы ни была тяжка болезнь, в секунду самого умирания, т. е. когда частью уже отделились от земли? Все улыбаются, переходя в невыразимую *радость*. И вот еще наблюдение: все совершенно бесспорно умирающие вовсе не чувствуют, что они умирают, т. е. *знают и видят до очевидности каким-то внутренним ощущением, что не умирают и жизнь перед ними... без конца!* Я видел Страхова, я наблюдал, ужасался: тело трепетало, тело уже не было "в живых", что же он делал? Я нагнулся ухом, чтобы расслушать лепет: "опечатка, ужасная опечатка, ну что это, 61—63". Я не буквально помню, и могу ошибиться *в годе*, но он жаловался, что на обложке "Из истории литературного нигилизма" (его сочинение, в 90 г. изданное, т. е. несколько лет назад) проставлены не те "годы нигилизма". Что-то в этом роде, я не справлялся, но эта как бы "игра в смерть", почти в могиле, меня поразила и я ее видел. Ибо Страхова не было, был труп барахтающийся, задыхающийся. Да, это было *для меня*, а для него — *вечная жизнь*, и без *всякой перемены*, с "опечатками" и "борьбою с нигилизмом". Я видел умирающего Шперка, начитанного в медицине (отец — доктор, да и сам он любил и почитывал обо всем физиологическом). *Ватный халат* на нем промокал (изнурительный пот в скоротечной чахотке), — кажется бы, *осязательно?* Кто же бы *не узнал*, чем болен, но ведь он шел в "champs Elysées" и жена подслушала ночной разговор его с собою: "что бы это у меня было? Рак?" Т. е. у него никакого не было ощущения чахотки. Больно — да, было больно, как мы, когда защемим руку и кричим. Но ведь от "защимки" не умирают, и он *знал и видел, что не умирает*. "Выход из дня" и только, так и формулировали египтяне. Свечерело; закатилось солнце; вчера еще для них настоящее, сегодня еще настоящее, а завтра — наше превратилось в стеклянное, в большой красный шар, *а настоящее-то и осталось*, и вот они, Шперк и Страхов, и побрели за ним "в страну Аменти", "на запад", куда через Нил перевозили дорогих "уснувших" египтяне. Да чтобы невежды-живые не вздумали принять их за метвых! Пожалуй — ограбят, отрубят палец с перстнем, отнимут руку, голову: а он — жив. Что тогда будет делать? Произойдет настоящая смерть, ужасная смерть, возмутительное убийство, — вечное, потустороннее, из коего — уже нет возврата! И вот философия, то бишь — вот истина, которая побудила их укреплять могилы *как крепости*, возводить над усопшими почти *бастиионы*, да и в них-то еще хитрейшим образом *прятать* их. Ведь "костям"-то "надо ожить", да даже и *суть* они, *живы*.

Нужно бы чем-нибудь, как-нибудь, из мира совершенно *несродных* наблюдений, подтвердить это. Что-нибудь — из "профессорского" плода.

Ума холодных наблюдений,

и без всяких

Сердца горестных замет.

Нам попались два места, одно из книги г-на Победоносцева ("Московский сборник", Москва, 1896 г., стр. 189—195), а другое из книги Шаховского о Гилярове-Платонове, что дает универсально-философское подтверждение сказанному. Приведем оба фрагмента.

"...Карус, в своем известном сочинении "О душе" говорит, что ключ к уразумению существа *сознательной* жизни души лежит в области *бессознательного*. В своей книге он исследует взаимное отношение сознательного к бессознательному в жизни человеческой, и высказывает много глубоких мыслей. *Божественное* в нас, — говорит он, — что мы называем душою, *не есть что-либо раз остановившееся в известном моменте, но есть нечто непрестанно преобразующееся в постоянном процессе развития* (читай: "движения"), *разрушения и нового образования...*"

Душа — летит, вот её суть; она — с крыльями, конечно, не ястребиными, — не в этом дело, не в фетише; она — слияние гибнущих и рождающихся миров, и, словом, летит над землею и морем, под небом, в облаках. Не это, но вроде этого.

"...Сознательная жизнь человека разлагается на отдельные моменты времени, и ей доступно лишь смутное представление своего существа в прошедшем и будущем, настоящая же минута от нее ускользает, ибо едва явилась — как уже переходит в прошедшее. Приведение всех этих моментов к единству, сознание настоящего, т. е. обретение истинного твердого пункта между настоящим и будущим, возможно лишь в области бессознательного, т. е. там, где нет времени, но есть вечность..."

Зерно, конечно "крылатое", есть "я" *praesentis*, но и не *память* ли прошлого? И не оно ли, и притом не *одно* ли только оно в целом мироздании и по существу, полно "мечтаний грядущего"? Карус плетет отвлеченную белиберду, когда есть совершенно *определенное и живое*, к чему его слова относятся, что собою покрывает смысл его слов; да зернышки-"боги" Египта так все и говорят о себе: "я есмь то, что было, что есть, и что будет" (в "Золотом осле" Лукиана — Изида о себе, и, по свидетельству Платона, такая же надпись была и на статуе Нейт в Саисе; вообще — это трюизм египетских надписей, т. е. мысль их бродит, или, точнее, мысль Каруса бродит около египетских идей). Известные мифы греческой древности об Эпиметее и Прометее имеют глубокое значение, и недаром греческая мудрость поставляла их в связь с высшим развити-

ем человечества. *Вся органическая жизнь напоминает нам эти две оборотные стороны творческой идеи в области бессознательного. И в мире растительном, и в мире животном каждое побуждение, каждая форма дают нам знать, когда мы вдумываемся, что здесь есть нечто возвращающее нас к прошедшему, т. е. явившемуся и бывшему прежде, и предсказывает нам нечто имеющее образоваться и явиться в будущем...*"

Ну, не об "Нейт" ли Сайса говорит Карус?..

"...Чем глубже мы вдумываемся в эти свойства явлений, тем более убеждаемся, что все, что в сознательной жизни мы называем памятью, воспоминанием, и все то в особенности, что называем предвидением и предведением..."

Т. е. зерно? "глаз"?

"...Все это служит лишь самым бледным отражением той явности и определительности, с которою эти свойства воспоминания и предвидения открываются в бессознательной жизни.

В сочинении Каруса исследуются случаи, в коих сознательная жизнь души, приостанавливаясь, переходит иногда внезапно в область бессознательного. Замечательно, говорит он, внезапное и непроизвольное возникновение в нашей душе давно исчезнувших из нее представлений и образов, равно как и внезапное исчезновение их из нашего сознания, причем они сохраняются и соблюдаются однако в глубине бессознательной души. Представления о лицах, предметах, местностях и проч., даже иные особенные чувства и ощущения иногда в течение долгого времени кажутся совсем исчезнувшими, как вдруг просыпаются и возникают снова со всею живостью, чем и доказывают, что в действительности не были они утрачены..."

Вот второй отрывок:

"От одного замечательного русского ученого слышал я замечание, что сочетание полов под разными видами и наименованиями проходит по всему мирозданию: не только в животном и растительном царстве, но и в химических процессах и механическом движении светил формула все та же одна везде, говорил он, поясняя этот закон опытами и математическими выкладками. Глубоко мне врезалось это замечание, полное развитие которого в научном отношении должно бы составить эпоху" (Кн. Н. В. Шаховской. Памяти Никиты Петровича Гилярова-Платонова. Ревель, 1893 г.).

Поразительно, что человек такого замечательного ума, как Гиляров, и удивленный сообщенным ему, ни одним словом и особенно примером не иллюстрировал сообщения, и, так сказать, Америка потонула перед самым носом открывшего *было* ее Колумба. Пол космичен. Мир, космос — жив, жизнен; он не существует резонно или логически, но *живет*. В нем "бе живот": он *животен*. Мы прямо утыкаемся в Апокалипсис: "не знаю, что видел: лицо ли орлиное, тельца ли лик, или льва, но был тут лик и человека"; все "исполнено очей", "снаружи и внутри"; и, "взывая свят, свят, свят, они в вечном движении были перед Престолом Божи-

им". Теперь, насколько в нас струится *жизнь*, мы — *муже-женски*, и это не есть феномен нашего здешнего бытия, но ноумен тамошнего, "о коем мы здесь "есмы и существуем". Феномен исчез (смерть): что же осталось? Ноумен, т. е. один *пол*, податель жизни, родник на земле жизни, "который не принимает в себя начала (принципа), противоположного себе" (Платон) и есть в смертном начало бессмертное. Когда так — все понятно: смерть есть закрытие органов ощущения, земных очей, земного уха, земного обоняния, земного осязания, но тотчас открываются в вечном роднике зрения, осязания etc., т. е. в рождающем все это поле, вечные очи, вечное осязание, вечный слух, — фундамент земных феноменов, корень общий цветов в этот год, в тот год, во все лета жизни. Есть над землей растеньице годовалое, но есть под землею его же многолетний корень: есть человек многолетний, но под ним — вечный пол. Тогда "выход из дня" в чем же должен выразиться?

Мы должны забыть мир, "забыться": это есть неперемное условие, и даже дикие животные, избирая ночь, забиваясь в чащу леса, ищут и *создают* себе, *уготовляют* какой-то странный "субботный", "отрешенный" "покой". И во всяком случае, что бы мы ни взяли для сравнения, — успехи тщеславия, победы ума, владычество или господство над людьми, — любовь тем отличается от всего, что, хотя во время ее мы служим и бесконечно готовы служить другому, мы этим служением счастливее, чем всяческим господством. Любовь есть сладостное служение, сладость служения, рабство, которого ищут и в котором забываются владыки мира. С тем вместе самый могущественный человек, любя, вдруг теряет остроту зуба, крепость когтя: алчная покорность появляется у Тамерлана, если только он любил и пока любил. Все это — странные феномены: мир теряет яд и горечь, входя в ее вихрь; он, в этом вихре и в направлении его, очищается от греха, становится безгрешен. Дездемона, обманывающая Отелло, — возможно ли? или Офелия, злоумышляющая против Гамлета? И каждое беднейшее на земле существо проходит через этот нимб Офелии и Дездемоны, т. е. в некоторый миг своего бытия, часто уничижительного и горестного, оно вырастает в величину шекспировских сюжетов. Не будь это чувство космическим, оно было бы присуще некоторым, но, составляя самую суть жизни, оно обще всему живущему. Переход любви в рождение есть как бы земная эманация?, на землю проливание существенно неземного, потустороннего начала: из него рожденный берет в себя потусветную искру, но уже в меру этого родивший лишается ее. "Не рождая", в будущем веке человек весь перейдет в ощущение переполненного существования, любовь и нежность, которая уже не истощается. Это будет вечная влюбленность без обладания, без разрешения, тот нимб непорочнейшего сияния, коим на земле она начинается и часто очень долго длится.

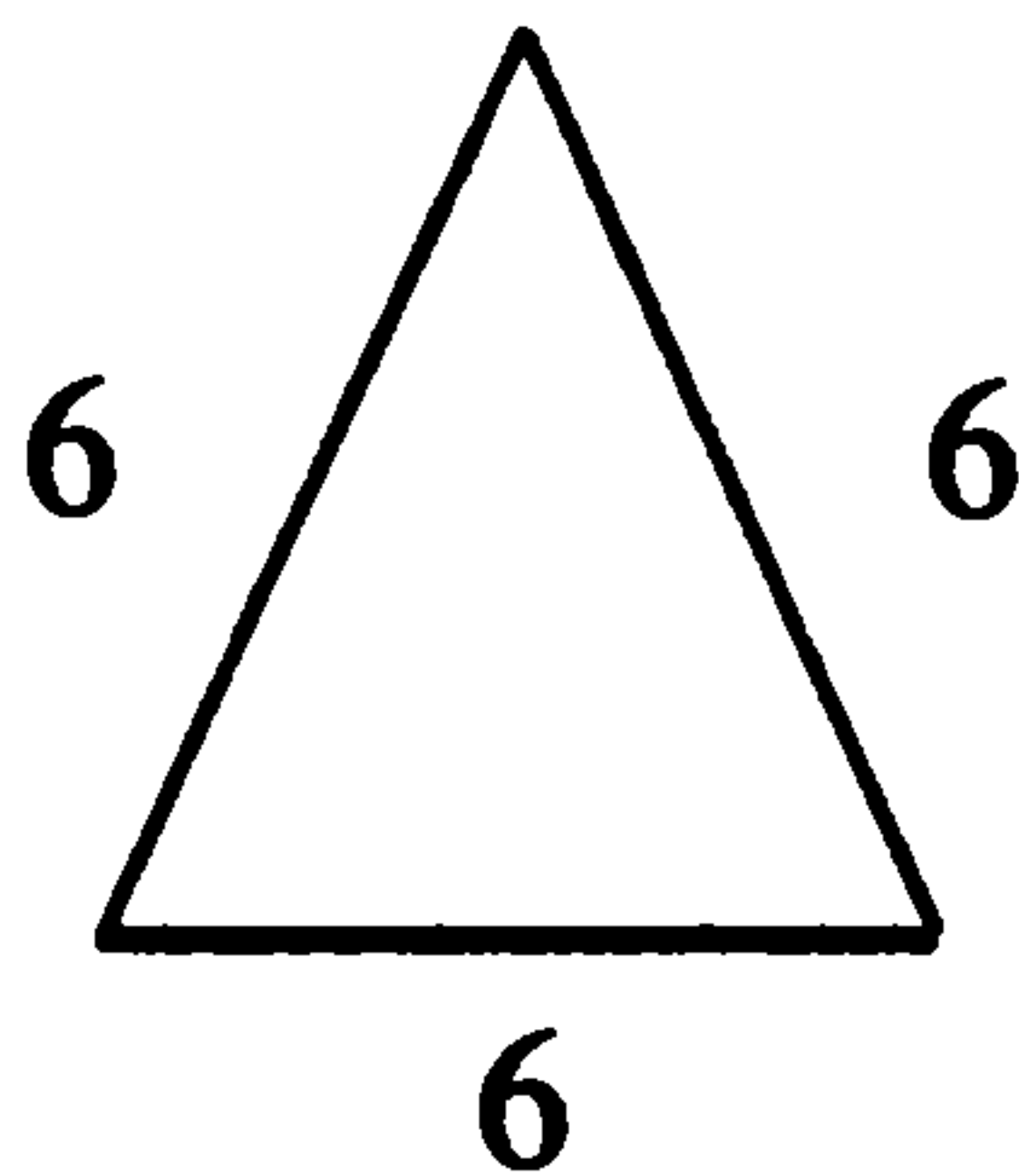
ОБ АПОКАЛИПСИЧЕСКОМ ЧИСЛЕ

Число это — *человеческое*. Кто имеет разум — прочти его.

Апокалипсис

Это — субботнее число и вместе число древа жизни (закрывающее мысль его). Его следует читать не "666" ("шестьсот шестьдесят шесть"), а "6" "6" "6" ("шесть", "шесть", "шесть") — день сотворения человека Богом. Таким образом, оно равнозначает троекратному восклицанию: "суббота! суббота! суббота!" — и сливается с восклицанием Бога к человеку (Исход, Второзаконие): "ей — человеке, помни Мои Субботы". Признание человеком мысли этого числа ("И поклонятся ему все живущие на земле" — Апокалипсис) выразилось бы ответным: "Ей, Господи, помним Твои Субботы". Почему цифра эта "6" — троекратно повторена?

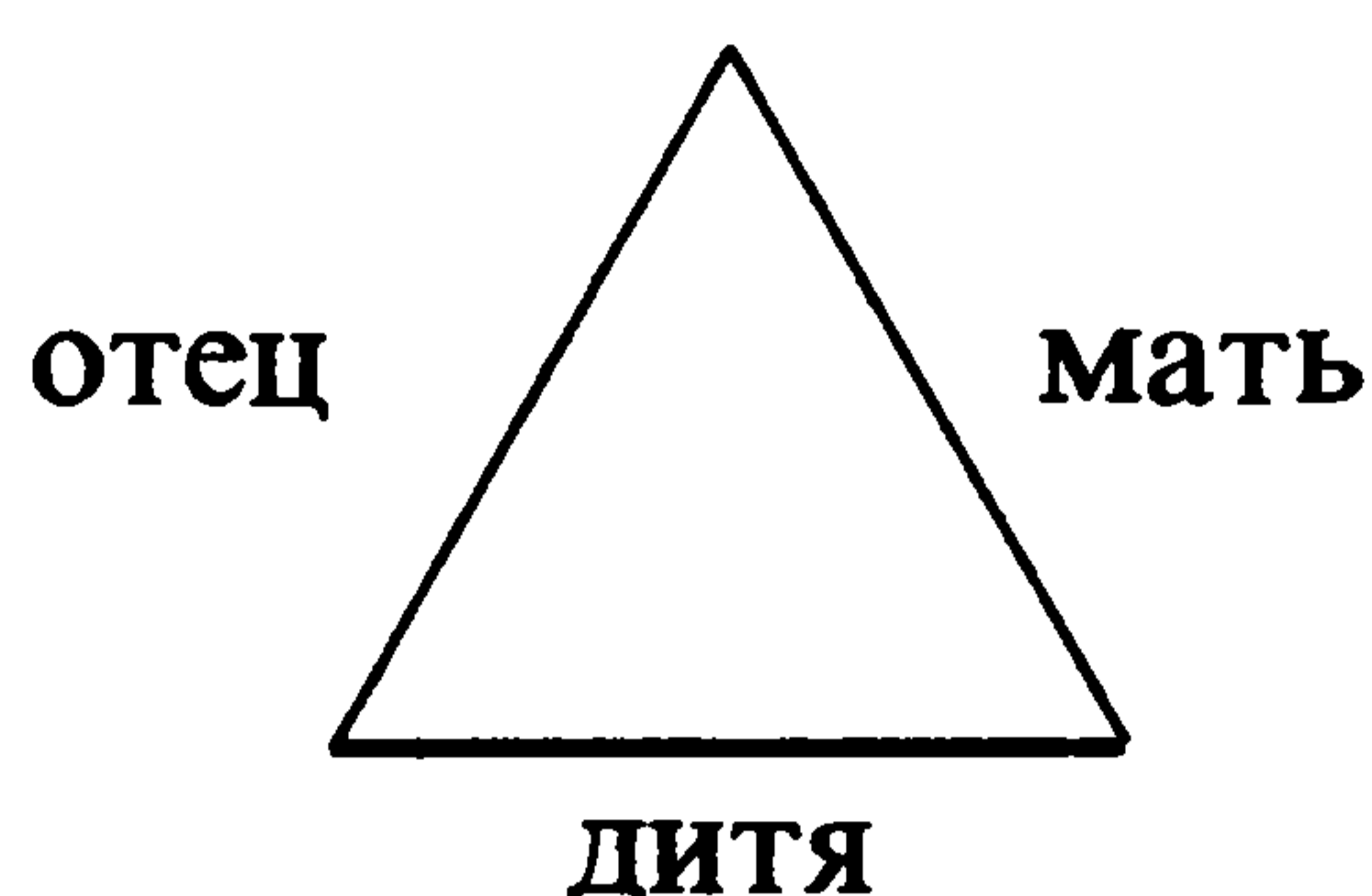
Это — треугольное число и в качестве такового есть число древа жизни. Настоящее расположение цифр следующее:



Мы знаем, из изображений на наших образах, что "треугольником" символизируется Существо Божие; треугольником — и помещенным внутри его Всевидящим Оком: существо Бога — как Провидения мира, как Ведущего и Ведущего мир. Мы не будем повторять этого изображения: каждый увидит его в храме, найдет у себя на старом образе. Что, однако, обозначает "треугольное шесть"? Почему это — число древа жизни?

Но что же такое "жизнь", как не "творение", не творческий принцип и самый акт сотворения, одушевленный этим принципом? И какой есть образ, образец и идеал этого сотворения, как не сотворение Богом человека, т. е. опять же "суббота". Мы в высокой степени затруднены дальнейшим толкованием, потому что гебраисты и богословы как-то немые в понимании "еврейской субботы" и, в сущности, не знают, в чем именно и главнейше она состоит. Идея, что она есть "праздник" в нашем смысле, т. е. "день отдыха после шести дней мускульной и мозговой усталости", едва ли правдоподобна по некоторым особенностям празднования ее. Именно еврейский ритуал (возжжение "свечей", "свечильников" в дому — по числу детей в семье) показывает, что это есть какое-то сосредоточенно-семейное торжество, "радость дома", может быть, поэзия и философия "дома", объединившаяся в его "религию". Напр., тогда как мы избираем "праздник" для усиленного "принятия к себе гостей" и "хождения сами в гости", т. е. или для "ухода из дома",

или "растворения дома для внешних людей", — еврейский "дом" в субботу разобщается с внешним миром, "замыкается в себя", "собирается в себе". Он — сосредоточивается, и "суббота" есть как бы день "прекрасной небесной задумчивости семьи", "минута — созерцательности". "Шел, шел человек и вдруг остановился и — задумался"; вот это и есть "суббота". Но здесь "задумывается" не индивидуум, а — семья: число светильников есть непременно число детей, с этой точки зрения "треугольное шесть" получит в отдельных своих сторонах разные наименования:



И каждый из них взят в "субботнем" смысле, в смысле восхождения к "единству", к стороне одного "треугольника": к покою и радости согласия. "Се — мое, а то — мое же" — в дни суеты и работы. Здесь, в "субботу", все — "наше" и "мы", образ и подобие Божие, т. е. образ и подобие Всевéдущего и Всеведúщего Ока, — сами есьмы в отражении и миниатюре "троица единая и нераздельная". Но это "семья" в мистическом ее слиянии есть, конечно, "листок" на древе жизни, насколько человек и человеческое "растут", "само-творяются", конечно, неназванною связью с "древом жизни", затворенным от него в раю. "Аще вкусят от древа жизни — не умрут" (Бытие), т. е. "древо жизни" есть сила жизни, есть тайна жизни: над чем гадают, и до сих пор бессильно, ученые. Но если познание тайны жизни недоступно для человека, то продолжение "тайны жизни" доступно человеку и без нее, немедленно по изгнании из рая, человек просто бы умер. Смерть есть перерыв нити между "я" каждого и "древом жизни", как рождение (собственно — зачатие) есть завязь, соединение в узел, "я" родителей с нитью от древа жизни. Тогда на "древе человечества" вырастает новый лист — "младенец". Треугольное "6" "6" "6", по-видимому, и выражает слияние человека с дрeвом жизни, т. е., как в Бытии и Апокалипсисе равно указано, — полное и целостное возвращение человеку "древа жизни", теперь лишь частично и минутно ему доступного.

Борьба, указанная в Апокалипсисе около этого "числа человеческого" (т. е. имеющего специальное какое-то отношение к человеку), будет борьбою за обладание "древом жизни", к которому путь, наконец, откроется человеку, но досягнувание до него будет затруднено, задерживаемо: а Некоторый, кто откроет этот путь, — и поведет борьбу; и о Нем заговорят: "кто подобен Ему — Он дал нам огонь с небеси". Этот "небесного происхождения огонь" и есть "живая вода", "вода жизни",

о чем смутное предчувствие есть во всех человеческих сагах, но полнее всего выражена и изображена в самом конце Апокалипсиса. Он так известен, что мы не станем приводить здесь строк. Но "откровение" Иоанна, и с твердым в нем указанием, что оно относится к "последним судьбам человека и мира", — в самом деле оправдывается из этой интерпретации загадочного числа, какое мы здесь сделали. Конечно, доступ к "древу жизни", уже не ограниченный, но полный, и вкушение "живой воды", которая откроет человеку вечное бессмертие здесь же, на земле, "преобразует человека" и "преобразит землю". — "И будет земля новая и небо новое; а прежнее — совется" (Ап.). В этом смысле весь Апокалипсис можно рассматривать, как очень обширный, но уже не умственный, а иносказательно-реальный комментарий к "апокалипсическому числу": именно в видениях и через фигуры в нем показан уже самый путь к "древу жизни" и предсказано человеку, что он овладеет и, пожалуй, как овладеет закрытым, после грехопадения, "древом вечного дыхания".

"Тогда все объяснится", — говорит Иоанн. Он знал это "объяснение". Наука и философия тщетно его ищут, и, в общем, одна и другая все только "гадают" около и в направлении к "древу жизни". — "Бог взял семена из миров иных и насадил Сад Свой на земле; но все, возвращенное на земле, живо лишь касанием таинственным мирам иным. Если умирает или умрет в тебе сие чувство — то возненавидишь жизнь свою" — так устами старца Зосимы Достоевский выразил чувство "древа жизни" и, пожалуй, дал маленький комментарий к загадочному числу. Пессимизм, уныние, отчаяние — суть симптомы полуперерезанной нити, связующей "я" каждого из нас с "мирами" ли "иными" или, точнее, — с "древом жизни"; радость (безотчетная) есть симптом укрепления и, так сказать, утолщения этой соединительной нити. Всякая радость на земле ("безотчетная", "без видимых поводов") есть предварение той окончательной и насыщающей, вечной радости, коею заключится жизнь человека на земле; это (т. е. в безотчетных случаях) — небесная и райская радость ("не знаю чему — но весело") как предвкушение в отношении "зари" к "солнцу". Так что "заря" собственно "будущего века", "апокалипсического века" уже теперь никогда не сбегает с земли и собственно земля этою зарею живет и поддерживается: отсюда — "поэзия" (лучшая — "безотчетная"), т. е. в смысле зари, и необыкновенная привязанность к ней человека. Да и вообще вся земля "переводит дыхание" и "не может умереть" предчувствием этого другого, "апокалипсического", еще не поднявшегося над горизонтом, покуда — "исподнего", "под землю движущегося", "в ночных странах солнца", но которое ощущается бедными растеньицами-человеками.

ПРОРИЦАТЕЛЬ ВАЛААМ

Кн. Числ XXII—XXV. Сочинение епископа Серафима.
Спб., 1899 г., XI + 336, стр. Цена 1 руб.

Древности Ассирии, Вавилона, Финикии, Египта составляют интереснейшую часть истории, быть может даже более интересную, чем ясно расчлененный греко-римский мир. Палестина и главный ее памятник, Библия, составляют часть этого погибшего целого, дробь когда-то живой и полной, личной единицы. Музыка души тех народов только и сохранилась до нас в Библии: это — образ Руфи, которая была не израильтянкою, а моавитянкою; фигура Ревекки, которая была халдеянкою; вдовицы сарептской, у которой остановился гонимый пророк Илия, эта была родом и религиею финикиянка. Общее у этих народов — постоянное богообращение души, умиление, молитва, которые так мы чувствуем решительно во всех речах этих людей, даже чисто светских, чисто земных. Религия, разлившаяся по земле, молитва, в весеннюю ростепель затопившая луга Месопотамии, Сирии, дельты Нила — вот что такое, в переложении на грубый образ, эти страны. Книга епископа Серафима, на пространстве 336 страниц комментирующая всего четыре библейские главы, — о месопотамском маге Валааме, позванном моавитянами для произнесения заклинания против Израиля, а вместо этого произнесшем благословляющее пророчество о нем, — наполнена богатым археологическим, филологическим и частью психологическим материалом. Любитель Востока находит тут истинные "заливные луга" для чтения и для восхищения — то философского, то религиозного. Например, как вам нравится эта покаянная молитва, найденная на аккадийской надписи и сопровождаемая подстрочным ассирийским переводом: ибо язык автохтонов, аккадийцев был уже темен за древностью самим авторам клинообразных письмен. Молитва называется "Воздыхания кающегося сердца", — и посмотрите — ведь это тон и мысли "Покаянного канона" Андрея Критского, тут уже есть "Господи Владыко живота моего":

Господь мой, пусть утихнет ярость его сердца...
Бог, ведущий сокровенное, да умилюстивится.
Я вкушаю пищу злобы,
Я пью воды сердечной тоски.
Преступлением против моего бога
Я питаюсь по неведению.
В преступлении (прегрешении) против моей богини
Я по неведению иду вперед.
Господи, мои пороки весьма велики,
Весьма велики грехи мои!
Боже мой, мои заблуждения весьма велики,
Весьма велики мои грехи...
Боже, ведущий сокровенное,
Мой беззакония весьма велики, весьма велики грехи мои.

Я совершаю беззакония по неведению.
Я совершаю грехи незаметно.
Господь во гневе своего сердца
Поражает меня смятением.
Бог, ведущий сокровенное,
Угнетает меня.
Я склоняюсь во смирении,
И никто не подает мне руки.
Я обливаюсь слезами,
И никто не берет меня за руку.
Я вопию в молитве,
И никто не внимлет мне.
Я бессилен, подавлен,
И никто не искупляет меня.
Я приближаюсь к Богу, создателю моему,
И выражаю скорбь в жгучих словах.
Господи, помилуй.
Богиня, помилуй.
Боже, ведущий сокровенное, помилуй.
Богиня, ведущая сокровенное, помилуй.
Господи, не отринь раба твоего.
Среди бурных волн поспеши ему на помощь.
Ухвати его за руку!
Я совершаю грехи,
Ты обрати их в благочестие.
Я совершаю пороки,
Развей их ветром.
Мои хуления весьма велики,
Как покрывало раздери их.
О, Боже мой, моих грехов седмижды-семь,
Прости мои грехи!
Богиня, ведущая сокровенное,
Моих грехов седмижды-семь, прости мои грехи.
Прости мои пороки.
Возвести свой суд

(стр. 102; заимствовано из Lenormand. Magie. S. 63—67).

По крайней мере, пять тысяч лет древности, а по тексту этому хоть бы и сейчас молиться: до того он свеж и, так сказать, психологически сегодняшен.

Верно, как и заметил Екклезиаст: "все, о чем мы захотели бы сказать: вот это — новое, было уже в прежних веках".

К трудам епископа Хрисанфа ("Религии древнего мира") и г. Георг. Властова ("Священная летопись народов") труд епископа Серафима есть прекрасное продолжение, и думаем, что он не останется одиноким, а позовет с собою и другие археологические труды в этом же роде. Востоком начинают у нас все более интересоваться.

КУЛЬТУРА И ДЕРЕВНЯ

Сельская школа. Сборник статей С. А. Рачинского.
Издание третье, дополненное. Спб., 1898 г.

I

Мы, русские, страстны и нетерпеливы: "деревня и деревня", — твердят одни из нас, твердили в 60-х, в 70-х годах; "интеллигенция и интеллигенция", — возражают другие, возражали первым в те годы и посейчас. Нам не представляется возможным их синтез. Мы думаем в обоих случаях об "искоренении": "православный мужик" зовется именно для искоренения "интеллигенции", как персидский порошок покупается для истребления насекомых; обратно — "интеллигенция" зовется и благословляется как самое едкое вещество, способное преобразить "святую скотину" (квалификация крестьян в покойном "Деле") в "просто человека", в "обще-человека". Самый мирный народ, русский, выделил из себя самое страстное, нетерпеливое, односторонне образованное общество, которое дышит не миром, но нравственным, духовным истреблением.

Кто несчастием, профессией, общественным положением вынуждается долго дышать этою атмосферою духовного убийства, не может в конце концов не почувствовать к ней глубочайшего отвращения; нужно заметить, что самую нервность своею эта атмосфера в высокой степени заразительна: незаметно она просачивается в ваш мозг, преобразует мысли, давит на сердце; еще вчера рассеянно-снисходительный, вы сегодня начинаете смотреть на все с недоверием. Тысяча утонченных и искусственных подозрений отравляет наше существование. Вы слышите залихвацкую фабричную песню: "Погиб русский мир", "погибло православие"!; они поют не про Стеньку, а вот —

Из-под лодки плывут рыбки,
Точно милого улыбки.

Вы читаете надпись, на стеклянной двери вагона, на финском и шведском языке: "Вот куда пробрался сепаратизм". Я не спорю, быть может, тут есть сепаратизм или тенденция к нему: я говорю о бедной душе русского интеллигента, которая, провращавшись десяток лет среди интеллигентных вопросов, становится печальна и черна, как пропускная бумага, положенная на чернильное пятно. И между тем реакция к свету вечна в душе человеческой; если в человеке есть силы, если вовремя приходит к нему сознание (собственно — успокоение), он восклицает невольно: "где я?", "кто я?" Наконец, в худшем случае, если он не имеет силы освободиться от мучающих его мыслей, который так очевидно не "сберег" его индивидуальную душу, а "погубил" ее.

Все безумие разделения и противоположения "интеллигенции" и "народа" яснее всего сказывается в том, как жадно, несмотря ни на какие теоретические воззрения, интеллигенция липнет к огромному народному телу. Неутомимость народных учителей и учительниц; самоотвержение врачей; "серая земская работа" — все это имеет основанием под собою ту тайну, что каждая отравленная, мятущаяся интеллигентная душа незаметно успокаивается, оздоравливается, как только прилипает к тысячелетней тиши и покою этого огромного народного тела; к покою и тиши и к относительной невинности (несмотря на точащие народное тело чирьи). Мы — да будет позволено это сравнение — чуть-чуть, но "причащаемся" тела народного "во исцеление души и тела" собственного: отсюда — эта бодрость, эта свежесть, какую мы чувствуем после годов и десятилетий труда здесь. Г. Антон Чехов написал "мужиков"; мрачно изобразил их: но пошлите его в деревню, и ни одного дня он не отнесется к ним с тою сухостью и деревянностью практического воздействия, какие должны бы вытекать из его мрачной живописи. Т. е. самая живопись эта есть "именно расплывшееся в душе автора городское (чернильное) пятно, городская скорбь и печаль"; но — как и все русские — он так любит деревню и мужика, что эту скорбь и печаль понес в деревню, перенес на мужика; и в свете субъективного горя все фигуры прошли черными китайскими тенями. Вот причина, почему все — городские писания на народные темы — печальны; обратно, деревенские изображения даже интеллигенции — уже радостны. Ведь они пишутся "после причастия", в светлый вечер радостного дня: Тургенев и Толстой — какие светлые картины нарисовали, один — умственных волнений наших, другой — Москвы и Петербурга.

II

Чтение книги, лежащей перед нами, производит именно это оздоравливающее впечатление. Несколько дней, которые вы проводите за нею, вы как бы странствуете по лесам и лугам русского простора, вне всяких впечатлений от ужасной возни, колесного стука, керосинного и фруктового запаха, который одуряет ваши нервы на улицах которой-нибудь из столиц. Атмосфера книги необыкновенно чиста; и эта чистота незараженной природы смешивается здесь с несколькими сухими, акварельными, но опять же чрезвычайно чистыми влияниями, которые на тишь нетронутой природы несутся из высших сфер культуры, цивилизации. Книга эта — одна из самых замечательных, и, может быть, не только за наше время, но и за наш век; как и личность, за нею стоящая, есть бесспорно одна из самых светлых, безупречных личностей нашего времени и, быть может, нашего века.

В предисловии к "Истории политических учений" Б. Н. Чичерина, юриста, философа, публициста и (недавно) математика, есть несколько

горько разочарованных слов, глухо уведомляющих о какой-то истории, заставлявшей его, "нас" покинуть кафедру Московского университета. Это — какая-то закулисная история; Катков, в то время — в половине 60-х годов — только что начавший входить в силу, крича направо и налево о тысяче "интриг", которые подкапывали его положение и аренду, устроил какую-то интригу в университете или против университета, плодом коей был выход (негодующий и добровольный) в отставку четырех замечательнейших и независимых профессоров: Чи-черина и Капустина — юристов, С. М. Соловьева — историка, С. А. Рачинского — ботаника. Давняя история; на эти фигуры четырех замечательных человек, которые — по молодости ли лет, по нравам ли времени — сейчас снялись группой в фотографии, пишущему строки эти пришлось любоваться в Татеве, родовом имении Рачинских, на границе Ржевского и Бельского уездов (Тверской и Смоленской губерний). Тут же ходил сутуловатый старичок, с живыми движениями, взглядами, быстрой энергичной речью, — это и есть автор книги; а его молодая фотография — с прекрасным, каким-то удивительно чистым лицом, в задумчивой позе — была в группе профессоров-протестантов. Все четыре профессора, выйдя в отставку, получили прежде всего море досуга; последний из них, сейчас или несколько времени спустя, вернулся в родное свое Татеево. Почти случайные посещения местной крестьянской школы открыли ему бездну несообразностей в преподавании; он стал поправлять учителя; поправлять... поправлять... и незаметно для себя он вошел в мир школьно-крестьянский; наконец он перешел, т. е. переселился, из богатого барского дома, с чудной библиотекой, картинами, с его собственной богатой ботанической библиотекой, — в бедную деревянную постройку сельской школы, vis a vis с церковью; здесь, в наиболее просторной комнате, стоит рояль: учитель-ботаник — в то же время и любитель музыки (судя по некоторым страницам "Сельской школы" — знаток ее теории, истории и практики); по стенам, среди географических и естественно-научных пособий — рисунки карандашами, мазня красками, почти углем — учеников (но есть эскизы портретов или картин — уже прекрасной и выразительной работы). "Это — что же?" — спросил я. "Опыты учеников: вот видите — эта черта, этот штрих — тут живость, тут живая искра; вот последующие опыты того же мальчика — более удачные". Музыкант-учитель — в то же время и страстный любитель красок и линий фигуры. Печать универсальности, без которой самый ученый человек есть все-таки невежда, в высокой степени присуща замечательному учителю сельской школы. Быть может, мы приблизимся к пониманию его личности, если скажем, что он носит в себе эмбрионы самых разнообразных талантов; не таланты, но их эмбрионы; и, касаясь ими к детским душам, будит в них всех талантливые порывы, и зрелищем этих вспышек дара Божия в детях — питается, греется сам.

Татево — не в селе; это — барская одинокая усадьба, от которой несколько (немного) верст до ближайшей деревни (т. е. бывшей крепостной Рачинских, но и других владельческих тоже); ученики должны пройти эти несколько верст, чтобы поспеть утром в школу; и зимою, особенно для маленьких мальчиков, это связано с таким неудобством, что пришлось при школе завести общежитие. Нравственный надзор за большою, даже огромною толпою детей не решилсяверить чужому глазу хозяин школы, ответственный за души детей перед Богом, — и вот что было причиной переселения сюда бывшего профессора университета и первого переводчика на русский язык трудов Шлейдена ("Жизнь растений" — с интересным введением о художественной стороне растительного мира и Дарвина ("Происхождение видов" — самый ранний на русский язык перевод, несколько раз переизданный). Но было бы донельзя лицемерным указывать мальчикам скромность жизни, стола, одежды и в то же время самому остаться барином; повесить их до себя, своего скоромного стола, возможной бутылки вина за обедом — значило развращать их, вносить антагонизм между ребенком и семьею его (бытом, обстановкой). Пришлось подаваться самому; бросать за борт одну за другою культурно-изнеженные привычки; бросать все материально-культурное и лишь сохраняя одну высокую, уже достигнутую и неотстраняемую культуру своего духа. Так день за днем и все под давлением практически-нравственной нужды создалось явление — в сущности удивительное: рядом с домом, где, может быть, полвека назад происходили шумные

игры Вакха и Киприды

— в двухстах шагах в стороне выросло что-то похожее на древнехристианскую общину, состоящую из детей, отроков, юношей, и среди них наставника — в роли той "суровой жены", о которой прекрасно написал Пушкин:

В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много —
Неровная и резвая семья,
Смирренная, одетая убого,
Но видом величавая жена
Над школою надзор хранила строго.
Толпою нашею окружена
Приятным, сладким голосом бывало
С младенцами беседует она.

Впечатление этой "строгости", почти не допускающей шутки, смеха (т. е. не только в школе, но и вне ее, в обиходе жизни), — в высокой степени присуще руководителю замечательной школы. Но я dokonчу легкий очерк его дела: школа стала рассадником школ же. Из окончивших в ней учение крестьянских детей многие посвящались в дьяконы и,

получая место при церкви в ближайшем округе, основывали там школу, по типу и в духе той, где выучились. Таким образом, Татевое в своих училищных тенденциях и в колорите этих тенденций стало разрастаться в целый регион. Теперь, проезжая на обывательских лошадях которым-нибудь из двух смежных уездов, Бельским или Ржевским, на вопрос о Рачинском (здоров ли, жив ли, как проехать к нему) услышишь определенный, знающий ответ: "тут летось был (на экскурсии или на школьном путешествии) Сергей Александрович с учениками своими". Нужно заметить, что, за исключением редчайших отлучек куда-нибудь, в Петербург или на выборы в уездный город, Рачинский вообще не движется без школы, как и школа без него. Это — улитка и раковина, сросшиеся до нерасчленимости; взрослый (старый), высокопросвещенный, высокоодухотворенный человек, который оброс детьми и уже не понимает ни как он обходился без них, ни как они обходились бы без него.

Обстоятельства, чисто внешние и случайные, сделали то, что его школа, замечательная и поразительная в себе, могла быть замечена и оценена вдали от глухого района, где она находится. Кстати — об этом регионе; северная часть Смоленской губернии представляет сбегаящий скат (северный склон Урало-Алаунской возвышенности). Именно в направлении этого склона (т. е. с юга, из г. Белого) мне случалось всегда подъезжать к Татеву; и всегда, проезжая, я припоминал еще былинные слова цикла "Владимира Красное Солнышко":

Велики вы, грязи Смоленские!

"Грязи" — это не болото в собственном смысле, но, как точно названо в былине и это былинное выражение повторено буквально в определении грунта дороги на каждой почтовой станции, — "грязный грунт", "с просачивающеюся водою", "грязная дорога", "трудная для лошадей". Все так же сейчас, как и при Владимире Красном Солнышке: и вот именно перед Татевым, в сочетании с ним, эта "грязь" всегда поражала меня, заезжего, красотой контраста. С каждым часом движения на север природа становится пустынее; земля — бесплоднее; деревни — необыкновенно далеки друг от друга; молчаливо, угрюмо; в одном месте на несколько верст летняя дорога отделяется от обычной (короткой) зимней: переплывшиеся корни деревьев ("жесткая дорога" — термин ямщиков) делают совершенно несносною и даже невозможною летнюю езду по этой дороге; пришлось пробить и разработать новую, верст на 12 лишка. Наконец, вот самый край Бельского уезда: дикость елового леса и болотистых кочек дороги, идущей как-то криво, боком, — достигает высочайшей степени. Ну, еще немножко, и вдруг — деревья раздались, и открывается, пусть маленький и скромный, дворец и за ним — парк с прудами, а главное — с замечательно изящною группировкою куп деревьев. Ботанические знания его теперешних обитателей (брат и высокообразованная его сестра) увеличили эту красивую старину множест-

вом или декоративно-интересных, или по чему-нибудь другому замечательных растений. Сочетание старой дедины с новым искусством и создало этот культурный оазис среди "Смоленских грязей", который зовется "Татовым".

Татевое осталось бы как некоторое "уникум" на просторе наших полей и лесов, если бы близкая и теплая дружба, завязавшаяся еще во время профессуры, не соединила скромного теперь сельского учителя с некоторыми видными государственными людьми. Все ищут живого факта, непосредственного примера; ищут опереться на то, что есть, а не на построения ума или фантазии. Мы не можем сказать твердо, влиял ли Рачинский на устройство получивших теперь широкое распространение церковно-приходских школ; но несомненно, что тип им созданной школы и его книга (первые статьи, в нее вошедшие, печатались еще в "Руси" Аксакова) способствовали выработке типа церковно-приходских школ; а его высокое одушевление к своим идеям, при безупречной чистоте характера и жизни, — все это едва ли осталось без влияния на решимость избрать тип церковно-приходской школы как наиболее пригодной для коренного сельского населения России. Таким образом, указание наше, что в лице автора "Сельской школы" мы имеем замечательного человека нашей эпохи, есть простое выражение факта, вне всяких попыток преувеличения.

III

Книга имеет эпиграф, выражающий ее коренную мысль: "камень, который отвергли зиждущие дом, — он и стал во главу угла его". Нужно заметить, что Рачинский начал свою деятельность в ту пору, когда церковная школа не имела еще и зари для себя, нельзя было даже и предвидеть ее. Мы приведем, для очерка времени, уже теперь забытого, одну выдержку из "Дневника Писателя" Достоевского, которая когда-то поразила нас и, вероятно, сейчас поразит удивлением каждого человека:

"Один из деревенских священников Орловской губернии пишет в газету "Современность": занимаясь обучением детей своих прихожан грамоте почти с самого уничтожения крепостного права, я оставил эту обязанность только тогда, когда наше Д-ское земство приняло на себя вознаграждение и пожелало иметь свободных от других занятий наставников. Но в начале нынешнего 1872/73 учебного года оказался недостаток народных учителей в нашем уезде. Я, не желая закрытия училища в своем селе, решился изъявить свое желание занять должность наставника и обратился в Училищный совет с прошением об утверждении меня в этой должности. Совет ответил мне, что я "тогда буду утвержден в должности наставника, когда на то изъявит свое согласие общество". Общество пожелало и составило о том приговор. Обращаюсь в волост-

ное правление для засвидетельствования приговора, как требовал того Училищный совет. Волостное правление, имея во главе невежественного писаря М. С. и во всем послушного ему старшину, не восхотело засвидетельствовать приговора, ссылаясь на то, что мне учить некогда, но в душе руководствуясь другими побуждениями. Я обращаюсь к мировому посреднику. Посредник П. высказал мне в глаза следующие достопримечательные слова: "Правительство вообще не расположено к тому, чтобы народное образование было в руках духовенства". — "Почему бы так?" — спрашиваю я. — "Потому, — отвечал посредник, — что духовенство проводит суеверие".

Достоевский раздражается недоумением: "Ну, осмелился ли бы это сказать не то что какой-нибудь посредник, а в десять раз выше его по власти лицо какому-нибудь, хоть, например, остзейскому, пастору? Господи, какой бы этот пастор затеял крик и какой бы в самом деле поднялся крик! У нас священник смиренно обличает дерзкого путем гласности. Но приходит мысль: если бы это лицо было повыше посредника (что ведь очень может быть, потому что у нас все может случиться), то ведь, может быть, пастырь добрый и не стал бы совсем обличать его, зная, что из этого выйдет всего лишь "смятенный вид" и ничего больше. Да и нельзя требовать от него энергии первых веков христианства, хотя бы и желалось того. Мы вообще склонны обвинять наше духовенство в равнодушии к святому делу; но как же и быть ему при иных обстоятельствах? А между тем помощь духовенства народу никогда еще не была так настоятельно необходима. Мы переживаем самую смутную, самую неудобную, самую переходную и самую роковую минуту, может быть, из всей истории русского народа" ("Дневник писателя" за 1873 г.).

С пафосом этого негодования и мыслью заключительных строк и сливается вся деятельность Рачинского. Он явился одним из самых настойчивых и терпеливых выразителей этой мысли, носителей этого негодования: и терпение вознаградилось успехом. Вот как очерчивает он русский народ и особые задачи народной русской школы. "Та высота, та безусловность нравственного идеала, которая в натурах спокойных и сильных выражается безграничною простотою и скромностью в совершении всякого подвига, доступного силам человеческим; которая в натурах страстных и узких ведет к ненасытному исканию, часто к чудовищным заблуждениям; которая в натурах широких и слабых влечет за собою преувеличенное сознание своего бессилия и, в связи с ним, отступление перед самыми исполнимыми нравственными задачами, необъяснимые, глубокие падения; которая во всяком русском человеке обуславливает возможность победоносных поворотов от грязи и зла к добру и правде, — вся эта нравственная суть русского человека уже заложена в русском ребенке. Велика и страшна задача русской школы ввиду этих могучих и опасных задатков, ввиду этих сил, этих слабостей, которые призвана поддерживать и направить. Школе, отрешенной от церкви, эта задача не по силам. Лишь в качестве органа этой церкви, в самом

широком смысле этого слова, может она приступить к ее разрешению. Ей нужно содействие всех наличных сил этой церкви, и духовных, и светских” (стр. 23. Из статьи “Заметки о сельских школах”, 1881 г.).

Школа обогащается силами церкви: ее культурою, ее духом, ее дисциплиною; но, взамен этих богатств внутренних, она теряет внешнюю независимость, перестает быть автономною, аутокефальною — употребим церковный термин. Мы очерчиваем дело, не вводя своей критики. Школа становится одною из форм церковной жизни; еще терририею, куда переходит ее влияние: церковь проповедующая, миссионерствующая, во главе всего — священствующая, сверх этого всего становится еще и тою, которая

...суровою женою,
Над школою надзор хранила строго.

Но со всех решительно точек зрения нельзя отвергнуть, что богатства церкви, чисто культурные, — неизмеримы; это уже не сказочки, не песенки, не побасенки, коими мы любим пичкать детей, не замечая, что делаем их через это пустомелями: это в самом деле таинственная и глубокая поэзия Псалтиря; судьба Иосифа Прекрасного, проданного братьями в Египет, с которою какой же роман (да будет прощено сравнение, в нужных целях) сравнится; это — хоть что-нибудь из пророков, т. е. сила и красота речи, никогда не превзойденная; это — евангелисты, т. е. высшая этика; и, наконец, — это все Божие, а не человеческое. За такие сокровища можно продать свободу; пусть я “раб”, но просвещен — и это лучше дикой свободы, на которой я запою:

Из-под лодки плывут рыбки.

Рачинский так обрисовывает русского крестьянского мальчика: “Несколько лет тому назад в Париже учебное начальство возымело оригинальную мысль подвергнуть статистическому исследованию задушевные желания парижских ребят. С этой целью во всех начальных школах было задано единовременно всем учащимся сочинение на одну тему. Всякий должен был высказать, как бы он желал провести свою жизнь. Этот материал был подвергнут тщательной классификации и исследованию, и в общем выводе получился успокоительный результат, что идеалом большинства парижских детей нужно считать честный труд и приобретаемый им скромный достаток. Не задаваясь столь строго научными целями, я часто задаю своим ученикам темы тождественные или подобные: ученики на них пишут охотно, и учитель может почерпнуть из их ответов полезные указания. Ответы эти самые разнообразные, смотря по возрасту, характеру, степени развития, минутному настроению ученика. Но весьма замечательно в этих сочинениях частое повторение одного мотива, который, ручаюсь за это, во всякой школе, кроме русской, может явиться лишь как редкое исключение. Большинство мальчиков, внимательно относящихся к заданной теме, нарисовав себе жизнь, соответствующую их вкусам и наклонностям (по большей части

хозяйственным — из земных благ самым желательным оказывается собственный кусок земли), заключают ее отречением от всего мирского, раздачею имущества бедным, поступлением в монастырь! — Да, монастырь, жизнь в Боге и для Бога, отражение себя, — вот что представляется совершенно понятною целью существования, недостижимым блаженством этим веселым, практическим мальчикам. Эта мысль не могла быть им навязана учителем, нимало не сочувствующим нашим современным монастырям. Монастыря они и не видали. Они разумеют тот таинственный, идеальный, неземной монастырь, который рисуется перед ними в рассказах странников, в житиях святых, в собственных смутных алканиях души” (стр. 23—24).

Рачинский приводит несколько примеров, до чего жажда духовной (религиозной) жертвы иногда томит этих мальчуганов; вполне поразителен пример Ивана Самсонова, который пожелал идти на войну (за освобождение южных славян) ”с надеждою — быть убитым”; и эта жажда была так далека от пустых слов, что, поступив в солдаты, но находясь в недействующей части войск, он хотел бежать за Дунай. Трогательные выражения в его письмах к Рачинскому не оставляют никакого сомнения, что искание приключений не играло тут никакой роли: ”Наконец мне удастся омыть своею кровью мое грешное тело”, — писал он, приближаясь к Плевне. Под Плевною он и был убит.

В 12 статьях, из коих составлен сборник Рачинского, дан, собственно, полный цикл идей и наблюдений, без которых невозможна или была бы затруднительна или фальшива как практическая деятельность в сельской школе, так и теоретическое ее обдумывание. Можно сказать, что эти 370 страничек, которые неторопливо писались в течение 17 лет и суть плод четвертьвековой практической в школе деятельности разнообразно и высокообразованного автора, дают классическое панно сельско-учебного быта. Пройдет много, очень много времени, прежде нежели мы сможем чем-нибудь заместить ее. Есть целые картины ученической жизни (“Школьный поход в Нилову пустынь”, стр. 124—186); масса практических советов и технических замечаний; но для читателя-неспециалиста всего привлекательнее многочисленные страницы, где автор подымается к высокой философии истории, которая у него так гармонично сливается с поэзией и религией. При чтении этих страниц нельзя почти не позавидовать высокой уравновешенности ума и сердца автора; грустные, иногда очень грустные наблюдения над действительностью (см. его критику состояния наших духовных академий, которая в свое время вызвала печатные протесты) всегда растворяются высокою верою в идеал. Чистосердечие автора и незыблемость его веры освободили его от нужды впадать в обман или искать самообмана. На почве этого чистосердечия возможен был бы продолжительный и сложный спор с автором. Мы не войдем в него, но не можем удержаться, чтобы не показать, где начинается слабость Рачинского, граница значения его труда и граница самого его идеала.

IV

Бессмертный Пушкин, который по объему ума стоит еще неизмеримо выше, нежели по силе вдохновения, странно кончает безымянный отрывок, где он представил образ "величавой и суровой жены":

Ее чела я помню покрывало
И очи светлые, как небеса, —
Но я вникал в ее беседы мало.
Меня смущала строгая краса
Ее чела, спокойных уст и взоров
И полные святыни словеса.

Вот поразительное открытие, которое делает Пушкин и которое можно повторить в лицо человеку только такого чистосердечия, как автор "Сельской школы". Мы можем рыдать над этим несоответствием его "святых слов" и человеком, полным человеком, как он дан и вышел из лона природы; но факт нашей холодности и внешности к его идеалу, факт общечеловеческой к нему холодности — останется. Чтобы пояснить нашу мысль, чтобы защитить нашу мысль и, наконец, показать правоту человека — прислушиваемся внимательно к словам великого сердцеведа:

Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров...

Человек замыкается от идеала "святых слов" "суровой жены", без сомнения, потому, что он для него внешен. Он даже начинает криво его перетолковывать; наконец — он ищет чего-то другого; именно — он ищет того лона природы, из коего вышел и которое навсегда, навсегда останется для него "материнским лоном", т. е. более интимным, чем всякие "словеса":

И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада
Под свод искусственный порфирных скал.
Там нежила меня дерев прохлада;
Я предавал мечтам мой слабый ум —
И праздно мыслить было мне отрада.
Любил я светлых вод и листьев шум...

Как глубоко это слово "праздномыслить", коему такой непереступаемый предел кладет канон "суровой жены". Да — "праздномыслить"; увы — так, от Адама согрешившего и до меня, который скорбит и пишет эту печальную истину. "Праздномыслие" — это и есть игра во мне

”материнского лона”: взбрызги мыслей по их природе, а не по закону внешней для них необходимости; какие-то образы, туманы, порывы, которые, конечно, могут бросить меня в ”небесный монастырь”: но тогда будем же чутки и разберем, что это — не он меня привлек, но во мне самом, или, точнее, — в человечестве есть какая-то тысячная доля сознания (однако — не более), которая покрывается видением ”небесного монастыря” или, чтобы быть конкретнее и подойти ближе к нашей теме, — идеалом книги, которую мы разбираем. Пушкину был известен этот идеал; из глубины своего духа он извлек изумительный образ ”суровой жены”; но многоопытный — он знал границы и *ограниченность* этого идеала:

Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры,
И в ликах их печать недвижимых дум.
Все мраморные циркули и лиры,
И свитки в мраморных руках,
И длинные на их плечах порфиры —
Все наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слезы вдохновенья
При виде их рождались на глазах.

”Слезы вдохновенья” — вот потребность чего неугасима в человеке, *права* в нем, права как именно некоторое ”праздномыслие” и чего решительно не допускал в юноше канон ”суровой жены”. Маленькое наблюдение, очень маленькое: за два века, как мы живем поэтически и художественно, т. е. научились рифмам и краскам, не появилось — среди длинной серии государственных людей, финансистов, ученых — ни одного поэта из духовного сословия; т. е. никаких ”слез вдохновенья” и сладкозвучных рифм. Это поразительно, но и бесспорно: как и то, что за тысячелетие средневекового папства Европа не имела поэзии*. Периодические ”возрождения” на европейской почве античного мира**, таким образом, имеют под собою реальный фундамент, а не филологическое увлечение: это суть протесты ”материнского лона” в нас против ”святых словесов”, коим решительно, и при всех усилиях, мы не умеем чистосердечно отдать $10/10$ своего существа; точнее — оне (слова) не умеют сами взять $10/10$ нашего существа. $9/10$ нашего ”я” убегают ”украдкой” к этому вечному ”мраку чужого сада”, который теперь нам представляется уже ”бесовским”:

* Первый великий поэт Европы Данте следует за Беатриче и казнит пап, т. е. первым шагом поэзии и был выход из цикла средневековой мысли или, что то же — ”канона суровой жены”.

** Французскую революцию с ее пестрым нарядом консулов и новым календарем, по крайней мере в одной ее половине, можно рассматривать как такой же ”renaissance” политического древнего строя, каким эпоха Петрарки была в художественном отношении.

Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.
Один (Дельфийский идол) — лик молодой
Был гневен, полон гордости ужасной
И весь дышал он силой неземной.
Другой — женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал
Волшебный демон — лживый, но прекрасный.

Вот полный очерк наблюдений Пушкина; тайный мотив "возрождений" при Петрарке ли, в эпоху ли "Горы" и "Жиронды" или, наконец, в спокойном "олимпийце" Гёте. В это надо вдуматься, это недостаточно отвергнуть. Рассмотрим внимательнее краткословное указание поэта о том "бесовском", что оторвало его от "святых слов", т. е. развернем содержание "идолов". "Дельфийский бог", "женообразный демон"...

— лик молодой.
Был гневен, полон *гордости* ужасной
И весь дышал он *силой*...

Да это полнота нашего я в его общественно-практическом выражении; это — форум; монумент Петру, "вздернувшего Россию на дыбы" ("Медный Всадник"); Вашингтон и Франклин; Кромвель и "круглоголовые" и все то в европейской цивилизации, в христианской цивилизации, без чего лучше хотело бы видеть ее неродившеюся, нежели вечно влачащеюся между смирением Тартюфа и добродетелью Елизаветы Тюрингенской. Но вот другой "идол"

— женообразный, сладострастный:
Волшебный демон — лживый, но прекрасный...

Ведь это "бог", т. е. какое-то "обожание"; чего, однако? Того, что было указано Аврааму обожить в "обрезании": смиреннейшая весь нашей семьи, даже христианской семьи, но выраженная через мрамор не в поверхности своей, но в самой глубине, т. е. естественно, несколько "сладострастно", ибо нет вовсе и невозможна "семья", "с детьми", в лице "жены" и "мужа" с полным устранением из нее чувственности. Народ — младенец, народ без притворства так это и выражал, в полноте факта, без смиренных тартюфовских завес стыдливой скромности. Таким образом, вечная жизненность и периодическая воскресаемость "исповедания языков" имеет то основание, что оно, пожалуй, "лживо" в выражениях своих, в этих скульптурах, которых мысль перестала быть понятною к началу нашей эры; но имеет какую-то странную полуистину, и именно религиозную полуистину, в исконном и древнем своем мотиве: именно в том, что человек в $\frac{10}{10}$ своего существа есть "Божья тварь" и непокрытые "святыми словесами" $\frac{9}{10}$ имеют также для себя какую-

то религиозную форму выражения, которая пусть детски и нелепо по форме, но в "душе" своей истинно сказала "исповеданием языков" умерших и, однако, вечно живых цивилизаций.

V

Вот далекое соображение, к которому приводит нас рассмотрение столь принципиальной книги, как "Сельская школа". Древние "боготворили государство"; они немножко "поклонялись" ему, как "богу": богу человеческой связности, человеческой общительности, игры страстных движений сердца и характера, без впадений его в вульгарное. Мы упомянули о небытии поэтов из нашего и европейского духовного сословия: но оглянемся же на одну печальную и страшную истину, что после 2000 лет своей культуры Европа не умеет создать школы, построенной на исключительно своих элементах, и обращается, для воспитания и назидания обращается, к этому презренному ею "исповеданию языков". Это очень страшно, но и совершенно истинно: и факт этот основывается на том, что в "святых словесах" Европы нет просвещения и только отрицание для $9/10$ человеческого существа. Древние, уже на высоте Аристотеля и римских императоров, не знали в обращении другого местоимения, кроме "ты": т. е. связность и любовь, которая всегда отражается в оборотах речи, в сущности, была у них конкретнее и живее, чем у нас. Вот чисто этическое открытие, Цицерон писал "De amicitia", и никто не смеялся над его сентиментальностью: он писал книгу, целое исследование "о дружбе", которое читалось, т. е. не казалось скучною темою. Прибавим, что, достигнув высоты Аристотеля и Платона, они не знали университетов и даже систематической средней школы: наша "учеба" до 27 лет, вероятно, показалась бы им нестерпимым уродством, явной педагогической какофонией. Они жили гораздо субъективнее нас: небольшая община, необыкновенно сплоченная, в которой все стояли лицом друг к другу и говорили "ты", а не спиной, как часто становимся друг к другу мы. Далее, об "особенно лживом идеале"; мы уже заметили, что нужно понимать не образ, а мысль: древние искали символа, знака и, может быть, нашли только уродливый для теитизации семьи, т. е. они чувствовали Бога в семье, они хотели и звали Бога в семью, как мы, в сущности, нигде не чувствуем и отовсюду гоним Его. "Мир полон богов": т. е. он полон идеалов — вследствие необыкновенно любящего отношения к нему человека; и отношения необыкновенной сосредоточенности и серьезности, на степени коей, от напряжения которой "идеал" перестает быть мечтою или сухо-книжною истиною, но созерцаемым и исторгающим из глаз слезы "идолом". Но оставим разъяснения; и без дальнейших слов ясно, в чем заключается полуистина умерших миров, относительно коих верною реакцией сказывается "бегство украдкой" к "бесовским идеалам": древние мраморы, геометрической очерченнос-

тью, подробностью символики, именем своим и сказкою около себя — для нас, конечно, "бесы", но мыслью и "дыханием" этих "бесов" мы и сейчас живем в $\frac{9}{10}$ своего существа: именно всякий раз, когда, переставая расхищать государство, начинаем несколько "боготворить его"; или, переставая нагло распутничать, — входим как в некоторый "храм" в лоно семьи и т. п. Мы убегаем от "небесного монастыря", непременно и все, почти все: но теперь, когда "бесы" умерли, — мы убегаем от него в холодную и темную пустыню.

Из-под лодки плывут рыбки

— это ведь та же "Афродита", но пьяная и в сбившемся на сторону "платочке"; или — мы создаем образ бытия Акакия Акакиевича — это, пожалуй, "Дельфийский лик", но которому нос отбили чернильницей.

В круге, в который искусственно и невозможно замкнута "Сельская школа", — она представляется в высокой степени целостною истиною; но этот круг весь — узок, а потому и истина эта — ошибочна; и она ошибочна не практически, даже не теоретически только: она ошибочна скорее религиозно. Он состоит в убегании от жизни; и жизнь так мало "божественна" сейчас, что есть или были все причины для этого бегства автора. Но он не видит полной истины, которая состоит в том, что нужно не отринуть* жизнь, но внести в нее идеал; нужно не отметать ее, как "беса", но воскресить в ней "бога" и ему поклониться. Есть ли в христианстве, которое стало нашим исповеданием на место умерших "бесов", элементы для такого насыщения им жизни — его — жизнью? Конечно! Иначе оно не было бы религиею (полною истиною). И вот разыскание-то этих элементов, из которых мы, собственно, нашли и пользуемся одним — моментом Голгофы, т. е. страдания и смерти, к культу которой и сводится "небесный монастырь", — это есть истинно религиозная задача, и полная религиозная задача.

О ПОКЛОНЕНИИ ЗЕРНУ

"Маленькое письмо" СССXLIX А. С. Суворина пробуждает грустные мысли. "Дожди... дожди..." "Бог дал урожай, да урожай из рук вывалился"; "зерно есть, т. е. было, да сохранить его было невмочь" — так сетуют крестьяне и помещики, а автор "письма" ставит пометку: "Работаем, как при Рюрике". — "На полях пропадает хлеб, проросший, мокрый, с почер-

* Напр., замечательно, что в "Сельской школе", представляющей весьма закругленный цикл мысли, не встречается самых слов: "отец", "мать", "брат", "сестра", т. е. наименования кровных связей; и слов, как "государство", "общественная забота", "имущество", "труд": до такой степени понятия эти не играют в ней никакой роли, не имеют себе положения.

невшей, гниющей соломой; пропадают, вероятно, — если сообразить, что дожди обнимают пространство нескольких губерний, — миллионы рублей в этой непогоде. Пропадает и надежда прокормиться”.

Мы умеем молиться о зерне, а нужно выучиться молиться самому зерну. Что это значит, что за мысль? Нужно полюбить и нужно уважать самое зерно не как статью дохода, а как в самом деле центр забот, обширной мысли, да и обширной поэзии. Нужно начать культуру зерна, как мы имеем культуру дорог, войны, промышленности. Разве, в самом деле, не очевидно, что мы имеем культуру промышленности, а культуры зерна и не начинали? ”Был урожай, да из рук вывалился”: но, Боже, если бы так рассуждали египтяне, они вечно повторяли бы скучную присказку: ”был урожай, да водой смыло”, ”ничего не можем поделатъ”. А ведь это 4000 лет тому было, вот когда уже люди поставили вопрос: ”Как сохранить урожай?”

”Хлеб пророс, мокрый; в соломе — загнил и почернел”; ”дожди: ничего не можем поделатъ”. В бессилии помещики постукивают барометр. Автор ”письма”, в общем сторонний полю и хлебу человек, вопит: ”где интеллигенция”? И горько и смешно: мы изобрели бессмертовскую сталь: кто видел ее кипение, не мог не удивиться гению человеческому. Брошенные в котел обрезки рельс распукаются, как мука в молоке; все готово; свисток дает приказание всем удалиться; системою рычагов громадный котел, на многосаженой высоте висящий, передвигается к глиняной чаше, величиною в этот же котел, и опрокидывается. Медленно течет стальное молоко струею в толстое бревно с огромной высоты в эту подставленную чашу. Секунды и минуты текут; блеск, жар, сияние, а всего больше — удивление, удивление смиренного вашего ума перед умом-гигантом, который это выдумал, который над этим потрудился и здесь успел.

Да тут ум обывателя подавлен. В отношении поля я тот же смиренный и несведущий обыватель, который не только не подавлен зрелищем почерневшей от дождей соломы, но прямо смеюсь этому зрелищу и, наконец, злюсь на людей, ”постукивающих в отчаянии барометр”. ”Бессмертовскую сталь изобрели, а вот как высушивать колос — не изобрели”. Просто я не хочу верить, чтобы тема сохранения урожая, при всяком решительно дожде, была неразрешима для средств науки, для изобретательности человека и кооперации сил человеческих. ”Не помолились зерну” — и только, т. е. не начали культуры зерна, а все, ”как при Рюрике”. — Впрочем, против Рюрика есть одна прибавка, коммерческая: страхуем урожай. — ”Ты что же, человек Божий, сидишь?” — ”А я посеял хлебушко, хлебушко застраховал, и вот сижу, мне что таперича”.

Брюссельские кружева плести умеем, а соломы высушить не умеем. — ”Тут чаво ж один поделаешь, тут надо деревней”. — Ну, черти, так деревней принимайтесь. — ”Не приобыкши”. — Да к чему же вы тысячу-то лет ”приобыкали” или чему вас тысячу-то лет учили? Плести лапти и в церковь ходить? Это за вас бабы и ребятишки сделают, и без всякой науки. Где ваша наука?

В это и упирается вопрос: нет "науки", т. е. нет никаких знаний у человека, кроме самых элементарнейших вещей: питания и грубой работы. В лес сходить и грибов набрать — это так, это по-нашему. Набрал корзиночку и съел сковородочку. Но дальше? Посложнее? Да ломал вас кто-нибудь в жизни, т. е. переламывал вашу мысль, разминал косточки, гладил особенным способом мускулы? — "Как же, ломал нас медведь да татарин; то он сломает, то мы сломаем". Да, но это сила, а вот гибкости ума и мускулов — этого-то и не хватает русскому человеку. Не хватает нашей деревне, не хватает городу. Нет узора, нет сложности — в уме, в труде и, наконец, во всей цивилизации. Там, здесь и всюду — нет одухотворенности и нет изящества. Одни привычки. "Мы привыкли молотить на солнце, а тут — дождь; не знаем, что делать, разве постучать барометр". А нужны знания, работа ума и поменьше нытья.

Вся сложность жизни, и вся одухотворенность, и всякий дух — к нам идут от Запада, где шла эта работа ума. Отсюда и "иностранные капиталы". Мы сами решительно не можем или не хотим усложниться, и нет в нас никакого духа, кроме духа косности. "Не приобькши". И все еще нас пугает прогресс! "уф — как летим, как бы голову не сломать", "держи-ка машину, стой", "растрясло совсем". Ведь эти крики поминутно мы слышим, и вся-то наша история есть какое-то вековое "тпррр".

— Ну, сиди, матушка, а то и впрямь растрясешься.

НЕВЕРИЕ XIX ВЕКА

В августовской книжке прекрасного философско-богословского журнала "Вера и Разум", издающегося в Харькове, известный проф. Г. Буткевич напечатал окончание интересной статьи: "Неверие XIX века". Статья посвящена разбору механического воззрения на природу, которого родоначальником следует считать в европейской философии Декарта, и доказательству, что живые и жизненные явления выходят из схемы механических отношений и требуют для объяснения себе Бога Промыслителя и Управителя мира. Это — мысль многих ученых; но между ними никто так много не работал над нею, как Лейбниц в своем учении о предустановленной гармонии и о монадах. Г. Буткевич приводит имена Ньютона, Кеплера, Галилея, Бойля, Эйлера, Галлера, Ампера, Паскаля, Либиха и из наших ученых — Иноземцева, Боткина, Пирогова, Данилевского, которые все были очень религиозны, т. е. они все чувствовали в мире и его явлениях — Бога. Сам г. Буткевич много обращается в области физиологических явлений, из которых, собственно говоря, ни одно не может быть вполне, до дна разъяснено механикой и химией. Нам давно хочется обратить внимание на огромное недоразумение, которое замечается во всех подобных спорах и ускользает вовсе

от спорщиков. Ведь г. Буткевичу, с его специальной точки зрения и в специальных задачах православной апологетики, нужно доказать не то вовсе, что Бог есть в мире, но что есть Премудрый Бог, т. е. вне, за пределами мира, существующий и миром управляющий... конечно, механически. В противном случае, т. е. ведя аргументацию так, как он ведет, он ничего не доказывает, кроме божественной сущности разлитой в самых явлениях мира, в ткани мира, в сложении мира; но это есть точка зрения Гёте, за которую от протестантских богословов он был прозван "великим язычником". Профессору русской духовной академии нельзя быть менее точным, чем протестантские богословы, и нельзя, восстанавливая языческую пантеистическую философию, думать, что отстаиваешь свою специальную, специально в духовных академиях проходимую догму. Последовательное учение христианства представляет обратный полюс пантеизму и, признавая, что Бог сотворил мир, однако, точно определяет и способ сотворения: "Сотворил словом". Через повеление же Божие произошли и законы природы, которые легли в мир внешним, т. е. конечно и непременно в таком случае, механическим регулятором. Ибо силы, действующие внешним способом, суть механические; а действующие внутренно, суть органические. И как, по христианскому воззрению, все в мире зависит от Бога, а Бог внешен для мира, то, конечно, и способ действия Божия даже в организме есть непременно механический, и только он кажется нам, по незнанию, внутренним и субъективным. С этим совершенно прямым и непререкаемым воззрением наших догматиков, безусловно, согласны тенденции новых ученых найти механическое объяснение жизненных, живых явлений. Таким образом, входя в чужой и именно языческий храм для совершения в нем научных жертвоприношений, г. Буткевич изгоняет из православного храма механическую теорию, которая совершенно неразделима с основным догматом нашей Церкви — о премирности Бога. Каким образом ученый богослов и очень сведущий философ может до такой степени путаться между разными религиями, для нас это остается каким-то странным недоразумением.

АФРОДИТА-ДИАНА

...За лето я много думал о статье Д. С. Мережковского "Трагедия целомудрия и сладострастия" в "Мире Искусства", написанной по поводу трагедии Эврипида "Иполит". Зимой, на Васильевском острове, в зале Дервиза, г. Воротников, старательно подготовив исполнение древней трагедии, доставил немногочисленным, но избранным зрителям высокое наслаждение — увидеть и хоры, и костюмы и услышать метр древних греков. Главная роль, роль Федры, была исполнена превосходно. Перед сценой, в противоположении одна другой, стояли мраморные или с подделкой под мрамор статуи Афродиты и Дианы. И помню,

слушая трагедию, я все смотрел на эти статуи. Обнаженная Афродита, почти закрытая Диана. Почти... Но не хотелось смотреть на Афродиту, и невольно, с *уважением*, если не с умилением (этого еще не умели достигнуть греки), глаза обращались к Диане.

Что за мотив воображения, заставивший древних дать *два* изображения, *две* идеи, почти *две* гранки женской красоты: закрытая Диана, обнаженная Афродита? Замечательно, что *на всех статуях* (древних, подлинных) Афродиты есть *след* одежды; она лежит около ног, отложена в сторону, спустилась и упала на стул, пень, пьедестал; но она — непременно *есть*. "Диана" *отложена*, но ее *край* виден... Мы проговорились: нельзя ли постигнуть Диану как завершение Афродиты? как священный пеплум, который, закрывая формы, — входит в них душою, *стыдливостью*, и только когда загорелся этот небесный луч в "теле", мы обращаем к нему взор, *ищем* его, а грек назвал это искомое нами, это закрытое "тело" — "небожителем". Что за закон?..

Если у *всех* подлинных Афродит одежда отброшена, но *есть*, то и статуя Дианы, всем известная, закрыта, но не совершенно, а только *почти*... Колена и голени — обнажены. Т. е., в умоначертании грека, Диана *начинает* собою Афродиту; в ней есть, пусть уголок один, — но Афродиты. И без этого она потеряла бы прелесть, не стала бы тою обворожительною девою, которая странствует по лесам и гоняется за ланями, а наше воображение гоняется за нею, как гонялось воображение Праксителей и Фидиев...

Не здесь ли тайна одежды? Теперь, когда мысль красоты почти потеряна, потеряна и мысль одежды. Одежда — вечная Диана, т. е., обнажая, — скрывает, или, скрывая, — обнажает. Мысль одежды — скромность. И если она не увеличивает этой главной и единственной красоты женщины, не удлиняет крылышек *души* афродизиазиса, — она не нужна, т. е. пусть будет какой угодно, хоть мешком рогожи. Но, повторяем, усилие скрыть не должно идти вразрез с мыслью обнажить: одежда, в которой женщина *была бы так скрыта*, что мы даже не различали бы, мужчина под нею или женщина, была бы, удивительно сказать... *не скромна, а нахальна*. Да, это поразительно: *нуль* женщины (абсолютное исчезновение Афродиты) дает впечатление не скромности, а... камня, куклы или — нахальства. Удивительный просвет: значит, в Афродите *toute nue*, есть начало, есть тенденция, есть уголок и утренний луч — Дианы. *Скромность* — это и есть присущее, и притом главное, свойство Афродиты.

Я только теперь, т. е. по связи Афродиты и Дианы, припоминаю замечательные слова Ф. И. Буслаева, в одной из статей его, помещенной в "Прошлеях", где он рассматривает древнее ваяние. Я не помню содержания статьи, но, коснувшись Геры, супруги "отца полубогов", "полулюдей", "полубожеского и получеловеческого" на земле, он мимоходом делает замечание, бросив которое спешит к своим темам далее. Вот оно: "по греческому представлению, Гера: всякий раз, встав с ложа

отца богов, опять становится девственницею". В этом представлении греков — целая бездна гения, проникания, глубины... Оставим "Зевса", который очень глубок, и сосредоточимся на "гере" (мы все пишем с *маленькой* буквы, потому что это — существа, *сути*, которые стали, вероятно, очень поздно лицами и именами).

Гера и есть Афродита-Диана, "вечно девственная" "супруга", "девственница" в "супружестве".

Вечная проблема, пожалуй, целого мира. Убейте здесь Афродиту, вы получите камень; отбросьте окончательно, отбросьте самый *кончик* "пеплума" от Афродиты, — вы получите *голую* Афродиту. Как странно! Замечаете вы, что в слове "обнаженная" есть частица пеплума: "обнаженная" мы говорим о той, которая *только что была* закрыта. Да, слова имеют свои "одежды". И "обнаженная" еще прекрасна, тогда как "голая" — отвратительна. Нет на ней и *никогда не было* пеплума. Когда, лет 15 назад, я был на французской выставке картин в Москве (первая Всероссийская выставка), то здесь и были только "голые тела", а не "обнаженные тела", и отсюда бедственное от них впечатление. Целая улица "банщиц". Новая эра, наша эра, потеряла понимание Дианы в Афродите.

"Диана" и есть "господская" половина Афродиты, ради которой она стала для людей... была для греков "небожителем". Вернемся, однако, к Гере. "Вечная девственница" без отрицания "супружества". Суть природы, до известной степени суть всей природы, заключается в том, чтобы, "не развращаясь", — "жить", "не растлеваясь", — "тлеть"; и, если позволено так выразиться, применяясь к нашим понятиям и к нашему странному неумению ни "жить", ни "тлеть": задача всей природы лежит в вечном переходе "в мать", обегая *наше неумелое и запакащенное* "супружество". Быть матерью детей Павла Ивановича Чичикова — еще так и сяк... но уж быть "супругою" П. И. Чичикова — нет, это непереносно не только для Праксителя, но и для Гоголя, который предпочел, для сохранения чистоплотности в поэме, оставить Чичикова холостым. Суть состоит в том, что "материнство", даже от всякого, — прекрасно; но "супружество" неизмеримо утонченнее и труднее материнства, несравненно его метафизичнее. Во всяком случае, в мечте греческого воображения сказалось это понимание утонченных и трудных сторон муже-женского слагания Космоса.

Они знали, что есть в мире Зевс, как на земле — "зевсы", стеклышки великого разбившегося зеркала. Есть в мире какая-то вечно не срывающаяся, не прорываемая венчальная "фата". Мир "целомудр": кто этого не поймет? Но если так — он *женствен* или *мужеск*; вот с чем согласятся уже с большим трудом. И мир был бы шалостью, гримасой, глупостью, если бы в каком-то тайном и особенном смысле он... не носил на плечах своих чудесной ризы венчания. "Вечная дева" и "вечная супруга" ...Например, нельзя не почувствовать, что мир в 5 часов утра бывает "целомудреннее", чем в 8 вечера; "только что встает с ложа",

и роса наслаждения еще горит на ресницах: конечно — удвоенное, утроенное девство! Тайна, греками постигнутая, и так непонятная французам.

Обращаемся к Афродите и Диане: Диана есть высшее, казалось бы, отрицание Афродиты, между тем она — черта стальной гравировальной иглы, которая именно и обводит около "афродиты-тела" высший афродитизианский очерк, взглянув на который мы говорим: "это — небесное тело", "оно не землею рождено". Однако этот небесный идеал и построен землею: "молящиеся так долго смотрели на небо, что наконец увидели на небе то, на что смотрели". Я заметил, что толстоногая Афродита, стоявшая в зале Дервиза, ни меня, ни, кажется, никого не привлекала. *В этом все дело.* Афродита "без пеплума" никого не привлекает. Таким образом, "вечная девственность" Геры есть условие, чтобы "зевс" с маленькой буквы становился Зевсом с прописной литеры.

Во всяком случае, нельзя иначе представить себе "поклонение" греков "Диане и Афродите", при взаимном их друг друга *отрицании*, как дополняя мысленно это внешнее отрицание — тайным внутренним *согласием*. В приведенном мифе о Гере это согласование очевидно. Мы добавим, что абсолютная согласованность их есть истина мира, есть необходимость мира, есть проблема жизни каждого из нас. Пантеон греков нисколько не был необузданною фантазиею. "Что есть на земле — есть и на небе"; и "физическое на земле — метафизично на небе". Самое простое соображение, которому следуем и мы. Еще одно замечание: греки не сумели, иначе как раздвояя на две отдельные фигуры, представить... "святое" "тело". Они постигали, что это — *может* быть, но как — не сумели изобразить. Все их тела, в сущности, *светски*, а не религиозны; феномены *без* просвечивающего в них ноумена. Т. е. искусство греческое пало в бессилии перед своею же проблемою, обожения тела. Брошенные резцы подняли итальянцы XV века. Осмотрев резец, они сказали — он груб. Небесное — это *тень*, это — *перелив*; во всяком случае — это намек, а не действительность. Они взяли палитру, т. е. бесконечность цветов; и нежную, как дыхание, кисть. А главное, они пережили, т. е. дух человеческий пережил, XV веков серьезной молитвы. И неразрешимое для грека — разрешилось. Это превосходнейшее, чем греческое, искусство называется ложно "Renaissance'ом", ибо это было превосходное новое рождение. Под кистью Корреджио (любимая тема его — "святая ночь", минута *рождения*) задрожало святое тело. Нет уже Дианы; умерла Афродита. Зачем эти *светские* тела — при всех греческих усилиях — все-таки светские и которые с презрением оставил даже грек? Все уже *совершилось*: Гера наконец родила; и все также осталась нетленною. Теперь, умиленно смотря на нее, с материнскою нежностью склоненную над младенцем, мы понимаем, что есть в телесном — ноумен, перед которым молитва есть истинная и истинному дань. Нравственное и прекрасное, телесное и духовное, земное и божеское — все в каждой матери, но все особенно — в Единой Небесной Матери.



Фиг. 1

Еще одно наблюдение в области мировых мечтаний ли, иллюзий ли, т. е. идеалов, перемешанных с фантазией. Платон, в "Тимее", странно записывает: "Есть в Египте, в пределах Дельты, область, называемая саисскою, а в этой области — самый большой город Саис. Основательницею этого города туземцы считают небожительницу, имя которой по-египетски Нейт, а по-гречески Афина, — по крайней мере, сами они так говорят" (Тимей, III). Автор русского перевода знаменитый профессор Карпов делает примечание к этому месту: "В Саисе, где Нейт имела великолепнейшее святилище, найдена прекрасная статуя богини с надписью, смысл которой Шамполион передает так: *Я — все: прошедшее, настоящее и будущее; покрывала моего не поднимал никто из смертных, но солнце есть мое рождение.* Рет справедливо замечает, что приподнимание пеплоса указывает здесь не на постижимость существа (Н. В. обычная мысль и, между прочим мысль, Шиллера в стихотворении "Юноша из Саиса"), но

на супружество и что надпись указывает только, что Нейт *не разделяла супружеского ложа ни с кем из смертных, или богов; с другой стороны, дается знать, что и сама она не произошла от какого-либо супружеского союза божества, но есть божество вечное, изначальное, хотя и натуральное, так как из ее лона рождается свет солнца*".

Кстати, вот снимок статуи Нейт, как она приведена в большом труде Масперо (Hist. des peuples d'Orient classique, v. 1, p. 104).

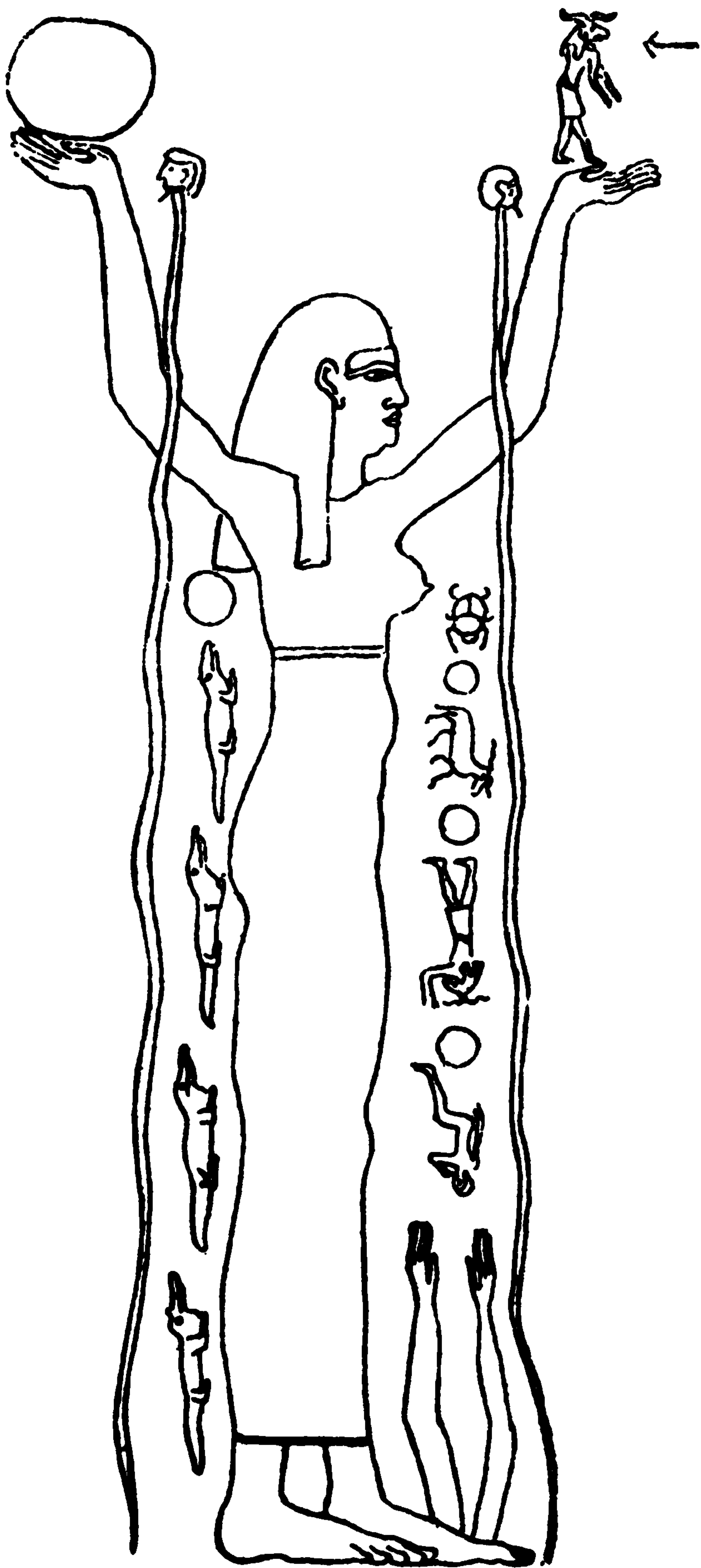
Ниже мы приведем варианты этой фигуры; пока остановимся на объяснениях. Это — египетская Диана-Афродита. Иной образ, но одна мысль; и как говорит в упоении один из героев Достоевского:

"Одна и та же мысль, с начала веков — и вечно" (Бесы, часть I, стр. 214).

И говорит о себе Нейт:

"Я была, есть и буду".

Вечное усилие — "родить" "без истления"; усилие, и чаяние, и надежда, и возможность. Глубокая и страшная ошибка Рета была сказать, что из Нейт "рождается натуральный свет солнца". Это — уже азбука египтологии, что "солнце рождающееся" есть "рождающийся младенец", "восходящее солнце", "победитель Пифона-Сета". И надпись на статуе "Нейт", в части, упоминающей солнце, показывает, что *это* имя есть *местное, саисское* наименование Изис. "Родила сына", "оставаясь девою", — вот полная мысль статуи, мысль саисского поклонения, поклонения, чуть-чуть олегкомысленного греками, но которое вошло



Фиг. 2



Фиг. 3

в полноту серьезности под кистью Корреджио ("Святая ночь")... Мы обещали привести варианты саисской Нейт, и, думается, этот рисунок "Нут-богини неба", приведенный Бругшем в его "Recueil des monuments Egyptiens", Лейпциг, 1862 (vol. I, pl. XXXIII) (фиг. 2), своеобразно выражает, но именно мысль Корреджио. Как прекрасны, до чего оригинальны и выразительны эти руки, *одни руки*, поднятые откуда-то "с земли" — "долу", кверху: Это... Корреджио, берущийся за кисть во вдохновении, чтобы рисовать. Навстречу поднятым рукам... плывет в небесах младенец, в той характерной позе *с пальцем, опущенным на уста*, как всегда рисуется у египтян Горус-младенец. Дальше — созвез-

дия, т. е. одни знаки их, знаки *некоторых* созвездий. Мы их увидим еще на одном варианте. Но без знаков для себя плывут небесные светила, луна, солнце. И... наконец, дева-женщина держит на ладонях поднятых рук — *землю* и ее "идола", "кроткого" Аммона. Последние термины мы приводим без пояснений и доказательств, так как они были бы длинны и вне нашей темы. Полуобнажена. Скрыта и открыта. Более полно, и в том же собрании египетских рисунков Бругша, приведен этот символ той же космической фаты, неопределенного, к чему и на земле мы вечно стремимся и от чего вечно воздерживаемся: здесь — (фиг. 3) все созвездия, нам известные: *Козерог, Рыбы, Овен, Близнецы, Стрелец, Рак, Весы, Лев...* Рисунок — из Фивского храма. В одной легенде о греческой Гере рассказывается, что когда "у Зевса родился от земной женщины Геркулес, то, чтобы дать ребенку бессмертие, отец, — на этот раз небесный отец, — поднес малютку к груди спящей Геры. Но он так крепко взял грудь, что Гера проснулась от боли и оттолкнула ребенка. И вот, рассказывается далее, — *"молоко ее разлилось по небесному своду и образовало млечный путь"*. Странная фантазия, с которой ничего определенного я не умел соединить, когда, еще до гимназии, в книжке рассказов у старшей сестры, прочел среди подвигов Геркулеса и эту часть мифа. Но как ей *родственно* это египетское изображение, на котором *движение молока в груди* — так выразительно, и сейчас... звезды, звезды, звезды. В то же время одеяние этой фигуры очень похоже на одеяние саисской Нейт, да и конечно — мысль ее одна с тою. *Местные* имена и лица *одной* сути. Спросим себя, какая же тайна повлекла воображение народов ко всем этим живописным, скульптурным, религиозным представлениям? Тайна и... *наблюдаемая, доказуемая* действительность.

Бедные народы... не знавшие газет, журналов, дипломатии, школы. Они вечно думали о себе, потому что им не о чем было думать еще. Мы смотрим вечно наружу: к этому влечет нас журнал, школа, форум; они с такою же необходимостью смотрели вечно в себя и около себя. "Себя" они лучше знали, чем мы. Что же в "себе" есть особенно удивительного? *Дела* наши?... Это так понятно, ибо *мы* их творим и направляем. Но *мы творимся* сами: и вот это — не так понятно; идея "творца меня" — вот идея этих народов; идея "творения моего" — вот тема их вечно размышления, их тысячелетнего размышления. Здесь — разделение грешного и святого, совмещение грешного и святого; "грешное" и "святое" как чередование, как путаница — то в один образ, то — в два. "Диана" и "Афродита"... Так *просто* стать кастратом, но это не то... Так *просто* и "послужить телу"... Опять не то. Что же есть искомое "то" и "истина"? Жить и не умереть. Жить вечно. Как-то "грешить" и в грехе "святиться"... Диана и Афродита, — как формулировали греки, и, конечно, ошиблись, ибо, очевидно, *одна* жизнь есть и *одна* святость. Где же узел, связующий грех и святость? Вечная проблема, пожалуй, всех религий. Узел, где грех растворялся бы в святость и где святость вбирала бы в себя грех, ничего в себе не теряя. Можно ли пролить

в "грех" — "благочестие"? Что тогда выйдет? "Благочестивый грех"? Что за странное понятие?! Но ведь есть смирение. И вот, в чертах глубокого смирения грех — уже немножечко не есть грех, уже края греха здесь не остры, не режут. Даже трудно понять, грех ли это течет, святость ли. Мы говорим вообще, но это так понятно в круге нашей особенной темы. Корреджио досказал всемирную мысль, дав в руки младенца. Вот догадка! Вечные и вечно недостаточные греческие удвоения (Гера, *раздвояющаяся* на Афродиту и Диану) нашли в *третьем* (рожденное) — синтез. Тут есть забота; тут есть милосердие. Тут есть *будущность*, как и воспоминания *прошлого*. "Прошлое, настоящее и будущее" — так и формулировала Нейт — "в солнце", которое рождено как бы "без поднятия покрывала". В миниатюре эту проблему решаем мы, но не умеем решить... Восток, после тысяч лет напряжения, сумел ее разрешить. Вот уж истинный "вечный разрыв фаты" с вечным "сохранением ее целостности" — эта восточная семья, неудержимо рождающая и вечно сохраняющая именно умиленно-кроткий тон в рождениях. Какие-то чудные тонкие льдинки, которые берет в рот больной, они оттаивают с краешков — и он глотает в них освежение и исцеление, когда вообще природа льда — простужать и резать. Грех преобразован. Нет греха. Более: грех течет уже, как святость, "в жизнь вечную". В "Книге Руфь", когда эта моавитянка, по совету свекрови, приходит к Воозу и говорит ему в ночи слова, которые мы не решаемся здесь повторить, — Афродита и Диана чудно слились. Нет, более; грек никогда этого не умел, он только мечтал об этом. Афродита — умерла, Диана — умерла... Появилось нечто чудно-семитическое и чему, быть может, никогда, никогда не научится ариец! Но это научение, как *проблема*, — есть и будет вечно алкаться! Ибо эта проблема, повторяем, — грешить и в грехе не знать греха. Мы все сбиваемся в словах; да ведь и народы, в тысячелетиях, в целых цивилизациях, сбиваясь, тысячи лет сбиваясь, — нашли так поздно *тон* "греха безгрешного".

Вернемся к нашим миниатюрам и неудачам и попыткам. Семья, в необозримой гамме ее выражений, ее колорита, семья III, IX, XIV, XVIII века; семья германская, семья французская — все это вечная проблема и вечный же феномен сочетания, удачного-неудачного, "Афродиты-Дианы". Чуть-чуть больше Афродиты — и является колорит "оголенности", который так резанул мой вкус на французской выставке. "Боже, моя жена — кухарка" — вот родник распада тысячи семей. Повторяю, уменье сочетать Диану и Афродиту — есть проблема каждой семьи, есть феномен каждой семьи, и греки не фантазировали, а решали реальнейшую из проблем, и вместе проблему вечную. Каждая женщина есть Афродита, в этом ее суть; но еще более ее суть и гений заключается в том, чтобы остаться до конца, до дряхлости глубочайшею Дианою. И это возможно. Разве не "Диану" любил и *влюблен* был в нее знаменитый Афанасий Иванович в гениальном эскизе Гоголя? Вот пример совершенного разрешения на украинской почве греческой темы. И, между тем,

Пульхерия Ивановна, конечно, грешила столько же, как Гера. Грешила... "и не была грешна". В этом — проблема. В этом — еврейская Руфь. Повторяем, суть семьи и ее "столпо-охранительный характер", над которым столько трудятся (не понимая дела) консерваторы целой Европы (в сущности — разрушая семью, ибо они только понимают в ней "социальную скрепу"), лежит в том, что она в точности есть, как выразился Лермонтов о памятниках старой Грузии

...столпообразная руина

древнего Востока, которая вошла углом в нашу цивилизацию, есть египетско-халдейский столб, который вырви его у нас из-под ног, — и мы рухнем. Все эти бесчисленные "Астарты"- "Ашеры", "Афродиты"- "Дианы", "Isis"- "Нейт", все это — исторический невыразимый труд, который, наконец, отыскал *тон* "безгрешного греха"; отыскал — и тень своего открытия (однако — только тень) дал нам: "живите так — и не умрете", "как не умирали мы — проживя по 4000 лет". Поразительно, что железные римляне, со своим фатальным страхом перед разводом, с "idée fixe" социально-семейной крепости, — все-таки провалились именно на семейной почве. Тут дело не в веках, но в том, "как провести этот вечер"; в "дне за днем", которые "святились бы Богу". Как целомудренны были римляне еще при Катоне; а финикияне, по приведенной цитате, были, по-видимому, "на краю гибели" за 2000 лет до Р. Х., "утопая в разврате". Увы, печальное заблуждение: финикияне — *искали*, они — совершали *опыты*. Они — *находили тон истины*. Пришел Александр — и какая сила сопротивления ему у Тира! Пришел Веспасиан к Иерусалиму, и то поселение, "за необузданное служение" которого "развратной Ашере" упрекали пророки, — какую выразило мощь устойчивости! Чтобы сорвать человека с места — надо было вырвать камень из-под человека, и, кажется, для того, чтобы сорвать Сион, — вырвать нужно было этот "центр земли" с его места, и выворотить всю эту сирийскую полосу земли. И никто из *этих* народов не умел ни *установить*, ни *сам* умирать. И ими завещанною истиною, частью, крохами истины, питаемся мы. Это хананеянка о себе сказала смиренно (какой *всегда* тон у этих служительниц Ашере): "Господи, и рабы не лишены бывают крох, падающих со стола господина своего". Какая ошибка: это от *их* стола, когда они уже так давно умерли, мы вкушаем, сыты, и крохи все не убывают. Святые крохи чудодейственной силы.

Добавим несколько о нашей теме. Ошибка и *ограниченность* как Дианы, так и Афродиты, в изображениях греков, в мечтаниях греков, в решении ими великой проблемы "безгрешного в грехе", лежала в том, что как одна, так и другая были взяты ими в оторванности, уединенности *едино-личности*. Целомудрие Дианы есть только отрицание, несколько сухое; она вечно гоняется на охоте по лесам, и это... чуть-чуть напоминает *pruderie* "синих чулков" нашего времени. Греки сумели схватить в целомудрии только целомудрие: ошибка, за которую мы их

не можем судить, ибо даже и мы после такого всемирного опыта, и даже не слабейшие из нас, но сильные вкусом и умом, полагаем суть целомудрия в пассивном отвращении, в неведении, в отрицании... материнства. Диану даже нельзя представить матерью. Эта же ограниченность лежит в Афродите. Ее обнаженность какая-то "an und für sich"* . Для чего она? кому? Это — Нарцисс, который *сам на себя* смотрится в воду. "По плоду познается дерево", и здесь не было "плода", отчего и смоковница была посечена во благовремении. Как Диана, так и Афродита — не разрешаются в полноту семьи, хотя, бесспорно, в них выражена проблема именно семьи. Афродиту также нельзя представить матерью.

Сама вечная *молодость* их и *красивость* — есть недостаток и односторонность, есть какая-то неумелость грека двинуться вперед мыслью. Разве нельзя быть *старою* и бесконечно прекрасною? *Некрасивою* — и удивительно милою? Этого шага вперед не умели, *в пределах данной темы*, сделать греки и, под конец, может быть, они забыли и о самой теме. Между тем, именно она у них была, о чем сохранились следы в упреках Отцов Церкви; "что за вкус у вас, — упрекал, если не ошибаюсь Юстин-Философ, — вы воздвигли статую женщине, которая имела (не помню точно цифру) столько-то детей". И он сравнивал, очевидно не понимая темы, эту женщину с общеизвестным плодовитым животным. К сожалению, не имея памятника под руками, я не могу привести очень интересной, в принципиальном отношении, цитаты. Юстин-Философ начинал собою эру существенного забвения всех тем, очерк которых мы сделали; существенного непонимания всего труда, который раньше совершился над великой проблемой семьи. Он и эра, которую (в толпе других лиц) он начинал, взяли семью как эмпирический факт; взяли в том тоне, в каком она существовала, в полной уверенности, что это естественный дичок, вырастающий "так-себе", "езде". Поэтому мысль грека изобразить (кажется — статуя принадлежала Праксителю и была одним из знаменитых его созданий) ахейнку или афинянку, имевшую что-то около 17 человек детей, — показалась ему шокирующею благовоспитанность неуместностью. "К чему столько?" — спрашивает он. "Зачем вообще художник избрал темою столь малоэстетический предмет, как роженицу". Упрек этот, мы точно помним, есть у апологета. Подобные же упреки и насмешки рассыпаны и в составе укоризны Зевсу, что он "столько рождал и почти только рождал", так что — чего не заметил древний полемист против язычества, — сущность Зевса и есть рождение, тайна рождения, неразрешимое и неуразумеваемое в рождении, что в конце концов у греков разрешилось в создание *старческого*, "древнего днями", лица. Но, как мы говорим, судя по недошедшей до нас статуе Праксителя и упрекам Юстина-Философа, мысль грека ступала иногда далее сухих Дианы и Афродиты, простираясь в семитическую глубину. И, между тем, для греков это было вообще

* "в себе и для себя" (нем.).



Фиг. 4

так легко. Кто имел случай рассматривать египетские рисунки, не может не прийти к убеждению, что, в сущности, евреи и греки разделили между собой египетскую проблему. Великий недостаток юдаизма — отсутствие грации. Это — самый неграциозный народ в истории, утомительно-серьезный. Наоборот, этой угрюмой серьезности уж чересчур недостает грекам, грация которых вечно хочет перейти в кокетство. Египтяне были удивительно грациозный народ; с вечною улыбкою, но которая не умела, и даже, верно, не понимала, *как* перейти в хохот; народ поразительной нежности, которая, судя по внутренней разрисовке их подземных сооружений (картины быта), никогда более не повторилась в истории. Но темы Греции и Иудеи схвачены в Египте в их нерасчлененной ясности и уравновешенности. Там уже было пророчество — в прозе; там — вечная Афродита.

Рисунок 4 взят из Масперо и пояснен: "Isis, réfugié dans les marais, allait Horus sous la protection des dieux"* . Греки этого не умели. Мать — бежала, нуждается в покровительстве — вот элемент трогательности, которого не пришло на ум ввести в красоту грекам. Она, наконец, — *Мать-Питательница*, и этого элемента бескорыстия, служения *другому* опять не доставало греческой красоте. От этого ни Афродиту, ни Диану мы не находим окруженной небесными силами, как дерзнули представить египтяне свое более полное воплощение женской сущности. Утонченные греки понимали, что ни Афродите, за ее красоту, ни Диане, за ее грацию, все-таки не за что истинно поклониться и истинно послужить. Религия их постоянно соскальзывала на художество, как религия евреев никогда не поднималась до художества. У последних был чистый ноумен, не покрывшийся феноменальными выявлениями; у пер-

* Изиды, укрывшаяся в болоте, ищет у Гора покровительства богов (*фр.*).

вых все устремлялось к феноменальному, все пошло в выявление и умерло, когда окончательно под феноменом исчез ноумен. Если очень внимательно наблюдать евреев, даже каждого еврея, можно заметить в нем черты помешательства; в "Венецианском купце" Шейлок есть чисто помешанный, с *idée fixe*, почти с галлюцинациями. Греки почти не знали нервных болезней: "бремя" их в истории было легко; бремя, и именно внутреннее, субъективное бремя еврея, — почти непереносимо. Это — бремя Атласа, которое раздавливает собою даже Геракла. Мы говорим не иносказание, не уподобление: ведь они, в самом деле, держат "небо" на плечах, и — вопят от тяжести в истории, как уязвленный Аякс.

О "ДВУХ ТОЧКАХ ЗРЕНИЯ"

Я рад был прочесть хоть и коротенькую, но, как всегда, ценную заметку г. Влад. Заточникова по поводу наших рассуждений о браке. Кажется, я вправе сказать "наших", ибо тема, не попавшая еще на зуб общества, тем не менее собрала около себя несколько вдумчивых людей. Гг. прот. А. У-ский, Мирянин, Рцы, Серенький, Н. Аксаков, П. Перцов, А-т, Шаранов, Мих. Слепцовский — эти люди, принявшие участие в теоретическом (что нужно отличать от практического) обсуждения проблемы пола, — уже не "один", даже не "кое-кто", а маленькое целое общество. Мнения очень сталкиваются, мнения расходятся, но есть и некоторый *плюс* положительного согласия. Никто не отрицает новизны темы; никто не оспаривает ее важности; кажется, все соглашаются, что практический мир, ею охватываемый, так же велик, как и теоретический. Все видят, что здесь странным образом запутываются и переплетаются физиология, право, религия, мир трансцендентный и феноменальный, мир христианский и дохристианский. Случайно или нет, исторично или анти-исторично, мы тронули пальцем клавишу, от которой зазвучал, и в этом единственном месте зазвучал, целостный орган мира. Одни цитируют Апокалипсис, другие *в пределах той же темы* цитируют "Физиологию обыденной жизни" Льюиса. Очевидно, от клавиши идут струны в религию и науку; да это так и есть, ибо брак есть *глава* физиологии и *глава* канонического права. Мы взяли арфу мира в руки. Вопрос о том, сумеем ли мы сыграть.

В статье Влад. Заточникова меня особенно манит взять для обсуждения следующее место:

"Как стушуется *болтун-ум* (везде — его курсивы) перед сладостным волнением крови (которая, в скобках, всегда есть *факт*) — и сколько здоровых детей, сколько чудных мальчиков в результате этого дивного забвения, этого великолепного апофеоза зиждительной, всепримирающей силы..." (№ 95 "Гражданина").

Я далек от сочувствия *всему* этому месту: "болтун ум" ... Нет, *благодарю* мой ум в его разумном внимании к тем-то и тем-то в детстве выслушанным словам; я учился — и он мне *помогал*; не возблагодарю ли его за то, что он не был беспамятен, костен, леностен. Благодарю его за тысячи наслаждений *понять* то и это; за *книги*, которые я *читал*, которые я *писал* и что он сделал меня *братом* *всему* разумному в мире. О, я видал идиотически рожденного в возрасте 12 лет; у прекрасной его матери, у которой было еще пять детей, *горстью* сыпались слезы при взгляде на *этого*. Она была замечательно счастлива по средствам, по положению, по счастью в семье. Любуясь всем этим, я как-то сказал: "Как вы счастливы". Вдруг она залилась слезами, как-то сразу именно *пригорюнилась*: "Могу ли я быть хоть один час счастлива, когда вижу!" — и она назвала по имени мальчика, кроткого, необыкновенно ласкового, но слабоумного. Кстати, урок и почти вопрос: больной был окружен самым тщательным уходом, всегда был за общим столом, родители его (совершенный "дурачок") никогда не конфузились. Причина же несчастья: во время беременности у матери был вырван заболевший зуб (связь нервной системы), итак, ум наш — свет наш.

Однако Моисей открыл свои писания не "книгою слова Божия", не "Ветхим преданием", а "книгою *бытия*". Да, "*бытия*" — так называется *первая книга* Библии. Так пишут священные мудрецы; так проникают они тайну мира: ум есть свет, пожалуй — светоносное бытие, но ограниченное в том смысле, что ни повести из себя *бытия* не может, ни даже до глубины и окончательно его понять. Между тем "кровь — всегда *факт*" и этот факт во *мне* — т. е. в моем уме.

Ум светел, но бесфактичен; между тем поразительная сторона *крови* заключается в том, что она не только *фактична*, но и *умна*, и притом каким-то трансцендентным умом. Ведь кровь есть начало семени, это-то уже конечно; и вот я никак не могу поверить, чтобы Данте, Бетховен и Петр "сделались", а не "родились"; и так брызг "крови" имел в данном случае такой *чудовищный* ум, перед которым девятая симфония, первая песнь "Ада" и Полтавская "виктория" были тем же, чем слабоумный бедный мальчик перед своими пятью братьями и сестрами. Да, кровь *строит*, и как *умно*; "ум" несколько не "болтун"; но в "крови" мы имеем гений, и, как заметил г. *Заточников*, гений не только *постигательный*, но и *изводящий* из себя бытие, гений *бытийственный*. Право, тогда можно поверить, что мы тронули, трогаем "демиурга" платоновского. "Бытие и бытие", "звезды и звезды", "миры и миры" ... Да, перед этим ум *мал*; но ведь он же и *открыл* нам его, и, указав, смиренно отошел в сторону; какой "ум" "в уме"!

В *pendant** к обмолвке г. *Влад. Заточникова* о "крови" я приведу выдержки из двух писем, трактующих эту же, в сущности, тему и написанных по поводу указаний, какие мне пришлось сделать в статье "По поводу одной страницы в "Воскресении" гр. Л. Н. Толстого"; строки эти,

* дополнение (*фр.*).

из частного письма, принадлежат одному из лучших "совопросников" в проблеме брака:

"...Да не примите за преувеличение моих похвал. Уж больно хорошо, больно бесподобно, неподражаемо сказано у вас о том, что мы являемся поклонниками не Триипостасного Бога, а лишь одной Второй Ипостаси, что о Первой и Третьей Ипостаси у нас хранится гробовое молчание*. Отсюда все нестроения. Напрягаются категорию бытия, силы, воли, хотения, соответствующую первой Ипостаси, и категорию чувства, соответствующую третьей Ипостаси, покорить категории разума, соответствующей второй Ипостаси, или, иначе говоря, хотят Отца покорить Сыну, забывая, что это противоестественно даже и у нас и что, наоборот, по писанию, Сам Сын некогда покорится Покоршему ему всяческая (1 Кор. 15, 28), т. е. признает первенство, главенство, превосходство перед Собой Отца, или идеи бытия (NB) и рода (NB) перед идеей разума. Равно и чувство есть совершенно произвольный (NB), инстинктивный (NB) показатель для нас ценности (NB) окружающих нас предметов и разуму также не покоряется, ибо соответствует самобытной особой Ипостаси Божией. Чувства не купишь ни на каком рынке, ни в каком магазине. Вы этим пунктом задели меня за самую любимую, за самую, так сказать, современную (NB: живую, вибрирующую) мою струнку. — Итак, да будет благословенно пресвятая Троица, Отца и Сына и Святого Духа, во веки веков. — В соответствии вашему воззрению на природу (NB: что вся тварь, конечно, сослужит человеку в служении Богу) и, так сказать, есть дьячки, сторожа, пономари, диаконы около священника в космической литургии космического храма) посылаю вам одно юношеское свое стихотворение. Не посмейтесь только над неуклюжестью его словесного выражения. Протоиерей А. У-ский. 7 декабря 1899".

Согласитесь сами, что, заговорив о *браке*, мы заговорили и о *сознательном* и *бессознательном*: старые споры еще славянофильских гостиных вспыхнули самобытно и у нас, но, кажется, поинтереснее и вместе доходя до небывалой еще глубины, связуясь с дефектами теизма.

Стихотворение присланное прекрасно, и почтенный редактор "Гражданина" да позволит непривычно занять им страничку его журнала. Право, ведь хорошо иногда отдохнуть от политики на такой словесной зеленой лужайке:

Июльский полдень в деревне

Когда солнце в сияньи небесном
Совершает надземный свой путь
И на луге, роскошно-прелестном,
Все живое зовет отдохнуть.

* Неведение. Отсутствие чего-либо *воображаемого* или *мыслимого*. Просто *нумерационно* входит в наш теизм. В. Р.

* * *

Я тогда уношусь с восхищеньем
В созерцанье небесных красот,
Иль люблюсь зеркальным движеньем
Серебристо-сверкающих вод.

* * *

И тогда мне чудится, что в мире
Божья слава разлита везде,
И чудится тогда, что кумиры
Лишь бывают на грешной земле.

* * *

И хотелось бы мне обратиться
В одну песню Владыке веков
И в мельчайших частицах разлиться
По пространству подзвездных миров.

* * *

И гармонии чудной аккорды
И впивать, и кругом рассевать,
И блаженство из счастья урны
На созданья с росой рассыпать.

* * *

И хотелось бы хором с природой
Вседержителя царствие петь,
Треск громов, вой ветров, непогоды
В пире жизни друзьями иметь.

А. У-ский

Мечтательному русскому семинаристу и в голову не приходило, до чего его "незнающее в словесном выражении" стихотворение близко подходит к гимну Франциска Ассизского. Приведем и его, дабы образовался далекому близнецу смиренный русский служитель алтаря Божия:

Тебе — хвала, Тебе благодаренье.
Тебя Единого мы будем прославлять,
И не достойно ли одно творенье
Тебя по имени* назвать.

* "Как тебе имя", — спросил Иаков, боровшийся с Богом и утомленный борьбою. — "Не спрашивай, оно (т. е. имя) — чудно", — ответил боровшийся (Бог). См. *Бытие*.

* * *

Хвалите Вечного за все Его создання:
За брата моего, за Солнце, чье сиянье,
Рождающее день, —
Одна лишь тень,
О Солнце солнц, о мой Владыко, —
Одна лишь тень
От твоего невидимого лика.

* * *

Да хвалит Господа сестра моя Луна —
И звезды полные таинственной отрады,
Твои небесные лампы,
И благодатная ночная тишина!

* * *

Да хвалит Господа и брат мой Ветр летучий,
Не знающий оков, и грозовые тучи,
И каждое дыханье черных бурь,
И утренняя, нежная лазурь!

* * *

Да хвалит Господа сестра моя Вода:
Она — тиха, она — смиренна*,
И целомудренно-чиста, и драгоценна!

* * *

Да хвалит Господа мой брат Огонь — всегда
Веселый, бодрый, ясный,
Товарищ мирного досуга и труда,
Непобедимый и прекрасный!

* * *

Да хвалит Господа и наша Мать-Земля:
В ее родную грудь, во впашные поля
Бразды глубокие железный плуг врезает,
А между тем она с любовью осыпает
Своих детей кожницами плодов,
Колосьев золотых и радужных цветов!

* Какое наблюдение! Ведь это — *лик* воды, и, конечно, воды имеют свой лик. Вот почему купающегося они, эти сестры человеческие, лобызают и *освежают*. Холодные-то "обтирания" воскрешают *нервы*. Эти прикасания к "Матери-Земле" у переутомившегося от болтливости интеллигента. Кстати, вовсе не существует "лечения разговорами".

* * *

Да хвалит Господа и Смерть, моя родная,
Моя великая, могучая сестра!
Для тех, кто шел стезей добра,
Кто умер, радостно врагов своих прощая,
Для тех уж смерти больше нет,
И смерть — их жизнь, и тьма могилы — свет!

* * *

Да хвалит Господа вселенная в смиреньи:
Тебе, о Солнце солнц, — хвала и песнопенье.

(Перевод Д. С. Мережковского. "Символы", 1892 г.)

Совпадение между *чувствами* двух стихотворений доходит до подробностей. Вот — начало Отчих песен, гимнов. Их настроение существенно другое, чем употребительное у нас унылое, *отрицательное* (к миру). Вспомним Никанорову печаль, "обиды сану", "Боже, помоги моему неверию", и заключительное: "сказал бы матушке, да чин высок":

...И зашел бы к отцу к матери,
Да ворота не крашены,
Идет Спесь, видит: на небе радуга,
Повернул Спесь в другую сторону!
"Не гоже мне нагибаться".

"Отчая" песнь по земле ползет и землю целует; "красная глина", из которой "я взят!" (Быт.). И вот между сухим "я", "я", "я" и "мы", "с землицею", "с козлятками", с "сестрицей-водицею" возможна размолвка. Тоном этой грустной, конечно, размолвки проникнуто второе письмо благостного священника:

"Любезный мой В. В.

За последнюю вашу статью — в № 95 "Гражданина" — обнимаю и целую вас. Да, Византию необходимо радикально потрянуть, не в смысле, конечно, ее отвержения, а в смысле дополнения. Византия дала только костяной остов или скелет для организма тела Церкви. Недаром греческие отцы называют столпами ее. Да, они воистину столпы, так же тверды, как кости, но так же и сухи и безжизненны, как эти последние. Но ведь очевидно, что для полного организма, кроме костяного скелета, необходимы еще и мускулы, и кровеносная система, и нервная система и проч. и проч. Ничего этого Византия дать не может. Все это должны восполнить иные нации. — Указанные вами три категории *бытия* (силы, воли, хотения, рождения), *разума* (логос'а, закона, нормы, правила, порядка) и *чувства* (любви, благоволения; Дух Отца Небесного (Матф.

10, 20), свидетельствующего о Сыне: сей есть Сын Мой *возлюбленный*, ...радости ("сам Дух ходатайствует о нас воздыханиями неизреченными, Рим. 8, 26), утешения ("егда же придет Утешитель"), свободы ("иде же Дух Господень — там свобода", 2 Коринф. 3, 17), ясновидения, предвидения, пророчества ("грядущая возвестит вам", Иоан. 16, 13) — эти три категории, обозначенные вами по образу и подобию Пресвятыя Троицы, пожалуйста, оттените как можно рельефнее и внушительнее и поставьте их в основание своей метафизики. Такое основание, положенное непосредственно на корне Пресвятой Троицы, конечно, будет непоколебимым и несокрушимым... *Ваш А. У-ский*. 11 декабря 1899".

Тут очень много чего я не высказал так раздельно. Главное — мы "образ и подобие" и в бытии нашем есть "отображенные" и "подобные" Ипостаси же, но только с маленькою "и". Небесная фотография, брошенная на землю: дивно ли, что вечно она поднимает взор к Небу: "где Отец Мой и родитель Мой, без Коего я иссыхаю, как ручей без источника". Вернемся теперь к Влад. Заточникову.

II

Итак, мы возвращаемся к подробностям статьи г. Влад. Заточникова.

Он упрекает меня, что я или *не вижу*, или *не хочу замечать* совершенно противоположной моим воззрениям точки зрения Толстого.

Не скрою, что я пользуюсь иногда *поводами*, и тут приходится кой-где добавлять, убавлять, даже "делать вид", дабы создать из сомнительного предлога обсуждать тему прямой повод говорить о ней. Но ведь я и не совсем не прав даже относительно Толстого. Толстой бесценно дорог *суммою* своих писаний, где он дал *быт* семьи, *психологию* семьи и, в частности, где он никогда не обегал, как *щекотливости*, тем рождения и беременности, *кроме зачатия*, которое он почему-то отделяет от рождения. Я читаю 36 букв в алфавите и, начиная его с А, называю весь: "Аз-бука"; но он почему-то выпускает первую букву, и у него тот же предмет, но о 35 буквах называется по имени читаемой им начальной буквы просто "букою". Не "аз-бука", но "бука". Все-таки *за то*, что он читает и любит (35 букв) и что он *первый* в литературе (вся *сумма* его деятельности, весь *итог* ее) начал читать и почти навязывать обществу священный этот алфавит, нельзя не быть ему безмерно признательным *в пределах и интересах нашей темы*. Сомнение об "а", мне кажется — у него "чужая мысль", *духоборческая*; но и у них это "чужая" же "мысль", целая византийская мысль. Ведь чудные по чувству, по поэзии гимны при монашеском постриге почти сливаются с гимнами погребальными и, как одни, так и другие, сливаются же опять в духе и форме с любимейшими гимнами "духовных христиан" (так называют себя сами духоборцы). Суть духоборчества — отрешение теизма от *вещества*, особенно — *пло-*

ти; в этом отрешении один доходит до того, другой — до этого; но все равно, алкоголизм идеи уже действует, и когда один останавливается на пятой рюмочке, другой, положим Толстой, — на десятой, скопцы доходят до 100. Тут что же толковать кто до чего дошел, ибо они все с первой "рюмочки" уже стоят на пути к 100-й, но, конечно, бредут разрозненно, одни прытче, другие, слабые ногами, тише и отстают. Но все будут "там же". Заметим, что основной догмат всего духоборчества (сектантства): "Не женившись — не женись, а женившись — разженись", — есть в то же время бесспорный обет аскетизма, но только нетерпеливо распространяемый и на "необдуманно" женившихся.

Чтобы показать отсутствие какой-либо оригинальности здесь не только у Толстого, но и у духоборцев, приведу буквально цитату из "Луча Духовного" Иоанна Мосха о безбрачии в самом браке, которое зародилось уже в первые века Византии:

"Особый вид аскетического подвижничества, встречаемый среди мирян, — это воздержание в браке. Этот обычай мы встречаем с первых времен существования христианской церкви. Таковую жизнь вели: преподобный Аммон с супругою, св. Магна Анкирская, благочестивый Малх, Анастасий и Феогния, Пелагий Лаодикийский с супругою, Юлиан и Василиса (285 г. по Р. Х.), Колон Исаврийский и Мария (II век), Цецилия и Валериан, римский аристократ (230 год), Захария-башмачник и Мария (III век). Сведения о них читаем у Руфина: "De vita patrum", у Иеронима, Феодорита. Как труден подвиг этот, видно из рассказа св. Григория Двоеслова: один пресвитер, дожив с супругою, как с сестрою, до глубокой старости, уже умирал. К нему подошла сестра-супруга и дунула на лицо его. Собравшись с силами, старец сказал ей: отойди от меня, жена; огонь еще жив — отодвинь солому" (И. Мосх, стр. 134). Итак, "сестры-жены" "Крейцеровой сонаты", за которых Никанор, точно забыв о себе, печатно и бурно назвал Толстого "ересиархом" (в брошюре "О христианском браке"), эти "сестры-жены" очень древни, и Никанор судил как новенький, "новициат" в своем собственном подвиге. Еще возьмем цитату из Иоанна Мосха: "Некоторый старец учил иноков об обращении с женщинами и говорил так: чадца! соль — из воды сама, но, соединяясь с водою, она растворяется и исчезает. Так и монах. От жены произойдя, он, приближаясь к женщине, ослабевает и обращается в ничто, т. е. перестает быть монахом" (там же, стр. 265). Русский переводчик И. Мосха пишет к этому месту историческое примечание: "Многие подвижники отказывались видеться с сестрами и матерями: св. Пахомий, Иоанн Каламит, Феодор Маркиан, Пимен, Нуфь, Симон Столпник и другие". — Да это и вообще так общеизвестно, тут — цивилизация, в этом — культура, конечно, допускающая брак *malgré soi*, в противоречии с собою, и духоборы, последовательные и цельные, так и решили: "Не женившись — не женись! женившись — разженись!" За что они "отлучены" — даже и приблизительно нельзя понять, когда "отлучавшие" "растворяются от женщины, как соль от воды". Путаница

забвения и себя непонимания! Очевидно, что сейчас в сфере идей Толстого и духоборов мы имеем целое море "чужих мыслей", все "чужих заимствований". И раз, что мы спорим в полемике о браке, конечно, мы признаем и знаем вторую точку зрения и, след., что вообще в мире есть две точки зрения. Тайнственные точки. Это древние египтяне говорили, что есть "Озирис", "вечно рождающий", и что есть еще брат у него — "пустынно дующий" Сет. Я думал вначале, и думают вообще все мифологи (см. "Религии древнего мира" Хрисанфа), что это — злое божество Египта, соответственно тому, что оно, по мифу, вечно борется и наконец "умерщвляет Озириса", но однажды, копаясь в публичной библиотеке, я нашел альбом фотографий живописи в "Храме Сета". Я был поражен. Очевидно, египтяне ему молились, в то же время молясь им убитому Озирису. "Увы мне"!... "увы нам"!.. "Это — ветер, дующий из Сахары", — объясняют еще мифологи. Увы нам, увy нам... Это — вторая точка зрения, кажущийся второй полюс мира; и вот разгадать эту "кажучесть" и значит наконец понять все.

* * *

Кто же не знает, что в Апокалипсисе есть рождающая Жена и какое для нее окружение! Солнце — около ее тела, уже верно *toute nue** в апокалипсическом-то ведении! окрест головы — звезды, под ногами — луна, все члены природы и "родство" Франциска Ассизского, как и она сама, эта Жена, есть, в сущности, тайна души его, и он потому так и почувствовал "солнце, луну и звезду", что из него самого текли "солнца, солнца и солнца", "звезды, звезды и звезды", "луна, луна и луна". Кстати, он так и говорит, что есть "многие солнца", хотя видел одно и не знал из астрономии о других. Да, "стихиен" человек, т. е. много стихий в нем. Но замечательно, что писатель Апокалипсиса, начертавший единственный в словесных памятниках человечества образ жены в секунду самого разрешения от бремени ("она кричала в муках рождения"), начертал — он же и в той же книге начертал, и образы старцев, "не осквернившихся с женами". Это так необыкновенно, что мы приведем параллельные тексты:

"И явилось в небе великое знамение — жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд.

Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения" (Откровение св. Иоанна, 12, 1—2).

"И взглянул я, и вот — Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами; и никто

* вся обнаженная (фр.).

не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли.

Это — те, которые *не осквернились с женами, ибо они девственники*; это — те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей как первенцы Богу и Агнцу” (Откр. Иоанна, 14, 1—4).

”Откровение” Иоанна не носило бы своего заглавия, если бы оно когда-нибудь имело быть до конца разгаданным.

”Откровение” значит ”сокровенное”, и книга его до сих пор полная для всех загадка.

Совершенная *закрытость* от взоров человеческих мысли книги показывается тем, что местами ее писатель говорит: ”Ангел мне показал, но что я увидел — это в книгу, т. е. в имеющееся у нас ”откровение”, он записывать запретил”. И это, что главное увиденное или неизрекаемое и изречено, не раз мелькает в его строках. Есть одна этому аналогия: в ответе Бога Иакову-богоборцу: ”Зачем тебе Мое имя — оно *чудно*”. И не сказал; Иоанн увидел и не записал. ”Чудное” верно он увидел. Во всяком случае, Бог — ”в мгле”, ”тайне”, среди ”горящей купины”, т. е. суть и вечная суть приближения к Богу есть сгущающаяся темнота, неясность и ”потемнение хрусталика” (болезнь глаз) у зрителя, ”темная вода” у него же. ”Я *ничего* не вижу, Боже!.. ”Но *это* потому, что *Я перед тобою...*” Вечная тоска человека. Отмечая *возрастающую темноту* в поле зрения, философы и называли область этих приближений мистицизмом (”святая тьма”).

Второй текст двух приведенных отрывков основывается на таинственной идее ”Агнца, закланного для начала мира”. Что это такое — тьма, тьма и тьма! В то же время в этом ”Агнце” закутано событие христианства”. Мы, христиане, — невольные мистики, не в смысле, однако, приближения, но в смысле игнорантства, ибо даже и отдаленно не понимаем чего-либо в основном событии своей веры. Может быть, когда-нибудь и выступят великие умы, которые хоть *зернышко* выкатят нам из страшных глубиной писаний. Но пока мы, *читатели*, с одной стороны, и *писатели* наших таинственных книг ”Нового Завета” — с другой, так *несоизмеримы*, что ”не можем разузнать” книг их...

Будем заниматься *теньями* истины, почти филологией.

В Апокалипсисе поставлена ”рождающая жена” и 144 000 ”не осквернившихся с женами” — проставлены же. Это мы *читаем*, это — *буквально*. Слава — одному, слава — другому. Какое-то ”схождение параллелей”, *вне-эвклидовская* геометрия, но только нравственного порядка. Да ведь это и есть все мир трансцендентностей!

Физиологичность описания ”рождающей жены” доведена до *пес plus ultra**:

”И другое знамение явилось на небе: вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами и на головах его семь диадем.

* дальше некуда (*лат.*).

Хвост его увлек с неба десятую часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца.

И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит мести все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и Престолу Его" (*ib.*, ст. 3—5).

Кажется, нет сомнения о славе рождения в упор названного и описанного так, что, например, даже нельзя совершившегося в приведенных словах представить в живописи и внести в церковь. "Огненная купина" неизобразима, кисть выпадает. "Смятенный вид"... И он — в славе "солнца, звезд, луны"; в *противо-летании* "дракону" (= зло, первичное зло). Но как же тогда "не осквернение с женами"?!

Сделаю голое воспоминание. Когда я кончал, в 1898 году, "Легенду о Великом инквизиторе", мне нужно было сделать в конце статьи цитату из Апокалипсиса, и я, не зная (не помня, не запомнив) места о "144 000", попал глазом случайно на него. Место это, и именно словами "не осквернения с женами" (духовный фокус, центр места), до того поразило меня ("пронзило"), что, изменив текст статьи, я приносовил его так, чтобы вписать в него это видение. *Сердце мое заныло.* "О, если бы и мне!"... "Увы, мне", "увы и нам"...

Духовной жаждою томим
В пустыне жаркой я влачился...

Да, "ветер Сахары", мифологи не ошибаются. Сладость познания этого ветра, нерв его, мука его заключается в *отсутствии* (духовном) *влаги, влажного начала, увлажнения и увлажненного.* "Не хочу воды!" — как говорят в водобоязни, т. е. "не хочу!" с силою и неодолимостью заболевшего страшною болезнью. "Не хочу! не хочу!" — "Чего?!" — "Не хочу жен!" Этой "апокалипсической жены"?? Не знаю, не понимаю, не хочу — я с Агнцем. — Не с драконом ли? О, нет и нет: я запою гимн, как и Франциск Ассизский, и мне — земля мать, солнце — брат, луна — сестра, но жен я не хочу, это — *скверна!*

Я годы продумал над этим пунктом и годы искал; я наблюдал и старался хоть высчитать *аналогии*; и хоть чуть-чуть, но тут брезжит свет: аскетизм не только не *рациональнее* брака, но он гораздо его *мистичнее.* Вот уж идея, которую не обопрешь на *доводы* (*ratio*). "Не хочу!" — и он не умеет еще ничего сказать. Аскетизм есть свет без всякой содержательности (без материального субстрата), "пустынный ветер Сахары", который вовсе за себя не имеет *доказательств*, но в себе имеет *привлекательность*, и притом сильнейшую, чем брак. Маленькая иллюстрация.

За 99-й год в "Русском Труде" появилось письмо г. Мирянина — *против* брака. Его аргументация — ничтожна. Но что-то *прекрасное* веяло в нем, и как меня ни раздражило это письмо, но я не мог не почувствовать, что дух его сильнее моих аргументов. "Пустынный ветер

Сахары"... К удивлению, второй защитник (в "Русск. Труде") брака, отец прот. А. У-ский, прислав обширное возражение г. Мирянину (оно не было напечатано), начиная его, тоже оговаривается о "прекрасном тоне письма". Ах, эти "тоны", о, эти "тоны" ...Музыка, а ведь мы — музыканты. Аргументы его были пусты; тенденция (практическая), конечно, ужасна! "Пустынная земля, пустынный ветер"... Но — плакать хочется! И я — с Агнцем, не хочу — жен! Аскетизм, не имея вовсе никакого содержания, не будучи в силах опереться ни на один аргумент, палит нашу душу зноем:

Духовной жаждою томим.

"Не понимаю, но хочу!" — "Чего? С драконом?" — "Нет, нет, но я хочу, я не хочу — скверны, я жажду — чистоты! (Кондр. Селиванов назвал свою операцию "очищением"). — Но ведь "солнце, луна и звезды", уж конечно, окрест "чистоты". Это *содержательно*, тут — *субстрат*, "мать сыра-земля", а я — в звезды, за звезды, в чистые сферы без воздушности, вне воздушности. Я выхожу из мира, вне мира; рушу грани природы, ее пределы. Не говорите мне, что брак есть чистый и космический закон, ибо я беззаконен и внекосмичен.

Тут хоть что-нибудь мы начинаем постигать. Но поразительно, что "144 000" "не осквернившихся с полами", которые, казалось бы, уже "с Богом", стоят непосредственно *перед живым, жизненным, животным* началом. Это так невероятно, что мы приведем текст:

"После сего я взглянул, и вот — дверь отверста в небе, и прежний голос, говоривший со мною, сказал: взойди сюда и посмотри, что я покажу тебе.

И тотчас я был в духе; и вот — престол стоял в небе, а на престоле был Сидящий.

И сей Сидящий был (NB) подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола видом подобная смарагду.

И вокруг престола 24 престола; а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы.

И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божиих.

И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола (NB!!) и вокруг престола (NB) четыре животных, исполненных очей спереди и сзади:

И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу *летящему* (NB: в церквах наших этот орел изображен *сидящим, опустив крылья*, что совершенно переиначивает мысль видения).

И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя (NB: вот они "орлы"-то "летающие"), взывая: свят, свят, свят Господь Бог *Все-держитель, который был, есть и грядет.*

Иногда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки веков.

Тогда 24 старца падают перед Сидящим на престоле и поклоняются Живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря:

"Достоин Ты, Господи, принять славу и честь, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено" (Откровение Иоанна, 4).

Изображаемое здесь не только не дальше от Бога, чем "144 000", но оно — *уже в касании с престолом и на престоле*; и одновременно — *прямо* животным! Так названо, так написано, и опять это буквально. Кто-нибудь может сказать, что это — "аллегорично", и тогда можно ответить, что и "не осквернение с женами" аллегорично же. Нет, мы должны бросить произвол и лукавство в толкованиях, и читать то, что написано. Нужно иметь к этому мужество; а не понимаем если, то так и написать честно: "не понимаем".

Итак, в видениях мы имеем:

Жена, рожаящая как узел физического универса (солнце, луна, звезды) — *1-я слава.*

"Не осквернение с женами" (аскетизм) — *2-я (высшая) слава.*

Животный, мешающийся с Божеством (и "на престоле") принцип — *3-я слава.*

Бог, символизированный "кристалловидным камнем" — *4-я слава.*

Колонна выражает порядок, "лестницу" приближений; и мы видим, что таинственное "не осквернение" *разделяет, стоит между*, как некоторая *пустая, не занятая* ступень среди мистического "животного" и универсального "живого". Оно — *в гармонии*, беззвучной с этими ступенями, а не в *дисгармонии*. "Рождает жена", затем — "не осквернение" и за ним сейчас — *Универс. — Животное!* Это так все написано, и мы ничего не переиначиваем.

III

Первый хоть какой-нибудь просвет на "не осквернение с женами" блеснул мне при чтении знаменитого платоновского диалога "Симпосион", или "Пир". Блеснул не сразу, блеснул в годах размышления, когда, ища *аналогий* музыке "не осквернения", я стал припоминать чрезвычайно странный по *содержанию*, по *теме* диалог этот. Во второй или третьей речи собеседующих здесь лиц указывается друзьям, что в *Эросе* или *любви* нужно различать земное начало и небесное; и что "если есть два Эроса",

то, "следовательно, есть и две Афродиты — земная и вульгарная, и с нею не смешивающаяся — Афродита небесная". В этом-то "не смешивании" все и дело. Речь собеседующего лица, т. е. речь написавшего эту "речь" Платона, принимает какой-то тоскливый характер. "Увы мне", "увы — нам"! Он зовет и просит: "не оскверняйтесь с женами". Тут все дело — в тоске строк. Он бросает грязью в "Афродиту земную"; у него — негодование, презрение к "жене" и "женскому существу", к этим бедрам широким, и влажному и увлажняющему началу, этой "мирре капающей" (Песнь песней, 5). Сердце ваше сладко же сжимается, как и при чтении о "144 000". Эта "Афродита небесная" века запомнилась, прошла всю философию, не забылась две тысячи лет, — и просто по *тону*, силою *тона*. Привлекательно. Нет субстрата. Один безматериальный свет. Платон вдруг называет свою аномалию.

Переводчик на русский язык Платона, академик Карпов, делает в ученом введении к "Пиру" почти такие же замечания о *главной* его теме, как С. Ф. Шарапов — к статье, у него печатавшейся, — "Брак и христианство". Язык Карпова — еще презрительнее; помнится выражение: "как такой *умный* человек, как Платон, может говорить о таких *пошлостях*". Его, как и Шарапова, поразила действительная *малость* вида и *отталкивающий* характер этого вида же. Да, невелик "субстрат"... Замечательно, что в нормальном браке, который Платон гадливо называет "Афродитою земною", так сказать, география и хронология "земли" чрезвычайно мала: "островок", а не материк; "звездочка", почти "гомеопатическая частица". В аномалии Платона "территория" почти совсем исчезает (он это оговаривает, замечая, что, кроме "поцелуев" и *ненасытного созерцания*, ничего нет); остается "пылинка", буквальная "пылинка", и пропорционально она из отвратительно-грязного ("брак", по воззрению Шарапова) превращается в "малюсенько-смешное". Тут только мы и можем ухватиться за Достоевского, который, конечно, уж больше Карпова понимал суть вещей и бросил два, связующиеся, наблюдения, которые сюда, к нашей проблеме, относятся:

"— А правда ли, правда ли, будто вы уверяли, что *не знаете различия в красоте между какою-нибудь сладострастной штучкою и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвою жизнью для человечества? что вы нашли в обоих полосах совпадение красоты, одинаковость наслаждения?*"

"Афродита Небесная" несколько выясняется: говорится (у Достоевского) *отнюдь* не о физиологическом наслаждении, не о щекотании нервов, а о *героическом, о подвиге, о жертве*; т. е., во всяком случае, неоспоримо говорится о высочайшем каком-то *духовном поднятии, опьянении* и, не в сторону *мажора* (мажорные тоны) и пошлости, но

— *минора* и *облагорожения*, *восхождения* в *трагическое*, в какую-то *лирическую трагедию* необыкновенного истончения и где центральный фокус — *отречение от себя, принесение себя в жертву*. Да и Платон говорит в подробностях диалога о величайшем ниспадении своего "я" долу, о сладком уничтожении, о чем-то служебном и служащем, во что обращается перед "гомеопатической частицей" странный человек в странном экстазе; и это совпадает буква в букву с речью Достоевского. Текст приведенный — в устах Шатова, который допрашивает Ставрогина; и вот Ставрогин полупризнается Шатову о *малости* и *смешном виде* своих непонятных удовольствий:

"— Если бы сделать *стыд*, т. е. *позор*, только очень *подлый* и... *смешной*, так что запомнят люди на тысячу лет и плевать будут тысячу лет"...

Что-то, что-то... *противоположное* земле! *отделившееся* от земли! *вне законов* нашего здешнего устройства! "Афродита *Небесная*", т. е., во всяком случае. *вне-земная* — совсем *вырисовывается*.

"— Положим, вы жили на луне и там сделали все эти смешные пакости. Вы знаете, что там будут смеяться и плевать на ваше имя тысячу лет, во всю луну. Но теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда: будет ли вам стыдно или нет?"

Нужно *расторжение* как бы *луны* и *земли*, и вот там на луне "приемлемое" — здесь "стыдно" или обратно — все равно. Где-то есть *закон* и этого, но не в законах земли; т. е. подобная аномалия есть в точности из другого мира *залетевшая сюда* и растущая здесь *атипично*, как рак. Известно, что такое рак: из четырех зародышевых листков, из которых закраивается все человеческое тело, частица, точка, гомеопатическая пылинка одного листка случайно попадает в другой. Наступает время, и это есть начало болезни "рак", когда эта пылинка, *не туда попавшая*, начинает неудержимо расти в чужом месте (в сфере чужого листка) по закону своего места (листка), что странностью вида и неискоренимостью и вызвало у медиков определение: "атипическое (для второго листка) развитие". Она растет и разрушает все — кожу, мясо, кости, жилы. Рвет человека, сильнее человека, могучее его науки.

Здесь — *тайна* чудная...

Но мы приведем все стихотворение, в котором как будто нам чудится аналогичное ставрогинскому признанию, но с *субъективной* его стороны и *трагично* выраженное. Самое заглавие стихотворения странно — "Aeternum", т. е. как бы с намеком, что это — *вечное*, которое

никогда не пройдет, как *столпы* земли. Но будем читать и будем вдумываться в роковое признание:

Да, я люблю тебя. Но слушай (NB)... Во вселенной
Великая любовь повсюду* разлита.
Рабыней нищею, царицей ли надменной —
Владеет лишь она, *прекрасна и чиста***.
Любовь ли *матери* к ребенку дорогому,
Любовь ли *девушки*, вкушающей *истому*
С стыдливой краскою вокруг юного чела;
Любовь ли *тайная*, орудье *власти зла*,
*Несущая с собой все ужасы проклятья****;
Любовь пречистых жен, рыдавших у Распятья,
Любовь священная, что в муках на кресте
Прощенье призвала к людскому ослепленью,
Любовь художника к чистейшей красоте,
Поэта — к своему заветному творенью —
*Но все — одна любовь, одна — и нет иной*****;
Ей дышит, движется, живет весь мир земной.
Так — после хаоса, — безбрежная стихия,
Вода — весь шар земной в объятья приняла*****;
Текут то темные, то ярко-голубые
Обширные моря и реки без числа.
Творцу принадлежит могучая их сила;
Пусть люди и дают им прозвища свои!
Пускай они зовут блестящие струи
Здесь — Волги именем, а там — названьем Нила.
Стремясь их разделить, и грозный океан
Стеснить границами ему ж подвластных стран,
Пусть волны быстрые текут многораздельно;
Стихия — все одна, одна — и нет иной*****,
И ею окружен *покорный* шар земной.

* "Повсюду" — "не у нас", "не здесь на одной земле". Есть параллелизм и ставрогинскому "на луне бы", и платоновской *Небесной Афродите*.

** "Чиста" — *главный здесь термин; главная точка, родственная "чистоте"* Селиванова.

*** Родственно, совершенно даже родственно "ужасному позору" Ставрогина; заметив, что об *обыкновенной* тайной любви просто нельзя себе представить определения: "орудие власти зла (это — *субъективный* испуг, испуг второго зародышевого листа, в котором вдруг начинает расти *инородное*, для него "злое", тело первого зародышевого листа), несущее в себе ужасы "проклятья". Совсем другой был бы тон и *другая* терминология. Замечательно в то же время, что около *этой* любви автор припоминает всю *сумму*, весь *итог* всяческой в мире любви, например материнской и "у распятия чистых жен". "Звезды и луна" в своем роде около своего исторического фокуса.

**** Замечательна твердость тона. И какая — *космичность* и чувство — *движения* в космосе ниже, в следующей строке.

***** Современное повторение гезиодовской "Теогонии" в *тоне*, вовсе не по археологическому припоминанию.

***** Замечательно. Здесь *мир* уравнивается *любви*, так сказать, в субстрате их обоих.

— Да, я люблю тебя, глубоко, безраздельно.
 Но знай — моя любовь — есть капля мировой
 Любви, *таинственной, великой, бесконечной.*
 И если *на тебя тот свет чудесный, вечный,*
Случайно ниспослал хоть луч единый свой —
 Не с гордости слепой сознанием неразумным.
 Твой долг встречать его *приветом тиходумным,*
 Здесь — *тайна чудная; молчи — и преклонись*
 И мыслью прошепчи судьбе благословенье.
 Что чьи-то для тебя мечты любви зажглись,
 И чье-то для тебя родилось вдохновенье.

Стихотворение нам было прислано в газетной вырезке, может быть, как только прекрасное, но нам показалось необыкновенным. Даже только *взглянув и небрежно прочитав* его, мы скажем, что оно — не от супруги к супругу или обратно. *Почему же* мы этого не скажем? Слишком *сильно!* Обратите внимание; даже Пенелопу в отношении к Улиссу, Андромаху в отношении к Гектору, т. е. классические примеры любви, нельзя представить себе скандирующими *эти* стихи. Слишком *сильно!* т. е. эти две всемирно-запомнившиеся женщины и от которых много слов донес до нас великий Гомер, — *слабее* и не так *космически-таинственно* любили. Не тот язык; не эти термины. — "О, да то все — *земная любовь*", — научает нас Платон, — "а есть *небесная, лунная, с Марса, с Сириуса*". Да так ведь и лепечут они, как Ставрогин, так и поэтесса. *Субстрат* в ней — *гомеопатическая пылинка; вид* — *может быть неприятен: но тем длиннее — свет,* совершенно бесконечен — *хвост* забежавшей в наш мир кометы, *все вещество* которой можно сжать в одну горсть пыли, в брокаровский кусок мыла. Мы, "земные", и видим этот "кусочек мыла", "горсть праха", и, поражаемые, я, Карпов, Шаранов восклицаем: "Пхэ!" "Фуй!" Увы, уже относительно брака, который есть *церковное таинство*, о коем слова есть в *Евангелии*, есть в *Ветхом Завете*, даже в *Ветхом Завете* это — *начальные слова, альфа* словесно-священной реки, уже относительно его мы должны признать, что *вещь* его, *пыль* его, *материя* его — мала! Мала и — *некрасива!* Здесь малость еще истончается, некрасивость еще увеличивается ("позор" Ставрогина) и мы самым деревянным умом можем догадаться, что это не вне связи с пропорциональным же увеличивается *духовной содержательности, светоносности* нематериальной. "У, кометища!.."

Будем, однако, смотреть на нее с земли, — для нас единственный возможный пункт наблюдения, но только станем смотреть астрономическим взглядом. Здесь есть *пол* и *половое* — так говорят Платон, Достоевский и поэтесса; но, намекают все они, связь пола с *браком* ("прилеплением") *расторгнута* здесь. "Вне-брачный пол", волнующийся — и как! — *вне-"прилепления"*! Но что же это значит?!? Да что же *иное* может значить, как не то, что пол есть первоначально, и "древле" вовсе

не брак, и что брак *"приложися"* или, пожалуй, вытек из этого более древнего своего основания. До известной степени это есть открытие, и оно математически точно. До последней крайности очевидно, что если бы "пол" был только "брак" и их уравниенность была абсолютною, то *вне брака его бы и не было*; а тут он не только *есть*, но и в очевидно *сильнейшей степени!* Будем наблюдать; да и почитаем кой-что в книжках. Из этих странных волнений *нет возврата к браку*: вот *общее* наблюдение, с которого бы нужно начать только умеющим удивляться здесь медикам. Да так все *трое* согласно и говорят: "небесное", "подобное героизму и смерти за человечество", "космическое — что движет планеты и звезды". Из этого, очевидно, *сильнейшего* нет возврата в "прилепление" как... ну как для *скопца* что же представит собою самый *строгий* монастырский устав! "Не хочу! не хочу! все остальное — слишком *слабо!*" Все остальное — комедия, ну пусть "высокая комедия", когда я узнал слезы (NB) и восторги трагедии (у всех *трех* — в *трагическую* сторону указания)! Нет и исчезнет самый позыв к браку. Что эти *исключительности*, будучи *половыми*, несравненно *могущественнее* брака — в этом согласны все наблюдатели. Но любопытно, что термин "Это — скверно" по отношению к нашему земному "прилеплению" попадает у этих платоников, никогда не читавших Платона. Теперь будем еще наблюдать, будем рассуждать, чтобы лучше обнаружить, что архаическое, "до создания мира", значение *пола* — в точности *без-брачное*. Мы, "созданные" и "земнородные", без всяких этаких "зародышевых листков", "атипично" попавших в нас, можем сильнее влечься к красоте женской, к существу женскому; можем — слабее; вот — влечение очень слабо, наконец — оно ровно, уравнилось — *нулю*; погасло. Но дальше этого предела *отпадения от женщины, распада с женщиною* не только не пойдет, но очевиднейшим образом и не может пойти в том *полу-круге* из 180° , которые представляют *мужской пол* в его противолежании женскому, женским 180° . Ведь если "прилеплением" исчерпывается пол и в нем нет еще другой трансцендентной содержательности, то стрелка каждого пола, будучи укреплена стержнем в *одном полу-круге*, всенепременно острием движется в пределах *другого полу-круга* и за цифру 1° — 180° абсолютно не может переступить. Ну, погас пол! Стрелка на 0° или, что одно и то же, на 180° . Но больше *решительно ничего не может произойти* в сфере брака как *муже-женского сложения*. Вдруг мы наблюдаем, все наблюдатели соглашаются, что она начинает напряженно, да с небывалою в полуцикле *тех* 180° , силою двигаться *сюда, далее, вниз* — 181° , 182° ... где вовсе нет главного условия брака: мужчины—женщины. Чудо! Комета! Комета — *так!* И суть этого чуда заключается в том, что пол моего "я", каждого нашего "я" не есть *полу-круг*, 180° , т. е. он не есть "ни мужеск, ни-женск", но — *полный круг* в 360° , *полно-луние*, когда мы думаем вообще, что он "луна на ущербе", $\frac{1}{4}$ или $\frac{1}{2}$ луны и не более! Чудо, волшебство; но ведь *волшебность* есть вообще существо пола, "он — великий волшебник!". "Дети"-то, "дети"

и "дети" — разве не волшебство? *святое волшебство*!" Но здесь мы оставляем категорию святого, в которой долго вращались, и сосредоточимся на удивительном, волшебном. Стрелка не только доходит до 181°, 182°.., но она выходит из горизонтальной плоскости, ищет указать — не одушевленное! ищет — загробного! отрицает и рушит смерть, как и рушит границы только одного живого! Так поэтесса в загадочном стихотворении и говорит: "Универс". Нет мне *чуждого* в мире, потому что "все в мире — мне *сродни!*". "И смерти для меня — нет". Здесь движения стрелки так бурны, неодолимы, что всякая наша попытка направить ее на *те 180°*, которые одни и выражают *пол* как *полу-брак* (ведь "пол" от "половина" взято; "пол" значит 1/2, и именно 1/2 "прилепления", *одна сторона* его), — все эти попытки, говорю я, преодолеваются, не мощны.

IV

Но вернемся скорее к теме. Аскетизм, или "не осквернение с женами", и есть "пустая", "пустынная" ступень *нулевого* положения стрелки пола, которое разграничивает "брак" и затем открывающиеся "за пустынею" аномальные феномены пола, в которых *субъективно* мы ничего не понимаем, а объективно наблюдаем (*все* наблюдатели согласны), что здесь появляется сильнейшее отталкивание от 180° *противоположного* пола, ни у кого *решительно и никогда не существующее* в этом нашем полу-цикле; *отвращение* к женщинам, *брезгливость* к ним. Стрелка — бурна, она — *скачет...* Не хочу! не хочу! И в то же время эта полоса (опять — тысяча наблюдений) безразличия полна *белых, трансцендентных* видений уже *самого универса*, тогда как нам, "земнородным", доступны только ландшафты единственной нашей планеты. Зрение (какое-то внутреннее, *без-глазное*) бесконечно расширяется; слышна — музыка "сфер"; появляются убеждения — *без доказательств*, почти с *отвращением* к доказательствам почти столь же характерно-сильным, как *отвращение* "к женам". Нет *субстрата* доказательств, ничего — *тяжеловесного, землистого*; один — свет, и "скорее", "скорее", бесконечное ускорение слов, мыслей (орел *летащий* Апокалипсиса). Платон — *плачет* и в этих именно диалогах (кроме "Пира" есть еще аналогичный с ним в теме "Федр") говорит: "душа — не умирает", "тело — ее темница", "за гробом — свет и суд, видение — Бога". И — "верьте! верьте! это — *так*, хоть этого — *и нельзя доказать*; но я видел, и видел — *за всех вас и для всех вас*". "Федр" оканчивается молитвой, и какой угрюмой (*трагическое* устремление): так не умеет молиться Спенсер, Бокль, Дарвин, мы, "земнородные". Да, он видел Бога, "он как бы был на небе и видел Бога", говорит о нем Юстин — философ и христианский мученик. Но к чему нам греческие иллюстрации, когда у нас есть русские: читайте и вдумывайтесь в эту речь человека, которого странные признания о себе мы только что привели:

”Ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума; не было ни разу такого примера, разве на одну минуту, по глупости. Разум и наука в жизни народов, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силою иною, повелевающею и господствующею, которой происхождение неизвестно и необъяснимо... Это есть сила непрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как говорит Писание; реки воды живой, иссякновением которых так угрожает Апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как отождествляют они же. Искание Бога, как называю я всего проще. Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть существенно лишь искание Бога, Бога *своего*, непременно *собственного*, и вера в Него как в единого истинного; Бог есть синтетическая личность всего народа (NB), взятого с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтобы у всех или у многих народов был общий Бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей (NB), когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем *сильнее* (NB) народ, тем *особливее* (NB) его бог. Никогда не было еще народа без религии, т. е. без понятия о зле и добре. У всякого народа свое собственное (NB) понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают (NB! NB!) народы и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Никогда разум не в силах был определить зло и добро или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал”.

Достоевский не говорит, и ему едва ли приходило на ум, что здесь, собственно, взят теизм семени, которое клубится чувством Бога; отсюда все подробности монолога, весь ход в нем мысли, напр., это — *мясное* почти, с величайшим отвращением к логическому, представление ”добра и зла”, всегда ”моего”, как непременно каждое ”мясо” есть ”мое мясо”. — ”Мы”, ”я”, ”мой бог”, ”наши боги” и... ”нет иных”, не суть ”инии бози разве Мене”. Продолжим чуть-чуть:

”— Не так, не так! Переиначиваете: вы Бога низводите *до простого атрибута народности*...

— Низвожу Бога до атрибута народности? Напротив — *народ возношу до Бога*. Да и было ли когда-нибудь иначе? *Народ — это тело Божие*. Всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего бога особенного и всех остальных на свете богов исключает без всякого примирения, пока верует в то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов. Так веровали все с начала веков, все великие народы по крайней мере, все сколько-нибудь отмеченные, все стоявшие во главе человечества... Если великий народ не верует, что в нем одном истина, именно в одном и именно исключительно, если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиною, то он

тотчас же обращается в этнографический материал, а не великий народ. Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенной ролью в человечестве или даже с первостепенною, но непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ. Но истина одна, и, стало быть, только единый из народов и может иметь Бога истинного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и великих богов. Единый народ-*Богоносец* — это русский народ...” (Бесы, стр. 226—229).

Не правда ли, странно... Прежде всего — это совершенно *наша* тема; монолог почти комментирует письмо *прот. А. У-ского* с его “категорией силы и хотения, восходящей к Первой Ипостаси”. И вместе по *высоте* тона в своем роде это “Афродита небесная”. Тоже на века запомнится. И сейчас, сейчас после этого, на следующей же 230-й странице, — печальное признание, коего мы не смеем, не можем переписать здесь, как и признаний Платона не переписали же из “Пира”. Какое маленькое обрезание (у евреев), какой великий Бог!? Что-то *малюсенькое, смешное в сущности* потребовано у Авраама; “и посмеяться нечему”; а какие... громы, тучи, заволакивающие горизонты, из этого “малюсенького”. Мышь родила гору; нет — родила Гималаи, целую Азию, мир. Ну, так значит *не* “мышь”, т. е. потребованное у Авраама есть мировое кольцо, Сатурново кольцо. Да и все в этой сфере “звезды”, “звезды”, “миры”, “миры”.

Тут — *тайна чудная!*

Но мы еще не кончили.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ “НОВОЕ ВРЕМЯ”

М. г. В № 8622 вашей почтенной газеты, в отчете о лекции Вл. С. Соловьева “Конец всемирной истории”, сказано, что “оригинальная фантазия философа произвела глубокое впечатление на публику, совершенно переполнившую зал. Может быть, даже образность и сила выражения философа были причиной тому, что кто-то свалился со стула, и это было так неожиданно среди почти полной тишины, что многие с испугом повскакали со своих мест”.

Так как это замечание может дать повод к неправильному представлению о силе впечатления от лекции, кстати не произнесенной изустно, а прочитанной по тетрадке, то считаю долгом сообщить, что дело было совершенно иначе и произошло от крайнего старья в мебелировке зала городской думы и от крайней скуки, за отсутствием всего фантастического, мистического и просто занимательного в читаемой лекции. Занимая место в 6-м ряду кресел с правой стороны, я почувствовал некоторую сонливость и, чтобы приобрести более устойчивое равновесие, подложил под себя левую ногу, которая, вероятно, уперлась косточкою в совершенно тоненькую и дрянную дощечку думского сиденья. Я уже

приятно забывался, когда вдруг ужасный треск подо мною и чувство, что спина моя куда-то заваливается, заставили меня испуганно, но не от лекции, а от стула, очнуться. Но, видя, что все глаза устремлены в мою сторону, я смутился неловкости инцидента и низко нагнулся, пересев моментально на рядом стоящий стул и невинно перебирая конец левой штанины. Дрема же овладела мною на лекции от того, что на "светопре-ставлении", о котором обещал нам прочесть почтенный философ, было так же обыкновенно, буднично и не ново, как в отделе всякой газеты под рубрикою "Среди газет и журналов". Уже взять то, что антихрист (по изображению философа) есть наш брат литератор, что его "книгу" переводят тотчас "на все образованные и многие необразованные языки", что этот антихрист "благополучно разрешает экономический кризис" и вообще несколько похож на покойного Канкрин, только еще притче его, и, наконец, что когда убиты были "электрической искрою" Петр II, последний папа, и старец Иоанн — он же знаменитый Федор Кузьмич и Александр I лубочных брошюр, то антихрист будто бы сказал: "секретари — запишите..." Словом, когда я услышал, что секретари, литераторы, экономисты и проч. так-таки до второго пришествия Христа не сгинут, то мною овладело такое уныние скуки и недовольство "концом всемирной истории", а также и неизобретательным философом, что я мог только... плотнее усевшись на стуле, попытаться заснуть. И уж не моя вина, а городской думы, что это простое и не очень виновное желание произвело шум, нарушивший, конечно, всем желаемую тишину, в чем, однако, я почтительнейше извиняюсь перед публикою.

Примите уверения и проч.
Спб., 28 февраля

Мнимо упавший со стула

К ЛЕКЦИИ г. Вл. СОЛОВЬЕВА ОБ АНТИХРИСТЕ

Замечательно, что последняя лекция г. Влад. Соловьева, которая была и так и сяк, но во всяком случае не была гениальна, вызвала множество заметок, статей, полустатей, большею частью смешливых, но нельзя не отметить, что слово и тема лекции столь странного содержания как-то привились, и вот что они привились, показывает, что в самом деле как будто "в воздухе антихристом пахнет". В шутку или не в шутку, но газетный фонограф не может не отметить звука, который в него попадает. Только что появившиеся мартовские книжки журналов "Жизнь" и "Ежемесячные сочинения" тоже излагают и критикуют лекцию почтенного нашего философа. В одном из них заглавие статьи просто коробит: "Новорожденный антихрист". "Тьфу, пропасть — не к ночи будь сказано".

Именно "не к ночи"... Есть день и есть ночь. Ну, христианство, положим, — день, тогда, значит, возможна и есть — ночь? Напишем

с больших букв — и станет яснее: День и Ночь, как Христос и Антихрист. Крайняя недостаточность лекции г. Соловьева состояла в том, что его "антихрист" подражает Христу, копирует, и даже в мелочах; например, он не только благ, милосерд, но и также бесстрастен, в смысле совершенного отсутствия в нем наших бедных земных страстей. Так как мы все подражаем или усиливаемся подражать Христу, то "антихрист" (все — по Соловьеву) будет самый удачный из христиан. Но тогда непонятно, где же они разделятся и почему разделятся... А "антихрист" — разделение. Нет, неправдоподобно и как-то неостроумно.

День и Ночь, как несомещающееся и равно-божественное, — это лучше. Но кого же, спросит читатель, привлечет "ночь"? Как кого привлечет: да мы все уже сейчас любим ночь и ее особый мистицизм и, увидев в окно кабинета, что небо "вызвездило", бросаем книгу и, захватив шляпу, идем гулять. Лермонтов на такой прогулке сочинил истинную "антихристову песнь"; вслушайтесь — какая тоска:

Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно
Спит земля в сиянье голубом.
*Отчего же мне так больно и так трудно,
Жду ль чего, жалею ли о чем?*

Я преднамеренно написал "богу" с маленькой буквы, хотя печатается это слово в сочинениях Лермонтова — с большой, ибо здесь, как уже вы там хотите, но, во всяком случае, говорится не о "Христе, распятом при Понтийском Пилате", т. е. не о твердо известном историческом Лице. Чувствуете ли вы мою мысль? Я хочу сказать, что если сразу прочитать стихотворение Лермонтова и в упор спросить: говорится ли тут о Христе и даже есть ли это стихотворение, так сказать, евангельское по духу, — то вы сразу ответите: "нет! нет!" И я скажу — "нет", и тут-то и поймаю как вас, так и Лермонтова: о каком же тогда он "боге" говорит и с такою раздельною (заметьте!) чертою:

Жду ль чего, жалею ли о чем?

Бедный мальчик, — потому что ведь он написал это юнкером, — в каком-то странном смятении "ждет" еще "бога" и "жалеет" об оставляемом "Боге". Ведь смысл стихов, неясный и автору, именно таков, этого невозможно оспорить. В этом отношении Лермонтов поразителен. Например, кто не знает его стихотворения "Когда волнуется желтеющая нива".

Тут удивительны его подробности, обстановка, в которой или от действия которой, от гипноза которой у поэта наворачиваются слезы,

проходит умиление по душе. [Прислушайтесь, ну и ради Бога скажите — неужели это "от Матфея или Марка":

И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;
Когда росой обрызганный душистой
Румяным вечером иль утра в час златой
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо качает головой.

Теперь я пропущу строфу и прямо кончу:

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,
И счастье я смогу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога.

Опять я пишу "бога", когда печатают "Бога", — ибо снова непрерываемо очевидно, что он видит в небе не "распятого же за ны при Понтийском Пилате, и страдавша, и погребенна".] Да и вы сами, раз я вас подвел в упор к вопросу, ответите: "Конечно — нет, конечно — какой-то другой и уж, следовательно, конечно, с маленькой буквы "бог". Теперь дальше слушайте:

...Студеный ключ, играя по оврагу
И погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу...

— вот эта-то "таинственная сага", непонятная самому сновидцу и таинственно ворошившая его воображение, и есть тема так прозаично и, можно сказать, бульварно прочитанной лекции Соловьева. Дело в том, что Лермонтов всю свою жизнь тревожился обонянием какого-то "еще бога", бессильный и самый ранний абрис которого он назвал "демоном", а позднее, любя то же самое, изображая все ту же самую тему, стал называть его "богом" и начал умиляться. Это-то и поразительно. Есть День и есть Ночь, и Ночь имеет второе и совершенно противоположное, но также умиление в себе, молитвы в себе, слезы в себе, но которые мы никак не называем "христианскими молитвами", как называем все и, не колеблясь, "христианскими молитвами и стихотворениями" — "Иоанна Дамаскина" и "Грешницу" гр. А. Толстого. Вы чувствуете, что я хочу сказать: что есть категория слез, кротости и ярмо любви к богу, которые не относятся к "Распятому при Понтийском Пилате", и эти слезы выступают на ресницы не после чтения Евангелия, не после посещения церковной службы, но вот когда

...Волнуется желтеющая нива

Или —

Звезда с звездой говорит.

Теперь я приведу еще поразительное наблюдение, между прочим, связываемое мною с многочисленным теперь писанием о необходимости преобразовать среднюю школу и поставить ее на свои специальные европейские ноги. "Свои специальные европейские ноги..." Удивляло и удивляет меня следующее: во все века существования европейской истории собственно поэзия в ней, т. е. краски и струны, порыв и восторг, ритм речи и рифма, —

Эта милая шалунья

— не умели и не умеют связываться и, очевидно, и не сумеют никогда — с Евангелием и с "Распятым при Понтийском Пилате". [Несвязуемость и противоположность до того очевидны, что священник на исповеди всегда спрашивает или советует: "не пишите стихов и не читайте романов", и это — не ошибка, не бестактность, поверьте! поверьте!] Я знал одного очень образованного директора гимназии, воспитанника бурсы и духовной академии и очень долгое время бывшего потом профессором в Казанской духовной академии. Он мне говорил, что не читал ни "Анны Карениной", ни "Войны и мира" и знал только кое-что о Севастополе у Толстого; и это — просто по отсутствию духовной нужды, по отсутствию влечения. "Вот я второй раз перечитываю "Творения Иннокентия" (Таврического) и с тем же удовольствием, как в первый раз". Между тем этот, уже седой, директор был не прочь протанцевать в семейном кругу, был скорее веселый человек (хоть и очень серьезен, очень "умствен"), и вообще ни аскетического, ни монотонно-семинарского в нем ничего не было. Просто — "я не люблю романа и не интересуюсь романом, а стихи для меня — рубленая солома". Но не думайте, что это личная особенность: все средние века не имели поэзии иначе как какой-то бездушной, нервной, и главная их поэзия есть поэзия камня (архитектура, готика) и вымысла невозможного и несуществующего (сказание о св. Граале), а не поэзия как любовь и слезы к бытию и факту; когда же появилась там поэзия земного, земных отношений и чувств, и особенно чувств живых, как у провансальских трубадуров, то она и вызвала крестовый поход и истребление веселой поэзии и веселого настроения при папе Иннокентии III и короле Филиппе II Августе. Но перебросьтесь в новые века. Шекспир вечно писал, и, кажется, поэтично: что же в нем и духе его и образах писаний есть от "Распятого при Понтийском Пилате"? — Ничего!! Да, солнце европейской поэзии полно такого *заснутия* (заснул и забыл), — уж простите за новоизобретенное нужное словцо, — *заснутия* христианства, что просто дрожь наводит: у него есть "ведьмы", "Калибан", "Ариэль", [а Иисуса и ничего Иисусова] — нет, нет и нет! То же у Гёте и Шиллера, которые чем угодно тревожатся, но не "Писанием", и, напр., Шиллер написал "Юноша из Саиса", "Церера", "Гимн радости", а не написал "Юноша из Лорето", "Св. Варвара Великомученица", "Радость отшельника" и пр. Самые темы показывают, чем люди были заняты, и это суть

первые люди, первые солнца европейской поэзии. Таким образом, вся европейская поэзия за какими-нибудь бледными и искусственными исключениями, вроде "Грешницы" и "Иоанна Дамаскина" Толстого, уже сейчас есть [Анти-Иисус, т. е.] Анти-Христова песнь; и это было бы еще с полгоря, но беда, и настоящая, начинается с факта, что ведь, напр., у Шиллера есть чарующее благородство, у Гёте — беспросветная глубина, у Шекспира — живописность, жизнь, глубина же! Я не читал "Потерянного рая" Мильтона, но мне запомнились где-то когда-то прочитанные слова, что, собственно, яростен и обаятелен там — сатана, а о Боге — мало и бледно. Значит, тоже вроде "Демона" Лермонтова. Вот несколько штрихов, которые я не могу здесь развить, но мог их богато выразить и орнаментировать Вл. Соловьев, раз уже он взялся за эту тему. Мысль "христианского искусства" глубоко занимала все великие умы в Европе, но подите в Эрмитаж и пересмотрите всю школу итальянцев, испанцев и голландцев: и как ни часты там библейские и евангельские сюжеты — просто этих картин нельзя внести в церковь? Не станут молиться помнящие о "Распятом при Понтийском Пилате"; но ведь художники-то, рисуя, молились на свои сюжеты, образы, молились в воображении, и вот опять выскакивает строчка Лермонтова:

И в небесах я вижу бога...

— до очевидности "бога" с маленькой буквы, если нельзя внести в церковь. Вот вам и загадка. Вот вам и тема для Соловьева. Все время существования Европы, кроме Дня Христа, была какая-то "ночь" — бог, к которой, не называя имени, неслась вся европейская поэзия, живопись. Я просто констатирую факт, и даже меньше — только подчеркиваю то, что, в сущности, каждому с первого класса гимназии известно, ибо кто же не знает, что Савонарола чувствовал потребность жечь картины, а исповедники советуют не читать романов и стихов... И ведь что романы; никак нельзя отрицать, что в романах этих, вообще запрещенных к чтению и "грешных", есть страницы изумительного тоже умиления, кротости, нежности, доброты. Сказать, что все романы злы и построены на началах злости и пробуждают в читателе злость, — просто чепуха. Но если там есть "добро" и вместе с тем — читать их есть "грех", значит, есть какое-то "второе добро", "еще Бог". [И уж конечно, если это не от Иисуса и не Иисус, — значит, анти-Христово.]

Значит, мир, как об этом и учит совершенно непререкаемо само христианство, разделяется уже сейчас на "царство Христово" и "царство анти-Христово"; а что, говоря это, проповедники нимало не ошибаются и только выражают собою Евангелие, очевидно из весьма принципиальных слов Христа: "Царство Мое — не от мира сего". Шекспир, Гёте, Шиллер, Лермонтов до такой степени "от мира сего", прилепились к нему бесконечно и с невыразимым умилением разрисовали его, что до последней степени ясно, что они точно ставят вне таинственного "Царства Его". "Царство Его" — и нет Дездемоны, нет Офелии,

— это очевидно! Но тут начинается раздирание нашего, по крайней мере моего, сердца: я люблю Дездемону! Люблю и люблю! И люблю не тогда, когда она делается монахиней, а люблю в привязанности ее к Отелло, сейчас и такую, как она есть, без покаяния. И тут, насколько я люблю землю, уже во мне, значит, самом начинается антихрист, и насколько мы вообще любим наших жен — Дездемон, наших дочерей Офелий, и вообще милое, ласковое, улыбающееся и грациозное на земле, — мы вне "Его царства" и во власти... ну уж применим термин — "анти-Христа". Вот вы и разбирайтесь. Да ведь и соответственно этому прямо есть слово к нам: "Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и *самой жизни своей*, тот не может быть Моим учеником" (Лук. 14, 26). Вот ясное разделение Христова и анти-Христова. Нет, святые отшельники Фиваиды и Соловок, убегая в ледяные и знойные пустыни, знали что делали. Но

...Генрих! Генрих!

Это кричала бедная Гретхен в тюрьме, и вот, на месте Фауста, я уж лучше бы с антихристом остался, но эту возлюбленную женщину в такую минуту и в таком месте не оставил бы. Просто есть пункты и секунды, и притом вовсе не случайные, а вечные (принципиальные), когда бедное мое земное, а, пожалуй, даже и небесное "я" принуждается, — и принуждается совестью и законом ее, — последовать не "царству не от мира сего", но "царству мира сего" и, следовательно, открыть в себе, в каждом нашем "я", то разделение Дня-Ночи, которое так дурно уловил г. Вл. Соловьев в "Книжках Недели" и в зале городской думы.

ВОЗРАСТЫ И ШКОЛА

Среди множества вопросов, поднятых текущим колебанием школы, один не привлекал к себе внимания. Это — возраст в его отношении к школе. До которого года можно учиться с пользой и безвредно? Во все ли возрасты следует учиться одинаково, в смысле способа учения и количества учения? Все кинулись обсуждать программы и педагогические методы, вовсе забыв, что если время школьного учения может быть неопределенно растягиваемо и затягиваемо, то вопрос о программе невольно соскользнет с темы о гармоничном ее устройении на заботу о том, как бы не забыть чего, как бы уместить в нее все. Так это и было, так это продолжается.

Прежде всего констатируем факт, что возраст ученика пока совершенно выброшен из соображений учебной системы. В первом классе ученик учится совершенно так же, как в восьмом, без малейшего видоизменения приемов действия на него и восприятия им. Он просиживает урок; спрошенный — он встает и отвечает заданное или выходит к доске

и решает задачу; отмечает в учебнике задаваемое преподавателем и, придя домой, выучивает заданное, во всех этих фазах учебного дня повторяя в точности в восьмом классе то, что делал восемь или десять лет назад в первом. Если что изменилось теперь для ученика, то — количество выучиваемого. Прибегая к сравнению, мы можем сказать, что здесь перемены не больше, как между маленьким шагом жеребенка и большим шагом лошади; жеребенок вырос, теперь он лошадь и шаг ее шире; так и урок, задаваемый восемнадцатилетнему молодому человеку, длиннее, чем задаваемый 10-летнему мальчику. Наконец, несколько больше уроков: в восьмом классе пять, в первом — четыре. Но уже в третьем классе четырнадцатилетний мальчик высиживает буква в букву все те часы, какие и его старший девятнадцатилетний брат. Но кончим с количественною стороною, и, переходя к качественной, к методу, к способу, мы уже не находим никакой разницы между классами первым и восьмым.

Обнимая всю учебную систему, всю сумму ученических годов, мы находим на протяжении ее двенадцати или пятнадцати лет только одну резкую перемену, и притом падающую как снег на голову, без малейшего приготовления, без постепенности перехода. Это — университет. В гимназии ученик все делает "навытяжку", в университете, во всем итоге занятий и поведения, — он "разваливается", "сидит облокотившись". В этом суть. В гимназии — "ружье на караул"; в университете — "ружья вольно". Этими краткими формулами команды мы без пояснений и подробностей очерчиваем перемену духа и формы, наступающую около двадцати лет, но вне связи и без разумения этих "двадцати лет". Скорей эта перемена обусловлена почтительностью к ученым, которые призваны, "приглашены и удостоили" стать учителями юношей, нежели собственно из рассмотрения особенностей юношеского возраста. Разумеется, С. М. Соловьев, автор "Истории России с древнейших времен", или Бредихин, открывший новые частицы солнечной системы, не будут "давать урок", "спрашивать урок", следить за "поведением учеников на уроке" и т. д. Профессора суть особы, а учителя — "так себе", и только это уважение к "особам" допустило в университете обыкновенному уроку развиться в лекцию, преобразоваться в "чтение". — Профессор "читает". Жрец и маг, а не ремесленник, он, рассеянно устремив куда-то взгляд, "читает", "произносит", почти "пророчествует" научно о науке, без всякого внимания к слушателям, их числу, качеству, способностям, подготовленности. Однако в учебных заведениях, подобных Филологическому институту, где есть стипендиаты и пенсионеры у государства, где вообще все теснее и органичнее слито с министерскою администрациею, "ружья" держатся менее "вольно" и лекции приближаются к урокам, или они перемежаются с уроками.

Очевидно, "урок" от четырех до пяти уроков в день и приготовление уроков вечером, дома есть... горизонт учебной системы, за которой никогда не опускался глаз нашей учебной администрации. Если вдумать-

ся, где ее прототип, то мы найдем, что он — в службе, вообще в государственной службе: "присутственные" утренние часы, только разрезанные четырьмя промежутками-переменами, суть "классное время", "классные занятия" детей, а вечер, когда чиновник берет "бумаги на дом" и там их рассматривает, обдумывает, решает, пишет, — эти вечерние и менее официальные часы чиновнической службы послужили прототипом времени и формы приготовления уроков. Чиновники министерства народного просвещения не столько вглядывались в жизнь учеников и организовали их занятия, сколько метод и формы своих должностных занятий просто перенесли в школу или, пожалуй, принорили к их образцу школу. Директор есть министр, а ученики — писцы; учителя — начальники... не отделений, но предметов, ответственные за трудолюбие и вообще занятия, занятость "служащих" — учеников. Кто помнит старую бурсу с ее консулами, аудиторами и прочими диковинками, невообразимыми в гимназии, тот согласится, что и там также заимствовали, и очень легко согласится, что и в гимназии мы имеем не занятия, вытекающие из природы ученика, но занятия, оформленные по образцам каких-то других занятий. И как эта прототипичная форма была одна, то на все возрасты, от первого класса до восьмого, она и была наложена.

Ученье не должно захватывать *status quo** человека, оно должно обнимать человека только *in statu nascenti*** — вот закон. Ученье есть направление, а направлять можно и законно только то, что движется, а не стало; что растет, а не окончил рост. Человек стал органически и духовно, как "становится" по осени лед. Теперь его оставьте; теперь он не ваш; теперь он должен служить. Около этой темы, конечно, возможны софизмы, что человек вечно растет и что "век живи — век учись"; но истина, простая и очевидная, состоит в том, что, "живя", человек уже "сам учится" и что в зрелые годы в нем конечно происходят трансформации, но они не суть прибавления, не суть движения, а только внутренние перемены субъекта. В эти годы человек в смысле движущегося не есть объект, а школа требует объекта; школа формирует, а здесь перед нею уже сформированное. Таким образом, в зрелом возрасте действие школы может выразиться только уродством, изуродованием, отклонением от нормы. Сгибайте дерево в молодости, но не гните его взрослое! Бессилен будет труд и вреден результат. Но когда для человека наступает полная зрелость?

Не позже 23 лет и, в общем, ранее, в 22, в 21 год. Обстоятельно об этом могут сказать физиологи и анатомы, и достаточно, если мы укажем здесь, что они должны быть спрошены и что вообще должна быть поставлена для школы твердая и непоколебимая точка. В 23—21 год школа во всех ее стадиях должна быть окончена и человек выпущен "в

* неизменное состояние (*лат.*).

** в состоянии зарождения (*лат.*)

дело” или на свободу. В настоящее время этот конец наступает приблизительно на 2 или на 3 года позже: и нельзя передать все затруднения школы с 25-летними ”школярами”. Все занятия — искусственны; отношение ученика к учебному заведению — притворно и деланно; ибо ненормально и противоречит всей его истине просто самое положение ”обязательно учащегося”, ”урочно учащегося”, имеющего ”урочных учителей” и исполняющего ”ученическое поведение”. В это время он критик и не может не критиковать; в это время — он скептик и не может не сомневаться; в это время он размышляет и напрасно было бы надеяться, что он станет ”слушаться”, ”учиться”. Словом — он уже человек и действует духовно, как и физиологически; он творит и ищет себе объекта, совершенно ускользая от всякого действия как объект. Он может учиться, и непременно учится — у друга, из книги, из опыта: но это — совсем другое дело; он может стать в зависимомственных отношениях и к профессору, но это на каких-нибудь *privatissima** германских университетов, т. е. в домашних беседах с ученым человеком о подробностях науки, равно интересной и для него. Но это не аудитория и не лекция, перед ним не должно лежать экзамена и обязательного курсового сочинения. Время всего этого, всяких пассивных занятий, прошло, и просто потому, что прошел их возраст. Капуста зреет с первым инеем; время рассады — апрель, май. Всякая путаница здесь ломает человека и ломает, расшатывает условия, в которые он не помещается, т. е. расшатывает школу.

Такие светила, как Буняковский, Остроградский, Боткин, Захарьин, Пирогов были в 22 года — действующими, мужами. Итак, должен быть поставлен и твердо поставлен вопрос, можно ли к 18 летам сделать ”зрелым” для университета, а к 23 годам — способным к труду и самостоятельности. Ленивый организатор занятий не сумеет этого сделать, но это есть вопрос его личности, а не вопрос об исполнении задачи. Можно напихивать науку, в университет или в гимназию, на 12—15 лет: к этому нет препятствий в самой науке; но вопрос в кратком и прозрачном организме занятий, где струилась бы кровь мысли, а не в материальном-безжизненном их увеличении, удлинении. Вопрос тут в ”науке” для самих организаторов, в науке организации, в таланте созидать, в энергии — творить. Не тот законодатель, который дал бы самую большую, в смысле требуемого времени, школу, — есть лучший, напротив, этого был бы худший законодатель; а лучший тот, который дал бы школу самую малую, краткую по времени, но равнодействующую большой. Так, неумелый медик копается-копается с больным и все-таки прописывает неудачный рецепт; Боткин, сказывают, уже подходя к больному, видел его болезнь — и прописывал рецепт правильно. В сущности, длинная программа всегда есть прикровенно-невежественная программа, в своем роде ”аттестат незрелости”. — ”Я не знаю, как хорошо выучить (ученика); пусть больше учится, и, может быть, он хорошо выучится; наверное, тогда выучится — хорошо...” Это — бессилие.

* частные занятия профессора со студентами (*лат.*).

Итак, курс средней школы должен заканчиваться в семнадцать лет — желательно и в восемнадцать — допустимо; соответственно пятилетнему курсу медицинских факультетов и еще возможному лишнему году — болезни, отсталости, увлечения — пребывания в университете (“оставление на 2-й год в том же семестре”). Если поступление в гимназию определить в девять лет, то до семнадцати возможно включение восьмиклассной программы, не без возможности где-либо остаться на повторный курс. Сейчас же мы должны заметить, что в теперешнем плане гимназий, где все от вершины до низу фальшиво, фальшиво неверен и официальный срок курса. Он определен как “восьмилетний”, и вывеска “восьмилетнего”, написанная в уставе, повторяется на все четыре горизонта, выкрикивается на север, юг, восток и запад, хотя никакой правды в этом не содержится. Для кого он восьмилетний? Из сорока учеников — для одного, а если хотите — даже ни для одного. Было много лет назад, я вошел 17 или 18 августа на первый (годовой) урок в восьмой класс. Отмечаю в журнал “небывших” и слышу голос: “В. В., у нас только один Холин, не оставаясь ни в одном классе, идет из первого”. Т. е. мы все, все сидящие на скамейках восьмого класса и предположительно учащиеся восьмой год, учимся — девятый, десятый, одиннадцатый год. — Я удивился: “А сколько вас было в первом классе?” — “В его двух отделениях — сорок учеников”. Как сейчас помню, этот единственный Холин остался в восьмом классе на второй год, и, следовательно, полный комплект учеников первого класса, принятый десять лет назад в гимназию, окончил ее без какого-либо исключения в девять, десять и одиннадцать лет. Скажут: “Ленятся, можно пройти в восемь лет”. Но ведь этот ответ значит только, что программа разделена, разрезана на восемь кусков, на восемь полос, и по этой нумерационной разделенности, совершенно искусственной, названа “восьмилетним курсом”? Я возьму административные ножницы и разрежу ту же программу на четырнадцать полос: чем вы меня уверите, что этот самый курс — не четырнадцатилетний, лишь при величайшем напряжении усвояемый 20% учеников в десять лет, а не усвояемый вовсе для восьмидесяти процентов? Нет, курс бесспорно и фактически десятилетний, а теоретически это может быть и четырнадцатилетний или восьмилетний, совершенно неизвестно — какой.

Тот простой и абсолютно непререкаемый факт, что без подготовки подведенный к экзаменационному столу не выдержит по всем девяти предметам “испытания зрелости” сам заслуженный доктор римского права, и не выдержит такового ни один из попечителей учебных округов, — эта бросающаяся в глаза аксиома зачеркивает все возражения против огромного сокращения программ.

Нет сомнения и доктора римского права, и попечители округов суть общечеловечески развитые и совершенно образованные люди; а претензии, требуемые “уставом гимназий и прогимназий”, чтобы гимназисты были сведущее докторов права в науках, едва ли не достаточно случай-

ного происхождения. Просто устав составлялся, программы вытягивались "специалистами наук", из коих каждый в заседаниях такой-то комиссии хотел отличиться перед другими, не желал уронить свою науку перед представителями других наук: историк не хотел дать "шаг вперед" филологу, новая филология — древней, физик — "батюшке", а "батюшка" — физику. И винегрет научных соперничеств был скреплен и сведен воедино. А дальше "прошло" по всем инстанциям и последовали отзывы: "согласен", "согласен", "согласен же". Что дело и суть здесь лежали в соперничестве специалистов, — это не мой личный взгляд и не каприз объяснения, а наблюдение спокойного и опытного старца Н. Н. Страхова, который, кстати, сам был членом ученого комитета министерства народного просвещения и знал конкретно и фактически процедуру выработки уставов и программ: "Да... вы говорите, материал велик и невместим в часы годового времени. Но кто же один все это соображал? Нет. Очень все просто произошло. Относились к специалистам, т. е. к специалисту писали отношение, бумагу за номером, с официальным предположением начертать. Вы знаете, что начерчено пером, того не вырубишь топором, и как официальное его начертание предполагемо было к чтению и обсуждению в высоко официальном Совете, то он и старался. Конечно, старался. Это — проект, и в Совете он его должен был отстаивать. Ну я, положим, говорю от лица своей науки, защищаю: кто же мне будет возражать? Это значит меня обидеть, задеть, показать, что я не обдумал. Кому нужно? Да притом я всякого разобью, как специалист, ибо остальные заседающие суть специалисты по другим наукам, и как же они в мою науку и в связанность членов моей науки будут вмешиваться? Никто и не вмешивался, а сумма предначертаний, из которых ни одно не хотело себя уронить перед остальными, получило имя учебных программ".

Так выросла претензия: "пусть ученик будет учение учителя". Что это — простая и всем известная действительность, я видел воочию каждый раз, как ассистент на испытаниях зрелости: три члена "испытательной комиссии" (какое название!) из пяти — директор, инспектор и ассистент, — вовсе чужды тому, что происходит на экзамене, о чем спрашивает экзаменатор и что отвечает, *должен* ответить ученик. Какими текстами доказывается важность покаяния? Это знает "батюшка", но ни директор, ни инспектор, ни ассистент-географ, конечно, ничего об этом не знают! Что такое за неопределенные уравнения? Директор может только повторить об этом вечно привычный ответ самых неудачных учеников: "знал, да забыл". И мы все "знали, да забыли"; три четверти целостной гимназической программы мы "знали да забыли" и от этого не перестали быть общечеловечески развитыми и достаточно образованными людьми. Т. е. три четверти программ — просто техника, просто материальное и бездушное удлинение, которое суммою в них содержащихся сведений никак не касается развития и образования, и между тем они механически мешают возможности самого построения организма целе-

сообразных занятий, который должен вытекать из мысли об ученике и из понимания его природы в ее фазах развития.

Обратимся к ним. Это — рост и переломы в нем, разлагающие линию развития на несколько членов-возрастов.

Каждый возраст имеет свою душу, мало что общего имеющую с душою другого возраста. Незаметно душа... не умирает, ибо она бессмертна, но рассеивается, блекнет или, преобразуясь, замещается совершенно новыми формами души и особенно нового содержания. Похоже как облака на небе, оставаясь теми же, перестраиваются в фигуре, цвете и во всем расположении. Будем говорить определеннее. Возраст уже сам по себе есть некоторое знание, наука; возраст нечто знает, сознает, ощущает; кой в чем он уверен, и это есть его внутренняя вера, наука, знание, к которым школа может пластически приладиться, но которых школа не может никак изменить. Мы заметили выше, что в 23 года человек не удобен для воспитания. Хоть приблизительно, хоть с большими отклонениями, но он в это время байронист, Чайльд-Гарольд и скептик. Он теперь — Печорин; на два, на три, на четыре года он теперь таков, что о нем можно писать роман, но чему-нибудь его выучить, когда ему самому хочется переучить по-своему весь мир — довольно мудрено. "Мне кажется, школа Менделеева теперь устарела; я буду заниматься, прилежно буду заниматься и чего-нибудь достигну", — говорил мне не так давно 22-летний мой бывший ученик (в прогимназии), определившийся "на естественный". — "Старайтесь, батюшка, — сказал я ему, — вы с вареньем или с лимоном (о чае)". Тут закон скептицизма к внешнему и уверенности в себе есть такая непререкаемая, скажем, роковая вещь, которую опрокинуть напрасно усиливалась бы наука, опыт, вера. Ибо этот закон (скептицизма и веры) есть сама наука; есть философия, которая прет изнутри; есть вид странной, воздушной, но неодолимой религии. Перебросимся отсюда в десять лет: абсолютное доверие к миру; вера и любовь к человеку; ужасный страх перед человеком, внешним, законным, с пуговицами (светлыми), не похожим на вчера оставленную дома мамашу. Мир товарищества как ватаги уличных, полевых, лесных мальчишек. Тут так же есть наука, о, не отрицайте ее! И тут "прёт изнутри" — доверием, любовью, ласкою. Вот вам правило, сейчас же на эту "науку" в ответ: если хотите, входите в пуговицах с гербом в восьмой класс, но имейте жалость и мудрость войти на урок в первый класс в штатском, в черном сюртуке, какие видал мальчуган и дома. Постепенность, мне кажется, должна быть методом на линии всей школы, и, переходя из дома в учебное заведение, мальчик некоторое время должен в нем себя чувствовать еще как бы дома и лишь к концу года или на другой год ощутить: "Нет, это уже что-то другое, тут — не мама, а — ответственность". Ответственность необходима, о, как необходима! Но — не сейчас, не как удар, не как психический испуг, под которым человек присел бы, и затаился, и враждебно заскрежетал зубами. Превращение ангела в чертенка — самое легкое дело, и именно

в первом классе, и, как я думаю, под впечатлением именно испуга и принижения. Таких я видел, помню, мог бы о них рассказать. Хотя к утешению должен заметить, что, тогда как чайльд-гарольдство неправомерно (разве что для любимой девушки), в первом классе все исправимо для часа (со стороны учителя) матерински-нежного разговора. Сквозь чертенка вновь просвечивают ангельские черты.

Наука неписаная, поэзия непропетая и философия неаргументированная — все это с неодолимостью факта лезет из природы человека; но, как воздушное видение, все это преобразовывается и между девятью—восемнадцатью годами переламеняется, разрушается, складывается в иные фигуры, в новые воздушные, но непререкаемой же фактической крепости замки. То, что строится, — воздушно, неверно; но что оно строится, будет выстроено — вот это есть факт, и непререкаемый. Мы сказали "неверно" — и это лишь в смысле прочности, в том смысле, что пройдет. Но все пройдет; мы, наша жизнь — пройдут. Однако во всем есть истина; и наивность десяти лет, фантазии в десять лет — чем они не истины? И с этою зыбкою истиною возраста должна быть художественно и философски согласована программа, метод, учитель, учебник, вся школа, чтобы сохранить в себе действительность, действенность.

Между девятью и семнадцатью годами переломы происходят приблизительно трехлетиями. Через три года, наблюдая мальчика, юношу, вы мало что прежнее сумеете отыскать в нем. И это — не перебирая усвоенное им, но пересматривая его дары, задатки, инстинкты, веру. Не анализируя своих учительских воспоминаний, передам только почти пластическое, но постоянное и на чем-нибудь основанное же впечатление: что если до пятнадцатого года, до начала шестнадцатого мне необъяснимо все ученики нравились, то с пятнадцатого, шестнадцатого и до конца гимназии мне почти без исключения же все переставали нравиться. В этот фатальный год, пятнадцатый, шестнадцатый, — происходит какой-то перелом. Мальчик становится недобр, презирающ, неисцелимо ленив; кажется (можно подозревать) — чувствен. Вот возраст, когда он может вас удивить циническим словом и поступком, какого вы не услышите от взрослого, от старика. Это какой-то угрюмый и вместе старый возраст, с которым вы должны беречься, "вести политику", быть деликатным; вообще — взаимодействовать и приноравливаться к нему. В смысле успешности учения это — самые худшие годы, когда все выучиваемое они выучивают с отвращением к предмету и с ненавистью к учителю. Жажда их гулять, слоняться по улице, идти в поле, лес — неборима. Это тянется года три, два года, после которых наступает без видимой всякой причины расцвет интереса к науке; заинтересованность мыслью; затуманенность и поэзия, но не к стихам и роману, а к новым открытиям, иногда и действительным, а не вовсе только фантастическим. Этот прекрасный возраст мечтательных или действительных "открытий", открытий в побуждении, в инстинкте, необходимо подцепить педагогическою лесою и перенести в университет. Он тянется

с 18 до 22 лет. Тут ум бесконечно восприимчив, но не к "долбляжке", а к беседе, лекции, к книге. Между 18 и 22 годами остаться в гимназии, что сейчас не редкость, есть такая мука для ученика, как бы ногти на его пальцах какими-нибудь стальными приспособлениями назад вгоняли под кожу, в мясо. Он растет в это время, всегда и непременно гениально растет, все равно и самый неспособный; он есть истинный поэт и истинно серьезный в это время философ. Только одно — героизм движения, пожар событий — может вызвать его из действительной сосредоточенности в кабинет, и он выбежит на улицу с тем же криком "Эврика" (нашел, открыл), с каким до этой минуты читал книгу. В этом возрасте гимназии и вообще регулярная школа — невозможна, вредна.

Тут уже нужно сообразоваться. Возраст 18—22 лет способен к вечным впечатлениям, и, например, в эти годы, вовремя подсунутою книгою, случайною встречей, через умную беседу, можно в юноше зародить беспмятную любовь к отечеству, как и воспламенить воображение утопией "возможно бы, да вот — нет, не дают" блаженства. Славянофилы сложились вовсе не в старости, но в этот возраст. Молодые Аксаковы (Иван и Константин), Веневитинов, Хомяков, Катков (есть биографические данные), Киреевские вспыхнули жаждой монастыря, харатейных списков и государственной славы в те же годы, которые вывели в жизнь и литературу вереницу "нигилистов". Добролюбов и Катков, Писарев и Аксаков различались только в том, что одному попалась летопись, а другому зоологические Четы-Миней Брэма. И оба кинулись в разные стороны, но уже на всю жизнь. Этот алмаз возраста давать гранить гимназическим учителям — безрассудно. Тут должен быть университет; непременно университет, в чудно доверчивых формах, с абсолютной свободой много или ничего не делать, без раздражающих "педелей", но с профессорами мудро и внимательно выбранными. Тут должны быть Сократы; ибо все люди этих лет — Федры.

Нужно заметить, что в некоторые годы, и именно вот в эти, гениальные 18—22, не следует опасаться абсолютного безделья, которое есть только кажущееся. "Не ходит студент на лекции", ну, и Бог с ним. "Попался в скандале" — и слава Богу. В эти годы за кружкою пива зрел Бисмарк, который после неограниченной лени — вдруг стал серьезным и неутомимым; в эти приблизительно годы Алкивиад шутил свои гениальные озорства. В шалостях или абсолютном уединении (есть такие) тут формируется человек на всю жизнь; тут... за него Бог думу думает, а он ждет — наития. Тут надо беречь. Педель, экзамен, курсовое сочинение — какая, подумаешь, наука! — только расстраивает Божие, проводят человеческим перстом по тиши вод, в которых, может быть, готовится великое. Заставьте Лютера в 18—22 года написать восемь курсовых сочинений; рассмеялся он: "Ну ее к черту — реформация! До нее ли..." И если "реформация" очень назрела, конечно, ни одного из восьми сочинений не напишет и вылетит из университета, куда его выбросит. А реформация была несколько нужна...

Сколько я могу постигнуть дело, угрюмый возраст 16—18 лет, когда ни вы на человека не умеете действовать, ни он на вас, есть собственно момент перелома неопределенно-полого существа в явно-полое. Неуклюжесть физиологическая и душевная; какая-то нелепость роста, бурно-сильного, перемена голоса, опухание подбородка — вот внешние знаки сильных внутренних перемен. В сущности, перед вами сидит меланхолик муж, оставленный "соломенным вдовцом", хоть он этого не понимает, не понимают этого окружающие. Так я думаю, поговорив, года три назад, с каким-то кабардинским "князем", продававшим в Кисловодске кумыс. Раз привез ему корзину бутылок с кумысом, как я думал, работник, но оказалось — сын, Измаил. В темноте будки возилось существо и на минуту лишь мелькнуло в свет. Совсем древний Иосиф, еще не ведающий ни добра, ни зла. Я вспомнил "Крейцерову сонату".

— Когда же вы его жените.

— А вот через два года — и время.

— А до тех пор?

— До тех пор что?

— Ну там шалости — все бывает.

— У нас этого не бывает.

Он меня не убеждал. Но как бутылку можно было получить за пятнадцать копеек, не за четырнадцать, не за шестнадцать, так в точности и отрезанности "не бывает" нельзя было сомневаться, при всем скептицизме петербуржца и москвича. "Не бывает", как не бывает страусов на Кавказе, а где есть страусы — нет наших сосен. Тут — культура, история; разум веков и наций, через который где же переступить 14-летнему Измаилу. "Не бывает, нет"; как у нас — "есть, бывает". Но "разум веков", конечно, высмотрел возраст, оценил перелом и перенес человека в эти фатальные 16—18 лет в семью. Мы, которые не имеем даже первой буквы в алфавите семьи и супружества, предоставив все здесь благочестивому: как, батюшка, угодно, "*laisser faire, laisser passer*"*, — оставили таинственный перелом в школе. Здесь он протекал тупо, угрюмо: человек куда-то ушел в себя, провалился в бездонную глубь субъективизма. К 18 летам все это разрешается в так называемые тайные пороки. И на фоне грусти, раскаяния в них, — грусти и раскаяния всегда трансцендентных, с "мировым" оттенком, ибо пол есть мир, космос, — возникают героические порывы и проникновенные мысли. В 18—22 года может в самом деле человек придумать гениальную мысль, какая и в старости не придет. В этот возраст Бэкон решил план "*Instauratio Magna*"**, а Декарт открыл свой *Methodus* (кстати — его суть ему приснилась во сне, об этом есть автобиографическая записка). Я так сужу, что всякий рождающийся младенец есть бессмертная мысль, от нас телесно отделившаяся; так, гениальная всякая мысль есть, в сущности, только субъективно удержанное, задержанное рождение:

* "будь что будет" (*фр.*).

** "Великое восстановление <науки>" (*лат.*).

чудный младенец, этот ангел, сходящий на землю, на этот раз не сошел на нее, растворился внутри отца, как-то таинственно преобразовался и появился, как ангельская мысль или как ангельский порыв, непременно с абсолютной чистоты и силы, с новизною, небывалостью, как "Instauratio Magna", как "Метод", как потребность открыть Америку или начать реформацию, революцию. В самом деле, ведь и реформация, и революция были начаты и даже довелись до конца вовсе не людьми преклонного возраста, но вот все этакими 17, 18, 23-летними "Измаилами", sans-culottes. Так мать-природа, древняя Mater-Genitrix, творит, "рождает" через эту тайну даже и историю. Восток имеет священную семью, но не получил ни Америки, ни Бэкона и Декарта; Европа, имея несколько декадентскую, "случайную" семью, вытянулась исторически в длинный ряд успехов, открытий, "откровений" слова и мысли, от Парацельса до Эдиссона (тоже кажется в мальчишестве все открыл).

Открылись вещие зеницы
Как у испуганной орлицы...

Вот сделанный поэтом очерк "открытия вдруг", видения небесных недр. Эдиссон вдруг увидел свое открытие, которого не видели Дэви и Фарадей, не видел никто, а ведь, кажется, уж много людей возилось около электричества; Рафаэль "вдруг" стал писать Мадонн; Бэкон решил низвергнуть Аристотеля, Лютер — папу, Руссо — весь старый порядок. Новое, как новорождающийся младенец, и есть абсолютно свежее, первое, единственное в мире существо, так эти "мальчишеские" видения, открытия Америки, не только глубокомысленны, но — самое характерное — также небывалы и новы, единственны, без цели объективно-исторических подготовлений.

От 9 до этих 16 лет, в сущности, проходит один фазис: доверия, наивности. Доверия детского, т. е. глупого, доверия отроческого, т. е. с искрою нерва; доверия юношеского, т. е. великодушного; перемен, переломов на этом протяжении лет в смысле столь всестороннем и доходящем до глубин как переход червячка в куколку и куколки в мотылька.

Отношение объективной среды, т. е. школы, должно быть столь же разное для трех фаз, как не похож зеленый лист капусты на синеву летнего воздуха и обе эти сферы отличаются от грунта земли или затянутого паутиною угла чулана, где висит недвижимая хризонида. Книга, час занятий, личность воспитателя и преподавателя, самое устройство здания школы и чередуемость рекреаций и занятий — все здесь меняется. Я упомянул о неудобстве мундира и ответственности в первом классе; между тем в третьем классе, даже с половины второго, — это уместно. К концу отрочества бравая ответственность, т. е. не робкая и не вьющаяся около ног, а "как отрезанная", как во фронте, — желательна. "Мы большие", — думают тут мальчишки; "вы — большие и отвечайте, как большие". — "Мы — терпеливы, ибо мы — мужественны". — "Ну, и потерпите". Нужно заметить, что этот прекраснейший миг возраста искажается... ну, следующим одним, самым обыкновенным случаем.

Задано "повторение" — при плохом прохождении предыдущих классов абсолютно непосильное 50 процентам в классе, непосильное для Аннибала: ну, где тут "повторять" немые и плавные глаголы, когда их суть — в оттенках, в формах слияния гласных и перехода согласных одной в другую, между тем как у учеников от всего этого одна каша в голове, просто воспоминание, что "сливаются" и "переходят". Эти повторения — самая для учеников ужасная вещь, ибо совершенно неисполнимы. Но повторение это перед выводом баллов, к концу учебной четверти, и притом грозной, последней! И вот пятьдесят процентов Ромео назавтра будут в классе робки, трусливы, подлы, как Расплюевы. Они будут вымаливать у товарищей подсказыванья, у учителей — снисхождения. Один такой день сламывает всю "внутреннюю науку" ученика, разбивает формирующееся в нем духовное существо. Если бы вы от него потребовали пройти 30 верст в день... наколоть сажень дров... быть высеченным в храме Артемиды, как спартанские мальчики, ну, словом, что угодно, но только возможное, выполнимое при гигантском напряжении — он это сделает и, как Ромео, вырастет в собственных глазах, возблагодарит вас, привяжется к школе. Думаю, на таких "подвижнических задачах", трудных и выполнимых все-таки, сложились гиганты старых монастырей, как и богатыри Спарты и рыцарских времен. Вообще поразительно, что упражнение воли, гимнастика воли ведь вовсе выкинута из гимназий, ну какая же это "воля" семь лет готовить уроки не столько в силу живой и полезной дисциплинированности, сколько от испуганности перед учителем. Воля, но уже в смысле "вольницы", "распутицы" и "беспутицы", начнется в университете, где тоже отсутствие ее упражнений, кроме: "потерпи" — "не хочу терпеть". Но ведь воля есть обратное, она есть активное, она есть достижение, иногда сопротивление, во всяком случае устремленность моего "я", а не скрюченный страх этого "я"...

Но это — вне узкой и частной темы о возрастах. Последние всегда рассматривались со стороны их наружных качеств, тогда как возраст есть содержание, книга; это — некоторые водяные знаки определенного смысла и направления, которые не видны сами по себе, но легко прочитываются, если поднять их к свету. Внешнее, видимое, так сказать, цветное и красочное научение должно идти не в дисгармонии, не в противоборствовании, но в согласованности с этим безвидным, которое мы не можем не назвать божественным по его темному и иррациональному роднику. Главнее всего человек у себя научается, из себя развивается; прочее — впечатления; образователи, а не образующееся существо; школа есть только впечатление, и эту подчиненную и зависимую роль она не должна забывать.

Но затем науке педагогики предлежит художественно и философски прочесть возрасты, разобрать их "водяные знаки"; конечно, мы не можем этого и начать делать здесь: наша задача была указать огромную пропущенную проблему педагогики.

СКАЗОЧНОЕ ЦАРСТВО

Эдуард Лабулэ. Волшебные сказки.

Перевод с французского Е. Г. Бартеневой,
М. Х. Лихтенштадт и С. С. Миримановой.
С -Петербург, 1900.

Лабулэ представляет собою редкое и исключительное соединение ума жестокого и политического с даром фантазии и сказок.

Каким образом в нем совершилось это соединение — чрезвычайно трудно сказать; но девочки и мальчики, которые возьмут в руки изящную книгу его произведений, явившуюся теперь в русском переводе, кстати — очень внимательном и изящном, будут далеки от подозрения, что книга эта, имеющая доставить им столько наслаждений, немного десятилетий назад причинила самые сильные огорчения французским министрам. В самом деле, язык его местами резок и непривычно горяч. Обрисовывая фантастические царства, он не забывал и земных царств; и, конечно, министрам Наполеона III не было сладко прочитывать, напр., эти строки о государстве Пурпуровых Башен: "Принц бросился к ногам отца и пробовал его умиловить. Первый министр, человек с огромною опытностью, успокаивал своего государя: он говорил, что при дворе, с утра до вечера, белое делалось черным, а черное белым"; или: "бедный отец смущался больше монаха, который на середине проповеди забывает, что ему говорить". Язык этот непривычен в сказке; не нужен для детей и лишний в их книге; но он естествен в серьезном человеке XIX века, он уже неволен в нем; и раз случилось, что этот человек позднего века и грубоватой цивилизации заговорил сказками, мы должны мириться с его манерою, которая зато сообщает сказочнику привлекательность правды и простоты. Вот целый очерк административного положения Турции, может быть, — Марокко под французским владычеством, может быть, даже какого-нибудь заброшенного департамента Франции, но вообще — натуры человеческой, ленивой и развращенной: "Едва лишь утренняя заря позволяла отличить белую нитку от черной, Али-паша расстилал на земле ковер и, обратясь лицом к Мекке, благоговейно совершал омовения и молитвы. По окончании этих религиозных обязанностей два черных невольника, одетые в ярко-красные одежды, приносили ему кофе и трубку. Али садился на диван с поджатыми под себя ногами, да так и оставался в этом положении целый день. Он пил маленькими глотками аравийский кофе, черный, горький и горячий, — медленно затягивался смирнским табаком из длинного кальяна, дремал ничего не делая, а тем более ничего не думая, — в этом-то и заключался его способ управлять вверенной ему провинцией. Правда, каждый месяц приходивший из Стамбула приказ пробуждал его высылать в султанскую казну миллион пиастров, составлявший сумму обычного налога с пашалыка. Тогда добрый Али, выйдя из своего обычного покоя, призывал к себе самых богатых багдадских купцов

и вежливо требовал от них два миллиона пиастров. Бедняки воздымали руки к небу, ударяли себя в грудь, рвали себе бороды и с плачем клялись, что у них нет ни одного медного пара; они умоляли пашу сжалиться над ними, взывали к милосердию султана. Но в ответ на все это Али, не переставая попивать кофе, приказывал бить палками по пяткам до тех пор, пока ему будут вручены деньги, которых у них не было и которые в конце концов всегда оказывались где-нибудь. Получив требуемую сумму, верный сановник отсылал половину султану, а другую половину клал в свой сундук, после чего вновь принимался за курение. Иногда, несмотря на все свое терпение, он в этот день жаловался на заботы, причиняемые ему высоким его положением, и на труды, сопряженные с властью. Но уже на следующий день он не думал более об этом. Помимо трубки, кофе и денег, всего более любил Али свою дочь — Радость Очей". Следует описание ее безнадежной лени и праздности и заключительное поучение: "Когда девушка молода, хороша собой, богата, да к тому же еще дочь паши, — она создана для того, чтобы веселиться, а есть ли что-либо на свете веселее безделья? Так рассуждают турки; но сколько христиане похожи на турок в этом отношении..." ("Паша-пастух").

Свежо предание... Мы хотим сказать, что самые предметы сатиры бесконечно устарели и все "Радости Очей" нашего времени давно взялись за букварь, за труд, за медицинские инструменты. Но, может быть, Лабулэ и его сказка вошли тысячною долею в тот огромный напор воды, который в 60—70-е годы прорвал плотину бабьего безделья и выстроил европейских девушек и женщин в огромный развернутый фронт трудящейся и заботливой армии. Равно и паша-губернатор — "свежо предание"... Мы теперь не можем, не умеем сделать, при всяческом и самом горячем желании; у нас нет таланта дела, таланта решать практические "задачи"; а в смысле трудолюбия, готовности, намерения и, наконец, истощающих хлопот все современные "паши" как бы пережили на себе судьбу "Паши-пастуха" и вместе с ним начертали себе золотое правило: "Труд есть единственное богатство, которое всегда сохраняется; упражняй свои руки в работе, и тебе никогда не придется протягивать их за милостыней. Когда ты узнаешь, чего стоит заработать хоть один пара, ты всегда будешь относиться с уважением к имуществу и к трудам других. Труд дает здоровье, мудрость и радость. Труд и скука никогда не уживаются под одною кровлею".

"Свежо предание"... Министры трудятся теперь как чернорабочие, и восемь часов утра, девять часов утра уже застают их за делом, в заботе. Сатира Лабулэ, имеющая в виду свое время, археологична в наше время, существенно другого колорита, и рецепты, как и упреки, даваемые им сановникам, теперь доходят по своему настоящему адресу — к детям. Вечный сюжет его книги — сказки. Сказки и сказочное. Сказка — это дитя; сказка — это Восток. Бросим Запад и чуть-чуть наметим метафизику сказки и сказочного. Ибо всякая вещь имеет свою метафизику.

В мистически прекрасной повести Достоевского "Неточка Незванова" есть эпизод с маленькой, хорошенькой и гордой княжной и огромной злой собакою в княжеском доме. Как все, вероятно, помнят, "Неточка" — брошенное, одинокое, мало кому нужное дитя. Подобранный добрыми людьми, она попадает в княжеский дом и вот пристрачивается к юной, прекрасной и злой княжне, которая, однако, ее не хочет, чуждается. Тут эта собака, огромная и страшная, которой боятся взрослые, которая не может не укусить, не умеет не укусить. Как она очутилась на свободе — неизвестно. Все замерли, потому что поблизости к ней очутилась Неточка. Княжна, гордая, как маленькое божество, смотрит тоже с любопытством и холодно; тогда Неточка, это бедное существо, брошенное Богом на земле, горя вся единою любовью к княжне, хочет отличиться перед нею, сделать невозможное, "умереть на глазах кумира" — и подходит к собаке, которую, как тигра, укрощали чуть ли не каленым железом. Собака, совершенно никогда не выдавая, чтобы кто-нибудь к ней подходил, — поражена. Тут специальный гений Достоевского, его специальный гений невозможных положений и верной в них психологии. Какая-то ледяная сцена — страха, оупенелости. Вся замерев, Неточка кладет руку на собаку, — "кладет голову в пасть тигра, однако неприрученного и не в клетке", и чудо совершается, совершается маленькая психология и метафизика: собака не двинулась. Через секунду ребенок был схвачен, выхвачен из опасности и ценою ужасного поступка гордость княжны была побеждена: она стала другом Неточки, позволила ей по крайней мере любить и ласкать себя.

Сказки не было бы и не было бы вообще сказочного, если бы всякое дитя не было немножко животным, а всякое животное не было немножко человекообразным ребенком, без возможности роста, остановившимся, замеревшим, но с тайным чувством человеческого дитяти и тайным с ним взаимодействием. Каждый может наблюдать, что куклы, няни, родители — падают тотчас в интересе и авторитете для ребенка, едва около него появляется животное; и что животное в точности и всегда ведет себя с детьми несколько иначе, чем со взрослыми, без отчуждения, без убегания, с огромной готовностью потерпеть, даже пострадать "от двуногого друга". Кошка, столь неласковая вообще и так опасная своим скрытым в бархатной лапе когтем, не царапает даже слегка двухгодовалого мальчишку, который немилосердно тащит ее за хвост через всю комнату. Под диваном возня, страшная борьба между не желающей оттуда выходить кошкою и желающим извлечь ее "на свет Божий" мальчиком. Кажется, вот-вот ребенок огласит комнату криком боли: нет, ничуть: он победил и тащит друга за лапу вон. Мне не приходилось ни самому видеть, ни особенно слышать о несчастиях детей с животными, между тем не безопасными для взрослых. Все слышали о страшных и редчайших случаях, когда стрелочник, увидев своего малютку на

полотне железной дороги, все же не бросил рычага переводной стрелки, обрекши сына на смерть. Но смерть не приходила. Исаак оставался Аврааму. Замечательно, что в газетах никогда не сообщалось случая, что вот "стрелочник", "ребенок на полотне", "поезд прошел, и он найден растерзанным". Между тем такой случай дошел бы до газет; отчего нет? Но все случаи улегаются в формулу: "остался жить"; и мы боимся искушать Господа, но не можем не отблагодарить, пока не отблагодарить его за постоянное чудо, что в данную секунду под действием какой-то психологии и метафизики малютка сползает с самого рельса внутрь или наружу. Т. е. мы хотим сказать, что жизнь ребенка, если за нею внимательно следить, бывает центром маленьких, для него утилитарных чудес, по крайней мере — необыкновенностей. Ребенок — сказка, и нечто в самой действительности сказочное есть около него, начинается около него, может быть, истекает из существа его.

Не было бы детей — некому было бы слушать сказки и верить в них; но не было бы дедушек — не было бы кому сказывать сказки, выдумывать их. Странное сближение старца и ребенка есть вторая метафизическая линия сказочного, столь необходимая, как сближение ребенка с животным. Нельзя не заметить, что "дедушкам" нравится самим выдумывать сказки и общество детей их не тяготит и не раздражает, как вообще оно раздражает и в высшей степени тяготит людей среднего возраста, между 20—50 годами. Этот возраст 20—50 лет я предложил бы назвать "гражданским", по преобладающим здесь интересам и вкусам, центр и узел которых — социальное и фактическое бытие. Ранее этого возраста, как и после этого возраста человек незаметно отходит от реализма и погружается во что-то фантастическое. Что именно — мы не умеем рассмотреть; но он отсыхает от действительности, рассыхается с действительностью, — как есть "рассыхающиеся" бочки, на которых ослабли обручи. Обручи жизни и бытия нашего реального, "гражданского и социального" отстают от старца и ребенка, и они погружаются в новый свет, какой-то совсем другой, нежели наш, а сказка есть прелюдия, начало, утренняя и вечерняя заря этого особенного и нам вовсе неизвестного света. Таким образом, я склонен думать, хоть сам пока и прохожу "социальный день" нашего бытия, что, конечно, сюжеты сказок неистинны, но они неистинны лишь в подробностях и частностях, в "ходе рассказа", а в некоторой сути своей сказки и вообще сказочное заключает в себя некоторую настоящую правду и даже имеющую открыться человеку после его смерти и ему известную до рождения. Заря до смешного не похожа на солнце: это — полоса, лужа, пятно, озеро розового цвета, ничего общего не имеющего с горящим желтым диском, откуда

Алмазна сыплется гора.

Но кой-что родное и уж особенно зависимо между солнцем и зарею есть. То же в сказке и "том свете". Сказка есть перевернутый, перепутанный "тот свет". Сон, который мы забыли, но твердо помним,

что он был, и даже помним колорит его, например то, что он был или приятен, или страшен, но забыли только сюжет, историю и ход. Например, во всех сказках есть превращаемость вещей друг в друга; из цветка вылетела птичка; принцесса обратилась в жабу; жаба — в принцессу и птичка обратно в цветок. Неужели это не истина, т. е. в метафизическом порядке нашего личного существования ("на том свете"), неужели нам не откроется тайное единство вещей и что в самом деле можно "из цветка — в пташку, из пташки — в цветок". Да даже в онтогеническом и эмбриональном процессах мы снаружи, грубо, как плотники, ощупываем что-то подобное, т. е. мы шупаем мешок, в котором набиты удивительные сказки, но сквозь толщу и грубость мешка мы не можем прощупать основательно предметов, "прочитать" загробных и вообще потусветных "сказок". Забытый сон, но он был, он исполнится. Оттого в гостиной или в столовой, встречаясь, дед и ребенок подмигивают друг другу: "пойдем, друг, отсюда: мы знаем кой-что, чего не знают эти играющие в вист господина и чему они не могут поверить, и мы тоже не совсем верим, но чуть-чуть — верим, начинаем или хотим верить". И друзья идут рассказывать и слушать, любоваться друг другом, любить друг друга. "Как мне, дедушка, с тобой хорошо". — "И мне, мальчик, с тобою хорошо же".

Дети часто плачут, и старики — плачут; взрослые — никогда. Вот еще черта сходства. Волосы в обоих возрастах белеют или имеют тенденцию к белому, во всяком случае к сближению. Но вот еще более разительное и всеобщее явление: старик позабывает свой средний возраст, события средних лет, и в нем Бог весть откуда воскресают во всей живости подробностей события юности и детства, совершенно забытые уже в среднем возрасте. Таким образом, метаморфоза в старости есть восстановление метаморфозы детства или, во всяком случае, — чрезвычайное сближение, уподобление, появление "двойника". Похоже на то, как бы один свет набегаёт на человека. Мон-Роза, Мон-Блан, Этна в утренних или вечерних лучах суть те же, в том же пурпуре, хотя и с противоположных сторон набегающим. Как и солнце, утром родившееся, есть то, которое умерло вчера.

Сказка — дитя и дед, но и, кроме того, она есть Восток в его разграничении от Запада. Едва ли Запад много выдумал своих сказок; все его сюжеты — из Азии, т. е. оттуда же, откуда все известные религии, "веры". В сказки мы верим, в религии — верим до знания. Это — запомненный сон. Кстати, до сих пор европейская наука не разгадала даже приблизительно, что такое сон и сновидение. Бессемеровскую сталь мы лить умеем, из Петербурга с Москвою можем разговаривать, даже узнавая тембр голоса говорящего лица, т. е. мы смогли чудеса в науке. Но такого нам близкого и ежедневного дела, что вот "заснем" и "увидим сон", — не понимаем. Сон — какое-то движение души. Казалось бы, чем ярче сон, тем движение души сильнее и человек должен быть ближе к благородному состоянию; совсем напротив!! Ведь ученые так думают,

гипотезируют: что сон есть некоторый безболезненный паралич души, временное расслабление, упадок, вообще приближение к нулю; но вот — сон, "сновидения" нарастают: какие приключения, страх, смятение, опасности. Человек кричит во сне; да что же он не проснется?! Ведь чем сильнее движется душа, боится, желает, тоскует — тем он ближе к "полной энергии пробужденного человека", и, следовательно, всякое сновидение должно переходить в пробуждение. "Сон... действительно, действительно, действительно! совсем действителен — я проснулся". Ничего подобного; пробуждение, например, во время страшного сна есть разрыв, ужасное усилие и перерыв, "убийство" сновидения, а не доведшее его до яркости действительного пробуждения. Т. е. сны бегут "туда", когда мы пробуждаемся, — "сюда". И, следовательно, сон есть некоторое ежесуточное оттягивание нашей души в "ту сторону", противоположную "этой", здешней. Что ее оттягивает — мы не знаем; но пробуждаемся "освеженные" и "укрепленные": прекрасный залог, что "там" вообще крепче все и здоровее, нежели здесь. Там баобабы, здесь тростник.

Почему из Азии религии? Почему оттуда сказки? Азия есть чудное сновидение, и если она "спит, покой храня", т. е. недалеко ушла в прогрессе, то потому, что среди других материков и их населения она есть Дед и Младенец, вообще чуждый и до сих пор чуждающийся средней, гражданской и социальной поры существования. Психика возраста 20—50 лет никогда не была психикою ни одного момента ее существования. Азия и всякая в ней страна — до 5 лет — ребенок, дитя; то 65 — старец, и хотя это совершенно необыкновенно, но до последней степени очевидно, что племена Азии тотчас после детства впадали в старость, а, напр., в мужестве 32 лет никогда вовсе не бывали. Персия, Вавилон, Китай, Индия тотчас впадали после детства в старость, без среднего промежуточного возраста. Психика римских Сципионов или афинянина Перикла, т. е. расцвета и возмужалости, мы вовсе не находим в Азии. Возьмем Персию, история которой отчетливее известна из Геродота и Ксенофонта. Кир — весь в сказках, т. е. он весь в пеленках: что-то подобное Геркулесу, который несколько месяцев от роду задушивает змей; а его преемник Камбиз — уже растленный кесарь. Где же средний возраст? Его не было, нет у страны, народа. Фаза "социальных забот", этот крайне земной возраст, когда Чичиков устраивал свое благосостояние, Кречинский задумывал жениться, Кобден хлопотал около хлебных законов, Гизо вел переговоры о *juste milieu** с Луи-Филиппом, те счастливые "политические" лета, в которые Бомарше написал "Фигаро" и Грибоедов — "Горе от ума", их — нет и нет, даже просто они не представлены в Азии! Вчера — младенец, завтра — старец; вот Азия. Но старость, как и младенчество, близки "туда", и вот почему странный трансцендентный свет никогда не сбегал с лица Азии. Вечно там небесный свет, то в детских выдумках, то в вещих догадках. Теперь еще обратим внимание: как в детстве, так и в старости "вдруг

* золотой середине (фр.).

приходит на ум", "открывается", "кажется", "видится". Сидел-сидел — и вдруг встал и заговорил: "видел, знаю, понял". Совершенная противоположность тонкой механике, которую подводит под свою невесту Кречинский, нет обдуманности, созревания плана, выработки средств; вовсе нет лестниц и существа лестницы. "Взлетел на небо", "был восхищен на небо", "следуйте за мною", "приведу вас в царство небесное": так младенец сидит-сидит и вдруг начнет маме рассказывать Бог весть что, Бог весть откуда взятое: "да, видел; нет, мама, ты — верь, это было". Я хочу сказать, что в младенческом и старческом возрасте действительно кой-что "открывается" человеку; что он тут не "разужнает", не "осведомляется", но вдруг и для себя неожиданно ширится, расширяется в видении. "Открылось", "мне было открыто"... Отсюда Азия спокон веков и всюду была материком маленьких и больших "откровений": "Эврика! эврика! нашел, нашел!" "Нашел" Будда, под деревом сидя; Заратустра "нашел" в пещере; "не успел кувшин с водою пролиться, как я пролетел три неба и остановился перед четвертым, где Бог", — записал о себе Магомет. "Видел и знаю — теперь следуйте". Кречинским из Европы это всегда казалось подозрительным; "не так поступали мы, тут — обман, лжепророчество". Шарлатанит Азия в сказках, как шарлатанам мы в действительных историях. И Азия никогда не умела "доказать" себя и "доказать" свое строгому ревизору из Европы, из Гейдельберга или из Тюбингена...

Но мы отходим несколько в сторону. Суть сказки и сказочного, в "Тысяче одной ночи" или у Лабулэ, заключается в более тесном сближении всего мира как бы на одну небольшую площадь, небольшое пространство бытия. В этой тесноте, какой-то метафизической тесноте, вещи, разрозненные в объективном мире, начинают субъективно перемещиваться, взаимно проникать друг в друга или переходить друг к другу; во всяком случае, все вещи чувствуют друг друга, "разговаривают"; то теряют душу, то находят ее. Тут — постоянная смерть и постоянное воскресение. Границы материального и духовного не тверды; все может быть одушевленно — это аксиома; даже во всем есть душа, но только не показывающаяся — вот вариант аксиомы. Бессмысленного в сказках нигде нет; эти льдины плывут — не без цели, они нужны для кого-то, и цель оправдывает их бытие. Вообще, в сказке все нужно, а лишнего ничего нет, как в "космосе", т. е. "украшенном художественном создании". В конце все имеет всегда поучительность — как и во всемирной истории судьбы народов не без "резюме". Все имеет нравственный смысл; добро везде торжествует; злые всегда наказаны, как "на том свете", по верованию всех религий. Я хочу сказать, что сказки и вообще мир сказочного, будучи неверны "в ходе событий", кой-что имеют подлинное в сути своей, напоминающее, воспоминающее, ожидающее — уж не умею выразить. Герой сказки всегда между добром и злом, около него борющимися; в каком-то отношении к Богу, то ближе, то дальше, — это неперемutable условие его положения; всегда он "висит

между жизнью и смертью”; и — приключения, приключения. Согласитесь, что похоже на действительность. Еще одно и уже последнее наблюдение: сказки всегда рассказываются ”к ночи” и тогда слушаются с любопытством, какого невозможно вызвать к ним днем. Мистицизм ночи почему-то не занимал собою великие умы, а он есть. На ночь, как я сказал, душа куда-то ”оттягивается” и появляется сон; но если человек преодолевает сон и не заснет, то у него появляется характерное и совершенно невозможное для дня настроение духа, именно чрезвычайного оживления, крошечного, чуть ”восхождения на небо” и ”видение Бога”. Я говорю огромными параболоми, преувеличениями, чтобы подчеркнуть и дать прочесть маленькую истину: попробуйте устроить вечер или бал днем — и он не удастся по отсутствию общего повышения духовной энергии. ”Сияния бала” не будет. Теперь возьмите другое: пусть гр. Толстой, который так проповедует здоровый деревенский образ жизни, сел бы за решительную страницу ”Смерти Ивана Ильича” или за упоительнейшие строки ”Анны Карениной” в три часа пополудни: ничего бы не написалось, вышла бы художественная клякса. Почему? Никто не знает. Но всемирный опыт, наблюдательность и инстинкт подсказывают и устраивать балы, и чинить художество в тот самый замечательный час, когда дети начинают быть внимательными к сказкам. Какое-то всемирное возбуждение, т. е. какой-то Всемирный Возбудитель, — близок, и именно трансцендентного, несколько упоющего нас характера. ”Сейчас заснем”, или ”сейчас будем танцевать”, или напишем:

Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампы,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла...

Это Пушкин снял фотографию своих занятий. Мы же можем отметить, что в час этот какой-то Таинственный Сеятель приближается к человеку и дает ему такое, что человеку остается только взять. Берут — дети и мудрецы; поэты и танцоры; берут спящие — сны, счастливые или тревожные; и в книгах священных записано, что тут иногда посещает нас Бог:

— Самуил! Самуил!

— Вот я, Господи.

”Был уже поздний час ночи, но лампада в храме еще не погасла” (”Книга Судей Израилевых”).

Это нужно было сказать первосвященнику Илию, что час наказания его за беззакония сыновей — пришел. И, как обыкновенно, уж если не явился Бог старцу, Он явился — отроку. Никогда человеку ”гражданских и социальных” 32 лет.

ВОСТОК

На Востоке тревожно... Жуткое чувство пробегает по спине, когда читаешь телеграммы. Группы христиан то там, то здесь — захватываются, стерегутся. Увидят ли они своих милых, дорогих в Европе? Вернутся ли к нам? Жутко. Страшно. Дома миссий с яростью жгутся, разграбляются. Мы в обычных суждениях не принимаем во внимание Востока во всем его ужасе, во всей его особой, характерной ярости. Они не могут с нами бороться, они бессильны. Но, например, мне пришлось мельком услышать суждение: "Что вы сделаете и какими вы пушками ответите на тот факт, что они станут продавать европейцам отравленную пищу". Отравленная пища?! Брр... Нужно перенестись в психологию и обстановку бунта военных поселений в холерное время, в психологию борьбы венецианцев с далматинцами, в средние века, когда эти красивые разбойники тайно бросали в славянские колодцы вырезанные из чумных трупов железы, нужно припомнить гибель нашего Грибоедова в Тегеране, и тогда только мы чуть-чуть подыдем завесу над тем, что разыгрывается, или готово разыграться, или может разыграться в Китае. Сохрани Бог там европейцев. Пусть спешат военные отряды, ибо, когда нужно спасать, нечего думать, как и кому спасать.

Знаем ли мы Восток? Едва ли более, чем Восток знает нас. Европа и Азия слишком несоизмеримы. Они смотрят друг на друга, удивляются; но далее внешней удивленности — проникание друг в друга не идет. Могут ли они любить друг друга? Едва ли. Все слишком несоизмеримо. Известно, что наши философы довольно прилежно занимаются буддизмом, но... какие же они буддисты?! В Париже курьезные барыни или господа устроили даже буддийскую моленную: ну, что же, "чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало"... Очевидно, это все суть курьезы европейской жизни, капризы европейского воображения, которые точка в точку укладываются в линию характерного европейского развития и ни чуточки не задевают и не касаются, даже прямо не понимают характерного в Востоке. Буддист... Ну, тот просто сидит и двадцать лет смотрит на пуп своего живота. Что он там видит? Что думает? Почему он туда смотрит?

— Гимнософисты, "голые философы"!

Так удивленные воины Александра Македонского выразили свое впечатление, придя в Индию. Они все-таки кое-что рассмотрели. "Философы"... Конечно, нужно иметь философию, чтобы двадцать лет рассматривать свой живот, иначе с ума сойдешь, ибо ведь это — одиночное заключение в тюрьме, полное уничтожение впечатлений, перерыв общения с миром. Они так и говорят:

— Нирвана.

— Скажи, Совершенный: ведь Нирвана есть все-таки какое-нибудь бытие? — спросила однажды у "прозревшего", т. е. у Будды, одна ученица.

— Нет, о Нирване нельзя сказать, что она есть какое-нибудь бытие.

— Так, Совершенный. Значит, Нирвана есть не бытие?

— И этого нельзя сказать, что Нирвана есть не бытие.

— Понимаю, Совершенный. Значит, Нирвана есть бытие и не бытие в одно и то же время?

— Нельзя и так думать, что Нирвана есть не бытие и бытие в одно время.

”Учитель” все думал. Ученица отошла молча.

Во всяком случае, и вопросы и ответы очень тонки. Скажи только ”совершенный”, что ”нирвана есть не бытие и бытие вместе”, он определил бы ее как движение, переход и, очевидно, на этом-то ловила Будду ученица. Свечка горит — ну, это ”бытие”. Свечку не зажигали вовсе — это ”небытие” в отношении к горению. Но свечка потухла, и вот это есть ”бытие и небытие вместе”, т. е. явление обыденное и до дна ясное. Будда не поддался: ни то, ни другое, ни третье, сказал он о совершенно рациональном, непостижимом, мистическом, что есть в мире и что в мире — главное и владычественное. Но, однако, что же? — Будда ”смотрел на свой живот”. Но ведь уж если говорить истину, то, например, Достоевскому лучше было бы ”смотреть на свой живот”, чем говорить бессильные и непонятные слова в тех пунктах и в те моменты, когда он пытался выразить святая святых своих убеждений?

К Востоку надо приглядываться. Кто не помнит в ”Накануне” Тургенева Увара Уваровича? Вот немного — Восток. Все мы встречали в жизни людей, которые почти ничего не говорят, но к которым все присматриваются как к авторитету. Увар Уварович — из таких экземпляров. Эти молчаливые авторитеты никогда не ошибаются; они или не знают, а если о чем знают — то верно. Елена, в ”Накануне”, ошиблась; ошибся Инсаров, Шубин; ошибались родители Елены. Но Увар Уварович не только не ошибся, но мы чувствуем из всего его очерка у Тургенева, что он в точности или не знает, или уж если знает что — то верно; и это-то и сообщает ему авторитет. Между тем Увар Уварыч есть тот же русский гимнософист, т. е. ”голый философ”, у которого ничего нет и о котором мы ничего не знаем, кроме того, что он все сидит и толст. Аким из ”Власти тьмы” — в этом же роде. Вообще, в России в меру ее близости к Востоку, в меру того, каков есть уже начинающийся Восток — есть и в характере восточное. Мы и дики. Мы и капризны. И мудры. И бесконечно нечистоплотны — отчасти в буквальном, а главное — в переносном смысле.

Мне кажется, что Восток нельзя изучать, к нему надо приглядываться. Ну что, если вы изучите филологию Увара Уваровича или Акима? Никакой филологии. Но перебросимся от русских иллюстраций к подлинному Востоку.

— Что это, братец мой, ты зеленое знамя пророка разворачиваешь?

Передо мной был персияшка. Это случилось в Кисловодске, и по каменистому коротенькому подъему я шел в курзал обедать. Персияш-

ка, с рыжей крашеной бородой (обычно у них), отвратительный по бедности или бедный до отвратительности, вытаскивал из корзины свой товар, рубля на четыре всего, и в минуту, как я подходил, распяливал на руках какой-то зеленый шарф.

Я его знал. Присмотрел однажды какую-то грошовую, мне полупонравившуюся вещь, но не купил, а мог купить и вот сейчас мог спросить и купить ее.

— "Так, зеленое знамя пророка?"

Он едва меня не ударил по лицу. Все было до того неожиданно, что я отступил и не знал, как поправиться. Нищий сверкал и, до известной степени, сиял:

— Вы у меня можете покупать или не покупать — я вас не нужен. Но вы не можете...

Сейчас я не помню конца слов. Смысл их — что у меня нет права шутить; что я его оскорбил; что я груб и чего-то не понимаю. Я просто шел обедать, персияшка мне нравился, и я, собственно, хотел ему что-нибудь ласковое сделать, показать, что я его помню, и что мне не во все чужд их мусульманский мир, и я знаю, что вот "пророк" и какое-то от него "зеленое знамя", может быть в память зеленой юбки его Хадиджи. Словом, тут прошло субъективно-рассеянное с моей стороны.

Между тем, год спустя, читая интересные "Воспоминания о Н. И. Костомарове и А. Н. Майкове" г. Ник. Барсукова, я встретил у него интересный рассказ о Новгороде, из времен Грозного. Рассказ, собственно, был передан изустно Костомаровым во время одной поездки по Новгородской губернии, и Барсуков только записал его: "Уничтожив самобытность гражданскую, Иоанн поразил также и церковную. Злополучный владыка Феофил должен был в угождение победителя подписать добровольное отречение от своего достоинства. Вместо его, по воле великого князя, митрополит Геронтий поставил новгородским владыкой московского протопопа Симеона, переименованного при посвящении в Сергия. Приближаясь к Новгороду, архиепископ Сергий завернул в местечко Сковородку, где давно уже привыкли новгородцы почитать гроб своего владыки Моисея. Архиепископ Сергий вошел в церковь, помолился образам и выходит вон; тут ему сказали: "Вот гроб основателя обители — владыки Моисея". — "Отворите гроб, — сказал Сергий священнику, — посмотрим!" — "Мы не дерзаем, — сказал священник, — открывать мощей святителя: это твое святительское дело". — "Что?! — сказал Сергий, — стану я этого смердяго (мужицкого, рабского) сына смотреть". Летописец замечает: "...вознесся умом, высоты ради сана своего, яко от Москвы прииде..." (стр. 17 брошюры).

Так вот оно когда нигилизм-то еще был! — подумал я, прочтя и списав себе на память эту страничку. Просто в Европе мы не умеем верить, и особенно не умеем быть деликатны в вере. "Вознесся умом", "прииде от Москвы", "смердий сын": да ведь в этих почти терминах протекла знаменитая история между Фомою Бекетом и английским

королем, кончившаяся убиением первого. И всегда-то так; и везде-то так. Как редки и, в сущности, индивидуально-исключительны, а не народно-всеобщие черты нежности и деликатности здесь. Так редки, как и Увары Уваровичи, и Акимы — только начинаются у нас, но не есть вообще мы.

Художник, где-то в арабской деревеньке, рисовал рыбу. За ним следил туземец. Оглянувшись, художник заметил смесь жалости и испуга у него.

— Что ты?

— Когда в будущей жизни, при всеобщем воскресении, эта рыба обратится к вам и спросит: ты дал мне тело, дай же мне душу, вы как поступите?

Вот вопрос. Тысяча людей рассмеются, как и этот турист-художник, записавший необыкновенное недоумение. Но место представляется чрезвычайно трогательным. "Зачем делать тело, когда не можешь сделать души"; или, пожалуй: "сотвори душу — а уж тело само собой появится из нее"; что-нибудь в этом роде думал араб, мне же кажется, из восклицания его можно объяснить тот особенный и едва ли уловленный учеными мотив, по которому мусульмане чуждаются образов, изображений. Мы приписываем это отвлеченности их теизма, между тем это относится к жизненности, душевности, творческому движению в их теизме. Большая разница.

Вообще Восток — особенность; новое для нас в Тифлисе есть городская конка, и даже с усовершенствованием против петербургской: именно спинки сидений перекидываются обратно, как только вагон достигает конечной станции и должен следовать обратно. Я сел на ту линию, которая идет в старый город. Теснота улиц; и вечно-то откуда-то куда-то гонят тут скот; местами еще пересекают улицу возы, арбы... Что же бы, вы думали, происходит?

Едва какая-нибудь чумазая морда (пишу не без любви) застрянет поперек улицы, ну — на минуту, на полминуты, как весь вагон вскакивает с места и, размахивая руками, начинает *советовать* ему: как, куда повернуть, проезжать ли скорее или остановиться перед конкою. Ругани нет, это я отчетливо заметил, следил за этим. Но они все вместе. "Гайда, братцы". Мне думается, что черта "вместе" и черта "гайда!", т. е. наскоком, вдруг, — восточная черта. Ведь замечательно, что дисциплины у них в войсках, т. е. порядка и терпения, не появлялось нигде и никогда, не появлялось в актах всемирного завоевания — у Персии и у мусульман. Янычары и табор — вот прием нападения и вот строй войск.

В Петербурге, на Воскресенском проспекте, я увидел единственный раз китаянку. Она шла впереди меня, ковыляя, и вела мальчика лет пяти. Чрезвычайно любопытствуя, я то шел впереди, то отставал, разглядывал главным образом походку изуродованных ног, о которой много читал и в первый раз ее видел. — "Что за идея портить ноги?" Нельзя

было, видя ее медленное и затрудненное движение, не сблизить намерения порчи ног с тем обыкновением, к какому прибегают крестьяне, выпуская лошадей в поле. Им спутывают передние ноги. Лошадь съест всю траву под ногами и передвинется дальше, но не побежит и никуда не убежит. — "Никуда не убежит!" — вот идея китайских (только женских) ног! Всегда объяснялось это у нас как красивость: "китаянки восхищаются маленькими ножками и, чтобы достигнуть виртуозности в этом, с детства одевают крошечные башмачки, задерживающие развитие костей ступни". Может быть, теперь, через 1000 лет однообразной привычки, она и стала нравящеюся модою. Но это... терем! Идея — терема, своеобразно выраженная и превосходно достигнутая! "Никуда бы не убежала" — жена, дочь. Китайцы ведь "ученые", у них тысяча наук и тысяча лет культуры. Они спутали, и без веревок, ноги своей женщине, и через это сделали ее неподвижною, сидящею, преимущественно живущею в поте сидения. Кокетничать она может, но движением головы, выражением лица. И, при таком устройстве ног, едва ли придется где-нибудь кокетничать кроме дома. Во всяком случае, это — тонкое разрешение проблемы, занимающей бездну умов в Европе. Соглашайтесь, что некрасиво.

Красивое в танцах Востока. Танцы должны обдумывать философы, а не балетоманы. У нас вальс красив в музыке, но едва ли в движении. Между тем в танце можно плакать; рассказывать, томиться и томить; танец может быть комический — это я не потерпел бы, но может быть и трагический, по крайней мере — высокодраматический, и вот это, я думаю, прекрасно. Роды поэзии — идиллия, элегия, ода — невыразимы в танце. Сколько могу постигнуть — танец должен быть или одиночен, или группами, гирляндами фигур; ибо есть поэзия субъективная и есть объективная, массовая пластика. Непонятно, почему танцуют парами: вовсе не красиво! Мне кажется, танец должен быть медленен уже по тому одному, что за быстрыми движениями нельзя следить и, наконец, их нельзя рассмотреть, т. е. нечем в них восхищаться. Медленно двигаясь, он должен быть ритмичен и именно ритмичными должны быть покачивания тела. Вообще — тут многое есть для размышления и усовершенствования, но историку достаточно заметить, что родина танцев — арийский и семитический Восток.

Еще наблюдение. Парагвайский чай есть — но скверен; есть бразильский кофе — но тоже скверен. Ароматичный кофе и ароматичный чай — в Азии. Почему? Никто не знает. Я читал в обширном и прекрасном "Путешествии по Южной Америке" недавно скончавшегося нашего дипломата Ионина, что, встречая там множество прекраснейших плодов, он, к удивлению, почти не находил между ними пахучих. Очень пахучая смола, приятно пахучая — тоже из Азии. Мирра и ладан — оттуда, и впервые там пришло на мысль человеку, обращаясь к Богу, — зажигать пахучие вещества. Это — издревне, это бесконечно древнее. Но когда я спрашиваю себя о самом прекрасном и самом небесном на

земле события, рождении Спасителя, в пещере, среди стад, в таком смирении, и ищу в себе образов, сближений, подобий, предуготовлений к нему, не могу не заметить, что, например, это событие не шло бы наименовать живописным или даже музыкальным, но его хочется и потому-то его можно назвать самым ароматическим на земле событием. Чудная капля капнула на землю и именно не живописно и не музыкально, а ароматично начала распускаться в воздухах земных.

ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ

Известный стих поэта

Любви все возрасты доступны...

непрестанно и шутливо повторяемый, подал повод к несерьезному, но чрезвычайно распространенному убеждению, что нет определенных сроков любви. "Во всякий возраст может нравиться женщина", следовательно, действительно "любви все возрасты доступны". И в доказательство указывают вереницы увивающихся друг за другом юношей, взрослых людей, пожилых людей, образующих наше разноцветное и подвижное общество. "Все за всеми немножко ухаживают, и тут — все возрасты".

Между тем это — шутка. Если есть вещь, противоположная любви, то это — ухаживание. Любовь безмолвна, бесконечно застенчива, бесконечно лична и исключительна. Вообще метафизики любви не написано, и понимаем ли мы ее — более чем сомнительно. Когда она пришла — она пришла как рок. Нет более печальных историй, чем разыгрывающихся на фоне любви. Тут ни судить, ни рассуждать, ни осуждать или оправдывать нельзя — прежде всего по совершенной непонятности самого предмета суждений. Лет восемь назад был случай в Вязьме, о котором говорил весь город. Кто-то из купчиков или из купеческих приказчиков влюбился в мещаночку. Сделал предложение — получил отказ, прошли месяцы — он опять повторил предложение. Опять отказ. Промаялся время — и снова идет с тем же предложением к той же мещаночке и получает столь же упорный и абсолютно равнодушный отказ. У него были родители; небольшая торговля; он был молод и здоров. Наутро после последнего отказа его нашли повесившимся на чердаке. Любимого товарища, его хорошо хоронили друзья и родные. Что же сделала "краса"? Когда несли гроб, она проехала мимо, проехала преднамеренно, чтобы "вот взглянуть" и улыбнуться. Об этом тоже заговорили. Очень ее судили; но за что же?! Вероятно, и она была удивлена. Почему она его не любила, "столь любящего"? А почему он ее любил, "столь нелюбящую"? Прав один, права другая. Нам предлежит тут размышлять, а не судить.

Предмет влюбления на все взгляды "так себе", на взгляд влюбленного — единственный, исключительный. И любовь в значительной

степени и заключается в образовании этой портретной, физико-духовной фата-морганы. Самое глупое и бесполезное говорить влюбленному, что "предмет" его не хорош, потому что суть влюбления и заключается в неспособности увидеть, что предмет "не хорош". Явление это столь известно, так необъяснимо и на нем до такой степени основывается всякая любовь, что иногда хочется сказать, что любящий видит, собственно, не конкретного человека, не того "Ивана", на которого все смотрят и ничего особенного в нем не находят, но как бы ангельскую сторону конкретного человека, двойника его, и лучшего, небесного двойника. Без этого, если бы любовь относилась к конкретному человеку, все любви пали бы на одного или на немногих избранных, наилучших в духовно-физическом отношении людей. Между тем совершенно не бывает человека, обойденного любовью; и самый некрасивый, наконец, очень злой или безнравственный — имеет свою пору любви, свой удел в любви. Но чем же явно некрасивый и дурной человек может понравиться, как не душою своею и именно ангельскою частицею этой души? И вот отчего каждый человек бывает любим.

Бывают люди или судьбы человека об одной любви. Греческое воображение дало пример такой любви в Пенелопе; индусское — в Дамаянти. И мы ошиблись бы, если бы сказали, что между нами не отыщется своих Дамаянти и Пенелоп. Тут — закон, а не эпоха. И во всякую пору есть известное число определено, исключительно и вечно любящих сердец, без измены и колебания. Мы знаем Андромаху и не можем представить ее себе любящею еще кого-нибудь, кроме Гектора: так приноровлены все черты ее души, что-то меланхолическое и привязчивое. Взглянув на Пушкина или Гейне, мы столь же неотразимо убеждаемся, что это типичные полигамисты, многолюбы. И во всякую эпоху, по всему вероятно, есть определенное число этих многолюбов. Тут — ни порока, ни заслуги. Это как трава, которая зелена, потому что она зелена. Вначале, когда возникала семья и, естественно, располагалась по законам любви, около любящей моногамии росла рядом столь же обширная полигамия. Кстати, разрешу здесь одно историческое недомыслие, известное еще из учебников. Читая, что Соломон "имел триста жен и шестьсот наложниц", так и представляют обыкновенно, сперва дети, а за ними и взрослые, даже комментаторы, что он одновременно был супругом стольких женщин. Конечно, ничего даже приблизительного не было, и Соломон нисколько не был в собственном смысле развратен, распущен или сластолюбив. Но он пережил чрезвычайно много всякий раз исключительных и сильных, однако непродолжительных привязанностей и, конечно, не имел жестокости бросить которую-нибудь из них. К старости, как и в юности, он любил одну; и к могиле в дворцах его, имея детей каждая, собралось такое число успокоенных и взлелеянных женщин. Собственно, наша моногамия вырезывается из живого мяса; Пушкин любил не менее, чем Соломон; но он не помнил или только платонически помнил, без чувства обязанностей отца и му-

жа, всех, кроме одной. Это "отрезание остальных", "отчаливание ненужных" и оберегает нашу моногамию. Пушкин не только не был моногамом; уже раз он родился — его и нужно принять полигамистом, до такой степени очевидно, что весь характер его творчества, весь его личный характер со многими чертами безусловной прелести абсолютно вытекает из постоянной и постоянно не вечной любви, однако во всякой точке и минуте — любви горячей и чистосердечной.

* * *

Но... "возрасты любви"? Мы заговорили о них. Тут надо не осуждать и не рассуждать, а собирать факты. Я вспомнил Магомета и Руссо, которые оба мальчиками влюбились в пожилых женщин. Магомет поступил в услужение к "богатой вдове Хадидже и ездил в ее караванах по торговым делам". Хадиджа ему годилась в мамы. Можно представить, что это она влюбилась в прекрасного юношу, как жена Пентефрия — в Иосифа. Но история непрерываемо говорит, что он сам глубоко любил свою первую жену Хадиджу и имел ее первую прозелиткою своего, еще гонимого, учения. Тут — дружба, тут — родство душ. По всей сумме известных исторических данных они были глубоко привязаны друг к другу, физически и духовно, и эта привязанность не омрачилась никаким роковым разрывом. Ранние влюбления Руссо были направлены также на совершенно зрелых женщин, к которым ни малейшей доли неуважения он никогда потом не питал. Если бы мы подумали, что это происходило от его развращенности и невоспитанности, нас разубедил бы пример дочери Кочубея. Конечно, это была совершенно чистая и благовоспитанная девушка, в сущности еще подросток, которая, преодолевая невероятный стыд, бежала из родительского дома к своему крестному отцу и почти старику. Оговоримся. Почти общий закон развращенности — неспособность к сильной любви, непременно и роковой. Отличительная черта развращенного человека — что он безличен в сношениях своих с женщинами. Для него есть удовольствие, но нет привязанности. Нет избрания, нет исключительности. Еще об юных, первых привязанностях. В гимназии, где я учился, произошло самоубийство ученика шестого класса. Я знал его, начиная с третьего класса. Он был из очень бедной семьи, имел мать и сестру, чрезвычайно некрасивых, но сам был красив и необыкновенно жив, подвижен.

В день смерти, воскресенье, он провел вечер в одном очень образованном семействе, где всегда собиралось много близких и семейных людей, было шумно и весело и где он проводил вечер воскресенья уже много лет. Все было в высшей степени обыкновенно. Спокойно он пришел домой и лег спать. А часа через два, когда все заснули, застрелился. Мать была в отчаянии и в свою очередь чуть не убила 26—27-летнюю девушку, которую он любил, с которою любовь тянулась уже года три-четыре и, очевидно, что-то произошло. И ее я видел. Выше среднего роста, очень темная брюнетка, оживленная, образованная,

трудолюбивая и самостоятельная, она была перед ним королева. Скромная и милая, серьезная и образованная, она любила живого, болтливую и безусого мальчугана. Что в нем любила, почему его любила, почему он ее любил, и так сильно, что в роковую минуту не подумал ни о матери, ни о ком, — тайна. Но совершенно очевидно, что тут не было и тени развращенности, а то роковое, неперемное, фатальное, что, принося субъективно огромное счастье, часто потом разражается грозами.

Вообще следовало бы начать собирание фактов. Мы имеем выдуманные романы и драмы, а между тем интересны чрезвычайно факты. Собирают же мельчайшие подробности растительного и животного царства, даже нравы животных. Между тем любовь, идя из беспросветной глубины человека, кое-что могла бы дать к его глубокому познанию. Мне случилось наблюдать девушку лет 27—29, любившую без бурь, долгою и тихою любовью, кадета. Сейчас все засмеются и сейчас все осудят. Между тем эта девушка, как мне кажется, некрасивая, была душевно до того мила, что останавливала на себе всеобщее внимание. Очень здоровая, полная, она имела какой-то лучистый взгляд и вечно играющую сквозь задумчивость улыбку. Работает, работает, шьет или учит, серьезна, напряжена — и вдруг брызнет смехом. Всегда самоотверженна, привязана к родным, отцу, матери, сестрам и безусловно скромна, ни с кем и никакого кокетства. Кадет стал мелькать в ее разговорах; это — из давно знакомого, почти родного семейства. Отличительная черта истинно милой девушки — это куда бы она ни входила, она входила уже как родная; так и она чувствовала, так и ее чувствовали. "Торопимся шить, помогите!" И она помогает. "Дочь худо учится по-французски, помогите!" И опять помогает. "Нам надо ехать, а дом не на кого оставить". — "Я останусь". Все она и везде она, и все с тихим, рассыпчатым смешком, никогда с усталостью, никогда с раздражением. Но вот все успокоились, уселись за чай: "теперь рассказывайте о своем кадете". И она рассказывает о его бесконечной миловидности, шалостях, почти плачет об его ужасной лени к ученью. Они имеют свидания, но, кажется, далее этого дело не идет и ни к чему дальнейшему она не рвется. Впрочем, это область, никому определенно не известная.

* * *

Каждый знает, что сила любви определяется контрастом и отдаленностью один от другого любящих. Чем женоподобнее мужчина, миловиднее, сходнее с девушкой, тем он менее нравится женщинам; чтобы им нравиться, нужно быть несколько грубым, дерзким, чуть-чуть даже наглым: это и слагает черты мужественности как наибольшего удаления от женственности. Наоборот, грубая и мужиковатая женщина пластически невыносима для мужчины. Она должна быть нежна, кротка, застенчива, стыдлива, робка. И вот такая, т. е. наиболее далекая от мужчины, овладевает им страстно. Таким образом, сила любви определяется пропастью разделения, пространством отдаления. С точки зрения этого

общего и постоянного закона до некоторой степени и объясняются не факты эти, но то, что факты этой аномальной на первый взгляд любви отличаются особенной негой, глубиной и страстностью. Нормальные случаи — "ему 28 лет, ей — 21 год" — представляют более категорию "нравятся", "симпатизируют", чем рок и *fatum* в любви. Это моральное и жалкое чувство перед Матреною Кочубей и застрелившимся гимназистом. Пойдем далее: что стоит "объясниться в любви и сделать предложение" 28-летнему мужчине 21 года барышне; напились чаю, прошли в гостиную — и "предложил". Ни стыда, ни мук. А любовь мучительна, а любовь застенчива. Теперь представьте 14-летнего кадета и милую 25-летнюю девушку: какие муки стыда и бесконечность расстояния ей надо пройти, чтобы сказать ему: "Люблю". Таким образом, и здесь кажущийся аномальным случай повинуется общему закону течения любви: навстречу наибольшей застенчивости, стыду и муке. Ведь любовь есть душа и наиболее нервный факт; и вот нервного-то и душевного здесь происходит неизмеримо более, чем "при объяснении 28-летнего с 21-летней". Сейчас можно понять, что в последнем случае — комфорт, экономия, удобство, а не любовь. А 15 и 26 лет — любовь, и чистая и безнадежная!

Еще соображение. В случае кадета и немолодой девушки мне пришлось наблюдать ужасную озабоченность, чувство защиты и покровительства. Вот новое чувство. Жениха и невесту 28 и 21 года мы тогда назовем настоящими, когда жених готов драться на шпагах за малейшее слово о девушке. Он тогда любит, когда он покровитель и защитник, и, конечно, только покровитель и защитник есть настоящий муж. В случае чрезвычайной разницы лет главный колорит любви и состоит в чувстве защиты и покровительства, конечно, старшего младшим; а с младшей стороны — в чувстве благоговения, почтительности, немножко страха, ужасного уважения, сплетенного со страстью и вместе с доступностью предмета страсти. Вообще мне кажется, физиологическое воззрение на пол совершенно неверно. Пол есть уже не физиология, хотя он и спускается до физиологии. Да ведь и "физиология" имеет в себе темную, необъясненную сторону, противоположную атомно-механической; и вот пункт, где она переходит в таинства биологии, она и начинает переходить в пол или, точнее, она начинает быть под управлением пола как души. Конечно, не физиологически мы любим, а душевно; физиология не знает выбора, избрания, предпочтения; она вообще не знает лица. А любовь есть бесконечно личное чувство. Но вернемся к подробностям.

* * *

Кажется, никогда не наблюдалось случая, чтобы 28-летний мужчина влюбился в 40-летнюю женщину. Разница недостаточно велика, и чувство между этими возрастами есть чувство абсолютной холодности и равнодушия. "Физиология" здесь ничего не обещает, а трансцендентного чувства не появляется. Трансцендентное чувство, тайна, *fatum* может

появиться между 40 и 16 годами. Таков пример Кочубей и Мазепы и другие мною переданные случаи. Мне рассказал один профессор о своем дяде, наследство которого он приехал получать. Дядя был болен, при смерти, ему было 72 года, и я, так как дело шло о наследстве, спросил неопытного наследника:

— Что же, у него разве нет детей?

— Вообразите, он все время, всю долгую и адски деловую жизнь провел холостяком.

Нужно отметить, этот умиравший дядя был знаменитый государственный человек, вполне чистый и корректный, реформатор лучшей нашей эпохи. "За делами он забыл жениться и сделал это под старость. Нет детей".

Грустно, что я не спросил о возрасте невесты, но, конечно, ей было 17—16 лет. Случай Мазепы, но только в обратном порядке. Тут бесконечное влюбление. Ведь мы растем, близимся к могиле, почти влюблены в нее неведомою нам самим любовью; почему не представить или не объяснить, что и, наоборот, могила влюблена в колыбель, и случаи предгробного влюбления и суть именно показатели господства жизни над смертью, "разверзание зева смерти", откуда изводится живое. "Смерть, где твое жало?" — можем мы сказать, потрясенные подобными случаями.

Тянется колыбель к гробу; и вот обратно тянется гроб к колыбели. Все — в связи. Все — обнимается. С точки зрения дальности и расстояния как условия любви что может быть дальше, чем смерть и рождение? И в редчайших случаях, когда каким-то мистическим глазком звездочка смерти и звездочка рождения пронизуют телескопическую между собою даль и усмотрят друг друга, они страстно мечутся навстречу друг другу. Вот объяснение случаев Матрены Кочубей и других подобных.

Ничего нельзя представить глубже всепоглощающей нежности, какую оказывает старый юному. Согбенный заслугами — он становится рабом. Суета почестей, знаков отличия, богатства; все это мирское "вервие" — опадает и он углубленным взором смотрит назад и вперед:

...Вновь я посетил
Тот уголок земли...

Да, это чувство — возвращения на родину, очищения жизненного нагара, в своем роде сбегание "варварского рисунка" с божественной первоначальной картины. Ведь не смотрится же старик в зеркало и не видит, как он смешон; он — весь поглощен, весь в хлопотах; он любит, он обожает; он прежде всего служит действительно прекрасному. Ведь он и не защищает, что "сам хорош"; напротив, он дает ясное доказательство, насколько дурным и ничтожным считает себя, свои 70 лет, свою могилу, свою смерть перед расцветающей жизнью: "Здравствуй, племя младое, незнакомое!"

Вот чувство. И никакой физиологии. Физиология осторожна, обдумчива, смешного боится. А этот забыл весь мир — и, очевидно, в забвении-то всего мира, в освобождении от мира и заключается сущность его

обожания, которое посторонним кажется обожением. — "Вот чудак! С ума сходит! Ему — в могилу, а он — влюбился". Но ведь не означает ли это только вечной победы "завтра" над "вчера", будущего над прошлым; т. е. такого основания вещей, без которого и миру бы не стоять. "Я — дурень; но то, что я доказываю, прекрасно!"

* * *

Все это не было разобрано, и около подобных феноменов всегда только неслись коротенькие смешки. Мы собрали эти наблюдения и высказали эти мысли по поводу двух коронованных свадеб последнего времени. Все основания есть верить глубокой и чрезвычайной, притом обоюдной привязанности сербской королевской четы.

Все, что здесь может угрожать, — это продолжительность счастья, а не его присутствие сейчас. Но ведь и самый верный расчет на "28 и 21 год" или "24 и 17" тоже бывает часто опрометчив в смысле прочности и долговечности, как опять же и самый молодой брак не непременно бывает плодovit. Король прекрасно и истинно ответил всем, кто ему возражал. Сам по себе его поступок благороден уже потому, что великодушен и чист. Все его могут приветствовать, как все приветствовали в Австрии наследника престола. Всем нравится брак по любви. Все невыразимое загрязнение европейской семьи и летит в брак без любви и в установлении на него взгляда как на церемонию, окружающую "новое социальное состояние" и возможный "приплод". Всем и давно хочется бросить и вернуться к библейско-евангельскому определению брака — как "влечения", непременно "влечения" жены к мужу и обратно, адамовского восклицания: "вот она взята от костей моих, посему наречется мне в жену!" Любовь — всегда предустановлена. Всегда это именно встреча двух, из которых один уже давно взят "от ребра другого". Встречаясь в любви, мы опять встречаемся, ибо и древле когда-то знали друг друга. Тут что-то ветхое происходит, мирозданное. И обыкновенно напрасны и детски-наивны бывают пересуды окружающих, которые прежде всего не "ознакомлены с источниками", как говорят ученые.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ НЕПРОЧИТАННОЙ КНИГИ

I

В иудейском законе левирата ("брат должен восстановить семя в жене умершего бездетным братом"), бесспорно, содержится кровосмесительство. Но кровосмесительство тонкою чертою содержится в самой сути брака. Вчера невеста ничего не чувствовала к братьям, дядям, отцу, племянникам жениха. Сегодня она сама смесилась только с женихом,

стала его женою. Но любопытно, что на другой день, здороваясь со всеми, она иначе с ними говорит, к ним обращается и, главное, иначе всех их чувствует. В муже и через мужа она всех их почувствовала. И это новое чувство, какое-то тончайшее кровосмешительство, и составляет "узы родства", "узы крови". Она "своя" им всем, они все "свои" ей. Т. е. без аномалий (an und für sich*) кровосмешительства — браки были бы какие-то обрубленные; было бы только "спаривание двух", "парность" родства. Но не было бы "родовитости".

II

Помешались на "девственности" и "беспорочности". Да этого как идеала разумом и построить нельзя. Это постулаты не ума, а пола; алкания отвергаемого вами (аскеты) пола. Хотите ли вы частных доказательств? Возьмите Свидригайлова: он только и хочет девственности, отвращается от женщин. Хотите ли вы универсальных доказательств? Возьмите всемирную первую любовь: "прилепление" расплылось и не помышляется, яростно отвергается. И между тем "первая любовь" ведь не из книжки же вычитана, эта есть утро пола, имеющее дойти до его полдня и вечера. Таким образом, вы сами девственники и с законом девственности от пола: как же вы его оспариваете? Да не только как рожденные от жен, но и в построении идеалов вы есте о поле и в нем существуете.

III

Незаконнорожденность. Хотите проглотить ребенка; ну, эта пища вам не по зубам. Замечали ли вы, что собака не кусает ребенка. Но я знаю одну такую собаку, которая из всего преимущественно любит ухватить ребенка за икры. Индейский петух, в Белом: он вдруг поднял крылья и закричал, затряс носом; шел мимо мальчик, трех-двух лет: до чего испугался; и как к нему (с какой любовью) бросился мужик на помощь, очевидно, не против петуха, а против своего и ложного испуга. Детей все жалеют, кроме аскетов. Тем о ребенке внимательно и подумать страшно: *полюс другой святости*, не то что "косточка" "от пальчика" в "благоухании нетления".

IV

По-видимому, аномалия кровосмешения имеет тенденцию к кротости. В поле, бесспорно, содержится элемент грубости, дерзости. Волк встретил волчиху в лесу — вот зверское в нем и бывающее. Этот элемент

* сам по себе (нем.).

привходит вообще при "познании" постороннего чужака. "Похитил", "схватил" где-нибудь в поле". Случай и грубость. "Вчера не знал", "завтра не буду знать". Кровосмешение — обратный полюс. "Всегда знал". Самый характер сближения, вероятно, чрезвычайно медлительный, не имеет ничего общего с полем и лесом. Вообще, тут начинается агнец пола, "елей" сближения. Иначе и объяснить нельзя. Здесь в физиологии исчезает именно физиология: не осязание же и не нужда руководит. Замечательно, что в начале Израиля мы встречаемся с этой аномалией (Авраам и Сарра, Исаак и Реввекка, но и еще ближайшие отношения).

Виктория (королева Англии) избрала себе в мужа двоюродного брата Альберта. Брак был счастлив и плодовит; в царственных семьях Европы — примерно нежен и поэтичен. Не имеем основания принимать это за притворство: где допущены (и очень часты) эти слегка кровосмесительные браки, вообще имеют семью твердую и нежную. Семья зарождается не "в лесах" (балы), а дома. Тоже у евреев, при тонком кровосмешении левирата.

V

Если в знаках пола есть что-нибудь религиозное, то оно почувствуется по кругу в 360°, а не в 180° (другой противоположенный пол). Здесь просвет в еще аномалию, окружающую "обрезанье" и так волновавшую Платона. Не здесь ли разгадка мистических "144 000 старцев"? (Ап.). Почему не сказано "мужей", "юношей", "отроков"? Но старцы усиленно попадают, перед загробным миром, в эту аномалию. Ведь ничего мы в ней не понимаем, кроме страшного исторического упорства (стойкости). Аномалия эта бывает и врожденная, у чистых отроков (см. Тарновский). Институтки, "влюбляющиеся в подруг", есть краткий день, почти минута, по этой же таинственной аномалии. Зачем бы подруги, когда есть учителя? Но пробегают (тенью) подруги, и уже потом — учителя. Ужасно много странного во всем этом.

VI

Мысль моя (в ряде статей о браке) — пряма и ясна, что семья в мнимой "натуральности" своей есть никак не менее древнее и священное явление, чем... *Ecclesia Romana, Pontifex Maximus, Servus servorum Dei**. И если прямо и решительно всякую натуральную семью (как бы, где бы и когда бы она ни сложилась) *Ecclesia Romana* не включает в себя, то из них (существа натуральных семей) может развиться своя церковь или они могут сложиться сами в церковь, у стоп Господа.

* Римская церковь, верховный жрец, слуга слуг Божьих (папа римский) (*лат.*).

VII

Чайка над морем. Точно глотает брызги волн. Птичка Божия. Свила гнездышко — вот и спела акафист Господу; принесла корма детенышам — вот и еще акафист. Ведь не все же на латинском языке петть акафисты. Этим и инородцы обижаются, а чайка — прямо не хочет. Сестра мне и по упрямству. Я тоже не хочу "акафиста", как все, а как "сам".

VIII

Морская болезнь не входит в соображения капитана, хотя он и сожалеет страдающих ею. Конечно — жалеет. Не то же ли и страданье в мире? Говорят, да и я прямо вижу перед глазами, что морская болезнь очень мучительна. И мир — мучится, но в муках — здоровье. Вечный мир. Люблю его, хвала ему.

Что же "фарисеи" разгадали в страдании мира? Ничего. А в обрезании? — Тоже ничего. И в субботах? — Тоже ничего. Так, они не угадали и, может быть, даже ни над чем не размышляли, а только поучали? Ну, идите себе дальше. "Иди себе дальше, о странник, тебя я не знаю".

IX

Кто научит истинному духу и истинному способу "прилепления", тот и научит мир браку; а все остальное в нем — золоченые щепки.

X

В святых "субботах" и разрешена проблема брака. "Суббота" есть то же, что обрезание, но разлившееся на дни. "Обрезание", легшее на океан, и океан смирился. До вчера я не знал, как евреи проводят ее. Сидели у нас (в Ассерне около Риги) две гостьи, наши русские староверки, мать лет 43, дочь — 17, только что кончившая гимназию. И рассказывает последняя: "У нас еврейки-ученицы в субботу не носят книг и не пишут, книги несет (в гимназию) за девочкой человек", нельзя ничего делать — альдга суббота. "Да хоть бы посмотреть, как они проводят субботу" (это я ей говорю). "Я видела в Дуббельне: как начнет смеркаться, ставят на стол столько зажженных свеч, сколько есть в дому мужчин, считая всех, даже грудных детей (мальчиков). Потом стоит хлеб". (NB: Элевзинские таинства.) "Ну? читают что-нибудь? Говорят?" (Это я спрашиваю). "Раньше (до зажженных свечей?) читают Библию". — "Ну?" — "И больше ничего. Потом гасят свечи и ложатся спать" (отвечала девочка-

староверка). Ведь эти свечки перед Богом. В доме же Бог, и именно теперь и особенно — Бог, ибо "день седьмой — Господу". Но почему свеч, сколько мальчиков? Я думаю, свечи возжигаются собственно перед идеей обрезания и свечей столько, сколько обрезанных. Т. е. "обрезанный" — и вот перед ним свечка. Горят огоньки Богу, и в то же время (у присутствующих) уже зажигаются вечные огоньки. Мир гаснет (вечер) — они вспыхивают. Свечи гаснут, но как ярки тогда звезды в небе. Звездопоклонничество, огнепоклонничество — тут все, в субботу, есть. Девушке-рассказчице было только 17 лет, и она ни о чем не догадывалась. Да ведь и гебраисты ни о чем не догадываются, и никогда не спросили хотя бы выкреста какого: "Ну, а потом?" Но как глубоко подошли к этому некоторые наши сектанты. Однако у Израиля это глубже и прекраснее, потому что определеннее. Отсюда объясняется характер субботы: трансцендентный день и в него не должно быть вносимо ничего "несубботного". Тут вовсе дело не в работе, не в усталости, но в разграничении, но в разделении. "Всякое ныне житейское отложим..." В субботу каждый израильтянин приобщается всему Израилю, входит в Иаковлев дом, в лоно "отцов своих", и собственно он касается даже кивота завета. Две скрижали в нем, и важен ящик, где они положены, и драгоценная покрывающая его крышка — "с двумя херувимами". А кстати: древо жизни стерегут только "два херувима" (не один и не три и не сонмы) "с мечом обращающимся". В субботу — меч опускается, и Израиль видит "Древо Жизни". Но я добавляю о кивоте: вот над ним и скиния в субботу — это сам дом, в котором она празднуется. А мы, усталые бурлаки, думали, что и их "суббота" есть только наш же "праздничный отдых", и вечно дивимся, что же евреи строже наблюдают субботу, чем "даже мы, совершенные" словесники. Еще бы! Ноумен — там, у нас — феномен.

XI

Телеграфная проволока *устает* — и в среду, в пятницу работает хуже (меньше проводит телеграмм), чем в понедельник. А человек не устал за 5000 лет работы. Но почему? Да потому, что "возрождался". Человек-феникс. Какое прекрасное предание: мир сгорает, как 500-летняя птица-феникс; но из пепла, из праха отца вылетает новый феникс. "Я и отец одно", — каркает в веках.

XII

Что же может быть угодно Богу в "прилеплении"? Наслаждение наше? — Никак. Умножение мира, размножение мира? Едва ли: что богатому в богатствах! Ну, так что же? "Чада мои! Дети мои!" Разве мать, отдавая в замужество дочь, сейчас думает о генеалогическом дереве? Да и не в ее

имя пойдут дети: но радость есть, и истинная радость. "Егда я радовалась, нося тебя во чреве, такожде и ты порадуйся, нося в чреве своем". Преемственность радости, связанность радости. М—ы (в Нижнем), дочь и мать: "Все есть (говорила мать): и сервизы и серебро. И деньги есть; но только..." Девушка осталась в старых девах.

XIII

Замечательно, что наши 2000 лет пугаются не перед диким пола, а перед кротким пола. Прислуга в Петербурге вся растлеваются в первой юности, и очень нередко насильственно. Но вот в "третьей линии родства нельзя венчаться". Бык с прямыми рогами вас не пугает; но вы дрожите, ноги подкашиваются при виде барашка с загнутыми рожками.

XIV

Вздумали шельмовать младенцев (незаконнорожденные); полюбуйтесь на шельмование себя. — "Имейте долготерпение"... полюбуюсь я на ваше долготерпение. "Не законствуйте в рождении", ну, мы осмотрим подписи и печати под вашими печатями.

XV

То, что кажется нам аномалиями пола (странностями, необыкновенностями, в высокой степени ненужными ни для чего), суть нервы во всемирном организме брака. Оттого они так бурны (как и в организме — игра невидимых почти, нежнейших белых волоконце), так принудительны для тех редчайших людей, по которым проходят.

XVI

Я — бездарен; да тема-то моя талантливая.

XVII

Хорошо, что я, т. е. бесконечно любящий даже status quo и преданнейший воле Божией, стал разрабатывать эту тему. Потому что было совершенно плохо, если бы стал ее разрабатывать человек злой *принципально* — вообще враждебный. Я только поправлю учение о детях и о женщинах; а там хоть и уснуть.

XVIII

В "Воскресении" Толстого, в некоторых главах, хорошо показаны самоустраивающиеся мошенники (в Петербурге). Я ими тоже любовался. Щедрин о них писал. Значит, все "слова, слова, слова" Достоевского были именно только слова в целях успокоения. "Был бы штиль на море". Нет, будет буря.

XIX

Может быть, один упрек мне: что я разболтал Божию тайну, которая должна бы быть сокровенною, "во мгле". Обнажил корешок древа жизни, который действует, но невидим. Но за это уже пусть попеняют на гг. аскетов, которые вздумали отрицать Божию тайну.

Да и потом я лишь указал, а не разъяснил: ибо пол так и останется неисповедим. Мы видим молнию, но не понимаем электричества.

XX

Демоническая или божественная наша цивилизация? Никто не обратил внимания на тайное указание в моей статье: "Кроткий демонизм".

XXI

Мы представляем себе демона злым и грубым. Но ведь это жалкое представление разных отшельников: он "первый после Бога", "восставший против Бога", т. е. ангелоподобный и даже богоподобный. Но *не* Бог. Его доброта чрезвычайна сравнительно с человеческой, его красота — удивительна.

XXII

"О вкусах не спорят". Почему же о догмах спорят? Потому что это характерно *не вкусовые догматы*. Постройте догматы по категории вкуса — и споры прекратятся или их не будет в таком множестве и такой раздробленности. Кельнский и св. Петра соборы, как ни различны, — всем нравятся, о них не спорят. А о "filioque" и "опресноках" 1000 лет спорят.

XXIII

Вильгельм и его бравады в отношении Китая, "бронированный кулак" и крест. Путешествие в Палестину, и затем — открытие "фонтана Сулеймана" (кажется)... Погасает свечка, — погасает и уже только коптит.

XXIV

Сложилась "формочка". Проходили века. — "Вы что делали?" — "Мы стояли в формочке". Началась наука: "А мы в формочке". Началась промышленность, выросли вопросы. "Мы в формочке и формочке", — с счастливой улыбкой отвечали вы. Вы были уверены, что на вас все любуются "в формочке". Между тем дело было совершенно иначе. Мир жил, работал и перестал, просто *забыл* на вас смотреть... А вы кричите: "Тут сектанты!"

XXV

К истории Авраама. Бог "обрезал" заветного себе человека и в его заветном месте. Женясь или вообще сближаясь, муж и жена или вообще мужчина и женщина "заветно" соединяются в самом сокровенном, интимном, заветном своего "я". Почему всякое "двух в плоть едину" слияние есть двух человек раскрытие в скрижали завета, с таинственно написанными на них заповедями?..

Когда "скрижали положены одна на другую" — образуется закрытый кивот завета, — с двумя над ними (не одним и тремя) херувимами. Еще: заповеди, написанные на досках, были на них написаны "и с наружной, и с внутренней стороны", "кругом". Это аналогично тому, что 4 мистических животных перед престолом Божиим (лев, бык, человек, орел) Апокалипсиса и Иезекииля "имели очи спереди и сзади, снаружи и внутри". Таким образом, скрижали суть то же, что херувимы, а херувимы — то же, что скрижали. Заповеди — животные речения, а животное — заповедь в веществе.

XXVI

Важное значение Евангелия — эстетическое. Такой бессмертной красоты, как речения Иисуса и самые обороты Его движений, — никогда не появлялось. Все греки и римляне, со своими Фидиями и Цицеронами, повалились в яму, как только появилась эта Небесная Красота.

Законодатель и точка приложения завета у Израиля: их аналогия; оба — *неназываемы* (в Пятикнижии лишь согласными, с пропуском гласных, помечалось имя Божие, но еврей, встречая его глазами, всегда произносил обыкновенное "Адонай" вместо сокровенного и страшного имени). Оба — не видимы, скрыты, "во мгле" ("в темном месте"). Оба — "творцы". "Оба — благи, ибо зла, дурного по природе не сотворяют: хотя оба гневны. Аналогия продолжается и далее: оба любят невинное, непорочное. Оба ищут непорочное *обратить к себе!* В отношении между собою точек "обрезания" — непременно активность и пассивность, т. е. отношение как бы обожающего к обожаемому. Поклонник и поклонение — вот любовь! жажда самопожертвования "для ради"...

На пароходе "Имп. Николай II", в Рижском заливе.

МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОПРАВКА

Есть вопросы вечные и в то же время это сейчас вопросы. Такова научная и даже отчасти практическая задача выделения особенностей семитических племен, особенно сравнительно с арийскими. Малый остаток этих племен в лице евреев и арабов еще и теперь взаимодействует с нами. Но главный интерес семитизма — в древности. "Они дали идею единого Бога, в противоположность арийскому политеизму" — так формулируют ученые. С точки зрения исторической, вопрос семитизма — неисчерпаем. В европейских библиотеках вереницы зал наполнены многодумными трудами, так или иначе примыкающими к этому вопросу или вытекающими из него. Библейская археология, понимание св. Писания, очень понятная надежда слить с христианством евреев, дабы наконец исполнились же слова Апостола: "...весь Израиль спасется" (Рим. 11, 26), — все это наталкивается на вопрос: "Да что же такое Израиль и, в особенности, что он такое в отношении к арийцу?"

Один из образованнейших наших писателей, г. Д. Мережковский недавно посвятил этой теме красноречивые страницы ("Мир Искусства", № 17—18). Он определяет семитический дух, как противоположение природе и отрицание природы. Пустыня, знойная и однообразная, безводная и сухая, — вот его прообраз и возможный родитель. В то время как ариец любит природу и сам есть воплощенная природа, семит смотрит на природу с высокомерием и гадливостью. "Евреи увидели в ней лишь бездушное тело, мясо, годное для кровавых жертвоприношений Богу". Дух семита — отвлеченен, абстрактен, алгебраичен. Все вещественное им чувствуется как что-то недостаточное, даже как отрицательное, как грех. "Даже на собственное тело они смотрели, как на неискупимо грешное, зверское, скотское". Этот семитический дух,

продолжает автор, лежит и на Евангелии. Новые народы, кельты, германцы, славяне, приняв его, создали тысячелетие аскетического отвращения к плоти. Renaissance пытался реабилитировать плоть. Но и до сих пор, несмотря на всякие renaissance'ы, мы, в сущности, живем в подчинении этой знойно-отрицательной семитической струйке. Мы также поклоняемся чистому спиритуализму. Плоть и для нас если не грех, то предмет стыда и презрения. И мы сохраняем "взгляд на животную природу если не как на что-то дьявольское, то все же унижительное, скотское", и столь чуждый арийцу и свойственный семиту "страх перед непокрытым телом, перед наготою, как чем-то постыдным, прелюбодейным и оскверняющим", он жив до наших дней в двенадцати языках Европы, как в каждом из двенадцати колен израилевых.

Так думает автор. Так все думают. Израиль — пустыня, арийский мир — ветвистый баобаб, с плодами, цветами, поющими в ветвях птицами. Однообразие и многообразие, монотеизм и политеизм — вот противоположение, в которое заключаются все наблюдения, все размышления. Но так ли это? Лет десять назад, в статье "Место христианства в истории", приблизительно подобным же образом я характеризовал всемирно-историческую роль двух замечательнейших племен и в подтверждение сослался на то, что на всем протяжении Библии нет ни одного описания природы. Но... не ошибались ли все, историки, богословы, психологи, филологи, ища в Библии и не находя собственно специального арийского чувства природы?

Нет ландшафта. Да, это правда. Леса не шумят, хотя на Ливане есть леса. Без сомнения, израильтяне видали в пустыне смерч, но и смерча нигде не описано. Шума моря, цвета морской воды — не описано же. Но все ли здесь кончено?

Смежив очи, может быть имея на глазах катаракту, я кладу ладонь на чье-то тело, на ваше тело. Я чувствую его теплоту. Ничего не вижу, но сердце бьется под ладонью, и мне передается его пульс. Легкое дрожание мускулов — передается же. И все неосязаемые, неисследимые, неисповедимые токи, коих, родника и природы не зная, мы называем их магнитными, электрическими, солнечными, лунными токами, вся эта тайна тела течет из вашего в мое тело. Я отрываю руку, отхожу в сторону, открываю очи: совсем другое зрелище! Теплота исчезла — открылось многообразие форм. Я хватаю кисть и обрисовываю милое видение; беру резец — и изваяю его. Подражаю виденному в драме, создаю театр; и вообще творю искусство и начинаю длинную "историю искусств". Вот два отношения, семитическое и арийское, к миру. Как это доказать? В чем оно выразилось?

* * *

В жертвах. В жертвоприношениях. Прошло шесть недель у роженицы, и, беря двух горлинок, она приходит в храм, к таинственному Богу своему, к этому неразгаданному Иегове: "Умрите вы за меня". Как умереть

животному за человека?! Да только и возможно при мысли, что это — друг его, другое "я", почти человек же, как в свою очередь и человек — почти животное же. Но и еще углубимся. "Грешна я; как гноеточивый, я нечиста была шесть недель: прими грех мой!" — "Прими грех мой" — разве это легко сказать! Разве вы скажете столу, деревяшке: "Возьми вину мою!" Нет, с "виной" своей вы не придете и к чужаку, к нелюдиму, к постороннему человеку: вы пойдете к другу, да так иногда и бывает: "Ваня — спаси! погиб я, но — погибни ты". Это ужасно больно, но это бывает: "верный пес бросился на разбойника — и принял удар его, вместо хозяина", — тоже мы читаем в рассказах, тоже иногда бывает. О каком ландшафте может идти речь, о каком искусстве — как о ближайшем и теснейшем отношении к природе?!

Общность в грехе! Природа может принимать грех за меня! Да это — такой возвышенный взгляд на природу, такое возвышение природы, идеализация ее, вознесение ее к Богу, какого чего же больше искать? Г. Мережковский серьезно думает, что животные из ненависти и презрения к ним, к их огромным мясным тушам — отдавались Богу: "растопчи эту мерзость", "эту не духовную мерзость". Ничего подобного. Животные у евреев заменяли детей; и ведь тут действительно есть родство: дитя — тоже животное, святое животное: "Все, разверзающее ложесна — Мне; как и весь скот твой мужеского пола, разверзающий ложесна, из волов и овец. Первородное из ослов заменяй агнцем, а если не заменишь — то выкупи его; и всех первенцов из сынов твоих — выкупай" (Исход, гл. 34, 19—20). Да: можно заметить устремление Библии, тайную мысль, невысказанное пожелание: что, собственно, вся живая плоть "угодна Богу", должна бы быть "бе к Богу", "воскуриться" к нему, как жертва Авеля! О, не по злобе, а по любви: кто же ненавидит ладан, который он жжет! Или разве Богу ненавистен ладан, который перед Ним жжется?! Итак, мир или по крайней мере живая тварь должна бы вся быть сожжена Богу: но для условий земной жизни, для сохранения пределов уже сотворенного мира — она вся почти оставляется на земле, и только идут к небу ее частицы. Но как только ревность к Богу вспыхивала — курений больше, сожжений больше! Переносится ковчег — и кровь обильнее льется; он переносится во вновь отстроенный Соломоном храм — и до тысячи быков принесено в жертву, и поразительна картина: кровью уливался весь путь несения ковчега, так что он все время, минуты и часы, двигался в "благоухании кровей" (частое изречение Библии): для взора — невыносимое зрелище! Но Израиль не видел, он слепец: он только держит ладонь на трепещущем в кровоизлияниях теле: "вот — мир", "вот — суть".

Да, как росный ладан — мы держим свято и продаем его в церквах, мы сочли бы нечестивым бросить его на пол и неосторожно на него ступить ногою, так горлянки, и тельцы, и овцы были внесены в самый Соломонов храм. Животное — предмет закона, его заботливости, любви; да наконец, во множестве случаев оно поставлено в линию с челове-

ком, как в Эдеме — стояло близко к нему, не отделялось от него: "Первенец из людей должен быть выкуплен, и первородное из скота нечистого должно быть выкуплено. Но за первородное из волов, и за первородное из овец, и за первородное из коз выкупа не бери: они — святыня. Кровью их окропляй жертвенник и тук их сожигай в жертву, в приятное благоухание Господу" (Числа, гл. 18). Из самого перечисления видно, что человек — барахтается среди животных, одно с ними, идет в счет, то мешаясь, то разделяясь, как при счете на костяшках мы кладем черненькие и беленькие, рубли и копейки — в одну сумму. Где же тут спиритуализм, отвлеченность, и наше, но именно только наше, а не семитическое, высокомерие к природе?! След этого есть у евреев поныне: нельзя у них убить животное, умертвить, а только — принести в жертву, и от жертвенного — вкусить. Таково и есть знаменитое их "кошерное мясо", т. е. от животного, убитого не как-нибудь, а ритуально, особенным религиозно для этого приготавливаемым человеком.

В день очищения, тот самый в году день, когда первосвященник входил в Святое Святых, совершалось и так называемое отпущение козла в пустыню, с грехами израильскими, которые он на себе нес. Поразительны подробности церемонии: в белых одеждах, очищенный погружением в воду, первосвященник подходит к животному, возлагает на него руки и читает исповедание: "О, — беззаконствовал, преступал и грешил (в течение года) народ Твой, дом израилев. О, — прости им беззакония, преступления и грехи их". Это происходило не в городе, не за городом, но в самом храме. Да, животное, о котором мы никак не можем сказать, чтобы оно не участвовало в церемонии, стояло перед Святое Святых и ковчегом. Народ при чтении исповедания падал ниц. Затем козел передавался священнику. Его вели по особо устроенным мосткам, в сопровождении знатнейших иерусалимлян. На пути его было устроено десять шалашей, из которых у каждого останавливались, говоря ему: "Вот пища и вот вода" (заранее заготовленные). У девятого шалаша все останавливались, и шел дальше только один провожатый, который следил за ним. Во время пути сопровождавшие говорили: "возьми наши грехи и уходи, возьми и выходи". И козел, животное, — несет на себе грех народа!!

Но зато же животные и празднуют с Израилем. Наступает суббота, этот таинственный их праздник ни малейше не похожий на наши отрицательные, только не работные, лежащие дни. Он начинается у них в пятницу с заката солнца и длится до заката же солнца субботы. По верованию евреев, "Царица Шабас", "Царица Субботы", какая-то небесная гостья, сходит в этот вечер в каждую еврейскую хижину, невидимо среди их присутствует, и все, что они делают за сутки, они делают "в честь" этой "Субботы": "Лековед Шабес", "в честь Субботы". В синагогу они только заходят, но празднуется суббота дома. Да, в строгом и определенном порядке, ритуально, отец семьи, его жена, дети — собственно совершают некоторое служение, священство на дому; и на этот

день они преображаются в священников, а дом — в священное место. От того, как ничего мирского мы не вносим в храм, и у них перед субботой все в доме уничтожается несубботнее. А когда суббота кончается — все субботнее уничтожается и не выносится в понедельник. Проходит как бы магическая черта, магический круг, которым Израиль очерчивает себя во время субботы, и за него никто не смеет переступить, равно как и в этот круг ничего извне не может переступить. Отсюда — разные подробности. Но вот поразительнейшая из них: участие в субботе принимают и животные. Читаем во Второзаконии: "День седьмой суббота — Господу Богу твоему. Не делай в оный никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя" (глава 5). Суббота — всем! И как это "праздник Господу", то все исчисленные сослужат Господу! Это ли не общность с миром, одно с ним дыхание!

* * *

Они не рисовали пейзажей!.. Но у них был и есть праздник кущей. Что такое "куща"? Роща! Да, целый лес деревьев, ветвей, зелени они натаскивают на себя, дышат ими, их смолою и зеленью. Раздвиньте наше понятие и простой, нисколько не религиозный и не "законный" обычай украшать комнаты в день Троицы свежесрубленными березками, и вы получите Моисеево установление. Но в каком виде: весь народ бросает город, переселяется в поле, устраивает себе "кущи" и проводит в них не день, а живет в них целую неделю. Представим семь дней Пасхи, проводимые в шалашах: какое чувство! Сколько нужно картинных зал с ландшафтами, чтобы заменить двадцать четыре часа такого дыхания среди шалашей и всего народа, от грудных детей до глубоких стариков, без исключения единой души, "религиозно", "законно". Замечательно время празднования: оно наступало сейчас же после жатвы. Книга "Левит" говорит: "В первый день праздника возьмите себе плод дерева гадар и ветвь пальмовую, и ветвь дерева авот, и верб речных и веселитесь перед Господом Богом вашим семь дней" (Лев., гл. 23). Мы об этом читаем, бежим глазами по строкам: но ведь они так жили, вот в чем разница! Сближались ли они при этом с природой? Входила ли природа в религиозное с ними общение? Станный вопрос: зачем мне куща, если я ее не обоняю! Зачем она — в религиозный закон, если религия — вне природы?

Опишем еще закон о "первинках". Первинка — первый плод, первая ягодка. Летом и потом в начале осени израильтянин выходил в сад свой и в поле. Он подходит к деревьям, должен подойти: это — не прогулка хозяина, это закон и вера исповедника. В чем же она? Вот он наклоняет ветвь фигового дерева: нет, еще не поспело — и опустил ветвь. Вино-

град? — И он — мал, жесток, не годится. Но вот гранатовое яблоко, налилось, красное: торопливо еврей обвязывает под ним веточку мочалкою и произносит: "Вот это — первинка, которую ты, Господи, дал мне". И он должен выждать, высмотреть от всякого фрукта первую ягодку, первую вишенку — это не ему, а Богу. И так весь народ. Какое чувство обоняния и зрения! Но вот первые плоды собраны и их нужно везти в Иерусалим. Из всех селений колена приходят в главный город, приходят, например, в наш святой Вифлеем. Здесь ночуют все на городской площади — это под южными звездами. В дом куда-нибудь запрещено входить: спешим к Господу, какие же заходы! Поутру им говорит распорядитель: "Вставайте и взойдем на Сион к Господу Богу нашему" (слова — Иеремии, 31). И вот приближаются к Иерусалиму. Впереди процессии идет вол с вызолоченными рогами и маслячным венком на голове; флейта играет перед идущими; идут две трети дня, а не полный день (т. е. из каждых суток). И вот — засияли высоты Давидова града; вперед посылают послов с известием, а сами охорашивают "первинки"; у какого хозяина они из сушеных фигов, тот облагает их свежими, у кого — изюм, тот кладет хоть кисть винограда поверх его. Между тем из Иерусалима выходит им встреча: все уже собранные там областеначальники и начальники и казначеи — приветствуют дары Божии; и на улицах Иерусалима, при проходе процессии, все работающие, оставив дело, — должны встать и приветствовать: "Братья наши из такого-то места, приход ваш в мире!" Флейта гремит перед ними все время, пока они не приблизятся к Храмовой горе. Лишь только достигли ее, то всякий — "будь то сам Агриппа" — говорит литературный памятник, которым мы пользуемся, — берет свою корзинку на плечи и идет до двора храма. Когда достигают двора, хор левитов запевал псалом: "Превозношу Тебя, Господи, что Ты поднял меня"... (Пс. XXX). — Имея корзинку на плечах, каждый произносил: "Сегодня исповедую перед Господом Богом моим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам". При этих словах он снимал корзину с плеча, брал ее за край, а священник подкладывал под нее руку и потрясал ее. В то же время приносивший произносил далее слова молитвы (из "Второзакония"): "Отец мой был странствующий арамеянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми... и вывел нас Господь из Египта рукою сильною и мышцею простертою, ужасом и знамением и чудесами, и привел нас на место сие, и дал нам землю сию, в которой течет молоко и мед; итак: вот, я принес начатки плодов от земли, которую Ты, Господи, дал мне". Затем, поставив около жертвенника корзинку, выходил. Корзинки были у богатых — золотые и серебряные, у бедных — из ивовых оголенных от коры прутьев. Вместе с плодами корзинки оставлялись храму... Вот — ежегодная картина; ее видели пророки, видел Иисус; весь обряд и молитвы непосредственно идут от Синая. Неужели это не природа?

”Но у них не было изображений в храме: полная отвлеченность!” Разве же не в Скинии пророс, дал листья и плоды, жезл Ааронов! Вот силы Скинии, куда они прилагаются: разве невозможно было другое чудо? Например, чтобы жезл обратился в змею и обратно, как было в Египте? или чтобы в жезле чудодейственно на глазах всех заблестал не бывший там сапфир? Нет, чудо не без смысла: как Сарра в невозможные 90 лет проросла ”первенцем”, ”первинкою”, так вдруг дал из себя ”первинку” еще более иссохший первосвященнический жезл. Читая, много раз перечитывая о ритуальной чистоте, соблюдавшейся при служении в храме, я уже, как отец семейства, был наконец невольно поражен следующим сближением: известна изысканная, особенная, до мнительности доходящая чистота, какую должны соблюдать все, приближаясь к женщине, готовящейся родить. Нигде и ни в чем такой мнительной осторожности не требуется, и среди требований есть одно: ни в каком случае не иметь на себе шерстяной одежды, а льняную (или хлопчатобумажную). В день, когда первосвященник входил во Святое Святых и в этот же день должен был несколько раз войти во святое, он 8 раз, именно перед каждым новым входом, погружался в воду, стоявшую в самом храме (”Каменное море”), и хотя надевал самые роскошные одежды, отделанные золотом, но непременно льняные, без одного волоска шерсти — это был закон к неременному исполнению. Если сопоставить с проросшим жезлом Аарона, то, быть может, мы приближаемся здесь к разгадке никогда не разгаданной мысли скинии и ветхозаветного храма. Главное в них — пустота. Да, пустота и пустота, но их несколько, они разделяются стенками, занавесами, образуют клеть, клеточку, живую клеточку, в которой живет Бог! Храм ветхий есть жилище Бога, он есть — одежда Бога! Но Бог — жив, Живый, и его одежда, т. е. самый храм, — живой и движущийся, разделяющийся на главные и второстепенные части, как делится на главное, ”головное”, и на второстепенное, все органическое. Но не покровы и стенки, а пустота внутренняя есть главное в клеточке: ее части таинственно ткуются, рождаются из этой пустоты, как слово ткется из мысли и тело ткется из души. ”Душа” клеточки — в пустом ее; а где душа — там и свет Божий, и если в самом деле мы угадываем тайную мысль, не найденный ”икс” построения первого храма, то в Святом Святых обитал Бог-Зиждитель, ”Отец всяческих” — и именно над крышкою ковчега Завета. А скрижали Завета, две, символ двойственной четы человеческой, имели на себе заповеди — сердечный внутренний закон человека. И вот весь план: человек и его закон, над ним — Бог, дальше — священники, священнослужение, еще дальше — народ, толпы. А все — мир, связанный с Богом, человек — в завете с Богом, но все это — не номинально, все — реально; как реальнее науки о клеточке — живая клеточка и цветок — могущественнее и прекраснее ботаники.

Но, может быть, неясны наши слова о пустоте: все живое, растение или животное, устроено по чудному плану клетки, пустоты в покрове, обернутого тканью пузырька или кубика. Почему так — Божья тайна, Божий план. Ученые пытались разгадать тайну клеточки, но никогда не могли; они все искали ее в покровах, в секрете материи, между тем как мы уверены: "секрет" клеточки лежит в нематериальном ее, не в этих покровах, но в пустой точке, которую облегает собою материя. Тут ничего не видно в самый сильный микроскоп, ничего не тронешь самую тонкою иглою, но тут — узел жизни, "душа" и хоть частица или отражение вечного "Сый". И вот разгадка удивления Помпея: "Я вошел в храм, но — ничего не увидел". Храмы других народов, напр. египетского "животного" поклонения, полны именно этих покровов, кожур внешних, материальной химии живой клетки; а тайный храм Моисея — представляет пустоту клетки, святую пустоту, душу — однако живую, Бога — живущего в "тварях". Твари, "оболочки" и начинаются со "Святого", куда входят уже священники, со двора, где толпится народ, и кончая миром — звезд, цветов и царств. У евреев вовсе не было отвращения к изображениям: о подоле одежд священнических Бог сказал Моисею: "Изобрази на них (впережку) яблоко и позвонок" (царство растительное и животное). У меня есть в коллекции еврейская монета, времени иудейской войны; она несколько "не отвлеченна": с одной стороны прекрасно сделанный виноградный лист, со всеми видными в чеканке жилками, даже боковыми, и черенком, на другой стороне — чаша; и надпись на арамейском языке: "Второго года от освобождения Сиона" (67 по Р. Х.). Чаша, амфора с короткою ножкою, — также прекрасно отчеканена, со всеми выгибами и боковыми бороздками — не чета теперешним ублюдкам монетного дела. Конечно, у евреев было искусство, конечно, жизнь их была прекрасна; конечно, у них не было алгебраизма в поклонении. О, как понятна ярость отпора их тупому потоку Тита и Веспасиана... Но у них не шумят деревья; да — они брали мир... в разрезе, отсюда капающая кровь их жертв; "и помажь кровью рога жертвенника"; "и возьми на пальцы кровь — и покапай ее на крышку Ковчега, в благоуханье Господу, восемь раз покапай ее, 4 раза — книзу, а 4 раза — подбрось кверху". Мы же и вообще арийцы берем мир в ландшафте, в зрелище, без биения пульса. Мы — описатели, они — анатомы; но цель их устремления — достать кончиком жертвенного ножа то, что за кровью, за плотью, — святую душевную и вместе жизненную — пустоту: "Там Бог". И конечно — там Бог!

Вот чего не было понято издревле в Риме и Византии, ни в наше время — учеными, возросшими, при всем их свободомыслии, — все же на сухих овощах, зимних сушеных фруктах римско-греческого заготовления "впрок". Есть разница между погребом и садом. Сад — Сион; Европа остригла его, не в силах будучи ничего произвести сама подобного и продает теперь в жестяных сардиночных коробках.

СЕРИЯ НЕДОРАЗУМЕНИЙ

В Петербургском философском обществе, в закрытом заседании 7 февраля, в советском зале здешнего университета было интересное чтение вновь избранного члена означенного общества Д. С. Мережковского — о Л. Н. Толстом и его религиозно-философских воззрениях. Немногочисленные гости этого закрытого заседания провели с редким удовольствием вечер (до 12 час. ночи), посвященный спорам о высочайших темах нашего времени как со стороны докладчика, так и многочисленных (8 человек) его оппонентов. Председатель общества А. Н. Введенский проищательно сравнил беседу этого вечера с тою частью философских творений греческого Платона, которая изложена не диалектически, "а в мифах". Вечер был до известной степени "мифическим", потому что действительно в нем было все "иносказательно", шло в намеках, а не в прямом изложении, и, собственно, хорошо понять, что говорит и о чем говорит г. Мережковский, можно было лишь читателю его пространных статей в "Мире Искусства" за весь истекший год, под заглавием: "Гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский". К сожалению, гости этого вечера, очевидно, вовсе не читали названных статей г. Мережковского, и отсюда произошла серия недоразумений, главным образом в возражениях оппонентов, которые временами возбуждали прямо чувство комического. Многочисленные *qui pro quo**... Язычники здесь обнимались с христианами, и иудеи бросались на шею эллинам, — позволю себе тоже "мифически" передать впечатление серьезных по содержанию, но комичных по направлению дебатов, как они не могли не показаться всякому гостю этого вечера, знакомому с названными статьями г. Мережковского. Последний сделал очень дурно, что он не предпослал своему докладу обширного введения (конечно, он сберегал краткие часы чтения), хоть сколько-нибудь способного поставить слушателей, так сказать, в центр всех его критических работ о Толстом и Достоевском. Доклад его есть просто ненапечатанная новая глава критического исследования, и, конечно, невозможно было правильно ее понять, не читав ни одной из тянувшихся целый год глав. Мы принимаем на себя нескромную роль корректора этих дебатов; нескромную, ибо заседание было "закрытым". Но, к сожалению, на страницах одной из петербургских газет на другой же день было сделано обширное и подробное изложение доклада, и в том же духе непонимания, в каком велись дебаты, а нескромность, позволенная одному, не может быть запрещена другому, особенно когда дело касается истины и возможных ее извращений.

Переводчик "Дафниса и Хлои", автор "Воскресших богов", любитель Ницше и ни в каких идеях своих человек нимало не постный, г. Мережковский бросился грудью на Толстого, как эллин на варвара, с чистосердечной искренностью и большой художественной силой. Его

* путаницы (*лат.*).

дело, его право. Он вцепился в "не-делание", "не-женитьбу", мнимое "воскресение" и всяческую скуку и сушь Толстого последних лет. Опять — его право, его дело. С этой точки зрения, но именно эллински-светлой, он вцепился в мрачно-скопческие, вечно ограничительные, везде отрицательные, нимало не творческие, не брызжущие жизнью, пустые и не рождающие движения Толстого последних лет. Толстой — язычник старых дней, Толстой — творец Наташи и Карениной, "Казачков" и "Детства и отрочества" был религиозен, потому что хотя и языческим способом, без отрицания материи и плоти, касался "миров иных"; а вот Толстой-христианин — с покаянными плачами в "Смерти Ивана Ильича", "Крейцеровой сонате", "Воскресении", "Хозяине и работнике" — никак не может прийти к Богу. Плотяной (да простят нам неуклюжее выражение) из плоти сотканный, Толстой — религиозен; бесплотный — не религиозен: вот довольно "эллинская" и во всяком случае любопытная мысль г. Мережковского. Ему, прямо через стол, горячо закивал головою известный славянофил, редактор "Благовеста" и "Русской Беседы" (двух умерших журналов), А. В. Васильев, человек очень начитанный в славяноведении, но едва ли отличающий Фемистокла от Мильтиада и Марафон от Капуи. Это согласие есть самый разительный пример начавшихся после доклада *qui pro quo*... Г. Мережковский почти ничего и не возражал своим оппонентам, так как вокруг него прямо поднялся лес неведомого в этих возражениях, не составлявших никакого резонанса его докладу.

Поднялся известный духовный оратор и писатель о. Петров и, предполагая, что смысл доклада г. Мережковского был не тонкая критика последних "изморных" идей Толстого, а нападение на личность Толстого, произнес высокохудожественно построенную "отповедь" Мережковскому, которая (опять — *qui pro quo*!) вышла "защитою Толстого". Он начал указанием на притчу Спасителя, в которой Он сравнивает царство Божие с виноградником, где надо делать. И вот в этот виноградник свой отец посылает для "делания" двух сынов своих. Старший говорит — "пойду", но... не пошел, ослушался, забыл слово отца и ничего не сделал во исполнение его воли. Младший сын говорит дерзко отцу: "не пойду", — но, одумавшись, пошел и потрудился в винограднике. Так и Толстой: он как будто вне церкви и даже против церкви, совершенно подобно младшему сыну хозяина виноградника; но не он ли учит нас скромности жизни, чистоте (плотской) жизни, трудолюбию, воздержанию даже в пище (вегетарианство), любви к ближнему, т. е. тем самым задачам и целям, которые составляют прямую сферу труда и забот христианства, церкви, православия, священства. Речь была прекрасна и, конечно, правильна. Мережковский мог бы на это ответить: "хорошо, но где же здесь трансцендентность и мистика, тайна и чудо, т. е. сущность всякой религии?" Конечно, пост и воздержание хороши в буддисте, как и в христианине. К сожалению, г. Мережковский задал не совсем удачный, но, впрочем, вытекавший из смысла речи свящ.

Петрова вопрос: "Признает ли он, как священник, Толстого христианином?" О. Петров ответил: "Нет, не признаю". В жару устных споров многое не приходит на ум: о. Петров мог бы с полным правом ответить, что он признает Толстого "христианином вне христианства", ибо ведь даже в богословских трудах, особенно исторических, есть термин и, следовательно, понятие "христиане до христианства", к каковым прежде всего причисляются Сократ, Сенека (по идеям) и другие. Свящ. Петров был совершенно прав, и даже с церковной точки зрения. Но опять публика не поняла его: "защита Толстого священником!" — и раздалась буря рукоплесканий, очень компрометирующих оратора, едва ли нужных ему, либеральных по смыслу и ни малейше не стоящих в уровень с серьезной сосредоточенной истинно-нравственной речью мужественного защитника Христа против Толстого и Толстого против необдуманных его противников. Но, конечно, вся речь была чистым недоразумением; Мережковский говорил об отсутствии в поздних построениях Толстого трансцендентного момента и что без этого момента — нет религии, а свящ. Петров ответил на это, что мораль и предписания Толстого — христианские и даже церковны, чего Мережковский не отрицал. Онтология, выражаясь богословски, смешана была с "нравственным богословием", а это две кафедры разные, и, конечно, основная есть первая. Вот "первой"-то "кафедры" и недостает в моральном университете Толстого. Собственно, о смысле доклада г. Мережковского догадался только последний оппонент, поднявшийся уже около 12 часов ночи: прочитав несколько мест из "Послания к Коринфянам", блудным жителям блудного греческого городка, он спросил докладчика: "Места сии ясно рекут, что лучше человеку не касаться женщины, как учит и Толстой; а вы, г. докладчик, называя это некасание отвлеченным спиритуализмом, порицаете таковое в Толстом и не признаете в нем никакой религиозной цены". Собственно, это было единственное возражение, ударявшее в центр доклада, и лишь отсюда могли пойти интересные прения между эллином-Мережковским и спиритуалистами-христианами, собравшимися его выслушать: мысль Мережковского, правда, не сказанная в упор в докладе, но, однако, местами скользившая в нем, состояла в том, что эллинизм, в светлой своей радости и в признании прав плоти, даже долга плоти, не противоречит христианству в его тайне и чуде, в его трансцендентности, ибо первый глагол Евангелия: "Слово (Бог) стало плотью и вселился в ны", да и единственное, Самим Христом основанное таинство есть опять таинство крови: "Кто не ест Мою плоть и не пьет Мою кровь — не наследует жизни вечной". Этого-то Толстой и не понял; и действительно — не понял. А с этим — не понял и всего христианства. Но ведь с Толстым заблуждалась и значительная часть Европы, все средние века, решительно морившие человечество идеями смертного, гробового, воспеваний смерти и гроба.

ЧУДЕСНОЕ В ЖИЗНИ И ИСТОРИИ

I

Ог. Конт, посвятив несколько томов рассмотрению всех отраслей наук, подвел итог возможным усилиям умственного могущества в известной формуле: "Savoir pour prévoir"* . Знать нужно для того, чтобы предвидеть, и область предвидимого, круг предвидения ограничивает и выражает сферу знания. Сюда не входит, конечно, случай. Вы идете по улице, и в то время, как проходили мимо лавочки портного, сорвалась вывеска и ее тяжелый лист ударил вам в висок. Вы умерли. Смерть эта есть абсолютный случай, потому что вы были здоровы, могли прожить еще 15 лет, и пройдите под листом лавочника на $\frac{1}{4}$ минуты раньше или на $\frac{1}{4}$ минуты позже, лист хлопнулся бы о землю без всяких для вас последствий. "Случая" наука никогда не обнимет. Но "случай", самый необыкновенный, так же мало чудесен, как ход великолепных столовых часов. Чрезвычайное обилие в природе и в истории "случая" сделало как одну, так и другую занимательными и существование человека не так монотонно-однообразным, как если бы вся природа лежала в границах его "prévoir".

Но есть более любопытные выходы мира фактов из области "prévoir". Пусть механик со всею точностью своих средств следит за проволокою, на которой висит вывеска, и замечает, что, начиная с 12 часов, положим, 13 марта, при совершенно сухой погоде и вообще при полном сохранении всех внешних обстоятельств, она вдруг начала усиленно ржаветь, и в один день столько же разрушилась, сколько в предыдущие шесть лет, и упала в 12 часов 14 марта на голову человека, совершившего такое-то тайное преступление, как открылось после! "Это — чудо!", — воскликните вы. Я привожу пример, чтобы дать определение. Чудом называется выход их области "prévoir" не столкновения двух разных нитей фактов, например, пешехода и падения вывески, но которого-нибудь звена в одной и той же нити событий. Например, если бы Кант, всю жизнь прогуливавшийся после обеда по одной и той же улице Кенигсберга, единственный раз в жизни изменил направление прогулки и это совпало с тем самым днем, когда на таком-то тротуаре и в такой-то час дня его обычной прогулки упала вывеска магазина, Кант сказал бы: "Слава Богу!" Хотя "руки Провидения" здесь и нельзя схватить, удержать, облобызать ее, однако мысленно непременно вспомнишь ее, непременно отметишь это в своей памяти. И на слова собеседника, что все можно "savoir et prévoir" в природе истории и личной биографии, — ответишь: "Нет". К более позднему возрасту, годам к 40, 50, 60, у редкого человека не бывает на памяти "чего-нибудь такого", непредвидимого, необъяснимого, и эти необыкновенно редкие, но, однако,

* "Знать, чтобы предвидеть" (фр.).

бывающие факты упорно сохраняют в сознании людей веру в чудесное и сверхъестественное, чего нельзя ни "savoir", ни "prevoir".

Несколько лет назад случай исцеления профессора Доробца от болезни сикозиса составил на некоторое время событие в обществе, ученых кругах и печати. Для самых юных из своих читателей расскажу, что случай состоял в следующем. Молодой профессор университета, юрист, захворал болезнью кожи на подбородке, именуемую сикозисом, — многолетней, необъясненной в своих причинах и неизлечимой — иначе как по прошествии многих лет. Ни русские, ни заграничные знаменитости ему не могли помочь. Тогда к нему явилась неизвестная женщина простого звания и сказала, что она его исцелит, если он ее послушает. "Послушание" заключалось в следующем. Он должен был на другое утро прийти к обеду в храм Спасителя (дело было в Москве), куда и она явится, и они помолятся вместе. Так как ему было все равно (т. е. хуже от этого не могло быть), то он согласился. На другой день он явился в назначенный час в назначенное место, как сам он рассказывал потом, молился рассеянно, "ни о чем особенно не думая". Стояла рядом с ним и женщина и что-то шептала. Потом он вернулся домой. На другой день или в ближайшие 2—3 дня сикозис прошел.

Г. Доробец рассказал об этом печатно. Произошел взрыв изумления, которое быстро разделилось на восторг одних и негодование других. Проф. Кожевников (один из знаменитых московских докторов) читал доклад об этом "исцелении". Над "исцелением" иронизировали, но круг науки, "savoir et prevoir", вынуждал сознание, что сикозис во всех случаях, кроме этого единственного, действительно неизлечим иначе как в течение многих лет, и в данном случае он исчез от непонятной причины. "Наука", таким образом, что называется, "села" перед фактом. Время то было крайней консервативной реакции в нашем обществе. И вот раздался в печати и обществе восторг: "Чудо! Бог! Не излечение, а исцеление!" Другая, либеральная часть печати до такой степени не хотела исцеления, что решительно возненавидела Доробца с его сикозисом. Помню, в то время и я написал торжествующую статейку в "Русском Вестнике". Меня остановил Н. Н. Страхов, и вот его поразительные слова:

— Вы напрасно торжествуете. Это заговор...

Я ничего не понимал.

— Этот Доробец... не умен (он резче выразился). Пишет: "Стоял в храме Спасителя и ничего особенного не думал". Ну, а "не особенное-то" он что-нибудь думал? Разве можно ничего не думать? По крайней мере, он куда-нибудь смотрел и должен был рассказать, что видел. Что делала женщина? Молилась, клала поклоны, в землю или так? — он ничего не рассказал! Читала она по бумажке, или наизусть, или вовсе молчала? — мы ничего не знаем! Но вы воображаете, что случай дает пищу для meditations religieuses, тогда как это, очевидно, есть, по всему описанию, случай народного заговора. В народе есть приметы, поверья

и, наконец, заговорные слова и формулы, по которым "наводят" болезнь или "сводят" болезнь, и случай Доробца есть вовсе не предмет консервативно-православных восторгов, каким вы предаетесь, но очень яркий и действительно удивительный случай действия этих никем не исследованных и с незапамятных времен в народе сохраняющихся заговоров. Женщина ему "заговорила" болезнь — и это вовсе не то, что он "исцелился от болезни по молитве благочестивой женщины в храме Христа Спасителя".

Страхов был редкой точности ума человек. Возражения его я запомнил, но не обратил на них внимания, потому что мне, так сказать, не к чему было пришить его в своей душе. "Заговор". Ну, что такое "заговор"? Слова одни. Молитва — это понятнее.

И я принял понятное.

II

Но удивительные слова точного натуралиста, зоолога и критика, борца против спиритизма, как "научно-невозможной вещи", — о возможности каких-то древних-древних знаний и, наконец, просто формул, слов, заклинаний, действующих на неисцелимую болезнь, пришло мне невольно на ум при чтении одной исторической книги. Ведь в чем дело? Что хотел сказать Страхов? Он говорил, что в народе нашем, темном, безграмотном, лежащем несогретою глыбою на неподвижной земле тысячу лет, сохраняются душевные следы древнего "ведунства", в чем бы оно ни заключалось. Что женщина-целительница (Доробца) была вовсе не святая женщина, а вещая женщина, которую, при злом направлении ее могущества, мы назвали бы "колдуньей", а при добром направлении этого могущества приходится назвать... ну, феею! Страхов признавал фей!! Да, читатель, я ничего не придумываю в своей передаче факта. Повторяю, когда я его выслушал, я просто ничего в его словах не понял, кроме мертвого их остова, потому что бытие фей (термин, не названный Страховым), конечно, мне не представлялось возможным... до прочтения интересной книжки, которую я сейчас назову.

Это "Очерки" нашего известного военного писателя Драгомирова, маленькая книжка, изданная в Киеве в 1898 году и содержащая четыре статьи: разбор "Войны и мира" Толстого, "Русский солдат", "Наполеон I" и "Жанна д'Арк". Этот последний очерк, написанный необыкновенно изящно, с чрезвычайным одушевлением, с полной верою самого автора, — ума трезвого, холодного, математического, — к чуду всего явления Жанны д'Арк, всего события, которое до такой степени бессильно в себе самом и всемогуще чарами необыкновенной девы, что его иначе и назвать нельзя, как "событием Жанны д'Арк", заставило меня невольно припомнить умные и удивительные слова Страхова. Чудо и чудо. Но какое чудо, какого порядка? Однако прежде, чем объяснить, и здесь нужно нечто рассказать.

Драгомиров рассматривает, между прочим, походы Жанны к Орлеану, на Реймс и Париж с стратегической точки зрения и находит, что везде ее движения и указания были правильны, как бы они были даваемы по законам военной науки; а указания военного совета везде же были ошибочны. В особенности это ясно было при разрешении вопроса, по правому или левому берегу Луары идти на Орлеан. Военачальники ее обманули. Жанна, не объясняя почему, — требовала идти по правому берегу, на котором стоял Орлеан; вожди армии обманно сказали ей, что Орлеан лежит на левой стороне, и повели армию этим берегом. Только когда поравнялись войска с Орлеаном, обнаружился (для Жанны) обман их и невозможное положение армии. — ”Вы думали меня обмануть, а обманули сами себя. Знайте, что совет Господа (”Messir” — так называла она Бога) вернее вашего”. Одно ее чудо, о котором мы упомянем ниже, вывело французов из затруднения. Отмечая ее стратегию в разных подробностях движения и то, что 18-летняя крестьянская девушка смогла дисциплинировать такие военные банды, которые (в том веке) ничем не различествовали с нашими кавказскими разбойниками-татарами, вызывает в авторе восхищение прямо перед чудом общего факта, всей вереницы событий. Но здесь еще критика может кое-что урвать для себя. Важны поэтому отдельные минуты общей картины, где мы прямо вступаем в мир волшебного, чудесного, о чем, однако, сохранились документальные записи.

Внимательно обдумав эту категорию явлений, я нахожу, что она может быть распределена в группы.

1) Жанна предвидела будущее неотвратимое, и притом — с чем она справиться не могла, чего боялась, о чем плакала.

2) Жанна видела и знала абсолютно от нее и ото всех скрытое, но существующее в данную минуту.

Таким образом, у нее было вещее проникновение как в будущее, так и через расстояние. Она была как бы сомнамбулой, но без засыпания и без болезни (весь организм ее и ее психика были замечательно здоровы и здравомысленны). Вообще, как явление, как существо, она менее всякого нам известного человека была связана и опутана законами пространства и времени. Час ее расплывался в недели и месяцы, и место ее стояния раздвигалось в города и страны: так что сейчас она видела то, что будет через три недели или три дня, и с данного пункта видела то, что за стеной города. Она не была ограничена, как каждое наше ”я”.

3) Жанна иногда творила завтрашний факт, созидала. Это не предвидение, это могущество.

Три эти способности принадлежали ее личному ”я” и не зависели от ”голосов”, которыми она была позвана к подвигу, или не всегда от них зависели. Но это — уже четвертое:

4) Жанна, сверхъестественная сама по себе, находилась в общении с еще более сверхъестественным миром (”голоса”), волю которого она выполнила и который дал ей собственно могущество на общий ее подвиг, общую ее миссию.

Из всех фактов ясновидения Жанны, приведенных у Драгомирова, меня особенно поразило упоминание "о дочери шотландского короля". Жанна была безграмотна. Она жила за 400 верст, т. е. как от Москвы до Курска, от резиденции короля, в глухой деревеньке. Когда англичане осадили Орлеан, то она ужасно взволновалась, нетерпение ее достигло высших границ, и она восклицала, что ей нужно идти к дофину, "хотя бы при этом пришлось стереть ноги до колен. Ибо никто в мире, ни короли, ни герцоги, ни дочь шотландского короля, ни иные, не могут восстановить Францию. Помочь могу только я; и, однако, я лучше хотела бы оставаться при одной моей матери, так как это не моя работа; но я должна идти!". Приведя текст этих ее восклицаний, Драгомиров делает следующее подстрочное примечание: "Историки, очевидно, не понимали, при чем тут дочь шотландского короля, и пропускали эти слова без внимания до Simon Luce, высокоталантливого исследователя той эпохи, к сожалению, рано умершего. Luce первый разгадал смысл этих слов. Дело в том, что в 1428 году велись переговоры о брачном союзе сына дофина, тогда еще двухлетнего ребенка, с шотландскою принцессою такого же приблизительно возраста в расчете, конечно, на то, что благодаря этому союзу в будущем удастся подвинуть шотландский двор на помощь в настоящем. Понятно, что подобные переговоры велись не иначе как под большим секретом; но Жанна, очевидно, *знала* (курс. Драгомирова) о них, знала в провинциальной глуши, при тогдашней затруднительности сообщений, на расстоянии 400 верст от резиденции дофина. Значит, оказывается, что никакие секретнейшие дипломатические карты не скрывали от ясновидения Жанны того, что относилось так или иначе к ее миссии. Какими неосвязаемыми, непостижимыми путями, через стены, через расстояние, через дипломатический секрет, она это знала? Тайна Божия и тайна женского сердца. Кто-то сказал, что у женщин одной парой нервов или больше, или меньше, чем у мужчины: думаю, что больше; и не одной, а несколькими, хотя физиологи их долго, а может, и никогда не откроют. При столь необыкновенной прозорливости становится постижимым ее редкий пророческий дар: он является не более как исключительною способностью видеть в настоящем причины или корни тех явлений, которые имеют возникнуть в будущем, — причины, недоступные восприятию людей заурядных. Ибо нет явления без причины, ему предшествующей, и если явление доступно восприятию каждого, то его причина или причины могут быть уловлены только при условии исключительной тонкости физической и особенно духовной организации. Конечно, это происходит по наитию; точно так же, как ребенок, научившийся ходить, применяет законы равновесия, не только не будучи в состоянии их объяснить, но даже и не подозревая о их существовании... В природе все естественно, но не все известно" ("Очерки", стр. 197—198). Так говорит стратег и математик, ум точный, но которого самая точность заставляет признать чудо.

В рассказанном случае она, так сказать, видела через расстояние. Или так как мы не можем сказать, чтобы она усиливалась смотреть,

присматривалась, шурилась, напрягала зрение или мысль (ничего подобного!), то простым и детским и божьим знанием она читала под землей, читала в звездах, читала там, откуда великие поэты вычитывают свои творения: Гёте — монологи Фауста, Шекспир — образы Офелии, Дездемоны, Моцарт — звуки; откуда Рафаэль срисовал мадонн и младенцев и где мы, остальные смертные, ничего не видим, ничего не слышим, ничего не знаем.

Вторым знаком ясновидения было узнавание дофина в замке Шинон. Дофин, смеявшийся над какой-то крестьянкой, хотевшей его видеть и обещавшейся его короновать, нарочно оделся проще окружающих его придворных. Тогда фотографий и олеографий не было, да и время было не такое, чтобы торговать карточками гонимого принца. Она его узнала, однако, сразу. Замечательна по колориту ее речь: "Благороднейший дофин! Зовут меня Иоанна-девственница, и послана я Богом, чтобы помочь вам и вашему королевству и воевать с англичанами. Почему вы мне не верите? Я вам говорю, что Бог (Messir) жалеет вас, ваше королевство и ваш народ, ибо св. Людовик и Карл Великий молятся перед Ним за вас, коленопреклоненные". Дофин жалко шутил и после этого, отнекивался, указывал как на дофина на другого, одетого богаче; но Жанна не обманулась. Вскоре произошел случай, который сделал принца серьезнее.

По разным причинам дофин имел основание сомневаться в законности своего рождения. Но никто не знал о мысли, терзавшей его сердце и столь интимной. Однажды, удрученный до крайности, он просил Бога, "в своем сердце и без произнесения слов", что, "если он истинный наследник, потомок благородного дома Франции, и если королевство должно ему принадлежать по праву, да будет угодно Ему его сохранить и защитить, а если нет, то дать ему милость уйти от смерти или от темницы и чтобы он мог спастись в Испанию или Шотландию". Эту-то молитву, которая никому не была известна и даже не была произнесена вслух, а только сотворена мысленно, "в его сердце", Жанна повторила королю подлинными словами.

Следившие за этой сценой на расстоянии увидели, что король преобразился: по свидетельству одного очевидца, "точно на него Дух Святой сошел" ("Очерки", стр. 203).

Третий случай этого же порядка был следующий. Жанна вела войска берегом Луары к Орлеану. Между 5-ю и 6-ю бастилиями (укрепленный форт на берегу Луары) французы прошли беспрепятственно и вступили в город без выстрела. Жанна, утомленная, прилегла отдохнуть. Вдруг она громко вскрикнула: "Голоса меня зовут! Нашим трудно... их кровь льется... оружие! оружие! коня!" — Быстро одевшись, она прямо поскакала к восточным воротам, за которыми уже встретила раненых, а дальше — бежавших от бастилии № 7, атака которой была французами предпринята без ее ведома. При виде Жанны беглецы повернули назад. Штурм возобновлен был с новой силою, и после 3-часового боя форт был взят и разрушен. "И оплакала Жанна своих врагов, — пишет

Драгомиров, — что они умерли без покаяния, но, бросаясь в самую горячую сечу, сама не убивала никого” (стр. 216).

Другой случай представляет управление стихиями. Мы упомянули, что вследствие обмана Жанны вождями отряда французы очутились против Орлеана, но отделенные от него Луарою. Сообщение с городом было только возможно водою; большие парусные суда, приготовленные для перевозки отряда, могли пристать к берегу только верст на восемь выше Орлеана, но противный ветер, дувший с востока, делал совершенно невозможным движение судов против течения. ”Тогда, по свидетельству одного из ее врагов, Гокура, Жанна предсказала, что ветер переменится. Так и случилось: и суда на всех парусах, беспрепятственно пройдя мимо английских укреплений, пристали против Шеси, где собран был французский отряд для посадки на них” (стр. 214). Здесь также есть момент сотворения.

III

Но какой категории было это чудное? С невыразимым волнением перевертывая страницы живого, точного и исполненного увлечения очерка Драгомирова, с тою долею художественного чувства, которого я не вовсе лишен, стал замечать, что в исторической дали высовывается вовсе не портрет типичной фигуры из ”Житий святых” христианских, этих лиц скорбных, отрешенных от мира, непрактичных, созерцательных. Скажут: это — случай. Нет, это не случай, а сущность. Святость имеет свои категории, и сущность христианской святости невозможно смешать с святостью... но, положим, Паллады-Афины, на вопрос о которой древний грек, конечно, воскликнул бы: ”Конечно — святая!” Буддийская святость и христианская святость — это разница. У китайцев есть тоже своя святость, и вообще никакую религию нельзя себе представить без святости, без своих ”святых”; но оттенки святости в разных религиях не совпадают, и где начинается новая категория святости — начинается там и новая религия. И вот, читая о Жанне, я был глубоко поражен, так сказать, отрицанием в ней привычных, постоянных и, наконец, неизменных в христианине особенностей его образа: смирения, послушания, тихости, особого колорита кротости, терпения и проч. Вся суть христианства лежит в сужении ”Я”. ”Блаженны нищие духом... миротворцы, кроткие... гонимые”. ”Господи, Владыко живота моего: дух праздности, уныния и любоначалия не даждь ми...” Просто нельзя этих молитв надеть на Жанну. Не идет. Не пристает. Она — другая. Из другого мира. Кто же она? Кто была та женщина, которая исцелила Доробца? Русская, и привела его в православный храм, но, как и заметил мне осторожно Страхов, — и не православная, и не русская, а древняя, древняя вещунья, сестра того волхва, который предсказал Олегу смерть его. Вот кто она была по существу, по силе, знаниям, чуду. Кто же была Жанна? Народ ее звал ”дитя Божие”.

Но это — мнение народа, которое ничего еще не говорит. Один Страхов, с научностью испытанного мыслителя и натуралиста, различил подлинную сущность дела в случае с Доробцом, и не только народ, но и очень ученые люди восклицали: "Чудо! Чудо от иконы в храме Христа Спасителя!" Народ видит чудо и бежит, кричит: "Наша! святая!" Дело в том, что против Жанны вовсе не англичане одни ожесточились: на нее все время с глубокою непримиримою враждебностью смотрел парижский университет, а чудеса ее ненавидел архиепископ Реймский Реньо де-Шартр и глубокое же недружелюбие к ней высказывало с самого начала все вообще французское духовенство. А уж конечно оно более компетентно в распознавании типа своей святости, нежели народ и солдаты. Тут не в сердцах дело. Почему у духовенства не быть доброму сердцу. Но духовенство опытнее в распознавании своего, оно начитано; оно слагает и читает молитвы, слышит и опять же слагает церковную музыку, и от имени всего этого, от духа всего этого, ни разу не сказав "Святая!", воскликнуло в конце концов: "Колдунья!" Драгомиров в самом конце очерка тонко и, конечно, верно замечает, что уже ставший королем дофин Карл "только по неловкости быть обязанным короною колдунье, — велел пересмотреть процесс и наименование колдуньи было снято с Жанны". Но *sum sui que**... Церковь католическая все-таки века не причисляла Жанну к святым, хотя ее явление в народе, вторжение в историю есть самое документальное из всех и самое полезное, практическое чудо! Практическое чудо... конечно, в этом новая категория святости! Христианские чудотворцы, или суть мученики, или пустынники, или юродивые, или, наконец, великие дипломаты, как сонм пап! или писатели и ученые, сочинители!!! Вот весь круг христианской святости, из которого Жанна явно выходит. "Голоса! голоса!" "Messir" — это Бог. Больше она ничего не знала по богословию. Она сама о себе не знала, как могла считать себя и, вероятно, считала истую православною та женщина, которая читала около Доробца заговор. Жанна, "дитя Божие", есть в то же время дитя Франции, дитя Галлии, дитя Галльских лесов, не вырубленных со времен Цезаря. Раз, раздраженная, что ее бесплодно возят за дофином, когда она рвалась в новые битвы с англичанами, она "ушла жить в поля", как записал хроникер ("Очерки", стр. 225). Она была друидка, конечно не сознавая об этом ничего. Религия исчезает; но суть ее, но почва ее, но дух ее еще живет века и тысячелетия. Но она была друидка не как поклонница, но то, чему или кому друиды поклонялись: чудо, благодать, тайна, сверхъестественное, что живет в мире, и живет, конечно, в нем от самого сложения. Волшебство лесов, и трав, и скал, и облаков, которое вдруг слагается в определенное и осмысленное слово, нужное, полезное. В Жанне Галлия спасла Францию, но это не Рим спас французское королевство.

Она была фея, ничего об этом не зная. Знание ее было сверхъестественное, но это не было богословское знание, или созерцательное и меч-

* каждому свое (*лат.*).

тательное, или экстатическое и конвульсионерное. Она умела распоряжаться артиллерией, — и, конечно, не Паллада-девственница (кстати, тоже строжайшая девственница!) объясняет ее, но она, перед глазами нашими воочию прошедшая, дает хоть чуточку прозреть в ту неисследимую древнюю тайну, которой афиняне поклонялись в "Палладе-Промахос" (Воительнице) и которая на расстоянии 2000 лет нам кажется таким невоскресимым истуканом. Но она была нежна, и это не южная, а северная черта: плод северного (относительно), не жгучего солнца. Ей не сложено акафистов, как сонму жен и дев христианских, хотя и она была мученица. Вернем же ей заслуженное, вернем ее собственное, ее родное, этот стих из "Нормы":

Casta diva, che inargenti
Queste sacre antiche piante
A noi volgi il bel sembinte
Senza nube e senza vel.

"Непорочная богиня, разливающая серебристые свои лучи по этому древнему священному лесу, обрати к нам священный свой лик без облака и без покрова".

МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР

Вл. Череванский. Мир ислама и его пробуждение.
Историческая монография. 2 части. Спб., 1901.

Труд этот принадлежит члену государственного совета, бывшему товарищу государственного контролера. Отмечаем это, чтобы выразить глубокую симпатию тому явлению, что текущие деловые занятия не безраздельно владеют умами наших государственных людей и они находят возможным отдавать часть внимания своего темам обширно историческим или обширно политическим. Книга г. Череванского написана живым и легким языком публициста и практического человека и читается с таким же удовольствием и без всяких трудностей, как роман. Дешевизна и обширность, вероятно, сделают ее крайне распространенною, а ведь мусульманский мир до такой степени поверхностно знаком нам, что уже одно это качество составляет достоинство книги и заслугу автора. Чтобы понять религию и что-нибудь религиозное, нужно быть поэтом и иметь на челе своем хоть чуть-чуть, хоть чуточку, хоть паутинку "пророчества", "посланничества", "жребия" святого. Этого нет у г. Череванского, и это отнимает у его книги глубину и настоящую значительность. Тон его часто иронический; говоря о Каабе и в ней о *черном камне*, он замечает, что с достоверностью ученые знают только одно, что это — метеорит, но что "более подробные сведения о нем пока

приходится отложить до того времени, когда свет просвещения допустит физиков и химиков войти в святилище мусульман". Этот слог, и мысль, и предположение открывают в авторе русского прогрессиста, для которого все в мире погибнет, кроме русского (особенного, характерного) прогресса. "Все умрет, и вот когда все умрет, останемся Дарвин и мы, и еще обезьяны". Этою краткою формулою мы не делаем большого упрека автору, но мы ею очерчиваем только глубокий прозаизм душевного сложения того поколения, к которому он принадлежит (60-е годы) и выше которого он не хочет стать. Мы не критикуем, мы констатируем.

Однажды, просмотрев "календарь праздников" православной церкви, я рассеянно перевернул страницу "Крестного календаря" и рассеянно же начал пробегать строки сперва "еврейского календаря", а затем "магометанского календаря". Сон рассеянности вдруг сбежал с моих глаз; я потер глаза рукою, очнулся: сколько же "откровений" исторических, поэтических и философских в одном сложении календаря! У нас все годовые праздники суть исторические, воспоминательные, собственно — юбилейные: вот 1600-е воспоминание "Воздвижения креста Господня" (св. Еленою), вот в нынешнем году будет 1601-е воспоминание того же; еще другие праздники — святых икон: "Казанской Божией матери", "Смоленской Божией матери"; еще праздники — мучительные воспоминания мучений, мучеников и мучениц; "29 августа чествования главы Иоанна Предтечи", "12 октября мученика Прова и мученицы Доминики". Но вот у евреев есть тоже много исторических, но между ними вдруг глаз читает: "первый день новолуния шебата" (8 января), "день новолуния адара" (6 февраля), "день новолуния нисана" (8 марта), "день новолуния ияра" (6 апреля) и т. д. Очевидно, что-то и как-то евреи чувствуют в луне, чего мы не чувствуем и никак не можем уловить в ней! Чтó новолуние, чтó полнолуние, чтó безлуние, — просто православному священнику не может прийти в голову, чтобы это хотя малейшее отношение имело до круга его обязанностей, служб и хотя малейшего внимания. Стоимость стеариновых свеч для него занимательнее всех "новолуний" на свете. "Значит, и корни их религии совсем другие, чем у нас", — подумал я. И стал я дальше любопытствовать: 5 января "ночь всемогущества" в магометанском календаре.

Тут что-то "капнуло" в ум и сердце мусульман, чтó они называли "ночью всемогущества". Есть какие-то наивно-суеверные праздники: например, 10 февраля помечено только: "сонливые белки уходят в пещеры". Что это такое, ума приложить не могу! Есть исторические и между ними — еврейские: "13 февраля, переход Моисея через Нил". Одна эта строчка календаря лучше всяких рассуждений и справок исторических говорит о зависимости магометанства от иудаизма и об неотчужденности магометан от евреев: тогда как ведь для нас мусульманство — хуже язычества! Но понимаешь вдруг дружелюбие евреев к маврам и ненависть же евреев к христианам в Испании до Фердинанда, Изабеллы и Колумба. Но вот строки специально мусульманские: "4 июня — празд-

ник труб”, “15 июля — священная ночь”, “2 апреля — перстень Али”, “4 октября — ночь тайн”. Какие удивительные слова! Я не подсказываю читателю: он и сам сумеет задуматься о глубокой, кажется, вовсе для нас непостижимой особенности сложения религии Магомета! Наше воззрение и даже самый термин: “магометанство” — прямо и без обиняков как бы бросает: “вера в Магомета”; “они веруют в Магомета”, “мы” в Христа, а они — “в Магомета”. Между тем, Христос есть Бог наш, а они так же мало “веруют в Бога-Магомета”, как евреи теперь, да и три тысячи лет назад, “веровали в Моисея”. Обе религии “веруют в Бога, Елоах (ед. число от “Елогим”) у евреев, Аллах — у аравитян”, “коего Моисей открыл одним, а Магомет — другим”. Это разница. “А кто же Магомет”? — Пастух, раб Божий, слуга народа.

Абдул-феда пишет: “По настоянию жителей Мекки, родственники потребовали у Магомета, чтобы он прекратил рассказы о видениях и пророчестве; но услышали от него в ответ: *“Дайте мне луну и солнце — я и тогда не откажусь от своих помыслов”*. Не правда ли, это прекрасно, как “стой солнце и не движься луна” Иисуса Навина. Вообще, в магометанстве много поэзии, легенд и суеверий; от “суеверий” ведь не избавлены и мы, и теологи всей Европы весьма недружелюбно смотрят на манипуляции исторической критики. Но вот легенда, которой, не веря, я все-таки радуюсь, что она есть, т. е. рассказывается между Каиром, Меккою и Казанью: “Однажды к Магомету прилетел голубь с просьбою о защите против гнавшегося за ним ястреба. Голубя он спрятал в рукав, но тут ястреб потребовал выдачи своей добычи, говоря, что у него нет корма для его большой семьи (какой реализм!). Мухаммед предложил ему овцу, а после отказа принять эту замену — предложил самого себя. Он намеревался уже воткнуть нож в свое тело, но... тогда голубь и ястреб превратились в ангелов и признались, что они, по изволению всемогущего Бога, являлись к нему для испытания” (ч. I, стр. 119). Какое сплетение реального и чуда, добродушия человеческого и жестокости законов природы!

Или вот еще уже не легенда, а факт: обращение Омара. Произошла в самом начале проповедничества Магомета уличная небольшая свалка из-за него. Омар был громадного роста и необычайной силы. Запрятав кинжал в рукав, он отправился к дому, в котором жил Магомет, дабы покончить с ненавистным сеятелем смут. Но на пути его встретил араб, от которого он услышал: “Твоя семья не поблагодарит тебя, если ты убьешь ее пророка”. При этих неожиданных словах Омар вспомнил, что однажды сестра его приглашала его выслушать несколько стихов, списанных для нее из коранической песни. Теперь он поспешил к сестре и потребовал, чтобы она прочла ему стихи. Едва она их сказала, как он пришел в неописанное восхищение и объявил, что с этого времени он — враг кумиров Каабы и будет поклоняться Единому, “а сердце мое пусть расклюют коршуны, если когда-нибудь я изменю величайшему пророку”. Его дочь со временем сделалась женою Магомета, и она

оказала неоценимую услугу исламу, сохранив тщательно сутры Корана. Здесь, в этом факте, лучше, чем в бесчисленных описаниях и разъяснениях, мы читаем об очаровании, разом и непобедимо действующем, которое исходило из Корана и ослепило очи Востока.

Книга г. Череванского содержит достаточно опровержений его теоретическому освещению делу: "Мусульманство — косо, неспособно к развитию, имеет вместо семьи нечто вроде наших веселых домов". Вот общий его взгляд на дело. Между тем от арабов европейцы научились алгебре; через арабов начали понимать Аристотеля и высшие части геометрии. Философия арабов, в лице Авиценны и Аверроэса, достигла величайших уточнений построения, к которым вовсе не способны даже самые либеральные из современных приват-доцентов философии. Арабы создали архитектурный стиль! Этого одного уже немало. А степень их симпатии к умственному свету ничто так не выражает, как слова, приписываемые халифу Али: "Чернила ученого столь же достойны уважения, как и кровь мученика". Кажется, это можно было бы избрать эпиграфом к всемирной истории наук! Наконец, семья: если бы у мусульман она напоминала наши веселые дома (буквальное выражение автора), то... откуда же высокий и прямой рост, сила и крепость наших татар-халатников? Ведь это — гвардия в смысле породистости. А какова семья в чистоте, силе и интенсивности своей, такова и порода человека. Не замечает ли автор, что какой-то рахитизм породы у христиан заставляет подозревать у них худосочие и семьи. На этом мы кончим наши краткие замечания о книге, прекрасно написанной, но едва ли эквивалентно обдуманной, выверенной. Кажется, автор исторически смешал "туретчину" с исламизмом. В самом деле, в настоящий исторический момент монголы являются носителями, хранителями и пропагандистами корана: турки, татары и бухарцы. Посредственность национальной их крови есть причина упадка теперь ислама, его временной и случайной, но проистекающей из существа Корана, некультурности. Были Багдад, Дамаск, Гренада; теперь — Константинополь и Хива; но ведь и в христианстве есть Париж, пожалуй — *был* Париж, и есть Бухарест и Буда-Пешт.

В моей небольшой нумизматической коллекции есть диргем (серебряная монета в наши 50 копеек величиною) арабского калифа Мехди. Меня трогают каким-то воодушевлением и чистосердечием надписи на ней. Пусть судит читатель: на лицевой стороне, внутри ободка, крупно начертано: "Нет Бога, кроме Бога единого, не имеющего сообщника"; в ободке написано: "Во имя Бога выбит этот диргем в Каер Эс-Салям в 167 году геджры" (от бегства Магомета из Мекки в Медину). На обороте монеты, в ободке: "Мухаммед, посол Божий, послал его Бог с прямым направлением и истинною верою, да прославится она над всеми верами, и неверные не воспротивятся этому"; в середине монеты (т. е. внутри ободка): "Мухаммед, посол Бога, да смилуется над ним Бог и да спасет его. Халиф Эль-Мехди". — Не правда ли, выразительно?

ТЕМА НАШЕГО ВРЕМЕНИ

В частных кружках наших горячо обсуждается тема, кое-где пробивавшаяся в литературе, но как-то остававшаяся доселе в тени.

Как относится христианство, исторически развившееся в строгий спиритуализм, к природе? Иными словами: содержатся ли в христианстве космогонические элементы, или это только нравственное учение? Вопрос существенно важный и вовсе не решенный. В печати приведены были слова Достоевского, вложенные в уста старца Зосимы и двух Карамазовых, Алексея и Ивана, относительно тяготения человека к "клейким листочкам"; о "любви к жизни", к бытию, с которой и завязывается настоящая связь с Богом, "religio". Заметим, что светлый образ Алеши Карамазова, кажется, прошел далеким манящим видением перед множеством русских молодых людей, и нередко об удивительном, об исключительном религиозном юноше теперь говорят друзья его или родители: "это как Алеша Карамазов". С другой стороны, недавний ректор Казанской духовной академии и теперь викарный епископ казанской епархии, Антоний Храповицкий, в издающихся его трудах долго, пристально и любовно останавливается на образе старца Зосимы. Кажется, мы не ошибемся, если скажем, что в русском обществе есть течение, есть струйка, начинается школа религиозной мысли, идущая от Достоевского.

У Достоевского есть еще одно место более яркое о природе и Боге. Речь принадлежит полубольной девушке, юродивой. Мы приведем ее, потому что, влагая одну и ту же мысль в уста столь несродных лиц, характеров и общественных положений, как старец Зосима, Алеша и Иван Карамазовы и юродивая, неразвитая девушка, очевидно, Достоевский высказывает только свое "я". Вот эта речь: "Не понравились мне слова игуменьи о затворнице — Лизавете, сама я тогда хотела затвориться". — "А по-моему, говорю, *Бог и природа есть все одно*". Игуменья на это рассмеялась, а монашек стал мне тут же говорить поучение. Сижу и слушаю. — "Поняла ли?" — спрашивает. — "Нет, — говорю, — ничего я не поняла, и оставьте, — говорю, — меня в полном покое". Вот с тех пор они меня одну в полном покое и оставили. А тем временем и шепни мне, из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас жила за пророчество. — "Богородица что есть, как мнишь?" — "Великая мать, отвечаю, упование рода человеческого". — "Так, — говорит, *Богородица — великая мать сыра земля есть*. И великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная и всякая слеза земная — радость нам есть; а как напоишь слезами своими под собой землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. И никакой, никакой, говорит, горести твоей больше не будет, таково, говорит, есть пророчество". Запало (продолжает юродивая) мне тогда это слово. Стала я с тех пор *на молитве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать, сама целую и плачу!...*" ("Бесы", изд. 1882 г., стр. 133).

Речь странная и сбивчивая, как и всегда, впрочем, у юродивых. Но, очевидно, сам Достоевский в этих словах особенно экстатически высказал некоторую "юродивую" свою мысль, расчлененнее и рациональнее сказанную устами Зосимы и двух Карамазовых. Да и не мысль это, а чувство. Вне всякого сомнения, Достоевский, говоря таким образом, ничего исторического не припоминал. Но вот, равнодушный читатель его творений, я имею память истории и, вспомнив, что относительно новое слово "Деметра" у эллинов образовалось из древнего "Ге Метер" (земля — мать — божественная), говорю, что Достоевский прямо заговорил здесь языком X—XI века до Р. Х., языком тех людей, которые "Ге Метер" еще не преобразовали в "Деметру" (Де-Метер). Что же это за совпадение терминов, экстаза, слов, "юродства" столь древнего и столь нового? Совпадение, увлекающее ректоров духовных академий и священников, увлекающее молодых религиознейших людей? Да правда! да истина! да красота — все это бывшее у эллинов и рвущееся слезами у христиан.

Христиане во множестве самых чутких сердец утомились "словом" и захотели земли. Просто самих христиан утомило катехизическое вервие и им захотелось материальной любви, материального тяготения, подробностей, частных быта, ежедневности, хроники — словом, тела, "перси". Душа захотела перси. "И вдунул в нее Бог дыхание жизни — душу бессмертную". Сошествие Христа на землю имеет аналогию с сотворением человека. Небо еще раз "дохнуло" на землю, и земля ожила вторично. Люди, которые разделяют плоть и дух, забывают, что они поворачивают назад дело рук Божиих, вынимая из "перси" дыхание Божие, дыхание любви и тяготения, а Дух Божий оставляют уединенным.

Но "мать-земля", но "персь", но "тело", ибо материальный мир, не отвергаемый, но одухотворяемый, — это эллин и иудей; и собственно "материальное" движение христианства есть движение его к воскресению в себе эллина и иудея. Тему, затревожившую уголки нашего общества, можно разное формулировать, нравственно или метафизически; но мы избираем самую понятную формулу — историческую. Эллин и еврей — не умерли, им умереть невозможно. Как только они вовсе умерли бы, христианство просто потеряло бы материальное воплощение себя и осталось бы чистою идеею, метафизическою идеею, без реализации, без практики, без "тела", чем-то вроде "идеи" Гегеля. Красота, невыразимая красота наших церковных обрядов, жестов, словооборотов, напевов, до задумчивого "вечернего звона" — все это "тело" церкви есть эллинство, есть вечный момент эллинства в христианском, да и во всяком решительно цикле истории. Где тело и его красота, там грек; где тело и его теплота, там иудей. Без тела, прекрасного и теплого, чем было бы христианство? Протестантизм, а особенно кальвинизм, нас научают, чем христианство начинает быть, отторгаясь от "тела": прозой, рационализмом, ученостью, морализированьем и вообще чем-то глубоко поверхностным и неинтересным.

”Дыхание Божие” оттого и пронизало ”персть”, что она и в себе прекрасна, мистична и глубока и влечет к себе ”дыхание Божие”. — ”Так Бог возлюбил мир, что Сына Своего Единородного не пожелел для него”. Если бы и в этой ”любви к миру” была только жалость, то что же ”жалостью” поправлять ”жалость” или почему, ”жалея мир”, не ”пожалел Сына”? Очевидно, здесь говорится о любви не жалостной, но просто о любви, и притом которая преодолевает жалость (к Сыну). Но поспешим же к нашей теме. Прекрасное одеяние христианства, ”тело” церкви, — ведь оно одно известно, зрительно и слуховым образом, нашему народу, а между тем народ наш православнее каждого догматика. Что же это значит? Отчего? Оттого, что есть ”перстная” душа, ”телесная” идея и христианский, например, обряд более дышит, живет, действует, научает, просвещает, чем все споры Лютера и Кальвина ”о пресуществлении”, ”о предопределении”, ”о свободной воле и оправдании верою”. Пономари и старенькие, может быть, не очень разумные священники наших сельских церквей сделали более для распространения и укрепления церкви, чем лучшие ее витии.

Но обряд — это то, что живописцы зовут *”la nature morte”*. Есть *”la nature vive”* — это живая природа. Что же она такое, эти ”клейкие листочки” и ”луч солнца”, которые любить научают нас Зосима и оба Карамазовы и юродивая, а главное всего — Достоевский? В ”Сне смешного человека” (”Дневник писателя”) и ”Видении золотого века” (”Подросток”) Достоевский дает целостную и обширную картину этой любви, нового общения человека с природою — и прямо заговорил об Архипелаге, прекрасном море и прекрасных островах, ”где боги сходили на землю и общались с человеками”. Истолкователь некрасовского ”Власа” заговорил о ”веригах” (в ”Подростке”) исповедников какой-то новой веры, и прямо с указанием на древний греческий Архипелаг. Эпилептик Достоевский вдруг заговорил, как автор ”Римских писем” Гёте! Но дело в том, что в *”la nature vive”**, ”клейких листочках” и ”солнце”, если мы с ними слепимся вплотную, в родную, мы почувствуем тоже ”обряд”, но уже творение не Златоустов, а Бога. ”Обряды” Божии — вот что такое природа; и ее жизнь — литургия, слушать которую никому не отказано, ”ни эллину, ни иудею”. Все ее слушали; все ее и знали. Как ”по обрядам” знает наш народ Бога, чувствует, воспевает, Истинного же Бога пел и иудей, и эллин, внимательнее нашего слушавший ”музыку сфер” (выражение Пифагора). Отсюда слова Спасителя: ”Не здесь и не на том месте будут поклоняться Богу, но во всяком месте”. Снимите крышу с храма, раздвиньте стены его, вы все равно из него не выйдете. Нерукотворный потолок его — это небо; нерушимые стены — запад, восток, север и юг; колонны — это лес; пол — ковер трав. ”Во всяком месте преклони колена и помолись”. В сущности, ”юродивая” Достоевского это самое и говорит. Так вот что значит ”полюбить мир”: это значит ”полюбить Бога” через ”обряд” и ”форму”

* ”живой природе” (*фр.*).

и "тело", из творческой силы Его исшедшие. "Не могу видеть матери, но люблю комнату, где она жила, и ее воздух, и гвоздочки, на которых висели ее платья, и гардероб, и зеркало, и умывальник". Природа вся имеет домашний характер, характер "своего дома", "внутренних покоев", удобств, нужного, облюбованного Богом. Любить комнату — значит любить хозяина; любить природу — значит любить Бога, касаться Его "домашних вещей". Это новое чувство, субъективное, чрезвычайно внутреннее — и природы, и Бога.

Поэтому когда в начале нашей эры раздались клики: "Не надо ни иудея, ни элина!", то восклицавшие его не понимали, ни что такое иудей, ни что такое элин. Нет, "во Христе Иисусе — и иудей и элин", скажем мы обратно известной древней формуле. Спаситель исцелил хананеянку; Он беседовал с самарянкой, а "самаряне более любили держаться обрядов египетских, чем иудейских", как замечает один наш историк, г. В. Соколов, и ссылается на 4 кн. Царств XVII, 29—41. И элин, и иудей — перед Богом, как мы же. Попытавшись исключить их, попытавшись противоположиться им, историческое христианство поступило так же, как Лютер с одежаниями католицизма. Ободрана была красота, да и, кроме того, потеряна была самая живость. Нет "тела", и остается одна "истина", т. е. алгебра правильных, но холодных исповеданий. "Не надо элина", т. е. не надо грации и мудролюбия; "не надо иудея", т. е. не надо кровных уз, семьи. Без семьи и без науки выдохшее, почему-то ожесточенное против мира христианство дало образцы средневековой жизни или наши "законоспасские" или "славяно-греко-латинские" школы, в которых что же христианского?! Народы просто стали отшатываться от этого. "Не хотим! Не хотим!" Здесь объяснение европейского "Renaissance". "Возродить древность" — вот лозунг тех дней. Ошибка их во враждебности христианству. "Во Христе и иудей и элин" — это лучше и истиннее. Но здесь задача не культуры одной, не литературы, не науки, не способа устройства школ или способа устройства семьи, а религиозная.

Повторяем, мы даем историческую формулу в сущности метафизической теме. Это — наиболее популярная формула. Упоение победы над элином и иудеем потому и оказалось преждевременным, что оба эти племени были носителями абсолютных метафизических истин, — и вот предстоит в самом христианстве открыть подобные же истины. Вспомним, как покойный художник Ге рисовал Иисуса: страшным, безобразным. Его картины не допускались на выставки. В самом деле, что за закон воображения у художника? Почему претит христианину представить Его прекрасным? Он жил 33 года, хотя мог бы пострадать за людей и в старости. Но Он не остался на земле позднее цветущего возраста. В Евангелии есть одно место, которое могли бы живописцы взять исходною точкою своих попыток: это восклицание неизвестной женщины при первом взгляде на Иисуса: "Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, которые питали Тебя". Вот когда, подходя к картине

христианина-живописца, зритель почувствует в душе близкое к этому движение, мы можем сказать: "Тут нарисован Иисус". В Иосифе и Марии и Младенце Иисусе мы имеем Святое Семейство, возможный идеал всякой христианской семьи. И наконец, самый мистицизм крови и плоти входит и в евхаристию, и в воплощение. Таким образом, элементы для прекрасно-телесного христианства, для "перстного" (персть — земля) христианства есть, конечно, в нем. Но мы всегда эти великие залого христианства понимали риторически, а не реально. Мы зарыли в землю его лучшие таланты.

В чистом спиритуализме есть порыв к осуществлению? О, конечно: иначе зачем ему приходиться на землю! Но насколько в нем есть порыв к осуществлению, он должен реализоваться, овеществляться, одеваться плотью, соединяться с кровью, и, словом, как умерший человек есть расторгнутые плоть и дух, а живой человек есть соединенные дух и тело, так и христианство придет в полноту действительности только тогда, когда пойдет по пути слияния божия и земного, без поглощения одного другим, для усиления каждого из них через другое.

ЭЛЛИНИЗМ

Я кончил пересматривать атлас древних греческих монет, выписанный мною из Афин. Какие сокровища красоты, изящества, умения все сделать! И во главе всего какой прекрасный человек этот древний грек. В самом деле ведь удивительно, почему ни современный грек, ни кто-либо из современных европейцев не дает и приблизительного подобия древнеэллинскому лицу, древнеэллинской голове, древнеэллинской фигуре. Я в особенности остановился на сицилийских монетах IV — V вв. до Р. Х. Как они умели убрать волосы, какая постановка лба, линия носа, какое сложение губ!

Да ведь он умер, этот древний человек, он невоскресим и, в сущности, непонятен и неразгадываем для нас — вот чего не хотят понять наши близорукие классики. Они вносят в класс труп и свои измышления об этом трупе, едва ли не произвольные! Древний эллин, древний эллин! Он ведь течет из язычества, с тою же строгостью, с тою же неумолимостью, с тою же последовательностью, как европеец вытекает весь из христианства. Чего же хотят эти христиане, хватаящиеся за полы эллинского хитона? Сказать ли им всю полную правду? Они затрепещут, но я все-таки ее выговорю: отрекитесь от Христа, и тогда вы поймете эллинизм, начнете научиться от эллинизма.

На это решился Гёте, "великий язычник", как его называли современники. Я вспомнил из одного его письма, написанного из Италии: "Тут был христианский древний храм; мне предложили войти, но я не пошел". И он написал это с отвращением. К христианству он чувствовал прямо отвращение, и он этого не скрывал, хоть этим и не хвастался. "Курьез

о Троице я никогда не мог понять”, — записал его выражение Эккерман в своих “Разговорах”. Зато он написал “Ифигению”. Тайна его “Фауста” есть скрытое отречение от христианства — вот чего никто не хочет понять; от этого 2-я его часть, “загробная”, начинается с Элены-троянки, появляется Олимп, “великие матери” — эти иносказания древних Астарта, которые все закланы крестом Иисуса. Гёте пошатнул в своем сердце крест — и под ним, в могиле, увидел древний мир, его прельстивший, его восхитивший. Вот где последовательность, вот где логика. Что же лопочут о классицизме русские простачки, мирно идущие ко всеобщей, в воскресенье играющие в винт, а в понедельник преподающие греческий язык в VII классе. Да они и не нюхали классицизма. Они просто не понимают, о чем говорят, а ратуют не за эллинизм, а за оклад своего жалованья.

Эллинизм есть поклонение плоти, христианство — духу. Я сказал “поклонение”, но это — не в значении, что они служили своим страстям (вовсе нет), а в том, что посредством изгиба мысли, для нас уже недоступного, они довели плоть свою до прозрачности, до просветления и, наконец, до религиозного экстаза и ей же экстатично поклонились. Как вы этого достигнете, имея заповедь: “Блаженны нищие?” У христиан лица “нищенские”, у них — нищенская плоть. Поверьте, это не случайность. Наши отцы по духу — Василий Блаженный, св. Сергий Радонежский. Отрекитесь от них и возьмите эллинизм. Не хотите? Ну тогда выпустите из рук древнеэллинское тряпье.

Поэтому мы только бегаем, суедемся и празднословим около классицизма. О нем говорят те, кто его вовсе не понимает. О нем говорят, в сущности, не христиане, не эллины; или о нем говорят ученые филологи. Разве нельзя быть синологом и переводить Конфуция, оставаясь русским чиновником и членом Академии Наук? Но это любительство, спорт, а спорт не есть образование и образующий душу элемент. Образование должно зиждиться на вере, на восторге, любви. Мальчик с 12 до 17 лет должен полюбить, и горячо полюбить, книжку, должен страстно в нее поверить, чтобы воспитаться на ней. Он должен о ней грезить ночью, она должна привидеться ему во сне. Не так ли? Так христиане и грезили Евангелием. Но эллины грезили “Илиадой”. О чем же русский мальчик должен грезить? Вы не хотите ему сказать: “брось Евангелие”, — и суете “Илиаду”. Но он должен выбрать. Древний мир выбирал; он заплакал перед Христом, он затосковал, он почувствовал, что идет вопрос о всем целокупном эллинизме. Что же из этого великого спора поняли наши педагоги? Ничего. Они, так сказать, нигилисты.

В Италии, около Бай, я осматривал почти в полном виде сохранившийся храм Венеры, в своем роде “великой Матери”, каких начал выводить Гёте во 2-й части “Фауста”. Так ведь и называли древние *Venus-Genitrix**, т. е. употребляли термин почти тот же, какой взял Гёте.

* Венера-праматерь (лат.).

Конечно, мне было совершенно чуждо. Просто я не верил, что такое чудище вижу. Я стал тогда проводить по стенам ладонью. Стены как стены. Я отошел на расстояние. "Ведь возили же они кирпич на это!" — подумал я, т. е. трудились, потели, на усталых рабочих спинах носили связанные веревкою кирпичи. А где труд, там и вера, т. е. их мужики и сенаторы в самом деле имели религиозную веру в... Venus-Genitrix! Вот вы и введите это в разум и сердце филолога. Да он треснет, голова его лопнет от усилий и не вместит мысли о молитве, о лобзании, о поклонении Veneri-Genitrici. Между тем он долбит ученикам: "Venus-Genitrix, Venus-Genitrix". Что же это такое, его долбление? А вот я не верю в ведьм, а стал бы мужику или своему маленькому сыну рассказывать о ведьмах; то же есть и весь классицизм в устах наших филологов. Это — обман на одну треть, непонимание на другую треть, самообольщение, будто они что-нибудь, понимают, — на третью. Просто тут ничего нет, а уж более всего нет воспитания.

Так как классицизм основан на своего рода нигилизме учителя, то он порождает нигилистов в учениках. Я говорю не о политическом нигилизме, а о культурном. От этого из гимназии выходили и вечно (при классицизме) будут выходить неверы, культурные циники: ведьм для них не существует и Бога тоже не существует, да и вообще ничего не существует святого, достоверного, достопоклоняемого, а есть одно жалованье. Дивились десятилетия у нас, откуда такое явление. Да откуда же в мальчике взяться вере, когда единственная достоверность для него была — балл учителя, а то, за что ставился балл, было сказкою для учителя и для него: сказкою и неправдоподобием, фантомом.

Сами древние были прекрасны, выросши на непоколебимом доверии. Они верили в свою плоть, верили и хотели красоты, верили и молились Venus-Genetrix. Камень был под ногами, и сами они стояли прекрасным изваянием на этом камне. Хотя бы все вместе, как оказалось при Христе, и было иллюзией. Мы же отвратительны, душевно и физически, потому что никакого камня под нами нет, и ужасно то, что камень шатается под нами в школе и даже в пошатывании камня состоит самое образование. Эллина и римляне за такую школу просто распяли бы на кресте учителей: попробовали бы вместо Зевса и Venus-Genetrix учить их детей израильской истории и о Едином Боге. Но мы это делаем. Нужна дьявольская энергия, чтобы из школы не выходили при таком положении юноши без руля и без ветрил. Гёте — понятен. Древний эллин — понятен же. Понятен Василий Блаженный. Но что такое русский гимназист-классик — никому не понятно. Сами филологи ничего по этой части не умеют объяснить.

Беря голый реальный факт: "отечество", факт ни партийный, ни христианский, ни эллинский, — мы и берем неоспоримый камень, на который можно стать, на который можно поставить ученика, ребенка, юношу. "Вот тебе — единобожие". Да, единобожие (с маленькой буквы) не только факт религии, но и первая заповедь педагогики. Дайте пове-

рить во что-нибудь ученику, дайте полюбить ему что-нибудь, и вы на веки вечные заложите твердыню в его сердце. На эту твердыню, пусть узенькую вначале, он будет камень за камнем накладывать дальнейшие сокровища, из книг, из практики жизни, из опыта: воздвигнется храм. Это только и нужно. В этом только и образование. Получится не эллин, получится хороший, здоровый русский человек, но по стезе воспитания истинно эллинской и в то же время истинно христианской, ибо и здесь и там прекрасный человек воспитывался на доверии к своей цивилизации, к факту своего времени, своей культуры.

Конечно, в путях воспитания мы становимся на новую почву, как нас и пугают противники, но эта почва есть непоколебимо-педагогическая и извечно педагогическая. Не было еще народа и не было несчастного юношества, кроме новоевропейского, которого первым утренним впечатлением было бы отрицание почвы, на которой растет его народ и отечество. Русские выбрали свежую почву и делают новый шаг в школе: но ведь и вся Европа, а не одна Россия истомилась этим культурным нигилизмом, ведь тоска по школе везде идет, в Германии, в Англии, во Франции, ибо везде совершенно ясно чувствуют, до какой степени невысок уровень так называемого "интеллигентного" школьного человека, оторванного от почвы своей, от корней своих. О школе (классической) только кричат, а между тем ее продукт все ненавидят. Но по плоду познается корень. Хотите вы оздоровления человека — уничтожьте воспитывавшую его школу.

Человек свежий, человек, на корню стоящий, создал и вынес такие факты, как, напр., реформация; еще раньше он создал такое красивое явление, как рыцарство, — вся поэзия турниров и миннезингеров. Смешно спрашивать, неспособна ли к этому и сейчас Европа? С ее-то теперешней верой, с ее скептицизмом, с ее фаустовщиной, так похожей скорей на вагнеровщину (Вагнер — ученик Фауста). Да, вот объяснение: отвернувшись от христианства, Гёте из тоски своего сердца извлек Фауста, но он же показал в Вагнере, этом сухом ничтожестве, что будет с каждым, кто без сил Гёте вздумает повторить его сердечные и умственные эксперименты. Но поговорим об истории. Ни реформации, ни мощного государственного строя, ни изящных общественных явлений не может сотворить европеец этого века и даже этих последних веков именно в силу губительного действия его школы, этой бедной вагнеровской школы, ученой, иссушающей, эклектической, безверной. Что может сделать эта толпа выпущенных из гимназии учеников? Умереть за крест? Вы знаете, что она не сделает этого. Пойти за Зевсом и, может быть, начать Renaissance? Оставьте, все засмеются такому предположению. Она ничего не может сделать, потому что самые силы и какая бы то ни было энергия к порыву, к героизму, к подвигу в ней радикально подсечены. Это — полумертвый человек, труп с вытаращенными стеклянными глазами. "У, чудище, скройся!"

Древние христиане, так же как древние эллины, удивились бы нашему воспитанию, осудили бы наше воспитание, ужаснулись бы ему. "Как

можно воспитывать человека вне родины его, и вне истории его, и вне его религии”, — сказали бы они. Мы, собственно, в школьном деле испытываем гипноз своего дела, невольное восхищение сапожника к несчастному сапогу, который он сшил. Америка — новая страна, не глупая вовсе, и не думает вводить классицизма, а мы едва отвыкнем от него, уже в следующем же поколении будем дивиться, каким образом воспитывали когда-то юношество на нем. Мы, собственно, с классической школой были глубоко и постоянно несчастны, но мы сроднились с этим несчастьем, и просто боимся выздороветь, потому что ”это — не то!”.

Да, классическая боль — есть наша привычная боль, и только. ”Оставьте меня так, как я лежу. Тут уже пролежни, и они срослись в коросту с простыней, не отнимайте меня от нее и не отнимайте ее от меня”, — говорит пациент качающему головой медику.

Сами классики не выступают с голосом и сейчас, несмотря на то что поставлено на карту все их существование, а главное — драгоценный для них кусок хлеба. Почему же они не говорят? Начали очень раздраженно проф. В. Модестов и кн. С. Трубецкой, но ничего не вышло. Выругались и ушли. Довода-то, доказательства-то у них нет. Отчего это? Гёте нашел бы довод, но он отрекся от Христа. А раз вы отреклись — доводы найдутся, доводы настоящие есть, доводы, пожалуй, труднооспоримые для христиан. ”Вы меня напрасно зарыли в могилу, — скажет Эллада, — посмотрите, ведь вы вырождаетесь, посмотрите на себя в зеркало — ведь гадко взглянуть, да и душонки-то у вас не настоящие, нищенские, не по Нагорной проповеди, а так, просто нищенские, в самом обыкновенном смысле, а я — живехонька, хоть и голодала в гробу 2000 лет по вашему завистливому и ничтожному, но, к счастью, бессильному приговору, голодала — а вот теперь выхожу. Давайте оливкового масла, давайте воды, я вас вымою, потому что очень вы нечистоплотны, христиане, вымою, а потом и куафюру сделаю, пойдем вместе на Олимпийские игры, на торжественные Панафиней, на Элевзинские таинства и их секреты; а ваше фарисейство — бросьте, пустяки это одни, смерть и вырождение и гроб!”

Никто и не дослушает этого, все разбегутся или скорей уложат двухтысячелетнюю ”упокойницу” обратно в гроб. Гёте дослушал до конца. Повторяю — эллинизм возможен; за него есть трудные для христиан доводы, но их лучше не затрагивать. А их не затрагивать — значит, и не понять ничего в эллинстве, значит, оставить только развращающее баловство в школах, баловство и еще притупление. Нам говорят иногда о возможности настоящего классицизма, какого-то гуманного и светозарного в школе. Это только обещания одни. Было тридцать лет в руках классиков, все они могли сделать, все они могли дать. И дали все, что могли, — сухость, формализм, убийство души. Отчего это? Да потому, что не гетевский классицизм, антихристианский, есть просто ничто, потемки, пустая комната. Ни богов, ни дьяволов.

Остается именно форма, и эта форма душит, губит. Классическая гимназия есть непременно сухая, формальная, черствая, именно какая была; вы или должны взять Каткова — Толстого целиком, без преобразований, или — начать рушить Христа. Выходов нет — и это в своем роде ноумен, т. е. такая постановка в споре.

В одном обширном зале дворца дождей, самом красивом, стоит в портретном медальоне надпись: "Hinc est locus Marino Faliere, decapitati pro criminibus suis"* . Вот это решительно. Под надписью — черное пятно, черная краска. Рядом — портрет и весь зал кругом в портретах царственных дождей. Но тот дож — преступил и умер, и его изображение стерто. Так все совершается в истории: умерло — значит, было виновно, а если было виновно — то для чего же, спрашивается, портрет?! Классицизм в школе и есть неудачное малеванье, мальчишеское малеванье, опасное при успехе и ничтожное при неуспехе, портрета Marino Faliere, decapitati pro criminibus suis, на черном замазанном пятне. Это начинающаяся измена христианству. Но, конечно, — измены нет, но лишь в меру того, насколько самое малеванье ничтожно, мизерно, антихудожественно, не имеет ни малейшего сходства с настоящим Marino Faliere, т. е. насколько классическая школа не удалась. Не удалась она — безопасно, начинает удаваться — страшнейшая опасность возникает для христианского мира, поднимаются гетевские вопросы, начинается панихида, но уже не по христианину, а по христианству. Удивляются иногда и указывают непонимающие на великое действие, на душу настоящего классического образования: да как же, впадая в тоскливые вопросы Гёте, но безмолвные, никому не рассказанные, не развиться на них до высочайшего умственного и вообще духовного истончения; ибо догадки Гёте — страшное потрясение души, как бы она сошла в ад и подсмотрела в преисподней, кто же оправдан и спасся и кто в аду неугасимом — христиане или эллины? Можно ли же такие вопросы бросать в толпу? Это — достояние единичных умов, и хорошо, что они ничего не рассказывают о себе и своих думах. Все на них дивятся. Какая тонкость мысли, какая нежность сердца и грустная задумчивость всю жизнь и звуки речи и стихов, как у побывшего в Елисейских полях. И филологи на них указывают. "А, вот плоды нашей школы", — говорит Кюнер. Оставьте. Плод вашей школы только вы сами, Кюнер. Но Кюнер и эллин ничего общего не имеют. Кюнер — сармат или скиф, дикий кочевник, только издали увидавший Элладу и ничего в ней не постигнувший. Нет, оставим спор и напрасные попытки реабилитации. "Hinc est locus Marino Faliere, decapitati pro criminibus suis". Это последовательно и без фальши.

Русский ум и русская власть делают, конечно, в школе шаг решительный, и он содержит в себе элемент риска, как всякое творчество, всякая своя дума и свое дело. Но этот подвиг русской мысли и русской власти

* "Здесь место Марино Фальеро, обезглавленного за свои преступления" (лат.).

вытек из всего положения вещей, и он неволен, он совершился бы все равно не сегодня — завтра. Поправляться, улучшать — придется. Но за главную сущность реформы раскаиваться не придется. Скажем более, скажем свою догадку: что как во многих решительных и собственных движениях своих, Россия даст толчок к аналогичному движению и на Западе!

ИЗ ВОСТОЧНЫХ МОТИВОВ

Каждый, кто любит Восток и сколько-нибудь интересуется его историей, знаком с так называемую солярную теорию происхождения большинства восточных религий. По этой теории в Египте, Вавилоне, Тире, Сидоне и даже отчасти в Греции люди поклонялись солнцу как главному божеству, луне — как второстепенному и всему множеству звезд — как духам или гениям. Все истории восточных религий объяснялись и до сих пор объясняются с этой точки зрения, в сущности неопровержимой, так как в исторических памятниках прямо и непрерываемо сказано, что, например, египтяне именем Ра или финикийцы именем Ваала называли солнце, а луна называлась у финикийцев Астартой, у вавилонян — Милиттой, у египтян — Изидой. Все знают, что Венера обозначает и вечернюю звезду, и богиню чувственных наслаждений у римлян, что у греков культ Аполлона есть солнечный культ, а Артемида или Диана есть луна. Читая книги этого содержания и, конечно, ничего не имея возразить против изложения, в сущности лишь переводящего на новые языки свидетельства греческих и римских писателей, я, однако, всегда задерживал в душе некоторое тайное недоверие к изложению, недоумение, удивление. Сейчас скажу об источнике его, а пока сообщу, что вовсе не я один из профанов не доверяю столь солидно установленной научной теории. Приблизительно в 95-м году, познакомившись с Вл. Сер. Соловьевым, я раз спросил, не знаком ли он с одним знаменитым египтологом, и, на утвердительный ответ, спросил снова:

— Что он говорит о происхождении египетской религии?

— Он объясняет ее солярную теорию.

— Но ведь это вздор?

— Мне кажется — вздор.

И он улыбнулся своею короткою улыбкою, прибавив:

— Но разубедить его в этом невозможно, как, впрочем, и всех ученых, совершенно согласно держащихся этой теории.

Теперь я скажу, почему так твердо и мальчишески назвал "вздором" мнение стольких компетентных умов и почему, приблизительно, улыбнулся Соловьев, почти согласившись со мною. Совершенно невозможно представить себе, чтобы люди, какой угодно степени дикости или наивности начали почитать богами солнце, луну и звезды, смотря на них так, как мы смотрим, и вычитая из их знания наши космографические

сведения. По теории этих ученых выходит, что "зрелище неба" минус "наша астрономия" дает в остатке солярную теорию; что, таким образом, все древние религии были невежественным или наивным звездочетством, которое и рассеялось, когда начала появляться настоящая астрономия. Но ведь для нас солнце есть приблизительно громадный раскаленный булыжник, луна есть огромный, освещенный солнцем, камень: скажите, пожалуйста, каким образом мы можем почитать, чтить камень, горячий или холодный, темный или светлый, — все равно! Если бы кто-нибудь сказал, что невежество древних не давало им понятия "камень" о небесных телах, то ведь это есть не укрепление, а начало разрушения солярной теории, потому что тогда это "другое, а не камень" и образует зерно древнего поклонения. Наши астрономы, которые во всех небесных светилах видят только геометрические движущиеся точки, пути которых они исследуют, не испытывают никакого религиозного чувства к постоянному предмету своего созерцания. Теперь, если древние испытывали это религиозное чувство, то к чему же, собственно, они его испытывали? К неизвестности? к непонятному? Но тогда у них началась бы наука, между тем ученые говорят о начале религии. Отношение к неизвестному возбуждает любопытство и размышление, т. е. науку и философию, между тем как начало религии есть умиление, есть молитва, есть доверие и любовь. Ощущение религии начинается там, где начинается ощущение святого, а не там, где появляется соприкосновение с неизвестным. Неизвестное пугает и гонит от себя, а ведь в Вавилоне, Тире, Сидоне, Египте, так же как и в России, человек влекся к Богу. Вот этого-то и нельзя себе представить, чтобы к раскаленным булыжникам, разбросанным по небу, человек протянул руки, воскликнув: "О, вы, святые камни", или "ты, золотистый песок, рассыпанный по небесной тверди!" Невозможно! Невероятно! А если невероятно, то не верна и вся теория, предполагающая в древних религиях несовершенную форму нашей астрономии, т. е. нашего механико-геометрического отношения к светилам небесным.

Может быть было другое отношение к ним, и тогда теория должна назваться по имени этого другого, как своего настоящего зерна. Вечерняя звезда называется Венерою, которая в то же время знаменует собою любовь; ну, если они в ней видели и чувствовали любовь, то, очевидно, эта часть культа и религии и будет не звездною, а любовною, что совершенно другое дело, не имеющее ничего общего с нашею астрономиею. Значит, древние люди, конечно любившие, как и мы, удивились, как чему-то таинственному и божественному, — чувству влюбленности, любви в себе и поклонились ему, положим, как фетишу. Но тогда зачем и каким образом они связали это со звездой? Иными словами, коренная задача истории древних религий будет заключаться в ответе на вопрос: каким образом им пришло на ум соединить чувство любви в себе со звездой и назвать звезду именем любви, *venus*, или любовь — именем звезды? На это-то не только не отвечают истории древних

религий, но и не ставят даже этого вопроса, а он главный, в нем скрыт ключ к загадке. Мы можем только указать на пример: наш Лермонтов вечно пел о звездах, это — характерно звездный поэт, и в то же время он вечно пел о любви, это есть характерно любовный поэт. Это есть почти единственная иллюстрация во всемирной литературе, которая всегда нам казалась очень много объясняющей в халдейских культах. Конечно, до дикости странно было бы предполагать, что в поэзии Лермонтова есть хоть какие-нибудь крупинки интереса к астрономии, что он есть "солярный поэт". Нет, он есть романтический поэт, и чудо, настоящее чудо начинается с догадки, что, значит, есть что-то обратно романтическое в небесах и звездах, почему в чувстве поэта любовь и звезды связались так постоянно и несколько тоскливо. Во всяком случае, поэт любил звезды не как камни или песок, не механически и не геометрически, как ими интересуются астрономы, а как отчасти живые существа, т. е. характерно по-халдейски:

Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним.

Неужели мы скажем, что тут разумеется комета в астрономическом смысле, комета Биэлы или какая-нибудь другая, определенная, геометрическая? Конечно — ничего подобного! И древние, назвав вечернюю звезду — любовью, а любовь — именем вечерней звезды, и сделали этот характерный лермонтовский шаг, этот оборот мысли, этот поворот души. У Лермонтова, вечно певшего про любовь и звезды, есть уже умиление — и поразительно, что оно опять направлено туда, куда было направлено в Халдее, — к Матери, к ребенку, к идеализму материнства и детства. Белинский удивился когда-то, как он, не изведав отцовского чувства, написал знаменитую "Казачью колыбельную песню", и, будучи очень сомнительным христианином, написал: "Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..." Между тем дитя и мать, идеализация детства и материнства дала в Египте и Вавилоне, например, в идеях Изиды и Горуса, вещи, решительно не соединимые с солярною теориею. Теперь я напомню, что в астрономических атласах созвездия обведены животными фигурами: Большая Медведица, Малая Медведица, Скорпион, созвездие Рака, Козерога, созвездие Девы, Геркулеса, Водолея. Изображения эти идут из глубокой древности, из Вавилона и Египта, дойдя до нас без перемен вида и чертежа. Но любовь, влюбление есть не только идеальное чувство, но и животное, жизненное, жизнетворящее ощущение; и как только в звездах люди почувствовали любовь, они поместили звезды внутри громадных небесных животных фигур. Связь здесь уже ясна, мостик уже перекинут. Астрономы, нам современные, давно предлагают отбросить эти не нужные ни для чего фигуры, мешающие их арифметическому счету, но древние смотрели на звезды не арифметически, — каково же было их огромное чувство романтизма в небе, когда они придумали эти

фигуры! Вот их религия! Вот ключ к ней! А что в ней и есть некоторая таинственная правда, т. е. небеса действительно живы и даже несколько "животны", "имей в себе ключи воды живой", мы можем видеть из того, что само христианство начинается со звезды и таинственного рождения Спасителя в яслях, в обыкновенных коровьих яслях, и среди животных стад, которые стерегли вифлеемские пастухи. До того это поразительно все, что мы не можем не отметить. Последняя халдейская звезда потухла над Спасителем, и, если бы позволено нам было несколько удлинить факты, мы сказали бы, что последняя халдейская звезда ниспала к нам Богом; упала перед изумленным Западом в сочетании всех тех условий, в каких мы находим "звездопоклонничество" на Востоке: Св. Дева — та же Мать; Предвечный Младенец; стада, пастухи. И царские дары, принесенные через Младенца "волхвами". Предчувствия всего этого мы рассматриваем в рисунках на потолках и стенах фивских и гелиопольских храмов.

Кто не знает странного явления сомнамбулизма. Лунатик идет, раскрыв глаза и ничего не видя, что открыто. Что такое лунатизм — наука не разгадала до сих пор, но согласитесь сами, что тут есть кое что для "лунопочитания", и притом вне идеи, что это есть остывший камень. Нет, луна не есть только остывший камень. В данном цикле фактов, столь непререкаемо связанных с фазами луны, у человека пробуждается какое-то второе око, внутреннее, и во всяком случае, не здешнее, не земное; есть психология, есть движения, есть намерения, о которых, "проснувшись к земле", он прежде всего ничего не помнит. Суть сомнамбулизма заключается в крепчайшем сне, в совершенной потере чувства действительности здешней и тотчас в открытии какой-то другой чувствительности. Какой? Никто не знает. Мы знаем только одно — луна. Но что такое луна? По астрономическим понятиям — камень такого-то размера веса и пути. А по явлениям сомнамбулизма — она действует на душу, усыпляет и пробуждает, усыпляет здешнее и пробуждает какое-то "тамошнее", дает, очевидно, какие-то видения, потому что человек идет, страшится, блуждает, ищет и вообще действует как бы актер в невидимой опере. Это — опять халдейская и в высшей степени соблазнительная причина переименовать "луну", в "Астарту", в милую девушку, делающую над человеком какие-то "пассы". Во всяком случае, тут есть просвет к древним религиям и восклицанию: "Живы небеса!" Точно там возятся какие-то животные, которых и обвели бледными линиями древние мудрецы. Конечно, они ничего не отгадали, но они правильно гадали. Колумб не знал Америки, но плыл в Америку; он представлял ее чудовищною неверно, но что было и есть то, что он представлял себе, — это остается верным.

Все так называемые языческие религии чрезвычайно схожи между собою и содержат в себе, разрабатывая до известной, не одинаковой высоты:

- 1) принцип звездный;
- 2) принцип животный или скорее — животнотворческий;

3) принцип романтический;

4) принцип чуда и святости, или на низшей степени, в грубых пережитках, или на ступенях недоразвития — принцип волшебства и умиления.

Эти элементы содержатся и во всякой поэзии, а также и в общем мистическом чувстве всех людей, породившем метафизику и вообще философские размышления. Все истинные философы и все великие поэты возвращают нас к звездам, к любви, к загадке жизни, к поклонению чуду и святости мира, т. е. ведут немножечко в Халдею. Еще точнее сказать: в каждом человеке есть немножко "Халдея", есть древнее, есть что-то от звезд: как будто, рождаясь, мы что-то захватываем в себя из того древнего тумана; частичка звездного полога свертывается, перекраивается, как-то сшивается необыкновенно — и получается человек, Иван Иванович или Петр Петрович, родившийся "такого-то года и числа", служивший там-то, но который нет-нет и посмотрит на звезды, как на родину, подумает о Боге, как о близком, и, словом, скажет: "Не здесь моя родина", "моя родная матушка и родной батюшка — там!"

Не так давно я читал прелестный рассказ из быта наших черемисов, крещеных, но с остатками язычества. Между подробностями описания мне запомнилось одно: среди деревни стояло старое-престарое дерево, к которому бедные и невежественные люди относились со страхом и благоговением: дерево было не то волшебное, не то священное; языческое было дерево, а не ботаническое; все знают, что колонны в египетских храмах распускались лотосами — черта параллелизма; одно и то же явление, но на высшей ступени; но я поразился гораздо более, читая через несколько времени римскую историю и найдя в ней сведение, что при котором-то императоре римляне пришли в большой страх, "потому что священное дерево, росшее в Капитолии, и, по преданию, посаженное Ромулом и Ремом — и с которым таинственно римляне связывали судьбу своего отечества, — окончательно в этом году засохло, не дав ни одного листа". Через несколько времени, однако, страх рассеялся, потому что старец-дерево не только дало лист, но и выкинуло еще ветку. Здесь был уже не только параллелизм, но полное единство в чувстве римлян и черемисов: а между тем какое расстояние от римского пантеона до жалких, нищенских представлений наших инородцев! Это подало мне мысль, что от Нила и до Северной Двины язычество всюду одно, но здесь оно выросло в чахлую березку, там поднялось баобабом, тут — полевая мышь, там — лев. Однако сущность одна и та же везде. В очерке меня поразило еще одно: по описанию русского путешественника, впрочем проведенного между ними целый год, они необыкновенно нежны и ласковы, вообще мягки в характере и чувство Бога у них необыкновенно конкретно и близко, приближено к человеку. Это было для меня чрезвычайно ново, ибо я привык представлять себе язычников грубыми и жестокими. Но каково было мое удивление,

когда, обычно читая Библию, я нашел у пророка выражение: "О дочь Халдеев: вперед не будут называть тебя нежной и роскошной" (Исаия, гл. 47, ст. 1). Кто знает язык пророков, резкий и пугающий, невольно будет удивлен эпитетом, до такой степени не отвечающим всему колориту речи и, очевидно, вызванным зрелищем исключительной нежности, как и роскоши. Исаия в этом месте называет "дочерью Халдеев" самый город Вавилон: "Девушка, дочь Вавилона, — сойди и сядь на прах: отныне нет тебе престола и ты будешь сидеть на земле". И затем сейчас — "нежная и роскошная". Очевидно, не только формы язычества, но и дух язычества — один и различается степенями поднятия, фазами развития, а не существом. И, задумавшись вообще над моментом роста в язычестве, я нашел в нем для солнца еще и другое положение.

Не то чтобы солнцу поклонялись в Халдее и Египте, но солнце породило египетский и вавилонский теизм, вызвало его семя к жизни и на берегах Нила и Евфрата вырастило его в баобаб, а на берегах Волги и Ветлуги вырастило его в клюкву. Отношение между Египтом и черемисами — есть отношение огромного к крошечному в одном порядке бытия. Все это — одна ботаника, говорящая о разных растениях; но как в клюкве, так и в пальме тоже заложено основание и одна сущность — клеточка — солнце. Таким образом, солнце есть производитель, есть родитель, "матушка и батюшка" самого чувства Бога, как оно сказалось некогда, на заре истории. Суть здесь не в астрономической теории, а в действительно существующей мистической связи солнца с человеком, у которого оно — растит волосы, определяет цвет кожи и вместе из которого оно растит неопределеннейшее и секретнейшее чувство Бога. Ведь притягивает же солнце землю — это мы знаем и знаем, что притягивает ее без веревок и рычагов. Теперь другое влияние, еще могущественнейшее, на человека, своеобразный солнечный сомнамбулизм: оно вызывает в человеке сны умиления, молитв, восторга, "нежности и роскоши" и, словом, человека-зверя, человека — "ком земли" преобразует в человека-молитвенника тоже без помощи рычагов и веревок, без посредства всяких вещественных знаков. Но сомнамбулист-человек, бродя в путях своей истории, раскрыв руки и ища Бога, как лунатик, в конце концов повернул лицо к небу и сказал: "бог — солнце". Только в этом смысле, а никак не в астрономическом, можно принять "солярную теорию", хотя не нужно оспаривать, что со временем, более и более просыпаясь к действительности, человек начал подходить к небу и астрономически. Из Лермонтова мог потом выработаться лаборант Пулковской обсерватории, но нет сомнения, что начал он петь о звездах не с "Пулковской точки зрения". А в этом — разница, и эта разница не замечена историками древних религий.

Проезжая иногда мимо китайского посольства, я вижу огромный их флаг, с изображением солнца и хотящего его пожрать черного дракона. Черный дракон — это небытие, отрицание, по всему вероятно — смерть. Вообще тут выражен принцип погашения солнца, и таковое

погашение определено как первое и главное, основное в мире зло. Солнце погаснет — и ничего не будет; не будет Китая, не будет нас вообще, и китайцы заботятся несколько и о нас, ненавидя своего дракона и любя свое солнце. Ведь и вавилоняне — "нежны", как китайцы — очень кротки. Во всяком случае это есть своеобразный вариант мистико-"солярной" теории. Даже в наших представлениях дракон играет какую-то роль, и только он нам представляется огненно-красным. Мы "в огне будем гореть" и вообще "огонь, по-нашему, есть ад; между тем в древности, совершенно обратно, огнем очищались, и в одном месте Библии (Второзаконие, гл. 4, ст. 24) Моисей говорит евреям: "Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель". Вообще огонь, т. е. обыкновенный и будто бы только физический, есть тоже загадка: все горит, сгорает, сгорая, обращается в нуль или рассеивается в стихии, как в смерти мы тоже обращаемся в нуль или рассеиваемся в стихии. Воздухом дышим, в воде тонем, но в огне сгораем — как ни в какой иной среде. Я раз видал, при пожаре огромной фабрики, как птицы во множестве бросались в огонь. Почему? Никто не знает. Было очень страшно и жалко смотреть. Бабочки тоже "летят на огонь", едва ли из одного любопытства, потому что тогда не обжигались бы. Их как будто тянет огонь, как землю тянет огненное солнце; как огненное солнце тянет растения из земли и из человека тянет мысли. Солнце рождает, солнце и сжигает; все мы рождаемся, а умирая, уходим "куда-то"... в солнце? на небо? Во всяком случае уходим не на астрономическое, а вот на какое-то другое, с ним параллельное романтическое небо, где "воды жизни" и которое мерещилось Лермонтову, а в Вавилоне его обвели животными фигурами.

Кстати, об этих животных фигурах, из которых четыре: орел, лев, дева и телец (созвездие Тельца) — попали даже в наши церкви и изображаются позади евангелистов как "четыре апокалипсических животных": с этими животными фигурами и вообще животным принципом в небе я соединяю древнее: "не убий". Почему "не убий", почему особенно и как-то страшно? Кровь священна: если "ключи жизни" в небе, то кровь священна и что-то страшное даже. Кровь иррациональна и чуть-чуть волшебна, добрым волшебством конечно; кровь есть добрый гений, а не просто сукровица. Убить сонного и моментально — так же страшно, как зарубить гиганта в лесу. Страх здесь — не страх сопротивления или опасности отпора, а именно страх пролить кровь. Мы боимся не человека, которого убиваем, а крови его. Она пугает. Раз пастух гнал стадо коров по улице, а навстречу в мясную лавку везли коровьи туши. Коровы, которые ведь никогда не видали ободранных коров и вообще для них это было непонятное и новое явление, казалось бы глухое и немое, каким-то иррациональным знанием все узнали: стадо взбесилось почти и бросилось на человека, шедшего за телегой, с ужасным воем, в очевидном смятении. Вот волшебный факт: как коровы узнали свою кровь и поняли, что тут "зарезано". Ребенком лет 8—9 я узнал, что

у нас на дворе будут резать корову, почему-то переставшую давать молоко. Я знал, что это "больно" и "убить" и, однако, чтобы видеть невиданное, влез на сеновал и стал смотреть из окна: корову привязали, наклонив голову, человек что-то пощупал у нее в затылке; но когда секунду спустя наша чернавка пала на передние колена без стопа и звука, я тоже упал от моментально сообщившегося мне страха и до сих пор чувствую, что это не только грех, но что было грехом даже видеть это. Да, коснуться крови — грех. Достоевский нарисовал в "Преступлении и наказании" вовсе не картину убийства и его последствий с филантропической стороны, а с этой мистико-религиозной. Кровь — в небесах, и перед небом начинаешь трепетать за нее. Трепет за убийство, этот особенный и мистический, вовсе не понятен с юридической стороны, как и со стороны жалости или "человеколюбия вообще": "я не старуху убил — я себя убил", "о, что старуха: я так ее ненавижу сейчас, что еще десять раз убил бы". Так рассуждает Раскольников, конечно верно и относя свои рассуждения к процентщице, к человеку вообще, к социальной единице, к члену общества, государства, нации. Все это — пыль; все это — земное; все это грозно земным судом и земной силой, а он прикоснулся и "посягнул" на неземную силу и открылся на него неземной суд. Да, "дева, телец, орел и лев" не напрасны в наших церквах, ибо они есть на небесах. В процентщице текла не сукровица, а эта, от "льва, тельца, девы и орла" взятая стихия, ей самой в себе неведомая и которую открыл Раскольников. Страшно открыть кровь человеку. Тут не боль — это второстепенное; не гражданское преступление — это опять переносно; да ведь и, наконец, есть такие люди, которых убить — подвиг, при смерти которых все облегченно вздыхают. Такой случай и взял Достоевский. "Удивительно, почему я вовсе не думаю о Лизавете, доброй, а об этой противной старушонке". Лизавета была повторением, второй единицей около первой в новом порядке испытываемого им бытия: прибавлялось только филантропическое сожаление, новое было в чувстве потерянности еще гражданки. Но все это потухло перед ужасом мистическим первой пролитой крови. Небеса уже спустились и раздавили его. Какие небеса? Астрономические ли? Нет, именно то таинственное, "животное" небо, какое рисовали в Халдее, и след этого рисования сохранился в наших астрономических атласах: пролить всякую кровь, самую виновную — есть все равно что стать "гигантом", которые полезли на небо с камнями — и Бог обратил их камни на их голову. Отсюда, в противоположность страху к первой крови, есть таинственное влечение к последующей крови: уже хочется еще заглянуть в таинственную и страшную даль; уцепился за край неба, и как ни поражаешься в голову — все держишься, и даже лезешь еще и еще. Страшно, но близко к Богу; преступно, но вижу Бога. Таков нечестивец, которого вспомнил Пушкин в "Скупом рыцаре", вероятно слышав о таких чудовищах рассказы:

Нас уверяют медики: есть люди,
В убийстве находящие приятность.
Когда я ключ в замок влагаю, то же
Я чувствую, что чувствовать должны
Они, вонзая в жертву нож: приятно
И страшно вместе...

Здесь обратный полюс чувству Раскольников, чувству раздавленности, подавленности. Такой убийца все больше и больше входит в таинственную даль, и некоторые странные полководцы, как Наполеон, Тамерлан, поднимающие ненужные войны и идущие, дымясь в крови, все вдаль и вдаль, может быть, имеют тут кое-что для своей психологии. Недаром Раскольников вспоминает Наполеона: "Почему я не такой же", "что нас разделяет", и в чудесном монологе он разгадывает психологию гения. Да, он ступил на первую ступень — и сотрясся; Наполеон стоял на последней ступени и уже тянулся. Но от первой и до последней ступени таинственная лестница крови говорит о себе, что она — святое, что это — страшное место, таинственная область, которой во днях земного своего странствия не должен касаться никакой человек. Сделаем еще замечание: все астрально-звездные культы заключали в себе элемент крови, жертвоприношений, "всесождений", от голубя и до быка: но и все эти цивилизации были не только нежны и мистичны, но, нарушая принцип мира в редких случаях, они не создали войны как ремесла, как профессии; не знали постоянного войска, а китайцы, например, изобретя порох, стали тратить его на иллюминации, а не на пушки. Они потому же не перешли от пороха к пушкам, почему не хотят переходить от грунтовых к железным дорогам: "Не нужно", "не хотим". Этот особенный мир души, мир быта может выработаться только в мистике крови; она проливается и там, однако с таким особенным страхом, какой не допускает до войн и даже до правильно, регулярно установленной смертной казни, как постоянной принадлежности суда. Восточные войны суть схватки, сшибки, потасовка, т. е. случай и беспорядок, а не что-то постоянно периодическое, намереваемое, предусмотренное. Изредка у них кровь разольется потоком Тамерлана; но вообще это — нежный и нервный Раскольников, трепещущий и как-то специально особенно крови. Так и евреи, у которых были старые добрые жертвоприношения, у которых женщины в известные дни месяца очищались, принося горлинок в жертву Иегове: сказать, что они лично и все компактно — трусы, нельзя. Нужно очень большое мужество в биржевых операциях; с другой стороны, во время южных погромов они дерутся яростно. Кажется, они не были трусами во время осады Иерусалима Титом. Но это — случай, казус жизни; тут — потасовка, драка, момент. Они, в спокойном состоянии, лично и все вообще — не идут на войну, бегут из войска с тем особенным страхом, предрассудком и смятением, как коровы бросились на провожатого коровьих туш. "Это — не мы и не наше! У нас — мирные жертвы! Мы — боимся крови, у нас — горлинки как замена

нашей крови Господу — голубиной”. Тут — Восток, в своей значительной глубине и правости... И Вавилон был ”нежный”, и Китай ведь был удивительно мирен и кроток, пока его не встревожили миролюбивые христиане, приносящие ”бескровные жертвы”.

О ПЕРЕВОДАХ ДРЕВНИХ ПИСАТЕЛЕЙ

(Письмо в редакцию)

Бывшие наши классики могут сослужить отличную службу своему отечеству и просвещению этого отечества. Мы говорим о переводе древних классических писателей на русский язык, — конечно не поэтов, а прозаиков. Несмотря на сто лет классического образования в России, это образование было поставлено у нас таким несчастным способом, что незнакомство русских с римскою и греческою литературою почти граничит с незнакомством с ними каких-нибудь едва начинающих учиться народов, болгар, сербов, румын. Ибо другие мелкие народности, как голландская, шведская, португальская, все же превосходят русскую и количеством переводов и вообще знанием древности. Мы просто лапотники, сельские неучи в отношении к классическому миру. А для того чтобы оценить, каково достоинство некоторых из наших переводов классиков, достаточно указать на знаменитые переводы г. Клевановым Тита Ливия — они же и служили подстрочниками в гимназиях, но несчастные гимназисты с отчаянием бросали на пол Клеванова, видя, что русский текст решительно не отвечает или отвечает лишь ”вообще” тексту римского историка. Творения Плиния, Цельза, Павзания, Дионисия Галикарнасского, Диора Сицилийского, Диона Кассия, интереснейшие сохранившиеся отрывки Маледона и архаических философов — все это никогда не говорило звуками русской речи. У нас есть два философских общества, но знаменитые биографии Диогена Лаэртца и до сих пор не переведены. Какую мировую роль сыграл ”Органон” Аристотеля, но и он не переведен. Сплошной позор — вот точное наименование качеств и количества русской переводной литературы древних.

При университетах, при Академии Наук, при остающихся классических гимназиях, при лицее цесаревича Николая в Москве, да и, наконец, при больших книгоиздательских фирмах и при редакциях ученых журналов могли бы быть сгруппированы многие, очень многие из бывших классиков и посвятить себя труду перевода древних прозаиков, конечно под хорошим руководством. Мне думается, за последним дело не стало бы. Достаточно назвать проф. Мищенко, давшего нам прекраснейшие переводы Геродота, Фукидида и Страбона, или проф. Ващенко-Захарченко, давшего классический перевод Эвклида, наконец, такого знатока древности, как г. Никитин, вице-президент Академии Наук — чтобы совершенно убедить всякого, что у нас нашлись бы отличнейшие силы

для руководства подобным делом. Классическому миру нисколько нет нужды умирать, и русским совершенно не для чего от него отворачиваться. Если прошла роль классиков как педагогического орудия, то еще предстоит начаться роли их как образованных писателей, ученых, историков, эстетиков и философов. Тут поприще безгранично. И на этом поприще отлично могут поработать бывшие преподаватели древних языков, между которыми ведь есть же люди весьма хорошо образованные и даже литературные.

”ДЕМОН” ЛЕРМОНТОВА В ОКРУЖЕНИИ ДРЕВНИХ МИФОВ

I

Мечта золотого века

”Демон” Лермонтова представляет собою литературную загадку. Известно, как рано начал поэт трудиться над ним, как упорно трудился потом. С ”демоном” он слил часть своей души, отдал ему некоторое поклонение. Но что такое ”демон”? Поэт дает обширное, сложное и подробное его изображение, рассказывает о нем не то быль, не то сказку, для которых мы не найдем материала в тех кратких словах, в каких описывается существо с этим именем (”сатана”, ”диавол”) в книге Бытия и в книге Иова. Лермонтов вовсе не то рисует, что там сказано, даже приблизительно. Но что же он рисует? В поэме вложено столько любви к сюжету и увлечения, что мы вправе видеть в ней зародыш отдаленного культа. К чему? К кому? Никогда на это не было отвечено. После многих лет размышления над этим вопросом, а также вследствие некоторых исторических находок и догадок, на какие нам пришлось натолкнуться при своих занятиях, мы пришли к выводам касательно этого сюжета, небезынтересным как с литературной точки зрения, так и историко-культурной. Если внимательно разобраться в теме, окажется, что сюжет Лермонтова стоит как бы в точке водораздела разных религиозных рек, причем как текущих, так истекших и еще могущих вновь потечь. К сожалению, сжато это нельзя объяснить. Выйдет неубедительно. Поэтому, извинившись перед читателем и попросив у него терпения, мы начнем речь несколько издалека.

В одном мало обратившем на себя внимание романе Достоевского, ”Подростке”, есть замечательный разговор. Говорит Версилов, старый барин нашей реформационной эпохи, прошедший большую часть жизни за границей и под старость вернувшийся в Россию. Говорит он со своим побочным сыном, ”подростком”, которого в первый раз встречает, замечает его даровитость, видит, что и сам горячо любим им, — и вот

в случайном разговоре раскрывает ему свою душу. Разговор глубоко автобиографичен для Достоевского, потому что в сохранившихся его письмах (том I, изд. 1882 г., стр. 295) сохранились подробности, вошедшие в этот диалог. Именно там упоминается, что, живя в 1867 году в Дрездене, он особенно был увлечен картиною "Abendlandschaft"* Клода Лоррена. Но мы переходим к диалогу. Версилов говорит своему сыну, как однажды в своих заграничных странствованиях он сел в вагон не того поезда, приехал в маленький немецкий городок, ему вовсе не нужный, занял номер, тоже в ненужной гостинице, и, усталый, заснул.

"И вот, — продолжает он, — мне приснился сон. В Дрезденской галерее я уже заметил картину Клода Лоррена, значащуюся в каталоге под именем "Ассиз и Галатея", но которую я всегда называл про себя "Золотым Веком". Но она, однако, приснилась ему не как картина, а как действительность, трепещущая и еще льющаяся в его жилах.

"Не знаю в точности, что мне снилось. Точно так, как и в картине, — уголок греческого Архипелага, причем и время как будто перешло за три тысячи лет назад; голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее побережье, волшебная панорама вдали, заходящее, зовущее солнце — словами не передашь. Тут заполнило свою колыбель европейское человечество, и мысль о том как бы наполнила и мою душу родною любовью. Здесь был земной рай человечества: боги сходили с небес и роднились с людьми... О, тут жили прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливыми и невинными, луга и рощи наполнялись их песнями и веселыми криками; великий избыток непчатых сил уходил в любовь и в простодушную радость. Солнце обливало их теплом и светом, радуясь на своих прекрасных детей... Чудный сон, высокое заблуждение человечества! Золотой век — мечта самая невероятная из всех, какие были, но за которую люди отдавали всю жизнь свою и все силы, для которой умирали и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть! И все это ощущение я как будто прожил в этом сне; скалы и море, и косые лучи заходящего солнца — все это я как будто еще видел, когда проснулся и открыл глаза, буквально омоченные слезами" ("Подросток", изд. 1882 г., стр. 449—450).

Как я заметил, сон этот автобиографичен. Тут проходит и как будто воспоминание о древности, история; но история вдруг оживляется, исторгает слезы у современного почти нам человека. Ниже Версилов и говорит, т. е. собственно отрицает перед своим сыном дошедший до того слух, что он "носил за границею вериги и проповедовал или принадлежал к какой-то секте или обществу". "Вериги мои оставь", — говорит он, и, поправляя слух, в сущности, подтверждает его, рассказывая о своем "сне". "Вот что такое было, а не секта, не общество". Но что же, однако, было? Видение золотого века, мечта его, тоска о нем,

* "Вечер" (нем.).

тоска как о вечном и возможном, без чего не были бы и не нужны пророки. Мы — временное; каждое поколение людское — поток. Но куда они льются все? Неужели в бытии этом, скорбном и больном, конец, венец?! О, нет, это было бы ужасно и это невозможно, потому что это ужасно. В Библии, священной книге, тоже указано, что был рай, были бессмертие и вечность, была безгрешность. Значит, это не только мечта живописцев, фантазия романиста, но и догмат позволительной веры. Вот за эту-то "веру", для этой-то "веры" Версилов надевает вериги. Это — было; но и это — будет. Опять это позволительно думать, потому что в "Апокалипсисе" открыто людям, что "отерта будет всякая слеза", "возвращено будет человеку бессмертие", "открыто будет ему древо жизни", о котором при падении человека сказал Бог: "Дабы не вкусил человек от древа жизни и не стал яко один из нас". Можно заметить, что, вспоминая историю, рисуя древний Архипелаг, Достоевский вместе с тем рисует человека "яко уже бога", безгрешного, какого-то нового, преображенного. Продолжая диалог с сыном, Версилов вдруг свой сон-припоминание сливает с отдаленными будущими судьбами европейского человечества, сливает с ожиданиями, что выйдет из Европы: "Выйдет то же, что было; опять — Греция, опять юность, вторая юность, второе и какое-то лучшее возрождение!" Это-то и исторгает у него слезы, это побудило его надеть вериги. В сущности, мечта эта позволительна. Первая глава Бытия (Эдем) сливается с последнею главою Апокалипсиса (Небесный, сходящий на землю Иерусалим). Есть всеобщее убеждение у человечества, что где-то "там" и "потом" настанет "рай", сливающийся красотой и счастьем именно с бытием еще не согрешившего человека. "Прочь от греха! вон из греха!" — на этом зиждутся религии.

Но мы заговорили о будущем. Не станем углубляться в него и особенно не станем углубляться в болезненную и скорбную метаморфозу человека-куколки в человека-бабочку, окрыленную, новую, по-новому чувствующую, новое все совершающую. Но ведь в самом деле "горилле-человеку" Дарвина почему не быть "куколкой", "хризолоидою", уже шесть тысяч лет лежащею в земле или на земле, но не вечною, не окончательною, не хризолоидою "к смерти", а хризолоидою "к воскресению"?! Ничего даже для науки невозможного тут нет, а для религии это совершенно возможно, да и прямо нам обещано! Бабочка все не так увидит, как кажется червячку. Она подымет. Увидит сверху леса, полетит над ними, увидит голубое небо, звезды, солнце: это — возможно! Между тем как червячок видит только черное дупло, в котором лежит он.

Но оставим зори будущего, оглянемся на зори прошедшего.

"Боги сходили на землю и роднились с людьми..." Психология античного мира, этого, напр., Архипелага или знойной Сирии, — умерла для нас. Сказания тех народов для нас представляются не органическими мифами, а какими-то медными мифами, так же мало говорящими

нашему сердцу, как дельфины-девы в решетке Литейного моста. Что такое эти дельфины-девы? Кусок меди. Но ведь есть подлинные дельфины и подлинные девы, живые, горячие, прекрасные. Так древние мифы. Они были горячи, и прекрасны, и живы. А откуда они, из какого духа родились — это вдруг дал нам почувствовать Достоевский в "Золотом сне" своем. Мы уже сказали, что он автобиографичен. В "Сне смешного человека", эпизодическом рассказе в "Дневнике писателя" (апрельский номер за 1877 г.), он снова возвращается к этому настроению. Нигилист и самоубийца, отравленный всею психологию современных нам дней, разбивает свой лик, "подобие и образ Божий", и — как бы в упрек ему, в наставление ему — ангел несет его душу... в иные миры. "Куда ты несешь меня? — спрашивает нигилист. — "Увидишь все", — говорит ему несущий дух. "Страх нарастал в моем сердце. Что-то немое, но с мучением сообщалось мне от моего спутника и как бы проникало меня. Мы неслись в темных и неведомых пространствах. Я уже давно перестал видеть знакомые глазу созвездия. Я знал, что есть такие звезды в небесных пространствах, от которых лучи доходят на землю в тысячи и миллионы лет. Может быть, мы уже пролетали эти пространства. Я ждал чего-то в страшной, измучившей мое сердце тоске. И вдруг какое-то знакомое и в высшей степени зовущее чувство сотрясло меня: я увидел вдруг наше солнце! Я знал, что это не могло быть наше солнце, породившее нашу землю, и что мы от нашего солнца на бесконечном расстоянии, но я узнал почему-то всем существом моим, что это совершенно такое же солнце, как и наше, повторение его и двойник его. Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в душе моей: родная сила света, того же, который родил меня, отозвалась в моем сердце и воскресила его, и я ощутил жизнь, прежнюю жизнь, в первый раз после моей могилы".

— Но если это — солнце, если это совершенно такое же солнце, как наше, — вскричал я, — то где же земля?! И мой спутник указал мне на звездочку, сверкавшую в темноте изумрудным блеском. Мы неслись прямо к ней".

Звездочка раздвигается в шар, в огромное тело. С изумлением он различает океан и очертание Европы. Тут Достоевский вкладывает в сердце человека, этого умершего нигилиста, удивительное чувство ревности к своей земле, родной земле, его отвращение и ужас, что есть еще такая земля. "Я не хочу другой, я хочу на прежнюю". Но спутник его уже оставил. "Я вдруг и совсем как бы для меня незаметно стал на этой другой земле в ярком свете солнечного, прелестного, как рай, дня. Я стал, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле Греческий Архипелаг, или где-нибудь на побережье материка, прилегающего к этому Архипелагу. О, все было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым наконец торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало их с любовью явной, видимой, почти

сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом и как бы выговаривали слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И наконец я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца, — о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты человека. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно было бы найти отдаленный, хотя и слабый, отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял все, все! Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди несогрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем. Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они увели меня к себе, и всякому из них хотелось успокоить меня. О, они не спрашивали меня ни о чем, но как бы все уже знали, так мне казалось, и им хотелось согнать поскорее страдание с лица моего”.

Речь Достоевского становится здесь сбивчивой. Он начинает новую главу рассказа. Главное, он хочет объяснить знание этих людей и их особую психологию. ”Мне казалось неразрешимым, например, что, зная столь много, они не имеют, однако, нашей науки. Но я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле, и что стремления их были тоже совсем иные. Они не желали ничего и были спокойны, они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и высшее, чем у нашей науки, ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, т. е. сама стремится сознать ее, чтобы научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которою они смотрели на них, и точно *они как бы говорили с ними будто себе подобными существами*. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что *они говорили с ними!* Да, *они нашли их язык, и я убежден, что те понимали их*. Так смотрели они и на всю природу, — на животных, которые жили с ними мирно, не нападали на них и любили их, побежденные их же любовью. Они указывали мне на *звезды* и говорили о них со мною о чем-то, чего я не мог понять, но я убежден, что они как бы чем-то *соприкасались с небесными звездами*, не мыслию только, а *каким-то живым путем*. О,

эти люди не добивались, чтоб я понимал их, они любили меня и без того, но зато я знал, что и они никогда не поймут меня, а потому почти и не говорил им о нашей земле. Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами. Они не страдали за меня, когда я порою в слезах целовал их ноги, радостно, зная в сердце своем, какою силой любви они мне ответят. Порою я спрашивал себя в удивлении: как могли они все время не оскорбить такого, как я, и ни разу не возбудить в таком, как я, чувства ревности и зависти? Много раз я спрашивал себя, как мог я, хвастун и лжец, не говорить им о моих познаниях, о которых, конечно, они не имели понятия? Они были резвы и веселы, как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они пели свои прекрасные песни, они питались легкою пищей, плодами своих деревьев, медом лесов своих и молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка. У них была любовь и рождались дети, но никогда я не замечал в них порывов того *жесток*го (курсив — Д-го) сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным почти источником всех грехов нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям как новым участникам в их блаженстве. Между ними не было ссор и не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью. У них почти совсем не было болезней, хоть и была смерть; но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видал, а была лишь умножавшаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. Подумать можно было, что они еще соприкасались с умершими своими даже и после их смерти и что земное единение их не прерывалось даже и смертью. Они почти не понимали их, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и непрерывное единение с Целым (у Д-го с большой буквы) вселенной; у них не было веры, но зато было твердое знание, что, когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого мгновения с радостью, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего, о которых они сообщали друг другу. По вечерам, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры. В этих песнях они передавали все ощущения, которые доставил им отходящий день, славил его и прощались с ним. Они славил природу, землю, море, леса. Они любили слагать песни друг о друге и хвалили друг друга, как дети; это были самые простые

песни, но они выливались из сердца и проникали сердца. Да и не в песнях одних, а, казалось, и всю жизнь свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая. Иных же их песен, торжественных и восторженных, я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во все их значение. Оно оставалось как бы недоступно моему уму, зато сердце мое как бы проникалось им безотчетно и все более и более. Я часто говорил им, что я все это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на нашей земле зовущею тоскою, доходившею подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть на земле нашей на заходящее солнце без слез...”

Здесь мы можем прервать удивительный рассказ. Читатель видит, что это тот же “Сон”, который Версиров рассказывает своему сыну. И, как там, — опять Архипелаг, Средиземное море, Греция. Но они ли одни? Достоевский извлек из своего сердца новое чувство и, чтобы объяснить его, чтобы что-нибудь дать в нем почувствовать читателю, указал на Грецию. В родном нам мире, в европейском современном мире, он ничего не мог указать аналогичного. “Мы уже лживы и завистливы”, — оговаривается он в одном месте. “Они — невинны, а мы пропитаны грехом и чувством греха”. У Хрисанфа, в “Истории религий древнего мира”, в рубрике “Греция” (т. III), я прочел, что особенностью греческого религиозного сознания было отсутствие чувства греха. Слова так важны, что следовало бы цитировать, но сейчас я не имею под рукой книгу, а мысль запомнил. Хрисанф объясняет, что вся психика греков была от этого какая-то прозрачная и легкая, что у них не было пут души, тех пут, которые, увы, так знакомы нам! Без сомнения, по картинам новых художников, как “Ассиз и Галатея” Клода Лоррена, да и по чтению кой-каких переводов, по общему сложению мифов Достоевский отгадал главную тайну Эллады, и, когда в сердце его, больном, усталом, померещился вещий сон, он указал: “Вот! вот! как в Элладе — безгрешные, как и они”.

Мифы — тупы нам; то же, что чугунная решетка в Летнем саду. Но ведь они были живы, они были тело с кровью, с дыханием. Оставим их. Важны не мифы, а дух, из которого родились мифы. Достоевский в изумительных своих снах и дает эту психологию, это чувство, совершенно умершее, каменное для нас, но для него, нашего великого романиста, ставшее на минуту — однако только на минуту — живым. “У них не было храмов”. Откуда это он узнал, когда Греция была полна храмами? Но вот в одной записи Варрона, сохранившейся у бл. Августина, в самом деле сказано, что Рим в течение 170 лет начального существования вовсе не имел никаких изображений божеств, т. е. уж конечно тоже не имел и храмов. Вера была, было чувство к Богу, но не было его имени и не было его образа. В сущности, мы знаем только декадентскую фазу язычества, когда Апеллесы и Мироны, не веря в бо-

гов, начали изгонять из воображения разные фигуры и сказали грекам бедственное: "Вот — ваши боги". Тогда религия исчезла. Настало искусство, началась история, но история и искусство именно и родились тогда, когда умер "золотой сон человечества, когда боги еще сходили на землю и роднились с людьми..." "Век Сатурнов, век золотой" — это почти слова Достоевского, которыми римляне называли неясную полоску бытия, скрывавшуюся за Ромулом и Ремом. "Об этом и мы помним, о чем помнит ваш Достоевский", — могли бы сказать они нам. "Простое воткнутое в землю копьё служило первоначальным изображением Марса, а Юпитера боготворили вначале под видом просто камня", — пишет один историк. Т. е. что же такое было?! Да вот — земля; тут был человек, стоял, воткнул копьё — и я целую землю, на которой стояли его прекрасные ноги. Чувство Достоевского, и ничего более. Очень хорошо известно, что Jupiter, как и Dios греков, обозначал вначале просто блестящий небесный свод: т. е., опять как у Достоевского, "они поднимали руки к небу и, составляя торжественные хоры, пели простые и прекрасные песни". Теперь троньте иглою какую-нибудь точку вещего "Сна" Достоевского: в уколе покажется кровь, обозначится имя, выскочит статулька. В сущности, уже весь "Сон" статуеобразен, богообразен: нет еще имен, знаков, формул; язык немотствует, а сердце полно любовью и... религией! Еще минута, еще час мировой зрелости для этих "невинных, милых людей" — и боги посыплются как из рога изобилия и засыплют человека и его бытие именами, формами, мифами. "Италия до того полна богами, — говорит поэт-скептик про сельскую религию своего времени, — что в ней легче встретить бога, чем человека". "Людей много, а богов — больше", — говорили египтяне. Уж если воткнутое в землю копьё есть *deus mars* (пишу с маленькой буквы), то, конечно, — богов слишком много. "Каждое-то деревцо, каждый-то камешек", — это пишет и Достоевский. "Деревья понимали их, о, я уверен — они нашли язык птиц". Это — дриады, или вещие птицы "Гамаюны", наших славян. О, и славяне имели свой золотой сон, свою мифологию — брусничку, как итальянцы имели мифологию — пинию и сирийцы мифологию — пальму. "Золотой сон — всюду был". "Они указывали на звезды и не знали их, но имели какое-то тайное внутреннее общение с ними". В Ватикане египетская коллекция помещена в залах, двери и потолок которых имитируют египетские храмы. Нельзя было не почувствовать восторга, уже издали подходя к ним: голубое, темно-голубое небо и золотые в нем звезды сплошь — без перерыва — во всех залах! Это так хорошо, это такая иллюзия, так прекрасен был человек, когда, задумав первый храм, он усеял его звездами, стащил к себе небо, понизил небо до своего строительства, ввел в свое строительство! Из искусственного человеческого жилья, с мраморной лестницы папского дворца вы входите... просто в звездную ночь, просто в прогулку по знойным пустыням под южными звездами! "Вот наш храм — другого не имамы". "Дети солнца, дети своего египетского солнца — как они были прекрасны!" В поздние, очень поздние века они пришли к мысли: "Нет, есть

имя у этого прекрасного Целого” (с большой буквы у Достоевского), мы хотим Его назвать, Его благодарить — за прекрасное бытие наше! ”Они стали собираться”. Нужно же ”место” для ”согласных торжественных хоров” — вот первая идея храма, первая потребность храма. Но как его сотворить?! Да, сотворить — солнце, сотворить — луну; и голубое небо, и звезды — и петь! Пифагорейцы, — а Пифагор посетил Египет и научился там ”золотому сну человечества”, — всходили рано утром на высокую гору, когда она одна еще золотится, а остальная земля лежит в сумраке, и, дожидаясь, дождавшись секунды, когда мокрое в свежести светило отделяется от вод моря, ”пели ему торжественные”, ”непонятные уже развращенным эллинам ”гимны”! ”У эллинов теперь Апеллесы; они все забыли, они — лжецы и хвастуны, но мы воскресим древнюю веру!” — сказал Пифагор, образовав свой союз-орден, а современники развращенные, ”цивилизованные” дивились на него и говорили: ”Это и не бог и не человек, это — Пифагор” (”ουτε Θεος ουτε ανθρωπος αλλα Πυθαγορας”). Пифагор решился практически, житейски водворить ”опять золотой сон”, надел для этого ”вериги”, как Версилов, и был распят, как автор ”Золотого сна” у Достоевского (бунт против пифагорейцев и избие-ние их в Кротоне)... ”Так кончаются попытки пророков”. ”Они дружились с животными, животные не терзали их, проникнутые их великою любовью”. Кто же не знает, что везде был ”животный эпос”, когда животные говорили людям, а люди — животным, и взаимно понимали друг друга, и превращались друг в друга. Олег (наш) ”рыскал волком по полям” (оборотнем); сейчас для нас это — злая сказка; волк — лют; но при Олеге он не был еще лют, и обмен шкур происходил вовсе не так, как представляется нам, христианам; волхвам Новгорода он представлялся... как ”золотой сон” Руси, когда еще ”люди говорили с деревьями, и деревья понимали их, и понимали каждый листик, и изумрудную звездочку”. Все было согласно. Великое ”Целое” еще не разрушилось. Но я говорю о минуте, когда оно начало рассыпаться: тогда посыпались боги, ибо все стало богом, ибо уже ранее каждая вещь была богом, ”пальчиком”, ”ножкой”, ”волоском” великого Целого. ”Золотые персты Эос” — это заря у греков. ”Удивительно, как много богов”, — восклицают все историки. ”Варрон начинает исчисление богов, — пишет блаж. Августин, — от зачатия человека... затем он указывает на других богов, заботящихся не о самом человеке, а о его нуждах, каковы, напр., пища, одежда и все, что необходимо для сей жизни” (”De civitate Dei”, VI, 9). Да что такое?! Да то, что, где ни тронь иглою, — тронешь божеское место, ”святое”, и уж только найди имя, догадайся о лучшем ему образе — а бог есть. ”У римлян мы, напр., находим такого бога, который заставляет ребенка издать первый звук — Vaticanus; и другого, который заставляет его произнести первое слово — Fabulinus; каждый из них имеет только это назначение и призывается только в этом случае. Имя подобных богов просто выражает собою их обязанности, что доказывает, что вне того акта, для которого их призывают, они не имеют действительного существования. Значение их чрезвычай-

но ограничено; самый ничтожный случай порождает иногда несколько божеств. После того как ребенок отнят от груди, одна богиня, *Educa*, научает его есть; другая, *Rotina*, — пить; третья, *Cuba*, — спокойно лежать в своей маленькой постельке. Когда он выучится ходить, четыре богини обязаны наблюдать за его первыми шагами: две из них сопровождают его, когда он выходит из дому, а две другие — когда он возвращается домой: *Abeona* и *Adeona*, *Iterduca* и *Domiduca*". Человек, малютка, можно сказать, ступает по "богам", как мы по мураве в поле; повернулся — и "божок"; но это он направо повернулся, а если налево — другой "божок". Да где же нет "бога"? Как где?! Конечно, нигде, везде — "бог", и "былинка", и "звездочка". "Отцы церкви, — кончает историк, которого мы цитируем, — немало смеются над этою "толпою божков, принужденных исполнять самые низкие обязанности" (Гастон Буасье. "Римская религия от Августа до Антонинов"). "Самые низкие обязанности!" Но "золотой сон" и самая сущность его в том именно и заключается, что люди еще не научились "различать доброго от лукавого" и для них не было "зла" "низкого", а только одно высокое и святое. И сколько было "святого", столько было "богов", "божков". А как было все свято, "из рук божиих", еще цело и не рассыпалось, то, очевидно, и "имен божиих" было почти столько, как песку на берегах их прекрасных речек. "Это — самые настоящие римские боги; в то время как жрецы вносили их имена в *Indigetnamenta**, Рим еще не находился под влиянием Греции", — заключает описание Гастон Буасье.

"Жрецы..." В согласных и непонятных "хорах" были предводители: "Пойдемте на вершину холма и воспоем гимн заходящему солнцу: оно уже клонится к морю". Да что запеть? "А вот — слова песни простой и прекрасной". Всех трогает солнце; все мы его чувствуем, "но не все умеем выразить, а ты — сумел. Хвала тебе и благодарность, чистейший из нас". Песню "богу" поет тот, кто чист, а чист тот, кто глубже, страстнее чувствует солнце и чей "лик прекрасный наиболее похож на лицо ребенка в самые первые его годы". Но мы прервем. И так ясно, что в самом деле Достоевскому приснилась былая истина, нечто бывшее, и что-то и грядущее возможное, за что стоит надеть "вериги".

ОБ АТЛАНТИДЕ

Прочитав в "Новом Журнале Иностранной Литературы" *интересную статью* "Действительно ли существовала Атлантида"**, я вспомнил тему, давно меня занимавшую, и решаюсь предложить читателям журнала ряд мыслей, уже много лет назад у меня сложившихся на данную тему. От Атлантиды сохранились не известия, а *воспоминания*. Самое обширное из них принадлежит Платону и изложено им в "Тимее",

* молитвенные формулы (*лат.*).

** См. "Новый Журнал Ин. Литер.", № 6 и 7 ("Из прошлого").

диалоге, трактующем об устройстве мироздания. Но там слова об Атлантиде отличаются чрезвычайно конкретностью и таким тоном, который заставляет видеть в этом воспоминании относительную свежесть. В средние века и в начале новых в существовании Атлантиды так мало сомневались, что именем ее был назван один политико-утопический *трактат*. Туда переносили идеалы политико-социального устройства, каких не находили в современности. Но была ли в самом деле Атлантида? Строгие и сухие ученые видят в вопросе этом праздное любопытство, не поддерживающееся никаким серьезным интересом. Была или не была Атлантида, это им представляется менее занимательным, чем точное измерение высоты какого-нибудь пика в Азии или Африке. "Наука есть точный и нужный факт", — говорят они. Но есть другая часть ученых, не худшая, которая требует от науки и некоторой поэзии, не избегает вопросов из чистого любопытства и пользуется методами воображения, соображения, догадки. Эта часть ученых в общей массе их занимает роль фермента, бродила. Наука закисла бы, наука прокисла бы, если бы эти ученые "грибки" своим воображением не приводили в движение массу старых мнений и фактов, всегда имеющих тенденцию пасть на дно и там лежать неподвижно.

Вопрос об Атлантиде вовсе не лишен интереса и с точки зрения понимания точного факта теперешнего устройства земли. Именно в связи с последним у меня и возник некогда вопрос: "не была ли Атлантида?" Вопрос этот вскоре перешел в убеждение, что Атлантида "должна была существовать", и если бы ее не было, в устройстве земных материков была бы ясная недостача, нехватка. Слова Вольтера "Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer"* я с улыбкой перефразировал о материке Платона, о котором если бы не сохранилось даже никаких древле-исторических воспоминаний, то его пришлось бы новым географам все равно гипотетически добавить к числу существующих материков.

* * *

Преподавая в течение двенадцати лет географию и всегда имея на стене класса карту стенных полушарий, я не мог не заметить очень скоро, что суша среди океанов не имеет характера набросанных комьев, как это должно бы быть, если бы происхождение материков было абсолютно случайно. Земля устроена, а не произошла кое-как. Читатель, который мысленно сравнит поверхность луны, как она видна в сильнейшие телескопы, с землею, поймет, о чем я говорю: в возвышениях Луны есть глубокая разнохарактерность с земными; там плоскогория и горы действительно брошены, и их можно приравнять к тому виду, какой получился бы на белой стене, если бы мы на нее бросили, разбрызгивая, пригоршню жидкой грязи. Луна испещрена возвышенностями. Но земля среди вод не *пестрит*; она явно *сгруппирована*; и если мы не смеем

* "Если Бог не существовал, то его следовало бы выдумать" (*фр.*).

говорить о плане, то, во всяком случае, с полным правом употребляем термин, как-то сам собою привившийся у географов, об ее *устроении*. Однако брезжится нашему уму, что где устроение — там и план. План, может быть, не сознательный, план, может быть, безотчетный, но, во всяком случае, план как *порядок*, как отрицание непоследовательности и случайности. Этот порядок, очевидный, бьющий в глаза, и заставил географов установить главные точки своей науки — *материки*.

Их считается три: восточный (Азия, Африка и Европа), западный (Америка) и южный (Австралия). Здесь материком считается *непрерывность* огромной массы суши. Однако понятие это так искусственно или шатко, что оно не нравилось общему сознанию, и всегда, говоря о земле, распределяют ее в так называемые части света: Европу, Азию, Африку, Америку и Австралию, которые на самом деле и представляют настоящие члены видной из-под вод части нашей планеты. Но каждый сейчас же убедится, что из них Европа есть "часть света" только по нашему самолюбию. Через Кавказ и Урал она так мощно слита с Азией, как слита одна половина туловища с другою через спинной позвоночник и идущие от него ребра. Горная цепь, как утолщение материка, как особенно твердая, каменная его основа, — конечно, сливается. Она разделяет лишь народы, историю, но это гуманитарное деление ни малейше не затрагивает планетное и геологическое. Члены разделяются выемками, впадинами, т. е. морями и, отчасти, низменностями. Но где горб — там слитие. Европа в географическом смысле есть северо-западный, далеко выдвинутый вперед угол Азии, "морда Азии". Настоящих географических, планетных членов четыре: Америка, Азия (с Европой), Африка и Австралия.

Если бы спросить кого-нибудь, который из этих членов полнее развит, то, вероятно, всякий, присмотревшись к полушариям, ответил бы: Америка. В самом деле, — ответим гипотетически, — что такой развитый член есть Азия. Конечно, она велика, извилиста; но достаточно спросить, есть ли у нее что-нибудь, что отвечало бы Южной Америке, этому плотному, сжатому туловищу Америки, или ее нижним конечностям, слившимся, сросшимся, как у рыбы ее задняя половина, — и мы ответим: "Нет! Конечно, в Азии ничего подобного и аналогичного нет!" В Азии — нет, а в Америке — есть; Америка — полнее. Обратное: в Австралии и Африке нет этой широкой головки Америки, где она тянется между Аляскою и Лабрадором; между тем у Америки есть австралийско-африканская часть: это именно Южная Америка. Но мы еще не сравниваем, а только избираем идеально развитый член суши, дабы иметь в нем мерило для других. Это — Америка.

Она — двучленна. Члены необыкновенно тесно связаны, ибо Кордильеры идут через шейку, через Панамский перешеек, и они идут до самых оконечностей как нижнего, так и верхнего члена. Мы имеем перетянутый (как поясом) водами океана полный материк, но совершенно разного устройства в северной половине и в южной. О южной мы уже

говорили: она сжата, стеснена, похожа на рыбу в нижней суживающейся ее половине, но на рыбу, которая в этой своей части не имела бы ни одного плавательного пера. Ибо Америка здесь на колоссальном своем протяжении не имеет ни одного полуострова и ни одного залива: факт прямо поразительный, прямо отрицающий, чтобы материки происходили хаотически и случайно по аналогии кома грязи, брошенного на стену. Общий план, как бы покроем этого южного члена, — опрокинутый треугольник, которого одна длинная сторона обращена к западу, а две короткие, сходящиеся в угол, — к востоку. Южная Америка имеет три угла: острый, около Панамского перешейка, острый, около Магелланова пролива и Огненной земли, и тупой — к востоку. Три линии, три угла, ни одного полуострова, западная линия чуть-чуть ломаная, вдавленная внутрь, соответственно огромной выпуклости на восток правой (если смотреть к северу) линии.

План устройства северной половины этого идеального, прототипического материка обратен только что описанному. От шейки (от Панамского перешейка) он все ширится к северу, раздаваясь между Лабрадором и Аляскою на необычайную длину. Но он ширится не сразу: он как будто играет с морем, то побеждая его тягость, то побеждаясь его тягостью. Повсюду выпускаются члены (полуострова). Перья рыбы — все здесь, но голова — не сжата, а как у молота-рыбы раздвинулась в одну и в другую сторону. Калифорния и Юкатан висят, как руки. Вот еще сравнение: заставьте у человека срастись ногам, и его верхняя развитая половина — грудь, плечи, руки, особенно руки растопыренные, — напомнят вам Северную Америку в ее противоположении южной. Мы накидываем сравнения, чтобы ярче у читателя запечатлелся образ. Еще эту Америку, по ее непрерывному расширению кверху (к северу), можно сравнить с чашечкою цветка. А сидит она суженным нижним бугорком на ножке-стебельке — Панамском перешейке.

Азия (с Европой) аналогична Северной Америке. Та же чашечка на стебельке — Малакке. То же сужение к этому стебельку, но еще большая раскинутость по параллели (с востока на запад) в верхних частях. И та же победа или поражение морем, заливы, полуострова, полное отрицание сжатости сторон, слитности форм. Наконец, как Северная Америка явно тянется к северо-западу и имеет западную линию длиннее восточной; так, начиная от Малакки и кончая Пиренейским полуостровом, Азия (с Европой) невероятно далеко забрала к западу, а восточная ее линия круче поднимается к северу более кратким путем. Однако Азия (с Европой) перед Северной Америкой то же, что кит перед моржом. Это — материковый колосс. Однако и центр тяжести, высочайшее плоскогорье с горами, там и здесь расположены одинаково относительно ножки-стебельки: Гималаи с восточно-азиатским плоскогорьем, как и плоскогорье Ута с двойной цепью скалистых и утесистых гор, одинаково лежат: а) неподалеку от Малакки и Панамского перешейка и б) в направлении северо-запада от него. Но главное, что нам нужно запомнить, это — что

Азия есть колоссально развитый северный член, подавляющий, чудовищный.

Если земля имеет меры, если она вообще скроена и уравновешена в частях, то мы должны около этого кита-материка искать рыбку "без перышек", небольшую, но которая слитностью, сжатостью ответила бы Южной Америке. Ведь идеально полный материк — двучленен. Азия же явно одночленна, явно есть только северная половина какого-то северо-южного сцепления, комплекса, целого. Это — Австралия. Вот рыбка около кита. Она — тот же опрокинутый треугольник, выпуклый к востоку, вдавленный с запада, без полуостровов, без заливов, кроме единственного — с севера. Залив этот большой, яркий, входит в план материка. Обращаясь к Южной Америке, мы и на ней находим именно в соответствующей же точке, на севере, крошечный залив и отделенное от него тонкою пленкою суши значительное озеро: как бы точками и бледно намечено то, что в Австралии проведено толстою, жирною чертою. И в анатомии есть "рудиментарные", "зачаточные" органы, коих физиологическое значение ничтожно, но они важны, как указатели сродства организмов, параллелизма органов. В углублениях пещер есть вечно темные озера; в них — рыбы. Глаз им не нужен, им нечего видеть. И его нет. Но есть точки, пятнышки на месте — глаза, "рудиментарные очи", увидя которые ученый говорит: "Узнаю единый план вселенной". Так, эти небольшие, но совершенно единственные заливы Южной Америки, соответственны заливу Карпентарии в Австралии, также единственному. Далее, по отношению к Азии Австралия так же отброшена на юго-восток, как Южная Америка в отношении к Северной. И весь материк Австралия — Азия (с Европой), как и две Америки, тянется в северо-западном направлении.

Теперь мы имеем Африку, аналогия которой с Австралией и Южной Америкой бросается в глаза. Этот же горб с востока, упирающийся в мыс Гвардафуй, впадина с запада. Как бы живое существо, надломленное посередине, согнувшееся к западу: это есть тип строения всех трех южных членов. То же отсутствие заливов и полуостровов, за исключением единственного с севера: Габеша и Сидры, и между ними моря, что суммой своею напоминает тип и план Карпентарии. До известной степени громадный Нил напоминает собою Амазонку: ведь если точку Южной Америки, примыкающую к Панамскому перешейку, в Африке искать где-то около Гибралтарского пролива, то мы получим, что Нил впадает в море в той же части этого материка, как и Амазонка в Америке: на $\frac{1}{3}$ высоты правой линии берега. Во всяком случае, Амазонка и Нил суть две самые огромные реки земного мира и в них есть аналогии, в них больше аналогии, чем между Нилом и Миссисипи, или Нилом и Волгою, или Нилом и Енисеем, или Янь-Тце-Киангом. Едва мы назвали последние невозможные аналогии, как читатель воскликнет: "Конечно, только с Амазонкою есть у Нила аналогия". Но где же северный член этого комплекса? Мы имеем Австралию — и около нее есть Азия; имеем Южную Америку — и около нее есть Северная. Но

третий опрокинутый треугольник не имеет над собою распускающегося цветка; или, пожалуй, старое, бесчленное туловище не имеет плеч и головы и раскинутых рук. Это — Атлантида...

Она исчезла. Потому что если бы она не исчезла, ее "пришлось бы изобретать". Чуть-чуть влево от Гибралтарского пролива должна была быть узенькая, длинная шейка, гибкая, не линейная, в северо-западном направлении проложенная, которая должна была оканчиваться небольшим материком, разве немногим побольше Австралии, и в северной своей линии чрезвычайно раскинутым по параллельному кругу. Вполне даже возможно, что ее "Лабрадором" была Ирландия или Великобритания, а ее северо-западный тупичок, аналогичный тому, который в Америке примыкает к Берингову проливу, остался в форме Исландии. Во всяком случае, если в Америке мы имеем почти равенство северного и южного членов, в Австралии имеем крошечный южный член при колоссальном северном, то, раз "меры мира соблюдены", в Африке мы должны видеть огромный южный член, при котором северный был сравнительно невелик, даже мал. Но при изменяющихся величинах тип строения сохраняется. Именно в типе строения всех северных членов и всех южных лежит что-то главное. Вот почему строение береговой линии Атлантиды, как и ее общее протяжение, ее, так сказать, уткнутость носом в северо-западный угол (Исландия?), чрезвычайная длина западной линии и кратность восточной, обилие именно у восточной линии заливов, полуостровов, островов, — суть факты, хорошо обеспеченные для географа.

Острова Зондские, Филиппинские и полуостров Малакка суть разорванные "рудиментарные органы" сохранившегося в Америке в цельном виде Панамского перешейка. Между Африкою и Атлантидой также могли лежать или цепи островов, или цельный перешеек: во всяком случае, в Азорских и Канарских островах мы находим несомненные остатки когда-то бывшего здесь более полного целого. Вообще цельность или разрыв такой-то массы суши уже не входит в план планеты. Между тем строение материков и их взаимное соотношение суть непрелюбимые очерки плана. В самом деле, решительно невозможно отрицать, что северо-западное устремление всех названных нами земляных групп имеет такое в себе единство, которое исключает мысль о случайности. "Случайность" расположила бы материки — одни вдоль и другие поперек, одни бросила бы к северо-западу носом, другие — к северо-востоку; разветвила бы в одном случае северный член, в другом — южный; или еще лучше: создав Америку так, как она лежит, шлепнула бы восточную сушу круглым пятном. Вот — случай каприза и фантазии. Но если, имея перед собой кучу раскиданных игральных карт, вы к одной подносите большой палец, покрытый клеем, к другой — указательный, к третьей — средний, к четвертой — безымянный и к пятой мизинец и, приподняв ладонь, находите, что к ним прилипли шестерка червей, шестерка пик, шестерка трэф и шестерка бубен, а к пятому пальцу при всех ваших

усилиях более ничего не прилипло как бы за недостаточей пятой масти в колоде и пятой шестерки, вы воскликнете: "Тут — порядок! Это — закон, план, уговор, подтасовка, хитрость, но во всяком случае это не удача, не случай, не каприз фортуны".

И вот этот "уговор" или "подтасовку" подземных сил или космического "игрока" и раскрывает существование Атлантиды. В этом-то отношении воспоминания Платона имеют волнующий интерес.

НЕДОГАДЛИВОСТЬ

Терпеть не могу ничего некрасивого.

Иду по Невскому. "Трр", "трр", "трр", — и, разгоняя экипажи, пугая пешеходов, промчался мотор со своей керосиновой душой. Моторы ездят заметно быстрее экипажей. Пока их немного, а что главное — заметно, что они не прививаются к фешенебельной публике. Сидящие на моторе господина всегда принадлежат к средней и даже несколько ниже чем средней публике. Нарядная дама и щеголь-кавалер, очевидно, еще не облюбовали этот экипаж. От чего это зависит?

Я думаю, оттого, что мотор очень некрасив. Полная противоположность легким, летающим, скользящим велосипедам, которые ведь оттого и распространились быстро, что человек на них не потерял красоты своей. И на самом деле, что представляет собою мотор? Дикое явление упряжного лошадиного экипажа, в котором нет и никогда не будет ни лошадей, ни упряжи. Представьте себе велосипед как он есть, но с тем, чтобы фигура его сиденья изображала собою лошадь с мордой, уздой, стеклянными глазами и т. п. чепухою. Но на таком безобразии никто бы не стал ездить. Но не то ли же самое безобразие мотор-пролетка с козлами для кучера, на которых не сидит кучер, с ясным расчленением экипажа на передок и зад и только что без оглобелей и дуги, которые догадались убрать. Но и без них экипаж до такой степени имеет фигуру приспособленности к лошадиной упряжи, что недостаток кучера и лошадей оставляет впечатление какого-то разорения, точно кучер убежал, а лошади вырвались и тоже убежали, и вот "господа" летят вперед, точно киевская ведьма на знаменитой метле.

К чему это? И некрасиво, и ненужно.

Очевидно, с переменой двигателя должна измениться вся структура экипажа и не должно быть сохранено никакого намека на лошадь и лошадиную упряжь. Неужели пролетка представляет самое удобное сиденье? Мотор может иметь форму крошечного четырехместного вагона, он может походить на лодку и т. д. Затем, к чему ему быть обтянутым черною кожею? Он может делаться из более дешевого и вместе более нарядного материала, он может раскрашиваться, для лета он может получить легкий балдахин или особо устроенный веерообразный зонт. Словом, мне кажется, как только конструкторы моторов рас-

станутся с несчастною мыслью строить лошадиный экипаж, так их свободная фантазия и привычный вкус без труда отыщут форму, которая не будет шокировать самых изысканных седоков.

Теперь же даже проходим неприятно смотреть, как несется эта черная трясущаяся масса, точно ком ваксы, и с громким на всю улицу: "Трр", "трр"...

ПЕРВЫЕ ШАГИ ОТЕЧЕСТВОВЕДЕНИЯ

Н. П. Степанов. Народные праздники на святой Руси. — С.-Петербург, 1900

Я пришел к тебе с приветом
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало.

Есть отечествоведение, есть родиноведение. Можно служить отечеству, но можно служить еще родине. Понятие отечества более выражает собою силу и почти покрывается идеей государства; понятие родины относится скорее к поэзии страны и выражается неопределенным множеством малоуловимых чувств и идей, но всегда теплых и милых. Родину нельзя не любить, против нее невозможно бороться; напротив, "отечество" пробуждает в нас нередко протест, и этот протест иногда является могучим двигателем развития самого отечества. Гракх, Мирабо, Штейн, Сперанский, Каннинг в известные минуты своей деятельности и под известным углом зрения могли быть названы и действительно назывались "врагами отечества", хотя потом отечество же воздвигло им монументы. Но родина... кто и когда боролся против нее? Были ли борцы против Италии и итальянцев, против Германии и германцев, против Франции и французов? Таких борцов нет, и их нельзя представить себе иначе как вне данной страны стоящими, чужеплеменниками или представителями слишком общих идей. Аннибал, пожалуй, боролся против итальянцев; Лютер защищал свою родину от папства; на этой же почве, как и Лютер, борются против католических конгрегаций современные государственные люди Франции. Так как папство везде идет против маленьких родин, стараясь заменить их бесконечным другим отечеством — собою.

Не все служат отечеству, но каждый служит родине. Он служит ей, когда запоем песню и со вкусом выберет ее. Когда вмешается в толпу и кое-что ценное, многозначительное уловит в ней. Он служит ей красотой своего быта. В земстве, в думе, как священник, врач, как зритель в театре, как актер, как публицист, живописец, музыкант — он везде несет службу родине, и от государственной или отечественной службы она тем и отличается, что поэтична, произвольна, начинается и окан-

чивается в час, когда угодно Богу или когда "решило мое сердце". Родина есть обаятельный господин. Никогда и ни к чему она не нудит, не налагает ни на кого зарок. Берет то, что сами дают. Она только улыбается всему, что несут ей, и, однако, эта одна улыбка столь властительна, что ради нее приносятся родине лучшие дары ума и сердца и подвиги бесконечного труда.

Мы имели великую "отечественную" войну, слишком известную в ее подробностях. Но гораздо менее осознано, что около времени этой борьбы за существование своего государства мы повели столь же огромную, сложную и еще более длительную войну за родину, но проходившую в тех поэтических, мягких, неуловимых формах, в каких вообще протекает все относящееся до родины. Ее начали собиратели старых руин своего отечества. От Кирши Данилова до недавно умершего собирателя народных песен Шейна, целый ряд людей, как Вл. Даль, Сахаров, Снегирев, Киреевский, Рыбников, Афанасьев, Погодин и еще множество других, — начали собирать по щепочке деревенскую и сельскую Русь. В шестидесятых и семидесятых годах их ряд словно завершился Ф. И. Буслаевым, одновременно совмещавшим в себе и непосредственную любовь к родине, и высокое всестороннее европейское образование. Русь встала в наряде цветов и песен, а не одних тяжеловесных событий войны и законодательства. Мы получили осязательный предмет любви и восхищения, а не одной гордости и не одного уважения.

"Война за родину" параллель "отечественной войны". Между тем воинственного-то жара и не было у всех этих собирателей, от Кирши Данилова до Буслаева. Лекции этого последнего в Московском университете я еще помню. В них был бесконечный интерес. Но была ли в них бесконечная важность? Увы, ее менее было, нежели в труде какого-нибудь земского доктора, захватывавшего вовремя скарлатину на деревне, и даже, пожалуй, в знаменитом ученом было менее любви к своему народу, нежели, напр., в покойном Ос. Ив. Каблице, который мне рассказывал, как, вернувшись из неудачного эмигрантства в Америку, он исходил св. Русь *incognito*, то приставая к народной работе, то отставая от нее, попеременно нервничая и восхищаясь, но постоянно имея себе в народе какой-то монотеистический кумир. Труды Буслаева, да и всех собирателей литературно-старой Руси были все-таки частями науки, но не были частями жизни; это были шаги вперед европейского знания, приобщившего к эпосу скандинавов, к эпосу кельтов и пр. скрытый дотоле эпос славянский, но для прогресса самих славян в этих трудах не содержалось даже крупинки, которая все-таки была и есть в бессонных ночах сельского фельдшера или сельского "батюшки". Опять передо мной встает светлый лик моего наставника и скромная, до скопчества скромная фигурка моего товарища по одной счетной службе. Я говорю о Каблице и Буслаеве, казалось бы, несравнимых величинах. Все-таки которого народ признал бы радетелем своим, покровителем своим, защитником, возможным вождем? О Буслаеве народ просто сказал бы,

что он ему не нужен; а маленькую фигурку Каблицы приставил бы к мельнице муку молотить, позвал бы на сход, бабы потянулись бы к нему с просьбою "написать грамотку сынку в полк", девицы заглядывались бы на него и всем миром поставили бы отправить его "ходоком" в Питер по такому или другому делу. И не спросили бы его о не совсем, кажется, русской фамилии и чуть ли не о лютеранском вероисповедании, ибо он и самую веру, и какую там ни есть родину забыл для единственного, для нового и окончательного "кумира" — народа русского. Да, в Каблице была "борьба за родину", а не одна уже археология родины, милая, любящая, но как бы парализованная...

[Если бы та сила Каблицы к гению Буслаева? Или если бы все знания, универсальности Буслаева дать узкому и фанатическому Каблице? Никогда этого не было.]

Из дней юности моей — одно воспоминание, которое было бы неинтересно, если бы оно не осложнялось тысячею таких же потом воспоминаний. Но первое воспоминание важно тем, что оно есть как бы вывеска и похоже на сапог над сапожной лавкой или на сахарную голову над сахарно-чайною торговлею. И там, внутри лавки, год, пять лет, десять лет — все висят такие "сапоги" или торчат такие же "головы", так что их ни переворачивать, ни штамповать не нужно, ибо они уже объединены своею вывесочною эмблемою. Был я в четвертом, а во всяком случае не позже пятого класса гимназии. Это было в Нижнем. Шел июль месяц, знойный, пыльный, когда существовать можно единственно на берегу Волги, и существовать на плотках, без штанов, только в рубашке: дабы, когда истома жары дойдет до горла, — прочь рубашку и сунуться опять в воду. Так мы лето и жили, в сущности, рыбообразно, считая мукой сушу и рай находя только в воде. И что такое мне приспичило, первая ли любовь или надобность достать Бокля или Добролюбова, не помню, но необходимо было мне сходить из Подновья, пригородного сельца верстах в четырех-шести от города, в город, на зимнюю постоянную квартиру. Было за полдень. И, достав нужную книгу или получив требуемое удовлетворение, что "она меня любит", я купил для развлечения от измора полфунта кишмишу (сладкий, липкий почему-то изюм) и пустился обратно в путь, от центральной площади в городе — по боковым улицам, по предместью, дальше в поле, — Печерский монастырь; но вот, не доходя до Печор (так в просторечии звали мы монастырь), нужно было идти, как бы по дантовскому аду, по одной бесконечной улице, похожей на пожарную кишку, ибо в самом деле эта улица была дьявольски изморна, отчаянно длинна и вся состояла из деревянных, низеньких, долговязых зданий и изломанного тротуара, "больше землицей, чем камешком". Иду. Спешу. Заедаю скуку изюмом. А направо все отворенные окна, в уровень плеча моего, откуда валит пар, и хоть я не смотрел, но видел боковым невольным взглядом, что

все эти трактиры битком набиты, до пресыщения, до угрюмости, пьющим чай рабочим людом и невыразимо галдящим. Думая о Бокле или возлюбленной, никакого я внимания на это не обращал, но как улица-кишка была необыкновенно длинна, то механически и исступленно и встал и остался в душе моей образ народа нашего в минуты отдыха, отрады (ибо, очевидно, был час отдыха), как именно: 1) сбитого в кучу, 2) сидящего, 3) галдящего, 4) с чайными блюдечками в руках; даже не идущего, как я! не имеющего изюма!! ни Бокля, ни возлюбленной!!!

Так это встало и осталось как отдельное, отчетливое, картинное впечатление. Без картин — еще было впечатление, уже совершенно маленького, почти даже до поступления в гимназию. В Костроме, проходя (со старшими всегда) к Костроме-реке раков (на ночь) ловить, проходили мы полем мимо фабрики, кажется — Зотова, но, может быть, Кашина или Михина; такие три фамилии у меня запомнились, как фабричные в Костроме. Проходили мы всегда тихо, когда не было "смены" на фабрике, — хотя раза два я видел, издали, начинающуюся "смену", т. е. когда народ валит валом и лишь первые, передние, так человек по 15—20, обгоняют нас, что-то громко говоря и махая руками, с лицами темными и, мне казалось, зверскими. Этой "смены" я смертельно боялся, будучи уверен, что они затопчут или убьют нас, и вообще всякого "не ихнего" убьют и затопчут, и уже издали присматривал, подходя к фабрике, нет ли признаков "смены", и утороплял шаг, чтобы благополучно пройти. И вот всегда приходилось проходить мимо окна (мне представлялось — с железною решеткою, но это, верно, глупое впечатление боязни, хотя, может быть, деревянная какая решетка и была), ужасно огромного и из которого (изнутри фабрики) почему-то смертельно дуло, прямо был вихрь — и пыль в вихре (может быть — хлопчатобумажная) — и столь тяжелый, специальный, терпкий: мне ниоткуда не знакомый запах (масел?), что я, задержав дыхание, скорей проходил мимо. Итак: 1) дует, 2) вонь, 3) страшно — опять впечатление от народа. И третье, пре-веселое-веселое впечатление от угольщиков, остававшихся во дворе у покойной моей матери: они пережигали уголь в деревне (обилие лесов) и вывозили его на базар в Кострому, а ночевали с возами — у нас, и вот я всегда, бывало, к ним выберусь, к их ужину, краюшкам, квасу, смотрю им в рот, на седые до-брей-шие бороды, слушаю непонятные прибаутки. И до того-то все это было ласково, весело и им, и с ними. Да вот; хотя, конечно, костра не было, но как они были угольщики и вся возня их и с ними происходила на дворе, то у меня в детском преувеличивающем воображении сохранилась память, как бы мы сидим около костра и они едят, а я слушаю прибаутки, и точно это циклопы какие-то с ангельскою душою, ибо лица их от угля были черные, а речи их и руки их были бесконечно добрые, и все вместе было так ладно, так хорошо — что хоть бы век. До сих пор, по крайней мере, одно лицо я помню индивидуально даже: как, положив ложку в рот, он, что-то жуя, — обернется ко мне и сделает страшные

глаза и губы в трубу — и что-то укает, чего мне вовсе не страшно. А главное — доброта. Только ее одну и помню. Ни одного угрюмого взгляда (я бы запомнил), ни одного окрика, резкого повышения тона. Полная деликатность, хоть в салон Парижа.

Вот бедные крохи, которые ношу в душе своей. Кто что имеет, тот над тем и работает. И моя мысль не умеет иначе работать с объектом: "народ", "Россия", "русское", "деревня", "труд", как или сдвигая или расширяя все это же: "дует", "вонь", "страшно", "чайные блюдечки", "го-го-го" — бессмыслица, пот, жар, нет воздуха, темнота... вон отсюда!! Почему вон? Нет, останемся. Но как же мы-то будем тут жить, когда знаем... чистый воздух, звезды, образование, очарование?

Ну, образование и очарование — так себе. Они у каждого свои. Носи их при душе своей. Но без воздуха и звезд мы все компактно (образованные люди) не можем жить, и нам — или народ в воздух, под звезды! или мы... навсегда, навсегда останемся не с народом, просто физиологически не останемся с ним. Невозможно! можно только перебежать на минуту через эту атмосферу, как и бедный Каблиц, мой покойный друг, перебежал через атмосферу народа, имея приют и постоянное жильё среди книг своих любимых, около образованной жены, с милыми, чистенькими детьми. И он был... Буслаев! чуточка, одна сотая, но настоящего сибарита Буслаева была и в нем, и главное — в самом-то центре его бытия! Как же тогда народ? Неужели он окончательно, и навеки, и до скончания нашей истории, т. е. до конца судеб мира и человека, есть "иное", "иностранное", "испод", "подкладка", нежели "я", "мы", мой читатель, эта газета, наше сословие и образование, все "наше" и все "мы", эта накидка или верхний покррой того же всемирного платья, в которое одет универс. Нет, пока крестьянка не есть моя возможная жена, а дочь моя не есть возможная жена крестьянина, фабричного, все слова о слиянии — пустяк! Но "жена" моя крестьянка — без всякого страдания для меня, а дочь моя замужем за сапожником — опять же без всякого унижения для нее, ибо если страдание... то о чем и толковать, ведь и разделение с народом есть страдание, и коли узаконено оно — узаконим и разделение с народом!

Секрет слиянности — вовсе не в слиянии какими-то там истонченностями сознания. Какие пустяки! Разве мы не любим до беспамятства жен наших, весьма не общих с нами по образованию; не уважаем и не любим друга-профессора вовсе другого факультета, чем мой. Ну, я филолог; с математикой моего друга я говорить не могу "по незнакомству"; вырежу из друга математику — останется просто человек, сапожник по образованию: но он чисто ест, чисто пьет, чисто спит, благожелателен, шутлив, с ним можно идти купаться, пойти к обедне, сесть в карты — и я его люблю, как друга, как моего ребенка, как мою дочь-гимназистку, с которой не об "идеях" же я говорю. Секрет "слиянности",

”дружбы”, ”родни”, ”мужа дочери”, обоюдных семейных уз с народом (непременно! непременно!) есть не идейный, а физиологический, а гигиенический, а бытовой и идейный лишь в том обширном смысле, что за мерзавца-сапожника, как и за мерзавца-графа, дочь свою я не отдам. Пусть все будут честны; несколько умны, а главное и почти единственное — пусть будут все милостивы, чистоплотны, просто приятны, а не отталкивающие с виду, по крайней мере с виду! только и непременно с виду! Об астрономии — я почитаю, а говорить мне об этом не непременно нужно. С женой я не скучаю, хоть и не говорю об астрономии, просто потому, что она мне ежедневно приятна, и вот достигнуть, дослужить этой ежедневной приятности, по всемирно-всеобщему — и есть сфинкс ”слияния с народом”, разлагающийся на серию других ”сфинксов”.

Для этого нужно быть нарядным. О, я говорю не о платье: нужно быть нарядным в жизни, кутаться в нарядную жизнь, завертываться, как мы завертываемся в простыню после купания, в хорошие обычаи, в хорошие привычки; в достойные понятия, в достойные верования (самые общие и доступные), в достойные, хотя бы не высокие и не широкие (не героические) убеждения. [Я имею простую жену. Но я хочу любить весь мир, как жену (не менее), и для этого не то чтобы я ставлю, но вся моя природа ставит категорический императив: чтобы мир, оставаясь простым и не очень усложненным, был на всем своем протяжении милостив, добр, честен и, словом, душевно и физически (но главное физически) не отвратителен! Я могу (и хочу) любить только любимое! Любить отвратительное — покорно благодарю! Не хочу! Да и прямо считаю это нарушением морального долга! Вы шулера любите, которого вчера били кием? И Христос не спас этого разбойника!!!

Но как начать это благообразие, нарядность? С Вани? С Пети? Есть кустарные изделия, ручные — они не одевают мира, а служат ”каждому про себя”, и есть фабрика, машина: сила ее чудовищна, и она одевает мир. Так вот к чему свелся вопрос: не к педагогике, а к обычаю. Есть нечто велительное и неременное, которое судорогой проходит от Охотского моря до Балтийского, ну, например, эта маленькая привычка, встав поутру — умыться и утереться. Не все это делают? особенно не все утираются чистым полотенцем? редкие — с мылом моются? Ну, вот видите: судорога обходит океан и сушу, но и имеет силу поднять их только до пригоршни воды, всплеснутой на лицо. Пустите ее глубже, сохраняя силу судороги, — умыванье превратите в большее... ну, например, в кругооборот жизни!

А вот работа богов. Ибо цари для нее недостаточны. Что там учить Ваню или Петю. От этого Ване или Пете хорошо, а мне, например, все равно. А нужно, чтобы было всем хорошо и чтобы осуществилась моя мечта, а, может быть, и ваша, читатель, — отдать без принуждения, а с сладким чувством дочь свою за человека, который сапоги шьет, со мной в карты играет... просто себе и представить теперь нельзя, что это

такой за человек, и сапожник, и мудрец. Искомое — потеряно. Теперь сапожник — пьяница, по крайней мере — груб, тянет водку, говорит какие-то нелепые слова, как-то чешется (неприлично): что все ни малейше не входит в идею сапога, идею чистую, хорошую, совершенно сочетающуюся как с дружбой со мною, так и с родством со мною. Искомое потеряно. Какие боги найдут ее?

Судорога обычная. Пусть все сапожники живут (и мыслят и чувствуют), как я, и я (без унижения, без понижения) чувствую, живу и мыслю, как сапожник, как сто тысяч русских сапожников. Но как живу я? В пяти комнатах, а мог бы и в одной, без страдания, без унижения, без ущерба "меня". Ущерб "меня" начинается с дурной привычки, например если кто сморкается двумя пальцами и прямо на пол. Самый богатый купец, если он так делает, для меня не существует. Существует менее, чем сапожник. И так разница богатств не входит или не очень входит, не непременною частью, в "сфинкс" слияния: богатая и образованная женщина-генеральша отдаст дочь за бедняка студента, репетитора ее братишки. Это — возможно. А за купца, сморкающегося пальцами, дочери она не отдаст. Следовательно, идея "родства" с народом не обнимает богатства народного или непременно его обнимает, не в полном составе. Путь, очевидно, другой...

Душно, потно. Звездно, душно. Вот, мне кажется, путь. Исчисляя, что такое "я" и во что я абсолютно не могу войти без отвращения, — я формулирую это отрицаемое как некую духовную и физическую "душность" и "потность", а приемлемое и на чем я помирюсь со всяким человеком, с ремесленником, бедняком, необразованным — я определяю как "воздушно", "звездно", т. е. определяю мерилем природной чистоты, и природной высоты, и природного идеализма. Мечта, пусть небольшая, будет в человеке — но мечта, а не один эмпиризм, и чисто-плотность физическая, пусть небольшая — как у росы, а не как у помой. И прочее. Немного неба, немного земли. Но и неба — без туч; и земли — без грязи. Все — в гармонии. Пусть невелик будет человек, но гармоничен... Идею сапога это не противоречит. Пусть маленькая звездочка в душе человека да чистый, гигиенический образ жизни — и брат он мне, и свенчаю с ним мою дочь. Я все возвращаюсь к одному и тому же примеру, ибо меня, собственно, занимает идея родства, а не знакомства, "осведомленности" с народом, и, я думаю, "иск" сближения именно в этом заключается. Без этого — одне "сказки"...

"Звездочка" в душу, гигиенический образ жизни... все это как обычай, как судорога, повелительно, без возражений, как галстух на нас, как икона в углу крестьянской избы. Кто же это даст? Как? Боги, научите! Даст — радость, даст — счастье! Помолитесь "счастью"... Ведь и я не могу любить ничего несчастного, тяжелого, гнетущего, обременяющего. Дайте же и народу "судорогу", как счастье, т. е. из психофизической атмосферы "душно-потно" выведите его в "звездно-воздушно" или покажите ему хоть это в окно, даже в трубу: он выскочит в окно, пролезет

в трубу и, ободравшись, испачкавшись, задышит воздухом... "Отрада". Вот с "отрадой" и идите к народу, да и будет она вам и знаменем пророка, и мечом наблюдателя.]

* * *

Нужно восстановить наряд, обряд народной жизни. Теперь все сбились в кучу, и главный источник "душно-потно" и лежит в сбитости, и нерасчлененности, и некристалловидности не то что одного народного, но и вообще человеческого бытия. Мы живем без мер, времен; мы живем без граней; мы живем ужасно безгранно, аморфно, как булыжник, тяжело и тупо, и так все, так каждый даже "интеллигент", возможный пьяный сапожник завтра, если ему изменит счастье, кошелек, умрет жена, пропадет должность. Да, в каждом из нас — возможный аморфный мужик; а нужно, чтоб в каждом мужике жила ограненная душа, которая только по бедности не разворачивается в настоящего барина, широкого, духовного, чистого. Не будем мыслить человекоподобно ангела, но станем мыслить ангелоподобно человека — вот формула, вот намек. Пусть его разовьет каждый.

"Наряд народной жизни"... он упал, опал, как листья падают с человека по осени. Поразительно, что к концу десятого, девятого века своего существования народное тело, народное существо не расцвело, а отцвело; и даже не само собою, а как-то искусственно, преднамеренно, упорным и постоянным извне давлением, которому народный сок, народная душа всеми силами противодействовала, но — не могла устоять и теперь бессильно и отчаянно горланит в промозглых трактирах. Передо мною розовая (в розовой обложке) книжка г. Степанова, которую я с восхищением пробежал в полтора-два часа, и это краткое чтение разбередило во мне старинные думы и старинное счастье. Г. Степанов написал с любовью педагогическую книжку, прямо посвятив ее учащемуся юношеству, и для юношества и освещения его сил я не мог бы рекомендовать лучшего чтения. Чтение ее действует, как ледяной душ: воскресают нервы "Народные праздники на св. Руси"; священный год! священные грани жизни, ее сроки, и времена, и определенные пункты. Но книжку и возможное юношеское от нее впечатление я продвигаю дальше, я связываю с фигурами Буслаева и Каблицы, с преобразованием сейчас учебной у нас системы и с так милым и давно мною с любовью выглядываемым праздником весеннего и осеннего древонасаждения. Мне мерещится не хорошая книжка для чтения, а огромная по смыслу и размерам, по сложности и продолжительности задача восстановления вообще наряда, убранности, одухотворенности народной жизни и, на почве этого восстановления, открытия родства между мною, моим читателем — и серым, "черным" народом. С гадким я родниться не хочу. С сальным я родниться не хочу. Но когда народ весь, компактно, выйдет в воздух и звезды — сословия не то чтобы падут, юридически

или образовательно; но все мы войдем в некоторую общность бытия, единства бытия, очень аристократического, из которого просто никому не захочется подниматься выше, и поэтому вместе и демократического.

Праздники — повышение пульса народного. И возвращения из будней, из труда, из искусственной техники жизни — к общему и уже не техническому основанию бытия своего, к небу и земле, к природе. Праздник непременно должен быть природен, и в высшей степени вредно соединять, сливать праздники с календарем исторических отмет, каковы бы они ни были. Календарь мы можем как-нибудь иначе, не через праздник, выразить в своей жизни. Ну, сходить к обедне, прочитывать соответственное по книжке. Почему в календарные отметы не работать? Что за расшаркивание перед величием тысячу лет назад прошедшего события через безделье? Да и сколько бы мы ни расшаркивались, оживления сил через это не произойдет. Праздник относится к динамике духа и тела; он должен играть. Праздник есть ритуал, который я совершаю; драма, где творец и актер — я сам, один или со многими. Теперешнее препровождение праздника: встал, умылся, напился чаю, пошел к обедне; вернулся, отдохнул, пошел в гости; вечером играл в карты, — это препровождение есть ли праздник?! Нет, конечно!! Это — будень же, с иною формою труда, не всегда даже облегченного, а во всяком случае глубоко пассивного и где "я", мое тело или дух не играют никакой роли и не возрождаются.

Вот почему медленное и упорное угасание какого-нибудь "семика" или "щедрого вечера", с заменою его календарным празднованием события, 1000 лет назад совершившегося, положим нахождения крестного дерева благочестивою Еленою, народом чувствовалось как просто угасание праздника без замены чем-нибудь; как просто снятие с года одного убора; отнятие у народа нарядного момента и физиологического оживления. Посему народ воспоминательные события церкви осложнял всегда своими древними обычаями. В последних содержалась игра, наряд, психология: и через них народ вносил в простую календарную отметку хоть что-нибудь настояще-праздничное, физиологически-нужное. Греки, принеся новые праздники на Русь, всеми силами старались задавить эти туземные прибавки. Но еще в XVIII веке они хранились. Г. Степанов (стр. 98) отмечает, что Суворов, при всем своем государственном и историческом величии, справлял семик. И не то чтобы он выходил в этот день к народу, нисходил к простонародному, замешиваясь в чужую радость и внутри оставаясь посторонним. Нет, он праздновал этот праздник сам, собирал гостей, "с которыми он едал в березовой роще, под кудрявыми зелеными березками, перевитыми разноцветными ленточками, при пении народных песен. После обеда же играл в хороводы не только с девушками, но и с солдатами, играл в горелки, бегая, словно юноша, особенно восхищаясь игрою: жив, жив курилка!"

В день Благовещения пекли мирскую (из общей муки) просфору и несли ее для освящения к обедне, где вынимали из нее частицы за

здравие. Принеся домой такую просфору, ее кладут сперва к образам, а потом — в закроем с овсом, оставляя ее в последнем до первого ярового засева. Сея яровину, сеятель берет с собою ее из закрома и носит ее с собою во все время посева привязанною к сеялке. Если у кого в дому есть икона Благовещения, то ее ставят в этот праздник в кадку с яровым зерном, предназначающимся для посева, и поют при этом:

Мать Божия!
Гавриил Архангел!
Благовестите,
Благоволите,
Нас урожаем благословите:
Овсом да рожью,
Ячменем, пшеницей
И всякого жита сторицей.

Во всей России сохраняется вера, что в день этот Бог благословляет растения, а в малорусских губерниях можно услышать сказания о том, "как Богоматерь засекает все нивы земные с небесной высоты. Гавриил-Архангел водит соху с запряженным в нее белым конем, а Мать Пресвятая Богородица разбрасывает из золотой кошницы всякое жито пригоршнями, а в то же самое время устами безмолвными, сердцем глаголящим молит Господа Сил о ниспослании благословения на будущий урожай" (стр. 58—59). Нам кажется, поэзия Кольцова есть последний отзвук этого древнего одушевленного взгляда на природу. Он умер, этот взгляд, теперь — окончательно умер; и умерла, потеряв корни, поэзия около хлеба. Но и не одна она. Упал наряд с народных плеч. И теперь хилый и голый старик, народ наш, этот религиозный пролетарий и культурный босьяк, или, понурив голову, идет помолиться в день нахождения Честного древа; почитать потом книжку (а в сущности — и не почитать никогда, ибо очень это скучно) и затем, засев в трактире или чайной, — пыхтеть в норе и петь:

Ни сосенки кудрявые,
Ни ивки вокруг него...

[В курс школьного отечествоведения, безусловно, надо] включить изучение этого народного и древнего, почти угасшего кругооборота священного года. У г. Степанова рассказаны способы празднования: нового года, щедрого вечера (канун нового года), водокрещей (крещения), сретеньего дня, масленицы, прощенного дня, Благовещенья, Великого четверга, Великого дня (Пасхи), праздника весны, семика, Троицына дня, Иванова дня, Ильина дня, спасовок и осножинков, Покрова, поминальных дней, святок. И затем приложено описание древней русской свадьбы. Ввиду крайней неудачи составления преднамеренных учебников на преднамеренные темы, мы очень хотели бы, чтоб одушевленно написанная и прекрасным языком изложенная книжка "Народные праздники на св. Руси" получила классное урочное применение в преобразуемых

училищах как прекраснейшая книга для пересказов. Между прочим, она могла бы помочь в устройстве экскурсий, которые, пожалуй, сведутся к унылой и однообразной "требе", тогда как идею их надо непременно развить в красивую игру, и, чем интеллигентно выдумывать такую игру, не лучше ли начать, подобрав крохи сохраняющейся старинки, воскрешать ее, убирая, обогащая, углубляя новыми цветочками. "Народ созидал" "народный быт", говорят историки. Но ведь в народе кто-нибудь созидал; ведь было собственное имя, и только оно забыто. Не парламентски же установился семик. И, может быть, теперь также выдвинутся народные богатыри, которые подымут народную жизнь на своих плечах. И, скинув дерюгу "царствия ради небесного" с плеч его, оденут "царствия ради небесного" цветочный убор из тех самых "полевых лилий", о которых говорил нам Спаситель. Ибо любви к народу в нашей интеллигенции еще непочатый край.

Тут и Каблицы помогут. Тут возможный синтез Каблица и Буслаева. А где они осложнятся один другим (мудрость и энтузиазм) — сила Руси вырастет необоримо.

ПОЛ И ДУША

Ничего нет хуже эклектизма. Эклектизмом называется усвоение понятий из разнородных систем и кажущееся примирение их, когда они на самом деле непримиримы. Покойный наш критик и философ Н. Н. Страхов, постоянно читавший харьковский философско-богословский журнал "Вера и Разум", неоднократно мне жаловался: "Какие они материалисты, эти профессора духовных академий. По методу своему, по основным точкам зрения они неотличимы от Бюхнера и Молешотта, а в конце своих компиляций приделывают веру в Бога. И все это уживается в их голове". Помню, он это говорил мне по поводу нескончаемого жевания некоторыми из сотрудников названного журнала "Истории материализма" Ланге.

В минувшем году я издал книжку "В мире неясного и нерешенного", где не только высказал некоторые свои положения, но так как тема книги спорна и неясна, то и привел обширную полемику за и против моих взглядов. Между ними есть следующий. Все знают, что в человеке есть талант, гений, вдохновение, внезапное озарение. Это не то что построить вывод за выводом, ставить определенный вопрос и находить на него математически точный ответ, компилировать. Из биографий известно, что Декарт и Бэкон все свои великие открытия совершили до 26 лет, а в последующую жизнь только разрабатывали эти свои молодые открытия. Точно так же из биографий известно, что в этот бурный период роста многие люди уходили в пустыню, становились подвижниками-созерцателями, а другие, напротив, совершали великие злодеяния. Из множества наблюдений я вывел, что, так сказать, рациональная,

компилятивная деятельность души имеет своим органом головной мозг; но талант, гений, вдохновение и внезапные догадки идут из больших и таинственнейших глубин нашего "я". Это, в сущности, довольно обыкновенная мысль. Разве наши славянофилы не спорили против рационализма? Разве, опровергая позитивизм и выводы точных наук, не поступают так же богословы? Разве Карлейль не издевался над "логической машинкой"? Разве реакция германского гения против французского просвещения XVIII века не была реакцией к интуиции, вдохновению, гению против узкого и сухого умничания? И, наконец, наш народ не говорит ли очень глубоко, что то или другое он "внутренно знает, нутром чувствует", — и, говоря так, не поддается ни на какие логические доводы. Да ведь и лучших наших чувств, самой глубокой нашей веры — доказать нельзя. Есть "idées innées"* , о которых учил Декарт, и "нутро" наших темных простолюдинов. Из этой веры, нерациональной, растут царства мысли, вдохновение и молитвы.

Но это все носило имя, а никто не искал его корня. "Idées innées", "предчувствия", "горение души". Но откуда? Задавшись вопросом об этом, я несколькими годами размышления пришел к выводу, что кроме разума, как способности логической обработки вещей, в человеке есть еще второе духовное начало — его пол, причем я здесь не разумел ничего ни анатомического, ни физиологического, а простой внутренний факт, что самые души людей суть мужские и мужественные, женские и женственные и что взаимные искания ими дополнения друг друга вовсе не суть только физиологические, хотя и бывают таковыми в конце, а духовные (любовь). Пол человека и есть корень его духа.

Пол разлит во всем существе человека. Возьмите лицо: никогда у мужчины оно не будет безбородым, а у женщины не вырастет бороды. Пол имеет свои различия в лице; и то же — в голосе (бас, сопрано), то же — в характере, привычках, манере поведения, жизни и, наконец, самого мышления. Как древние изображали душу? Как маленькое юное крылатое существо во всем целом человеческом очерке, с ножками, туловищем, ручками, плечами и еще — с крылами. Наивное и вместе философское изображение. Весь человек — его душа, а вовсе не мозг один, как думают материалисты, и в числе их неудачный академик Заозерский. Но что такое крылья, которые приданы душе воображением народным? Это — вдохновение, это — энтузиазм; это — "idées innées" и "нутро" (не смейтесь над грубыми темными догадками нашего народа, они глубоки!)! Народ и древность крыльшками отметили, что душа имеет гораздо более стремлений, чем сколько их выражает в своей бедной и связанной жизни на земле. Вот это-то прозрачное, полувоздушное, однако в телесном образе существующее и есть пол, который занимает всего человека, не сосредоточен в плече, ноге, голове, руках, но складывает и руку, и голову, и ногу человека в особую структуру, смотря

* "врожденные идеи" (фр.).

по себе (полу). Чтобы указать, как мало это функционально, я обращаю внимание читателей на то, что, напр., у рыб вовсе нет анатомического и физиологического выражения их пола, нет его органов и, однако, пол есть. Еще замечу, что где нет пола — начинается минерал; и, след., "дыхание жизни" и "душа бессмертная", которая оживила красную глину или физико-химическую массу первого человека, — и было вхождение или дуновение в минерал пола. И стал — человек, живая тварь.

Особенное подтверждение своей догадки я находил в биографиях. Кант, Спиноза, Декарт как бы умерли для жизни брачной, семейной и воскресли в удивительные прозрения философские. Почему бы такое соотношение? Заметно, что они не боролись со страстями, об этом нет данных. Страсти погасли в них, как молот, упав на наковальню, — останавливается. Но движения молота воскресли в теплоте, в огне; а страсть — оттого и прекратилась, что стала переходить в видения, восторги, размышления бессонные. Поразительно, что час страсти — ночь — есть вместе и час творчества, поэзии, размышлений, открытий. Попробуйте вы в двенадцать часов дня написать стихотворение, сцену в рассказе, или даже — помолиться: ничего не выйдет; душа в это время "без крылышек". Ангелы летают ночью: так недаром рассказывают все сказки. Я вместе с детьми верю этой истине и даже имею к ней кой-какое объяснение. Ночь красивее дня. День — разум, логика, "проф. Заозерский". Ночь — тайна, творчество, не компиляция; это — Декарт и Ньютон в размышлениях, Ромео и Юлия на свидании. Заметьте: цветы очень многие не пахнут днем, а в ночь благоухают. А ведь цветок в растении — уж конечно пол. Ночью цветы любят и поэтизируют, а небо горит звездами, которые — почему бы тоже? — так инстинктивно любят все влюбленные, от Адама до нас.

Поражающий вас талантами человек как часто бывает физиологически бесплоден. Великие цари остаются без потомства; и это одна из причин, почему появление гиганта-царя так часто затем сопровождается смутами. Напротив, люди и даже целые народы (Восток) чрезмерно плодовитые — мало духовно творят: молот постоянно движется, никогда не задерживаясь, — и ни теплоты, ни пламени нет. Эквивалентность, взаимная превращаемость духовного творчества и плодородия до того бьет в глаза своим постоянством и соотносительностью, что не воскликнуть: "Пол — это душа!" — нет возможности. А когда так, то все понятно и в рождении и в творчестве: отчего мы рожаем не минерал, который позднее оживлялся бы и воодушевлялся бы, а дитя с душою? *Дитя живое и одушевленное?* И отчего великие умы и люди, поэты, философы, цари творят *живое* из себя, не мертвечину, и создания их, поэтические, живописные, религиозные, мы любим, ими трогаемся, из них *поучаемся*, им *следуем*, как бы следовал путник за живым руководителем? Да, в них всех есть крылышки, в них бьется неродившееся физиологическое *дитя*; они в точности, а не в переносном смысле суть *живые создания*; в них есть все, что и в ребенке, — круглота и полнота

сотворенного, только без мускулов, костей, один "дух": прекрасное, парообразное и маленькое существо. Неродившийся ангел с закрытыми глазками, без первого вдоха, без вхождения воздуха в легкие — вот великая поэма или закон Ньютона; вот родник "критики чистого разума". Я говорю не об обработке "Критики чистого разума" или закона Ньютона, а о вдохновенном сюда прозрении ума, о догадке, "наитии". Это было когда-нибудь в ночи, под мерцающими звездами. Это шевельнулось в Ромео, который не нашел себе Юлии.

Указав этот "х", лежащий равно в центре духовного и физического рождения, я достиг по крайней мере одной цели, всегда научной: свести данное число явлений к возможно меньшему числу принципов. Потому что всякий принцип есть тот "камень", о который наука разбивает себе голову. Необъяснимы принципы математики; без объяснений остаются первые положения механики. Принцип вообще есть непонятное, прямо данное, что наука невольно или нехотя принимает и затем уже начинает оперировать принципом для объяснения других явлений, которые она все относит и группирует по принципам и из них выводит (геометрия, механика). Указав пол, я указал *душу и жизнь*, родник духовного и физического; указал вместе родник вообще творческого: самой темной области, где всегда путался человек, не находя именно корней его. Однако ясен ли сам принцип? Он — двоится, раздваивается в мужское начало и женское, без всякого *tertium**. Приведу одно мнение покойного Гилярова-Платонова, человека, во всяком случае, умного и религиозного; потому что, как я скажу ниже, мою теорию г. Заозерский назвал бессмысленной и атеистической: "Мужественный и женский элемент!.. От одного замечательного русского ученого слышал я замечание, что сочетания полов под разными видами и именованиями проходят по всему мирозданию: не только в животном и растительном царстве, но и в химических процессах и механическом движении светил формула все та же одна везде, — говорил он, поясняя этот закон опытами и математическими выкладками. Глубоко мне врезалось это замечание, а его полное развитие должно бы составить в научном отношении эпоху". ("Из пережитого", 2-й том; цитирую по брошюре кн. Н. В. Шаховского: "Памяти кн. Н. П. Гилярова-Платонова". Ревель, 1893.)

Итак, пол есть мировой феномен; какой-то мировой, межзвездный и вместе микроскопический свет. Конечно, — это отнюдь не орган и не функция, а что-то духовное и одновременно физическое. Ведь выкладки математические, и законы движения светил, и химические соединения, — каковые приводил в пример знакомый Гилярова, — все постигаемы умом, т. е. они все разумны и в некотором отношении духовны. Ну, хоть в том смысле духовны, как построенный архитектором дом несет на себе следы его и угадывается в плане и утилитарности своей всяким другим архитектором. Человек и есть такой "другой архитектор", который

* третье (*лат.*).

угадывает и разгадывает смысл мироздания, построенного Первым Главным и Единственным всех вещей, и механики, и химии, и астрономии, Архитектором. Из этого взаимного любопытства и постигаемости и вытекают науки; и отсюда же участливость к нам, бедным — Божества, к творениям наших рук, судьбе, делам.

Но в основе этого взаимного участия и постижения глагол уже Откровения: "По образу и подобию Нашему сотворим его" (человека) и сейчас же: "Мужчиною и женщиною сотворил человека Бог". В тот "х", куда уходит физиология и умственное вдохновение, входит и религия. Элементы или основные данные таким образом еще упрощаются, сводясь к одному: пол мужской и женский суть родник духовного и физического, постигаемого и сверхпостигаемого. Науки, поэзия и религия текут во вдохновенной, не компилятивной своей части из одного "х". Самое сотворение человека, объясняется: ну, отчего не три, не пять полов создал Бог? Но, как Гиляров говорит, — и в звездах, и в химических формулах, и в математике — два начала, мужское и женское, и *tertium non datur**. Выражение "по образу, по подобию Нашему" твердостью своею не оставляет сомнений, что здесь в творении человека два пола были ограничены невозможностью иного чего-нибудь, что здесь не произвол был и не случай, но действовало отражение. Обращу внимание внимательных на следующее. В пророчествах еврейских всегда чередуются точно два голоса: нежный, увещательный, кроткий — точно мать говорит Израилю; и сейчас же из-за него грозный, карающий, резкий — это как будто говорит отец. Один голос "с бородкой", другой — "с нежными перстами", иллюстрируем мы, чтобы запечатлеть в читателе свою мысль. Но если так, если всемирно и по-ту-светно так, то создание человека, раздвоенного в два пола, слишком понятно. Это — простая светопись, дающая на негативе то, что есть в оригинале.

Для меня же в особенности все это было отрадно потому, что тогда семья, о которой я так много писал, в натуральности своей становилась священной и религиозною тайною; явлением столь же философским, как и поэтическим, а главное — "под Богом". Все, как сотворение человека, так науки, знание, семья, находило наконец своего "Отца Небесного", Покровителя, Заступника и Руководителя. Люди несколько уравнивались, не принудительно, но качественно: всякий добрый семьянин, мать или отец — не хуже ничем Декарта или Канта; свернули на перекрестке таинственной мировой дороги не "направо", а "налево" или обратно. Одним дано бесплодие и философское сотворение, другим — обыкновенный ум и физиологическое сотворение. Теплота и движение, разно осязаемые, оба нужные, и в существе — одно. Это братство людей, признаюсь, меня тоже трогает. Ибо я люблю, когда малое кажется великим и даже когда оно есть подлинно великое. Замечу, что таинственный религиозный свет, которым светится решительно каждая

* третьего не дано (*лат.*).

семья — русская, греческая, китайская, — становится постижимым по религиозному источнику ее. Да и плодовые народы Востока, с усиленно религиозным чином их семьи, тоже как-то приближаются и уравниваются со скопческими и вместе гениальными народами Европы. Евреи не выдумали алгебры, зато у них есть "книга Товии сына Товита"; и есть Иов с его семью сынами и тремя дочерьми, "человек, угодный Богу и непорочный — как никто на земле". Соломон и Кант есть "левое" и "правое" одного явления.

Читатель, что в этом круге мысли худого? И если я подробнее и обстоятельнее, а главное — внимательнее разобрал явление, о котором вскользь, в восьми строчках, упомянул Гиляров, то я, может быть, только повторял того "русского ученого", которого он слушал и из любопытных слов которого неизвестно почему ничего не записал. Но верно в самом деле проблему пола — разгадать русским; и тут может быть не лишена провиденциального характера и "Крейцера соната". Недаром русские столь же принадлежат Азии, как и Европе; узловым народ и с узловым положением. Ищу себе защиты Гилярова, если уж мой собственный авторитет ничтожен.

Книга моя "В мире неясного и нерешенного", посвященная подробнейшему изложению и разветвлению этих теорий, включает и обширный материал споров, ими вызванных. Кажется, она написана честно, трудолюбиво. Зная, что я работаю на новой почве, я работал внимательно, бесстрастно, но с бесконечным любопытством к теме. Не сомневаюсь, что в Германии, Франции, Англии вокруг нее забурлил бы водоворот мнений. Ибо опровергнуть ее невозможно, но и принять ее — опасно для чрезвычайного множества тысячелетних мнений. Европа есть контингент гениального "духоборства"; но говоря, что самый родник-то гения есть пол, я как бы зову Европу к вторичному поклонению перед древней Азией. Вообще около этой теории начинается борьба, очень философская, но в центре — религиозная. Она также разрушительна, как и созидательна, с столь же многим заставляет проститься, как и многое новое обещает. Даже для усвоения своего, не говоря о критике, она требует ума первоклассного. Говорю это без опасности впасть в гордость, показаться смешным, ибо я писал уже много, лета мои немолодые, шуршание известности меня не занимает, но за дело я стою твердо и чувствую нравственный и умственный интерес стоять на точке, на которую стал.

Что же совершила с нею критика? Так как узел всех этих теорий — трансцендентный, т. е. религиозный, то и выступил первым против меня профессор канонического права Московской духовной академии г. Заозерский. Выписав заглавие книги, он прибавил курсивом: "Издание бесцензурное". Читатель оценит, что это значит. Оттиски странной критики я и еще несколько людей не без видного положения получили по почте, очевидно разосланные автором или редакцией журнала "Бого-

словский Вестник". Статья его начинается с ужимок, с извинений перед читателем, что он взял нескромную тему. Подумаешь, какие целомудренные студенты Московской духовной академии и ее профессора, читатели столь специального журнала. Уж не водят ли их на лекции класные дамы? Таких застенчивых юношей опасно оставлять одних. Так я сужу по воздыханиям г. Заозерского. "О, если бы никогда не появлялось книг, подобных настоящей" — такими словами начинает он статью свою.

Читатели обыкновенной литературы не могут поверить, что на страницах академического журнала я назван: 1) шалопаем; 2) молокосом; 3) вертопрахом; мои критики: 4) мошенниками; далее сам я: 5) богохульником, 6) врагом христианства, и после такой "дробли" автор приписывает: "Я не хочу этим сказать что-нибудь обидное для г. Розанова". Неправда ли, очень интересно? Значит, среди профессоров Московской духовной академии говорят так "крупно", что уже подобные слова "никого не обижают". Ибо почему г. Заозерский думал, что мне будет не обидно то, чем обиделись бы его товарищи? Кожа у всех людей одинакова, и, я думаю, о моей "необидчивости" он заключил по необидчивости товарищей. А еще говорят, бурса Помяловского умерла после Помяловского.

Но что же он сделал с моими теориями? Заменяя слово, понятие и целую философию "пола" — термином "орган", он говорит: вот куда перемещает г. Розанов из мозга душу. Философская работа его критики этим и кончилась. Он смеется, прыгает, беснуется, как мальчик, около этой подстановки; выписывает из меня цитаты, излагает (везде скверно и неверно), опять жмет плечами, смеется. Смейся, пожалуй, хоть целый век; надо сказать дело. Но он не только дела не умеет сказать, он не поднял в книге ни одного камешка, ни одной ниточки, чтобы на разборе ее показать несостоятельность целого. Он только твердит: „Душа сидит в мозге“, как учил уже Бюхнер. Ну, а характер? А тончайшая пластика и музыка души, о которой мы говорим: "великое сердце", "сострадательное сердце", "милостивая душа", "мужественная" или "робкая душа" и тысяча еще других разнообразных слов? Укажу сейчас же одну психологическую черту, к которой в "мозге" Бюхнера и г. Заозерского нет никакого ключа. Замечено, что величайшие гении были очень женственны. Рафаэль, Данте, Шиллер — вот примеры. Эти прелестные души, как матери, согревшие человечество, сказавшие ему сестринские песни и сказки, как подойдет к их объяснению г. Заозерский? Между тем если я скажу, что в них дохнуло то женское вдохновение, которое из-за мужского голоса звучало в старцах Израиля, то все-таки в этом указании и какой-нибудь ключ, какая-нибудь разгадка есть; есть намек в неизмеримо трудной области. А что есть у г. Заозерского? Он может только сказать, что Бог дал Шиллеру лишний фунт мозгов сравнительно с ним, Заозерским. Но, я думаю, этим дело не ограничивается.

Замечательно, с каким ожесточением г. Заозерский вооружился на мозг, между тем и о нем не зная ровно ничего, кроме того, что говорится

в учебниках анатомии, и только прибавляя: "Здесь душа сидит". Как сидит? Где сидит? Какой особенный мозг у насекомых, у муравья, пчелы, столь умных? Где мозг у растений, у которых решительно мы не можем отрицать легкого намека на душу, облачка души?! В сущности, профессор духовной академии есть просто переодетый в семинариста Бюхнер и в его "Stoff und Kraft"* , просто — это ученик Фохта, когда-то давшего знаменитую формулу: "Мысль течет из мозга, как желчь из печени и мочевины из почек". Но это было в 60-х годах. В 1901 году и с кафедры Московской духовной академии, где читал философию знаменитый Кудрявцев, катятся эти же скучные булыжники позитивизма.

Коснемся вкратце "мозга", который не разбирает, а только термин его знает г. Заозерский. Он имеет два полушария, левое и правое. И вся фигура человека имеет это двойное, правое и левое, сложение. Правое и левое легкое, правый и левый глаз. Глазом одним едва ли было бы менее удобно смотреть, чем двумя. Очевидно, "правое и левое" вне утилитарных целей и подчинено какому-то более могучему закону. Замечательно, что нервы в человеке все взаимно перекрещиваются и, напр., правой стороною тела заведует левое полушарие мозга, а левою стороною тела заведует правое полушарие. В левый глаз идет нерв от правого глазного бугорка, и наоборот. Тело все перекрещено крест-накрест. Но полного подобия между правою и левою сторонами — нет. Если вы всмотритесь в лицо человека, то увидите, что оно несколько асимметрично. Правою рукою мы пишем, а не левою. У каждой стороны свой талант и несколько... своя "душа", опять же мужская и женская.

Адам был сперва один, и Ева вышла из него: вот изначальный глагол религии. Но если она из него вышла, то значит, ранее была в нем; была и, выйдя, оставила по себе пустоту, пустоту томлений, вздохов, любви, которую мы все не понимаем. Как иногда мы предчувствуем свою будущую невесту до знания ее физического образа, цвета волос: если раз в истории было это чудо, то рассказ Библии о сотворении человека подтвержден! Но он говорит нам, что изначально человек был один, и не Адам и не Ева, но и Адам и Ева в одном. Оба пола, в сущности, даны в человеке; и возмужалость есть кризис, с которого вдруг начинает непропорционально расти один пол, а другой в росте задерживается. От этого в детском возрасте мальчики похожи на девочек, а девочки на мальчиков. Адам и Ева растут еще вместе, не разделившись. Правая и левая половина и суть отражение двойной его сложности, и, без сомнения, одна которая-нибудь половина, напр. правая — мужественна, а левая — женственна, или наоборот; и обе эти стороны "в браке", откуда и вытекает анатомическая переплетенность, "крест-накрест", всех функций и органов. Левая и правая стороны как бы держатся за руки друг друга, точно Ромео и Юлия. Но и далее: он думает, мой критик, что из "мозга текут только силлогизмы". Он очень гордится своим

* "Материя и сила" (нем.).

мозгом. Но тонкие люди рассказывают, и, между прочим, совершенно умершие "для мира и страстей", что в мозгу-то и возникают самые страстные картины самого соблазнительного характера. "Вместо чувственные Евы влекусь к умственной Еве и горько рыдаю", — говорит канон Андрея Критского. Вот что говорит правда и религия; ибо канон Андрея Критского есть одно из величайших созданий религиозного вдохновения. И я, говоря о душе-поле, и разумел этого "духовного Адама", "духовную Еву", текущих до сих пор в нас огнем и жизни, и вдохновения. Но вернусь к мозгу: извилинами, углублениями, буграми он или заведует отправлениями целого тела или служит механике умозаключений. А то, что в нем есть два полушария, левое и правое, делает и из него, как и из всего решительно в человеке, родник страстных пожеланий. Ведь "соблазняет" нас и глаз: ну, а какое бы соотношение его с полом?

Возьмите пищу и влечение к ней: можете ли вы ухом чувствовать пищу? Через осязание наслаждаться котлетами? Между тем нам девушка нравится лицом своим, волнует взглядом, тембром голоса. Любовь вспыхивает в крови, любовью пылает весь человек; и если любовь, бесспорно, вытекает из разделения полов, то, очевидно, начало пола, сложение пола бежит в нас общею жизнью, оживлением, воодушевлением. "И вдохнул в лицо его (Адама) дыхание жизни, душу бессмертную", — передает Библия. Ничего нет ошибочнее, как представлять душу чем-то статическим, лежащим, какою-то системой способностей. Больше всего она похожа на огонь или вихрь; вечно движущееся; а самый момент в нем движения есть вечное сложение и разложение общих полов. Возьмем ребенка. Он, довлеющий в себе, оба пола в себе несущий, и несущий их в крепкой обнятости переплетенных половин, — быстро растет, яростно сияет. Но вот Ева выходит из него в 17—21 год: какое уныние, сердечная тоска, "ощущение безотчетной пустоты", часто самоубийство! Это — годы искания Евы уже объективировавшейся, внешней. Скажем ли мы, что юноша ищет их функционально, анатомически? Увы, и животные знают любовь, выбор, а не только человек! И когда "Ева" найдена, то ее потеря или ее измена возбуждает ревность, ибо он нашел "свое". Какие это все секреты. Но их не поймет ни Бюхнер, ни... г. Заозерский.

О КЛАССИЧЕСКОМ И НАШЕМ МИРЕ

Граф Д. А. Толстой, отнюдь не классик по личному своему образованию, употребил классические языки как орудие идейного выхолащивания русской школы, а через нее и русского общества. Ему нужно было вовсе не возрождение классической древности, не ознакомление с нею, а нужно было занять ум русского юноши на все свободные часы суток какою-нибудь зубрячкою, которая ничего общего не имела бы с дейст-

вительностью, с Россией и русским, а также и ничего общего с последовательным и углубленным мышлением о чем бы то ни было текущем, действительным или просто занимательным. Сравнивая Канову с древними скульпторами, г. Инфолио верно уловил разницу: древние реалистичны, Канова — идеальничает. "Натура — вот идеал" — такова мысль и даже такова религия древности. Мы с этой точки зрения и поймем главный, никогда не названный секрет толстовской школы. "Как можно дальше от реализма", — сказал он себе о русских; значит, "как можно дальше от древности, от подражания грекам и римлянам". Но как "классицизм" сочетать с этим запретом на подлинную любовь, и подлинное понимание, и подлинное подражание древним? Да выбрать для этого грамматическое подготовление к чтению классиков, но рассматривая его не как средство, а как самодовлеющую цель. Теперь и становится понятной для нас упорная борьба защитников толстовской школы против перехода от грамматики к чтению классиков, связанная с защитой "экстемпоралий", а также и то, что они нисколько не смущались полным запустением у нас филологических факультетов, где, понятно, уже не грамматику учили, а начинали ознакомление с подлинной классической жизнью. Последнее не только не входило в планы замысла, а прямо разрушало в нем все. Отсюда же замечательная вражда "толстовцев" к уваровской реально-классической гимназии: они эту гимназию, кажется, еще больше ненавидели, чем "естествознание", и уже скорее, может быть, помирились бы, да и помирились действительно, — с реальными училищами, чем с классицизмом Уварова, Грановского, Кудрявцева, Станкевича, Батюшкова. И опять понятной становится борьба против допущения "реалистов" на естественные факультеты университетов. Выбивались "идеи" из русской головы; и естествознание признавалось, но не как мир мышления и науки, а как подготовление к техническим занятиям. Таким образом, секрет толстовской школы лежал в полном разрушении идейного реализма, в полном духовном разрыве с подлинным и настоящим классицизмом, в погружении России в меркантилизм, в американизм почти: в коротенькие мысли и коротенькие чувства, но таким замаскированным способом, чтобы деяние это не вызвало криков негодования на просвещенном Западе, да и своим можно было бы ответить: "Вы кричите, потому что не понимаете". Худой состав учителей почти входил в секреты школы, как и душный формализм, господство правил, а не человека. "Классицизм против классицизма" — вот секрет толстовского напора на Россию, заставивший так сжаться всех, кричать от боли. Он и не мог продержаться более 30 лет. Ну, хорошо, грамматику выучили, что же дальше? Но дальше-то именно и предлежало не пустить русское общество, не пустить его к подлинному классицизму. "Дальше? А дальше — опять грамматика! Вы еще не все подробности ее усвоили: грамматика — это наука на целую жизнь, могущая также захватить собою и университет, как гимназию". Покровительством министерства стали пользоваться профессора, которые и из

университетских чтений стали делать уроки распространенной грамматики. Проф. В. Модестову, автору единственной у нас "Истории римской литературы", пришлось оставить кафедру; а в университет стали незаметно вводиться преподаватели гимназий, с грамматической муштровкой, или профессорам-классикам стали предоставляться "дополнительно" места директоров гимназий или административные должности при округе. При скудности профессорского содержания многие пошли на эту серебряную удочку, и запустелые филологические факультеты стали осторожно и настойчиво перерабатываться в дополнительные курсы к восьмилетней программе знаменитой, прославленной, едино-привилегированной толстовской гимназии. Вот смысл борьбы около устава 1884 года. После того как гимназия, ухваченная в железные щипцы, была выхолощена от всего идейного, наступил черед и университетов. Все помнят хорошо, что после эры сороковых годов в университетах, связанной с уваровскою гимназиею, наступило и здесь царство безыдейности, тупости, неинтересности чтений, от которых бежали студенты и проводили время свое в полпивных. Наступило невероятное одичание русской образованности.

Несмотря на множество написанных об образовании книг, именно для России вопрос об образовании особенно неясен и особенно труден. Собственно, есть три образовательные элемента в Европе, подлежащие к выбору и Россиею: 1) христианство; 2) эллино-римский мир; 3) естествознание. Первый элемент абсолютен, в силу этого не допускает критики себя и может только или пластически усваиваться, или передаваться на память, и поэтому представляет скудный собственно в педагогическом отношении элемент. Богослужение и наслаждение его красотою и смыслом не есть что-либо исключительно школе принадлежащее, а школа умела и навсегда останется обреченною делать из уроков Закона Божия только зубрячку: нечего тут размышлять, анализировать, комбинировать. Не над чем тут трудиться "своим умом". По моему убеждению, воспитательная роль христианства выражается и исчерпывается богослужением, таинствами, пластикой служб и афористическими беседами, наставлениями, практическими советами священника. К тому же вся реальная жизнь истории и народов, вся живая природа, вся гражданственность, быт и семья человека вовсе не уместаются, не входят в религию кротких поучений и небесных советов. Христианство не есть религия космогоническая или исторически освещающая, и как гражданина, так и мыслителя она не может выработать. Третий элемент — естествознание — сам находится в процессе, в движении, в развитии и не знает окончательных точек, к которым двигается. Что естествознание — идеалистично или материалистично. Признает дух в природе или отрицает? Допускает личного Творца мира или Его отвергает? Об этих коренных пунктах нельзя найти двух согласных ученых. А если естествознание само не знает своего окончательного смысла и определенного цвета, то оно остается миром подробностей, занимательных, но не воспитатель-

ных. Остается третий и вечный элемент школы — эллино-римский мир, но мир историко-органический, начатый сказкой и окончившийся философией. Всякий научится, кто, подойдя к умершему красавцу, начнет рассматривать его благородное лицо, спрашивать о его подвигах и судьбе, знакомиться с его убеждениями, верою, всем его духовным и материальным бытом. Человек может методически, систематически, учебно воспитываться только через человека. Ни Бог, ни камни его не научат, одни по немоте своей, а Бог — потому что повелевает, творит, а не руководит методически. Слишком ограниченное и слишком абсолютное равно лежит вне школы.

Эллино-римский мир обнимает гражданственность, общественность, весь без исключения круг наук от их начала до значительной высоты, поэзию и все виды искусств, — словом, все, что человеку нужно. Эллино-римское просвещение есть самое реальное и самое практическое, есть самое утилитарное. Но это не в смысле мелочей, а в смысле принципов. Выслушанное на уроках Закона Божия по разным обстоятельствам вашей биографии может иногда иному человеку вовсе не понадобиться во всю его жизнь. Также могут очень пригодиться, а могут и вовсе не пригодиться разные технические и естественно-научные сведения. Но какого образованного человека вы можете представить себе, который не оперировал бы над понятиями: "республика", "монархия", "демократия", "аристократия", "искусства пластические и тонические", "идеализм", "материализм", "бытие Бога, бессмертие души", "судьба человека, рок", "народное собрание, городская община". А все это не только понятия, но выпуклые факты эллино-римской культуры, все это черты жизни и бытия в своем роде умершего Адониса древности. В том-то и дело, что классицизм как реальная школьная дисциплина не есть собственно наука, т. е. не есть один из множества продуктов человеческого творчества. Это есть скорее целый мир зачаточных наук, обнимающих полного человека: вы просто изучаете тут человека, цивилизацию. А что же, какая наука и искусство, какая политика и философия сюда не входят? Читая Геродота или Фукидида, вы знакомитесь и с этнографией, и с древнейшими религиями; знакомитесь с республиканско-общинными формами жизни; вы становитесь способным читать с совершенным пониманием множество новых научных и литературных книг. Но, конечно, для этого нужно именно читать, и обширно читать, древних авторов, а не извлекать из них жалкие отрывки в целях грамматического повторения.

Греция и Рим помогали просвещению всех европейских народов, как-то выпрямляли их, что-то в них залечивали. Дело в том, что все народы европейские представляют собою "дичок", к которому в самом же начале их жизни было привито совершенно инородное влияние, шедшее из далекой Азии, от семитического корня, и оно сломило их арийское светлое существование, имеющее глубокие свои особенности. Изучение классической древности, изучение двух единственно правильно и самобытно выросших арийских народов, возобновляет силы этого

”дичка”, ослабляя или разжижая, уравновешивая семитическую ”прививку”. Вот откуда идет понятие и слово ”renaissance”, т. е. ”возрождение”, ”восстановление”, ”обновление”. Это — обновление поздних арийцев, с некоторым недомоганием, через прикосновение и даже через прививку к ним, пусть вторую и в позднем возрасте, древнейших и совершенно свежих арийских соков. Таков был ”Renaissance” для Германии, Франции, Англии, Италии; так и мы сейчас же после Петра, т. е. сейчас же после освобождения от сломившего нашу самобытность византийского влияния, уже в пору Кантемира, начинаем брать греческие и римские имена для олицетворения своих типов и характеров (сатира ”К уму своему”) и далее в Батюшкове, Жуковском, Пушкине, Грановском, Кудрявцеве получаем подлинный русский ”Renaissance”, на три века явившийся позднее западного, но столь же обильный цветом, смыслом и силою, как и там. Школа Толстого, лжеклассическая, изломала этот наш ”Renaissance”. Истекшее тридцатилетие имеет все качества отрицательного опыта, который показывает, что нам не нужно, что для нас вредно в школьном отношении, к чему мы ни в каком случае не можем и не должны вернуться. Но этим только открывается поле для органического и целостного изучения эллино-римского мира как величайшего и совершеннейшего создания естественных и исторических сил.

ОБ ОТРИЦАНИИ ЭЛЛИНИЗМА

Когда М. О. Меньшиков назвал греческое искусство, а в заключение и всю античную цивилизацию в душе ее, в нерве ее — сумасшествием и отчасти свинством, я думаю, очень многие приятно потерли руки и сказали себе: ”А, это мы будем цитировать”. Статуя и миф Леды, так голо выдвинутые вперед, дают короткий и резкий аргумент, останавливающий возражения. Но нам кажется, что тут есть нравственная софистика, вроде такого, например, силлогизма: ”Крест и гвозди — что это такое? Дерево и железо; в более обширном смысле — орудие муки, т. е. отвратительное; христианство поэтому отвратительно”. Это слишком коротко и уже по краткости своей неверно.

*Omne vivum ex ovo**... — вот аксиома науки, к которой примыкает и миф Леды. Согласимся ли мы минерал признать выше живого? Конечно — нет. Но если живое, т. е. мудрость и поэзия, выше минерального и бессмысленного, то правдоподобно ли, чтобы способ происхождения его и источник, его производящий, тоже не был выше минералогического распада одного кристалла на два, удвоений и утроений куба соли или кварца. Но происхождение минерала безгрешно; и если происхождение живого выше, то — по естественному эллинскому представлению — оно имеет в себе некоторую святость, священство. Отсюда,

* Все живое из яйца (*лат.*).

без дальних и неудобных объяснений, можно вывести некоторые греческие и римские представления, так смутившие русского публициста.

”Свиное”, ”свинство” он повторил за ”знаменитым романистом” о роднике материнства. Зачем же не быть последовательным и не докончить: ”Каждая мать есть опоросытившаяся свинья”? Не знаю, при таком представлении избрал ли бы Рафаэль любимейший и постоянный свой сюжет и нарисовал ли бы он картину, понравившуюся в Дрездене М. О. Меншикову. Руки бы опустились, кисть упала бы на пол. Напротив, эллинское представление (оно же и современно нам научное) ведет к некоторой экзальтации при виде младенца, и не без причины только один ”Renaissance” эллинизма сделался эпохой появления в живописи европейской всех знаменитых сюжетов около материнства, принадлежащих Корреджио, Тициану, Рафаэлю, Леонардо-да-Винчи (во Флоренции я видел его ”Св. Семейство”). М. О. Меншиков не подумал или он подумал невнимательно, что идея ”свиного” самым тесным образом связана с детоубийством у ”кротких сердцем” истребителей эллинизма. ”Опоросытившуюся мать” нечего щадить, как и ее ”щенка”, во многих случаях, именно во всех тех случаях, когда она не была достаточно послушлива регламентации духовных скопцов. Детоубийство, с одной стороны, как наша грязная проституция — с другой, суть, так сказать, практически выраженные ”первый и второй члены” символа духовного скопчества. Все дома терпимости, чуть только не выправляющие в Европе патента на торговлю, выросли на почве печальной идеи, высказанной или повторенной М. О. Меншиковым. Как не видеть здесь связи?! Если пол и родник рождения есть ”свиное”, то самое натуральное ему помещение есть хлев. ”Выгоним свинью в хлев”, — сказал себе первый основатель дома терпимости. И никто против этого не протестовал, так как это казалось естественным, ибо идея ”свиного” есть очень давняя и распространенная у нас.

Я давно пришел к догадке, что идеи необыкновенно высокие, так сказать, в верхней своей ступеньке сводят в невообразимое иногда болото, а идеи, нижняя ступенька которых кажется или обыкновенна, или даже худа, порицаема, иногда ”порнографична”, чем дальше идешь по ступенькам их, поднимают в необыкновенную высь. Не на этом ли были основаны древние Элевзинские таинства? Климент Александрийский их порицает за ”постыдное”, а целый ряд религиознейших и серьезнейших умов древности, как, напр., Плутарх, говорит: ”Те, которые посвящены бываю в эти таинства, умирают счастливее прочих смертных, ибо умирают с надеждой на вечную жизнь за гробом и верой в Бога”. Вот маленькая подробность, о которой не мешало бы подумать многим. ”Свиное” есть только *кажущееся* таким; здесь ”покров Изиды”, который не следует срывать. Природа — застенчива; и она важнейшее в себе и, может, священнейшее показывает нам пугалом (”свиное”, ”порнография”), чтобы надежнее удержать нас от неприятных ей разгадываний.

”Психопаты” и ”сумасшедшие”, каковыми называет древних М. О. Меншиков, дали семью, где были Пенелопа, Андромаха, Гектор, се-

мейство Брута; как и у нас в языческом (по характеру, по колориту) "Слове о полку Игореве" записан нежный и трогательный "Плач Ярославны". Вот факты. Люди, создавшие и питавшиеся мифом Леды, самый идеальный тип семьи, и мы ни из летописей, ни из мемуаров не знаем, были ли там побои жен и телесные наказания детей. Пусть же параллельно этому прочтет М. О. Меньшиков первые страницы рассказа М. Горького "Супруги Орловы", где вся улица сбегается смотреть и хохотать, как супруг от скуки учит супругу, и он увидит сам, как далеко зашел в самообольщении новою Европой, затоптавшею Леду. И у М. Горького в изображении — не случай. Кто же не слышал песенки-были:

Как у нас на улице
Муж жену учил...

Это — "ученье" по всей Руси от тех самых строгих времен, как греческие монахи растоптали у нас своих маленьких и неудачных Лед и спрятали недостаточно монотонное "Слово о полку Игореве" так далеко, что до Екатерины Второй не нашлось ни одного экземпляра.

Не будем нетерпимы к древности, по крайней мере в светской литературе. Не так давно появился прекрасный и монументальный труд (первый том) профессора Алексея Введенского: "Религиозное сознание язычества". В "Введении" его есть удивительная цитата из... митрополита Филарета об эллинском язычестве! "Каждый, — сказал этот даже монах, — кто вдумается и вчитается в языческую поэзию греков и других сродных народов и в их мифические сказания о людях и богах, будет поражен сходством их тона и картин, но только переименованных и полужабытых с библейским сказанием о невинном состоянии человека, предшествовавшем теперешнему виновному: эта же первоначальная невинность отмечает сказания греков и римлян". Мне кажется, это внушительно. Я же добавлю к этой цитате удивившее некогда меня сведение: в Иерусалимском храме, конечно истинного поклонения, был так называемый "двор язычников" с жертвенником и проч., и здесь израильские священники принимали жертвы и приносили их, — конечно, *своему* Богу! — от эллинов, римлян, парфян, мидян, персов. Да и Христа пришли встретить "волхвы" языческие, а Христос есть заключение всей израильской истории. Таким образом, в ветхозаветном храме и, следовательно, в ветхозаветной церкви был устроен как бы "придел", особое отделение и для тех людей, для которых М. О. Меньшиков не хотел бы никакой пощады. И они несли свою "свечечку" Иегове; но ведь они могли это делать, конечно, в том единственном случае, если между Сионом и Афинами, Сионом и Римом лежал ровик, а пропасти не было! Какой же мусульманин пойдет к нам ставить свечку Богу за своего умершего. *Пропасть* — не переступит!

Мне печально, что талантливый публицист наш вырывает еще глубже эту пропасть, и без того бездонную. Да будет позволено мне бросить в нее хоть горсточку уравнивающей и примиряющей земли.

КРИТИКА г. МИХАЙЛОВСКОГО

Хроника русской критики давно перестала быть собственно разбором писателя; она действует на читателя, и даже уже практичнее: действует просто на покупку и через это на читаемость книги. "Я тебя не опровергну, но зато я сделаю, что твоя книга не будет никем читаться", — говорит критический хроникер, вооружившись пером и имея в распоряжении своем лист печатной бумаги в журнале, в котором участвует, при помощи остроумия или перевиранья ухлопывает судьбу книги, которая стоила автору своему годов заботы и размышлений. "Душа — твоя, но рынок — мой" — вот девиз критических побед, каких мы много видели за последние годы. При таком положении дела вступить за себя не значит проявить самолюбие, а просто — столкнуть преграду между собою и читателем. Критика как бы упразднила книгопечатание, по крайней мере в отношении известных лиц или книг; борьба против злоупотреблений ее есть просто вторичное завоевание печатного станка, совершенно позвольительное.

Г. Михайловский последнюю рубрику своей "Литературы и жизни" ("Русск. Богат." № 8) посвятил моей книге "В мире неясного и нерешенного". И если мне, может быть, не нужна его критика, то во всяком случае для меня ценно и нужно мнение его 10 000 читателей. Он присоединяется и почти следует в оценке моей книги гг. Шарапову, Дернову, Заозерскому, Кирееву, К. А. Скальковскому — дружине врагов, смотря на разнообразие которой я могу чувствовать самое живое удовлетворение, до того они взаимно друг друга истребляют противоположностью своих исходных точек суждения и мирозерцания. Этот союз разнообразных людей был бы для меня убийством, если бы за собою и за себя я не видел столь же тесную группу людей, мнения которых собраны в книге "В мире неясного". Все мои недруги, по разным мотивам, считают мою книгу "вздором". Мотивы г. Михайловского следующие или (так как они не связаны) рассыпаются в следующую серию афоризмов:

1) Розанов — чиновник (бывший); мы же "с эпитетом *чиновник*, *чиновнический* привыкли соединять непохвальный смысл: чиновническое отношение к делу значит на обиходном языке — отношение формальное, бездушное" (слова Михайловского, стр. 78). Поэтому я не мог хорошо написать книгу "В мире неясного", посвященную религиозным и одушевленным темам. Напомним критику: а что же Посошков? Ведь он должен бы обмеривать покупателей на товаре, а написал книгу "О скудости и богатстве", бескорыстную и мудрую.

2) Я — неряшлив в изложении; есть неряха-писатель, пишу "небрежно первые попавшиеся слова, не давая труда в них вдуматься, и просто бред свой печатаю. Все это гораздо неприличнее, чем явиться в общество в халате или с пуговицами, не застегнутыми там, где им полагается быть застегнутыми. Костюм есть дело условное; халат для европейца и азиата

есть не одно и то же, тогда как выплескивать из себя на бумагу для всеобщего сведения всякий вздор всегда и везде одинаково нечистоплотно; нечистоплотно, недобросовестно и оскорбительно для читателя” (стр. 87). Спрашивается, зачем он тогда разбирает книгу? Разбирает долго, на печатном листе, и употребив *minimum* месяц на чтение книги и писание о ней? ”Если ты вздором занимаешься, то ты вздорный человек”, — отвечу я ему.

В чем определеннее выражается мое нерящество? В том, что в книгу я ввел в рубрике ”Полемиические материалы” множество теорий, частных мнений, исторических цельных обзоров частных людей (они все почти писатели), оставив письма целиком с теми подробностями частного и семейного характера, какие, находясь в этих письмах, прямо к теме книги не относятся (все письма преданы мною печати с испрошенного дозволения авторов). Вот введение в книгу, трактующую о семье, о быте, о жизни, этике бытовых, жизненных и семейных обстоятельств, он и считает с моей стороны ”неприличием, за которое, приподняв халат, меня следует отшлепать без повреждения мягких частей” (его выражение, несколько раз повторенное в статье). Оказывается, сечь любит не только кн. Мещерский, но и г. Михайловский. Замечу ему, что у меня есть книги и статьи, как ”Место христианства в истории”, ”Легенда об инквизиторе”, ”О понимании”, которые в смысле отсутствия побочных слов, личных и частных сообщений, вероятно, превышают собственные писания Михайловского. Но в книгу ”В мире неясного” введен этот частный элемент. Почему? Да потому, что самая тема книги в высшей степени интимна, частна, домашня и для хода мысли в этой бесконечно интимной области, так сказать, для соответственной обстановки просто нужны были, ”шли”, ”хороши” были все эти подробности. Одно дело — арена, площадь, форум; там мы должны быть в тоге, а речь наша должна двигаться от периода к периоду; но другое дело — дом, семья; здесь речи в тоге и с периодами — смешны, не нужны, не выражают дела. Я писал дельную книгу и на дельную тему и убрал ее с внимательнейшею обдуманностью в соответственный убор, не создав из себя этого убора, но только оставив его в письмах своих корреспондентов, у себя же, в своем изложении, тоже убрав следы всякой тоги и форума. Здесь не непреднамеренность, а усиленная преднамеренность.

3) Я изобретаю факты и сведения, именно: говоря о характере семинарского образования, я сослался на Ришелье, Мазарини и Шелгунова, которые были дворянами; и еще, говоря о Руже де-Лиле, высказал, что он написал только ”Марсельезу”, тогда как он написал много других музыкальных произведений. Эта недобросовестность отношения к фактам лишает меня доверия читателя.

Михайловский как будто не учился в первом классе гимназии и не знает, что всякое предложение или ”мысль, выраженная словами”, имеет главные части: подлежащее и сказуемое, — и второстепенные, обстоятельственные. Умный смотрит на подлежащее и сказуемое, а глупый

хватается за обстоятельственные слова. В политике это тоже ведет к скверному результату: например, армии нужно побеждать, а ее мучат парадами и шагистикой. К моей теме о браке, семье, поле какое имеет отношение Руже де-Лиль и Марсельеза или дворянство Ришелье и Мазарини? Да, когда я буду издавать второе издание трудов своих, я просто не поправлю этих фактов и "ложных сведений Розанова", — до такой степени они побочны и не нужны для предмета моих суждений. Таким образом, Михайловский, несмотря на претензии в философствовании, совершенно не понимает, что такое ход мышления и что возможно быть совершенно точным и строгим мыслителем и написать точную и строгую книгу, вместе поместив в нее множество таких пустых обмолвок. Вот если бы из книги, посвященной семье и браку, я убрал частный элемент и наполнил ее "тогою" красивого литературного стиля (совет Михайловского), я поступил бы как мальчишка, не зная, что пишу и для чего пишу. В книге моей непоколебимо установлены "главные части предложения". Американские железнодорожные мосты, читал я, устраиваются так, что полоска, по которой бегут колеса, непоколебимо тверда, а настилка моста сделана почти преднамеренно из старого и дырявого дерева. Михайловский мне советует делать эту настилку из паркета, обращая внимание на нее столько же, как и на главные части. Плохой вкус и плохой смысл.

Дозволю сказать читателям Михайловского и своим о существенном смысле книги, которого он не заметил и о котором только недоумеваает: "...г. Розанов построляет все свои рассуждения о поле в рамках христианства" (стр. 89). Книга "В мире неясного" имеет несколько целей, несколько устремлений, как и опирается не на один, а на несколько фундаментов. Например, ее невозможно опровергнуть по прочности следующего фундамента: чтобы оцеломудрить человека — надо поднять семью; чтобы поднять семью — надо поднять родителя семьи, пол. Отсюда — мои одушевление, порывы, похвалы, которые как только кто-нибудь парирует, я обвиняю парирующего в союзе с грязью пола, с проституцией. Это говорю для примера, чтобы указать ход моей мысли, "подлежащее и сказуемое" книги. Но вот другое — ее цели. Одна из них была следующая: положить как бы в самые руки, в самую десницу величайших сейчас авторитетов, самой высшей сейчас святыни "прилепление" полов — и посмотреть, выдержат ли эти руки это "прилепление" или раздадутся, раздвинутся, уронят на пол положенное? Это — величайший критический прием, исход которого сейчас еще не решен, но как моменты этого критического приема и была вызвана мною отчасти преднамеренно вся полемика против пола, все возражения, недоумение, негодование, презрение. Проф. Заозерский неосторожно написал в разборе моей книги о "том моменте в жизни человека, который *все так справедливо презирают*". Таким образом, оппоненты мои как бы сами и своими руками начинают разламывать, разделявать, расклеивать то, что Михайловский называет "рамками христианства", хотя сам я во всей

книге настойчиво провожу мысль, что этого делать не следует. "Г. Розанов во всеуслышание исповедует в своей книге христианское учение, и претензия его, правда, очень большая — не идет дальше новой (семейной) концепции христианства, т. е. вящего утверждения его на незамеченных другими основах. Но это мимоходом" (слова Мих-го, стр. 97). Жаль, что "мимоходом", король обстоятельных слов! Дело в том, что спор: "выдержат ли руки", — решаю и имею право решить вовсе не я, а он должен решиться, так сказать, "соборне" — и вот откуда введение в книгу и "Полемические материалы", т. е. созываются люди мною и я, подробнейшим образом записывая, кто и какие они ("частные сведения о лицах"), только подсчитываю голоса, записываю мнения, как точный судья в суде присяжных. "Выдержат руки" — и в сохраненных "рамках" разовьется новое содержание; не выдержат — содержание будет расти, но уже вне "рамок", однако не моими руками разобранных. Вот положение вопроса, и думаю, что оно важнее Руже де-Лиля и истории его творчества. Михайловский похож на мужика, побывавшего в "кунсткамере" и рассказывающего приятелям, т. е. читателям "Русск. Бог.", каких он там крошечных и интересных букашек увидел. Читателям остается только заметить: "Он докладывает неправильно".

Критика его полна раздражения, для меня непонятного. "Долой эти вздоры", — резюмирует он статью и жалуется, что какие-то вчерашние марксисты "совпадают в теперешних своих воззрениях с Розановым", "тяготеют сюда" (стр. 98). Нисколько я не виноват, что они не тяготеют к Михайловскому; мне кажется, просто Михайловский перестал интересно писать, потерял интересное содержание. Бессодержательность — вот грех его писаний, в котором я не повинен. А неинтересен он потому, что все время своей литературной деятельности занимался "второстепенными частями предложения", т. е. вообще обстоятельствами жизни, литературы, да и каждого частного предмета своего суждения — побочными, не главными. Он сам не умел "возглавить" себя; и неудивительно, что очутился где-то, — говоря жестким словом, — под лавкою. "Куда пошел — там и сидишь". Плач тут и поздний, и бессильный.

В ЧЕМ РАЗНИЦА ДРЕВНЕГО И НОВОГО МИРОВ

Если лучшие греки и римляне ходили на христиан.

Если худшие христиане и сейчас суть то же, что язычники (конечно, худшие, потому что "лучшие"-то "похожи на подлинных христиан").

Если христианство "взяло чрезвычайно много из язычества".

То я не понимаю, почему между христианством и язычеством "лежит непроходимая пропасть" (надписание одной главы в фельетоне М. О. Меншикова).

Из Крафт-Эбинга, из Тарновского и из тайных мемуаров Версальского дворца можно было бы набрать худшие примеры, чем какие он привел из Тацита и Светония. Маркиз де Сад стоит Мессалины. Ряд Людовиков едва ли был сдержаннее в нравах дома Августа. Нет, примеры и иллюстрации не решают великих исторических споров. Нужно обратиться к существу дела. Нужно обратиться не к физике истории, а к метафизике истории. В чем коренится главная разница между эрою до-христианскою и *после-христианскою*?

В отношении к жизни и смерти.

Человек и не знал бы вовсе Бога, не томился бы о нем, если бы он не *начинался* и не *кончался*. Конечное ищет бесконечного — вот родник религий! Относительное ищет опоры в абсолютном — вот родник, что человек *хватается*, *плачет* о Боге. Но относительность его и конечность — именно в рождении и гробе. И все религии примыкают к гробу и колыбели. Перевес во внимании к гробу, в трепете перед гробом, и развивается религиозный пессимизм; перевес во внимании к колыбели — и религия розовеет, становится легче, воздушнее: развивается религиозный оптимизм.

Мне кажется, сходство и родство всех древних религий основывается именно на их близости, так сказать, к рождению всего человечества — откуда они и были все религиями младенчества, детства. Тогда как теперешние наши религиозные понятия едва ли не суть предвестия далекого еще, но не бесконечно-далекого конца (человечества). Если мы скажем так, то мы все-таки хоть что-нибудь поймем в том переломе всемирной истории, какой совершился 2000 лет назад; тогда как, сравнивая Мессалину с де Садам, мы не поймем, что же такое совершилось, откуда "новая эра", "новое летосчисление". Право же, хорошие люди были и до Р. Х. И были, бывали хорошие принципы.

Умрем мы с М. О. Меньшиковым — и вынесут из церкви покров серебристый и оденут нас им. Зажгут свечи вокруг бездыханного тела. Соберутся люди. Пение, слезы — все так величественно и грустно. Будут кадить около бездыханного тела и лобызать его; будут кадить в направлении его, почти — ему. Любовь и религия оденут поэзией и смыслом бездыханный труп. И три ночи будет читаться слово Божие над главою покойника.

Но когда мы родились? Страдали наши матери. Какая великая физиологическая и духовная перемена! Сколько надежд с рождением связанных. Какой смысл, что еще будет человек жить. Тоже и тогда вошел священник и прочитал: "Господи Боже наш, *прости* рабе твоей, днесь родившей и всему дому, в нем же родися отроча, и прикоснувшимся к ней, и здесь обитающим всем прости, яко один имаши власть оставлять грехи". Ни — покрова из церкви на младенца. Ни свеч вокруг. Ни поцелуя ему от кого-либо или его матери. Ни фимиамов. Ничего.

Вот что решает дело, а не Мессалина или де Сад. С новою эрою пришла на землю совершенно новая точка зрения на все вещи, именно

точка зрения на них из конца их, а не из начала — какая была дотоле. Известно, что все философы древности и вся их философия исходили из интереса к "началу" вещей, происхождению их: воздух, вода, огонь, земля, а затем мало-помалу идеальное начало, "λογος" были признаны последовательно великими родителями Вселенной. У нас, в новой Европе, просто нет к этому интереса: напротив, и мудрость, и поэзия христианская с бесконечным интересом останавливаются на конце вещей, "страшном суде", "кончине мира", — темах вовсе не занимательных для древности. О "тленности" мира говорит $\frac{9}{10}$ христианских трудов, и притом — лучших, выразительнейших. Новая эта точка зрения действительно принесла и некоторое утишение страстей, но вследствие страха, а не как улучшение. М. О. Меншиков приводит примеры, что жены и дочери сенаторов выправляли себе от эдилов "licenta sturpi", что он переводит нашим "желтый билет". Неужели он не догадывается, что чувства чести и ревности были у римлян во всяком случае те же, что у нас, ибо это совершенно вечные чувства, общие у петуха и человека, у Наполеона и московского боярина; и если ни верность мужа, ни честь отца у них не страдала, то не очевидно ли, что явление, им описываемое, не имело ничего общего с нашими желтыми билетами, ни с нашей проституцией, которую утаивает, от подозрения в которой защищается последняя прачка. Известно, что женщины Шекспира говорят иногда двусмысленности и прямые грубости на эротической почве. Я помню такие слова у Офелии и Дездемоны; неужели же он скажет: "Дездемона и Офелия суть то же, что русские горничные плохого разбора, так как допускали себе двусмыслицы в разговорах с полужнакомыми людьми, каких не допускают наши жены и дочери". Совершенно очевидно, что, несмотря на двусмыслицы, девушки и женщины Шекспира оставались куда невиннее и чище наших дам. Пример этот показывает, что не факт развратен, а колорит факта. Библия, содержащая на первых страницах историю Лотовых дочерей, остается (на вкус всего человечества) священной книгой, а наши романы и повести, хотя не содержат ничего подобного, остаются светскою и нимало не поучительною литературою.

Поэтому, когда М. О. Меншиков рассыпал щедрою горстью примеры развратности древних, он рассыпал имена вещей, без указания их содержания. Возможно ли, чтобы еврейская полигамия не вызвала ни одного указания Божия, ни одной против себя направленной заповеди, если бы и при ней евреи не сохраняли каким-то чудом, нам вовсе не известным, высокий стиль своей семьи, не осуществленный далеко у нас и при моногамии. Что же, будем ли мы сравнивать семьи нашу и ихнюю нумерационно? Мы непременно просчитаемся, ибо выигрыш в цифре будет у нас, а выигрыш в качестве будет у них. Решительно невозможно, чтобы стала "священной историей" бытовая и политическая хроника развратных сластолюбцев, народа Карамазовых. А если это невозможно, то этого и не было. Так же точно когда и прочие примеры из древности приводятся, то всегда упускается иная их психология и иной

колорит; и сравнения эти, будто бы в нашу пользу, также победительны, как если бы кто-нибудь сказал, что женщины г. Боборыкина чистоплотнее и духовно развитее женщин Шекспира.

Европейцы и сохраняют ум, красоту и достоинство — в смерти; подходя сюда — христианин становится серьезнее, религиознее. Храмы наши пустуют от юных, а наполнены старцами. Да и скажите, что юный нашел бы здесь для особых задач юности, для бодрости, труда, для способности любви и героического предприятия. Ничего, кроме совета уподобиться старцу: меньше есть, отнюдь не трудиться, ничего не задумывать и плакать о грехах. Все, имеющее тенденцию к печальному или строгому, — мы умеем совершать религиозно, но все, имеющее тенденцию к радости, — мы абсолютно не умеем совершать религиозно. Древние религиозные пиршества, связанные с культом, не значили вовсе, что религия была у них развращена пиршествами, а значили только, что они и на вкушение смотрели религиозно; и пиршество религиозное от свойственных нам светских отличается, как обед перекрестясь от обеда не перекрестясь. Вот разница: что у них молитва обнимала и молодость, что сюда входило и то, что мы никак не умеем ввести в молитву, например любовь. Чисто внешне и механично мы благословляемся на рождение детей: но как их рождают, это мы и наши родные знаем не лучше, чем наши горничные, знаем несколько хуже, чем женщины Шекспира, и не имеем об этом и тени представления, какое имели древние. Едва ли не здесь лежит идея *Venus-Genitrix*, которую ведь они не называли кокоткой, блудницею, "проституткой", как ее именуем мы, а почитали ее совершенно серьезно еще в пастушеские времена Лациума. Но ведь М. О. Меньшиков не скажет же, что и Лукреция, жена Коллатина, и Виргиния были в своем роде *m-me Angot*. Это хорошо бы сказать в апологетических целях, но никто не поверит. Невинным и наивным языком они называли "dea"* ту, которая нам представляется грязною, т. е. именем не ниже человеческого, а выше человеческого. Что же, ломались ли они, притворялись? Перед кем, когда вокруг не было даже соседей! Они имели религию в сторону веселого, легкого, житейского. Они также все это умели совершать в Боге и для Бога, как мы умеем в Боге только умереть. Соответственно этому вся белая и розовая часть жизни у них проходила безусловно идеальнее, чем у нас. Наши страсти, когда они прорываются через страх, — бывают угольно-черны; это есть чистая копоть без света и теплоты. Кто же не знает, что самые пакостные словообороты, изречения, присловия в этой области, как и самые унижительные анекдоты, идут от учебно-духовных сфер. Боккачио не выдумал своего Декамерона. Это — копоть погашенной свечи, ничего не освещающей. И вот при этой-то погашенной свече невозможно рассмотреть древние мифы, в которых мы знаем один геометрический очерк, но не видим ни духа, ни метафизики этих аллегорий.

* "богиня" (лат.).

М. О. Меньшиков делает и явные ошибки. Пол будто бы служил у древних не для деторождения! Цитирую в ответ апологета II века Татиана и его "Речь против эллинов": "Истребляйте памятники нечестия. Зачем я буду ради Периклемена (скульптора) рассматривать и ценить как что-нибудь удивительное изображение женщины, родившей тридцать человек детей? Следовало бы питать отвращение к той, которая принесла так много плодов невоздержания и подобие которой у римлян представлено в свинье, удостоенной за такое же дело священного служения" (гл. 34). Таким образом, с самого же начала христианской эры появилась какая-то тупость, непонимание и издевательство в отношении к рождению. Далее, он жалуется, Солон выписал и поселил в Пирее продажных женщин. Пирей был то же, что у нас — Марсель. Мера Солона служила к защите афинянок от грубых туземных и чужеземных моряков и матросов и обнаруживает только, что в Афинах не было вовсе туземок-проституток. Но и выписанные и устроенные государством женщины были чище наших аналогичных заведений, как казенная лавка вина не имеет нравов старого кабака. Наконец, М. О. Меньшиков говорит, что у афинян женщина была унижена и забита, так как не выходила из дома. Но ведь это есть признак хорошей семьи, когда женщина домовита. Гетеры явились в Афинах так же, как они явились бы непременно у нас, если бы Петр Великий не вывел русскую семьянинку в ассамблеи; или как они разовьются через 50—100 лет, если теперешняя русская женщина не выйдет на все поприща труда об руку и в товариществе с мужьями и братьями. Гетера есть плод отделения семьянинки от гражданки; и в Спарте и Риме этого класса женщин не было. Это лето я читал "Стромата", т. е. "ковры", "узоры" Климента Александрийского, где, при изложении довольно хаотическом, приведено множество мелочных рассказов о только что минувшей эллинской цивилизации. Сколько героизма, открытости, смелости было в древней женщине; право, в параллель "Жизнеописаниям" Плутарха можно бы написать жизнеописания знаменитых гречанок и римлянок. Напомню ему мать Гракхов. Красота древней женщины и заключалась в том, что она сумела самое материнство свое вылить в чудесные гражданские и общественные формы; что, служа детям и мужу, она в них служила не своему эгоистическому углу, а общине и каким-то странным (для нас) своим богам. Рождения и семья были у них частями религиозного культа.

Наконец, последнее слово будто бы о безбожии древних. Меня в университете еще поразило, что Демосфен начинал речи обращением к богам, "τοις θεοις πασι χοι πασαις"*; а Платон некоторые свои диалоги, как "Федр", заканчивает краткой и одушевленной молитвой: это уже было на конце эллинской цивилизации. Мы от конца далеко, но можно ли представить себе, чтобы Салисбюри говорил "Господи помилуй" в начале и конце речей своих или чтобы Спенсер кончал томы "Син-

* "молю всех богов и богинь" (греч.).

тетической философии”, призывая ”благодать Господа нашего Иисуса Христа”. Мы бы их назвали дьячками; вся Европа бы этому засмеялась. Т. е. вся Европа имеет меньшее в себе напряжение религиозного чувства, так сказать, меньше грозовой энергии молитвы, чем вся та Греция, для которой говорил Демосфен и писал Платон. Вот вам и ”миф Леды”, и ”миф Ганимеда”, около которых будто бы и не оставалось ничего, как только рассмеяться, плюнуть, забыть их и обратиться к чтению Тертуллиана или Августина. Древность была побеждена скорее непониманием, чем излишним пониманием.

ИСТОРИЯ ХАЛДЕИ

З. А. Рагозина, Древнейшая история Востока.

История Халдеи с отдаленнейших времен до возвышения Ассирии. С 113 рисунками и двумя картами. Спб., 1902. Стр. XV + 423. Ц. 2 р. 50 к.

Книга эта производит приятное и почти удивляющее впечатление разными своими сторонами. Прежде всего, это первый русский оригинальный труд по истории семито-хамитского Востока, представляющий цельный обзор, систематическую историю, а не ученую монографию о какой-нибудь подробности этого древнего Востока. Во-вторых, труд этот написан прекрасным по живости и простоте языком, и вместе принадлежит автору вполне ученому. Г-жа Рагозина дала книгу в высшей степени занимательную. Халдея — ведь древний ”Рай” первых людей, о котором и образованные русские люди ничего не знают, кроме смутных представлений как о стране Нина и Семирамиды, Навуходоносора и Валтасара, где производят с не очень древнего времени какие-то раскопки ученые иностранцы и откуда вывезена целая каменная библиотека в Британский музей. Переводные труды Ленормана и Масперо (в сокращении) по своей сухости и специальности мало возбудили в русских интереса к этому давно прошедшему миру. Г-жа Рагозина с литературным талантом и умственным оживлением покойной Блаватской (Радда-Бай) вводит нас в халдейский мир, как та ввела в индостанский. В изложении книги мы желали бы все-таки видеть влитым больше мужской серьезности, сухой деловитости. Для этого не надо нисколько менять прелестный язык рассказов, но местами углубить тон их.

С первоначальной историей человечества связано чрезвычайно много основных исторических вопросов, вопросов, так сказать, по теории истории. Несносно, когда вопросы эти трактуются на сотнях страниц неумным педантом; но статья и полновесные слова, например, о том, что такое в человеке религиозное чувство, каковы его первые источники и возбудители и проч., совершенно необходимы при изложении зари истории человечества. Все это есть у г-жи Рагозиной, но тут хотелось бы больше тяжеловесности, чем сколько она дает нам почувствовать в пере

своим; ход мысли и изложения должен бы быть более задержан, менее бегуч. Обращаясь к частностям содержания, обратим внимание автора на сходство представленных у него изображений крылатого божества на стр. 350 с изображениями Митры на памятниках иранских (арийских) и на сходство их же с крылатым диском солнца, который помещался над входами в египетские храмовые залы. Здесь мы имеем очевидное родство предметов поклонения народов, столь удаленных географически или генетически. Миф об Истар и Думмуци (Астарте и Таммузе) передан у г-жи Рагозиной не в той полной подробности последствий сошествия Истар в ад, как, например, он изложен именно по халдейским памятникам у г. Властова в его "Теогонии Гезиода". Между тем миф этот именно в упускаемых у г-жи Рагозиной картинных и поэтических подробностях много уясняет первоначальное происхождение религии. Напомним также, что плач еврейских женщин по умершем Таммузе не только видел пророк Иезекииль, но что в еврейском календаре до настоящего времени один месяц сохранил название этого прекрасного и юного божества хамито-семитов. А если принять во внимание празднование евреями и до сих пор "новомесячий", т. е. рождения молодой луны, — празднование, шумно и всенародно совершавшееся в пору храма Соломонова, — то станет очень прозрачным для внимательного историка, что "Истар и Думмуци" не вовсе чужд евреям до сих пор. "Священное дерево" халдеев, изображенное у г-жи Рагозиной на стр. 320, неудержимо напоминает сложное и красивое устройство светильника Моисеевой скинии, с такой подчеркнутою пунктуальностью данное законодателю на Синае. Порывшись в "Талмуде", г-жа Рагозина найдет там множество подробностей касательно других предметов халдейской древности, ибо "Талмуд" главным образом и произошел, и был редактирован в Вавилоне ("Вавилонский Талмуд" более у евреев употребителен, чем "Иерусалимский"). В его необозримых трактатах иногда можно отыскать не худшие драгоценности, чем какие Лэбэрд откапывал в кучах камня и глины над могилою Ниневии и Вавилона.

В очень широком и быстром успехе книги г-жи Рагозиной едва ли можно сомневаться, и это возлагает на нее обязанность энергично продолжать прекрасно начатый труд. Заметим, что к первому тому, значительные и самые увлекательные части которого посвящены ходу раскопок в древней Халдее, было бы полезно приложить портреты великих исследователей восточной древности: Рича, Ботта, Лэяра и др.

ЗВЕРИНОЕ ЧИСЛО

От читателей и комментаторов Апокалипсиса как-то укрылось, что ведь *Иоанн*, писатель книги, *знал это число и понимал всю мысль его*; т. е. тайновидец будущих и возможных судеб человечества, по преимуществу судеб заключительных, имел у себя, так сказать, носил с собою и как бы

в себе, по крайней мере в уме своем, странную загадку, сокрытую в числе. Это — "вечное Евангелие", намекнул он в конце книги, "второй, новый" — однако "Иерусалим" же, о котором Тит с Веспасианом так легкомысленно предположили, что его можно разрушить. Разрушить мысль Сиона?..

И пальма та жива ль поныне?
Все так же ль манит в летний зной
Она прохожего в пустыне
Широколиственной главой?

Все те же пальмы; все та же зелень. Все вечное — вечно; а что не вечно, уже умерло сейчас. Что такое это, *ведомое* Иоанну число и которое он *мог* прямо назвать и удержался назвать?.. Число — "человеческое", он намекнул: что за выделения? Можем ли мы сказать, что 42 есть число "человеческое" или, напротив, "не человеческое"? Что значит "не человеческое число"? Ничего не значит, ибо все числа *отвлеченные*, и отсюда открывается, что взятое Иоанном число есть какое-то *именованное* число, при коем подразумевается определяющее его сущностное. "Шесть берковцев", "три фута" — это уже понятно и тут можем мы воскликнуть: да, это — *человеческое* число, число, имеющее отношение только к человеку. Но вот "*именованную*"-то часть, "берковцы" или "футы", Иоанн и удержал у себя.

Он — *знал* это число; и добавил: его можно прочесть, "кто имеет разум — сочти". Читали "Наполеон" в XIX веке, в первом "Нерон". Дети боялись детей. Как будто Иоанн не сказал, что это какая-то сладость, за которую вступятся народы и в изумлении заговорят: "что подобно сему", "это огонь с небеси!"

Апокалипсис прилагается как 5-я часть к четырем Евангелиям, и для любителей вечного слова, имеющих настольно Библию, он лежит у *нижней правой* доски, под самым низом всего библейско-евангельского текста. Последние странички. Если мы откроем конец в самом Апокалипсисе, мы удивимся, что он, в сущности, повторяет, но только кое-что разъясняя и дополняя, изображение Рая во 2—3-й главах Бытия. То есть *из-под* Святого слова сливается с самою его верхушкою, с тем, что благочестивый читатель находит, отвернув левую доску "запечатанной семью печатями" книги.

Апокалипсическое число — райское число, и именно число, раскрывающее и указующее вновь человеку путь к тому, прикосновение к чему Бог связал со внушением вечной жизни и тайного богоподобия. "В тень образа своего сотворил Бог человека..." И тень образа стала самим "я", от него падает тень. Фотография пропадает, когда выступает фотографируемый. Сотворение человека — это фотографирование с неба на землю. С тех пор человек ходит по земле и держит в руках свою фотографию, не понимая, ни кто он, ни как очутился в руках его таинственный *снимок*. Но снимок волнует. Волнуется человек фотогра-

фией и не понимает — что это, что такое этот *небесно-земной* способ таинственного наведения луча. Вкуси "древа жизни" — и фотография разобьется, на ее месте останется неисповедимое "я" — с которым странно сольется державший в трепетных руках *свой*, однако в то же время *не свой* портрет...

Апокалипсическое число — субботнее число. Делай в остальные дни дела свои, "день же субботний Господу Богу твоему". В этот день Бог почил от труда созидания, вещь *творческую* передавая последнему своему, заключительному созданию. "Ей, человеце, помяни Мои субботы". — "Ей, Господи, помню твои субботы". От Моисея до Давида, и далее до Тита с Нероном, и далее до наших дней этот "субботний" крик все тот же.

И пальма та жива поныне,
Все так же манит в летний зной
Она прохожего в пустыне
Широколиственной главой.

Тит не догадался, что для того, чтобы убить Израиля, нужно не Иерусалим разрушить. О, вовсе нет... Разве камни значат что-нибудь? Вот около *фундамента* его они, "сыны Салима", молятся, через 2000 лет по разрушении, так горячо, как мы не умеем молиться в наших новеньких храмах, с незасохшею штукатуркою и еще влажными масляными красками. Чтобы "разрушить Иерусалим", или, пожалуй, в нашей транскрипции, "убить жида", нужно бы "убить" его "субботу", ну, например, сделать, чтобы в день сей жида вдруг начали восклицать:

Эван эвоэ! Дайте чаши!
Несите свежие венцы!

Или что-нибудь в этом роде, "праздничное", но "по-нашему". Но они именно не хотят по-нашему, а *по-своему*, — и замечательно только в "субботу" они решительно не хотят быть "с нами" и "по-нашему", охотно надевая наши перчатки, цилиндры, учась в наших школах, защищая в наших судах и сочиняя в наших журналах. "Шесть дней" с нами и даже, пожалуй, "мы", но в "седьмой" вдруг становятся "колдуны", "святые". За "субботу" именно был 2000 лет тому назад спор: можно в субботу вынуть овцу из ямы? — Нельзя. Нельзя разрушить субботу, тогда весь Израиль рухнет.

Я удивляюсь филологам и богословам. До такой степени очевидно, что "суббота" почти так же многозначительна в юдаизме, как и "обрезание". Они вовсе и никак не толкуют последнего, а с тем вместе и не понимают вовсе "ветхого завета". "Ветхий завет", "ветхий завет", — долбят дятлы кафедр, а что он, и в чем, и какой, — даже попытки разгадать не приложили. Ничего дальше "чистоплотности" и "гигиены", и это у такого специального народа-грязнушки. Но вот "суббота": ведь надо было бы, т. е. при любознательности, оборотнем подползти в какую-нибудь жидовскую хату, спрятаться в мешок, залезть под кровать:

и высматривать все, и подслушивать все, что минута за минутою говорят и делают апокалипсические человеки в этот день. "Суббота" тянется от *вечера* пятницы лишь до *половины* собственно субботы и включает в себя ночь:

В небесах торжественно и чудно,
Спит земля в сияньи голубом.

И спят, как тупые коровы, — филологи. Но я не спал бы, если бы знал жидовский жаргон; я его слушал бы и слушал бы; подсматривал бы; вероятно, увидал бы странные видения и необычайные слова и, как Иоанн-тайновидец, записал бы в "книжку".

"Ты был в Едеме, был в саду *Божием*": единственное место, где "рай" еще раз называется в Библии. Это слова Иезекииля, т. е. через Иезекииля *Богом* сказанные — Тиру. "Ты ходил среди огнистых камней, ты — благословен в путях твоих от дня сотворения твоего и доныне". Опять же это никак не объяснено. Но мы совершенно отвлеклись от своей темы.

Апокалипсическое число есть субботнее число, и в то же время это — число древа жизни, т. е. дополняющее его мысль. Его нужно читать не 666 — "шестьсот шестьдесят шесть", а "6" "6" "6" — "шесть—шесть—шесть". Это специально человеческое число, ибо называет "шестой день" т. е. день "сотворения человека". Ты в сей день получил луч бытия, был фотографирован с неба. День *сотворения* и, общее, *принцип творчества* — вот мысль апокалипсического числа. "Не смешивать дня сего со всеми остальными днями", это совершенно особый день, "святой день". "И бысть вечер и было утро — день шестой". Слепорожденного можно исцелить в понедельник и в четверг. Но Израиля, но "дом Иаковлев", но "град Давидов" — пощади их...

А филологи, не подслушав в субботу тайных слов и не подсмотрев тайных действий, думали, что дело идет о филантропическом *плюсе*, который "почему же" не прибавить к Божьему празднику. Но филантропия все же от "сего мира", а "субботний *пост*" есть именно успокоение от "сего мира", как бы погребение "сего мира" и погружение в "мир горний", мир "шестикрылатых серафимов" и "многоочитых херувимов". Суббота есть на минуту хождение в Тирский "сад Божий", и съедание одного листка, только одного листочка — почечки, цветочка с "древа жизни". И Жив Израиль! не умер "жид"! "Такой-то грязный"! Без земли, враждебный земле и землешеству, истый "скотовод" и до сего дня. Что же делается в закат субботы, т. е. в утро нашей субботы, но когда ихняя закатывается: все спешат в храм и благодарят Бога. Так что мы только и видим что закатное: "Благодарю, Боже — за лик человеческий, данный Тобою мне..." — и утреннее по-ихнему, а по-нашему — *вечер* пятницы: зажжение "святых свеч", которые так напоминают Тирские огни: "Ты ходил среди огнистых камней; ты был в саду Божием; ты благословен в путях твоих от дня сотворения своего — доныне".

Когда мы догадаемся о всем и примем только "субботы" от них, конечно, — в огнях и молитвах, вдруг исполнится глагол Апостола — Израиль спасется! "Весь Израиль спасется", приняв все остальные наши истины — без всякого спора. Ибо ведь — "спор"-то только и шел об одной "субботе"... Но это уже Апокалипсические дни... И "огнь, спадший с небеси", "небесный огонь" Апокалипсиса, есть совершенно точное повторение "огней в саду Божиим", о которых кратко — тоже без пояснения — сказал Иезекииль.

"И показал мне Ангел чистую реку воды жизни, светлую как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его ("Небесного", сошедшего на землю, "Иерусалима"), и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, *двенадцать раз приносящее плоды*, дающее на каждый месяц плод свой; и листья древа для исцеления народов... И Дух и невеста говорят: прииди! и слышавший да скажет: прииди! жаждущий пусть приходит и желающий пусть берет воду жизни даром".

Трудно предсся таким негодованием. Поразили меня слоих и подобных слов, могли подыматься речи о "Наполеоне" или "Нероне". В них очевидно содержится иносказательно "принцип", "путь", категории "святого" и "грешного". И "последние судьбы мира" ничего иного не выражают, кроме глубочайших потрясений в сфере этих категорий и, так сказать, перемещения — не "небес" и "земли" в самом деле, но перемещения представлений у самого человека о том, что такое и где "небесное" (идеал), и что такое и где земное (противолежащее идеалу). По-видимому, это "перемещение" и свитие в клубок прежнего "неба" (идеала, алкания) необходимо как условие для открытия "пути к древу жизни", "прямых ворот" в небесный Иерусалим, которым войдут праведники. Вот объяснение, никак не геометрическое и не территориальное, слов: "новое небо и новая земля". До чего это не касается и не имеет в виду обычных для нас представлений о реально-астрономическом преобразовании при "светопредставлении", видно из того, что ведь не земля восходит на небо к "Иерусалиму небесному", но именно он сам опускается, "сходит" на реально недвижимую "матушку-землю", "мать-сыру землю". Откроются очи человеку, и он вдруг на "самой матери-сырой земле" увидит невидимое, *сокрытое* от него дотоль и "древо жизни", и "воду живую"; и уже не от болезни в выздоровление, а от смерти в вечную жизнь воскреснет. "И оживут кости".

Тогда все объяснится, говорит Иоанн. Он знал это "объяснение". Наука и философия тщетно его ищут и в общем одна и другая еле только "гадают" около и в направлении к "древу жизни". — "Бог взял семена из миров иных, и посеял на сей земле, насадил сад Свой, и взошло все, что могло взойти; но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным. Если ослабеваает или уничтожается в тебе чувство сие, тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее" — так, устами старца Зосимы, Достоевский выразил *чувство* древа жизни. Пессимизм, уныние, отчаяние суть симп-

томы полуперерезанной нити, связующей "я" каждого с "мирами иными", но точнее — с "древом жизни". Радость (безотчетная) есть симптом укрепления и, так сказать, утолщения этой соединительной нити.

Всякая радость на земле ("безотчетная", "без видимых причин") есть предчувствие той окончательной и насыщающей *вечной* радости, коею заключится жизнь человека на земле. Это небесная и райская радость, как предвкушение, в отношении "зари" к "солнцу". Так что "заря" собственно "будущего века", "апокалипсического века" никогда не покидает землю, — и земля этою радостью живет и поддерживается. *Отсюда* — поэзия, т. е. в смысле "зари" и необыкновенная привязанность к ней человека. Да и вообще вся земля "переводит дыхание" и не может умереть только предчувствием этого, второго "апокалипсического", еще не поднявшегося над горизонтом, покуда — "из-под него", "под землею движущегося", в "ночных странах" солнца, но которое ощущается бедными растеньицами — человеками.

СЛУЧАИ ЛЮБВИ

Изида тысячеименна.

Плутарх

Обширный фельетон г. Е. Маркова, вероятно, произведет сильнейшее впечатление. Так интересна тема, так горяча аргументация. Появившись одновременно с письмом глубокоуважаемой С. А. Толстой касательно вопиющего в наши дни загрязнения литературы, он, вероятно, сыграет роль дезинфицирующей посыпки известью на гнилостное место печати и жизни. Однако все ли он сказал и то ли он сказал, что нужно.

Раз я был свидетелем страшного случая. Господин сорока лет, женатый и имевший сына, придя из дому к своей матери, ночевал у нее, а наутро, когда та думала, что он повязывает гластук перед зеркалом, он перерезал себе бритвой горло. Он был очень несчастлив в семье и к матери ходил отдыхать от семейных историй. Казалось, не могло быть сомнений в глубоком негодовании на жену-вдову, — и я, тогда еще молодой человек, разразился таким негодованием. Поразили меня слова одной старой, глубочайшего ума и жизненного опыта женщины.

— Семейные дела темные. И судить о них мудрено.

И она не присоединилась к моему негодованию. Прошла случай, столь, по-видимому, очевидный, полным молчанием. Это было не молчание равнодушия, но молчание от *неполного знания обстоятельств дела*.

С тех пор эти слова: "семейные дела темные, и судить о них мудрено" — стали как бы вечно развевающимся флагом в моем сознании, вечным предостережением от категорических суждений. Что мы знаем о любви? Кроме анекдотов — ничего. Даже анекдоты не классифициро-

ваны, а с этого бы надо начать науку и размышление о любви, которая возможна.

Ну вот случай, тоже мною наблюдавшийся. По-видимому, счастливая семья, да и в самом деле счастливая. Отец семьи — обожаемый всем городом человек. Мягкость характера, ум, деловитость, прелестнейший русский характер — все влекло к нему и общество, и разрозненных людей. У него был один недостаток, который в глазах общества был почти достоинством. Он любил клуб. Не как-нибудь любил, а настолько, что в великую пятницу и субботу, когда клуб бывал закрыт, он все же придет в его пустые залы посидеть, походить — и вернется домой освеженный просто видом и воздухом привычного места. Он был стар, хотя без дряхлости. Всякий раз, встав от послеобеденного сна, он отправлялся туда, вел игру, всегда счастливую и небольшую (без всякого азарта), и возвращался домой в час, в два, в три ночи, чтобы поцеловать жену и спящего ребенка и самому заснуть сном совершенно русского праведника.

Как, бывало, он уйдет, а ребенок уляжется в постель, т. е. от девяти вечера и до возвращения мужа, жена почитает журнал, далее сделает распоряжение по хозяйству (у них велось отличное хозяйство), закажет обед, примет редкую гостью у себя (очень редкую!), а затем, заложив руки за спину, ходит по длинной комнате взад и вперед.

— Что же вы так ходите? Ведь скучно.

Она горько усмехнулась:

— Я так четырнадцать лет хожу.

И ничего. Ни жалобы и вообще ничего. Женщина эта лет на пятнадцать моложе мужа, была совершенно такого же прелестного характера, как и он: стойкая, спокойная, рассудительная, благородная. Ибо и он ведь решительно на всяческую оценку был благородный человек.

Осудил ли бы ее г. Марков, если бы, не ранее как на пятнадцатом году супружества, она полюбила мирною, тихою любовью человека, который просто будет проводить с нею все вечера, читать, разговаривать и проч.

Скажут: "Это исключительный случай". Из "случаев" состоит жизнь, и их по крайней мере надо начать классифицировать. Право, надо оставить общие рассуждения и перейти к фактам. Мне хотелось бы, чтобы г. Е. Марков, ради пользы дела, выразил взгляд свой на такое мое умозаключение.

Во всех случаях, когда женою муж или мужем жена оставляются на многолетнее духовное одиночество, так что духовное состояние оставленной стороны становится жестоко; так называемая "измена" есть несчастье, все же и при таких условиях нежелательное, однако прощаемое.

Будем рассуждать о деле с любовью. Семья есть великое счастье, но его надо заслужить, и заслуживать нужно обеим сторонам. Так, давно проповедуемая мною "свобода субъективного (от двух только зависяще-

го) развода” и имеет целью возбудить действительное старание каждой стороны сохранить при себе другую сторону путем ласки, внимания, предусмотрительности. ”Хочешь счастья, послужи ради счастья”; ”постарайся, принудь себя, когда и не хочется”. Ведь этот почтенный человек не всегда так хотел клуба, как через четырнадцать лет привычки. Сперва он распустился, а распустился он потому, что что же ему мешало распуститься? Неудовольствие жены, самое маленькое неудовольствие. Он хорошо и твердо, на основании законов, знал, что никаких у нее нет средств маленькое неудовольствие довести до большой неприятности, и он, естественно, переступил это. А потом, слабый человек, привык. Добрая жена простила. И легло все тяжелым камнем, в сущности, на чрезвычайно несчастную (потом, в годах) женщину.

ФАКТЫ В БЕЗМОЛВИИ

Мы живем в такое нравственно трудное время, а с другой стороны, потребность встать из того унижения, в каком мы стоим, до того жива и энергична, что теперь слово ”проституция” уже не произносится шепотом, оно повторяется в дебатах ученых обществ, перешло на страницы журналов и газет. Наконец сострадание все преодолело, и мы недавно были свидетелями основания общества под высоким покровительством, которое задается целью предохранения девушек от впадения в позор и извлечения их из этого позора и где зазорное слово ”проститутка” произносится среди самых изысканных и деликатных людей. Действительно, слово это почти равнозначуще: ”пациентка”. Болезни есть страшные, болезни есть зловонные; увы, со всеми ими нужно бороться. Плох тот медик, который брезгает пациентами.

Медиком в данном случае должно быть все общество. Ибо проституция есть болезнь в обществе, болезнь народная, болезнь страшная, подтачивающая в корне жизнь и бытие нации и с которою борьба совершенно неподсильна таким специальным учреждениям, как медицинский департамент и полиция. Они только констатируют факты, являются более зрителями болезни, нежели борцами с нею. Интересны очень в сообщении г-жи Покровской указания, как соединенные департаменты в 1868 и 1892 годах рассуждали об этом явлении. Еще в 1868 году говорилось: ”Законодательство, признавая непотребство, обращаемое в ремесло, действием противозаконным (XIV т. свода, ст. 155—158) и отвергая, следовательно, всякое нормальное его существование, не может входить без явного себе противоречия в какие-либо соображения о порядке и способах его организации”. Платок, наполненный чумными нарывами, спрятан был в карман. Но от этого непоздоровилось его владельцу. Уже в 1892 г. собрание первого и кассационного департаментов пришло к заключению, что ”наказуемость за обращение непотребства в ремесло не соответствует действительной терпимости домов раз-

врата”. Платок с чумными вырезками мы вынули из кармана. Теперь мы его держим в руках и ничего не умеем с ним сделать.

А думать должны, и должны — все. Нерешенность вопроса об этом зле отчасти зависит от того, что он рассматривается вне связи с организмом зараженным. Как будто общество и народ стоят с одной стороны, а неприкосновенно к нему и где-то в стороне, в герметически запертом ящике лежит такое его сокровище. Между тем проституция сочится из общества и народа, это есть продукт его выделения, и потому именно, что общество и народ больны в данном отношении. В народе и обществе в каждый данный день, напр. сегодня, существует известное число единиц одного пола, которые еще совершенно чисты, но уже так поставлены в социальном организме, текут по таким его трубочкам, что завтра попадут в гнойные нарывы; и существуют другие единицы другого пола, которые тоже сегодня совершенно чисты, но уже так поставлены, что завтра пойдут и изопьют от зараженного источника. Существует огромный контингент девушек, которым и деваться некуда, как в проституцию. И существует столь же огромный контингент мужчин, которым и взять неоткуда женщину, как из проституции и проституционным способом. Да, вот где, пожалуй, корень зла, самый первый, самый главный: что мы уже установили в идее своей проституционный способ отношения мужчины к женщине, т. е. товарно-физиологический. Мы об нем не сказали вслух, а подумали и молча приняли его во внимание. Затем мы на него стали рассчитывать, тоже ничего не говоря вслух, при разных расположениях. Например, мы вслух говорим: “Ранее отбывания воинской повинности подлежащий ей не может вступать в брак”, а молча добавляем или в молчании сообразили: “Эти четыре года он может пробавляться и проституцией”. Это нигде не записано. Это безмолвно. Видимость соблюдена, а грозная чума, спрятанная в карман, потекла по всему телу народному, заразила тело народное.

Другой факт. Сбежала у мужика жена и 18 лет пребывает в бегах или, еще лучше, сделалась проституткою. Женщина-врач Покровская констатирует, что около 20% формальных, т. е. зарегистрированных полицией, проституток суть в то же время формальные, по отметке в паспорте, замужние женщины. Может быть, этот мужик, муж проститутки, и смиренный, хозяйственный человек, вполне способный к здоровой семейной жизни. По совершенной невозможности для него и по дороговизне доказать прелюбодеяние жены-проститутки он числится просто в разряде неудачных семьянинов, и вслух мы произносим о нем: “Верно, он покорно несет свое невольное вдовство и пребывает в высоком состоянии воздержания”, а про себя и шепотом добавляем: “Может быть, он и пользуется проституцией, но это уже его слабость и нас не касается”. Сюда к двум исчисленным разрядам военных, которым запрещен брак, и так называемых “соломенных вдовцов” прибавьте воспитанников высших учебных заведений и рабочих, занимающихся отхожими промыслами, и вы получите коренной, так сказать, табор потребителей проституции.

Коренная ее причина — не в девушках.

Частые случаи самоотравления их в зазорных домах достаточно определяют душевное и физическое их состояние. Причина в мужчинах, а не *лично* в них, но, так сказать, *социально* в них: огромные разряды их или не имеют права, или не имеют возможности к семейной правильной жизни. Распущенность нравов, разврат в собственном смысле уже развился обок с этим главным руслом. Дурной дом, как притон принудительно холостых людей, стал мало-помалу и притоном людей безалаберных, испорченных, бесхарактерных. В настоящее время действительная нужда и презренный кутеж уже свились в один клубок. Нам думается, если государство не в силах и едва ли вправе побороть нужду, то оно и вправе и может уничтожить и устранить в дурных домах всякий дебош. Но самая главная мера должна быть, конечно, в развитии, расширении, поощрении семьи. Государству почему-то предоставлено только валандаться с проституцией, а священный институт семьи у него изъят: государство не вправе разрешать от своего имени ни одной семье, и, например, тот же "соломенный вдовец", на оценку государства совершенно правоспособный семьянин, не допускается к правильной семье известными правилами о разводе. Нужно с этою действительностью покончить. Или проституцию должно взять в свое ведение и управление и лечение то ведомство, которое управляет браком, или оно должно передать брак в руки государства, передать ему полномочие разрешать семью, ибо только через это государство получит надежнейшее средство побороть страшный народный недуг.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

В № 3 и 4 "Мира Искусств" за этот год появилась статья "Нагота рая — эстетическая теорема" г. Рцы. Она входит важным и необходимым звеном, входит, как орган в организм, в ту систему мыслей, озарений, фактов, над которою теперь трудится некоторая часть нашей литературы и с которою знакомы читатели "Нового Пути". Написанная изящным языком, с тихим и упорным вдохновением, изобилующая замечательными отдельными мыслями и замечательная по общей концепции, она, несмотря на краткость, представляет выдающееся явление русской литературы за весь истекший год. В странах более культурных она вызвала бы множество статей о себе, по поводу себя, вследствие себя. При более деятельных, и особенно при более *осмысленных*, связях печати русской и иностранной она была бы переведена на другие языки. Словами этими я не хочу сказать особенной похвалы ей, — ибо все это еще мерки внешние. Я кончу настоящею похвалою, сказав, что написавший ее автор становится через нее дорог всякому мыслящему читателю. Зная, что некоторая доля богословов русских прислушивается к взглядам и исканиям "Нового Пути", позволяю себе указать им на эту статью как чрезвычайно образовательную, возбуждательную и примиряющую.

Остановлюсь на некоторых мыслях автора, чтобы прибавить к ним скромное *nota bene* читателя.

1. Автор не находит *антагонизма* между нашею верою и язычеством; а антагонизм собственно христиан к язычникам, как лиц к лицам, считает плодом взаимной их темноты друг к другу, *зажмуренности*. Открытые очи прозрели бы, что язычество есть наивное отношение к некоторым истинам, которые мы имеем сознательно, но к истинам *тем же*. В частности, их искусство, *нагое* и *идеальное* (по стремлениям; этого никто не отрицает), есть только тысячеобразная вариация стиха Библии о рае невинных человеков: "и были оба *наги*, Адам и Ева, *и не стыдились*". Эллинское искусство как бы бродит около темы ли, воспоминания ли этого состояния. Оно дает наготу не как постыдное или соблазняющее, а как невинное, должное, как естественное и первоначальное. В самом деле, дурных страстей мы не видим в мраморах Греции и Италии; чада жизни — нет в них как отражения. Это не суть существа пресыщенные, пьяные, павшие: чего всего довольно в оголенном искусстве нашего времени. Оффенбах бросил бы свою тему, будь он восприимчив к античному, не будь он испорченный мальчик испорченной цивилизации, до которого дошла только какая-то глухая о древности сплетня*. Он похож на мота — "дальнего родственника", который прокучивает состояние богатого дяди и в то же время рассказывает о нем гнусные анекдоты.

2. Г. Рцы отмечает, что коренной перелом от "Эдема" к "нам" заключается в каком-то переломе психики и образа двух кардинальных биологических таинств: *вкушения* и *размножения*. Его рассуждения об этом суть глубочайшие места в статье. Их следовало бы привести здесь. *Благословенность* обоих таинств до грехопадения показывает абсолютную их безгрешность; нет, более: высочайшую святость! Но тогда, в Эдеме, т. е. *по первоначальному плану творения*, они были безболезненны и несомненно эстетичны; тогда как теперь: "в *болезнях* будешь ты рождать детей" (слова Бога Еве). Это — первое. Второе: обе функции потеряли свою эстетику. Все эллинское искусство *имеет мысль рожденья*, но — *девственного*. Представьте стакан опрокидывающийся, но из которого еще не пролилась вода. Это всего секунда времени. Вот такую секунду *между* девичеством и материнством, *еще* не материнство и *уже не* девичество, изображают античные мраморы. Здесь мы доверяем несколько излишне показаниям наших галерей, весьма неполных. У отцов церкви, напр. у Юстина Философа, я читал упреки *знаменитым* ваятелям древности за то, что они своими *chef-d'oeuvres*'ами украсили память некоторых много рожавших женщин. Вообще в данном пункте интереснейших размышлений г. Рцы я нахожу в себе силы только наполовину с ним согласиться. "И так, и не так", "что-то верно, но и с ошибкой". В самом конце статьи в № 4 он говорит о глубокой

* "Елену Прекрасную" я видел один раз на сцене: и ничего более тошнотворного не видал в театре. Это какая-то диссентерия искусства, и поразительна *преступность* Европы, допустившей в театры такую гадость. Пишу не по *пуризму* моральному, но по *вкусу*, *эстетике* и совершенно непосредственно.

эстетике *размножения цветов*, как *modus'е* вообще эстетически-возможно-го размножения, и я с испугом подумал и продолжаю думать, нет ли у автора гипотезы, что *вне орбиты грехопадения* человек размножался бы аналогично цветам, не именно *так*, но *приблизительно так*, без беременности и теперешних форм зачатия. Но ведь физиология размножения неотделима от анатомии, и мы не имеем ни малейшего данного в Слове Божиим для заключения, что с грехопадением *прибавилась* или *убавилась* анатомия человека. Напротив, что она *не* переменилась, указание на это есть и, значит, *преднамеренно дано* в Слове Божиим: "Они (согрешив) взяли листья и закрылись", т. е. покрыли *то, что было*. Явно, что *modus* размножения не переменился, как и питания ("взяла яблоко и ела"). Таким образом, опаснейшая (и ни на чем не основанная) гипотеза цветочного размножения падает. Скажу здесь сведение, может быть, не нелюбопытное для автора, что, по Талмуду, Адам был сотворен *естественно обрезанным*, каковое в редчайших случаях повторяется и по сейчас, и у таких новорожденных, "особенно счастливых", евреи обрезания уже не производят. Впрочем, я не умею ничего вывести из этого, кроме того, что евреи, несомненно уже *чующие* смысл всего им вверенного Слова, смертельно восстали бы против цветочного размножения и гипотезы другого строения, чем теперь, у человека. Но мысль эта у г. Рцы проходит в конце статьи только легким туманом, намеком, без настойчивости, как скорее плод растерянности мыслителя перед трудным вопросом. Едва ли она и пришла ему на ум не только при окончании статьи. По крайней мере, кончая ее первый раздел, в № 3 журнала, он пишет без всяких анатомических гипотез следующее неясное, но твердое, порывистое верование:

"...Заповедь: *Плодитесь и размножайтесь* — дана была человеку до грехопадения. Она является благословением Божиим, а никак не проклятием. Как таковой, половой акт свят*. Он является величайшею милостью Творца-Художника, Его самым драгоценным даром человеку. Как таковой, он и сейчас является радостью жизни, ее самым прекрасным цветком. Но верно и то, что немедленно по грехопадении человеческая пара почувствовала именно в этом стыд. В чем же, однако? Это —

Ущерб, *изнеможенье*, и на всем
Та кроткая улыбка *увяданья*,
Что в существе разумном мы зовем
Возвышенной стыдливостью страданья.

* Формулу эту именно по поводу гнусных обвинений священника А. У-ского в печати (князь Мещерский, едва ли умеющий лоб перекрестить, имел бесстыдство и кощунство выразиться о нем: "сатана в образе протоиерея") — мне привелось (поистине, сподобил Бог) при беседах о нем слышать повторенною из самых высоких и авторитетных духовно-иерархических уст: "Чистый имеет и чистые воззрения, и священник А. У-ский сказал непонятную светским лицам, связывающимся с кокотками вещь, потому что он всегда был в этом акте чист, тогда как светские люди бывают обычно в этом акте грязны". Прекрасную эту формулу я считаю достойной запоминания и памяти литературной.

Вот ответ (!)! Полный, до конца, все исчерпывающий (!!!)! Возвышенная стыдливость *страданья... ущерб... изнеможенье... увяданье...*

Как и что — понять, разумеется, мы не можем, иначе нам пришлось бы выйти из себя, переступить пределы своей природы, вернуться к невинности рая... Вместе с плодом древа познания добра и зла в человеческий организм введен страшный алкалоид, которым разрушены какие-то центры в нашем мозгу. Отселе мир представляется нам в какой-то расколотовой двойственности бытия: добро и зло, чет и нечет, мрак и свет, тезис и антитезис. Мы видим вещи сквозь тусклое стекло гаданья; увидеть их лицом к лицу, познать предметы в их гармонической цельности, или, говоря языком Платона, в их ноуменальной (*noúmena*) сущности, — это значило бы — найти *средство исцеления* разрушенных страшным алкалоидом центров в нашем мозгу. К этому и ведет *Богочеловеческий* процесс. Для того-то и умер и воскрес Христос... но пока, следуя *железной логике*, несокрушимо содержа лишь в своем сознании, что $2 \times 2 = 4$, мы можем, мы необходимо *должны* допустить, что в безгрешном состоянии человека, что в условиях *цельности* бытия, еще не расколотового грехопадением, что в том чудном Эдеме, который был насажден Господом для блаженства *ноуменов*, а не их жалких отображений, — что там известен был метод какого-то бесконечно нежного прилепления человека к жене. В этом методе не было ничего грубого, жестокого, оскорбительного. Напротив, в нем заключалось какое-то неизъяснимое благородство, какая-то непередаваемая утонченность: что-то такое, что должно было, по смыслу Верховного Художника, и действительно *могло* удовлетворить требованию *абсолютной красоты*. Как логическое следствие такого порядка вещей — *страдания* любви ни в каком моменте, ни в какой, даже самой слабой степени не были возможны. Ущерб, изнеможенье, увяданье — все эти атрибуты страданья не были известны первозданному человеку. Упругость форм и красота линий тела оставались *неизменными*. Только при таких условиях и возможно было, что: "И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились".

В этом труднейшем месте и труднейшей теме у автора проходит двойственность, колебание. Вначале явно говорится об "алкалоиде, вступившем в мозг" и, очевидно, переменившем *психику нашу, воззрение* наше на любовь и круг моментов рождения. Но в конце говорится о *неизменности девственных форм* и в рождении. Мы готовы уступить автору половину его тенденции и согласиться, что размножение вне грехопадения происходило бы не совсем так, как сейчас; с отсутствием *боли* — это во всяком случае (об этом есть очень твердое слово Божие), но и далее, чуть-чуть даже *in modo alio, novo et vetere**, о каком ни воспоминания, ни идеи не сохранилось у нас, не сохранилось и нет. Но именно — *чуть-чуть*. Автор взамен этого должен уступить нам другую половину своей тенденции и допустить, что у нас "закрылись очи" на

* способом иным, новым и древним (*лат.*).

круг моментов размножения и что мы *смотрим неверно и чувствуем неверно* этот круг, как он есть сейчас: что стеклышко зла ("первородный грех") попало в *глаз* и испортило *видение*. Он говорит о "неизменности" форм и в других местах упоминает, что беременная женщина есть невозможный для искусства сюжет. Соловей, однако, поет лучшие свои песни, сидя около подруги, недвижимой и молчаливой, пока она выполняет обязанности материнства. Не проходит ли тут *внутренней красоты*, незримой и видимой (открытой) только тому, к кому она относится: к супругу. Соловью, во всяком случае, *не противна* его подруга. Автор скажет, что тут нет изменения форм ее, вида. Перейдем, однако, к человеку: неужели для мужа его жена становится *несимпатичнее, неприятнее* в 36 недель, когда она становится матерью. Я думаю, луна в ее переменах не была для них привлекательнее, когда они смотрели на нее еще женихом и невестою. Таким образом, мы категорию *красивого* должны осложнить категорией *милого* и даже припомнить ветхую поговорку народа нашего: "Не по хорошу мил, а по милу хорош". Вот, я думаю, начало *эстетической перемены*, происшедшей с грехопадением, заключается в том, что целая категория явлений перестала с грехопадением быть *милою* человеку, — *и даже в этом именно и заключалось грехопадение* (хоть отчасти! допустите, допустите!), и тогда эта категория явлений перестала быть и "хорошею". Невозможно представить лоно матери, с заключенным в нем младенцем, которое сохраняло бы прежние девичьи черты, близкие к прямизне и плоскости. Этого нет и не было до грехопадения. Законы геометрии, объема и веса, ведь сохранялись и там! В конце статьи автор, очевидно сильно в этом пункте колеблющийся, говорит: "*Слезы* показывают нам возможность вполне *эстетического выделения из организма жидкостей*". Ценное замечание. Есть *modus* прекрасного, даже прекраснейшего в простом биологическом акте. Да, лицо скорбное, с *слезой на ресницах* есть тема и живописца, и скульптора. Как счастливы эти находки, наблюдения; *подчеркивания* того, что мы, в сущности, всегда знали, но чем не пользовались. Вот я вполне допускаю, что весь круг моментов размножения *in modo praesente** — имел до грехопадения и может возыметь "после страшного суда" (открытие "Древа жизни" в Апокалипсисе) такую игру лучей на себе, такой колорит подробностей, ныне не угадываемых, не прозреваемых ("надо вернуться в Эдем, чтобы понять это"), что каждая его секунда, без исключения которой-либо, была и будет подобна слезе, дрожащей на реснице *Mater dolorosa***. Как? что? почему? каким образом? — на все эти вопросы мы остаемся безгласны. "Тогда все откроется", ибо и в грехопадении ведь только смежились глаза, явился стыд, муж и жена закрылись. "Дрожащую на ресницах слезу" — никто не закрывает; да нет, более: она действительно и воочью прекрасна, закрывать и нечего!!

* в современном виде (лат.).

** Скорбящая Богородица (лат.).

И сейчас ведь есть девичьи тела, нисколько не тронутые "ущербом и изнеможением", от которых мы отвернемся. Не знаю, наблюдал ли кто, что есть, бывает тело "lâche"* . До такой степени, что, взглянув на него при купанье, в бане, *решись бесповоротно* о человеке в этом теле, что он существо — лживое, обманывающее, скарредное, хитрое; или — грубое. Вот слишком понятный термин: "грубое тело", "нежное (духовно) тело". А когда так, значит, теперь самый *вид тел* есть уже павший и в разных деградациях падения. Демона рисуют "обольстительным", я же уверен — что это "калибан" Шекспира (в "Буре"), что-то среднее между мышью и землеройкой. Итак, если совершенно здоровое девичье тело может производить впечатление гнусности (и это тоже "проблема эстетики"), то явно, что и обратно: беременное тело будущей матери, проходя все фазы *перемен*, находится также в деградациях возможного подъема, красоты, эстетики. Не доходя нигде до "слезы на реснице", но приближаясь к этому. Здесь невообразимая жатва для романиста, — который должен начать это прекрасно изображать в слове, делать *милым*, еще не показывая *вида*; а когда "пó милу" станет "хорош" этот образ, пусть к нему приблизится, попытается приблизиться и живописец, а наконец, и скульптор. Все — постепенно, все — мало-помалу! "Царствие Божие усилием берется". В *начале* беременности жена, сообщающая об этом с волнением своему мужу, нежная, стыдящаяся и восторженная, *хотя и чуть-чуть физически перемененная*, есть *зрелище* не менее прекрасное, чем Джульета или Татьяна в минуты объяснения. Право, искусство наше не только не интересуется материнством и не "почало" этот угол неоткрытых сокровищ. Посмотрите на нагие теперешние фигуры: что бы под ними ни подписано было "Магдалина", "Фрина" и что угодно — неизменно это певичка из загородного сада, а не своя *милая жена*, "единая избранная", грациозная, сокровище душевных богатств. "Падшее искусство" — в полном смысле слова. Я думаю, со временем живописцы, *именно в эстетических целях*, начнут писать родных своих, друзей, сестер, детей, братьев, родителей, дабы начать эру *святого искусства*, и начать ее, конечно, с *сюжетов святых*. Библия есть священная книга, ибо в ней почти отсутствуют всякие отношения, кроме родственных. Родство, сцепленность крови — есть "кедеш" (семитическое понятие "святого": "кедеш Израэль"; "кедеш Тир", "кеддумиш" — *освящение* себе девушки женихом, "кедеш кеддумиш" — святое святых, в скинии и храме) — понятие равно религиозное и эстетическое. Никогда я не поверю, чтобы Фрина была лучше Руфи или Ахиллес прекраснее Товии. В *святости* содержится такой момент *эстетики*, до которого не касались еще Винкельманы и Лессинги; и святость может быть телесная, нагая, вспомните слова о "lâche" в теле, алчном и неблагородном, и вы сейчас перекинетесь умом, что, значит, и *святость*, как категория эстетики, есть в шее, возможна в персях, в плечах, линии ног, колен, до пальцев на ноге. Не одно — "милая

* вялое (фр.).

старушка” и нищая, ”бабушка” и ведьма: при одном контуре, линиях, слезящихся от старости глазах и темном цвете кожи. Даже язык это различает: ”старуха”, ”старушка”, ”старушенция”. Значит, заметил глаз народа разницу *этики* и *отсюда проистекающей* ”эстетики”. Значит, и в круге размножения, изменись их этика, при сохранении того же *modus’a*, изменится и их всех эстетика. Вдруг станет *мило* то, что сейчас *отвратительно*. Да, мне кажется, на этом отчасти и держится принцип семьи: она и есть та область *милого*, тот *уезд* миловидного, где все домики, палисаднички, куртинки, рощицы, овощи, нужное и шалость имеют какой-то милый наклон, так поставлены и стоят, что в них не нагулялся бы, не надыхался бы, не насытился бы. А *это самое* в другом месте, вне семьи, имеет скверный вид и запах. Мне кажется, когда семьи ”расходятся”, иногда почти сейчас после венчания, без дурной еще мысли в женихе и невесте, то они и расходятся, когда ”семьи как эдема” не вышло, *не оказалось*: когда получилась голая физиология, мясо, без преобразования в ”миловидность”. Верьте, *расходящиеся* семьи (в таком случае) есть нравственно- и эстетически- и религиозно-чуткие. ”Нельзя жить в семье, если она не как эдем”. Купцу, ему ”что же”. Лопает. Отсюда принципиальная ”ни в каком случае” нерасторжимость брака есть просто зачеркивание семьи; вырытие и выброс с корнем идеи и предположения и доверия ”семьи-эдема”. Вот почему на этой стороне, казалось бы только практической и не важной для принципа, я так упорно и много лет настаиваю: ибо она есть закрытие истины воззрения на семью и установление лживого на семью взгляда. Тогда семья-*ноумен* превращается в семью-*феномен*. Стеснение развода, самое малейшее, более колеблет религию и подрывает ее основы, суть, надежды, все идеалы, чем французская революция и весь ”дух энциклопедизма”. Это ставит ”крышку” над Апокалипсисом; отрезывает ”пуповину” рая, еще не окончательно порванную человеком (”воспоминание”). Отрезывает все концы и начала — и бросает человека в лужу эмпиризма, нигде не оканчивающегося, без выходов из него. Вот отчего *одна строка о нем*, как бы *мимоходом* сказанная и как бы с видом сострадания о женщинах, — повалила весь Ветхий Завет, фактически, неодолимо капнув ”алкалоидом” сгущенного и непоправимого греха в каждую клеточку организма человечества. ”Какой тут эдем! у нас купцы и консистория”. Мусульманство и еврейство, *из-за этой одной строки*, и остановились пред дверью наших ”упований” с печальным и суровым: ”Не можем войти! не хотим! *боимся*”. Ведь они спрашивают о нас, ведь они приглядываются. И замечают, чего мы *по привычке* не замечаем (как смысла *слезы на ресницах*).

Я остановился на пункте, с моей точки зрения особенно важном. И, прощаясь с дорогим автором, замечу в сторону читателя, что статья изобилует другими широкими горизонтами, открываемыми в разные стороны, особенно исторические и культурные. Мне кажется, мы живем накануне совершенной перемены воззрений на историю и совершенной *перестройки* этой науки. Народ Фидиев и Сократов, действительно резко

отличавшийся от длинноносых "персияшек", которые *народно*, вероятно, были такими же, как и теперь, объявил их "βάρβαροι" существами без души, без Провидения, вне Божьего водительства. Христиане еще больше, еще абсолютнее отвергли вне-христианский и до-христианский мир. Все цивилизации и культуры для нас, как куколки на этажерке: вот собачки, вот кошечки, вот как будто и люди, но фарфоровые. Ими можно поиграть, а если и разобьешь, то не жаль. Как много написал Достоевский об убитой процентщице. "Душа человеческая погибла, хоть опозоренная, но душа!" Погибла — *христианка*, "наша сестра" — вот в чем дело. Сам Федор Михайлович, когда дело зашло о турках, написал только скверный анекдот о "сладострастнике, размозжающем из револьвера голову младенца". Нашему времени, по-видимому, предлежит открыть очи на мир и везде в нем увидеть душу, свою, родную; не соседскую, а сестринскую и братнину. Великое дело — родство: возмутительный по гордыне закон о *несмешивании* брачном с жидами и агарянами и всякими "нечистями" есть корень этого как бы железного занавеса, опустившегося между территориию, где христиане, и территориями, где нехристиане; правило это преобразовало, отъединив и уединив, весь дух нашей цивилизации, эстетику, художество и, наконец, науку истории. Мы потеряли *внутренне воззрение*, всегда из крови открывающееся, из "семьи как эдема", и на евреев, и на мусульман, не говоря о тихих и кротких вотяках, черемисах. Везде мы увидели "свиное ухо" (так дразнят татар) и "чеснок". В науке, в философии, в нравах, но начиная с юриспруденции, мы ведем себя, как уличные мальчишки, завертывающие угол пиджака в "свиное ухо". Но это кончается и, кажется, скоро кончится. Если метафизически пробуждается "Великий Пан", то морально пробудится и уже встает Великий Эрос, не в той переделке его "свиное ухо", в какой его знает Европа, но как младенческий лепет о нем сложился в младенческие времена. Встает родная любовь к родному миру. Не в великую фабрику преобразуется мир, хотя мы не отрицаем и фабрику. Вообще мы не отрицаем формы, а дух. Он же будет у народов и человеков буквально как у одной распространенной, разросшейся, но одним током соединенной семьи; где самые крайние будут чувствовать все, что и средние, и "отрет Бог всякую слезу человеческую" (Апокал.), и мусульманскую, и жидовскую, и эллино-вотяцкую, и даже до растений и зверей. Невозможно не заметить следующего. Самое упорство внимания к проблеме пола, и только первые догадки, что здесь возможен *свет* вместо *тьмы*, уже действует как-то отраженным образом на философию и философствующий дух. Идет "Великая доброта" — так я формулировал бы дело. У всех работающих над этою темою возвращается детскость настроения, и этому как-то не противоречат философские углубления. Г-н Басаргин, имея даже внешнее зрение на эту философию и философствующих, не мог не заметить: "У них царствует веселье, оптимизм и надежды". Внутреннее око более замечает: *истаивание чувства греха* в поле и положение сюда идеи *правды* и *чистоты* имеет странную силу рождать *новое сердце*.

Иногда к этому рождению применяется слово "оргазм": это не обозначает ни кутежа, ни склонности к кутежам, но вещь, очень малопонятную для внешних. Несчастье рождает зло, тяжесть рождает озлобление. Поэтому начинающееся облегчение души, истаивание идеи греховности (а в *поле-то* больше и полагалась она) действует обратно и сообщает как бы психологию перед получением великого наследства. Облегченнее дышишь. И силы так возросли, что хочешь помочь другому. Вот это возрастание сил и повышение энергизма, в зависимости от причин внутренних, а не внешних, в разных степенях напряжения и образует весь круг "оргазма". Он может иметь внешние проявления, но и может быть совершенно лишен их. Созерцательность столь же укладывается в него, как и другая деятельность. Иногда думается, что великие отшельники, — по крайней мере некоторые, — были бессознательно, без формул, великими оргиастами. Были тихорастущею виноградною лозою, но несшею новое вино для длинных веков. Здесь лежит вся мощь встречи аскетизма и "новых путей", отнюдь не расположенных к оперетке. Нам кажется, мир разделяется теперь на три части: 1) удрученный грехом; 2) вне греха и святости (laici, позитивизм, светское общество, почти вся теперешняя цивилизация, культура); 3) окрыляемый святостью, по крайней мере — невинностью, безгрешностью. Третья часть вся тянется к заключительным главам Апокалипсиса и первым главам Бытия. Во всяком случае, в Слове Божиим она имеет для себя бесспорные опоры, и это сообщает ей совершенное спокойствие души. Далеко ли она дойдет — это покажет будущее; но что она идет — это уже теперь факт.

ДАРЫ ЦЕРЕРЫ (Шехины)

Старцы учат: если десятеро сидят вместе, занимаясь Писанием, то среди них пребывает Шехина, ибо сказано в псалме 82: "Бог стал в обществе Божиим".

Мишна, тракт. Авот, III.

За грех кровопролития Шехина ушла из Храма, и он был осквернен.

Мишна, тракт. Тома, II.

"Шехина — Божество".

• *Переферкович*.

Словарь объяснительный к Талмуду.

I

Пройдя длинный коридор, я остановился перед дверью № 11 и осторожно постучал. Никто мне не ответил, и, подождав немного, я приотворил дверь. Она вела не в квартиру, как я ожидал, а в новый коридор, с новой нумерацией дверей: 1, 3, 5 — по одну сторону, 2, 4, 6 — по другую.

”Меблированные комнаты”, занимавшие этаж огромного дома, разделялись на ”квартиры хозяек”, которые уже от себя сдавали небогатым жильцам комнатки. ”Коробка в коробке”, ”Ноев ковчег”, — бормотал я про себя, шлепая калошами по ковру. У меня было в руках письмо, в котором значилась улица, номер дома и номер квартиры.

Автор письма — моя давнишняя знакомая, которой я никогда не видал. У писателей, особенно на общественные темы, образуется круг таких невиданных знакомых, с которыми завязывается переписка, иногда тянущаяся годы, иногда весьма интимная и открывающая много новых черт человеческого характера и человеческого положения. Нельзя не сказать, что эта переписка обременительна, что она отнимает дорогие минуты досуга, укорачивает отдых, увеличивает усталость, положительно сокращает количество написанного и напечатанного. Но уж кто ”взялся за гуж — будь дюж”. Писательство имеет свои радости, и писатель не вправе отказаться от некоторых соответственных терний. Года два назад я получил сперва краткое письмо, а затем целую пачечку почтовых листочков от женщины мечтательной, доверчивой, наивной любительницы Надсона и Гаршина, измученной жизнью и не столько обманом, сколько самообманом. Самообман ее, сколько постигаю, заключался в постоянной приподнятости чувств, возбужденности сердца, постоянно укальваемого в самолюбии и в дорогих привязанностях; но из этих уколов не получалось никакого решительно ”опыта жизни”, и девушка, находившаяся с 11—12 лет в чужих руках, враждебно ее перебрасывавших с места на место, и в зрелые 26—28—30 лет осталась, в сущности, этим же неопытным 11-летним ребенком, с недоумением смотрящим на жизнь и людей. В одном она была тверда: в ”хочу” и ”не хочу”, в ”жалею” или ”люблю”; но уже в этом она была тверда, как утка, плавающая в воде, не рассуждая, а интенсивно стремясь.

Длинная, сложная и болезненная история ее заключалась в любви к человеку, за которого по каноническим препятствиям она никак не могла выйти замуж. Здесь не было родства, а так называемое ”свойство”, — понятие, возникшее в то время, когда люди не умели сосчитать до десяти по пальцам и серьезно думали, что если, положим, я женат на такой-то женщине, то ее брат и моя сестра никак не могут вступить в брак, ибо это будет ”смешением близких кровей”. Хотя очевидно для всякого, считающего не до десяти, а до одиннадцати, что ничего общего, ни одного кровяного шарика в их жилах нет и через брак соединилась бы совершенно чужая кровь с совершенно чужою. Из этих запрещенных браков в свойстве особенное бытовое значение имеет женитьба вдовца с детьми на сестре покойной своей жены. Брак подобный был бы, конечно, между совершенно *разно-правными* организмами, и вместе глубоко сближенными уже духовно. Память к дорогой умершей жене делает решительно несносными поиски новой ”судьбы” на стороне, на чужой родине, на почве танцев, романсов и всяческого ухаживания, а между тем сиротство детей, иногда маленьких, и полный развал дома,

лишенного хозяйки, императивно указывает на ввод в семью новой хозяйки и матери. Здесь и невозможно ничего придумать лучшего, более глубокого, осмысленного и нравственного, как женитьба на близкой родственнице покойницы, всего удобнее — ее сестре, девушке ли, вдове ли. Дети от первого брака получают тогда не "мачеху", со стороны чуждую, враждебную, завистливую и ревнивую к любви отца и к наследству отца в отношении первых детей, а старую милую "тетю", которая, переселясь в дом их отца, с годами мешает своих детей с племянницами и племянниками и не разделяет их ни в каше, ни в варенье, ни в ласке и привете, ни в обучении молитве "отходя ко сну". Если бы от меня зависело, браки "в свойстве" я не только не запретил бы, но их законодательно поощрил бы, как особенно обещающие длинное и тихое счастье, без бури страсти, без ломки и водоворотов, ибо они совершенно исключают участие воображения и гипотез в отношении невесты и кладут в фундамент связи симпатию и уважение к давно известному характеру и хозяйственным качествам невесты. Но вот подите же, в XI или XIII веке не умели счесть по пальцам в Греции, как и в Италии, — и отсюда бездна молодых вдовцов в святой Руси стала наделять своих детей "злыми мачехами", пугающими даже народное воображение и заставившими сложить самые грустные сказки, песенки и, наконец, по временам жестокие и иногда кроваво-жестокие факты. "Мачеха" чужая отдаст в работу, загубит, утопит красавицу падчерицу; пожалуй, станет искать сближения с красавцем пасынком. Тут действительно произойдет "кровосмешение", которого не умели предвидеть мудрецы, считавшие по пальцам, и которого нельзя же предупредить коротким: "грех". А сестра покойной матери, ставшая на ее место, и не обидит падчерицы, и не почувствует ничего к пасынку. Преступление предупредится. И вместе в самом браке, конечно, здесь нет преступления, ибо кровь мужа не имеет генетически родственных частиц с кровью жены, а между ними есть только духовное и бытовое родство, "свойство"; есть тяготение душ и уважение — закрепляемое браком. Канонисты забыли одно указание и действие Божие: что ведь Ева была несколько родственницею Адаму, ибо вышла "из ребра его", а не сделана из другого и постороннего кома глины, что было совершенно возможно как способ творения. Первая чета брачная на земле, прототип и указание всех остальных, была именно "четою по свойству". Все это желательно было бы обдумать в качестве материалов для построения будущей русской семьи.

II

На стук в маленькую дверь номера я не получил опять ответа. Сомнения, однако, не было, что я постучал верно, и через скважину двери виден был внутри свет. Я громко назвал свою фамилию. Опять молчание. Я повторил фамилию и снова постучал. И вот дверь потихоньку

и робко отворилась. Я скорее протиснулся, чем прошел, через нее в комнату, до того узкую, линейную, что когда я сел на кровать, то колени мои почти доставали до противоположной стены. Таких маленьких комнат я и не видал, и все дивился ее лилипутству.

И были в ней тоже два лилипута. Меня встретили два прекраснейшие мальчика, девяти и семи лет, — сыновья моей корреспондентки, карточку которых она мне уже давно прислала, рассказав свою мятежную и бедственную историю. Впрочем, "лилипутами" их было можно назвать только сравнительно со взрослою женщиною, какую я ожидал увидеть в номере. На самом деле они были рослые и красивые дети, с лицами серьезными, задумчивыми, но только почему-то твердыми и уверенными. Они сказали, что знают обо мне от "мамы", и назвали меня "профессором", что более понятно в объяснении детям, нежели "писатель". Они отнеслись ко мне очень доверчиво, и, кой-как повернувшись и стащив пальто, я сел на кровать, единственную, кроме стола, мебель в комнате, и начал озираться.

Оба мальчика знали таблицу умножения, хотя младший с ошибками. Знали кое-что из географии и истории и рассказы из начатков Ветхого и Нового завета. Оба они стояли, да и сесть было некуда, иначе как рядом со мной на кровать, чего они, видимо, стеснялись. Полуопущенные взгляды, тонкая ниточка улыбки, деликатность ответов, горячие слова о маме, которая, казалось, не их защищает, а они ее готовы защитить, — все это производило во мне смесь удивления и радования на них. "Ну, тут все преблагополучно, и ничего — мрачного", — подумал я. О детях я ей настойчиво писал в провинцию, чтобы она, не стесняясь их незаконнорожденностью, отдавала их в гимназию, ибо дело прежде всего и опускать учения никак не следует, а на занятия "дома" и "с мамашей" рассчитывать опасно. "Тут будет с вашей стороны небрежность и — никакой любви", — убеждал я ее. Но она все не отдавала старшего сына в гимназию, и я приписывал это стеснению незаконнорожденностью — первая мука от которой, собственно, и начинается с отдачи детей в ученье, т. е. с вывода их из дому. Дома они были как следует, и, собственно, ни мать, ни отец таких детей вовсе, конечно, не чувствуют их "незаконнорожденности". Но едва выводятся они из дому, как фикция становится реальностью, а реальность подлинного родительства вдруг обрывается в фикцию. Начальство учебного заведения, принимая таких детей, принимает их как круглых сирот и просто не умеет, лишено, и основательно лишено, психического такта взглянуть на родителей иначе как на чужаков, посторонних воспитаннику, как бы откуда-то подобранных мальчика на улице и из сострадания отдающих его теперь в гимназию. Дома — они родные. Но вне дома они совершенно чужие, ибо вне дома все определяется по документу, юридически; улица есть система юриспруденции, и вот в этой системе юриспруденции дети, — совершенно выросшие в своем, и иногда усиленно, теплом и идеальном гнезде, вдруг попадают в невыразимую моральную стужу.

Страх ее и заставляет многих родителей таких детей все отодвигать и отодвигать их ученье, все как-нибудь "вручную" обучая детей. В самом деле, из времен еще моего студенчества я помню встречу с гимназистом третьего класса, у которого была прекрасная заботливая мать и который до того был измучен насмешками товарищей над его незаконнорожденностью (и что в этом дети понимают? а всегда смеются), что, мне тогда показалось, он близок к чему-то похожему на помешательство. Удивительно и больно было видеть у четырнадцатилетнего мальчика такое глубокое и болезненное изменение нормального душевного строя.

Не знаю, замечал ли кто, что все, что очень болит, в конце концов делается некрасивым. Некрасивы нищие. Некрасивы голодные. Больница являет некрасивый вид. И из так называемых "незаконных семей" только те сохраняют красивый семейный колорит, которые от стечения благоприятных условий имели возможность совершенно забыть о своей незаконности, никогда о ней не вспоминают, не думают, не заботятся, не страдают ею. Тогда они стоят прямо, цветут и имеют тот обычный аромат семьи, который вырабатывается только в совершенном благополучии и спокойствии. С этой точки зрения неотдача таких детей в учебные заведения, пожалуй, есть мудрый инстинкт самосбережения. Правда, дети лишаются выучки и "привилегий", но зато сохраняют нравственное здоровье, силы, не теряют душевной благовоспитанности. Отдать их в школу — значит моментально внутренне изуродовать. Это все равно как, напр., начать звать, положим, интендантов "ворами", духовных лиц "кутейниками", вышедших из монашества или священства — "расстригами" и проч. Начните эти сословные клички, и вы фатально уроните сословие. Из клички нет подъема, нет реабилитации. Не завися и не происходя из личности, а вместе с тем относясь к личности, она неодолимо подавляет личность, нивелирует всячески ее усилия и таланты. "Каков бы ты ни был интендант, хоть герой: а как ты, однако, интендант, то мы подозреваем тебя в воровстве". Что делать! Тут невольно станешь вором. Вот отчего некрасивый, несимпатичный вид незаконных семей — и некрасивый именно в более страдающих детях, а не в родителях, менее страдающих, — объясняется этим как бы окружающим их шепотом: "воры", "контрабандисты", "беззаконники". В сущности, если семью признать абсолютно прекрасною вещью, *an und für sich* прекрасною, то беда некоторым из них юридической санкции есть все равно что введение христиан в катакомбы. Христиане были абсолютно прекрасны, но "не признавались". Они таились, скрывались в пещерах, в пустынях, в каменоломнях около Рима. Если семья столь же прекрасна, как гонимая тогда истина, то само собою разумеется, что заведение ее, слияние особей в семью, "даже вопреки закона", совершенно параллельно уходу римлян времен Диоклетиана в катакомбы. Но у христиан было счастье сознания внутренней правоты, которая делала их прекрасными. У "мучеников скопчества", параллели мученикам Колизея, нет этой внутренней опоры. Семья, невозможная "по

свойству”, семья, например, двоюродных брата и сестры не вспомнит о королеве Виктории, бывшей в замужестве за двоюродным братом; до самой границы, положим, России, куда ”три года скачи — не доскачешь”, она считается чем-то ”невозможным, ненормальным, безнравственным”. Идея внутренней правоты вырвана из сердца. И здесь происходит, но в худшую сторону, но в сторону несчастья — единственное доказуемое различие с подземными христианами, которые были так прославлены, едва вырвались на землю.

III

На детях были одеты коротенькие панталончики, чулки и курточки очень красивого серого клетчатого цвета. Все было ужасно старо, чуть-чуть уже мало по росту, но нигде не порвано и не испачкано. Они были красиво острижены. Видна была около них культура, забота. Я уже сказал, что у них был странный гордый вид и ни малейшей забитости или унижения. Однако мать писала мне, что они знают о своей ”незаконнорожденности” и ”без памяти любят меня, всегда со мной”, добавляла она. Скоро и она вошла в номер, — дурнушка, толстушка, озабоченная. У нас пошли деловые разговоры. Она, уже вдова теперь, приехала хлопотать, нельзя ли ей как-нибудь или усыновить своих детей, или хотя зачислить в приемыши, или хотя передать им свою фамилию. Оказалось — ничего нельзя. Как девица, она может усыновить, но чужих детей; своих детей не может. Путь к ”подкидыванию”, к ”подкидывшам” — проложен в законе.

Я слушал ее рассеянно. Все это старая, давно известная дребедень. Я был в несколько поэтическом и раздраженном настроении. Дело в том, что кроме очень понравившихся мне детей, в комнате была еще подробность, занявшая меня почти больше даже детей. Приход ”мамы” только расстроил мои мысли. Комната, я сказал, походила на увеличенную в микроскоп линейку, и в ней некуда было пальца лишнего всунуть. На столе горела скверная керосиновая лампа; я предупредил детей о пожаре и осторожности с нею, а сам тревожно занялся спущенною на окне коленкорвою занавескою, угол которой вершка на два, едва ли на три, не касался зажженной лампадки, стоявшей на подоконнике. Отведя в сторонку занавеску, я увидел, что на единственном, после стола, плоском месте в комнате, подоконнике, устроена крошечная, в ладонь величины, ”божничка”, т. е. стоят уголком, касаясь кромками друг друга, три образка и перед ними зажжена лампадка. Я сейчас понял, что, значит, мать этих детей совсем никогда не расстаётся с этими образами и, куда бы и по какому случаю ни отправилась, берет их с собою, а на остановке — сейчас водружает маленький алтарик. И лампадку она, очевидно, с собою возит. Из письма ее ко мне я знал, что она приехала по крайней мере за 1 1/2 тысячи верст в Петербург, собравшись совершен-

но внезапно, наскоро и ничего с собою не взяв. Таким образом, тут действовала давняя привычка — машинальность более, чем обдуманность. Но машинальность слагается в годах. И каковы были молитвы и их жар, выковавшие эту окончательную привычку.

Никогда я не видел "божницы" на окне. Видал ее обычно в углу; видал образ высоко на стене; наконец, могу себе представить образ даже на подоконнике, но в таком случае один и во всяком случае без лампадки. Новизна места и устройства меня поразила: здесь было за занавескою устройство всего к молитве, был некий "малый храм", наскоро набросанный... "Кому? какой? кем?" — вспыхнул я вопросами. Я почти забыл, где и у кого сижу; зачем пришел. Хорошенькие мальчики, "незаконные"; религия в углу комнаты; явно благочестивая мать, явно куда-то рвущаяся молитвою, может быть, много (по ночам) плакавшая, и все они — бесприютные, оттолкнутые, одинокие и столь крепко прижимающиеся друг к другу — сплелись во мне в самый неожиданный узор мыслей.

Оттого-то я и не слушал вошедшую в номер мать.

IV

Мысленно я перенес эту лампадку в Пестум, в Южной Италии, где был полгода назад, и внес ее в храм цереры, в нескольких саженьях от берега моря. Он весь золотится на солнце, этот уже полторы тысячи лет без богомольцев и без молитвы храм. Никогда я не понимал смысла "цереры" — и пишу поэтому с маленькой буквы: "цереры", разумея под этим просто живое зерно, зерно с душою в нем, какая есть, и выгнала, например зерна, найденные в египетских пирамидах, в колос пшеницы после стольких тысяч лет сна. По историям религии я знаю, что на одной из стен помпейских домов найдено изображение Цереры (с большой буквы) в виде молодой женщины в длинном одеянии, голова которой убрана колосьями именно пшеницы, в правой руке она держит тирс или скипетр, а в левой (и вот это самое замечательное) тарелку с посаженными в нее и только что только проросшими крошечными растеньицами. Явно, что женщина здесь почти ни при чем. Это или аллегория, или фантазия; вообще собственное имя здесь не нужно. Суть дела и мысль греков, воздвигших "храм Церере", заключается в том, что кто-то (или Кто-то) есть в мире, добрый и благой, с собственным именем или без него, кто растит все в мире, все выращивает — от семян на плоскодонной тарелке до... хороших мальчиков в Петербурге, которых я увидел перед собою, и около них лампаду. "Это не сюда относится, не к Петербургу", — подумал я. "Это относится к Югу, к Солнцу; и к той таинственной мысли, которая заняла греков, умерла как непонятная, но вот в Петербурге, в холоде и темноте ночи, в гадком Ноевом ковчеге меблированных комнат, она вдруг почувствовалась как

истинная и вечная". В самом деле, нужно же относить всякую вещь к ее органическому источнику, началу; и именовать ее по имени этого источника, а не как-нибудь иначе, и не случайно, и не по имени, напр., принципа совершенно противоположного. Я хочу сказать: что лампы матерей, если они зажигаются перед ликами девственников, каковы безусловно все сейчас "лики", похожи на письмо, которое никогда не найдет своего адресата, ибо его "нет в живых" и даже нет "числящихся". К кому относится лампада? Где адресат? Адресат — девственник, который со скорбью взглянет на порочную мать и, как в виденном мною случае, "оружие проведет через сердце ее". Другим матерям не пройдет столь остро это оружие. Но как упрек (очистительная молитва) — он всем пройдет. И не наступает ли, не наступило ли время им всем опознаться, что, "порочные" перед идеалом девства, они должны искать другого себе места, иной стоянки, где были бы воды и пашни; и, словом, где все походило бы на плоскую тарелочку с прорастающими на ней семенами, какую изобразили у себя на стене помпейцы и написали под изображением непонятное слово "церера".

Шиллер, новый человек, но медик, но физиолог, написал стихотворение, которое похоже на зажжение лампы в другом, как мы говорим, месте:

С Олимпийския вершины
Сходит Мать-Церера вслед
Похищенной Прозерпины:
Дик лежал пред нею свет.
Ни угла, ни угощенья
Нет нигде богине там,
И нигде богопочтенья
Не свидетельствует храм.

Земля, если верить этим словам, не дышит верой, пока она не задышала материнством, отчеством. Только здесь пробуждаются глубины, которые надежно ведут к Богу. Затем во всяком даже учебнике говорится, что, пока не началась семья, — нет еще культуры, а только — дикая планета. Этот дар Цереры и обозначает Шиллер в дальнейших строках:

Плод полей и грозды сладки
Не блистают на пирах,
Лишь дымятся тел остатки
На кровавых алтарях.
И, куда печальным оком
Там Церера ни глядит,
В унижении глубоком
Человека всюду зрит.

Храмы и обработанные поля, как и святые избранные дни года, дни праведного человеческого отдыха и позволительного, — нет, более: восторженно желаемого веселья — от нее же. Но что же такое она сама?

Имена ее ошибочны, изображения ее ложны. Можно найти только символы, подобию, аллегории, но она пробегает по миру, как по лицу улыбка, — и больше ничего. Что такое смех, улыбка? На что бы вы ни указали, это будет рот улыбающийся, глаза смеющиеся. Все будут предметы и имена; "церера" — прилагательное около всех существительных, но вследствие которого вдруг они все становятся милы, дороги человеку; и грубый дикарь называет "божок" ту вещь, тот предмет, напр. зерно, которое вчера небрежно топтал ногою, бросал на землю. Церера — радость земли, улыбка планеты.

Душу Божьего творенья
Радость вечная поит,
Тайной силою броженья
Кубок жизни пламенит;
Травку выманила к свету,
В солнца хаос развила
И в пространствах, звездочету
Неподвластных, разлила.
У груди благой природы
Все, что дышит, радость пьет,
Все создання, все народы
За собой она влечет;
Нам друзей дала в несчастьи,
Гроздий сок, венки харит...

Я хочу немножко логики и вправе ее потребовать. Уж дети во всяком случае не падают из скопчества, не падают из девства. Порицайте их или не порицайте; признавайте как угодно их родник — порнографическим, грешным, "скверною", как вы прямо зовете. Слова в вашей власти. Но позвольте же отнести детей к этой своей причине и назвать их по ее имени "дарами Цереры". Кто она — "невем". Ведь и родника электричества я не знаю. Да и ни теплоты, ни света, никаких решительно "сущностей" мы не знаем. Мы знаем только феномены; краешек, верхушки, пустяки. Но не постигая вещей и не имея философии, мы по крайней мере можем иметь точную грамматику и не ошибаться в терминологии; не ошибаться в словопроизводстве: такие-то *существительные* от такого-то *корня*. Пусть *поучение* детей, *воспитание* их относится как к "корню" своему — к христианству. Но рождение — нет! нет! Это язычество! Непобедимое, непобежденное, *пока рождаются дети*, и яблоки, и овцы. Хоть удавите меня на трех веревках или разорвите тело мое, как Ромул какого-то изменника-царя, дикими конями, я не престану говорить не только очевидную, но и всеми решительно признаваемую истину, только безотчетную пока: что *рождение* и *зачатие* детей *не из христианства, не от христианства*, и что если они, т. е. рождающееся бытие всего мира, восходят к какому-нибудь религиозному источнику,

то часть Неба, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{20}$, — сколько угодно, но "Неба" же, "бога", — принадлежат этой *еще* "религии", или неведомой нам, или забытой, но вечной, истинной и благой. "Бей, но выслушай", — скажу я за Фемистоклом. "Бейте меня, но и признайте, однако, что и сейчас, как 2000 лет назад, люди еще молятся *Diis ignotis*: именно все матери и все отцы, когда они зажигают лампы, вздыхают, улыбаются, поклоняются "благодаря Бога за милость его".

V

Вернувшись от моей знакомки домой, все еще в мечтах своих и воображении, я открыл книжки и стал перечитывать в них о детях, т. е. хотел перечитывать, и ничего не нашел. Трудно поверить, что книги о "христианской семье" никогда, собственно, не содержат в себе ни одного слова о детях — не только заботы о них, но даже мысли о них; а пространные страницы посвящают главным образом убеждению человека в "покорности судьбе" и "христианскому долготерпению", называя это главной красотой и коренным отличием христианской семьи от всякой иной. Но как место "покорности судьбе" и "христианскому долготерпению" есть и в тюрьме, и в больнице, то я перестаю, читая эти страницы, различать семью от больницы и от тюрьмы. "Общие признаки" у них есть; а о специальном призвании семьи не упоминается. Тогда я догадываюсь, что тут просто путаница адресов и собственно "долготерпение" и "покорность судьбе" оттого христианам и рекомендуется, что девство и его идеал вовсе для них не допускает семьи иначе как выхолощенной, именно без "даров Цереры", конечно, физиологических, плотских, кровных, тельных. Это — грехи древности, которым древность зажигала лампы. Они не исчезли еще. Люди все еще рожают. Все нарушают девство. Но разница в том, что в древности они рождали радостно; думая "Богу службу служить" этим, — и от радости зажгли лампы, первые на земле, еще в Египте. Теперь же рожают в унынии; или рожают равнодушно; или — чисто физиологично, если и с удовольствием, то житейским, кукольным: как бы увеличилось число куколок и вещей в доме. Физиологическая радость есть, но религиозная... *нет адреса* для нее, не к кому отнести радость, иначе как ошибившись. Отсюда — даже присловья некоторые или религиозные аксиомы: "Умереть младенцем — хорошо: не нагрешит".

От этой философии уже два шага до Скублинской: "Умерло, много умерло: но ведь все безгрешные".

А бедные их матери, пока их дети угасали, — как и моя знакомка, также по уголкам своим зажигали фитили и масло, перед лицами угрюмыми, суровыми. "Блаженны кроткие..."

ТАЙНА СТИХИЙ

И вот — море как бы *стеклянное* перед Престолом Божьим...

Апокалипсис

Прочел печатную о себе статейку, по-видимому, — легкомысленную; но, в конце концов, может быть, *основательную*; и *основанием*, которое незаметно для написавшего, да и для меня самого долгие годы было как-то незаметно же "вразумительно". Перепечатаваю ее целиком:

???

"Философ от "Нового Времени" В. В. Розанов доказывает необходимость создания молитвы перед началом и по окончании каждого акта отправления человеческого организма. Подлинные слова мы не приводим по их совершенному сумасшествию и безнравственности и нецензурности, оскорбляющих чувство каждого православного человека.

Считая г. Розанова человеком искренним, не гоняющимся за популярностью и деньгами читателей, мы должны отнести такого рода факт к явлениям чистой психопатии. Во всяком случае, ввиду именно искренности г. Розанова, мы считали необходимым *объяснить ему и его читателям, что молитва есть духовное выражение и духовное влечение человека*. Подводить под нее отправления человеческого организма потому нельзя, что *материя, при всей ее божественности создания, имеет свои законы, которые смешивать с явлениями души* человеческой никоим образом не следует".

Во всяком случае, это — искренно. "Да не мешайте же вы *уксус с сахаром*". Уксус — при *обеде* хорош, с *хреном и рыбой*, а сахар — это за *чайным столом*: и *другое время*, и *обстановка и даже психология* ваша — все другое тут. Серая и брюзгливая, она совершенно другая за обедом, после труда, усталости, перед сном, — или вечером за самоваром, который брызгает паром из-под крышки, шумит, звенит, а белая скатерть с маленькими чашечками являет восхитительнейший вид беспечности, отдохновения и веселых гостей, которые сейчас ударят в звонок квартиры около дверей.

И *оба* есть благо, сахар и уксус: но именно — *не в смешанном* виде. Автор заметки явно говорит о "божественности материального создания", значит, — он не отрицает организма и его процессов. Но не говорит, что это — *другое*, нежели душа, духовное делание, молитва.

Многие годы, как я веду полемику за "освящение молитвою" начала и окончания важнейших физиологических процессов, поднимается смех или еще чаще отвращение, так ярко сказавшееся у автора заметки: "сумасшествие, безнравственность, оскорбляющие чувство каждого человека; чистая психопатия".

И вспомнил я, разом, картиною: "кристалл и море стеклянное" Апокалипсиса; купель *водную*, с прилепленными по краям ее горящими восковыми свечами, куда опускается новорожденный младенец; и мягкие, нежные слова и улыбки, какими — в полупамятках, — распределяя

страшно сжатое предсвадебное время, пожилая старушка определяла час вечера в канун свадьбы своей дочери, когда она должна была пойти в баню и "взять такое-то и такое-то белье", особенное, нарядное, с кружевами. Вспомнил особенный наряд и крестильных рубашечек: "мальчику — с голубыми лентами, девочке — с розовыми". Что, кстати, за инстинкт? Почему девочке "с розовым"? Всегда это был цвет любви, влюбленности: неужели же семидневной крошке, и в таком обряде, что-то нашептывают о "любви"? Да, вот подите же! "Голубой цвет" на рубашечке мальчиков — это, конечно, *небесный* цвет.

Автор насмешливой заметки, говоря о *божественном*, т. е. непременно *освятимом*, значении материальных вещей и процессов, отталкивает — с слишком *всеобщим* и след. *рациональным* отвращением — освящение их через тот вид "духовного делания" (молитвы), в которых теперь мы: 1) изливаем скорбь; 2) просим милости; 3) благодарим за миновавшую опасность; 4) надеемся; 5) веруем; 6) исповедуем, — но, действительно, ничего физиологического *этими* молитвами не начинаем и не оканчиваем. Замечательно, что молитвы "перед обедом", "после обеда", "после сна", "перед сном" как-то не привились к быту, забываются, не повсеместны. А как *помнятся* и *повсюду* соблюдены: "Царю Небесный", "Богородице Дево", "Отче Наш", Херувимская.

"Купель! купель! — вот *новое* в кругу религиозного освящения, религиозной *встречи* и *проводов*. Замечательно, что не одного младенца, но и *покойника* омывают, и это — *обряд*, *непременный*, хранимый в народе, хотя в *требники* и не *вписанный*. Младенец, в купель погружаемый, не молится; даже — ничего не сознает. Но его красное тельце, барахтающееся, крошечное, как бы *ныряющее* в воду, и затем нежная простынька, накидываемая на спинку, и эти *весело* горящие свечи, и обрадованные лица кругом — все своих *домашних* лица, и около — священник в облачении, и еще — немного бы *фимиама*, ароматистых курений, но самых легких, чтобы только уничтожить "тяжелый воздух", — во всем этом какая *утучненная* материальность и вместе — *святая!* Все в общем, целая картина и действие — религиозны, святы. Вот "процесс физиологически-стихийный", *освящающий*: и, куда подходя, мы уже не профанируем ни физиологию, ни "молитву" и вообще смешиваем *однородное*, а не сахар и не уксус.

Вода — святая, освященная, могущая быть освященною! "В крещенье (6 января) любит он бросаться в Иордань-реку", говорили, в Б-ске, о беспримерно здоровом лавочнике, благочестивом и нищелюбивом*.

* Торговали несколько братьев; и вот *этот*, стоя у кассы, *не брал сдачи* с целой монеты у бедных покупателей; братья устранили было его от кассы, — но торговля сейчас же пошла хуже; они поняли, что это — "Божье указание", и вновь определили к кассе тароватого брата: торговля сейчас поправилась, и при моей жизни в Брянске это была первая в городе богатейшая бакалейная лавка; у кассы стоял христоролюбивый и нищелюбивый, здоровеннейший "брат", лет около 40, приветливого и серьезного вида, с самым легким оттенком народного балагурства, юмора.

Купанье в Иордань-реке, столь рискованное, считается "благочестивым делом". Садясь за стол — "умой руки". Пища — священна, "от Бога", и возьми ее не только чистыми вообще, но *преднамеренно очищенными* руками. Вот начало великих догадок. В детстве я наблюдал плотничью артель: никто из мужиков бывало не сядет за обед, не подойдя к глиняному рукомойнику, не сплеснув рук и не вытерев их полотенцем. Это — не чистоплотность, а — другое, лучше, *выше!* Они вовсе не были чистоплотны, носили дерюги, да и, проглотив таракана или муху, — не расчихались бы. Ели щи с тараканами, но *брали в руки хлеб, умыв руки*: это остаток глубочайшей древности и глубоко народное чувство "священности хлеба", "праведности пищи", богоустановленности и богоблагословенности "вкушения".

Вода — стихия, часть мира. В кувшине вода — часть моря. Это как "флаг национальный" на русском корабле, который, зайдя в английский порт, остается по присутствию и указанию флага "русскою государственною територіею" в самой Англии. "Вода в кувшине", в сосуде, в бассейне и есть подобная "территория моря" в моем доме, на моем дворе, — со своими особыми законами. Земнородное, погруженное в нее, — умирает: "ты пришел из чужого мира в мой, и я тобою овладеваю, тебя арестую, парализую (смерть): ибо ты — не я, а я — не ты и не твое". Поэтому же рыба задыхается в воздухе; а в огне живут только "саламандры", т. е. невозможные и небывалые существа. "В огне" — один Бог ("купина" перед Моисеем), и потому-то именно в него невозможно вступление никаких существ *сотворенных*: он всех их "попалает", наказывает за вступление в священную стихию ("сними обувь: ибо земля, на которой ты стоишь, — она *святая*", сказано было Моисею *вблизи* купины). Отсюда, по *всемирному инстинкту*, святость огней в храмах, *умножение* огней в праздничные минуты, *более святые*. Увы, с заведением электрического освещения в храмах угасает эта идея живого, движущегося (от легких течений воздуха), мерцающего огня; *тела огненного*. Я наблюдал в церквях, что, где пуки горящих свеч попадают в легкие колебания атмосферы и "глазки огненные" мигают, склоняются набок, вспыхивают, — чувство *их религиозных тел* выше. Можно их поцеловать, хочется; а электрическую лампочку — нет.

В огне какое-то или почему-то бессмертие. Помните об Ахиллесе (или ком-то) миф: "И держала его за пятки (мать) в огне; вошедший отец вскрикнул от испуга; тогда она больше не повторяла этого, и *все его тело было бессмертно, кроме пяток, которых не коснулся огонь*".

Вернемся к воде.

Погружение, *общение* с тайною вод, эмблемой и частью моря, океана, даже — *облаков, из которых исходит* вся на земле вода: вот метод настоящего религиозного освящения человека, его *тела* или *частей* этого тела (умывание *рук* перед *обедом*), *перед* и *после* биологических процессов, на время их. *Погружение* или *обливание* — это уже вопрос

времени, места, обстоятельств, удобств. Какой прекрасный и опять же *народный и исторический* инстинкт у нас (кажется, — на Западе нет этого обыкновения) *держат в доме святую воду*, которою мать обрызгивает захворавшего ребенка или испивает сама ее, почувствовав жар, недомогание. И помогает — сам видал, что помогает: да и как не помочь, когда "из облаков" и от рук священника? И свято по существу, и со святым страхом употребляется. "Начало премудрости — страх Божий".

Вернемся к "стеклянному морю" Апокалипсиса. Там, в видениях Иоанна, показаны "внутренние недра" "Царства Небесного" и его образы всегда исполнены смысла. За "четырьмя животными перед Престолом и на Престоле Божьем", в самой его середине, "подымается кристалл"; а вокруг Престола, как бы *полем*, на котором он стоит, это таинственное "стеклянное море", которое так мало понимаешь даже при сотом чтении Апокалипсиса. Но вот — нужды времени, недоумения сознания вскрывают во благовремении нужную истину. "Введите стихии в религию" — такова мысль здесь Откровения. "И вода, которою вы только моете полы, выплескиваете за окно, она — живая, осмысленная, благоустроенная *сложенная как кристалл* (химическое соединение определенных пропорций). И этим живым и подвижным кристаллом, мирообъемлющим, вы можете священно очистить себя, когда нужно: дабы легкими, как бы воздушными войти в мир светлый, беспечальный, беспечный".

Таким образом, искомое разрешение *проблемы*: "как начать *освящать* начало и конец важнейших биологических процессов, когда *духовное деланье* молитвы явно разно-категорично с биологиею?" — удовлетворительно разрешается в *посредствующем* введении стихий. Через *молитву* — освяти *воду*: это уже *возможно и есть*. Через освященную воду — освятись *сам*, как *согрус**, как *Βίος***. Это — также есть: 1) в болезни, 2) при *входе* в жизнь (купель), 3) при *выходе* из жизни (покойник). И совершенно возможно это *распространить* и *участить*. "Тела ваши суть храмы Божии", — говорит Апостол: будем же держать их как храмы, с чистотою, даже до мнительности.

НАБЛЮДЕНИЯ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЧТЕНИЯ "ШАХРАЗАДЫ"

На рисунке "Араб-импровизатор" Морелли, взятом в заглавную виньетку собрания сказок "Тысяча и одна ночь", первый полный перевод которых, сделанный с 16-томного издания д-ра Мардуса, в настоящее время дается редакцией "Нового журнала иностранной литературы",

* тело (*лат.*).

** жизнь (*греч.*).

хорошо передается то окончательное и общее впечатление, которое ложится на душу европейского читателя от этих восточных сказок. Человек средних или чуть-чуть пожилых лет, переживший первую розу своего возраста, закутан в белое одеяло, шаль, простыню — во что-то широкое и покрывающее, но не одевающее. Такая же белая тряпка или полотенце окутывает и небрежно, и кокетливо его голову. Но это — преддверье, за которым начинается храм-человек. Руки, все десять перстов, кинуты на струны инструмента, похожего на лютню, мандолину или маленькие гусли. Нервный тон, внутренняя душевная мелодия поющего согнули пальцы в крепкую, замершую фигуру на струнах: он взял аккорд, еще не переходит к другому и сам пьет собственные звуки. Счастлив слушающий рассказчика, но еще более счастлив сам рассказчик. Теперь — его лицо. Рот — раскрыт, что очень некрасиво в статуе, как и в картине, но, пожалуй, идет или возможно в певце именно импровизаторе. Шея вытянута, глаза дремотно полужакрыты. Хотя он играет и поет для слушателей, но это только начало. Едва звуки коснулись собственного уха, они, по особому закону импровизаторства, обратно подействовали на душу запевшего: и теперь уже не он влечет слушателей, но сам влечется своей песней, и никто не может сказать, а он сам всего менее, где остановится, когда замолчит. Инструмент и человек слились в одно и борющееся, и сопутствующее друг другу. Арфа овладела псалмопевцем и велительно дает ему и темы, и ритм, и рифмы. Есть творчество, но нельзя определить, кто творец. Слушатели, которым и нельзя не замереть в восторге и очаровании, видят только перед собою звуковую картину за картиною и, вероятно, так же забывают об импровизаторе, как и он забыл о себе. Все полно экстаза, видений, упоительного обмана, который гораздо лучше всякой действительности. Нужно представить себе Восток, и древний Восток, когда он еще не замутился пришедшими позднее европейцами. И импровизатор, и его слушатели не только перешли за средний возраст и имеют лишь далекое воспоминание о нежных цветах юности, но, люди торговли и бедного уличного ремесла, они вообще только проходят мимо каменных твердынь дворцов, палат, внутренних садов, но по закону Востока решительно никогда не переступают их порога. Не нужно ни на одну минуту забывать, чтобы понять происхождение и дух "Шахразады", как и уличного песнотворчества, что город восточный, базар, улицы да, наконец, и поля, весь вид страны мусульманской являют собою "общежительный монастырь" столь выдержанного стиля, какого никогда не удалось добиться по сю сторону Урала и Кавказа. У нас монах, хоть бродя за подаянием, видит на улицах женщин, девушек, детей; у себя, внутри монастырской ограды, он видит в годовой праздник, да и всякое воскресенье, нарядную женскую толпу, входящую в обитель. Он — хозяин обители, до некоторой степени принимающий богомолков-гостей. Что-то нарядное, оживленное, далекие тени любования — ему доступны, возможны, у него есть. Монастырь как уединение — иллюзионен. Но

восточный так называемый "гарем", втянувший в себя без остатка всех женщин страны, всех ее детей, — тем самым соделал улицы и страну монастырем такой особенной строгости, а главное — выполненности строгих правил, какая даже и не брезжилась на Западе самым строгим аскетам. За исключением единственного места, своего собственного дома, т. е. нескольких квадратных сажень, но это на всей земле, на целом земном шаре, араб или перс никогда не увидит никакого женского лица. Это — такой аскетизм и разъединение полов, какой даже и не снился в Европе. Далее мы знаем, как даже попытки изоляции, практикуемые в Европе, действуют возбuditельно и раздражительно на воображение. Среди отречения от богатства — рисуется роскошь; но это — не столь часто. Среди удаления, нарочного, "заказанского" от женщин, они рисуются в несравненно большей красоте, чем какую обладают на самом деле. Все мы, живущие в миру, видим "на солнце пятна", и Шекспир рядом с Офелией или Дездемоной нарисовал ряд пошлых, сварливых и грязных особ, от которых мы зажимаем нос, закрываем глаза. Уединенному мечтателю женщина рисуется не в эмпирическом несовершенстве, а в идеале; с "солнца" сбегает "пятна", и существо, совершенно обыкновенное, он представляет себе в обольстительной красоте и с ангельской душой. "Дьявол, принявший на ту пору вид ангела света" — вот синтез обета воздержания с рисовкою обманывающегося воображения, который для монаха определяет образ и душу женщины. Теперь возьмите же Персию или Аравию, за исключением точек гарема вовсе пустынную от женщин: в этом монастыре, в этом особом и страшном монастыре, где никогда мужчина не встретит другого, кроме мужского же, лица, не услышит иного, кроме грубого баса, голоса, женщина во всем ее очерке представляется еще несравненно более роскошною, нежели в воображении строжайших наших обитателей. Как и обратно, они сами, также изолированные в точках-гаремах, рисуют мужской образ несравненно более сияющим, чем он есть на самом деле. В обоих полах, через эту изоляцию, образуется платонизм представлений друг друга. Они уже не видят феноменов, как мы, вечно смешанные с противоположным полом, а только ноумены этого противоположного пола. И если, наконец, сказать, что гарем есть точка встречи противоположных ноуменов, то нам понятно станет чрезвычайное, особенное, недостижимое в других местах и для других людей развитие глубины, нежности, благоговения и утонченности взаимных отношений, здесь развивающееся. Представьте себе монаха, вечно вкушавшего "акриды"; дайте ему в обладание "ангела света, вид которого принял на себя дьявол", но объясните и докажите ему, совершенно его убедите в том, что это и в точности ангел, а не демон; наконец, поставьте его под обет, противоположный монашескому отречению: тогда между ним и "обожжаемою мадонною", реально сошедшею в его келью, и разовьются отношения, очень напоминающие внутренние отношения гарема в счастливом его случае. Я сказал, что араб-импровизатор, да и его слушатели

уже перешли за средний возраст. Кроме того, они — бедняки, а "ангелы света" на Востоке добываются только дорогою покупкою, от тысячи до десяти тысяч динариев (см. цены во многих местах "Шахразады") на "рынках невольниц". Бедная это толпа, в своих бурнусах, среди неубранных "холостых" улиц, страшно засоренных объедками еды, отбросами ремесла, в вечер, когда первые звезды показались на небе, и слушает с умилением, восхищением певца, который показывает день за днем и ночь за ночью, как они проходят не на этой пустынной и сорной улице, а за твердынею тех стен, за которые реально нога мусульманина никогда не переступит. Мусульманский мир весь разделен: на улицу-монастырь "общежительный" и на эдем одинокого обитателя и обительницы, как бы на пустынном острове, как бы в пустынях Америки, куда уединились Paul et Virginie* Бернарден де Сен-Пьера. Здесь, будучи закрыты от всего света, не только физически, но и духовно, без мостов, без переходов в другой свет, они раскрываются, опять и физически и духовно, друг перед другом, как совершенно невинные дети, но только с инстинктами и силами зрелого возраста. Нарисованный г. Морелли тип араба-импровизатора и выражает собою уличного, монастырского мечтателя, погруженного в мысленное, воображаемое созерцание того, что есть, бывает или частью только возможно в уединениях разных восточных "Павлов" и "Виргиний".

* * *

Когда, несколько месяцев назад, только начав читать "Шахразаду", я выразил и сожаление, и удивление, почему она не издается маленькими отдельными томками, которые можно было бы положить в карман при прогулке в лес, поле, сад, то мне заметили, что уж лучше будет вместо этих томов взять с улицы оплаченную девицу и гулять с нею. Аналогичное с этим замечание, не одобряющее самого перевода ее на русский язык, мне пришлось выслушать от одного очень старого человека, знаменитого образованием своим не в одной России. И вообще подобное мнение нужно иметь в виду, как всегда возможное при разговоре о Шахразде. Проистекает оно из глубокого упадка вкуса и непринятия во внимание множества соображений; пожалуй, проистекает еще из краткого, минутного, "на лету" сделанного ознакомления с предметом суждения и осуждения. Известно много раз высказывавшееся опасение, даже проникавшее и в печать, что следовало бы сделать особенное, "урезанное" издание Библии для юношеского и отроческого возраста, так как некоторые и даже очень многие рассказы библейские по нравственному своему содержанию не отвечают привычным нам формам благопристойности (истории Лота и Сусанны). Говорящими так берется фабула, передаваемая независимо от тона передачи, и не принимается в соображение, что природа сотворена вся чистою, изойдя из чистейших

* Поль и Виргиния (фр.).

рук Создателя, из дыхания (глаголов) уст Его, но что образовались только потом у человека нечистые точки зрения. "Урыватели" Библии, как равно и порицатели Шахразады, с неменьшим правом могли бы сказать, указывая на одинаковую наготу Евы и Нана, что это одно и то же и читать или иллюстрировать первые страницы "Бытия" так же зазорно, как иллюстрировать или читать произведения французского романиста. Между тем суть Нана в том и заключается, что сколько и как вы ее ни драпируйте в шелк, бархат и кружева, она остается гола; и сколько вы Еву ни раскрывайте, она остается одета своею невинностью, которую не соблазнит ни живописца, ни мудреца, ни гимназиста. Шахразада — или народный эпос, или возникла в пору, когда поэты и рассказчики имели непосредственность народа же. Тон ее везде невинный, т. е. нигде даже не мелькает в ней того "скверного взгляда" на вещи, с которого, собственно, и начинается порок. Напротив, Шахразада, читая которую нельзя мало-помалу не начать становиться влюбленным в какие-то туманные образы, предупреждает в человеке если не зарождение известных инстинктов, то их нечистое, нескромное, реально-грубое, плоско-сальное проявление. Шахразада, в ее знаменитейших страницах, им представляется книгой культуры любви, — и культа в смысле доведения любви до высших форм изящества, но чисто народного, т. е. простого и здорового. Я упомянул о героине французского романа, тип которой втихомолку смаковала все-таки целая Европа. Мне кажется, крик боли вырвался бы и у импровизатора-араба, да и у тех всех героев, о которых он поет и рассказывает, если бы им показали литературное или живописное изображение европейской соблазнительницы. Я сказал, что везде в "Шахразаде" проходит платонизм: но только не в болезненном, а в здоровом смысле, как вечная склонность к идеалу и идеализации души молодой и неиспорченной, пожалуй "не павшей", употребляя привычный библейский термин. Вот этот-то платонизм Шахразады и воспитателен: он дает в невинной форме и с невинным духом картины, которые Европа знает лишь в начертаниях, страшно загрязненных. Многие, однако, читатели, не различая Евы от Нана, смешивая Рафаэля с выставками парижских салонов, и хотят осудить Рафаэля вкусом "салонов".

— О, Шахразада! — сказал Шахриар, дослушав рассказ, — клянусь Аллахом, твоя сестрица, маленькая Доньязада, совершенно права, говоря, что слова твои полны обаяния и свежести! Поистине я начинаю уже сожалеть о том, что умертвил столько молодых девушек, и, быть может, ты доведешь меня еще до того, что я совершенно забуду о том, что поклялся умертвить и тебя!

И маленькая Доньязада поднялась с ковра, на котором она притаилась, и воскликнула: — О, сестра, как восхитительна рассказанная тобою история! И как понравилась мне Назхату и речи, произнесенные ею, и слова пяти отроковиц! И как рада я смерти Матери Бедствий! И как все это удивительно (145-я ночь).

Это впечатление двух слушателей лукавой Шахразады разделяет и читатель ее вымыслов. Именно "свежесть" — вот впечатление от них. Сказки произошли в тот возраст человечества и народов, когда сказочен был дух их, когда сказка не была еще искусственной литературной формой и не нудила дух рассказчика или слушателей ни к какому усилию. Удивляясь стихотворной форме таких обширных произведений, как Илиада, Магабарата и Рамайна, ученые пришли к выводу, что ритмическая стихотворная речь едва ли не была первоначальной формой выражения человеческой души, после которой наступила проза, позднее изобретенная. Может быть, это и не так. Но несомненно, что раньше, нежели наступила история, точная, жесткая и грубая, — существовала историческая сказка, неясная, неверная, но нежная и пленительная, о всем, что было и бывало на земле, о чем люди слушали и любили слушать, когда не было почт и телеграфов, газет и книг, университета и публичных лекций. И в этих-то сказках, как великий Гёте в "Правде и поэзии моей жизни", мудрец-человечество сплело истину и вымысел ранних дней своего существования на земле, дней наивных и невинных.

Мы привели окончание 145-й ночи, но не полно. Нам хочется привести и заключительный кусочек ее, дабы читатель видел взаимное обращение этих людей и по душе слушателей и рассказчицы мог заключить о тоне, в каком они могли говорить.

На слова эти Шахразада повернулась к своей младшей сестре и улыбнулась ей и сказала: — Но что же скажешь ты, если услышишь слова зверей и птиц! — И Доньязада воскликнула: — Ах, сестра, прошу тебя, сообщи нам эти слова зверей и птиц! О, как они должны быть интересны, в особенности когда их повторяют твои уста! — А Шахразада сказала: — От всего сердца! Но не раньше, чем получу на то разрешение от моего повелителя царя, если он еще продолжает страдать бессонницей! И царь Шахриар чрезвычайно изумился и сказал: — Но о чем же могут говорить звери и птицы? И на каком языке говорят они? — И Шахразада сказала: — На чистейшем арабском языке, в стихах и прозе. — Тогда царь Шахриар воскликнул: — Поистине, о Шахразада, я не хочу принять окончательного решения относительно твоей дальнейшей судьбы, пока ты не расскажешь мне все эти вещи, которые совсем неизвестны мне. Ибо до сих пор я слышал только людские речи и теперь не прочь узнать, что думают существа, не понятые большинством людей!

Но Шахразада, видя, что ночь близится к концу, попросила царя подождать до следующего дня. И Шахриар, несмотря на овладевшее им нетерпение, выразил свое согласие...

Сказки Шахразады не похожи вовсе на то, что нам известно теперь под этим именем: несбыточный рассказ о вероятном событии, которому могут верить еще совершенно неразумные дети, но взрослые не придают им никакого вовсе значения, кроме разве небольшого поучения, которое

лежит на дне "сказки". Мораль в заключении и поэтический вздор в сюжете — вот два элемента, образующие сказку XVIII—XIX—XX века. У Шахразады никаких нет "оловянных солдатиков", разговоров кукол, необыкновенных приключений с детьми, постоянного участия колдунов, колдуний и вообще всяческих *deus ex machina**. "Тысяча и одна ночь" была посвящена рассказу нескольких сотен романтических историй, — историй о любви и судьбе молодых людей (большинство сюжетов) и рассказу около этого о разных крупных исторических событиях. Драматические хроники Шекспира, где выступают действительные лица и говорится о действительно происшедших событиях, но на передний угол картины выдвинута интимная история души и перипетии личной биографии, всего лучше могут дать понятие и о рассказах Шахразады: в них нет "сказочного" в смысле "противоположного действительному", "неприменно неверного". Напротив, скорее рассказ старается быть верен действительности, но как в тот детский период истории и невозможно было остаться ей верным уже за неимением документа, то рассказчик или рассказчица и переделывают невольно "хронику" в "драматическую хронику". "Сказки" Шахразады по всему их ходу, сюжету, колориту представляют рассказы о "случившемся", что было когда-то "достоверным", но за исчезновением большинства подробностей этого достоверного ныне является в виде лишь вероятном и, вследствие вкуса рассказчика и даже ряда рассказчиков, чрезвычайно украшенным. В самих сказках там и здесь сохранились следы их происхождения: "А цари и визирь Дандак приказали самым *искусным писцам* тщательно записать все эти *подробности и события* для того, чтобы они могли служить полезным примером будущим поколениям". Так кончается рассказ о принцессе Донии и прекрасном принце Диадеме. — "И как раз после этого Каимакан встретил негритянку, бродившую по пустыне и переходившую от племени к племени, рассказывая *были* в палатках и сказки при свете звезд. Так много слышавший о ней раньше, он попросил ее зайти отдохнуть в палатку и рассказать что-нибудь веселящее ум и радующее сердце. И старуха бродяга ответила: "Расскажу в знак дружбы и уважения!" — Потом она села рядом с ним на циновку и рассказала: "Повесть о любителе гашиша" (141-я ночь). Это бродячие рассказы, где смешиваются *быль* и *небылицы*, где вымысел и правда соединены, как в нашем анекдоте. Когда кончалась 652-я ночь, а предыдущий рассказ доведен был до конца, Шахразада говорит слушавшему ее царю: "На эту ночь, чтобы закончить наше бдение, я хочу рассказать тебе лишь коротенькую историйку из тех, которые нетрудно слушать. Она почерпнута из "Уроков великодушия и житейской мудрости". Здесь говорится о письменном памятнике древнейшего происхождения, из которого почерпнут рассказ. Он мог быть составлен, т. е. выдуман, в наставительных целях, а возможно, что в него были внесены и действительные случаи,

* Бог из машины (*лат.*), чудесное.

которые ходом и результатом своим давали невольное наставление человеку. "Истории приключений Гассана Аль-Басри" (ночи 550—589) предпослан рассказ о его происхождении, и мы находим в нем некоторые любопытные подробности о восточных сказках, так сказать, *in statu nascente**. Царь Персии Кандамир любил войну, охоту, состязания, но всему предпочитал беседу с обаятельными, избранными людьми и на пиршествах своих давал почетное место стихотворцам и рассказчикам. Если кто из чужестранцев посещал его, то и его он заставлял рассказывать себе "какую-нибудь новую сказку или интересный рассказ". С обычными же своими рассказчиками и стихотворцами он обращался с таким же вниманием, как и со своими визирями и эмирами. И, таким образом, дворец сделался излюбленным местопребыванием всех, кто умел складывать стихи, построить оду или оживлять словом "давно прошедшие времена и давно погребенные дела". Мы видим, что здесь поэзия и правда смешивались самым неотделимым образом. И вот наступило черное время, когда царь этот "переслушал все известные арабам, персам и индусам сказки и сложил их в памяти своей вместе с лучшими стихами поэтов и поучениями летописцев, сведущих в изучении древних народов. И, перебрав все это в памяти своей, он увидел, что ему нечему более учиться и нечего более слушать".

Безмерная печаль овладела им, и, позвав старшего своего евнуха, он приказал привести к себе любимого рассказчика своего Абу-Али, который был "так красноречив и так богато одарен, что мог растянуть сказку на целый год и рассказывать ее без перерыва, не утомляя слушателей даже ночью". Увы, и этот рассказчик не имел более ничего нового.

— О, отец красноречия! — сказал ему царь, когда тот предстал перед ним, — я послал за тобою, потому что, несмотря ни на что, необходимо нужно, чтобы ты нашел какую-нибудь необыкновенную сказку, мне еще неизвестную и никогда мною не слышанную! Более чем когда-нибудь люблю сказки и рассказы о приключениях. И если тебе удастся очаровать меня прекрасными словами, я в награду за это подарю тебе обширные земли, укрепленные замки и дворцы и выдам фирмам, которым ты будешь освобожден от всякого рода повинностей и податей; и назначу я тебя также своим великим визирем, и посажу по правую руку; и будешь ты управлять по своему усмотрению полновластно среди моих вассалов и подданных моего царства. И даже если ты пожелаешь, я сделаю тебя наследником моего престола. Но если судьба твоя будет так злосчастлива, что тебе не удастся удовлетворить это мое желание, которое во мне жарче, чем желание обладать целым миром, то можешь сейчас же проститься со своими родными и сказать им, что будешь посажен на кол.

* в состоянии зарождения (*лат.*).

Рассказчик считает себя почти погибшим, но, получив годовой срок от царя, *после долгих размышлений* призывает к себе пятерых мамелюков, воспитанных и вскормленных им, и приказывает одному из них отправиться в "Индию, Синд и принадлежащие к ним области и края", другому — в Персию и Китай, третьему — в Хорассан, четвертому — в Махреб и пятому, Мобарану, — в Египет и Сирию; "разыскивая везде знаменитейших ученых, мудрецов, стихотворцев и рассказчиков, спрашивайте у них, не знают ли они "Рассказа о приключениях Гассана Аль-Басри". Логика вымысла, конечно, должна была быть известна в эпоху вымысла. Если он обладал годовым сроком, то совершенно очевидно, что при удивительных своих способностях он мог бы *выдумать, сочинить* какой угодно рассказ; но столь же очевидно, что не этого от него требовалось, т. е. не это считалось "сказкою". Далее, если он называет определенную сказку, с именем заглавного лица и, очевидно, способностью отличить ее от всякого другого рассказа, значит, он знает и сюжет сказки. Для чего же он посылает мамелюков и что ему, собственно, нужно?! Он посылает их отыскать странствующее, устное литературное произведение, как мы посылаем этнографов записать былинку об Илье Муромце в Вологодскую или Олонецкую губернии. Он не считает себя вправе хотя бы за цену спасения жизни передать царю рассказ о Гассане в своем изложении, которое за незнанием подробностей, стиля и языка стало бы переложением. И вот послушаем, что также интересно для истории сказок, как была отыскана знаменитая история.

Все поиски четырех мамелюков были тщетны; и Мобаран тоже обошел весь Египет, но у кого он ни спрашивал, никто не знал "Истории Гассана Аль-Басри". И вот он приходит в Дамаск, где тотчас же был очарован "климатом, садами, орошением и всем великолепием". Наступает вечер, и он отыскивает какую-нибудь лачугу, где бы переночевать, "как вдруг, проходя по базарам, увидел толпу носильщиков, торговцев и водоносов, а также множество других людей, которые со всех ног бежали, и все в одном направлении". Он хочет присоединиться к ним, когда его толкает один молодой человек, но, толкнув, сам запутался в своем платье и упал! Мобаран помогает ему встать и спрашивает, куда же он так спешит и что значит эта всеобщая торопливость. — "Видно, что ты туземец, если спрашиваешь, куда мы спешим. Знай же, что до меня касается, я хочу добежать из первых в сводчатый зал, где находится шейх Иштах-аль-Монаббе, дивный рассказчик нашего города, повествующий изумительнейшие в мире вещи. А так как и снаружи и внутри всегда толпа слушателей, а пришедшие позже уже не могут хорошенько расслышать то, что рассказывается, то прошу извинить меня, что спешу и покидаю тебя". Мамелюк уцепился, однако, за молодого человека и пришел вместе с ним туда, куда все так спешили. "Когда же они вошли в зал со сводчатым потолком, с которого спускалась приятная свежесть, Мобаран увидел на седалище среди молчаливой толпы носильщиков, торговцев, именитых людей, водоносов и других почтенного шейха

с лицом, отмеченным благословением, с сияющим лбом, степенным голосом, продолжавшего рассказ, начатый более месяца назад, перед внимательными слушателями”.

Это — как зрелище, концерт, театр или лекция у нас. Та же торопливость занять места, тот же виртуоз-рассказчик. И только, соответственно Востоку и ранней ступени цивилизации, все носит более демократический, общедоступный и базарный характер. Действительно, шейх не только рассказывает, но, одушевляясь, почти переходит в драматурга.

Скоро его голос оживился, когда он перешел к подвигам воина, о котором рассказывал. И вдруг поднялся он с своего сидалища, не в силах будучи сдерживать свой пыл, и принялся бегать среди слушателей, по всей зале, с одного конца в другой, махать мечом героя, разившего головы врагов и крошившего их на тысячи кусков! — Так вот им! Смерть предателям! Да будут они прокляты и да погибнут в геенне огненной! Да предохранит воина Аллах! Он предохранил! Но нет! Где наши сабли, где наши палицы, чтобы лететь к нему на помощь? Вот они! Он победоносно вышел из схватки, раздавив врагов с помощью Аллаха! Слава Всемогущему, слава отцу доблести! И пусть воин идет теперь в палатку, где ждет его возлюбленная, и пусть красота девушки заставит его забыть об опасностях, которым он подвергся ради нее! Слава Аллаху, сотворившему женщину для того, чтобы проливать бальзам в сердце воина и зажигать огнем его внутренности (551-я ночь).

Это всеми подробностями напоминает одного преподавателя истории, но именно *истории*, который, доходя до Александра Македонского, начинал ломать мебель в классе. В былинах, конечно, есть много историй: Владимир, Красное Солнышко не вымысел. От этого-то удивительного шейха, когда слушатели его разошлись, Мобаран и узнает, что он помнит, и притом только один на земле в настоящее время, историю Гассана Аль-Басри. ”Ее передал мне один святой дервиш, ныне умерший, который слышал ее от другого, также уже умершего, дервиша. Я *продиктую* ее тебе от начала до конца. Но так как этот рассказ не из тех, которые можно передавать всякому, а лишь избранным людям, то ты должен поклясться мне своим именем и именем господина своего, что никогда ни одного слова из него не скажешь следующим разрядам лиц: невеждам, потому что их грубый ум не сумел бы оценить его; лицемерам, которых он оскорбил бы; школьным учителям, бездарным и тупоголовым, которые не поняли бы его; и неверным, которые не могли бы извлечь из него полезного поучения”. Затем он подал Мобарану чернильницу и калам и, приказав писать, ”начал” диктовать слово за словом всю историю приключений Гассана Аль-Басри такую, какою передал ему дервиш. И диктовал семь дней и семь ночей без перерыва. Потом мамелюк перечитал написанное шейху, который поправил некоторые места и описки”.

Это — установление точного текста, очевидно, без всяких личных прибавок. Однако вовсе ли их не было и не получали ли сказки вариантов в разные времена и в разных странах? Конечно, Пизистрат первый приказал собрать и записать текст рапсодий, певшихся с именем Гомера, и через то уничтожил, конечно, бездну бывших их вариантов. Личность и биография нашего Кольцова дала заглянуть в суть вообще так называемого "народного творчества". Конечно, "народ" никогда не творит ни песни, ни сказки, ибо для ума коллективного вообще невозможен вымысел. Невозможно "беседую" (собравшись в "беседу") сочинить песни. Творец всегда лицо единичное, одаренное. При "народном" творчестве оно остается только безымянным, не подписанным, не запечатленным и забытым. Но последующие рассказчики или "певцы" немножко все-таки импровизаторы и критики. Они суть "редакторы" однажды возникшего творения и вносят в него критические и поэтические добавления или убавления, — однако их высшим критиком и окончательным редактором бывает слушатель-толпа, слушатель-народ. Совершенно как "читатель" времен позднейших, который и донныне определяет, чему из поэтических и умственных произведений умереть в истории и чему остаться жить.

Устанавливался точный текст рассказов; поправлялись *описки* в них. Какое это имеет значение в "сказке" и для творца сказок? Здесь мы должны отметить одну главную и удивительную сторону восточных рассказов, отнесенных к имени Шахразады, что это есть, без сомнения, *народное* произведение, но и вместе чрезвычайно искусственное, в смысле полного отрицания простонародного, случайного в изложении, шероховатого или неопрятного. "Услышав такие слова царя Кендамира, Абу-Али понял, что ему предстоит неминуемая гибель, и ответил: "Слушаю и повинуюсь!" И опустил он голову, а лицо его сразу пожелтело и безысходное отчаяние овладело им". Вот сколько слов вместо простого: "Он не знал, что делать" или "пришел в отчаяние". Маленькая Доньязада, сестра рассказчицы, не без основания указывает на "свежесть", как главную прелесть рассказа. А если их читать медленно и "смакуя", то будешь поражен, до чего сила вымысла бьется в каждом пяти строках, заменяя везде глагол — картиною, определение — описанием. Точно как будто из каждой грамматической формы выклеивалась и только замерла новая сказочка. Нигде нет тягучей прозы. Игра заменяет порицание. "О, кормилица моя, раздвинь немного занавеску, — говорит Хинда, едущая в палатке на верблюде. И, высунув голову в дверцы, бросила на землю в грязь золотой динарий. И, обратившись к бывшему супругу своему (он ведет верблюда под узду), сказала ему: "О, придворный, подай мне эту серебряную монету!" Он поднял монету и подал ее Хинде, говоря: "Это золотой динарий, а не серебряная монета!" А Хинда, заливаясь смехом, воскликнула: "Хвала Аллаху, который превращает серебро в золото, несмотря на прикосновение к грязи!" И бывший муж ее отлично понял, что в этих словах заключалась скрытая насмешка

с целью еще раз унижить его. И он сделался совсем красным от стыда и ярости. Но он опустил голову и принужден был скрыть гнев свой на Хинду, ставшую супругою халифа” (657-я ночь).

Целый крошечный рассказ, вставленный в другой рассказ, чтобы выразить ту простую истину, что евнух-муж нисколько не замарал, как грязь не марает золота, прекрасной девственности его бывшей супруги, теперь невесты халифа. Он сам дал ей развод, когда однажды, войдя потихоньку к своей супруге, увидел, что она рассматривает себя в зеркале, напевая следующие стихи:

О, кобылица, крови благородной,
Арабской крови, Хинда молодая!
Осуждена ты горестной судьбой
Прожить всю жизнь с негодным старым мулом!
Возьмите прочь роскошные одежды,
Мои лохмотья из верблюжьей ткани
Верните мне. Покину я дворец
Мне ненавистный. В край родной вернусь я,
Где черные палатки бедуинов
Пустыни знойный ветер развевает,
Где через ткань дырявую палаток
Так нежно вторит флейте ветерок
И тешит слух отраднее, чем лютня
И барабанов ненавистный звук;
Где, вскормлены горячей львиной кровью,
Все юноши прекрасны, словно львы.
И как они отважны! — Здесь же Хинда
Одна зачахнет близ седого мула,
Желанного потомства лишена!

Нужно заметить, везде в лирических местах сказка перемежается стихами. Их чрезвычайно много. Переданы они в русском переводе прозой, но мы убеждены, что наши поэты получают неистощимые сюжеты для антологии, когда, познакомившись с этими стихами, оценят всю их прелесть, то восторженную, то меланхолическую, то остроумную. Сколько, напр., вкуса и литературного и нравственного в этом совете:

Когда в палатку, где ты приютился,
Когда в страну, подвластную тебе,
Приходит муж, по виду неприятный,
Тогда ты сделать можешь лишь одно:
Ему оставить край свой и палатку
И удалиться спешно навсегда.

(146-я ночь)

Или вот слова, которые были написаны на мраморном памятнике Азизы, одной из самых трогательных, даже самую трогательную из женщин, описанных Шахразадой. Она безмолвно любила своего кузена и мужа, наивного и доверчивого, которого увлекали одна за другою

коварные развратницы, все время мудрыми советами берегла его от несчастий с ними. Наконец она истаяла от горя, которого он даже не замечал по молодости и ветренности, и вот слова, сказанные о ней заупокойно:

Однажды я остановился грустно
Перед могилой, зеленью сокрытой;
Семь анемонов плакали над ней.
И я сказал: "Кто спит в могиле этой?"
И из земли мне голос отвечал:
"О, человек! Склони чело с почтеньем!
Здесь в мире спит влюбленная жена!"
И я вскричал: "О, женщина, что здесь
В безмолвьи спишь, убитая любовью,
Пускай Аллах вознаградит тебя
За все страданья, и тебя поставит
На высшую вершину Он в раю!"
Несчастные влюбленные, забыты
Вы даже в смерти: не придет никто
Развеять сор с могил забытых ваших!
Я уберу их розами, цветами!
Влюбленными, и чтоб еще пышней
Они цвели — их орошу слезами.

Первые и последние строки стихотворения — как они прекрасны! Но читатель заметит, как много преднамеренного вкуса рассеяно везде здесь — и в стихах, и в прозе. И вот это-то и побудило нас отметить, что сказки эти, очевидно народные, с тем вместе не простонародные. Это изящнейшие литературные произведения, но такого периода литературы, где безымянный творец-художник не отделялся от народа, и, влагая в творчество свое бездну личного вкуса, выбора, критики, в то же время творил со всею силою и наивностью народного вдохновенья. Академии здесь не было, не было школы, но как будто сама народная жизнь сложилась в столь изящные формы, полна была такого поэтического возбуждения, что действовала на стихотворцев как лучшая академия изящных искусств и литературы. Недаром Фридрих II Гогенштауфен после долгих войн с мусульманами кончил тем, что начал дружить с ними.

ИЗ ИСТОРИИ И ПОЭЗИИ ЕЛКИ

Что умирает, то непременно раньше живет, а что живет, то живет душою в себе. Из жизни дерев вытекает их одушевленность, а из их одушевленности — душевное же отношение к ним человека. Не всех людей сплошь, ибо и люди бывают разные, но наиболее чутких, утонченных, внимательных. Вот настоящее основание "рождественской елки", основание, в сущности, всемирное, основание вечное.

По мере роста в людях утончения, одухотворения прекрасный этот обычай все будет расти; и, возможно, он будет развиваться, украшаться, расцветать. "Елка" в лесу ведь растет: пусть она растет и в домах наших, т. е. как обычай, деткам на радость, всякому дому на украшение.

Человек, как верховное живое на земле существо, чувствует душу в растении и отметил это тем, что внес в дом свой их (цветы, комнатные растения); а один раз в год, когда солнце, дотоле уходившее от нас, поворачивает вновь к нам, "на весну", — даже окружил растение огнями и убрал его в наряд, как убирается и сам в наряд. Нужно заметить, по нашему "старому календарю" день 25 декабря отстает от подлинного солнечного времени на тринадцать дней, когда солнце поворачивает на север и день начинает прибывать. В странах с исправленным календарем зажжение "рождественской елки" точно идет навстречу первому лучу весны.

Оказывается (см. "Святочную хрестоматию" г. Швидченко, книгу, которую всякому следовало бы к Рождеству иметь на столе), елка не так давно пришла в Россию, всего с начала минувшего, девятнадцатого века. В 1852 г. была устроена первая публичная елка в Екатерингофском вокзале. Но недавняя гостья, она сообщила домам столько наряда и удовольствия, что теперь, всего через полвека с небольшим, ее можно встретить даже в глухих местах России и в самых бедных жилищах. Дай Бог, чтобы празднество это одухотворилось, чтобы оно не осталось на степени забавы скучающих детей, топота, шума, пляски и еды сластей. Чайковский сложил прекрасную музыку на легенду-песню: "Был у Христа-Младенца сад" (А. Плещеева), Достоевский написал маленький рассказ: "Мальчик у Христа на елке". Возможно, что пластический художественный гений не сегодня-завтра разовьет простой (обычно детский) хоровод вокруг "зажженной елки" во что-нибудь красивое, разнообразное, содержательное; нам бы хотелось сказать: во что-нибудь более поэтическое и созерцательное. Нервы наши слишком теперь сложны и не привяжутся или привяжутся непрочно к веселому шуму, гаму; напротив, что-нибудь тонкое и поэтическое вдруг привяжет к "елочке" и внимание взрослых.

Было бы ошибочно считать (как это многими принято) елку происходящую из Германии: ее обычай всемирен. В Монголии, в Бирмании, в Америке — всюду находим разнообразные следы ее, хотя не в том точно виде, как теперь. Как мы говорим, она держится на всемирном и вполне основательном инстинкте: и заглохни теперь, завтра, — может все равно возродиться через век, через полтысячелетия. В самой Германии в теперешнем виде она распространилась всего к концу XVIII века, и гораздо распространеннее и старше ее обычай в северных скандинавских странах. Но "следы" ее, зачатки, варианты — необыкновенно древни и всемирны. Уже у евреев, до Христа, был обычай некоторые годовые празднества совершать перед лицом дерева, "под дубом и тополем и теревинфом", как не без упрека говорил им пророк Исаия (глава

1 и 65). В Италии, до Р. Х., именно сосна считалась "деревом Юпитера". Южные славяне до сих пор, срубая дерево, в некоторых случаях предварительно просят "душу, в нем живущую", выйти вон. В Чехии накануне Рождества, перед ужином, крестьяне обращаются к деревьям со словами: "Деревья, милости просим к нам на ужин". Наивные, детские обычаи, но говорящие все об одном, что дерево им кажется живым, одушевленным существом. Выражение, какое можно услышать и до сих пор, "венчались вокруг сосенки", имеет действительное историческое основание: устраивалось нечто вроде теперешней елки, и песни и вся (довольно сложная прежде) "игра свадьбы" происходили вокруг нее. Прежде "боги" были маленькие, не миродержавные, а сельские, деревенские, имевшие отношение, каждый, к такому-то только селу, округе: и достаточным ему жилищем считались не огромные каменные здания, а вот такое, растущее на краю околицы деревцо. Ведь оно переживало последовательно поколение за поколением, с "незапамятных времен" (для околицы), и все еще жило при данном поколении. Вот его "длинному духу", "долговечному", почти не умирающему, а с тем вместе и несомненному "духу" (в этом-то они не ошибались) они служили и приносили жертвы, а наконец, и совершали "перед лицом его" обряд (свадьбу). След этого сохранился у Кирилла Туровского, на заре русского христианства: "уже не нарекут русские люди богом дрeвеса". Но что в древности, у народов-младенцев, было их младенческим "богом", то у нас может сохраниться в качестве маленькой "души дерев и цветов", и, кажется, на этом скромном месте их положение будет довольно прочно. Введение дерева в свадебный обряд осталось живым и до сих пор у западных и южных славян, даже чуть-чуть в некоторых местах России: в Болгарии брачующиеся танцуют вокруг ивы, в Сербии — вокруг масляной ветви, в Чехии — вокруг *stromek rajski**, в Польше — *jablonke*. В Сицилии отец невесты передает жениху перед свадьбой деревцо — *zissiguni*. У нас в Малороссии на свадебном столе ставится деревцо, так называемое "вильце" или "гильце"; в Моложском уезде Ярославской губернии, когда девушки идут к невесте на девичник, одна несет впереди елку, украшенную цветами и лентами и называемую здесь "девичья красота" (Мандельштам: "Опыт объяснения обычаев, созданных под влиянием мифа").

Таким образом, елка, начавшаяся в XVIII и XIX в. появляться в Германии и у нас, не столько рождается вновь, сколько возрождается из древности. И этого не было бы, не могло бы быть, если бы независимо от своей истории она не имела в себе, так сказать, метафизического корня. Не будь "души" у ней, не было бы и истории. Но каждая елочка, покрытая инеем в лесу, говорит проезжему человеку свою глухую сказочку, запоминается, мила. И мысль внести ее в дом, украсить, зажечь перед нею огни, сказанная кем-нибудь, сказанная случайно, не встречает

* райское деревцо (чешск.).

удивления, а становится сразу понятна и находит сочувствие. Так устанавливаются обычаи. Одна душа, самая тонкая и чуткая, придумывает что-нибудь вновь; ведь и песню новую, народную слагает непременно кто-нибудь один. Но если бы песня и новый навык никому не привились, они сейчас умерли бы. Напротив, когда они принимаются, живут, то, значит, "кто-нибудь", изобретатель, только прояснил общее поэтическое настроение; нашел слово для чувства всех или начал обычай, выразивший общее влечение.

До чего чувство дерева, его душевности, крепко было в народонаселении и вместе широко распространено, видно из регламента Петра Великого, запрещающего "петь молебны под дубом". Духовенство до Великого преобразователя было глубоко народно; духовная школа давала ему почти только умение читать по церковно-славянски, и все обычаи седой-седой древности в нем жили невозбранно, как и в крестьянстве. Христианство, церковность и языческая старина, которую теперь умеют различить в обычае только первоклассные ученые, смешивались без всякой вражды в душе самого духовенства, еще наивного и простодушного. Духовенство видело в обычае "от дедов переданное" и не враждовало с обычаями, ничем не вредными, а вместе как бы вносившими в избу крестьянина и боярский дом свежий лес и зеленое поле. Ибо все древнейшие (языческие) празднества были лесные или полевые; или они приурочивались к речке (пускание по реке "венков"), роднику. "Святой ключ" (воды) — это и до сих пор живет в представлении, в говоре, в вере народной. Вообще древность первоначальная одушевленно смотрела на одушевленные стихии природы; и в этом не было совершенной ошибки, полной лжи, а только некоторое преувеличение или младенческая обмолвка.

Свечи, зажигаемые на елке, так же древни и всемирны, как и она. Чувство священности, святости огня — его я даже встретил у Карлейля, в одном из его прелестных "Опытов" (литературных очерков). С обычной своей желчностью, сарказмом и уверенностью он отверг, будто огонь есть только химическое соединение такого-то тела с кислородом; и высказал, что горение есть "и еще что-то нам неизвестное, мифическое". Вот опять в слове почти современного литератора родник мифов и изъяснение древних культов. Вообще, когда мы смеемся над последними, мы только не замечаем, до чего они продолжают жить и среди нас, только под видоизмененными формами, с другими названиями, в иной обстановке: но согревая и нас древнейшим светом и теплотою. Как живет и манит нас "святой ключ", "святой родник" доселе! И заболелые купаются в нем, пьют из него, а по вере получают и исцеление; и так же точно горящая свеча входит во все почти религиозные обряды до сих пор; а происхождение ее — древность из древностей! Перейдем к очерку обычая и истории "свечи перед елкой". В Сванетии, в ночь на 15 июля, жители собираются к огромному дереву, унизанному множеством зажженных свечей. У приволжских инородцев многие их священные обряды также совершаются перед елкою, вокруг которой зажжены

свечи (Веселовский: "Разыскания в области духовных стихов"), — наблюдение, хоть чуточку вводящее нас в "смертные останки" почти исчезнувшего "язычества" и говорящее, что оно не было только грубо и всегда и постоянно грубо, а что в нем было нечто просто наивно-"праздничное", и притом изящно-праздничное, какова несомненно наша теперешняя елка. У одного приволжского племени, чудского корня, сохранился обряд: разрубают куст ветлы на три части, расставляют на каждой свечи, зажигают их и затем здесь молятся. Момент "разрубания", введенный сюда, едва ли не есть след также всегда разрубавшейся или разрывавшейся жертвы. Это древесная жертва, а сок дерева уподобляется крови жертвы.

У мордвы (не забудем, что наш Никон был мордовского происхождения) есть одна колядка, близкая к малорусской: в этой песенке-колядке говорится, что Всевышний Бог устроил пир под яблонею, покрывающею всю землю и имеющею на ветвях своих горящие свечи. Замечательно, что поверья эти или подобные и связанные с ними обычаи точно тлеющий под пеплом огонь; они всюду сказываются, с вариантами, но легко узнаваемые в существе своем. Еще в прошлом столетии (факт замечен был в 1783 г.) в Псковской губернии, в Зачеренском погосте, лежала упавшая сосна; подле нее открывалась на Ильинскую пятницу ярмарка, причем крестьяне возлагали на сосну шерсть, мясо (!) и свечи, которые зажигали, прикрепив к стволу. В Киеве, в его предместьях, с начала XVI века (первое упоминание Летописи 1506 г.) и до сих пор сохраняется обычай 1 сентября вечером на базаре устраивать "праздник свечке": приносят из лесу елку и, увешав ее фруктами, овощами, разноцветными бумажками и восковыми свечами, зажигают последние и начинают вокруг танцевать, петь и кушать сласти. В 1874 г. был описан существующий около Лубен Полтавской губернии красивый обычай: в балке (овраге) существовала "священная криница" (слова г. Швидченко), около которой происходила летом ярмарка. Кончалась она следующим празднеством: почти все деревья по склонам балки украшались множеством свечей, так что в иные годы благополучного торгового торга на свечи тратилось до 300 рублей. Такие же свечи прикреплялись на кустах и на шестах, воткнутых в землю; с наступлением вечера свечи зажигались и весь народ в восторге начинал петь песни до 11 часов ночи, когда мирно разъезжался по домам (Н. Сумцов. Культурные переживания. Киев, 1890). Можно представить себе красоту в поле летней ночи с этими всюду зажженными по отлогам оврага восковыми свечами. Вот эта-то красота зрелища, питающая вечную человеческую ненасытность прекрасного, и поддерживает и хранит аналогичные обычаи. Около Белой Церкви (город Киевской губернии) из сосны, вербы или вишни вырубают деревья, ставят на пригорке, украшают венками, а часто и зажженными свечами. В селе Бакаланах того же уезда и губернии дерево "купайлица" всегда украшается множеством свечей, сделанных из воска непременно своего, домашнего приготовления. Мы упомянули выше

о "вильце" (деревце), которое в Малороссии устанавливается на свадебном столе: большею частью это бывает сосенка, и она также украшается цветами, лентами, а иногда и зажженными восковыми свечами. Замечательны эти свечи "перед лицом" деревца: то их нет, то они вспыхивают. Значит, тенденция, темная "мифическая" тенденция, к этому везде есть. Поразительно, что совершенно тождественный с этим малороссийским обычаем есть обычай и в Аравии, тоже на свадьбах. Конечно, ни о каком заимствовании здесь не может быть и речи: это как бы один электромагнитный ток, идущий по земле, но везде скрытый, а на огромнейших расстояниях (или временах) вдруг появляющийся. Обычай этот наблюдался и в Монголии.

Разбросанный по целому году (там и сям), большею частью все же этот обычай прикреплялся именно к народению солнца, 25 или 13 (по новому стилю) декабря. Огонь свечи — очень маленький символ огня-солнца, а деревцо имеет понятную связь с нарождающеюся весною. У китайцев, еще за три века до Р. Х., в ночь на Новый год ставили (в некоторых провинциях) в домах елку, украшенную цветами и фонарями. В VII веке нашего летосчисления китайская принцесса Янь в ночь на Новый год поставила на высокой горе дерево в десять сажен высотой, изукрашив его множеством зажженных фонарей. В том же Китае, в других провинциях, на Новый год выставляется перед домами ряд елок и получают целые их аллеи, как в старину у нас из "троицыных березок". В древнейшей Италии и Греции в первый день весны приносились в тогдашние храмы хвойные деревья, украшенные цветами фиалок; и то же было в Галлии: жители сходились в известные огороженные огромными камнями места с ветвями ели, украшенными цветами и лентами. В самом Риме, в храме Весты, в Новый год зажигался новый огонь, который и поддерживался неугасимо до следующего года. В отдельности от елки обычай зажжения огня (костров, смоляных бочек) употребителен с древнейших времен во всей Великороссии, и Малороссии, и Белоруссии (Афанасьев: "Поэтические воззрения славян на природу"); обычай этот есть в Норвегии, в Англии; на Кавказе у грузин и осетин. Но он, позволяем думать, некрасив и безжизнен. Совершенно иное "лицо деревца", его индивидуальная фигура, с дремлющею в нем душою (вспомним мое яблоко); и яркие свечи, так полно освещающие скромную его фигуру. Иногда мы не жмем друг другу руку встречаясь, ана также становится похожею на рай. Блещет пальцами пальцев. Электричество "дружелюбия" прошло во встретившихся. То же и в этом миллом, и поэтическом, и одухотворенном празднике. Между человеком и так далеким на звездные дали деревцом происходит как бы касание трепетных перстов, без умения сказать больше и внятнее.

Вот и все. Вот и весь смысл праздника. Не нужен ли он нам? Бесполезен? Вреден? Но о вреде его, кажется, и говорить никто не пытался, а что касается пользы, то прежде всего почти "лицо древности". Ибо если и деревья, и люди, и, наконец, страны, в своем

своеобычном сложении, имеют "лицо" или "физиогномию", то не откажем в таковой и эпохам, культурам. Древность же почитать всегда хорошо, древность наивную и никому не вредившую. Наконец, мы здесь почитаем всемирность. Позволю поставить себя под авторитет Достоевского, именно под ту его мысль, которая особенно понравилась всем русским: что сердце русское "отзывчиво на всемирные звуки и что с эллином русский умеет быть, как эллин, с германцем — как германец, в то же время, и даже преимущественно в это время, сохраняя добрую и всесветную, чуткую и независимую славянскую суть". Право, если когда суждено русским покорить весь мир, то они сделают это не исключительностью, а вот этой всесветностью: когда в русском сердце каждый народ и народец найдут свою родину, не искаженную, не убитую, но сохраненную и паче возвращенную. Право, как русский, я только таким покорением хотел бы покорить весь мир; а на почве и условии "исключения" всех уже скорее я передался бы "всемирному морю". Возвращаясь к теме нашей, скажу, что иметь общее в обычае со всеми народами — Китаем, Аравией, мордвою, друидами, Римом — право нисколько не менее приятно, чем иметь вещь или обычай ("чаепитие", "самовар"), ни на кого не похожий; хотя, заметим, и такой ни на кого не похожий обычай, особенно столь приятный, как чаепитие (или полезный, как русская оригинальная баня), тоже весьма и весьма приятны и достойны "всемирно жить".

Всякий, без сомнения, замечал, что иногда елка обвешивается яблоками. Это прекраснейшее и осмысленное осложнение, какому она подвергалась в христианскую эпоху. С христианством вообще потухло (хотя не вовсе) астральное, присущее древним, чувство года и поворота солнца вновь на север. Но именно к этому дню, однако, стала приурочиваться идея Христа как нравственного Солнца, которое принесло на землю мир и радость и возрождение. "Возрождение года", "возрождение весны" смешалось, а потом и заместились идеею возрождения души человеческой, которое принес Спаситель. И теперь мы елкою приветствуем не рождение солнца, а рождение Христа. И не будем, и не должны мы смущаться, что рождению Христа приносим встречу и привет еще языческою древностью. Ибо именно она-то и встретила Его рождение в лице "волхвов Востока", принесших миро, ладан и золото, эти древние еще языческие дары, употребительные в языческом богослужении, в Вифлеемский вертеп (пещеру). Вот почему и зажженная елка, несмотря на свою дохристианскую древность, вполне уместна в праздник Рождества Христова. Но перейдем к яблокам. Искуплением от смерти Христос вновь открывает людям рай; открывает им Древо жизни; и елка, в многочисленных своих исторических метаморфозах, сделалась символом этого Райского дерева и райских плодов, которые по всемирному неясному представлению именуется "яблоками". Замечательно, что

во всех христианских исповеданиях церковь согласно указывает накануне Рождества Христова вспомнить праотцев человеческого рода, Адама и Еву. У чехов и также немцев отсюда развилось древнее поверье, что в канун Рождества солнце останавливается, небо разверзается и оттуда открываются древние, утраченные теперь человечеством сады, рощи и птицы рая; а вечером (в "щедрый вечер") райский свет отражается на земле и она также становится похожею на рай. Благородное предание и верование. Сказка, лучшая всякой действительности; да может быть и не сказка, а предчувствие или ожидание "того света"? Верование это получило себе варианты. Так, в Палестине хранится легенда, что в рождественскую ночь расцветает иерихонская роза. В Вюрцбурге, в Германии, по преданию, записанному в XVI в., росли две яблони, которые расцветали и приносили плоды только в рождественскую ночь.

Прекрасны эти всемирные и вечные обычаи. На них мирятся народы; а поводов для распрей так много, что мы должны беречь как зеницу ока хотя немного, в чем выражается единство человеческого рода. В создание "рождественской, зажженной и нарядной" елки вошло много и истории и "мифа". Елка, огонь и яблоко: все это родилось не вместе, а порознь и соединилось потом. Итак, здесь есть творчество — лучшая надежда, что в будущем елка еще разбогатеет. Все любят елку, ибо это центр рождественского детского удовольствия. Только в этот день мы так близко стоим к детям; и перед елкой и взрослые не стесняются умаляться до детей, играют с ними одну игру. Прекрасное "возрождение"! Но за нарядами, лакомствами никогда не надо забывать темных и смолистых ветвей самого дерева. Все же это оно сумело объединить род человеческий (допустим, преувеличение) намеком неясной души к себе. Жалко всегда бывает смотреть на елку на другой день, развешиваемую. Об этом у Андерсена есть прекрасная сказка, пожалуй самая трогательная из всех. Вот мне и хотелось бы подсказать добрым русским детям (и пусть бы они сотворили этим русскую прибавку к всемирному обычаю), чтобы на другой-то день не очень выталкивать из дому "в толчок" и вообще обходиться с нею бережнее, повежливее. Душа-то ведь в ней не сгорела; да и "душа"-то ее и собрала детей на праздник, устроила им веселье. А как больно-больно всему из богатства и украшенности перейти в бедность и нищету. По крайней мере пусть не прибавятся к этому побои и пренебрежение. И елочку можно бы выносить куда-нибудь, выставляя на чердак, а не то чтобы "выбрасывать на двор", как вовсе "ничто". Ах, если бы елочка была с корнями: тогда бы и жизнь ее можно сохранить. Но, может быть, можно сберечь до будущего Рождества ее ветку и как-нибудь от нее зажигать новую елку. Похоже было бы на древний огонь Весты? Впрочем, я ничего не умею придумать, но, может быть, чего не придумает старый ум, выдумает молодой. Я же помог детям в их радости, чем мог.

ЧТО СКАЗАЛ ТЕЗЕЮ ЭДИП?

(Тайна Сфинкса)

Лишь перед смертью
Преемнику открой, чтоб в свой черед
Грядущему он передал...

Эдип

I

...Уже прошло несколько дней, как я видел "Эдипа", — и то чрезвычайное волнение, с каким я "широко открыл очи", пораженный последними строками трагедии, — улеглось. Увы, 49 лет на всем сказываются, на энтузиазме ума, на любопытстве сердца.

Как повсюду почти, как почти постоянно — я дремал во время первых актов, и только прищуренным глазом смотрел на ряд медлительно передвигающихся и останавливающихся на мгновения картин!.. Вот роща Эвменид; и этот холм Акрополя. Все ярко залито солнцем! Точно я переносусь на солнечные поля Италии (мною виденной; Греции я не видал); да, это — золото ее полей, солнечное золото! Точь-в-точь этот вид в Пестуме! Солнце юга отличается от нашего тем, что как будто на самое существо его перелилась та особенность, что оно никогда не закрывается тучами. От этого оно глядит там каким-то вечным, не смежаемым оком, когда у нас выглядит чем-то случайным... Контуры страны, фигуры людей, их расположение — все в целом поражало красотой, и я жалел, что фотограф не хватает на пластинку каждый новый сгиб этого полотнища художественных видов. Бакст — истинная Рашель декоративного искусства, — и в душе я отдавал ему первенство и перед Софоклом, и перед Мережковским.

Монологов и хоров я почти не слушал, все от 49 лет! Пусть не судит меня тот, кто не испытал проклятого возраста! Дело в том, что в древней трагедии все слишком еще не индивидуализировалось, и мне не хотелось напрягать внимание, чтобы ловить изречения общечеловеков. Увы, и я со многими думал: "Что может сказать нам древность, чего мы не знали бы с гораздо большим углублением..." Значили же что-нибудь двадцать веков последующих "испытаний"... Так тянулись минуты, получасы, пока, услышав последние строки, — я вдруг очнулся, сон сбежал с глаз и я весь обратился в слух и зрение.

Дело в том, что инсценирование (постановка на сцене), в своей необыкновенной яркости, страшно подчеркивает текст словесного творенья. Слова точно приобретают растяжение, будучи соединены с действием, с картиною, сопровождаемые музыкою и зрелищем. "Эдипа" же "в Колоне" я, кстати, и не читал раньше, зная только общий сюжет трагедии и имея лишь общую концепцию как Софокла, так и его знаменитой трилогии. Словом, я лишь "кое-что" знал из того, что

увидел в театре... И вот, когда общий меланхолический и жалующийся тон трагедии стал, на конце ее, неожиданно (для меня) преобразаться в торжественный и уже не столь унылый, даже вовсе не унылый... я изумленно посмотрел на то, что было передо мною, и начал каждое слово Эдипа ловить с чрезвычайным удивлением и ожиданием. Эдип, человек среди людей, несчастный среди жалких, к концу пьесы вдруг начинает отделяться от этих жалких людей, явно перестает быть слившимся с ними. И почти шепчешь, глядя на него, эти слова, сказанные в другом месте и о другом лице: "и он начал все удаляться от нас, подымаясь над землею... Мы видели, плакали, он благословлял нас; но ног его мы уже не могли обнять". Есть изречения, как картины. И шепчешь староизвестное изречение, неожиданно встречая аналогию с староизвестным событием.

В заключительных строфах трагедии Софокл заключил некоторую тайну свою. Тайное, внутреннее, про себя, знание, подобное тому, с каким некогда Иоанн Богослов, совсем о другом лице и событии, написал; "а число его 666". Совершенно очевидно для зрителя, как и для читателя текста трагедии, что Софокл не имел никакого *из хода самой трагедии вытекающего мотива* — вдруг переменить тон ее и кончить этим заревом другого дня вечер события, в трагедии рассказанного. Естественное окончание "преступления Эдипа" — другое. Скорбь — а потом смерть. Или смерть — среди сожалений и утешений окружающих — "Иов и его друзья" — дальше этого ничего не придумаешь в естественном порядке противоестественного сплетения событий, *если б оно было случайным*. Поэтому, когда тон трагедии вдруг меняется и из Эдипа показывается муж силы ("я, слепой, поведу вас — зрячих"), зритель удивлен и почти испуган, имея перед собою уже не Эдипа, а Софокла, готового открыть что-то необыкновенное. Тон этот, вообще весь конец трагедии, мужественный и торжественный, — ниоткуда не вытекает! Ни из Эдипа, ни из Исмены-Антигоны, ни всего менее из глуповатого Тезея, этого "Стародума" мифической эпохи. Из Эдипа (лица) трагедии показывается новое лицо — Софокла-Эдипа: и, как всегда, тон "героев" изменяется, когда за ними нескрываяемо становится автор и диалоги подменяет собственно монологом, — так меняется, при этой смене лиц, и тон трагедии. Эдип — более не страдающий, а торжественный. Это сам Софокл стоит перед изумленными Афинами, еще мифическими или почти мифическими, и в меру этого наивными (вспомним Тезея), чтобы бросить им разгадку поразительных сцен, им показанных.

— Пойдем в рощу: перед смертью я шепну тебе тайну, которую ты поведаешь перед своею смертью — тоже одному кому-нибудь. И так она будет храниться вечно на земле. Но смертные ничего не должны знать о ней. Ни — мои дочери, ни — народ, никто, кроме единого, по традиции, из уст в ухо...

Но тайны *рассказанной* нет. Однако вовсе ли нет? Она только замаскирована. Так актер покрывается гримом, но мы все же узнаем "милого

Ивана Ивановича” из-под паричка Лира, из-под шевелюры и позументов сотни замаскировывающих ”милое лицо” героев. Что именно рассказал Тезею Эдип? Мне кажется, Эдип не был бы Эдипом и вовсе незачем было бы предсмертное откровение привязывать именно к нему, если б сюжетом рассказа было что-нибудь другое, третье, для Эдипа стороннее. *Не об Эдипе* — мог рассказать и не Эдип; пусть бы рассказывали Полиник, Тезей, Исмена или ”велемудрый” хор. Но вот об Эдипе рассказать мог уже только сам Эдип. Тайну Сфинкса знал только Сфинкс, и ее мог рассказать только он. Рассказать — или проверить рассказ, выслушав, ответить: ”да”, — и броситься в море. Сфинкс бросился в море, Эдип умер — сейчас же как рассказал. Громы, ссылка: ”Зевс слышен”, ”сейчас умру! поспешим!” (в рощу) — только ”введение” к рассказу, его обстановка, миф (вымысел) около реальности. Отложи рассказ Эдип — и гром бы не загремел, ”Зевс” бы не ”показался”, ничего бы не появилось, все бы задержалось — ну, на тот же месяц или покуда будет угодно Эдипу. Возможно, что в Элевзинских таинствах, где кроме радостного было и ”пугающее”, и притом ”зрительно пугающее”, было такое же точь-в-точь зрелище, и эта часть бутафории перенесена в трагедию прямо оттуда. Она только пугает зрителя, ничего ему не объясняя: пугает, настраивает, подготавливает: как и слушатель трагедии Софокла в эти мгновения (я это испытал) бывает приподнят, взволнован и смущен, растроган, ”ко всему готов”. Продолжим. Тайна Сфинкса — та же, что у Эдипа. Сфинкс бросился в море, потому что ”трагедия началась” со входом Эдипа в Фивы. А Эдип сказал Сфинксу то же, что Тезею в роще: но слушатель, рассказчик, зритель, исполнитель, субъект ”божественный” (Сфинкс, во всяком случае, не земнородное существо) и обыкновенный, в несении одного и того же ведения (”тайны”), представляют разное, разную среду; и они все разное реагируют на проходящее через них как бы электричество. Тезей остался жить, выслушав ”откровение”, как ведь и Эдип остался же, сказав Сфинксу. Оба они люди, Эдип — пока. Да, может быть, и Тезей ”пока” же... Ведь и Тезей лишь перед смертью скажет кому-то Эдипово слово, — что представляет только другой оборот выражения, что Тезей будет жить, пока не скажет слова, и умрет сейчас же, как передаст его. Смотри на трагедию в этом ее заключительном аккорде, я почувствовал, что древние или некоторая часть древних, в общем развитии ниже нас стоявших, — в одном отношении, и именно ”ведения”, ”знания”, — необыкновенно над нами возвышались. И мы только раскрываем с изумлением рот, когда они говорят твердо о том, что для нас абсолютно неведомо, недоступно, —

О тайнах вечности и гроба.

Эдип шепнул великую религиозную тайну, ”священную сагу”, — как, вероятно, она называлась в их время, называлась так, может быть, среди ”посвященных” в Элевзинские таинства. Скажите, что такое ”рай”?

Рассказ в первых главах Библии. Тоже, в своем роде, "сага", который не осязал ни один из смертных. Сага, "миф" (как сказал бы неверующий скептик, "материалист" наших дней); но, как "слово", "επος", так ли она прозрачна, как и прочие слова поэтов и сказочников? Нет, "рассказ о рае", "вера в рай" составляет до такой степени основной столп религиозного мирозерцания, что даже и материалист всякий, желая посмеяться над верующим, скажет: "неужели вы *верите в религию*? Что же, по-вашему, *есть в самом деле рай*?" Таким образом, "миф" этот, "сага" входит в самое существо и содержание религии: и мы, начиная детей "учить религии" ("Закон Божий"), в первый же час учения рассказываем им "о рае", т. е. передаем (по эллинской терминологии, как сказали бы они о себе) "священную сагу". Собственно, "религию" почти всю составляет несколько, немного таких "священных рассказов", передаваемых преимущественно от человека к человеку и от народа к народу; выньте еще другую "сагу" — о Страшном Суде; без нее и без "Рая" много ли вообще от "религии" останется? Между тем истины эти, абсолютно никем не осязавшиеся, как рассказываются вновь каждому рождаемому человеку, так "открылись" некогда и всему человечеству ("откровенная религия", "религия откровений"). Но сколько таких "саг"? Я назвал две. Христиане тоже имеют свое "священное предание", в первые века сохранявшееся в тайне, в катакомбах; и вне которых нет его как *новой* религии. "Предания" эти до такой степени колоссально важны, что прибавка к известным одного нового — начинает и "новую религию". Несомненно, мы, напр., не с такой могучей реальностью верим в рай, как *национальные* субъекты-носители этого "предания", евреи. Для них "рай" как "бывшее" — во-очию! реальнее, чем для нас "документальная" и "записанная" история Александра Невского. Ей-ей! Мы Библии не читаем реально. Для нас это только "дополнение" к Вавилонским древностям. Для евреев — это памятник их жизни, несомненный, как для нас Нестор. "Рай" для них осязателен, как для нас Киев, "мать русских городов"; осязателен, нагляден, очевиден. А для нас — "сказание"...

Но я отвлекся. У греков и было вот еще, в нашу религию вовсе не вошедшее, прямо "не дошедшее до нас", "затерянное за древностью" одно сказание, которое из уст в уши ("в катакомбах") передалось... между Сфинксом, Эдипом, Софоклом, Тезеем.

Как облегченно говорит Тезей:

Чтобы память умершего друга почтить:
Бесконечна моя *благодарность*.

Эдип, *зависящий* от Тезея, ищущий у него *приюта, защиты* в течение трагедии, — становится его благодетелем *по ее окончании*. Почему? Раскроем грим и прочтем слова эти так, что Тезей имел все основания благодарить Эдипа, ну, напр., как афиняне имели причины благодарить Софокла. Так, и даже больше: Софокл все же лишь трагик, показавший

нечто афинянам, а Эдип — трагическое лицо; не Лир в передаче Шекспира, а сам подлинный король Лир, знавший богатство и власть, страдания и пустыню. Человекообразный характер Эдипа как бы сбегает с него в финале трагедии, и уже он спешит в рощу Эвменид не как страдалец, печальный "нищий среди богатых", а как имеющий над ними власть, как "царь", и даже больше чем только царь. Со смущением и обновленный выходит из рощи Тезей: и его психологию по возвращении из рощи нельзя лучше объяснить, как сблизив ее, из христианской истории, с психологией после какого-нибудь чудесного "видения", "явления". Мы, для реализма, все переводим, древние ощущения и волнения, конечно, не думая их уравнивать. Но зритель (и читатель) трагедии согласится с нами, что тон Тезея по возвращении из рощи — тон ученика, поговорившего с Необыкновенным Учителем, с Небожителем, "Ангелом" во плоти, который вновь стал бесплотным:

Он завещал, чтобы никто из живых
К тайной могиле не смел подступать,
Чтобы похоронные вопли
Не нарушали святой тишины;
Ежели все я исполню — предрек
Благословенье Афинам.

Это слова и тон и благоговение "деписателя" о смерти Моисея, тоже смерти "без свидетелей, никем не увиденной, и чтобы израильтяне не знали, где могила" (какое сходство подробностей!). Но там это законодатель, спаситель от рабства, собственно — родитель нации, а здесь!!!.. Мы "священной саги" эллинов не знаем, а кто благодарит — знает, за что благодарит. "Смерть сейчас же последовала..." И Моисей "довел до земли обетованной — и умер". О Моисее — это факт. Но ценны и иносказания. "Когда умрем — *все новое увидим*", не есть ли эта всемирная религиозная истина лишь новый фасон изречения древнейшего: "когда *тот свет* увидим, уже и перейдем в тот свет, а в этом перестанем жить". Я упомянул

О тайнах вечности и гроба...

Вот мы не имеем вовсе "саги", "священного сказания" о том, что же именно значит "умереть"? и что в собственном смысле тут происходит? и, наконец, что мы там видим именно с первой же секунды смерти? А ведь об этом может быть такая же "сага", "откровенье", как о рае или древе жизни: в точном до очевидности рассказе, почти с географией ("реки Тигр, Эфрат, Геон, Фисон"). Такое же точно и веденье и вера относительно тайн "и перехода туда" (как смутны слова об этом Шекспира: "А может быть — виденья посетят!"), — веденье точное и вера непоколебимая — могла быть у греков, имевших об этом специальное и до нас не дошедшее "откровенье". Но я еще нажму на высказанной мысли: если "здесь" и "там" (по две стороны смерти) — абсолютно

несовместимы, то очевидна и даже проста становится уверенность древних, так часто мелькающая в их литературе, что если даже по какому-нибудь случаю, нечаянно, ошибкой, невольным преступлением, — ”взглянул на краешек того света”, так приходится невольно за ”оком” взглянувшим перетащить ”туда” и голову, шею, туловище, ноги; и, словом, всему перейти в ”тот свет”, т. е. для здешнего — умереть, попросту — умереть. Опять сходство с Библией: ”Тебе невозможно увидеть меня — *и не умереть*”, — сказал, в ответ на желание Моисея увидеть Его, Бог. ”Они же, Маной и Анна, испугались, сказав: ”Верно мы умрем, ибо мы увидели Ангела” (”Книга Судей”). Это вообще всеобщая вера; но мы подчеркиваем ту нашу мысль, что она крайне основательная метафизически, не менее всякого постулата и ”критики” Канта. Очевидно, если бы *здесь* можно было видеть кусочки ”того света”, то он был бы, в некоторой степени, ”здешний”; ”светы” мешались бы, и до некоторой степени тогда невозможен был бы ”тот свет”, как противоположение ”этому”, да, пожалуй, и ”этот” невозможен же был бы, как противоположение ”тому”. ”Смотрите не трясите этого — мир не устоит” — эти слова Гелиопольских жрецов о стенах своего храма метафизически и вековечно истинны о ”несмешиваемости” обоих царств, по две стороны смерти. ”Никто оттуда не возвращался и не рассказывал, что видел там” — этот скептицизм и бессилие европейских умов перед фактом смерти всего лучше показывает, что таковое ”знание” могло бы быть сообщено вправду лишь ”откровенным” путем: как ребенок сам никогда не догадается о рае (нет ”осязаемых” подступов к ”этому” на земле), а должен узнать это от ”учителя”, учитель — тоже от ”учителя” — до Моисея, Авраама, до ”откровенья” и ”Открывшего Бога”.

Но мы знаем лишь философски и отвлеченно о ”разрыве” двух царств по обе стороны смерти. Мы это *доказываем* (я, напр., здесь доказываю). Греки же это *видели, знали*; добавлю, — тайну, какую они шепчут иногда в созданиях своих, — они ее и испытывали! ”Сошествие в Аид”, ”мы уже при жизни сходили в Аид и видели тени усопших” — это мелькает в их словах, мифах, иносказаниях, аллегориях. Как? — для нас навсегда закрыто. Тут нужны именно и музыка, и зрелище; приподнятое настроение, слезы; нужно ожидание — и великое ожидаемое вдруг разверзается!

Ну что? говори!

Исмена

Без могилы,

О принят землею вдали от всех...

Это — почти шепот ”Элевзинских таинств”. Шепот еще понижается:

Отведи же меня ты к нему и убей...

и вдруг все выходит на "этот свет": занавес вот-вот перед "откровениванием" — задергивается, и слышится обыкновенный, здешний говор:

Горе! Что со мною будет?
Коль и ты меня покинешь,
Как дожить мне горький век?..

Вообще в конце "Эдипа" почти бесспорно введены некоторые из "слышавшихся возгласов" (историческая о них запись) во время Элевзинских тайнств, и их только трудно отыскать, выделить из того полотно обыкновенной оперы (зрелище и пение), в какую их вставил Софокл. Напр., далее слова:

Антигона

Как избежать?..

Хор

Одной уж беды вы избегли, —

содержат намек на известное лишь "посвященным", точнее — взяты из "возгласов" же и указывают намеком вовсе не на то, на что указывается в трагедии:

Антигона

Какой?

Хор

Насилья Креона и плена...

Это — игра в шарады. Известное "посвященным" вкраплено в обыкновенное, так что простые зрители могли в этих местах только упрекнуть трагика, что текст составлен как-то неуклюже: именно, что ответы, реплики и разъяснения не совсем соответствуют вопросам и особенно тону вопросов.

Трагедия волновала зрителей двумя существенно разными волнениями: одни с замиранием слушали им известные слова, с еще большим замиранием следили за действием, думая: "Доколе Софокл доведет?" Другие все смотрели обыкновенную жалостную трагедию с непонятным концом.

Этот конец, ведь он — апофеоза? За что?!! "Страдал — умер и успокоился! Да, смерть — успокоенье, конец, даже и греха — конец"! Так его комментировали гуманисты 40—50-х годов. Но тогда Эдип умер бы только скромно, как всякий из нас, наделав ошибок; зачем ему вести Тезея в роццу Эвменид, что-то сообщать ему, после чего "могила его священна" и никто не должен даже взглянуть на гроб его! Тайнственный пустой гроб! "Пустой гроб" (в разных человеческих сказаниях) тоже, пожалуй, есть тавтология с "нельзя взглянуть" (или "взглянуть и не умереть"): взглянул — но ничего не увидел ("истина" выхвачена из-под глаз!); увидел — пустое; но это не значит, что истины, "истинного

гроба”, напр., нет, а что ты его не увидишь никогда, тебе его не дано увидеть — до собственного гроба. ”Вот умрешь — увидишь гроб, свой и одновременно с этим Божий; тогда все увидишь, чего теперь знать незачем”. Невозможно не сблизить с этим странное изречение (и веру) египтян: ”Всякий умерший становится Озирисом”. Так что в руки умершего вкладывали свиток слов от его лица, с пустым местом для его собственного (личного) имени, начинавшийся так: ”Я, Озирис (такой-то, имя)”... И у нас ”покойники” несколько обоготворяются: мы им кланяемся, кадим, вокруг — зажженные свечи; чуть только нет восклицания: ”Этот Озирис — жив”!

* * *

На всем пространстве трагедии, в ее человекообразной, не ”озирианской” еще части, Эдип скорбит; скорбит, недоумевает, ропщет языком смертных на участь; хотя и мелькают слова (”вкрапленные?”): ”Разве моя это воля? я несу участь, а воля здесь — богов”. Он проходит как трагическое (пассивное) лицо, ”несет крест свой”, как мы привыкли говорить о страдающих. ”О, почему боги не избавят меня от этой чаши ужасного, которую я пью?”, ”почему она не минула меня?”, ”зачем вообще она, кому это нужно, для чего нужно”? Вопрос не земной, на который на земле и не было дано никогда ответа. Однако в роще Эвменид был дан ответ, который, выслушав, Тезей изрек:

Чтоб память сказавшего (”умершего”, для прочих зрителей) почтить,
Бесконечна моя благодарность!

Сказал ли это Эдип тоже в качестве пассивного лица? Конечно — нет! конечно, — он сказал, как Лир, игравший бы ранее только ”роль Лира”; пожалуй, как Шекспир-Лир, вдруг разъяснивший всю трагедию и даже указав на себя, сказавши: ”зрители, вы напрасно не плакали еще сильнее, жалобнее, страшнее: это все, принятое вами за зрелище и вымысел, действительно было — со мною, со Мною”. Позволим себе с большой буквы написать Шекспира. В трагедии Софокла происходят перевоплощения. Эдип уходит в рощу, чтобы сказать наедине Тезею, кто он в точности; недаром гремит гром, молнии сверкают, и появляются все знамения — ”вот-вот!!” Недаром потом и Тезей говорит так задумчиво о могиле ”друга”... Всякий человек делается Озирисом (мнение египтян), а один раз Озирис, по их же сказанию, очутился царем. Тезею Эдип рассказывает то самое, что было показано зрителям; тайна сообщения — именно эта трагедия, только что увиденная афинянами: откуда и вырвались обвинения ”посвященных” (без объяснения и доказательства), что Софокл выдал тайну элевзинских таинств. Но выдал ли точно? Нисколько: ибо все равно все осталось непонятным без некоторых дополнительных слов, может быть совершенно простых, но, во всяком

случае, не сказанных. И тайна "выдалась" для посвященных, которые и трагедии ее знали; а кто ее не знал — и после трагедии не узнал; однако скульптуру "саги", без души, — увидел. Мы ниже приведем длинную выпись из Апулея, где точно так же что-то "рассказывается и скрывается", "становится ясно и остается тайно" — и, по-видимому, самое простое. Пока же закончим свою мысль: мы упомянули, что на электричество не одинаково реагирует разная среда, по которой оно пробегает. Так и миф Эдипа: для нас это ненужное, небывающее, невозможное! В полном смысле — неинтересное и даже для мысли дающее только то, что может дать... ну хоть рождение младенца шиворот-навыворот, с головою на месте ног и обратно — предмет кунсткамеры Петра Великого, куда собирались всякие "уродцы", — не более. Так, это — в нашей среде. Но, впрочем, сказав о нашей среде, — мы вынуждены умолкнуть. Приведем только аналогию. Здесь (на этом свете) весь мир гладится "по шерстке", в одну сторону, отчего произошел и самый наклон волос, у всех определенных животных, в одну определенную сторону. Все планеты обращаются около своих центров (как светил и как оси), кажется, с востока на запад. Но даже и в планетно-звездном мире есть какое-то тело, одно или два, обращающееся наоборот: верный признак *органического* (не механического, не "бездушного") сложения мира. Словом, если есть "по шерстке" и, напр., "сей свет" весь "по шерстке" гладится и гладит, то более чем возможно ожидать, что в мире, где "все другое", — все идет тоже, как в той исключительной планете, или, напр., "против шерстки". Впрочем, я говорю уподоблениями, сравнениями, не зная ничего определенного. Если здесь все течет (закон земного органического сложения), как сказано у Матф. в первой главе от "Бога, Адама, Сифа"... до меня, то, может быть, "в том свете" лестница и закон движения поворачиваются и все текут, все течет от "меня"... Сифа, Адама, к "Богу". Впрочем, мы "саги", "мифа" не знаем, а вымыслами здесь заниматься грешно.

Тема Эдипа, во всяком случае, — "поворот крови". Поворот мировой реки — всего органотворения. Оттого оно так "скучно, небывало, неинтересно", что, "пока есть сей свет", оно так же неизвестно, как деревья с медными корнями или бронзовая статуя — улыбающаяся, задыхавшаяся и потеплевшая. Это — *absolutum ignotum*. В "Эдипе" оно и рассказано как случай, несчастье и "миф". Это — для нашей среды. А "для небожителей"? "Зевса"? Они стоят при истоке мировой реки и, так сказать, видят только затылки "спускающихся по лестнице поколений": "и никто не оглядывался на Зевса, но кто оглянулся — умирал". Я здесь не умею, у меня нет сил ("ведения") выразить мистицизм крови. Крови наука не умеет создать; мы видим ее — но не разумеем. Но, однако, несомненно, что, рождаясь в веках (ведь кровь вся "рождена", сделанной ни капли нет!), она вся исходит как "свет от света", от "вчера" к "завтра", "родителей" к "детям"... и никогда обратно, в этом ее таинственный закон!!! Ну, как "родиться от себя", "само-родиться"??

Однако в египетских мифах всюду записано (прикрепляясь к разным, конечно местным, именам), что "Божество тем и отличается от людей" (или "от низших божеств"), что Оно — "от Себя из века Сущее", что оно "не рождено". Умаление, сужение рождения вообще входит в египетскую концепцию "бога". "Все родились, кроме бога, а он жив — но не родился". Но эта жизнь не рожденная — тайна абсолютная для нас. Однако "приближается к божественному", когда рождение, не переходя в ноль, суживается, напр., до половины; напр., когда есть отец, а матери — нет, или наоборот — в отношении отца. Паллада, вышедшая "из головы Зевса" (т. е. без матери), есть "полубогиня", "божественна". Мы говорим о греках. Знаменитый "поворот крови", миф коего разрабатывается в Эдипе, в сущности, устраняет если не половину, то более $\frac{1}{4}$ рождения: Этеокл, Полиник, Исмена, Антигона имеют мать явную, "вот-вот!" но отца... они — имеют брата, а отца — у них нет! Ближе к Палладе! Ибо отец их есть "отделившийся кусок матери" (сын ее), т. е. почти до тавтологии — опять же мать!! Мать — да! она удвоенно есть у них!! но отца — наполовину нет, почти вовсе нет! Это, "при земном воплощении" ("другая среда") разделяется, рассыпается — как страшный грех (усиленно грешные натуры Этеокла и Полиника, "каинова кровь", братоубийственная, ведь правда — тут есть зернышко параллелизма с Библиею) и как святость: две чудные сестры, святые девушки, такие трогательные, нежные ("Сиф" крови). Во всяком случае, в "саге" об Эдипе мы имеем подход, и даже единственно возможный подход, к "рождению без двух родителей", — чем была занята вся древняя мифология. Причем дополняющая (к матери) половина, отсутствующая, определялась как "божественная сила", "небесное наитие". "Дети, я уже отхожу от вас...", "ныне недолго я с вами":

О дочери, мужайтесь — мне пора;
Ни видеть вам не следует, ни слышать
Запретного: ступайте же скорей!
Да будет здесь наедине со мною
Лишь царь Афин, чтоб *знать и видеть все*.

Что "видеть", что "знать" об, с позволения сказать (точка зрения "сего света"), таковском? Да, по Тезею, должна была быть открыта совсем другая, небесная сторона этого явления и собственно в ней-то ("другой стороне") и заключалась "сага". Но это относится к "знать". А что — "видеть"? Видеть — образное "воплощение", снятие земных одежд, уход "туда". Грек передаст это через *впечатление*:

И видим — нет его (Эдипа) уже нигде,
Один Тезей стоит, окаменев,
От ужаса закрыв лицо руками,
Как будто бы он вдруг увидел* то,

* Не "узнал", "услышал", "выслушал". Говорится о поразительном для зрения.

Что вынести не могут очи смертных.
Потом, спустя немного, царь упал,
Простерся ниц, мольбой благоговейной
Почтив Олимп и Землю.

В двух последних строках — отводящее глаза в сторону слово: всякий его может комментировать по-своему или Софокл сам мог бы ответить надоедливому вопрошателю: "Олимп и Землю почтив? Ну, как же, — увидев необыкновенное и редкое, даже спасительное для его родины и народа, Тезей и поблагодарил Зевса и Землю за благо этого дара: ведь они вседержители и от них или через них — все". И только эта быстрота темпа:

упал,
Простерся ниц, мольбой благоговейной
Почтив Олимп и Землю

— дают более пронизательным почувствовать, что он перед собою их увидел, поклонился — явлению, "откровению".

Знает он
И более никто из всех живущих, —
Как умирал Эдип.

Далее (нам кажется) следуют опять замаскировывающие слова; вообще — без точного значения, что его "взял посланник богов". Так, о Ромуле говорили: "Взят на небо Юпитером" убившие его патриции. Но опять после слов для "непосвященных" следуют слова, понятные "посвященным":

И так легко, такую дивной смертью
Не умирал еще никто...

И далее, как "вакханка", исступленно:

Пускай
Слова мои сочтут безумьем, — правду
Я говорю: кто хочет верить — верь.

* * *

Нужно заметить, Софокл в конце трагедии до того теряет и даже не хочет соблюдать "почву реализма", что вкладывает Антигоне слова, возможные только у Тезея: все вдруг начинают знать то, что знает автор и на что хочется ему еще и еще намекнуть зрителю:

Но бесшумная бездна открылась над ним,
Приняла безболезненно
В смерти таинственной.
Горе! Очи накрыла мне вечная тьма.

Дочери начинают рваться туда же. "Миф" так и сквозит через обыкновенное:

Поглотила бы уж сразу
И меня с отцом несчастным
Бездна темного Аида! (*Исмена*).

Нет, возлюбленные дети,
Эта смерть — благодеянье
Милосерднейшего Зевса (*хор*).

Ведь когда он, бывало, обнимет меня, —
То казалось и горькое сладостным!..
О, родимый мой, бедный, ушедший в страну
Мрака вечного,
Никогда, никогда не разлюбим тебя
Мы несчастные (*Антигона*).

Он имеет... (*хор*).

...имеет желанное (*Антигона*).

Правда (*хор*).

Ложе имеет спокойное,
Осененное пылью подземною,
И в могилу сошел он, оплаканный:
Ведь пока я дышу, о тебе никогда
Не иссякнут в очах моих слезы, отец!
Не забуду я, горькая,
Что ты умер один, далеко от меня,
Не в объятьях моих!..

Это едва ли не взято целостно из отрывков "надгробных причитаний" по Таммузе, и афинских, и всяческих древних женщин. Вообще тут, я думаю, много факта, истории и быта, прямо — обряда. Продолжим выписку, — так волнуют нас *музыкою* своею эти перекликания плачущих, через 2000 лет еще волнуют. Имена мы можем вовсе отбросить, так как к "Исмене", "Антигоне", "Хору" они не имеют вовсе отношения, будучи "плачами по утраченному" ("Таммуз" — нарицательное слово, обратившееся в собственное имя, и, значит, просто: "утраченный", "потерянный"):

О сестра, какая участь
Ждет обоих нас, бездомных,
Одиноких (=нет с нами "Покинувшего").

Нет, родные,
Свыше меры не скорбите,
Ибо смертью благодатной
Развязал он узел жизни (= "смертью смерть поправ").

Исмена родная, вернемся.

Зачем?

Томит мое сердце желанье...

Какое?

Взглянуть на обитель подземную.

Чью?*

Родимого — горе мне!..

Или не знаешь,
Что к этому месту нельзя подходить?

О, ты упрекаешь меня...

И еще...

Ну, что? говори...

Это — намеки, *in concreto* понятные только "посвященным". Диалоги только начинаются, и — обрываются с первого слова. Слышим "вонмем" начала литургии, а дальше — *tacita messa*** (у католиков есть).

НАТУРАЛИЗМ И ИДЕАЛИЗМ

"Современный поворот в философии не есть плод одной теоретической любознательности: не одни отвлеченные интересы мысли, а прежде всего сложные вопросы жизни, глубокие потребности нравственного сознания выдвигают проблему о должном, о нравственном идеале. Но, обращаясь к тем направлениям, которые не хотят знать ничего, кроме опытных начал, мы убеждаемся в их бессилии разрешить этот важный и дорогой для нас вопрос. Мы ищем абсолютных заповедей и принципов — в этом именно и состоит сущность нравственных исканий, — а нам отвечают указанием на то, что все в мире относительно, все условно. За нравственной проблемой вырастает целый ряд других проблем, глубоких и важных, теснейшим образом связанных с деятельной жизнью духа, а нам говорят, что все это вопросы, для которых нет места в философии, ясно определившей свою границу".

* Возможно ли переспросить: "чью", когда они говорят об одном, никого третьего нет и предположить его невозможно?! "Чью" (я думаю) было спрошено почти с насмешливой улыбкой: ибо спрашивалось об Эдипе, об отце, как о лице Софокловой трагедии для непосвященных, вовсе не об Эдипе (для "посвященных в таинства").

** молчаливая месса (*лат.*).

Так, во введении к "Проблемам идеализма" общий редактор этого сборника, проф. П. И. Новгородцев, излагает основной мотив начинаемого поворота. И жалоба, и тревога этих строк удивительно выражают, но только спокойным и научным языком, беспорядочные жалобы Мити Карамазова его брату Алеше:

— Да, завтра суд. Только я не про суд сказал, что пропала моя голова. Голова не пропала, а то, что в голове сидело, то пропало. Я-то пропал, Алексей, я-то, Божий ты человек! Я тебя больше всех люблю. Сотрясается мое сердце на тебя, вот что. Какой там был Карл Бернар?

— Карл Бернар? — удивился опять Алеша.

— Нет, не Карл, постой, соврал: Клод Бернар. Это что такое, химия, что ли?

Мы чуть-чуть сократили и упростили донельзя разбросанный у Достоевского диалог, в который вставлена и характеристика семинариста-карьериста Ракитина, один из гениальных, но едва ли основательных памфлетов Д-го (кажется, намек на Елисеева, одного из "триумвиров" "Отечественных записок"). С ненавистью он бросает один и тот же ком грязи в лицо и позитивной "науке" и ее представителю, Ракитину, сплетая в *одно* характеристику жреца и бога, науки и ее корыстного, бездумного адепта.

— Ракитин пролезает (к богатству). Ракитин в щелку пролезет, тоже Бернар. Ух, Бернары, много их расплодилось.

Мы пропускаем характеристику человека и переходим к характеристике положения вещей, положения идей. Мы сейчас увидим у Достоевского жалобу философов 1902—3 года.

— Отчего ты-то пропал? Вот ты сейчас сказал? — перебил Алеша.

— Отчего пропал? Гм! В сущности... если все дело взять — Бога жалко, вот отчего!

— Как Бога жалко?

— Вообрази себе: это там в нервах, в голове, т. е. там в мозгу эти нервы... ну, черт их возьми, есть такие-эдакие хвостики, у нервов этих хвостики, и как только они там задрожат, т. е. видишь, я посмотрю на что-нибудь глазами, вот так, и они задрожат хвостиками-то... а как задрожат, то и является образ, и не сейчас является, а так какое-то мгновение, секунда такая пройдет, и является такой будто бы момент, т. е. не момент, — черт его дери момент — а образ, т. е. предмет или происшествие, ну, там, черт дери — вот почему я и созерцаю, а потом мыслю... потому что хвостики, а вовсе не потому, что у меня душа и что я там какой-то образ и подобие, все это глупости. Это, брат, мне Ракитин еще

вчера объяснил, и меня точно обожгло. Великолепна, Алеша, эта наука! Новый человек пойдет, это-то я понимаю... А все-таки Бога жалко.

— Ну и то хорошо, — сказал Алеша.

— Что Бога-то жалко? Химия, брат, химия! Нечего делать, ваше преподобие, подвиньтесь немножко, химия идет!

Это, так сказать, метафизический центр спора: несовместимость Бога и опытного наблюдения, религии и "точной" науки. Одно "мечта", другое — факт. Дорогая мечта, великое утешение, но... факт неопровержим! Мы ниже будем критиковать все это, а сейчас представляем дело, как оно рисовалось Д-му, да и рисуется вообще тысячами людей. Наука и религия издавна оспаривают в сердце человека место друг друга. Спор между "нервами" и "образом и подобием Божиим" сейчас же переходит на нравственную почву:

— А не любит Бога Ракитин, ух, не любит! Это у них самое больное место у всех. Но скрывают. Лгут. Представляются. "Что же, будешь ты это проводить в отделении критики?" — спрашиваю. — Ну, явно-то не дадут, — говорит, смеется. — Только как же, спрашиваю, человек-то без Бога-то и без будущей жизни? Ведь это, стало быть, теперь все позволено, все можно делать? — А ты и не знал? — говорит, смеется. — Умному, говорит, человеку все позволено, умный человек умеет раков ловить.

Не нужно здесь подсказывать читателю, до какой степени в диалоге этом содержится много клеветы. Вспомним именно Клода Бернара, вспомним Пастера: это они-то (ибо идет дело о "науке" вообще, положительной, физиологической науке) "умели раков ловить...". "Посторонитесь, ваше преподобие", — диктует будто бы наука религии. Кто умеет "раков ловить", которая из двух категорий "умных людей", это еще вопрос, на который история отвечает и так, и эдак!

Впрочем, все это пустяки. Дело — в центре, в метафизике. Дело в порывах души, которая будто бы замирает в хладных объятиях опыта. Митя переходит к идее о каторге, неправой, незаслуженной, которая на него надвигается ("по Божьи?"), и говорит:

"О, да, мы будем в цепях... но тогда, в великом горе нашем, мы вновь воскреснем в радость, без которой человеку жить невозможно, а Богу — быть. Ибо Бог дает радость, это Его привилегия великая... Господи, истай человек в молитве! Как я буду там под землей, без Бога? Врет Ракитин: если Бога с земли изгонят, мы под землей Его сретим! Каторжнику без Бога быть невозможно, невозможнее даже чем не каторжнику! И тогда мы, подземные человеки, запоем из недр земли трагический гимн к Богу, у которого радость!"

Меня все соблазняют исторические сближения, и не могу я не вспомнить здесь одну, еще дохристианскую "пещерную религию". Не сохранилось ни единого, да и не было вовсе ни одного на земле, *над* землею храма "Митре", этому не разгаданному вовсе религиозному "сфинксу", память и следы которого были тщательно истреблены в IV—V веке нашей эры. Поклонение Митре совершалось исключительно в пещерах, и около Остии, в устьях Тибра, сохранилась до сих пор почти в нетронутом виде одна такая "катакомба"-молельная. Воспоминания я бы не сделал, если бы по разысканиям историков культ этот не был принесен почти "каторжниками" же Рима, низшими слоями солдат и матросами, и распространялся долго исключительно в среде беднейшего, угнетенного народа. "Гимн каторжных из-под земли к Богу Радости" — этот бред Достоевского, его личный и фантастический бред, не дает ли добрый исторический комментарий к психологическим мотивам "распространения культа Митры" в грустный, меланхолический период римской эпохи Антонинов? Митя продолжает:

"Меня Бог мучит. Одно только это и мучит. А что, как его нет? Что, если прав Ракитин, что это идея искусственная в человечестве? Тогда если Его нет, то человек — шеф земли, мироздания! Великолепно! Только тогда как он будет добродетелен без Бога-то? Вопрос! Я все про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому благодарен-то будет, кому гимн-то воспоеет? Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без Бога. Ну, это сморчок сопливый может только так утверждать, а я понять не могу. Легко жить Ракитину. "Ты, — говорит он мне сегодня, — о расширении гражданских прав человека хлопочи лучше, или хоть о том, чтобы цена на говядину не возвысилась: этим проще и ближе человечеству любовь окажешь, чем философиями". Я ему на это и отмочил: "А ты, говорю, без Бога-то, сам еще на говядину цену набьешь, коль под руку попадет, и наколотишь рубль на копейку". И пр.

Спор переходит в грязные инсинуации. Ибо он страстен, жив. Это — как две торговки, ругающиеся из-за рубля на рынке. Да, рубль — это настоящее, "живое": и хорошо, что "за Бога" переругались, как за настоящее: ей-ей, в этой ругани больше "идеализма", чем в "проблемах идеализма" московских профессоров, рассматривающих "Бога" почти как только "направление" своего будущего блистательного преподавания. Нужно ведь студентов "направлять": а без Бога "как же"? И явились "Проблемы идеализма": ряд почти диссертаций "с Богом". Книга, по правде сказать, долговязая; книга скучная. Книга с множеством науки, с Марксами, Энгельсами, с Контом на каждой странице, но без пороха... или с каким-то подмоченным порохом, который не стреляет. Впрочем, я сам начинаю ругаться, а хотел говорить спокойно.

Перейду "in medias res"*... Нет, все, что говорит в оправдание "бытия Божия" Достоевский, весь этот *нравственный* мотив, в последнем анализе мотив утилитарный, не основателен. "Не любит Достоевский точных фактов, ух, как не любит!" — передразню я его. "Да и все они не любят истории точной, фактической", — обобщу я с его же страстностью. Была инквизиция, а он о "жестокости" "их преподобий" без Бога. Бруно сожгли, а он из-под руки шепчет: "Умеют эти Бруно раков ловить". Нет, все это пустяки. Были люди святые "без Бога". Были бессовестные "с Богом". Были с совестью и с Богом. Были без Бога и бессовестные. Это все неудачно. Ибо все не исторично. На вопрос, хотел ли бы я остаться без Бога, ответил бы:

— Ни за что-о-о-о!!

Бессовестным могу быть. Вся жизнь может пройти во лжи. Но чтобы в ночи, лежа в постели, устранив дневную суету, оставшись наедине, на бесконечном едине с собою, и спросив о Боге, я ответил себе:

— Нет Его. Отлично! Ха-ха-ха, и не надо!

Бррр... Это невозможно! Нужен ли Он мне нравственно, стану ли я жить или живу ли лучше с Ним — на это отвечу прямо отрицательно. Кроме того, я сделаю личное странное признание: что, когда особенно боялся Бога и перед всяким поступком грозил себе: "А ведь Бог видит", — тогда-то особенно я и делал много скверных поступков. Точно манит. Ни малейшего нравственного улучшения не чувствовал я от веры, от самой пламенной (до изуверства) веры в Бога; и это приводило меня в отчаяние. Пока, решившись расквитаться с "грехом", я положил себе ни малейшего внимания не обращать на "грех-свято" и решительно делать все, что мне ни заблагорассудится: и тогда-то, странным образом, я вдруг нравственно поздоровел. Думаю, оттого, что успокоился. Прежде все мучился и все — слабел душою, падал в силах: а на почве павших сил грехи — точно грибы после дождя. Так что я твердо убежден теперь, что люди "без Бога" и без упреков в себе религиозной совести — суть люди добрые, способные, нравственные, ласковые. Но, зная все это и, однако, спросив себя: "Ну, а там, далеко, за облаками, звездами, нет ли чего-то, что тебе бесконечно дорого, личное, чувствующее, с сердцем, что тебе говорит, чему ты говоришь, с чем ты советуешься, что тебе советует, "рок" твоей жизни, "судьба" ее, великое, святое, "блаженное"... То, спросив себя так, я вскочил бы в сорочке с постели и закричал бы всеми силами: "Конечно — есть!", "без этого — ни мира, ни — человека, ничего!"

И босыми ногами... пройду в угол спальни. И если лампада потухла, зажгу ее. И лягу вновь спать и из-под одеяла буду смотреть на "глазок" огня и говорить в себе:

* к существу дела (лат.).

”Господи, как хорошо, что Бог есть! Как легко жить! Как невозможно жить без Него”.

И, если угодно, сейчас же пойду грешить. Не непременно. Говорю условно и чтобы выразить твердую мою мысль, что Бог есть и нужен вовсе не как ”прилагательное” около ”существительного”, а Сам по Себе. Продолжу даже до некоторого лукавства, до дерзости мысль мою: в мире так много боли, несправедливости; так иногда ужасно бывает существование человека, что в Бога ”только доброго”, якобы исключительно ”милующего”, по крайней мере, я уже потерял веру. В Боге есть ”гроза”, так что и ”бояться” Его можно; а также, по слабости человеческой, а может быть, и по силе, данной одному человеку, можно и роптать на Него. Вообще тут тучи неизвестного; вовсе не все так гладко, как написано во многих книгах. Так что я верю в Бога не потому, что ”сладко верить”, но единственно и исключительно потому, что Бог есть. Хотя бы таковое сознание и было (или вмешивало в себя) идеи горькие, тяжелые, идеи трудные и даже нравственно трудные.

Помните пожар в Галерном городке? Сгорел почти достроенный броненосец. ”Все спаслись, — публиковали газеты, — к прискорбию, кроме одного 18-летнего рабочего, с внутренней стороны привертывавшего гайки; и он мог вылезти в люк: крышку уже отвинчивали, но стало так страшно жарко, что, не успев сделать последние повороты, бросили. На месте рабочего найдена кучка золы. По покойном отслужили панихиду”.

Вот это, я вам скажу, испытание для ”проблем идеализма”. Итак, я Бога признаю, хотя бы со вплетением очень, очень горьких мыслей, мучительных, черных, страшных, в это мое мирозерцание. Достоевский все очень хорошо и гладко решил: ”Есть Бог — не станут на говядину цен набивать, отрекутся от Него — и набьют цену, Макару Девушкину (”Бедные люди”) будет дорого покупать”. Нет, это — слишком кратко. Это пустяки. Дело тут темно, страшно. Но что за звездами, вдали, говорит мне Кто-то, я Кому-то говорю: это мне кажется бесспорно.

И отношение к Богу (”religio” = связь) бесконечно сложно, мудрено, извиристо: тоже это бесспорно. Увы, это вовсе не то, что вот ”вышел на улицу, подал грош — улыбнулся с мыслью: Богу угодил”. Я упомянул о ”судьбе”, о ”роке”: более и более склоняюсь я к мысли, что нет единого человека, для коего ”Бог”, ”бог” (тут и Лицо, и существо) не был бы чем-то почти особым, вовсе не открытым всем другим существам, людям. Что каждый человек знает свое ”Богоявление”, переживает каждый личные и особенные ”откровения” — до больших, громадных, ”всему человечеству”, но по ”образу и подобию” личных же. Хочу я этим сказать, что кроме громады-религии, объемлющей человечество, есть у каждого или Богом самим дана каждому еще ”своя и личная религия”, ему одному только и известная и никому не передаваемая. Да и не надо об этом болтать. Тут разгадка слов: ”затворись в комнате и помолись один”. Конечно, есть общие молитвы. Есть общая для всех религия, но есть и частная, своя, у каждого. Я верю в ”ларов”, т. е. я верю, что есть ”свои домашние боги” в каждом доме и даже для каждого единичного человека.

Нравственная сторона религии (сердечная) есть наиболее "испытующая" нас... Тут роптали Иов, и многие, как Иов, но без славы вековой Иова. Роптали. И разрешения не получили. И умерли — в темноте, без утешения, без разъяснения, без "знамения" о себе. Я думаю, имел основания на неменьшую славу, чем Иов, — тот 18-летний рабочий в броненосце. Ну, пусть он был "грешен" (как сейчас скажут "гладкие люди"): но ведь можно бы простить? Ну, он зарезал моего маленького ребенка: и вот гроза, броненосец плавится: сказал ли бы я, в грехах погрязший: "А, Ванюша, ты моего сына резал — теперь испекись". — "Господи, как я *страдал* (от зарезу), теперь — он *также*: вырву я его и поставлю на свежий воздух. И тогда обьемемся! Тогда — уж обьемемся"! Нет, я бы отвертел люк и выпустил его: пусть он зарезал моего сына, и это — не лгу, не притворяюсь, не "для примера", а истинно, "как торговка на базаре". А если я бы спал, ничтожный, грешный: как было Богу не спасти? А я в Бога верю: и вот тут — все мешается и путается. Тут — Иов. И ни Ветхий, ни Новый Завет — Иову ничего не ответили. И когда не ответили (то же "судьба" и "рок"), человек и до сего дня сохраняет право роптать. Роптать и даже не верить. Я верю: но чтобы я осудил хоть каплю Штрауса, Ренана, "материалистов", Канта, Бюхнера — ни-ни! Пока Иов есть — у человека есть слишком много прав, бесконечные права... Достоевский когда-то задал коварный вопрос о помещике, затравившем собаками мальчика: ужасный помещик! — И я повторяю о нем и о крепостном праве всю блистательную страницу Фед. Мих-ча. Но если после всех диалогов Мити о "гимне из-под земли" я ему лукаво подставляю того 18-летнего в броненосце рабочего: то на кого посыплются молнии Фед. Михайловича? Итак, — здесь все темно, и даже страшно, до ужаса темно, не в световом, а в моральном смысле. Черные нити веют и вплетаются — в золотые.

С этой точки зрения, моральной, богословие — еще не начиналось. Что скажет человек, придумают люди, систематики, "идеалисты" (все имею в виду московских профессоров), когда даже две книги "не сего света", Евангелие и Библия, — поставили явно, не укрывая, — одни многоточия. На вечные ссылки, что "человек согрешил и наказан", не только Бог друзьям Иова ответил резким упреком и отрицанием (да Иов, как и в книге показано, виновен вовсе не был), но также и Христос ответил отрицанием: "упала стена и задавила, но не более грешных, чем вы, которым Я говорю". Христос явно разорвал, уничтожил причинную связь между грехом и страданием, и этого не смеют повторять злые люди, к мукам страдания прибавляя еще жестокость обвинения. Это есть самая безнравственная сторона якобы "моральных рассуждений", "теологических" поисков...

”Кончики-то нервов подрожат, а там на их другом конце — представления. А не то чтобы душа бессмертная, по чьему-то образу и подобию”. Так обвиняет Фед. Мих. ”точную науку”. Н. А. Бердяев в ”Проблемах идеализма” почти повторяет Достоевского: ”Свою статью я заканчиваю следующим основным, как мне кажется, выводом: нужно человеком (его курсивы) быть и своего права на образ и подобие Божества нельзя уступать” за то-то и то-то; ”нужно требовать признания и обеспечения за собой права на самоопределение и развитие всех своих духовных потенций” (мой курсив).

Какой термин: ”потенция”. Что это такое? Реальность? Но тогда и сказано было бы: ”реальностей”. Но, может быть, ”духовные потенции человека” вовсе не реальность, а фантазия, вымысел, ”сочинение”, подобное, например, ”Проблемам идеализма”. И этого нельзя сказать, ибо ”Проблемы идеализма” могли явиться и не явиться, и если бы не явились, то *тесно* от этого ничему бы не было, а Н. А. Бердяев жалуется на какую-то ”тесноту”, если не дать осуществиться ”человеческим потенциям”. ”Для этого прежде всего должно быть на незыблемых основаниях утверждено основное условие уважения к человеку и духу — свобода” (стр. 136). Итак, это вовсе не вымысел, как ”Проблемы идеализма”, а что-то более реальное, уже сейчас движущее людей. ”Потенция” в человеке точно замирает, как огонек, если его прикрыть: так и она гаснет без какой-то ”свободы”. Что-то живое в ней, если она кричит изнутри: ”Задыхаюсь, дайте свободы!” Чему свободы? Ведь самое имя ее — ”потенция”, в котором лежит уже *отрицание реализма*. Не существует, а вздыхает; нет *чего-то*, а оно томится. Это-то и есть лучшее введение к ”Проблемам идеализма”, и лучшая же на них критика. Открывается мир вздохов, тоски, жалоб, но субъект и носитель которых ”не реален” (= ”потенция”) по признанию самих же философов. Не реален, а вместе и не совсем фантастичен. Реально ли яблоко в яблони до ее цвета? Нет, не реально. Тогда, может быть, его вовсе нет? И этого нельзя сказать: если бы совершенно и ни в каком смысле его не было, то оно никогда бы и не появилось. Так, в березе, ее корне, стволе, листьях — яблока ни в каком смысле не содержится — и оно от этого никогда не вырастет на березе. Простое это рассуждение открывает нам, что мир неизмеримо богаче, содержательнее, чем сумма его осязаемых, видимых, слушаемых и т. д. форм; что он есть в точности (как и сказано в Библии, при указании творения) сумма ”видимого (= реального) и невидимого” (= потенциального). А игра в нем, переливы, ”будущее” сверх ”сущего” — и объясняется из того, что реальные формы до известной степени обусловлены этими ”криками” из них, тоскою, вздохами — вещей и не сущих, и вместе сущих (”потенции”). Литовскому князю-основателю, заснувшему на берегу речки Вилии, приснился сон: ”кричит волчица в лесу — и так, точно внутри ее кричала еще тысяча волков”.

Испугался князь и, проснувшись, сказал: "рубите здесь избы — будет великий город" (Вильна). Мир весьма похож на такую воющую волчицу, "из которой кричат еще как бы тысяча" других волков. Он только кажется, что ограничен "вот-вот одним волком" ("мир осязаемый"), которого видишь (точная наука), видишь его раскрытую пасть, можешь сосчитать зубы, описать язык (подробности точной науки). Тут, в этой описи, наука точная не ошибается. Но если она скажет: "Это — *все*, больше — *ничего* нет", то она ошибется. Есть у мира будущее. Но эта его будущность — уже реальна сейчас, однако "во чреве" текущего и уже неопишуема, неисследима. "Ее нет, и она есть". Это — потенции, "волчята в волчице"! Будущие волки гораздо больше самой волчицы, и "невидимое" также обильнее всего реального. Но перекинемся от этого маленького рассуждения к "хвостикам нервов", которые так возмутили Достоевского. "Посторонитесь, ваше преподобие, химия идет". Для чего же "преподобию" сторониться перед химией: преспокойно могут подружиться. Право, иногда думается: изложи ту же истину языком не жестким, деревянным, а противоположным: и знаменитый спор между наукою и религией наполовину потеряет основание. Распри ученых и богословов часто только результат различного слога, каким они пишут: да, "кончики нервов дрожат, а там — представления": но отчего, отчего, Фед. Мих., вы не усматриваете в этом чудеснейшем явлении одной подробности того, что человек есть "образ и подобие Божие?" Слава Богу, мы переступили трудность нравственной проблемы (оставили без разрешения) и перешли к физической: где уже не метется наш дух и все приемлемее и понятнее. Только вы "духа"-то и "Бога" мыслите неправильно, мыслите Его "по образу и подобию" Макара Деушкина, тогда как Он — милостив, у Него — "обителей много" и между ними есть такие, откуда не выгнан, да и никак не выгонишь — Клода Бернара. А мне кажется, что "нервы подрожали, а на другом их конце — представление" именно и открывает Бога во Вселенной, так что это тоже Библия, но только светским языком написанная, "без слезливости", в твердом слоге. Ведь уж "представление" — это, во всяком случае, нечто "духовное". Идеальное, "идеалистическое", человекообразное — во всяком случае! И вот какое чудо: "хвостик" (нервы) дрыгнул — а там "представление". Точно стрелка (на часах) передвинулась, а человек взглянул и подумал... целый мир он мог придумать мыслей! Может быть, ему пора идти в церковь, может быть, он спешит на свидание, мало ли что! Но чудо даже глубже: мысль человеческая не только возбуждается нервом, но в возбудителе очень часто уже есть и содержание мысли: как если бы стрелка часов не только "глупо" передвигалась по кругу, но нашептывала что-то человеку, напевала, намекала, предсказывала, "пророчествовала". "Чудесная" стрелка, сказали бы вы; "поверишь, глядя на нее и слушая часы, — и в колдунов, и в эльфов, и в ангелов, и в древних ларов римлян". Таков-то и есть организм человека, предмет Клода Бернара: "кончик нерва" которого

отражает в себе "образ и подобие Божие", как капля дождя на листе дерева отражает солнце! "Представление"-то во всяком случае духовно и человекообразно, а стало быть, какой-то "маленький человечек", "человек-крошка", "человек-пылинка" — буквально "ангел", как его представляют богословы ("может уместиться миллион ангелов на острие иглы", средневековый спор), — сидит в кусочке нерва, выходящем на кожу. Не забуду моего удивления при одном рецепте доктора: "Это — нервная сыпь на теле: пациент — успокоится, а вот ему для этого и *cali-bromati*: пусть попринимает — и сыпь пройдет!" Какое чудо: волнения души, скорбь, сожаление, утрата — отразились сыпью на теле! Недаром же в древности, 4000 лет назад, повелено было со всякого рода "сыпями" и "язвами" и "ранами" на теле являться к священникам (*religio* = связь): и те очищали кожу, это было их *храмовою* службою. Вот "проблемы идеализма" как разрешаются. "Идеализм" ("религия", "Бог") не всегда был такой чахоточный, как сейчас в Москве: он был с румянцем, с чрезвычайно чистой и свежей кожей. Он был, и в наше время был бы, друг Клоду Бернару, который тоже умел "очищать кожу", и даже лучше, чем ветхозаветные священники. Да, кожа и мясо ("кончики нервов" Д-го) входили в храмовые ритуалы, в "идеализм", "религию", и в какую? — Откровенную!! "Религия Откровения" ни малейше не чуждалась, и даже тянула в себя те "хвостики физиологии", которые (по недоразумению) вызвали такое пренебрежение Достоевского; и в той же религии сказано было: "Если срываешь яблоки в саду, оставь немного для бедных, чтобы они не крали ночью, а явно брали днем; тоже до гола не жни и рожь в поле: с краю оставь немного бедным". Так что кто "набьет цену на говядину" — физиологи или духотворцы — это еще вопрос. Не останавливались ли вы часто, читатель, на первой страничке географических атласов, на картинах созвездий. Какой предмет для волнения. Старые "останки", труп астрологии. Ныне звезды уже обозначают цифрами или буквами, как в алгебре: "β Персея" и проч. Хотели вовсе вывести из астрономии всех этих "Персеев", "Медведиц", "Козерогов" и "Раков". Был проект, но за ленью остановились. А ведь когда-то мыслилось небо одушевленным! Были же времена, когда дали имя, как возлюбленному человеку, отдельным звездочкам и целым группам их. Случилось это приблизительно в ту же эпоху, когда священники очищали кожу! И кожа становилась чиста, а люди, давшие имена созвездиям, верили, умели верить, имели силу верить! Нет, скажем точнее, "научнее": им открылось Небо, на которое они смотрели с такою бесконечною любовью! Смотрели (давая имя) как мы на возлюбленного младенца или на старого и доброго, нас родившего Деда! Нам кажется, тайна "Проблем идеализма" лежит в восстановлении у похолодевшего ныне человека этой способности горячо, по-древнему взглянуть на небо, и тогда что-нибудь Небо, обласканное нашим взглядом, скажет нам. А то все — печать и печать, типография и типография. Скучно. Безнадежно. "Бога мало", "Бога

жалко”, — опять передразню я Достоевского, уже в упор отвечая ему на его призывы. Ибо он пошел против нервов, тогда как следовало усиленно защищать их; против химии — когда в ней спасение. Против любви вообще, бесконечной любви к натурализму, к физиологизму, который породил уже не гг. Новгородцева, Бердяева, пару Трубецких, да и самого Федора Михайловича, а “скрижали, и закон, и пророков”, именно те “абсолютные заповеди и принципы”, о которых вздохнул г. Новгородцев в предисловии к “Проблемам идеализма”.

— Бога жалко! Господа, Бога жалко! А вы Его закрываете своим мнимым идеализмом, основанным не на внимании к *потенциям* (главное в моем возражении понятие) мира, а на призыве отнять от них и то скудное внимание, какое доселе давалось им, все-таки давалось и дается — точною наукою.

ТУТ ЕСТЬ НЕКАЯ ТАЙНА

Я прочитал с самым живым волнением о пьесе Анатоля Франса на старый, даже древний сюжет о Коринфской невесте, воплощенный Гёте в чудном философском стихотворении, переданном на наш язык гр. Алексеем Толстым. Я заволновался потому, что она ответила теме моих многолетних размышлений и дает повод высказать то, о чем про себя давно я молчу.

Если любовь и вообще романтическое в нас начало есть чудо в том смысле, что никакой механикой его не объяснишь и ни из каких логарифмов его не выведешь, то невозможно усомниться, что это чудо не умирает со смертью нашего физического тела. В глубокой старости люди иногда так же безрассудно влюбляются, как и в цветущем возрасте: маленькое чудо, над которым люди умели только смеяться. Старость граничит со смертью; полна дыханием смерти; и если на земле хотя раз мы наблюдали феномен старческой любви, вне всяких целей и возможности размножения, то очевидно, что смерть не разрушает любовь, не погашает любовь. Наблюдательный Лесков в конце рассказа “Воительница” дал описание такой поразительной любви, с виду смешной, но внутри глубоко трогательной. Старые люди, под давлением смеха, только скрываются: но они любят так же часто, горячо, беззаветно, идеально, как юноши. Пример — наш Тургенев, который гас и любил, потухнул, но я думаю — и загробно любил. Это — только намек; первая линия опытов в сложном лабиринте путей к разгадке.

Мы рождаемся, конечно, из этой тайны “любви”. Рождается душа наша, правда с телом, но ведь ни в каком случае не рождается только тело, не рождается труп, механика и логарифмы. Что такое “душа”? Такая же тайна, как и “любовь”. Откуда она приходит? “Оттуда”... — говорим мы и так же мало можем объяснить, как, держа на руках труп умершего дорогого человека, мало можем объяснить, “куда” ушла

его душа. За миром феноменов лежит романтическое небо; как, где лежит, что оно такое, мы ничего об этом не знаем, кроме того, что душа действительно и точно, совершенно научно и для всех очевидно приходит из любви и что, стало быть, это романтическое небо усеяно цветами, жизнью, полно движения, дыханий. Конечно, оно нимало не совпадает с географическим и астрономическим небом. Оно, собственно, распростерто здесь, так сказать, стелется у нас под ногами, между нас, в нас; но мы его не видим, и оно образует незримый мир, перепутавшийся со зримым, вполне чудесный, если угодно — божественный; ангельский или демонический — это уже как отвечает вашему вкусу.

Когда "персть земная" остается у нас на руках, то и остаются, собственно, те логарифмы и механика, которые были устроены в гармонический порядок "организма" любовью, любовным, наконец, актом, "романом", "романтическим в нас клоком бытия". Что же отлетело "туда"? Да та "десница" мудрая, которая держала в порядке и гармонии все эти стихии и элементы и сообщала им импульс, движение, "жизнь". Когда труп — здесь, жизнь — "там". Итак, "там" по смерти нашей — жизнь и любовь. И недаром вещей Лермонтов, желая умереть, говорит, что и "там" он будет слышать голос любви. Но переходим к "Коринфской невесте".

Я очень рад был узнать, что сюжет стихотворения не выдуман Гёте, а взят им из книги рассказов древнего автора времен Адриана. Что же, этот роман выдуман, сказка? Что это, небылица? На этом пункте сосредоточивается весь вопрос.

"На полу комнаты нашли труп покойницы. На постели — ее запястья и серьги; у него бокал из-под вина, ей принадлежавший. Юноша умер от ужаса".

Умер от ужаса Хома Брут, которого ловила в церкви "ведьма"-покойница. Именем "ведьмы" мы непременно назвали бы покойницу с претензиями любви. Это — жест испуга, чудовищного испуга, леденящего, останавливающего кровь, — который овладевает "здешним", феноменальным, — лицом к лицу вдруг очутившимся перед "не здешним". Кто помнит греческие мифы, помнит странное иносказание (ибо все мифы суть иносказания или полуслова об истине) Зевса на просьбу девушки, которую он любил: "Ты хочешь видеть меня лицом к лицу, но ты умрешь, как только я исполню мольбу твою". Она все-таки захотела и умерла. Умер Хома Брут. Да ведь и в ветхих, нами чтимых книгах таинственно записано, что "лица Божьего нельзя увидеть и не умереть". Все это намеки. Да и посудите сами. "Здесь" и "там" разорвано смертью. И очевидно, нужно переступить "смерть", т. е. умереть, чтобы заглянуть "туда"; и уже самое желание непременно во что бы то ни стало заглянуть "туда" есть *eo ipso**, так сказать, протягивание уст к поцелую "смерти",

* тем самым (лат.).

к объятиям со "смертью". Вот обнялся: и все "тамошнее" открылось. Но уже здесь остался труп. "Страшно увидеть лицо "Божие".

Я опять отвлекся. Но так интересна и многообильна тема. Если событие, совершившееся с Раскольниковым, выразить в форме полицейского протокола, то получится пять строк: "Бедный студент, обремененный горячо любимой семьей, состоявшей из матери и сестры, убил и ограбил старуху процентщицу; в смущении не нашел денег; но, мучимый совестью, явился в полицию и дал полное показание о преступлении". Есть ли тут истина? Есть логарифм истины, есть механика истины, а души истины нет. Душу истины показал нам Достоевский, и это есть полная, т. е. наконец понятная истина. Так и Гёте, а также и Гоголь в "Вие" дали нам полную и вместе действительную картину, психологическую и вместе метафизическую истину приблизительно следующего протокола:

В Париже (я это прочитал у Тарновского) в богатом семействе умерла 17-летняя девушка. В ночь смерти мать ее услышала движение в комнате покойницы. Засветив свечу, она вошла туда и с изумлением и ужасом увидела молодого человека, быстро ходящего по комнате. Он, по-видимому, ничего не слышал и не обращал внимания на вошедших людей, продолжая быстро ходить и что-то говорить с собою. Это был N, семейный образованный человек. Девушка лежала, как она умерла еще с вечера, на постели. Молодой человек был арестован, судим и приговорен к пожизненному тюремному заключению. Оказалось, что путем длинных и трудных переговоров с прислугой он подкупил ее всю и был пропущен ею к мертвой.

Сюжет Коринфской невесты! Я снова припоминаю Раскольникова, роман которого нам рассказан. В парижском случае, очевидно, был роман, от которого остался алгебраический знак полицейского протокола. Совершенно очевидно, что для молодого человека, для него исключительно и исключительно в линии любви, умершая была еще жива, но не явною и, во всяком случае, не здешнею жизнью, а "тамошнею". Подкупавший слуг хитрил, обманывал, как торопящийся на свидание и решительно не знавший, как ему пройти в условленный час и место свидания. Как переговаривать со слугами о таком предмете? С ума сойдешь от страха и стыда. Значит, роман был чудодейственен, это точно страница из "Вия", с ведьмою: где вся реальность раздвигается, сглаживается, когда человек имеет полет "туда". Как у него хватило сил, физиологических сил? Мы с вами, читатель, выбежали бы с поседевшими от страха волосами из комнаты. Он не выбежал. Очевидно, он пережил сомнамбулу. Да так и записано даже в протоколе: "Ходил по комнате, что-то бормоча и не обращая внимания на вошедших". Какой ужас! какой стыд! Что он, несчастный, говорил?! Что такое вообще было!!

Вот что значит "заглянуть на тот свет", в тот мир, откуда, по Гамлету, "не приносил никто вестей". А этот несчастный мог бы принести весть, но уже помешался или замолчал, стал косноязычен на всю

жизнь. Ничего не сказал и ничего не объяснил. Разве преступники на суде рассказывают романы, как "Преступление и наказание". Все кратко, холодно и голо. Но метафизическая истина есть под этой краткостью. Преступник не сам пошел, а был потянут на свидание "глазком, мигнувшим с того света". Покойница не вся умирала.

...Но часть моя большая,
От тлена убежав, по смерти будет жить... —

как описал Державин в своем "Памятнике". Но было бы грустно, если б не умирали только поэты и вообще люди истории; жить хочется всем, перед смертью мы все одинаковы и права на бессмертие у всех тоже равны. Бедная девушка, почти пансионерка, имела на земле свою душу, свою тоску, свои грезы и очарование и вправе потребовать "Памятника" не хуже державинского. Где же у бедной ее "Памятник"? Все ее существо и была только любовь, только способность любви, только энергия любви, застенчивой, пугливой и вместе бессмертной. Но вот, вопреки ее собственным чаяниям, этот-то именно клочок ее бытия с розовыми крыльшками и не умер, а когда здесь, среди обстановки земной, остались одни логарифмы и механика, поднялся "памятником" и пропел гробовую венчальную песнь.

Да, это настоящие тайны; подлинные. Это единственное осязаемое и документами удостоверенное доказательство бессмертия человеческой души. "Розовое бессмертие", а не пепельно-холодное. Какая ошибка: всегда в своих научных поисках человек искал удостовериться в бессмертии (вечности) собственно механики и математики своего тела, которые ведь мертвы от начала, а были только одушевлены и завертелись вихрем на 60 лет, на 30, на 10 после маленького "романа" наших родителей. Отсюда инстинкт всемирный, тоже сродный "Коринфской невесте", венчать гроб цветами, венками зелеными. Почему бы? Зачем не кирпич и не песок. Венки и цветы всегда были эмблемами "романа", и мы, совершенно не давая отчета, что делаем, начинаем первые строфы характерного языческого сюжета Гёте, внося гроб в наш христианский храм.

Но меня из темноты могильной
Некий рок к живущим шлет назад.
Ваших клиров пение бессильно,
И попы напрасно мне кадят.
Молодую страсть
Никакая власть:
Ни земля, ни гроб не охладят.

Стихотворение действительно чудно перенято на русский язык. Оно заинтересовало меня со студенческих годов, когда я впервые узнал его и поразился сюжетом. Теперь же скажу в объяснение давнишнего любимого сюжета, что небо бытия помогало не только Гёте-творцу, но и русскому переводчику. До того оно живо, обаятельно. Так вещь и нужно.

ПО ПОВОДУ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА

Странно, я хочу защитить себя чужим образом, чужою фантазией. Не потому одному, что она — прекрасна, но потому, что она выражает действительное существо дела, и притом с мастерством, к которому я не способен и вообще едва ли способен прозаик. Это — "Морская царевна", стихотворение Лермонтова, которое вместе с "Пророком" составляет два предсмертных его очерка. Тон "Пророка" — суров; не совсем удачен; напротив, в "Морской царевне" есть нежное и ласкающее, и это совершенно удавшееся поэту стихотворение. Наши дни — дни такой дурной памяти поэзии, что я его приведу почти целиком: начинается оно с описания, как на берег моря пришел царевич, — очень простой царевич очень маленького племени и, конечно, во времена крайне археологические, — для простой надобности — выкупать лошадь.

Фыркает конь и ушами прядет,
Брызжет и плещет, и дале плывет.

Царевич — не муж, но юноша; неопытный, наивный и, в сущности, очень напоминающий греческого Эндимиона, как и все стихотворение Лермонтова напоминает чуть-чуть эллинский миф о Диане, застигнувшей этого прекрасного спящего мальчика; пожалуй — Иосифа, в его приключении с египтянкою.

Слышит царевич: "Я царская дочь;
Хочешь провести ты с царевною ночь?"
Вот показалась рука из воды,
Ловит за кисти шелковой узды.
Вышла младая потом голова;
В косу вплелась морская трава.
Синие очи любовью горят,
Брызги на шее как жемчуг дрожат.

Но царевич — совершенный Эндимион из какой-нибудь Абхазии или Грузии; он на переходе из отрочества в юность, когда еще грубость не растворилась и не разнежилась в лучах внутреннего солнца.

Мыслит царевич: "Добро же, постой!"
За косу ловко схватил он рукой.
Держит. Рука боевая сильна...
Плачет, и молит, и бьется она.
К берегу витязь отважно плывет;
Выплыл, товарищей громко зовет.

Совершенный мальчишка, который и не может обойтись без сверстников, потому что не хочет и не желает ничего еще интимного.

”Эй, вы, сходитесь, лихие друзья!
Гляньте, как бьется добыча моя...
Что ж вы стоите смущенной толпой?
Али красы не видали такой?..”

Даже отроки смутились, и только он, ротозей, все еще не понимает, что с ним случилось такое. Но наконец и он же начал понимать, что вытаскил не каракатицу, а пережил момент *своего* возраста, своей тайны, своей судьбы.

Вот оглянулся царевич назад,
Ахнул, — померк торжествующий взгляд.

Теперь и начинается описание, которое, имея всю красоту фантазии и будучи для Лермонтова случайным, — так *необходимо и лично* многозначительно для меня в моих особенных исканиях:

Видит, лежит на песке золотом
Чудо морское с зеленым хвостом.
Хвост чешуею змеиной покрыт,
Весь замирая, свиваясь, дрожит.
Пена струями сбегает с чела,
Очи одела смертельная мгла.
Бледные руки хватают песок,
Шепчут уста непонятный упрек...

Тайна выявлена и — умерла. Она умерла именно в ”тайне” своей; и если мы возьмем что-нибудь, куда ”тайна” входит не побочною, но существенною чертою, даже, может быть, составляет самое ядро дела, — умирает тайный этот предмет, тайное действие, тайная сущность:

Очи одела смертельная мгла.

Что же я хочу защитить этим образом? Хочу им объяснить свою *неудачу*, вот продолжающуюся три года, где самые грубые люди смеются надо мною и говорят: ”ничего не видим”, ”да покажите”, и когда я действительно показываю, я показываю что-то ”мертвое” на место живого, что билось у меня в руках, что я имел в уме, чего ищу, чего желаю.

Бледные руки хватают песок,
Шепчут уста непонятный упрек.

Как верно! как точно! и — именно специально в отношении к моей теме. Вот три года я задался целью заглянуть в утреннюю зорьку бытия человеческого; я вижу чудные видения, сказочные миры; вижу красоту, неземное. В радости я тороплю день, восход солнца:

”Эй вы, сходитесь, лихие друзья!
Гляньте, как бьется добыча моя!”

Солнце взошло. Нет сумерек. Совершенный день; я оглядываюсь: не только нет никакой красоты, но — полная ей противоположность, какое-то специальное ее отрицание; почти мистическое безобразие столь же бесспорно здесь днем, как бесспорна была мистическая красота ночью. Чудо. Преображение.

Я начинаю тогда думать, что в этом "преображении" содержится ключ к загадке. Действительно, не *чужда* ли вещь, которая при взгляде на нее, *вашем* взгляде, *сама* меняется и, в сущности, *скрывается* вся, умирает. Но вы на нее не смотрите, перед вами бегут одни *отраженные* ее лучи — ну, *семья, дети, домашний кров*, — и вы испытываете умиление. Да, лучи "тайны" могут жить в этом мире; они — наземны или просто земны; и тем еще поразительнее, что она *сама* совершенно и безусловно при взгляде на нее являет хладное безобразие. И наше безобразие! Особенное, специфическое, невыразимое и которому нет подобного в мире. Именно — нет подобного! Древняя Горгона, это лицо с вьющимися в волосах его змеями, есть прекрасный символ отвратительного и ужасного здесь, и может быть, создавая аллегорию Горгоны, греки вращались в цикле мысли, в котором бродим мы. Поразительно, что даже животные, для которых есть категории *еды* и *голода* и нет категории *приличного* и *стыдного*, в этом единственном пункте ищут тайны, ночи, сумерек, т. е. испытывают то же, как и человек, безобразие при *дневном* здесь свете и при чужом глазе... Стыд... природы! стыдливость... животных! Да ведь "стыд" и "стыдливость" суть тончайшие духовные состояния, и вот в данных точках и секундах они присущи миру, организму! Животные становятся духом — в этих точках. Еще меньше что-нибудь можно понять!

"Отвратительный"... "дух"! Мы входим в область наивных суждений и, так сказать, *самоиспуга* человечества, который породил исторически всю европейскую так называемую демонологию. Не выходя из пределов одного поэта, мы можем совершенно точно доказать, что по крайней мере у него знакомый и постоянный образ "демона" совершенно тождествен с греческою Горгоною, в том специальном истолковании, какое мы ей дали. Судите сами:

...Розовые шторы

Опущены; с трудом лишь может глаз
Следить ковра восточные узоры;
Приятный трепет вдруг объемлет вас,
И, девственным дыханьем напоенный,
Огнем в лицо вам пышет воздух сонный.
Вот ручка, вот плечо, и возле них,
На кисее подушек кружевных,
Рисуется молодой, но строгий профиль...
И на него взирает Мефистофель.
То был ли сам великий сатана,
Иль мелкий бес из самых нечиновных,
Которых дружба людям так нужна

Для тайных дел, семейных и любовных —
Не знаю. Если б им была дана
Земная форма, по рогам и платью
Я мог бы сволочь различить со знатью.
Но дух — известно, что такое дух:
Жизнь, сила, чувство, зренье, голос, слух
И мысль без тела — часто в видах разных
(Бесов вообще рисуют безобразных).
Но я не так всегда воображал
Врага святых и чистых побуждений.
Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ. Меж иных видений,
Как царь, немой и гордый он сиял
Такой волшебной-сладкой красотой,
Что было страшно...

Вот уже поистине... видение Озириса! Или, чтобы взять ближе и понятнее нам, в пределах арийского же духа, видение "старца Зевса". В самом деле, некогда, читая одно из самых ранних произведений христианской письменности, именно "Прощение о христианах" Афинагора-Афинянина, философа христианского, я был поражен взятой из Гомера характеристикой Зевса (говорит *Зевс сам* о себе):

Такая любовь никогда ни к богине, ни к смертной
В грудь не вливалась мне, душою моею не владела!
Так не любил я, пленясь молодой Иксиона супругой,
Ни Данаей прельстясь, белоногой Акризия дочерью,
Ни владея молодой знаменитого Феникса дочерью,
Ни прекраснейшей смертной пленясь Алкменою в Фивах,
Даже Семелой, родившею радость людей — Диониса;
Так не любил я, пленясь лепокудрой царицей Деметрой,
Самою Летою славной, ни даже тобою, о Гера!

Мы совершенно ясно видим, что в приведенном отрывке "Сказки для детей" Лермонтов начинает рисовать *девятое* возле *восьми* приключений Зевса, вся биография которого в бедном воображении греков (да, *бедном*, не изобретательном) разлагается на ряд торжественных событий. Вдумаемся же в отрывок — не Олимпийских мифов, но творчества нашего поэта. Здесь, в "Сказке для детей", спящим Эндимионом является уже не "царевич", но девочка-подросток, дочь петербургского вельможи:

Имел он дочь *четырнадцати* лет;
Но с ней видался редко; за обед
Она являлась в фартучке, с мадамой,
Сидела чинно и держалась прямо.

А роль "морской царевны", *mutatis — mutandis**, переходит к "Мефистофелю", "мелкому бесу", "сатане". Лермонтов сбивался в названи-

* изменив то, что следует изменить (*лат.*).

ях, и это тем лучше, потому что за всеми названиями в "Морской царевне", "Сказке для детей", "Демоне" мы читаем одно существо дела. В "Сказке для детей" поразительно, что он почти плачет в последних стихах:

...он сиял

Такой волшебной-сладкой красотой,
Что было страшно... И душа тоскою
Сжималася...

Это — в самом деле факт *видения, ощущения*; и мы только у Лермонтова его и встречаем. Но, во всяком случае, совершенно очевидно, что он считает "демоничным" — "порыв", характерный на Олимпе и характерный во всей его поэзии:

...очи любовью горят...

Слышит царевич: "Я — царская дочь;
Хочешь провести ты с царевною ночь?"

Тут, в этом стихотворении, — так открыто, что неловко списывать, и только авторитет поэта может защитить нас от упреков. Но лицо "порывающееся" и даже мотив порыва и есть — та утренняя зорька, которая видима только при ночном освещении и странно преображается, когда мы ее вытаскиваем к свету грубого дня. Читатель с воображением, читатель с большими историческими сведениями не станет отрицать, что мы верно и точно указываем родник вообще всей европейской "демонологии". Лермонтов ничего не изобрел нового, залепетав: "бес", "мефистофель", а только повторил бесчисленных германских, французских, испанских, английских старух и старцев, невежд и ученых, крестьян и академиков, которые назвали и увидели "дух", но "гадкий" дух в так занимающей нас теме. И вот, три года возясь около своей темы, я испытываю это же бессилие неосторожного "царевича" и, наконец, сосредоточиваюсь мыслью на этом самом бессилии, на невозможности при свете дня увидеть живую тайну нашего бытия, нашего рождения...

Значит, *день, жизнь, мы* — противоположны ей: море и суша. Ведь "царевна" потому и *мертва* на песке, что ее стихия не земля, а совершенно ей обратная стихия моря; и если родники нашего "я", для *всей природы, для нас, для земли, для жизни, для целого здешнего бытия* просто непереносимы на вид, несносно "гадки", суть "гадкий дух", — то не совершенно ли очевидно, что эта специфическая какая-то гадость и непереносимость и есть свидетельство, почти документ того, что его родная стихия есть не *природа, не земля, не здешнее бытие* и там-то, в своей родной стихии, вид их совершенно обратен нами здесь созерцаемому. Почему *обратен*? Да ведь смерти же обратна жизнь; и безобразию обратна красота, греху — святость. И если здесь, на суше и земле, мы ощущаем в роднике жизни какое-то чудное "начало греха", "прото-

тип безобразия”, то совершенно очевидно, что, лишь уменьшая их, получая ”немножко греха” и ”немножко безобразия”, мы, так сказать, доводим ”царевну” до разграничительной между землею и морем черты, но вовсе не ввергаем ее еще в пучину соленых волн. *Нуль* греха и безобразия — это ”ноги в воде и голова на суше”; но ведь есть мир, и именно совершенно потусторонний, где она резвится в полной жизни, как и описал Лермонтов в другом стихотворении:

Там рыбок златые гуляют стада,
Там хрустальные есть города.

Не умею выразить; нет средств математически доказать; да, может быть, потому и нет средств, что мы вошли в круг бытия, где математика неприменима и логика бездейственна. Но *догадки* — есть; но *анalogии* — все указывают на то, о чем мы говорим, а именно что так называемый ”тот свет” не за тридевять земель от нас лежит, но всякое бытие имеет в себе самом потусветную сторону, носит ее с собою, вероятно, живет ею и, во всяком случае, из нее рождает живое, а другою посюветною стороною он виден нами, рационален для нас, математичен для нас; это — сторона его гражданства, его законов, его общественной и всякой жизни, кроме семейной... Никак нельзя сказать, что ”дух государства”, ”дух политики”, ”дух публицистики” равноценен и равнокачественен ”духу семьи”. Мы берем образцовое государство и образцовую семью. Никак не скажешь: ”святая Спарта”, ”святая римская республика”. Не идет. Неправдоподобно: как-то смешно и неудачно. Но ”святая семья” — это идет, это уместно; это не вызывает улыбок и иронии.

Младенец — вот еще самый *читаемый* луч трансцендентного царства: никак его не сочинишь; из каучука не сделаешь; не вылепишь штем-пелем. Младенец ”рождается”, и таинственная ”зорька”, которую никак не перетащишь *живою и в своем образе* к дневному свету, просто разрешается в ”рождающемся младенце”. Замечательно, что нет двух людей, между собою тождественных, и ”родиться” всегда значит ниспасть на землю *совершенно новым и небывалым существом*. Новый житель приходит в мир. Как мы можем сказать, что он вылеплен из стихий мира, и, так сказать, механическим каучуковым способом? Тогда бы именно люди были одинаковы, но в каждом из них свой свет и своя душа. Откуда это? Таинственная ”зорька” разрешается собственно в мириады индивидуальностей, индивидуальных совестей, индивидуальных сердец, индивидуальных умоустроений: т. е. она бесконечная совесть, бесконечное сердце, бесконечный ум. Как хотите, а этого нельзя ни оспорить, ни перетолковать. Младенец есть плод сочетания полов, в простом и натуральном их факте, независимо от всяких ”слов”, какими мы его окружаем. Младенец есть ”натура”, и он есть ”священство”, т. е. он есть ”священная натура” и часть ”священной натуральной истории”. Опять перед умом апокалипсические животные и между ними ”лице как бы человеческое”, среди трех, вовсе не человеческих. Да ведь и пророк

Иона не пренебрег чревом китовым, и в состав Бытия чуда, чуда с этим пророком, взята смиренная земная тварь.

Но мы вернемся к человеческому младенцу; сочетание полов и, следовательно, полосношение — вот бесспорный трансцендентный мир, "мир иной". Оговоримся, что здесь имеет значение не какая-нибудь территория, формы, части (все бесконечно разнообразится в мире животном и растительном), а самая тайна мужа, как бы *мужественности*, и жены, как бы *женственности*. Вот два *душевных* качества, так явно зависящих и текущих из пола. Какая-то нега мира, и суровый в нем "покров". Как отец не похож на мать; но оба необходимы и даже немыслимы один без другого. Ласка и закон, "заповедь"; но около заповеди — непременно прощение. "Через семя жены будет прощен грех миру". Какая правда! какое объяснение материнства в мире и его особой миссии. Материнство — забота, материнство — ходатайство; истинно "святой" дух, и не хотим другими словами определять. Право, давно бы следовало все тюрьмоведение, да и все больницы вверить и передоверить — контингенту вдов и женщин. Их природное царство. Но оставим политику, ибо мы исследуем лучшее: природу вещи, таинство вещи. Бабушки целой Европы прогудели, что "место сие нечисто", что тут "нечистая сила": и опять до чего, в самом деле, объясняется европейская демонология. Характер "силы", т. е. неодолимого к себе притяжения, которому не умеет противиться ничто живое, присуще таинственной "зорьке"; и, как мы уже объясняем, потребованное к свету дня, "вытащенное на песок морской", существо пола в его, так сказать, территориальных очертаниях представляется характерно и специально "нечистым". "Нечистая сила": как это точно, как это верно во впечатлении. Но "рождается чудный младенец", мать берет его на руки, прикладывает к груди: какое рассеивание недоумений, или, точнее, какое ужасное сомнение именно о характере "нечистоты" и ужасный порыв все прежнее здесь похерить и объяснить в том новом смысле, как мы сделали. Все казалось и кажется на сем свете обратным тому, как есть в самом деле на том свете:

Едет царевич задумчиво прочь,
Будет он помнить про царскую дочь.

Да, это удивительно, что, кроме намека и иносказания, аллегории, жеста, и нет других способов говорить и объяснять в этой области. Отсюда поэзия, т. е. аллегория, окружила эту сферу; вероятно, отсюда же возникли мифы. Ведь они все витают на границе трансцендентного и земного, т. е. они разлагаются или, точнее, в них разлагается один акт или один феномен, но непременно пола, на трансцендентную и земную сторону, как это и есть в самом деле. Кажется, Семела или кто-то сказала Зевсу: "Дай мне взглянуть на тебя". — "Ты не можешь увидеть меня и не умереть", — отвечал греческий Мефистофель. Какая истина: чтобы увидеть потусветное, собственно, нужно перейти в "тот свет", т.

е. умереть; и ведь это почти то же самое, что, прямо и непосредственно взглядывая на *тайное существо* "Зевса", видишь мертвеца, труп, тление:

Шепчут уста непонятный упрек.

Но как хорошо в своем стихотворении уловил Лермонтов этот секрет соотношений; истинный "vates", т. е. "пророк" в древнем смысле. И он всегда, собственно, пел одно и то же, была у него одна песенка, но золотая, "залетная". Но как хочется кончить выдержкой из Афинагора-афинянина; перед тем как привести характеристику Зевса, он пишет: "И как много нечестивых бредней рассказывают Гомер и другие! Уран оскопляется (NB: поразительный миф, если принять в соображение тенденции к оскоплению наших идей), Кронос (= "время": и времени больше не будет", клянется Ангел в "Апокалипсисе") низвергается в тартар, титаны делают восстание, Стикс умирает в битве; даже влюбляются друг в друга, влюбляются в людей. Подлинно боги они и не коснется их никакая страсть!.. Если бы Бог по божественному домостроительству и принял плоть, и тогда разве Он уже есть раб похоти?" Следуют приведенные выше стихи о Зевсе, которым подводит итог древний апологет: "Говорящий так о себе (т. е. Зевс) получил начало бытия, подвержен тлению и ничего божественного не имеет".

Так, если мыслить Зевса как "шестивершкового солдата", т. е. как человека определенного возраста и положения, пусть даже олимпийского, но Лермонтов поправил:

...дух — известно, что такое дух:
Жизнь, сила, чувство, зренье, голос, слух
И мысль без тела — часто в видах разных.
Бесов вообще рисуют безобразных.

Вот эту-то "мысль без тела" и нужно было выразить как-нибудь грекам. Географы, придя на Олимп, не нашли там никого и заключили, что не только приключенье Зевса, но и сам "царь богов и людей" или, что почти одно и то же, царь полубожественного, получеловеческого, — есть смешной и недостойный вымысел. Правы географы, но не ошибались и греки. Да, Зевс — это "я" и трансцендентное в моем "я". Соберите ученых всего мира и разгадайте мне мое "я", бессильны будут. В "я" есть феномен — и его они измеряют, сочтут, выварят в реторте, разложат в колбе на "газы", "жидкости" и "минералы". Но вот одного они и не уловят, и не опишут, и не разгадают: как я родился, как я рождаю. Это-то и есть трансцендентная моя сторона, а вместе это есть и объяснение, почему у греков Зевс вечно и только рождает. Мифология и наука складываются в удивительно ясную, читаемую страницу. Загадка — одна и только разгадки ее разны, и есть, конечно, менее удачные, есть более плохие. Греческая — не из гениальных, но "так себе историйка", "не хуже других".

ВОЛНУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Отцеживаете комара и поглощаете верблюда...

Несмотря на то что по излюбленному вопросу о старокатоличестве А. А. Киреев был встречен в части духовной нашей журналистики не только жесткими, но и грубыми нападками, напр. со стороны проф. Гусева, — сам он во всех многочисленных полемиках, им выдержанных, неизменно сохранял спокойствие, уверенность и отсутствие заподозривания у противника дурных, нечистых мотивов. Спор с ним, если и не приведет к окончательному успокоительному результату, может выяснить много интересных, привходящих подробностей.

”Ну, посмотрим, что скажут”, — закончил он в № 10285 ”Нов. Вр.” горячую статью свою ”Гражданский брак”, обращая вопрос этот приблизительно ко мне и моим предполагаемым сообщникам в деле наставления на дальнейших нормах семейного законодательства. Статья эта решительно и твердо порицает новые законы о браке (собственно отмену закона, появившегося в 1841 году) и содержит укор, что ”церковные власти решились отказаться от указаний Самого Спасителя”. Обвинение очень тяжелое, если принять во внимание, что слова эти сказаны по очень определенному адресу и сказаны вслух всей России. Дело идет о разрешении Св. Синода обоим разведенным супругам вступать в новый брак. Но тут и рассеянность г. Киреева. Полная фраза его такова: ”Если церковные власти *по соображениям так называемого церковного домостроительства или икономии* (мой курсив) решились отказаться от указаний Самого Спасителя (курсив г. Киреева), то, конечно, под давлением того же торжествующего мира, они откажутся от *своих указаний*” (курсив г. К-ва). ”Что же они скажут?” — спрашивает он в последней строке статьи. Да ”что же и сказать”, кроме того, что он сам написал и признал истинным мотивом новых церковных о семье законов: ведь это — без лукавства и фарисейства — такое святое оправдание для церкви, для духовных властей теперешних, скажем конкретнее, для Св. Синода, что все обвинения г. Киреева против последнего рассыпаются до последнего зерна. Но он вставил кусательный глагол: ”Под давлением мира”. Не соглашаясь с ним внутренно, примем обвинение в том качестве, как этого хочет наш оппонент, и все-таки ничего не выйдет: разве Христос заповедовал церкви быть гордою, а не быть истинною? Разве в титул патриархов и митрополитов не входит лучшею жемчужиною определение себя: ”смиранный”? Разве есть лже-титулы, т. е. разве ”смиранный” не выражает заповеди, закона, обета, ими данного и сознанныго? И вот мы наблюдаем действительно трогательную черту, что, когда семейные русские люди заговорили, что им ”тяжело” и ”почему тяжело”, — по общехристианской солидарности, по единству мирян и клира, иерархия приступила к пересмотру правил, от которых

было "тяжело" и "несправедливо тяжело", "до непереносимости", до "ропота и озлобления мирян". Да, это есть страница из истории русской церкви, а не католической, с ее "non possumus", на которое теперешняя Франция и отвечает: "Non possumus tolerare vos, patres iesuitae"*.

Г. Киреев вечно сражается за старокатоликов и против папства и папизма: а об семье пишет как папист.

Перехожу к нарушению слов Спасителя. Это уже во второй раз он повторяет в "Нов. Вр." упрек, что Св. Синод, через новые о разводе правила, отказался следовать прямым словам Спасителя. В первый раз он сделал это после того, как мною были приведены в "Нов. Вр." заключения, высказанные в 1881 году первыми светилами церковного права, проф. Бередниковым, Лошкаревым, Павловым, Суворовым и другими, по вопросу, предложенному обер-прокурором Св. Синода "о праве лиц, брак которых расторгнут по причине нарушения ими супружеской верности, на вступление в другой брак". "Никакой нет причины, содержащейся в Св. Писании или в церковных канонах, препятствующей таковым лицам вступать в новый брак", — ответили люди, слишком компетентные и в Писании, и в канонах ("Нов. Вр.", № 10198). "Всем авторитетам ученых канонистов я противопоставляю слова Христа, запретившего обвиненному в прелюбодеянии вступать в новый брак: это для меня тоже авторитет", — высказал г. Киреев насмешливо в сторону канонистов. Как хотелось тогда же ему ответить, что нет еретика, который не опирался бы на слова Спасителя (на что же и опираться?!), но разница между церковью и таковыми еретическими мнениями состоит в том, что церковь не фанатично твердит какое-нибудь слово (напр., старообрядцы: "йоту не перемени"), а все слова Христа сравнивает, обдумывает, взвешивает, истолковывает в обстановке исторических условий и проч., что именно сделали канонисты, а г. Киреев не сделал и даже не пытается, не хочет этому приему следовать.

Между тем никто решительно не оспорит, что сказанные в ответ еврейским "книжникам", на их обычные и частые прения о мельчайших подробностях еврейского брака, слова эти имеют совершенно определенную цель: разрешить одну из талмудических их контраверз в отношении именно еврейского брака, совершенно иного по самым своим основаниям (многоженство, допущенные наложницы, развод и заключение брака единственно по воле мужчины и женщины, вообще — применяя наши термины — талмудическая "самокрутка"), и никакого решительно отношения к нашему браку, совершенно на других (римских) основаниях построенному, они не имеют. Ведь это все равно как если бы кто-нибудь из слов Спасителя: "Я хочу праздновать Пасху (конечно, по европейскому обычаю) там-то", вывел заключение: "Непозволительно христианину нигде праздновать Пасху иначе, как именно там, где ее праздновал Христос, ибо Он сказал: *Я хочу* (текст), и только притом по еврейскому обычаю, которого придерживался Христос". Всякий увидит, как это

* "Не можем терпеть вас, орден иезуитов" (лат).

нелепо! Вслед за учением о разводе, "по тексту", уже не потребует ли г. Киреев, для подробности и полноты всей картины, на которую слова Христа положили лишь одну новую точку, и восстановления многоженства, и наложничества, и брака почти без всяких "степеней родства и свойства". Пусть он не останавливается в следовании текстам с завязанными глазами и будет горяч, как доселе, и последователен. Ожидая от него этого, перейдем к тому общему возражению, что при разрешении талмудического вопроса о разводе Спаситель нисколько не давал новой заповеди миру, как бы еще нового синайского законодательства, и это видно из того, что, кроме места в 19-й гл. евангелиста Матфея, где слова эти приведены, так сказать, не предметно (не в упор), а попутно, именно как только ответ на казуистический вопрос испытывавших Его в "мудрости и искусстве" фарисеев, — они нигде не встречаются. О "разводе" Христос не учил народа — ни на Генисаретском озере, ни в Нагорной проповеди, ни во всех дивных и бесчисленных притчах своих, ни в наставлении апостолам, посылая их в мир!! Между тем раз в христианской литературе возникли целые томы, целая литература о разводе и народы мучатся и никак не умеют разрешить этого вопроса, не находя средств примирить кровавейшие нужды жизни с этим между прочим сказанным словом Спасителя, то не очевидно ли, что это что-то необыкновенно важное, страшно жизненное, от чего буквально зависит судьба и состояние семьи в стране. Тогда, если бы Он имел намерение научить мир новой форме развода, Он и ввел бы "учение о разводе" в центральные части своего проповедания, в беседы с учениками, в беседу с Никодимом, с самарянкою, в Нагорную проповедь: говоря о всех его подробностях, о частных случаях, говоря о примерах, — как он говорил о талантах и займодавцах, о виноградаре и рабочих, о званых и призванных. Не очевидно ли для самого г. Киреева, что "упорного" значения, тематического, в смысле вечной заповеди для всех народов, для всех типов семей, нимало на еврейский тип не похожих, — не очевидно ли, что этого пространства и объема и императивности Спаситель не сообщал своему промежуточному ответу на казуистический "книжнический" вопрос. Право, тогда пришлось бы до сих пор "платить дань кесарю", хотя кесаря нет. "Что же, что нет: нельзя нарушить прямого слова Христа", — ответит г. Киреев, придерживаясь своего метода. Не с иным основанием он упрекает и "духовные власти", т. е. Св. Синод, который совершенно правильно решил, что раз у нас нет еврейской семьи, то и развод мы должны устроить свой в условиях новой своей семьи, по соображениям церковного домостроительства или экономии: для сохранения физического здоровья народа и укрепления в нем целомудрия, семейной чистоты, чистоты уличных нравов". Какая прекрасная мысль, истинно церковное движение. Да не нарушены ли в нем заповеди Спасителя? Вот они-то именно, и притом в полном объеме своем и в самых центральных частях, и исполнены в этой прекрасной заботе "домостроительства": а если б ее не было, т. е. если бы церковь начала следовать г. Кирееву и его тоже весьма многочисленным и не невлиятельным "едино-

мышленникам”, то она и расстроила бы ”дом церковный”, двинулась бы наперерез таким основным заповедям Христа, как ”блаженны миротворцы”, или притчам о ”пастухе, который, потеряв одну овцу, оставляет 99 и идет отыскивать ее”; о том, что можно исцелить человека и в субботу, несмотря на запрещение Моисеево. ”Ибо кто из вас, — обращаясь к быту, сказал Христос, — видя овцу, упавшую в ров в субботу, не вытащит ее оттуда”. ”Не больше ли человек овцы: итак, суббота сотворена для человека, а не человек для субботы”.

Ведь на этом переломилась судьба мира! Ведь без этих принципиальных объяснений новой эры, нового летосчисления не наступило бы! Неужели же христианство и евангелизм и суть евангелизма заключаются... в новом учении Христа о разводе?! В первый раз слышу! В первый раз слышим! А вот что человек и его страдание, что человек и его нужда поставлены выше всякого закона, всяких традиций, в том числе и традиций тысячелетнего привыкания (еврейская суббота) и божественного авторитета (для евреев — синайское законодательство Моисея), это действительно ново и поразительно было услышать человечеству! Услышав это, народы называли апостольское слово ”благою вестью” и ради его разбили тоже старых, тысячелетних идолов. Г-н же Киреев к самому Христу, можно сказать, прилагает старый ”книжнический” метод (”книжники и фарисеи”) и через это уже не только (в чем упрекает Синод) нарушает одну строку Евангелия, но, можно сказать, повертывает все дело христианства на старую ”закваску фарисейскую” и упраздняет и Голгофу, на которой умер Христос за новую свободу, и всю распря его с старым Иерусалимом, стоявшим на почве закона. Ну, тогда незачем новой эры, давайте вновь считать ”от сотворения мира”. Иисус, в интерпретации г. Киреева, есть только самый совершенный раввин, последний и окончательный ”учитель”, который закончил, а не отменил всех прежних. ”Не здоровые имеют нужду во враче, но больные”, ”Я пришел к погибшим овцам Дома Израилева”, ”мытари и блудницы вперед вас (книжников) идут в Царство Небесное” — вот сколько текстов, вот сколько принципов, вот сколько дорогих слов, Христом сказанных и за которыми пошел мир, Св. Синод нарушил бы, если бы он пренебрег целями ”домостроительства церковного”, т. е. упорядочения дел внутри самой же церкви, каковою он основательно полагает всех верующих во Христа людей, полагает членами этой церкви мир, как и клир.

Но и даже принципиальным заповеданием Своим Христос сообщил значение идеалов, а не юридических законов. Попробуйте учение: ”Истинно говорю вам, легче верблюду пройти в игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное”, — оформить в закон и провести через суд: и вы получите всеобщее отнятие имуществ у богатых! Каким же образом не принципиальное слово о разводе возвели в закон и стали применять в суде! Волокут в ”бракоразводный процесс” семейных людей, истязают их, допрашивают, требуют свидетелей, протоколят: все...

будто бы на основании слов Христа, а не явно — против Христа!! Где же границы между нравственностью и юриспруденцией, между религией и государством, между полицией и пророчеством. Позвольте я сам исполню заповедь о разводе: хочу — разведусь, хочу — не разведусь; перед Христом за это — отвечу; но перед судом я просто не хочу отвечать, смеюсь его вопросам как безбожным, пренебрегаю его "свидетелями" и "свидетельствами" и просто ничего этого не хочу, пока та же консистория, во исполнение слов Христа о богатстве, не опечатает и не конфискует всех касс в Гостином дворе. Вот ответ на учение о разводе: тысяча канонистов не поколеблют его, все богословие разобьется о мое простое "не хочу", т. е. не хочу судиться и никакого законодательства "не хочу" на почве таинственного шепота Иисуса моему сердцу, которое Он влечет, чарует, исторгает слезы из него, — и я иду за словом этим в Царство Небесное, а никак не "ко второму браку после консисторского суда". Боже, такие вещи приходится разъяснять! Где христианство, где Христос? Все — тот же Моисей, фарисеи пуще прежних!

Посмотрите на "христианскую" прелесть: два свидетеля подсматривают в щелку то-то и то-то и показывают перед "гг. судьями". Гг. судьи говорят секретарю: "Запиши". Печати, гербовая марка, грубейший везде язык, топорный, беспощадный. Перед "гг. судьями" бледная, истощенная годами слез женщина; около нее — дети, крошечные, ничего не понимающие, "коих есть Царство Небесное". Не воображайте: если и есть дети, четверо, семеро, — предстоящих мужа и жену "разведут" насильно ("субботу"-то, "субботу"-то бы вспомнили), если окажется, что между ними была "четвертая степень двухродного свойства" (кто понимает эту абракадабру?) или когда-нибудь, лет за десять до брака, им случилось вместе окрестить ребенка. Такая "спица в глазу ближнего" кажется бревном гг. "судьям", и, сколько бы семеро детей ни пищало: "Это мой папа!", "это моя мама!", а родители не простирали к ним руки: "Это наши дети", — голубчиков разведут и повелят "папе" выбрать другую маму, хоть проходящую по улице девицу, а "маме" выбрать другого мужа, хоть из теноров "Альказара". "Но эти-то дети? куда они?" Представьте себе: рассеянность закона о расторжении брака по одной из "666" (звериное число) причин духовного препятствия так велика, что о родившихся уже детях целые века не было даже вопроса, куда же их:

- 1) в прорубь?
- 2) в воспитательный дом?
- 3) к чухнам на прокормление?

Представьте, до самого 1902 года такие дети девались... буквально черт знает куда! Ибо о них вовсе не было никакого закона и только было строжайшее запрещение родителям — считать их детьми своими, а этим детям — столь же строгое запрещение считать отца и мать родителями своими! Ничего подобного, никакого подобного жестокосердия и в голову не приходило саддукеям и фарисеям! Ни одного примера в Евангелии, ни одного случая аналогичного в Библии!

И весь суд вообще происходит — кривды над правдою, "бревна" в глазу ближнего" над "соломиной" там же: Каренин, государственный человек, муж долга, и жена его, женщина великих душевных талантов и такая правдолюбивая (это отмечает, подчеркивает Толстой, см. конец романа), или земледелец Лаврецкий и праведная Лиза Калитина стоят: перед кем? Что за Соломоны их судят? Ибо истинно, чтобы таких людей судить, нужен Соломон: о всем остальном — они слишком нравственны, разумны и образованны — и в состоянии сами рассудить. "Нет, они сами рассудиться не могут: умом не вышли, в благочестии не наторели", — решает Шемяка и произносит истинно шемякин суд, по которому, оказывается, права только подлюга Лаврецкая, облапошившая мужа и транжирящая его денежки в Париже: "поколику она приняла таинство, грехи же ее в Париже мы прощаем по нашему великому милосердию и по нашей мудрости, которая учит, что где преизобилует грех, там преизбыточествует благодать; а прочие все не должны увлекаться греховным чувством любви и должны идти:

- 1) Лиза — в монастырь,
- 2) Анна — под колеса вагона,
- 3) Каренин и Лаврецкий — сесть.

За каковой суд — пожалуйста ответственное, и марочки, и свидетелям, и нам тоже, судьям, на малое прокормление..."

И все — во имя Христа! все — во исполнение Евангелия! Да, народы зарыли идолов перед появлением "благой вести". Но две тысячи лет прошло: и вот начинают многие думать, не пора ли опять выкопать этих идолов: ибо те, перед которыми мы судимся и рассуждаем, — они менее жалостливы, нежели те, древние, которые не требовали ни детской крови столько, ни столько материнских слез, ни хрустенья отцовских костей! Ибо ежегодно те же гекатомбы, во всякой губернии, в каждом городе!!

Но, может, уже таково дело? Где война — там и оружие, где суд — там и грубость? В самом деле, воображение общественное, да, кажется, и народное, не идет далее иной комбинации все тех же: 1) марок, 2) протокола, 3) свидетелей под присягой и 4) справки о законах? "Что же еще иное? Как сделать иначе дело жесткое и грязное по существу?" Будто?! Ведь судится *семья*, т. е. русские люди, целый народ в самом *дорогом, интимном* для каждого человека. И вот поглядите, как люди иного религиозного настроения, чем мы, люди без университетов и духовных академий, без роскошной литературы, на которую заглядываются иностранцы, без миллиарда рублей, ежегодно уплачиваемых администрации, прикоснулись к тем самым кровоточащим ранам, которые мы только грязним и берем.

У молокан, рассказывает К. Н. Леонтьев, передавая сообщение одного очевидца, существует в каждом селении устное и открытое разбирательство семейных неурядиц. В воскресенье, после богослужения, собираются самые что ни на есть старые люди духовной общины; и вот обиженная сторона, жена или муж, излагает перед ними свою

жалобу на другую сторону. Все бывшие при богослужении, человек 300—400, стоят тут же, слушают и поучаются. Выслушав жалобу, самый почтенный старик раскрывает огромную библию, у нас именуемую "параллельной", и читает в ней вслух всего народа места, до семьи относящиеся. Из них он останавливается на словах, которые могут быть применены к данному случаю. Наказания, налагаемые судом, исключительно духовные: 1) торжественное извинение обидчика перед обиженным; 2) пост 10, 20, 30, 40 дней и на год; 3) раздаяние милостыни бедным; 4) вклад на обеспечение вдов и сирот околотка; 5) покаяние при богослужении перед собранием; 6) отлучение от участия при общественном богослужении в продолжение недели, месяца, полугода и года (это наказание полагается за тяжкие вины); 7) присутствие при богослужении общественном, но с обязанностью стоять, обратясь в угол к стене; 8) лишение права на братское приветствие на улице при встречах; 9) лишение права петь при богослужении и читать библию и т. п. "Нам удалось, — иллюстрирует очевидец, — быть при одном общественном богослужении молокан и слышать разбирательство жалобы молоканки на мужа, который обозвал ее словом бранным (бранное слово вообще у молокан редкость). "Внемлите сему, — взывал старик, прочитав несколько мест из Библии, — не свои словеса говорю вам, а слова Библии вечные и неизменные". Жены, дочери, парни, дети, бывшие при богослужении, слушали внимательно слово наставления, произносимое старцем, коему было за плечами 96 лет. "Худое обращение мужа с женою легко может повести жену к нарушению брачного союза, — говорил другой член совета, такой же, как и первый, седой как лунь, — и тогда хотя жена не будет без вины перед Господом Богом, но муж сам *первый даст ответ* (курс. Л-ва) перед Господом Богом за грехи жены, ибо ему было повелено любить жену свою, как Христос возлюбил церковь, а Христос самого себя предал за нее, чтобы освятить ее, очистить и представить ее славною церковью, не имеющею пятна или порока. А ты не только не исполняешь заповедей Бога, но и вводишь жену во искушение. Не помилует тебя Господь! Покайся по-христиански и спроси у жены твоей прощение! Утешь нас и не посрами наше общество истинных христиан, которого ты сделался недостойным!" — "Признаемся, — кончает наблюдатель, — мы были поражены этою виденною нами сценою разбирательства мужа и жены, а когда муж обнялся с женою, поцеловал ее публично, в виду всего собрания, и испросил у нее прощения в своей вине, а собрание запело благодарственный Богу гимн, — то были тронуты не шутя. При подробных расспросах мы узнали, что ссоры мужа и жены у молокан до того редки, что некоторые, прожившие весь свой век, не сказали друг другу бранного слова". — "Согласитесь, — от себя прибавляет К. Н. Леонтьев, бывший строгим пуристом православия, — что в этой сцене слышится что-то новое и неслыханное, чувствуется присутствие новых и нетронутых сил".

Семья, конечно, от века одна у всех народов в зерне своем. Но условия ее существования, но постановка ее в стране и у народов — это

разнообразнейший спектр. У нас "условия существования" семьи почти не разрабатывались. Не будем увлекаться молоканами: ведь они все-таки еще дети, у нас же и наука, и литература, и всякие утонченности, которых отвергать не следует, но которыми следует мудро воспользоваться. Семья у нас (в Европе) может зацвести параллельно философии и искусству; то есть насколько белый человек, человек арийской расы, выразил мудрости в философии и изящества в искусствах, настолько же в частном быту и в личных биографиях, главным образом зависящих от семьи, он может выразить нравственного совершенства, пластической красоты, героизма; и притом, в зависимости от сложения семьи у целого народа, — выразить это не единично, не спорадически, а народно, массою. Суд... не над семьею (мы это вовсе отвергаем), а о семье — только первая буква в длинном алфавите. Что поучительного в нашем (страшно выговорить) суде о семье? Ничего. Развратное зрелище. Посмотрите у молокан: уже у тех, без науки, на суде этом воспитываются и зрители, воспитываются и сами судьи. Все смягчает, унеживает почву семьи, а не огрубляет и не ожесточает ее, как наш суд (кто это оспорит?). Но суд до известной степени всегда есть следствие законов: бесконечно груб наш суд, но это потому, что уже бесконечно грубы законы наши о семье. И вот их начало, исходная точка, первый грех или софизм: как только вступили в семью эти иногда мудрецы, поэты, первые граждане государства, герои — как они именно в линии семьи поступили точно под арест. Теперь они ничего в отношении друг друга сделать не могут: и это все равно, есть у них дети или нет, то есть это вовсе не в интересах детей, как ссылаются, а по рабскому существу семьи. Каренина судит подъячий, Лизу Калитину — взяточник (бывает), и никто, вся государственная власть не может защитить их от подъячего и взяточника (сколько случаев, буквальных!!) и на том, видите ли, основании, что "христианство посмотрело на отношения супругов особенно высоко и связь их нарекло таинством". Казалось бы, "связь" есть таинство? любовь? союз? "Возведенные" должны бы чувствовать себя как "отличенные", как бы украшенные орденами и митрами? почувствовать гордыми себя, свободными, независимыми, от всех приветствуемыми? Но, при дешифрировании, эта дорогая истина, что "брак есть таинство", прочиталась в том обратном и скорбном смысле, что брак есть особенно узкая темница: а венцы, короны, ордена и вообще все великие последствия провозглашения брака "таинством" очутились на головах стражей этой темницы. Вот откуда, от какой перемены обстоятельств волнуется мир и не может не волноваться. Он усиливается теперь повернуть светлую истину — "брак есть таинство" — белою стороною к себе, почувствовать себя ею благодетельствованным, вкусить от нее сладких плодов *самому*. Церковь или, конкретнее, духовное наше начальство помогает этому повороту, справедливо полагая, что ведь и сами брачующиеся имеют же некоторое значение в таинстве, некоторую роль в нем? и к голосу этих слишком заинтересованных людей невозможно же не прислушаться?! Выражаясь

богословскою терминологию, церковь наша отвергает католическое *opus operatum* (пассивное состояние человека в таинствах) и признает *opus operans* (активное состояние самого, приемлющего таинство). Таким образом, в понимании таинства она делится с миром, допускает его к постижению и обсуждению таинства. И, далее, в этом светлом повороте церковь делает уступки напору общественного мнения, но только прилагает к людям то определение любви, какое высказал св. Павел: "Любовь долго терпит, милосердствует; любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Любовь — больше веры" (Первое послание к Коринфянам, 13-я глава). Я подчеркнул некоторые определения. Их-то, через новые законодательные меры, и применила церковь к мирянам. И ведь не скажет же А. А. Киреев, что проповедующая *другим* любовь церковь сама не обязана иметь любви — именно в этих ее чертах, проповеданных "апостолом языков" народам?

"Иван да Марья пусть любят друг друга, *не ища своего*". "А как церковь должна любить Ивана и Петра?" Тоже — *не ища своего*. Этим все сказано. И спор окончен.

МАЙСКИЕ СОЮЗЫ

В воскресенье, 20 марта, мне пришлось быть на чтении для детей с туманными картинками, устроенном Обществом покровительства животным при Бесплатной воспитательной школе г-жи Полотебновой. Здесь я узнал впервые о плане "Майского союза", организуемого при этой школе, — устав его находится в фазе утверждения. И задача этих союзов, пока почти неизвестных в России, так мне понравилась, что я, имея в виду распространение этих прекрасных учреждений, позволю дать несколько слов об их существовании и пока коротенькой истории.

Дети, школьные или внешкольные, соединяются в товарищества с целью заботиться, охранять и защищать животных. Все знают, до чего детская природа близка к наивно-животной; а животные — это точно дети, которые никогда не вырастут. Дети вечно играют с животными, и кошки их не царапают, а собаки не кусают, хотя они довольно неуклюже теребят их. Под особое покровительство свое дети берут маленьких беззащитных животных, особенно птиц, охрану их гнезд, птенцов и яиц. Дурно и зло воспитанные дети, особенно по деревням, иногда находят удовольствие в разорении птичьих гнезд. Это — темное и дикое озорство, обусловленное прежде всего невежеством. В "Майском союзе", под руководством взрослых, объясняется вся великая польза, приносимая полям и садам птицами, которые

истребляют вредных личинок и жуков. Но, конечно, один утилитарный мотив, да еще неосязательный, не может двигать детскою природою. В основе сострадания к животным должна лежать поэтическая любовь к животным. Кто восхищается птичкою, тот не убьет ее птенца, не разорит ее гнезда. "Майский союз" и имеет целью культивировать эту любовь к животным через приближение к ним; а средство приближения — знание, знакомство.

Г-жа Полотебнова привела мне совершенно особенное соображение при учреждении "Майского союза". Разрабатывая вопросы воспитания, она нашла, что нет лучшего пути к развитию сострадательности и доброты в отношении ближних, как практическая помощь кому-нибудь или чему-нибудь, практическая забота о ком-нибудь или чем-нибудь. Но человек не может составить объекта забот для ребенка: взрослому последний не может сострадать. Нужно существо, меньшее и слабейшее ребенка, мальчика 8—10—12 лет. Таковы животные. Привыкнув любовно относиться к ним, относиться поэтически и сострадательно, привыкнув вдумчиво смотреть на этот мир далеких от человека и, однако, уже одушевленных, нуждающихся и страдающих существ, — ребенок и будущий взрослый человек перенесет то же отношение и на человека. Но опять это может быть лучше достигнуто, если он не будет руководствоваться утилитарными соображениями. Около простоты и ясности животных, входя в их милые нравы и своеобразную логику и нравственность, просто человек становится яснее, проще и добрее. Как добры и просты все первоначальные племена, открываемые культурными народами! Г-жа Полотебнова и решила использовать эту воспитательную сторону близости к животным, к живой и одушевленной природе. В самом деле, мальчику наших заведений, конечно, не грозит дикость и темнота дикаря; но если бы при его усложняющемся уме, при обогащении ума его культурными сведениями удалось сохранить в первобытной чистоте сердце юноши, то пришлось бы только благословлять судьбу.

"Майские союзы" были бы прекрасною параллелью быстро распространяющемуся у нас обычаю "весеннего древонасаждения". Это — ботаническая и зоологическая части прекрасного и натурального воспитания. Хотелось бы, чтобы они всюду нашли подражание себе, и по преимуществу — в сельских школах. До сих пор, как мы слышали, они привились в Псковской губернии и в некоторых местах Одесского учебного округа. Нам кажется, они должны распространяться сами собою, без внушения начальства или администрации, по доброй инициативе того учителя или тех родителей учеников, которым это нравится. Могучее "нравится" пусть будет единственным двигателем этого дела. Этим мы не хотим сократить пособия его, ибо убеждены, что в "нравится" содержится пособие достаточное. А затем, самая тема "союзов", их существо — таковы, что лишь испорченной, злой или тупой натуре они могут "не" понравиться.

Историческая признательность требует добавить, что "Майские союзы" уже существуют на Западе, а у нас они привились ранее всего

в Финляндии. Здесь учредителем их был поэт и собиратель народных сказок — Топелиус. Как это близко: собирание крупиц народного творчества — это ведь та же культура и любовь около природы, — как и проповедуемая "Майскими союзами"! Не будем завистливы к чужой догадке: ухватим ее сердцем и поставим твердо у себя, как свою родную затею, как свое домашнее русское дело. Ведь и правда, изобретение тут нехитро: распространение, утверждение и умение воспользоваться плодами союзов — это все.

НЕЧТО О ПРЕКРАСНОЙ ПРИРОДЕ

Болезненно отдается в уме неправильная постановка или неправильное изложение какой-нибудь идеи. Такое болезненное ощущение испытал я, прочитав в одной распространенной газете деревянное рассуждение некоего г. С. В. В. "О примирении духа и плоти", написанное в ответ на любимые идеи г. Мережковского и изложенное с большой самоуверенностью и вместе насмешкой над таковым "примирением". Признаюсь, я посетовал и на г. Мережковского за то, что он вечно подает повод посмеяться над собою, что еще не очень важно, и над темами своими, что гораздо хуже. Все-то у него в речи "белые дьяволицы" и "Афродиты", вечный "Аполлон" и "Дионис", и Ницше, и Толстой, и Ниобея. Но все это как-то не напоминает Эллады, а только четыре строчки из Грибоедова:

Сам погружен умом в зефирах и амурах,
Заставил всю Москву дивиться их красе;
Но должников не согласил к отсрочке —
Амуры и земфиры все
Распроданы по одиночке.

Мне думается, если какая идея имеет ход, жизнь и будущность, то излагай ее в обстановке своих дней, показывая и доказывая ее нужду для своих дней. Затем, конечно, можно совершить туристскую прогулку в историю; но это путешествие в прошлое имеет только археологическое значение. Берешь фонарь, уже зажженный в свои дни, и освещаешь им потемки минувшего. "Богов" старых нельзя воскресить. Их можно только осветить. Иное дело, если в старых богах жила какая-нибудь вечная и нужная истина. Тогда в силу вечности и насущности она непременно живет и в наше время, но ходит уже в новом костюме и под новыми именами. Ну, и оставьте им этот новый костюм и новое имя, не тревожа старого. Никакой ученый и никакой эстет не проведет границы между св. Себастианом католических церквей, пронзенным стрелами, с капающею кровью, юным, обнаженным, и между умирающим Адонисом языческих в Риме музеев. Для чего же настаивать: "обоготворите Адониса", когда восковые свечи лампы католиков горят перед св.

Себастианом? Это, мне думается, неосторожность г. Мережковского. Он пытается сломать дверь, которая только маскирована запертой... Возвращаюсь к теме.

"Слияния плоти и духа — *нет*. Есть лишь их смена. Они побеждают друг друга, они *враждебные*". Вот тезисы г. С. В. В. — Щупаю от недоумения свои руки, хватаю голову, подхожу к зеркалу:

— Э, милейший В. В., что — *есть* в тебе "слияние духа и плоти"? или в тебе такого "слияния" нет?

Нахожу, что — *есть!* Кроме того, нахожу, что это *отлично*, и, наконец, нахожу, что *иначе и быть не может!* "Расторгните" дух и плоть во мне, и я стану трупом: прескверное состояние, для меня — скверное, а для окружающих меня — вонючее. Что же, может быть, я "стремлюсь к такому расторжению" (тезис г. С. В. В.). Вот была надобность: ведь это значит захворать, звать доктора, платить, лечиться. Нет, "расторжение духа и плоти" есть болезнь и есть скверное явление. Его убегает все живое. Все живое хочет жить, т. е. вечно удерживает дух и плоть в соединении. "Подождите не разлетайтесь! Ваш синтез — я; ваше разъединение — *смерть* моя". Это как бы крик Универса.

Плоть без духа — минерал, химическая молекула, труп.

Дух без плоти — алгебраическое понятие, математический знак. Это — определение прямой, которая не начерчена. Или еще точнее: это уравнение кривой линии, в котором выражены через знаки ее свойства, но без чертежа этой кривой линии.

Итак, *в смысле факта* — весь мир являет "соединение духа и плоти". Без плоти мир был бы сказкою, мифом о несбыточном. Без духа мир был бы похож на обледенелую, холодную луну; даже меньше. Мир не *горел бы*, а только — был. А он горит, пылает, сверкает красотой. Он везде есть "соединение духа и плоти".

Это есть не только физиологическая истина, не только метафизика, но и догмат веры: "и вдунул в нее (глину) дыхание жизней — душу бессмертную: и стал человек". *Сотворение* человека и есть величайшее и таинственнейшее и религиозное "соединение духа и плоти". И каждый новый человек рождается через новое всякий раз "соединение духа и плоти": оттого его нельзя *сделать* и вообще *ничто живое не делается*, а только *рождается от другого живого*. Т. е. уже осуществленный синтез духа и плоти может возжечь от себя новый такой же синтез; как свет — от света, луч — из луча, и других способов нет.

Таким образом, с фактической стороны тезис г. С. В. В. (а кто его не повторяет?!), что будто бы "слияния духа и плоти *нет*", представляется малопонятным вздором. Но, может быть, этот вздор сказан в моральных целях? Мало ли дурачков подслуживается к "прописям", воображая "спасти мир" своими очаровательными речами. Вот видите ли, "соединение духа и плоти" грозит идеалу. "Идеал" им представляется невинною девицею, на которую посягает Свидригайлов — плоть. А сами моралисты принимают на себя роль нянюшки-воспитательницы в ро-

мане Поль де Кока, прочитанном мною в гимназии: нянюшка, по выходе замуж ее воспитанницы, все ложилась в ее спальне, и не пускала туда мужа, чем приводила его в ажитацию и "сохраняла невинность". Подобно этой нянюшке, г. С. В. В. не пускает "плоть к духу", воображая, что от этого произойдут отличные вещи. Да и кто этого не думает? "Сам" "Вестник Европы", в критике "декадентов", и "адова челюсть" радикалов. Между тем никто из них не догадывается, до какой степени они не усвоили азбуки философского мышления и не понимают самой его терминологии. Именно в значении культурной задачи, идеала — "соединение духа и плоти" и содержит ту "защиту невинности", которую они так плохо охраняют, но, конечно, — "с выдачей ее замуж". Уж это — excusez du peu*.

В самом деле: возьмем самое простое явление — еду. Можно *жрать*. Можно *есть*. Можно *кушать*. Можно *вкушать*. Можно *приступать к столу* — умыв руки, помолившись Богу, в молитве этой поблагодарив Бога за мудрое устройство мира, рождение плодов и за помощь мне, бедному, который пользуюсь этими плодами.

В последних степенях будет "соединение духа (молитвы, чистоты, приготовления к обеду) и плоти" (пищеварение). В первых двух есть их разъединение. Молитва, умытие рук, — возможны, но их нет; это — не рассказанная сказка. Это понятие о прямой без чертежа прямой. Есть только пищеварение, движение кишок, зубов и рта. Но нет обычая. Нет идеи и идеала. В хороших старых семьях все сородичи являются в первый день Рождества обедать к старейшему сородичу. Собирается человек сорок у восьмидесятилетнего деда или бабки**. Это — культура,

* не взъщите (*фр.*).

** Беру из трогательного письма, только что полученного мною на этой Пасхе, описание обычая, увы, более и более тающего на нашей святой Руси: "Светлый праздник Христова Воскресения мы встретили все вкупе — Митя (старший сын пишущего) с своею семьею, Костя (один из младших сыновей его же) с детьми, Петр из Москвы (холостой сын, врач) и Дима из Екатеринославля (младший, тоже холостой сын). К этому присоединилась семья отца Андрея Алексеевича Б., поступившего на мое (священническое) место. Да еще Надежда Семеновна (вдова умершего сына пишущего) с (детьми) Лизою и Колею. А на второй день, по старому обычаю, за стол собралась одной детворы целая туча: Митиных пятеро, Наташиных (невестка его) пятеро, Андрея Алексеевича четверо, Ваниных (умерший сын, оставивший вдову с детьми) двое, да плюс с взрослыми — итого едва поместились за двумя длинными столами. Так мы отпраздновали свою Пасху, а потом стали разъезжаться: Петя — в Москву, Дима — в Екатеринославль, Надежда Семеновна — в свой приют. Молодым подобает расти, а мне — молиться. Я все слабею и слабею. Я едва хожу согнувшись и с палочкою. В церковь меня уже водят под руки, и только по праздникам, а во храме я все сижу, стоять на молитве не могу. Жизнь моя приходит к концу. Остаюсь с любовью к Тебе Твой (везде прописные буквы в письме к внучке, дочери давно умершего сына, девушке 22 лет) согбенный дед, заштатный протоиерей Павел Б." — Вот то, что я назвал бы бессознательным "языческим зеркалом" человеческой жизни: родство, праздники, годовые собрания родичей; благочестивое приближение к столу с яствами, вместо европейского жранья по ресторанам. Тут еще "Велес", "Скотий бог", и ровно ничего не значит, что это — у "заштатного протоиерея".

высокая цивилизация, высокий быт. Таким образом, вся история заинтересована в "гармонии между духом и материей".

Как умирает человек, умирает и цивилизация. Обычай разрушается, не исполняется, забывается. Физиология остается голою, а всяческая принаряженность, эстетика, убор являются без реальных поводов, "сама по себе", бесплотною, безосновательною и тоже мало-помалу исчезает просто за ненужностью. В древние времена танец был религиозною принадлежностью праздника. Но теперь праздник проводится сухо, скучно, понуриив голову; и зато явился бал, как совершенно беспричинная пляска и кружение в произвольно выбранный день. Праздничный танец прожил тысячелетия, ибо он был то же, что белая скатерть за столом: принадлежность нужного. Балы, кажется, умирают и, без сомнения, скоро умрут, потому что я не понимаю, зачем должен плясать в этот вторник, когда не плясал в понедельник. Красота отделилась от нужного, стала бесплотною; перешла в область случая и каприза, которому не на чем держаться в жизни.

Возьмем свадебные обычаи. Вот лучший пример соединения "духа и плоти". Все народы вступление в брак окружили обрядом, церемониями. Окружили "плоть" цветами, пениями, наставлениями. Можно сказать, что, чем пышнее свадебный убор, тем человек более радовался. У римлян он был развит в чрезвычайно трогательные и поучительные символы. Это — те символы, без которых могла бы обойтись "плоть", но без которых человеку было бы грустно. Для чего г. Мережковский будет произносить имя "Афродиты", когда каждый цветок, принесенный лишним в совокупность венчальных обычаев, есть все равно кусочек Афродиты, камешек древнего прекрасного ее образа. Устройте брак через нотариуса: вот когда Афродита умерла; устройте брак у полицейского чиновника: вот когда от нее остались одни лохмотья. Но, например, маленький брат невесты, едущий впереди ее с иконой, без шапки; благословение жениха и невесты образом со стороны родителей; посаженные отец и мать; старые "дружки": все это до чего хорошо, трогательно, нужно, художественно и религиозно! Для чего же нам мраморные статуи древности, умершие, похолодевшие, — если ту же древнюю мысль мы или наши предки выразили лучшими способами чрез обряды и трогательные слова. Имя умерло — и пусть умерло. Идея живет, потому что она вечна.

"Соединение духа и плоти" в наше время именуется новым именем: стремлением к идеалу. Ведь есть *идеал* и есть то, что к нему *стремится*. То, "что к нему стремится", и есть "плоть"; а самый "идеал" есть "дух". Идеализация вещества, одухотворение действительности — вот простое имя и для "соединения духа и плоти".

Мне приходилось писать о красоте и необходимости храмов. Религия, конечно, есть дух, и храм, конечно, есть плоть: камень, золото, звуки, краски. Литургия и церковь и суть "тело религиозного чувства", которое без этого тела болит по нем, тоскует, ищет его и в конце концов

непрерывно находит. Да, так вот истинное отношение: "плоть" без духа темнеет, костенеет, минерализуется, умирает; или не умеет воскреснуть. "Плоть" без духа есть *грех*. Но и дух без тела мучится, страдает, мятется, пока не "воплотится". "Синтез духа и плоти" есть "воплощение", есть "воскресение". Так мы "рождаемся" и так перейдем в "жизнь будущего века".

Мне кажется, когда я с грустью думаю о некоторых литературных и общественных неудачах моего друга, что "дух Мережковского" не нашел еще себе соответствующей "плоти Мережковского". Он похож на человека, который в дни масленицы надел маску древнего Силена и пугает ею на улице прохожих, которые забытую рожу умершего бога принимают за "черта". Между тем "душа Мережковского" или, иными словами, "то, что он хочет сказать", "его внутренняя мысль" — отнюдь не имеет этого антипатичного смысла и содержит в себе прекрасные и простые истины, совершенно усвоенные и христианами. Только у них они скрыты под другой терминологией. Это истины, против которых, раз они дешифрованы, никто не сможет и не захочет спорить.

Оппоненты, как г. С. В. В., "Вестник Европы" в лице его "обозревателей" и библиографов, и "адова челюсть" могут только возразить удивленно:

— Но ведь позвольте, между *духом и плотью* нет же, однако, *сплошного единства*? ведь они не *сходны*? *различаются*?

Ах, все это старые возражения, уже разрешенные Гераклитом. "Сплошного сходства", конечно, нет, причем не было бы ни возрождения, ни воскресения, ни оживления, ни рождения, ни вообще каких-либо феноменов *идеализации*. "Гармония лука и тетивы" — образует *выстрел* (движение, *δύναμις*, "оживление", "воскресение"), "согласие и противоположение струны и деки" — образует музыку как возможность и явление. Отсюда — космос как гармония "противоположений", но "противоположений" заранее уже согласованных, "настроенных" Великим Композитором, как мне хочется переименовать аристотелевского "Демииурга". Таким образом, здесь есть вовсе не "нянька, защищающая невинность", а обратно — "добрая няня, вводящая юношу в опочивальню своей воспитанницы". Именно — есть космогоническое "замужество" всех вещей, где невеста или жена, конечно, "сплошь не сходна" с согласием и мужем, но ведь то, что есть, это — "противоположение", — насколько же оно могучее и решительнее "сходства"! Есть согласованность, гармония, предустановленность "между духом и материей". А не *гадливость их друг к другу* — в чем, собственно, и заключаются тезисы и вопли "защищающих невинность" моралистов. "Сплошное сходство" было бы пустынею! Ах, Боже мой: разве не напоминают "пустыню", и самую ужасную, все эти "сплошь сходные" оханья, аханья, шипение и карканье "защитников российской невинности" от "развратителей" из "Мира Искусства", "Нового Пути" и "Весов".

Когда-то Достоевский устами Мармеладова вложил Богу на Страшном Суде прощающий призыв: "Идите и вы пьяненькие, идите и вы,

гаденькие". Тон этот запомнился, и мне хочется сказать этим тоном многим торжественно шествующим от года к году журнальцам: "Оставайтесь вы, толстенные, оставайтесь вы, сытенные, оставайтесь вы — кругленькие. Царствию вашему не будет конца". Ни розы, ни шипов. Никому вы не благоухаете, никого не укалываете. Там "тесто словесное", ворочаемое наборщиками... И неужели для вас приходил Гуттенберг?.. А, впрочем, водевиль не кончен и трагедия не началась.

НОВЫЕ ВКУСЫ В ФИЛОСОФИИ

Л. Шестов. Апофеоз беспочвенности.
Опыт адогматического мышления. С.-Петербург, 1905.

Навсегда осталось у меня в памяти одно смешливое и до известной степени философское воспоминание. Лет 7 назад приехал сюда, в Петербург, покойный московский философ Ник. Як. Грот, редактор "Вопросов философии и психологии", и как в портфеле редакции лежало несколько моих статей, напечатать которые он затруднялся по таким-то и таким-то соображениям, то для переговоров он и пригласил меня к себе, где-то на Большой Конюшенной. Морозное было утро, и в первый раз я увидел славное, здоровое (увы, это было обманчиво!) русское лицо председателя Московского психологического общества. В то время очень нашумело энергичное заявление "тоже знаменитого" или, может быть, "еще более знаменитого" петербургского профессора философии, г. Александра Введенского (знаменитых Введенских у нас два — Алексей в Москве и Александр в Петербурге, оба философы): "что из общей недоказуемости бытия всех вещей философ вправе исключить личное свое бытие: подавая голос и пр., размышляя и т. п., он имеет в этих самоощущениях непререкаемую очевидность своего существования. И, таким образом, философскому скептицизму должен быть положен предел: объектов, правда, нет или они призрачны, зато наверно и бесспорно существуют субъекты". Ужасно страшусь, не передаю ли я философу Александра Введенского совершенно наоборот: т. е. что философы до него предполагали достоверным по крайней мере существование субъектов, а он отверг и это. Может быть. В "Вопросах философии и психологии" поднялся тогда ужасный шум из-за этого тезиса Введенского, писали "pro" и "contra", доказательно, умно и пространно.

День был ужасно морозный. Грот стоял спиной к хорошо натопленной изразцовой печи, а я немножко ему завидовал.

— Так, решительно вы отвергаете и личное свое существование?

— Помилуйте, какое же это доказательство?! "Философ издает голос и слышит его". Но ведь это феномен, где же ноумен? И в лесу звуки он слышит — однако это миражи. А что там, произнося слова, он шевелит гортанью, то ведь он при этом чувствует только 1) усилие и 2) сопротивление, а что они такое в себе самих — кто же это знает? И самая эта

связь гортанных усилий с воспринимаемыми его ухом звуками — не проблематична ли?

— "И что ему сесть на диван: тогда я погрелся бы", — толкалось у меня в голову.

— Так, вы говорите, дядя ваш (известный статс-секретарь) умирает? — спросил я вслух.

— При смерти.

— И никаких надежд?..

— Ну... ему почти восемьдесят лет. Я и приехал сюда поэтому... Знаете, семья растет, ежегодно новый ребенок, жалованья три тысячи в год... я уже стал брать частные занятия по разбору дворянского архива, справки нет, замучился. Может быть, вот теперь...

И страшно было думать, что этот молодой, красивый и свободный человек так гоним нуждою.

— Так, Введенский не прав и нет достоверности даже в субъектах?

— Какая же достоверность? Все иллюзии. Все только кажущееся. "Мир есть только мое о нем *представление*" — этим тезисом кончил Кант и этот тезис поставил первою строчкою в своем главном произведении Шопенгауэр. Бороться против этого...

— Так, вы думаете, ваши обстоятельства поправятся?

— Непременно...

И главное — морозный день, эта Конюшенная и что он так дьявольски долго не отходил от печки, поставив и сапог на маленький карниз внизу, чтобы согреть подошвы ног, когда мои назябшие ноги ничего такого не имели, и сам я ежился — все сопоставилось так ярко и изумительно с его упорным философским тезисом!

"Эх, философы! философы!.." — подумал я. Да, мне кажется, эти прозябшие ноги, Конюшенная и смерть дяденьки и есть подлинный ноумен, которого вы ищете: а что там написал Александр Введенский, и о чем вы спорите в журнале, и то, о чем ты читаешь в Московском университете лекции, — все суть такие коротенькие феномены, что даже и рассмеяться нечему. Были и нет. Да и вы сами ими не интересуетесь. Ну, кто же из-за открытия Введенского прискакал бы из Москвы в Петербург? Но мысль о дяденьке — привела. Ему и кресла. Ему трон. А "ноуменам" и "феноменам" даже и табурета подать не стоит.

Теперь я уже остыл и, верно, передал все это тускло. Но не может читатель вообразить, до чего в тот миг, при этой встрече ярко-ярко конкретного с столь же упорным, фанатичным убеждением Грота, что "ничего не существует", — легло на душу мою тем ярким впечатлением, которое завершает и ставит точку около целого ряда таких же подготавливательных впечатлений. И раньше для меня действительность была милее книг, иная уличная сценка — казалась красивее стихотворения, написанного о такой же сцене на улице. Ей-ей, философы и философия только ходят бледным призраком около реальной жизни; они не только сами сухощавы: около них похудела и действительность.

Вот почему я был совершенно подготовлен к восприятию таких книг, как "Апофеоз беспочвенности" г. Л. Шестова. Заглавие яркое, но очень неточное; нужно бы подписать: "апофеоз бессистемности", каковая поправка сделана и самим автором в подзаголовке названного сочинения: "Опыт *адогматического* мышления". До сих пор он был, напротив, жестокий систематик, начав свою литературную деятельность двумя книгами: "Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше" и "Достоевский и Нитше". В обширном введении к книге он рассказывает о некоторых своих философских переживаниях, которые имеют далеко не личный только интерес и их придется принять во внимание всякому систематику философии и историку философов. Я уже писал, рассказывает он, новый труд и довел его более чем до половины, когда более и более начал чувствовать отвращение к его продолжению. Все было готово: материалы, план (вероятно, по "систематизации" какого-нибудь писателя); оставалось только излагать далее и "завершить". Но я почувствовал глубокое несовершенство и неистинность всей работы, — не по технике исполнения, а по самой задаче работы. Например, от простого перемещения таких-то и таких-то излагаемых идей, от нового соседства такой-то мысли с другою, — тогда как у излагаемого автора стоит это иначе, — она получает совершенно новое, боковое освещение и теряет истину глубоко личного выражения. Я работаю над автором и "выясняю" его, между тем мысли автора и должны остаться в той бледности, неуверенности, колеблемости, какая есть у него; что только в этом виде они и сохраняют свою художественную тонкость и человеческую искренность. Я возненавидел свои "следовательно", "но", "потому что", — все эти искусственные и вовсе не верные сцепки логического здания. Книга, таким образом, рассыпалась. И вместо ее появился хаос афоризмов. В этой груде мыслей, ничем не связанных, каждая страница воспринимается отдельно; может быть, она и не верна: но ее неверность ничего не разрушает в двух соседних страницах и в свою очередь ни мало не зависит от того, верны или неверны они. Каждый камешек здесь говорит за себя и только о себе и имеет свою удельную цену, определяемую составом его и обработкою, а никак не ценностью постройки, в которую он вставлен. Да и вовсе нет такой постройки. Вся книга представляет собою сырую руду души автора — души, проработавшей много, утончившейся, наточившейся в этой работе; но которая вдруг ослабла и, растворив двери в себя, говорит: "Входите сюда все и смотрите, что тут осталось, и выбирайте, что кому нужно: я сам не оценщик более своих богатств и даже я отказываюсь от них, как собственник". Получилась (по нашему мнению) книга действительно интересная, изумительно искренняя, с которою ни в какое сравнение не могут идти его работы над Толстым, Нитше и Достоевским.

Своеобразная метаморфоза писательской и философской манеры. Авторы пишут или начинают писать "отрывками", без системы и порядка; но и мы, читатели, не имеем ли неодолимую потребность, начиная с известного возраста, читать тоже "отрывочно" и, напр., купив книгу, не читаем ее от доски до доски, а только "просматриваем", т. е. "выуживаем" из нее что-нибудь почти наугад, а остальное бросаем, переходя к другой книге. Таким образом читатель, в восприятии, можно сказать, предупредил намерение автора, как оно сказалось у г. Шестова. Читатель разбивает "сочинение" на афоризмы; он прямо разрывает "сшитую" единою мыслью или единою темою книгу на отдельные листы, выбрасывает целые главы, не читает ни конца, ни начала, не знакомится с "исходными точками зрения" автора, а просто берет что-нибудь из его наблюдений или из его мыслей, берет с удовольствием и пользою, чтобы никогда потом не забыть, но книги, как *целого явления*, не берет себе в душу. Секрет этот — секрет читателей позднего возраста. Но его нужно скрывать от молодежи, которая должна учиться ревностно, читать целиком и даже систематично. Ей, на молодые зубы, всякая страница в корм, всякое сведение еще ново, всякая мысль крепче того "юношеского молока", которое бродит в жилах раньше появления в них настоящей крови. Ну, а на старые зубы нужно чистое зерно, без "связывающей" их соломы...

Г. Шестов, обращаясь к собственной жизнедеятельности философов, указывает тщету и искусственность их систематизирующих построений. "Всякий философ-исследователь рано или поздно сбрасывает с себя намозолившую ему спину вязанку чистых идей и делает привал, чтобы зачерпнуть живой воды из эмпирического источника, — хотя бы он и дал вначале самое торжественное обещание не прикасаться к эмпиризму". Самый яркий пример этого — Кант, когда от "критики чистого разума" он перешел к "критике практического разума". Никто не имел этого чистосердечия, как он. Обычный процесс нашей жизни — постоянное движение, постоянное самообновление, постоянное видоизменение себя. Но этот нормальный процесс жизни имеет в себе "колена", "переломы"; и философия, большая у больших людей и маленькая у маленьких, возникает обыкновенно в этих "коленцах" личной биографии, когда движение вдруг и в сущности временно останавливается, и тогда человек начинает подводить "итоги", воображая, что все "кончилось" и он увидел вожделенную "крышу" над собою. На самом деле человек просто устал, да и разработал действительно до конца задатки предыдущей фазы своего роста: такой маленький факт личной биографии, из-за которого не стоит кричать и сочинять целые книги. Но у даровитых это выходит обманчиво хорошо. "Здесь, может быть, и кроется разгадка того, что каждое новое поколение выдумывает свои истины, нимало не похожие на истины предыдущих поколений и даже не имеющие с ними никакой преемственной связи, хотя историки из сил выбиваются, чтобы доказать противное. Какая может быть связь и взаимное понимание между бодрым юношей, вступающим в жизнь, и усталым стариком, подводящим итоги своему прошлому"...

Все это так... И психологически прав г. Шестов. Но остается остроумною старая победа Рудина над Пигасовым:

— Никаких нет убеждений!!!

— Это ваше убеждение?

— Да! Да!

— Как же никаких: вот вам на образец одно — ваше собственное...

Г-н Шестов написал 285 страниц, посвященных литературе, морали, метафизике, истории, — страниц прекрасных и вдохновенных. Связаны ли они каким-нибудь единством? Конечно да! упорным, фанатичным отрицанием *системы*, свободною отдачею ума своего, вкуса, сердца, веры власти живых фактов жизни и литературы. Но что же мы видим? Потеряв "систему" — книга его выиграла в истине и точности: качества научные и, надеюсь, философские. С "системою" он был просто компилятором: и, посвящая труды свои Толстому, Нитше, Достоевскому, — был рабом этих гигантов, что в конце концов ему наскучило. И, конечно, как бы тщательно ни было произведено "препарирование" чужой головы, — живая голова все же лучше этого своего "препарата". Говоря попросту, если юношеству еще и могут быть необходимы и приятны "путеводители" по чужой душе и мысли, то для зрелого человека они никогда не заменят удовольствия в третий и пятый раз пропутешествовать по "собранию сочинений" интересного и содержательного писателя. Шестов бросил работу не философскую, не точную, слабо научную и перешел... не к "беспочвенности" и даже не к "адогматизму", а к очень определенной системе чистого эмпиризма, материализма, натурализма, но только художественно и даже поэтически выраженного; выраженного во всяком случае патетически.

Тут есть не только философия, а даже немножко религии: "мир Божий лучше человеческого". Лучше — и в смысле истины, и в смысле красоты, и в смысле даже морали; чище, прочнее, невиннее. К нему, к его подножию Шестов и положил венок философа. "Тебе буду служить", "ты кумир мой". Вкус и убеждение, встречавшиеся уже у греков, и совершенно вписуемый в "историю философии", как бы это ни было неприятно автору "Апофеоза"... И какое слово выбрал: "апофеоз" — ведь это вопль сердца, умиление, вера, и как не сказать с Рудиным:

— Вы ничего не апофеизируете? Вы все отрицаете? Всю философию от Фалеса до Канта? Но этот ваш "апофеоз" и есть ваша философия!

Мне кажется, историею своих занятий г. Шестов и приведен был (по крайней мере отчасти) к своей последней книге. Он посвящал свои труды и Достоевскому, и Толстому, о которых сказать, что они "не философы", конечно, никто не решится: хотя они и не написали не только "систем", но и никакого учебника или рассуждения с "началом, серединою и концом". Они все — в замечаниях, в оговорках; в восклицаниях и афоризмах. И от этого философия их несравненно жизненнее, ярче, нужнее

каждому, чем философия профессоров наших университетов, да и не одних наших... Но и далее: разве Заратустра Нитше не изрекает только афоризмы, разрозненные страницы? И наконец, отходя назад, разве Шопенгауэр искал свою философию так, как от Декарта до Канта германские, французские и английские философы? Философия испытала во вторую половину XIX века перелом, какого никогда не знала и который был гораздо существеннее старых переходов от "системы" к "системе", старой борьбы между критицизмом и идеализмом, между эмпиризмом и "дедуктивизмом" (дедукция, отвлеченная логика). Перелом этот состоял как бы в изменении "костяного состава" философии. Сверх ума — она вдруг начала получать *характер, темперамент*. В бескровных щеках ее зарделся румянец. Мертвец ли воскрес, кукла ли ожила, но только, начиная с Шопенгауэра, мы стали замечать в философе еще поэта, художника, демагога, "пророка" — цельную личность вместо хорошо отпечатанной, переплетенной и поставленной на полку книги. Своею книгою г. Шестов не создал новую мысль, а дал название — если и не точное, то яркое — явлению, не только давно назревшему, но почти и созревшему и давно получившему власть, обаяние и признание. Вместо "системы мысли" или "ряда систем мысли" будущий историк философии будет иметь дело с "системою человека" или "рядом систем человека", т. е. будет изучать, рассматривать и объяснять ряд очень высоких и законченных человеческих личностей, громадно влиявших на свое время, но которые говорили стихами или прозою, романом или рассуждением — это совершенно безразлично.

Философия потеряла старую форму. Но потеряла ли она прежнюю задачу? Напротив: она и сбросила старую, изжитую и уже начавшую прикрывать собою ложь форму, чтобы сохранить верность вековой задаче своей. Философия ведь не столько есть "истина" или "система истин", сколько неустанное к ней стремление, ее искание. "Мудрецы", уже все узнавшие, те и назывались "σοφος", "σοφοι". Таковы теперь учителя гимназии. "Философ" же обозначает только "друга" мудрости, ее "любителя", ее "любовника", который может быть очень несчастен, всю жизнь проискав, прогонявшись за призраками и так и не увидавши своей Дульциней... Г. Шестов, написав более сотни "отрывков", из которых за каждый порознь, т. е. за *истину* каждого, он сцепится зубами и когтями с критиком и читателем, конечно, не есть человек, который потерял и отверг "почву под ногами" или возненавидел все и всякие "догматы", а есть фанатичнейший искатель своей "Дульциней", но только она у него раздробилась, как и у рыцаря Ла-Манха, на множество образов, которые при ближайшем рассмотрении оказываются простыми трактирными служанками. Чувствую, что у Шестова зеленеют глаза и он готов схватить меня за горло: "это *подлинная Дульциней*..." Но ведь я и вызываю гнев его только с тем намерением, чтобы защитить старую рудинскую истину, и вместе старую истину всей истории:

— Есть убеждения! Есть истина! Есть вековая к ней любовь, именуемая философиею!

Философия становится лирической. Да не отражает ли она, в этой перемене темперамента своего, огромную совершившуюся перемену во всем течении мировых дел и отношений? Лириками становятся или хотят быть и священники — на место прежних "догматиков"; дипломаты стыдятся переписываться только через канцелярию, а произносят речи на митингах; больших романов, т. е. больших и спокойных эпических созданий, как у Диккенса и "старого" Толстого, не появляется, и даже никто не ждет, не начнется ли "с января" новая "Война и мир", новый "Домби и сын", тома этак на три, на четыре... Никто этого не ждет, т. е. исчезло это в инстинктах человека; даже ученые открытия сообщаются торопливо и нервно, через какие-то "рефераты, прочитанные в заседании общества такого-то", и новый Ньютон не засядет на много лет за многотомный труд, как еще недавно делал это Дарвин, делал Милль, эти "эпики" науки и философии. Переменилось сердце человеческое. И "сумасшедший" Нитше, до такой невероятной степени овладевший настроением целой Европы, был своими афоризмами-мечтами, "афористической" тоскою, афоризмами, "предвещаниями" и "пророчествами" только ранней, очень раннею ласточкою, приведшею "другое время года" нашей цивилизации. Кант, т. е. ум его калибра и направления, не только не появлялся долго, не только не появится, но его и не нужно больше. Заметьте, нет и историков таких, т. е. такого калибра и направления, как Соловьев, как Карамзин, как Шлоссер или Вебер. "Полные собрания сочинений" разбились на томики, да и томики разорвались на страницы. Между тем вообразить, что это только по бессилию и бесталанности нашей эпохи, — невозможно. А открытие радия и радиоактивности? и тот же Нитше в философии? или у нас философ и поэт Соловьев, которого не поставить же наряду с Владиславлевым и Троицким? Всюду лирика подымается, всюду эпос падает. Кто не замечает это поразительное всюду отсутствие смеха, уменья смеяться, предрасположения смеяться? Лирики — не смеются, а вот эпики — слишком часто. Одновременно, как Толстой писал "Войну и мир", Щедрин — смеялся. Русская ли литература не смешлива? Смех составляет $\frac{3}{4}$ ее, и притом самые талантливые: от Кантемира и Фон-Визина, через Грибоедова и Крылова и вплоть до Гоголя и Щедрина; но уже у Щедрина смех вышел неуклюжим, тяжелым, не легким; очень нужным по политическим обстоятельствам эпохи, как бы вызванным, вынужденным, но внутренне для самого автора трудным и мучительным. Гоголь "незримыми слезами своими" подвел черту старому смеху, как бы сказав: "За чертою — будут слезы, выкрики, стенания..." Величайший в нашей литературе смех и последний настоящий смех. Но что же такое делается в истории, куда все клонится? Дико было бы сказать, что мы менее теперь дорожим "истиною", положим, — философскою или научною, или что мы менее деятельны, менее ищем, усиливаемся, работаем...

Все, напротив, страшно утормоилось, а сердца исполнены тоски и ожидания. Но этим сердцам совершенно стали не нужны целые категории прежнего созидания; не строится ни великих дворцов для царей, ни великих храмов для Бога, как вот не строится и этих "прочных философских систем": будто точно ожидают все, что вот придет облако и все поставит в тень, придет вечер и сметет все... Но что я предсказываю? Слишком "догматично" и определенно: тут меня поправит Шестов. Может быть, ожидается не "философская система", а "новое святое слово"... "Святость", дорогого чего-то, искали больше, чем основательности, и у Шопенгауэра, и у Нитше, несмотря на его "а-морализм"... Ищут чего-то снимающего раны, утешающего: "Дух-Утешитель придет": это, что ли? Похоже и на это, как похоже и на бурю Утешение... Правда, на такое обещание все подняли бы голову, не засмеялись бы, как непременно засмеялись бы в "классический век русской сатиры", или сказали бы "не нужно" в счастливые дни "классической германской философии".

А книгу Шестова почитайте: на редкость занимательна, "нравоучительна" и ни страницы лишней.

ПРАЗДНИК И ЧЕЛОВЕК

Если бы можно было олицетворить праздник и представить себе, что он не только приносит собою людям известное настроение, но и приходит к ним сам радостный или горестный, то и представить нельзя, до чего сегодняшнему дню трудно было спуститься на нашу русскую землю. Весь белый и радостный, весь невинность и мир — он приближался, нудимый неудержимым течением года, к людям своим, сидящим во мраке ночи, с скрежетом зубовным, с воспоминанием о крови и с мстительною жаждою новой крови. Если бы можно было олицетворить его: так и кажется, что вот-вот белое Рождество задерживает шаги, обращает лицо свое, просит у Бога пощады: "Не посылай меня к этим людям".

Но Бог посылает... Так и хочется сказать: "Есть судьбы и у Бога"; приходится думать, мириться со страшною мыслью, что есть какая-то "обреченность", а если обреченность, то и страдание даже и у самого Бога. "Да, мимо меня идет сия чаша", и потом: "Но, Отче, для этого-то часа Я и пришел". В Христе для человека, точно через разорванное вечное покрывало, сверкнула эта печальная и страшная, а вместе и как-то "утешительная", "примирительная" истина, что человек не один мучится на земле, что есть и больше его — кто мучится, что вообще мучение как-то заложено в самое основание мира. Вот и у нас: слезы, горе, мука. Казалось бы: "к нам ли приходит Рождеству"? Зачем оно нам, зачем *мы* ему? Ну, пусть идет на Запад, в счастливые, мирные, благоденствующие страны. Но... "Отче, для этого-то часа я и приходил". А "Рождество Христово", может быть, и не требуется, не жаждет-

ся, не нужно в абсолютном смысле там до такой степени, как именно в исстрадавшейся Руси, в кроваво-взволнованной, смятенной.

”Я и пришел для погибших овец Израиля”... ”не здоровые нужду имеют во враче, а больные”. Если это так, если действительно все так, то и олицетворенный праздник, не этот один, но вообще всякий, тогда побрезжится нам, как прорезающий какую-то для него самую трудную мглу, как что-то для него страдальческое, а для человека необходимое, как таинственная, Богом подаваемая жертва человеку, который ее вкушает, принимает, здоровеет после этого, вовсе не догадываясь о смысле всего события. ”Пришел праздник — отпраздновали”; ”нет праздника — будничаем”. Но вот сейчас, когда Русь и идея праздника, кажется, так несовместимы, а вместе Русь, очевидно, так странно нуждается в нем, — не дано ли нам прозреть в иную и глубочайшую сущность праздника, нежели как только ”веселья и отдыха”: в смысле его как морального ”вправления вывиха”; как оживления болячки, а не перерыва в работе здорового.

Да и не так ли в самом деле совершилось ”Рождество Христово”: в самый век Августа и Тиверия, перед Калигулою и после Катилины, когда помертвели цветы Греции, а Восток являл громадные камни погибших или погибавших цивилизаций, которые захватывал Рим жадною рукою, чтобы самому уложиться в мавзолей из этих камней. Речь Спасителя не была бы так вразумительна, если бы Он говорил Сократу, а не Каиафе и Анне; апостолов глуше выслушал бы Сципион; и повторил ли бы Христос все нужные человечеству слова, что Он не среди книжников и фарисеев, а среди шатров Иакова и Лавана? Есть ”судьба и у Бога”; есть и Богу ”свой час”; приходится сказать — как это ни необыкновенно! Капля Чистой Матери и Ее безгрешного Младенца должна была капнуть во всю муть всемирной истории, чтобы обнаружить свое настоящее действие, особенную свою силу и вместе начать прояснять эту всеобщую запутанность и мутность целого мира. Обратим внимание именно на сконцентрированность здесь противоположности: дворцы и пещера пастухов, форум и поле, интриги двора и простота бедной семьи, позднее — ученые раввины и рыбаки, Пилат и Голгофа среди приговоренных преступников. Все противоположно; и через противоположность эту отделилось. Все разделилось: и несмешанный свет стал побеждать несмешанную тьму.

Так-то и мы: должны не просто отдохнуть и повеселиться эти дни, но имеем все причины подумать, до чего измученная, окровавленная и полютевшая в несчастьях и слабости страна наша напоминает древний, еще больший колосс, древний сброд земель и народов, оказавшийся тоже ”на глиняных ногах”, который всего менее, казалось бы, мог принять Спасителя и вместе всего более нуждался в пришествии Спасителя. ”Утешитель и Примиритель”... не нуждается ли в нем всего более и наша земля в этот час злобы и несчастья? Точно везде накапано яду; точно все полито серною кислотою и сожжены листья, трава, деревья;

куда ни ступишь — точно надавил ногою на змеиное гнездо, и зашипели под нею гады. Вот уж — один час, когда успокоительная иллюзия "Святой Руси" превратилась в очевидность "проклятой Руси", и нет ей ни покоя, ни утешения, ни пристанища.

Взглянем же из труда и скорби и унижения своего на утешение и Утешителя. Вечная идиллия перед нами: прототип и недостижимый идеал всех человеческих идиллий. Все здесь примирено, соединено: природа и царство, пастуший вертеп и эти цари-маги, пришедшие поклониться новой Мудрости. Запад давно разработал это событие: ему принесли как жертву труд свой все величайшие гении западного искусства, и нет городка в Италии, Испании, южной Германии, которые не славились бы хотя одним, а иногда множеством произведений, посвященных все этой одной теме, повторяемой и повторяемой: "Рождеству Христову". Вот уж истинное продолжение песни, в самую ночь ту услышанной пастухами. И как цари принесли "ладан, золото и мирру" Царю царей, так художники-маги благородной Европы несли и несли дорогие дары свои все к подножию этой же пещеры. Увы, у нас ничего этого нет и не было. Невозможно скрыть, что мы слабо отметили в своем сердце этот праздник; ничего в нем особенного не почувствовали. Мы слишком поздно пришли в историю. Мы пришли в IX веке; у нас к "Рождеству Христову" не могло пролиться тех слез особенной и потрясающей благодарности, какую испытали народы и страны Запада, "спасенные" этим Рождеством почти лично, "в своей семье", "в своем семейном несчастье". Мы только слышали чужие легенды; наши собственные легенды слишком пока тусклы и неясны. Но не будем об этом скорбеть. Всему "свой час": если даже Богу — то тем паче человеку. Будем в достоинстве ожидать "своего часа"; и если даже будем "последними зваными", вспомним, что опять же Утешителем и Примирителем о них было сказано вещее слово.

ЕГИПЕТ

"Египет есть страна сумрака и неподвижности", "закостенелых каст" — вот представление, которое мы усваиваем из учебников и которое ничем не рассеивается потом: римлянин Ювенал уже находит эту страну "низкою", так как в ней люди "поклоняются животным — существам низшим себя". В не очень талантливом романе Эберса "Серапеум" мы читаем сцену, как был разрушен храм этого имени римскими войсками, в присутствии христианских священников; "мир не устоит, если разрушится храм", — предостерегали и волновались "жрецы", уже видя придвинутыми стенобитные машины. Больше они ничего не умели объяснить. Но машины приведены были в действие, и стены повалились. Христианский воин поднялся по лестнице к статуе; толпа "язычников" замерла в ужасе. Он поднял топор — и каменная голова "бога" свали-

лась к ногам испуганных почитателей. Повалились руки, плечи; веревкою стянули туловище. Толпа, на миг изумленная, разошлась спокойнее. Храм был не в городе, но в стороне. Окрест стояли живые пальмы: они не содрогались и не пугались. Прошли тысячелетия. Туловище идола, разломанное в камни, позднее измельчилось в песок. Ветер поднял гранитную пыль и разнес. На месте тех пальм, из их семени росли уже другие; теперь растет и их десятое поколение; через тысячу лет будет расти двадцатое. *"Храм Сераписа возможно ли разрушить?.."*

В 93 году у Николаевского моста, в Петербурге, впервые я увидел настоящих египетских сфинксов. "Из древнего города Фив, поставленные повелением ныне царствующего Государя", — как говорила на них надпись. Они стали уличным украшением, — подробностью около "гранита", в который "оделась Нева". Самая коротенькая река в мире течет мимо их, как три тысячи лет назад текла самая длинная; и город самый новый из европейских шумит около обитателей самого ветхого в истории города. Однако все эти мысли-сопоставления пришли мне на ум гораздо позднее: при первом же разглядывании меня остановило удивительное выражение лица сфинксов. Как это может проверить наблюдением всякий, — это суть молодые лица с необыкновенно веселым выражением, которое я не мог бы определить выше и лучше, как известною поговоркою: "Хочется прыснуть со смеху". Я долго, внимательно, пытливо в них всматривался, и так как позднее мне случилось два года ежедневно ездить мимо них, то я не могу думать, чтобы обманулся во впечатлении: это были самые веселые и живые из встреченных мною в Петербурге действительно, казалось бы, живых лиц!.. От впечатления веселого, улыбающегося лица я позднее стал переходить к другим их линиям: сложение спины и состав бедер — удивительны по силе и правде. Это как бы фигуры из "Войны и мира" Толстого, перед которыми остальные памятники Петербурга (выключая статую Фальконета — Петра) есть то же, что перед жизненными созданиями гениального художника забытые мною лица из одного, в детстве прочитанного рассказа, от которого я запомнил только заглавие: "Яшка — красная рубашка". Долго я приписывал это "стилю". "Мы не имеем художества, потому что мы эклектики в истории: сфинксы эти суть подробность культуры, и, как все культурное, они осмысленны и живы". Больше ничего мне не казалось. Но удивительное влечение к их фигурам и почти волнение при созерцании меня никогда не оставляло и сохраняется до сих пор.

В один из свободных дней или, точнее, урвав один день от службы свободе — я посетил музей "Императорской академии художеств", находящийся как раз против этих сфинксов; может быть, эти последние, украшая Неву, имеют и некоторую идею, связывающую их с преддверием нового художества. В академии, между другими ее сокровищами, есть коллекция гипсовых слепков со всех отысканных до сих пор скульптурных произведений Греции и Рима. Удивление мое к сфинксам еще более

возросло, когда, рассматривая эти слепки (понятно, очень точные), я никак не мог пробудить в себе и доли того живого, почти физиологического волнения, которое само собою и с первого же взгляда пробудили во мне они. Как и петербургские памятники, — но только, конечно, несравненно более изящные, они лишены были этого: "прыснуть со смеху", т. е. они были изящны и *мертвы*. Всякий, кто захотел бы проверить мое впечатление, может легко это сделать, и особенно всмотревшись в аналогичные части фигур. В лицах греков, даже молодых, есть собственно *молодость очертания*, но не *молодость оживления*; в них нет разлитой улыбки, — улыбки не губ одних и не рта, а щек, лба, всего цельного выражения, над которым, кажется, не проходило никогда ни одного облака.

Дальше, *вечно чуждый тени*,
Моет желтый Нил... —

как почему-то угадал Лермонтов. Без-"тенность", "неомраченность" есть удивительнейшая и специфическая особенность сфинксов! Но меня, при осмотре академической галереи, поразили сейчас же не эти части. В галерее есть несколько "конных" изображений, так называемых "центавров". Кажется, по мысли греков, они выражают собою *силу*: это что-то "человеческое", возросшее в "лошадиное", с сохранением по крайней мере части и человеческой красоты. Мощное и окончательное, сверхгранное завершение "Геракла, опирающегося на палицу" (мускулатура). Для меня в этих гипсах-центаврах была сомнительна красота; но в чем я не мог обмануться, хорошо запомнив сфинксов и как бы туманясь ими, как видениями, это — что в *крупе* и *бедрах* центавров не было вовсе выражения той силы, переходящей в легкость, силы — для которой все легко, которое выражено в могуче приподнятых лядвях сфинксов, в спокойно-уверенном положении лап, в смелом, идущем кверху концом, сгибе сжатого, крепкого хвоста. Сфинкс хочет (или может) встать; греческие изображения спят вечным сном. Чуть-чуть они показались мне сонны, как и жители Петербурга (живые). Волнение, которое я не могу иначе передать, как волнение жизни, переливающейся волны жизни, еще более во мне укрепилось к сразу понравившимся фигурам. Это много позднее я прочел, нарочно достав роман Эберса, выражение: "Храм Сераписа невозможно разрушить", — и чуть-чуть, тою же улыбкою сфинксов "прыснуть со смеху хочется", улыбнулся этому восклицанию сам. Удивительно, что жрецы ничего не могли объяснить более, понятнее разрушителям.

Совершенно поздно, около 1 1/2 года назад, я посетил и египетскую залу в Императорском Эрмитаже; в начале ее есть огромные плиты с ассирийскими изображениями. Мне они представляются, как и все ассирийские изображения, мною виденные у Масперо, — безжизненными; идея "окостенелости", обыкновенно относимая к Египту, на самом деле очень верна в применении к ассирийским скульптурам. По

крайней мере, ничего "переливающегося" в самого зрителя не идет от них при самом внимательном рассматривании, и от них отходишь холодным, если даже и подошел с намерением "сочувствовать", "разогреться". Но вот за стеною огромных ассирийских плит и направо от входа вделаны в стену осколки маленьких египетских плиток: в расположении фигур, в сгибе ли спины, в расставленных ли ногах — опять жизнь, как и в улыбке сфинксов, и опять волнующее! Правая стена так густо затенена в Эрмитаже (высокое положение, почти около потолка, окон и малый их размер), что едва можно что-нибудь рассмотреть здесь; и с лучшими ожиданиями я завертывал к передней стене. Саркофаги, как самое интересное, я решил рассмотреть позднее: по левой (от входа) стене тянется ряд шкафов с сотнями статуэток, величиною от вершка до четверти: они *все почти — идут!* Мне не приходилось в прочитанных об Египте сочинениях где-нибудь прочесть указание на эту особенность — повторяю, *почти всех* — их изображений. Но это удивительно, это поразительно и ново и, очевидно, — важно: что ничто изображенное, почти ничто, *не остается в покое*, не стоит, не "отдыхает" и, очевидно, — не нуждается в отдыхе, а хочет идти. Лишь полуопрокинутые, прислоненные к стенке (сзади статуэток) фигуры уже естественно сидят. "Египтянина нужно связывать, чтобы он не шел" — это было впечатление от статуэток, как "хочет прыснуть со смеху" — было впечатление от сфинкса. Тут было родное, общее, — то есть у Николаевского моста и здесь; и — изолированное, как бы остров среди "мертвого моря", пожалуй, "оаз" среди "пустыни". Я говорю о брызгах Египта среди Петербурга. В общем статуэтки не были красивы, но я не только этого не чувствовал, но и не хотел в них красоты: в них была волнующая красота движения и жизни, почти одухотворенного еще и сейчас бытия. Три следующие подробности я замечаю для археологов: в одном из шкафов — между среднего достоинства крошечными и большими кошками — есть одна вершка в $2\frac{1}{2}$ высоты: она очень тщательно сделана и, собственно, представляет в себе изумительную красоту. Всякий знает, что кошки (в отличие от собак) не засыпают, по крайней мере — не засыпают крепко. Они лежат, свернувшись, кажется, без снов и при малейшем шорохе поднимают голову. В чудной статуэтке кошки, о которой я говорю, это внимание и настороженность выражены с изумительною глубиною. Не усиливаясь, она прислушивается, т. е. прислушивание как бы льется из ее природы, из сложения ее костей, мягких, едва касающихся земли, лап, не "развалившейся" спины. Кошка — это "готовность". "Они поклонялись в кошке *живости*", — мелькнуло у меня в уме, — *прототипу в этом направлении*, до которого они хотели бы достигнуть сами. Правда, их нужно было привязывать, чтобы они не двигались, но они все-таки *спали*, имели *сон* и, очевидно, в этом видели слабость своей природы, возможность небесного себе упрека. Кошка не спит, "не дремлет", "не разваливается" — вот что соблазняло в ней их и манило; возманило до почитания. Но это только брезжущая мысль

и почти только "улыбка" мысли. Теперь — изображения коров, т. е. лица коров на человеческой фигуре. Я не могу ошибиться, что было преднамерение у ваятеля — так оно подчеркнуто, обведено необманывающею чертою — сделать повторение "лица" коровы в сочетании груди и живота человеческой женской фигуры: причем груди образуют выпуклости лба, как бы с готовыми вырасти из них рогами, бока втянуты и образуют щеки лица, а живот имитирует эту утолщенную часть коровьей морды, где соединены вместе широкие ноздри и рот. В словах нельзя заставить этому поверить, но серия удачных фотографий, снятых под разными углами с одной фигуры, убедила бы в этом читателя. Достаточно нескольких минут созерцания, чтобы увидеть, что собственно на плечи человеческой фигуры вознесена не голова тех коров, которые у нас стоят по хлевам и у египтян были в храмах, а вот это совсем другая голова, лишь прозреваемая художником или угаданная богопоклонением, на которую в самом деле походят два больших овала *питающих* грудей и *живоносящего* чрева. Не умею передать и доказать: но, смотря на статуэтки, особенно на некоторые, я думал: "Да! да!", ибо груди и чрево этих худых фигур *подчеркнуто* говорили из себя: вот я, *лицо* — *коровы!* Недоделанное природой, только лишь смутное в ней — доделал египтянин-скульптор, без претензий, без имени, "безымянный брат" таинств Изиды и Озириса.

Третья особенность — это изображения так называемых "керубов", человеческих фигур с двумя вытянутыми вперед крылами. Совершенно ясно можно видеть, что крылья у них *начинаются вовсе не за плечами* (как у ассириян, у греков (Ника), римлян (Victoria) и у нас (церковные "ангелы", "херувимы") и отнюдь относятся не к верхней половине туловища. Крылья эти, длинные и вытянутые, растут от нижней трети позвоночного хребта, от *позвонков поясных*, — о которых мы знаем, что в них лежит центр полового возбуждения. Достаточно, преднамеренно или случайно, согреть их, чтобы получилась та характерная особенность, с которою всегда почти у египтян изображался их Озирис, — "cum fallo in statu erectionis". Египтяне, конечно, могли наблюдать то, что нам медицински известно. Но это наше биологическое "сведение" они выразили религиозно. Они вообще поклонились *силе, оживлению, цветущести*. Известно, что все в природе *расцветает и оживляется*, подходя в возрасте, во времени года или в часах суток к минуте и минутам, когда становится близко к типичным изображениям Озириса. И центр фигуры нашей, вернее — организации нашей, откуда идут эти возбуждения и, вероятно, где скрыт возбудитель, они отметили крылами, как бы говоря: "Вот откуда — *легкость, воздушность* в человеке", по которой в некоторые минуты он, землеродный и землеползающий, становится "будто птицею, окрыленным". Я заметил на маленьких бронзовых статуэтках Аписа, что и у них *тоже от поясничных позвонков* идут эти крылья. "Все в природе, и человеке и быке, точно *летает*, когда готовится, или хочет, или может родить". Все как бы подымается над землею, в эфир, может

быть, к звездам, все становится лучше и благороднее, наконец, становится божественнее ("сомять" у египтян) — в эти особенные минуты. Так думали египтяне. И для чего же твердят о них учебники: "Это — касты, то — неподвижность; движение начали в истории греки".

Но скромные сфинксы не опровергают, не спорят. Они только смотрят с улыбкою на пустые петербургские улицы, где

Их моют дожди, засыпает их пыль —

и мимо каменных изваяний их шмыгают чиновники с портфелями, делающие "европейский прогресс".

СТАНИСЛАВ ПШИБЫШЕВСКИЙ

Заупокойная месса. Перевод М. Н. Семенова (книга четвертая "Сочинений"). Москва. Книгоиздательство "Скорпион", 1906 г.

Впервые я взял в руки (по безмерной лености) писателя, давно ставшего знаменитым в Европе. И позволю себе сказать несколько слов о нем, без претензий на истину, основательность и глубину: как читатель, почти как прохожий.

Мне пол представляется (не в *существо*, а в *предикатах*), как *гармония и законодательство*. Подумайте: из *мига*, из двух невидимых *пылинок* выходят меры чудной *закономерности* и большого *долголетия*; даже, — с потомством потомства, — долголетия бесконечного. Но главное: закон, мера, правильность! Мудрая Порция, побеждающая Шейлока, Юстинианов Кодекс и, наконец, даже великое дробное законодательство Моисея, — слишком дробное, без *растущих принципов* в нем, — какие все это нищие перед златокудрым младенцем, с невинными голубыми глазами, который станет мужем, станет воевать и, пожалуй, тоже законодательствовать, станет потом стариком, седовласым, как Гладстон, может быть, даже почтенным, как Гладстон, станет Моисеем или Бонапартом: и все это уже дано, заложено... в таком *миге*, в таких *пылинках*! Поистине *lex legum* пол: мудрый, спокойный, все знающий, все в будущем видящий, и даже видящий потому именно, что этим будущим он *обладает*, что он его *сотворяет* из себя. Когда я думаю об этом, я не удивляюсь, что тихие, вдумчивые египтяне посылали еще в отрочестве дочерей своих класть цветы к подножию Озириса *cum fallo in statu erectionis** и сами курили ладаном перед ним. Они поклонялись *закону, мудрости, будущему*. Памятна мне и приписка, очевидно греческая, найденная на одном из папирусов: "Мир есть семя Озириса". Философия

* с фаллосом в состоянии эрекции (*лат.*).

эта передана и в египетских рисунках, к сожалению, вовсе и никогда не воспроизводимых в самых ученых и обширных трудах по истории и культуре Египта (напр., Масперо).

Имея эти спокойные взгляды на пол, — я не нашел себе сочувственного друга в "Заупокойной мессе" Пшибышевского, где трактуется проблема пола; или, точнее, я не мог в себе найти сочувствия ему. "Друг мой, об этих вещах надо говорить *в дифирамбах*", — сказал бы я ему языком Федра; и еще напомнил бы неперемutable правило перед приступом к Элевзинским тайнствам, где *реально переживались* мистерии пола (об этом знает и Пшибышевский): что к ним надо приступать *трезвым*. Достоевский в одном месте говорит, что *чувственность начинается с молчания* (за миг перед нею умолкают влюбленные). Заветы все мудрые: в Пшибышевском более всего меня отталкивает это нарушение особенно элевзинского правила. Он не только страшно много говорит, но в речах его чувствуется запах пива или алкоголя. Он сам сознается в этом. Конечно, "о вкусах не спорят", но мой вкус не таков — и всякий вправе сохранить свой вкус. Непонятно даже: *отрицает* или *признает* он пол? Он начинает книгу с библейского: "В начале был пол" (два пола?? непременно!!), как *Бытие* начинает: "В начале сотворил Бог", или Евангелие: "В начале было Слово"... Такая дерзость ужасно смутила известного московского ригориста-богослова, проф. Ал. Введенского, и он жаловался на нее читателям одной нечитаемой московской газеты. Я думал, судя по этому началу, прочесть у него апофеоз полу; но вот одна из страниц его "богословия": "Я вытащу теперь за уши эту гнусную бестию — пол из его логовища, прижгу ему спину добела раскаленным железом моего наслаждения, воткну ему в подошвы острое жало моего страдания... Я буду колоть его образами, какие народил мой холодный, утонченный разврат" (с. 22—23). Так не говорила бы благоразумная Порция. Дети иногда берут горящий уголек зажженной и потушенной лучины в рот и, в темноте дыша им, изображают "огненную пасть дьявола". Милое воспоминание моего детства: но "дьявола" — нет, огонь — незачем брать в рот, и, при надлежащем употреблении — он светит и греет. Как греет и вино, благодатная влага Диониса, если ее не употреблять с неистовством северных варваров.

Алкоголь — *расхолаживает и обеспокоивает*: вот маленькое медицинское сведение, которое не все знают, обычно соединяя "Бахуса и Венеру". Грубое северное заблуждение: *многоженные* магометане вовсе не употребляют вино, а *плодовитые* евреи вовсе не знают у себя случаев алкоголизма. У тех и других просто нет влечения к алкоголю, этой расхолаживающей гадости: ибо они молятся горячо Астарте. Все страстные, усиленно-половые натуры (или племена, цивилизации, эпохи) имеют неодолимое отвращение к пьянству и застрахованы от него: алкоголь временно поднимает температуру только несчастно-холодных, несчастно-беспольных натур, — чтобы затем такую природу еще глубже столкнуть вниз, к большему бессилию и холоду. Если наши предположения о сла-

бостях биографии Пшибышевского верны, — то совершенно понятно для нас влечение его к "голубиной белизне", термин небезызвестный у наших скопцов. Он говорит, — и это тоны Кондратия Селиванова в его "посланиях" к "детушкам", которых он томительно убеждал (в словах огненной силы, изумительного очарования) хранить "чистоту":

"Над всем миром, над этим смешным усилием создать новые оргии страсти, проявиться в новых формах развития,

над грубыми частностями пола, который равняет человека с гусем,

над преступной бессовестностью властителя природы, который населяет землю существами для безумия и Виттовой пляски грубой игры вечных эволюций, —

над всем этим царит моя свободная, бесполоя душа с ее спокойствием безначальной вечности,

она, священная покоренная победительница,

она, всеобъемлющая, она — начало и конец,

она, величайшее, последнее могучее проявление моего рода,

она, которая должна умереть, потому что этого хочет пол,

она, которая должна умереть, потому что она сама этого *хочет*, потому что она *не хочет жить в грязи и отвращении*, потому что она *жаждет чистоты уничтожения...*" (с. 48).

Да: ничего нет чище *пустыни*, но и ее чище — *смерть!* Но "душа", в самом ли деле она *бесполоя*, как думают многие, противопоставляя ее "полу", "животному" в нас? Ведь из *души* растет тело, а не то чтобы тело складывало душу по способу камешек к камешку. Душа, ей-ей, *содержательнее* всякого тела, в ней — тело и тела, мириады тел, все будущее потомство, и она анти-пустынна, анти-смертна, уж если хотите — страшно "засорена", и, напр., разные "гусиные грязнотцы" зарождаются никак не в теле, всегда нормальном, но именно в этой "душе", объемлющей миры, "и солнце и гуся". Она-то и родит эксцессы, вроде "уголек во рту — похоже на дьявола", а никак не тело, которому для чего бы все это... Душа, пол... Да пол-то и есть в нас душа, — которая и развивает из себя тело и его органы, как свои способности, орудия, ощущения, мощи... Тело есть только *материализация* души, — как это бывает у спиритов в их "явлениях", но без их мелочности, шутовства и плутовства. Нет души "человека", а есть только "мужские души" и "женские души"... Кстати: "в начале был пол" надо читать так: "в начале были мужское и женское", "мужчина" и "женщина", — только без человекообразности, всеобразно.

Мне кажется, в тоскливых, хаотических словах этой полу-поэмы, полу-философии кое-что сказано Пшибышевским о себе, без всякой аллегии и прямо:

"Я веду свое происхождение от смешанного брака между протестантом-крестьянином и католичкой, — женщиной, принадлежавшей к старому, обедневшему аристократическому роду.

В моих воспоминаниях все еще царит тонкая, гибкая женщина с лицом типа Карло Дольчи, лицом, на черты которого столетия утонченности и самого строгого полового подбора наложили неизгладимый отпечаток.

Она никогда не любила моего отца; она вышла за него замуж для того только, чтобы не служить у людей одного с нею звания. *Путем бесконечных мук научилась она отдаваться его страсти; в глубочайшем физическом отвращении, в страшном возмущении ее обливавшейся кровью души, взывавшей к мщению природы, был зачат я.*

С самого начала грязь — грязь — и грязь.

Насколько я себя помню, я всегда чувствовал себя чем-то беспорядочным, полным противоречий, сумбурным, что парализовало мою волю и бессильными, но постоянными импульсами поддерживало мою мысль в вечном раздражении.

Во мне всегда было нечто, не имевшее никакого отношения к моему остальному существу. Разнороднейшие элементы были лишь смешаны друг с другом, не в силах образовать соединений; маленькие, враждебные духи были противопоставлены, чтобы при каждом удобном случае бросить друг другу кровное издевательство.

Мать была великим геологическим агентом, который возникавшие формации моей души перевернул, обломал, растворил, образовал уродливые соединения и вместе со своим духом вложил первые ядовитые семена в свежую поверхность.

И это семя, ставшее очагом заразы, из которого выросли больные болотные цветы моих жизненных проявлений, это и было то самое неудовлетворенное половое стремление, это был ее собственный глубочайший разлад между маткой и душой; это случилось потому, что душа ее должна была отвергнуть пол как нечто грязное, так как он служил орудием нелюбимому мужу.

Душа ее видела себя затоптанной в грязь, покоренной грубою силой и диким порывом рвалась вверх к чему-то бесконечному, задушевному, чистому, проясненному, бесполому”.

Невозможно сделать более выпуклую характеристику автора ”Заупокойной мессы”; но как это грустно, как это трагично: и, конечно — это тот ”рок над нами”, взглянув на который не приходит более в голову мысль о личной ответственности. Так же точно звучит признаниями и ”предисловие” к ней. Из всей книжки оно мне более всего понравилось:

”Пусть не пугаются неврозов, намечающих в сущности тот путь, на который, по-видимому, вступает идущее вперед развитие человеческого духа. В медицине давно уже отвыкли считать, например, неврастению болезнью; наоборот, она, по-видимому, есть новейшая и абсолютно необходимая фаза эволюции, в которой мозг становится деятельнее и, благодаря повышенной чувствительности, гораздо продуктивнее.

Если даже в настоящее время невроз еще глубоко вредит организму, то дальше это не будет так плохо. Сравнительно с мозгом все остальное

физическое развитие отстало, но это недолго будет продолжаться: тело приспособится, начнет функционировать удивительный закон самосохранения, и что сегодня называется неврастением, завтра будет считаться величайшим здоровьем.

Именно в неврозах и психозах лежат зародыши новых, до сих пор еще не классифицированных ощущений; в них-то тьма окрашивается утренней зарей сознания и подводные рифы поднимаются над уровнем морской поверхности.

Если что-либо покажется "*cent fois grandeur naturelle*"*, ничего! Что велико, то может быть лучше рассмотрено; для психолога подобная величина может быть только желательной.

Одного из неведомых, человека "с дороги", подобрал я. Люди, которых я анализирую, совершенно не нуждаются в том, чтобы быть литературными "величинами"; *из жизни ощущения какого-нибудь тонко организованного алкоголика, мономана, страдающего психозом ужасных видений*, можно вывести более глубокие и тонкие заключения о психологии эпохи, о природе действительно индивидуальных черт, чем из произведений иного великого литератора.

Большей частью это — величественные откровения самого интимного и глубокого в человеческой душе; — это сверкающие молнии, которые бросают яркий, хотя и мгновенный свет в великое неведомое, в чуждую страну бессознательного.

Что эти "*Certains*"**, *эти духовные бродяги, родина которых* везде и нигде, погибают, не кажется ни странным, ни печальным. Они, быть может, единственная роскошь, которую еще позволяет себе теперь природа. Душа — это ее великое произведение, но она все еще создает и экспериментирует над ним, она все еще творит *новые пробные формы*, пока когда-нибудь в один прекрасный день не создаст, наконец, великий *сверх-мозг*, к которому она стремится.

Психолог, само собой разумеется, имеет неоспоримое, неограниченное право рассматривать подобный объект опыта с той же свободой, с тем же спокойствием, с тем же "по ту сторону добра и зла", с каким это предоставлено, например, ботанику, когда он исследует какой-нибудь новый вид. Этим правом я воспользовался".

Невозможно отрицать, что тут есть некое большое прозрение. Вспомним Достоевского, который весь в "неврозах" и что вместе это, конечно, одна из гениальнейших личностей, — "сверх-мозг" или "сверх-душа", — XIX века. Не везде, но именно в "нервических" точках страниц его романов... Все это так: но Ньютон? Кювье? Лейбниц? Есть, очевидно, какие-то два *типа* гения и, пожалуй, два *пути* гениальности: полный покой и как бы самоутверждения, гениального самоутверждения человека в земных его основах; в "былом"; и путь чего-то нового, разматываю-

* "в сто раз больше настоящего" (фр.).

** Кое-кто (фр.).

щего, невиданного и неслыханного; что действительно как будто пытается сотворить новую форму. Вспомнишь Ницше и его: "все рвется к сверх-человеку!". Эти порывы именно не могут не быть страдальчески, иногда уродливы, "болезненны как будто бы": но — до времени, когда ясная форма, "не слыханная и не виданная", вдруг вернется к покою, сияя новым сиянием "происхождение" — то "видов": тут Дарвин совпадает с Ницше и Ницше с Дарвином. Вспомнишь у Данилевского о происхождении трехлистной (или двулистной — не помню) земляники: "выйдя поутру взглянуть на свои насаждения, садовник вдруг заметил трехлистную землянику: чего никогда не было, земля этого не видела, не рождала, не умела рождать. И — вдруг родила". Кстати, о поле: "сверх-человек", конечно, будет *рожден*, он не "образуется" и не "воспитается". Таким образом, "х" сверх-человека содержится в поле: одна из причин никак не отвергать ни под каким предлогом, ни ради чего не отвергать пол. Вне его — мы только "имеем то, что имеем": скука ужасная, мещанство невыносимое. Все аристократическое обещано нам только полом: героизм, святость, наконец. "Зачата" Богородица Иахимом и Анною: как отвергать зачатие, как ввиду этого одного могла отвергнуть Церковь зачатие, входя в монашество, в трансцендентный грех его. "Змий" поманил?.. Конечно, если отвергнуть "зачатие", наша плоская земля так и останется этою плоскостью, без зовов, без надежд, без утешения и Утешителя, без всякого "ей, гряди"! Всякое зачатие есть "ей, гряди"! всякое зачатие есть по существу своему мессианское, и неудивительно, что идея "Мессии" так рано овладела и всегда неодолимо владела сознанием народа, который "плодитесь! множитесь!" прочел или написал на первой странице своего бытия и своих Священных Книг. Как, однако, это совпадает и с Дарвином, и с Ницше. Да как отвечает и общим желаниям человечества, которое, "выбрасывая уголек изо рта", — спокойно устанавливает свет и говорит: "Это — не дьявол, не дьявольское! Это — божественное, тут Бог".

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Случалось ли вам, сидя на берегу моря, на песчаных дюнах, следить за закатом солнца? В момент, как нижний край его хочет коснуться воды, вам кажется, что вода чуть-чуть подымается под красным шаром, и обратно — красный шар как бы оттягивается, вытягивается, тухнет в направлении книзу, к воде. Конечно, это только световое явление. И вот оно врезывается, врезалось в воды. Дальше, глубже. Диска уже не видно, но все место погружения его в воду сверкает золотом, искрами, бриллиантами. Чудное зрелище! Оно все холодеет, темнеет. И вот ночные тени набегают на землю.

В это время прикладываете ладонь к глазам, в виде зонтика, и выглядываете-выглядываете дорогое явление. Так же вот можно выгляды-

вать и явления исторические. Не рассматривать их, как березу перед глазами, а тоже, приложив ладонь к глазам, на бесконечной дали следить последний и окончательный узор их. Тут открывается место большее и лучшее, чем от березы перед глазами, хотя она и ближе. Вообще, дальнее и перспективное созерцание есть в своем роде метод отыскания истины, не хуля азбучных индуктивного и дедуктивного. "Дедукция" и "индукция": ну, что вы с ними сделаете, например, в отношении христианства? Дедуктивно судить о христианстве? Индуктивно судить о христианстве? Вздор самых вопросов показывает, что в самом деле эти методы школярные и удобны для разбора и анализа только таких сокровищ мысли, как следующее:

Все люди смертны;

Сократ человек;

Следовательно — Сократ смертен.

Истина, узнав которую я не потолстею и не похудею.

Если вот так, приложив ладонь ко лбу, мы отнесем христианство как бы на горизонт заката и спросим о сем историческом солнце, что же давал или обещал нам дать день его, мировые его сутки, то не ответим ли со слезами грусти и восторга: "Возрождение"! Да, возрождение! Оно возродило древний мир. Оно возрождает душу человеческую. И тот, и другая были на краю гибели. Грешница в храме, Симон, — когда он шел по волнам и начал тонуть и его поддержал Господь, слова Никодиму о "втором рождении", добрый разбойник на кресте, притча о блудном сыне, да и все, сплошь все Евангелие о чем говорит нам, как не о возрождении? Возродись! Ты можешь возродиться! Не унывай, никогда не унывай — ибо Господь с тобою, всегда, везде"! Читатель, неужели и у вас не наворачиваются на душу слезы, — до чего это хорошо, до чего это нужно, до чего это свято!

Умеем ли мы возрождать? Возрождаются ли среди нас? Посему, по ответу на этот вопрос, мы можем определить, насколько солнце христианства близко или далеко от заката и растет ли в нас лоза Христова. ("Аз есмь лоза и вы — ветви мои", — сказал Он в одной беседе ученикам.) Я не говорю о том, усиливаемся ли мы возрождать. Увы, отличные манеры можно иметь при самой скверной игре. Нет, вопрос именно идет о силе, о действительности нашей. Не умеем? Ну, значит, лоза Христова умерла в нас. Многие будут говорить: Господи, Господи! разве мы не призывали имя Твое? И Я скажу им в день суда: идите от Меня в огонь вечный. Это именно сказано о тех, которые не умеют возрождать, а сохранили только манеры возрождения.

Мир погибал в унынии, в тоске, в неисчислимых пороках. И солнце мира, Сын Божий, коснулся грязи этой — и всю ее просветил. Таким образом, самый факт христианства определяет, что уже нечистого и неисцелимого и, так сказать, брезгливого для человека ничего не осталось на земле. "Если Сын Божий не пренебрег, как пренебрежешь ты, сын сапожника, лавочника, художника, офицера, князя?" Таким образом,

самым фактом христианства сметена с лица земли всякая гордость. Кто горд, в том нет лозы Христовой. Кто пренебрегает, чем-нибудь пренебрегает, — в том умер Христос. Мы отныне, дети ли, ученики ли Божии, — вечные санитары, с лопатами, с повозками для мусора, веселые, деятельные, с утра до ночи трудящиеся. Нет? Ну, тогда Христос не возродил нашей души и не воскреснем мы с ним в вечное воскресение. "Господи, но ведь мы призывали имя Твое?" — "Не знаю вас. Идите от Меня в огонь вечный".

Вот если так, прикинув ладонь ко лбу, посмотреть на дело, то многие факты, по-видимому напоминающие историю христианства, окажутся просто лежащими вне христианства, фактами — политическими, явлениями чуть ли не дипломатическими. Христос возрождал душу. А возрождали ли ее в своих спорах Фотий и Николай? Нет? Ну, значит, их споры и не имели до христианства никакого отношения. Старообрядцы наши? "О, уж этих-то мы возрождали: стучали ногами, трясли посохами, кричали! Старались до поту"!

Но возродили ли? Вопрос не в манерах возрождения, а в силе возрождающей: "По исцелениям — будут узнавать вас, ибо хромые будут ходить, и слепые — прозревать, когда наложите на них руки во имя Мое". Нет этого? Ну, значит, и ничего нет. Лоза Христова умерла в вас и в нас. Есть староверы? Есть? Все еще есть, и сегодня есть? — И сегодня и, верно, завтра будут. — Но, значит, вы сами не ожили, не возродились. Ибо закваска бродящая возбуждает брожение в целой кадке, а если от вас ничто не бродит, то вы и не закваска.

Как разделение церквей, так и отделение сектантства — никого не возродило. Назовите мне Ивана, который при посылке такой-то буллы Николаем Фотию или прочтя такой-то остроумный ответ Фотия — Николаю вдруг всплеснул руками, воскликнул: "Боже! вижу седьмое небо! и ангелов, сходящих на землю и восходящих на небо!" Смешной вопрос! конечно, такого Ивана нет, и все спокойно, закусывая опресноками или не опресноками, читали литературные и политические памфлеты, даже едва ли думая в то время, что это когда-нибудь составит страницу в истории христианства. Во всяком случае, мы-то, с точки зрения мытаря, с точки зрения грешницы, с точки зрения тонущего Симона, заключаем, что все эти послания и антипослания, так сказать, — вне рамки христианства, вне переплета христианства и суть... просто не знаю, что такое суть. Только и есть: "Господи! Господи!" — "Отойдите, не знаю вас!"

"Угасает христианство", — говорим мы иногда. Говорят лучшие люди со скорбью. Позвольте, но как же ему и не гаснуть, когда мы совершаем не дело Христово, а ведем свою политику? На вопрос, что такое христианство, всякий ответит: "возрождение". Всякий укажет на грешницу, мытаря, Симона. Так определяем мы его словом. А когда доходит до дела, то в деле оно определяется, как неедение (или едение, не знаю) опресноков. Но тогда, раз определяется оно так в деле, определите его так и на слове, скажите формулу: "После пророков, после

патриархов, для пополнения несовершенного закона Моисеева сошел в конце времен на землю Христос Сын Божий и научил нас есть опресноки” или: ”научил есть кислый хлеб”. А, не хотите?

Это представляется чудовищным? Так согласитесь же, бия себя, как мытарь, рукой в грудь, признать, что в корешок книги, на котором написано ”История христианства”, мы захватили страницы, главы, отделы каких-то клубных событий, бильярдной игры, кухонных сплетен о способе печь хлеб и все это самым кощунственным образом поставили на счет Христу, записали в итог его крестного подвига.

О, как понятно, как нужно, до слез требуется предречение: ”Господи, мы ведь называли Тебя”. — ”Идите! не знаю вас”. ”Христианство угасает”... Но это потому, что мы не христиане, а просто — ”ведем свою игру”.

Говорят, ”вера падает”. С какой высоты? Вот в этом-то и вопрос, с какого места она падает? С наших подлогов? Я говорю, что нельзя не заплакать, подумав только о возрождении души человеческой. Но если все на месте души человеческой положили испеченный третьего дня хлеб, которого сегодня и на зуб не возьмешь, то ради чего я буду падать в обморок от сотрясения души? — ”Потому, — скажут, — что он — кислый, а Николай завел опресноки!” (или наоборот). Решительно не вижу причин для обморока. Просто — я спокоен. А спокоен потому, что не вижу христианства. Люди с зелеными глазами потому и бросаются друг на друга то ради ”опресноков”, то ради ”Исуса” и ”двуперстия”, что уже гораздо раньше этих споров они как бы шли к кресту, поровнялись с ним, идут дальше... идут все спиной, дальше от креста, не видя его. ”Мы все идем по прямому пути; от века до века; не ошибаючись; как отцы, как деда, все на Восток!” Да, но вы все отходите от Христа, и уже давно не видите Его. ”Господи! Господи!” — ”Идите, не знаю вас...”

— Дайте мне церковь во имя мытаря грешного, ибо и я мытарь — и хочу помолиться при образе моего прообраза. — ”Нет такой церкви”. — ”Ну дайте икону”. — ”Мытаря? Нет и иконы”. — ”Да почему нет-то?” — ”Не написали. Да и лицо, лик исторически неизвестный”. — ”Но, позвольте, ведь и во втором-третьем веке фотографий не было, масляных портретов не осталось и вообще в деле изображений творит благочестивое воображение, умиленное сердце. Дайте мне мытаря. Как он стоит и молится: образ его в Евангелии ясен до подробностей”. — ”В голову не пришло”. — ”Почему?” — ”Не знаем. Не умеем объяснить”. — ”Ну, так уж на этот раз я сумею: Евангелие-то вас и не трогало, просто вы не любили его, а любили свои дела и вот для своих дел и нашли живопись подлинную, от века в век хранимую, с бородкой в четверть, с бородкой в локоть, иногда даже — в аршин. Хотя тоже ни малейших портретов, ни фотографий не дошло. Не любите вы Евангелия! — вот лозунг, против которого, оглянувшись на живопись, вам остается только поникнуть головою. Один ли мытарь? Разве невозможно было выразить в живописи притчи? Почему не нарисована нигде

полевая лилия? Почему не нарисованы дети, поставленные выше и в пример апостолам, не нарисованы в самом этом сопоставлении, как сделал Иисус? Кое-кому это было бы отрадно видеть. Никогда я не видел и Брака в Кане Галилейской, первого чуда Христова. Где возвращающийся блудный сын, и уныние его брата, и радость отца? И где десять дев со светильниками, встречающие жениха? "Вы не любите Христа, ни — слов Христовых". Что вы скажете против этого моего очевидного крика? Да даже чудную притчу о зернах при дороге, на камне, в траве; притчу о враге, всевающем в пшеницу плевелы, — все при любви, при плачушем над сюжетом воображении, можно было бы изобразить. Но вы не любили слова Христова и были воистину камнем, на который пало зерно Его.

А когда так, нечего и плакаться — "все оставляют нас", и с злыми глазами указывать: "Стража, возьмите их, потому что они бунтуют против опресноков!" Изменен метод христианства. Прошли мимо креста. Явно и очевидно — не любят Господа или, по крайней мере, любят Его менее, чем человека: ибо людей в нашей религиозной храмовой живописи — сонмы, а Его в действиях евангельских, как Он проповедовал в синагоге, затерялся от Матери и Та искала Его и еще во множестве, множестве подробностей — не видим или видим недостаточно, мало, неразработанно. "Хвала себе" — вот наша религиозная живопись. "*Нашим и о нас хвала*" — вот предмет поклонения. "История о нас. Как мы разделялись, спорили, побеждали". Удивительно!.. *Религия есть поклонение Богу над миром.* А оглядываясь вокруг, мы видим, что это только история. Земное! Земные чувства!! Удивительно ли, что небесное-то в нас. "Я" и не бежит сюда, и не завязывается с этим. "Увы, все покидают нас!" — "Но это оттого, что вы покинули Господа".

ВЕЧНАЯ ТЕМА

В "Живой Жизни", очень интересном и прекрасно составленном новом религиозном журнале, начавшем издаваться в Москве*, помещена интересная статья г. Эрна "Социализм и проблема свободы". О "социализме" и "проблеме свободы" я пропустил, не интересуясь ими, но в конце статьи натолкнулся на рассуждение о смерти, об умирании. Это так хорошо и значительно, что ничего более веского, грустного, религиозно-мучительного я не читал после "Смерти Ивана Ильича" Толстого. Мой образ мысли совершенно противоположен образу мысли г. Эрна. И мне хочется сказать ему как другу-автору (лично я его не знаю, но всякий

* Редакция — некоего г. Руковича (Москва, Тверская ул., д. Олсуфьева), цена 5 р., сельским священникам, учителям и учащимся скидка 10%. Главные сотрудники гг. Свенцицкий, Эрн и Ельчанинов.

задушевный автор становится другом читателю) следующее письмо-исповедание:

— Вы так боитесь смерти? Она вас так пугает своим образом, своей бессмысленностью, своею болью и печалью, что, — кажется вам, — человек не может быть счастлив, пока он смертен, и что даже ни о чем, кроме смерти, он и не может думать серьезно в своей жизни... Вы говорите это пространно, длинно, гораздо лучше, чем я, но, вкратце, вы говорите именно это... Вы хотели бы бессмертия, "воскресения там, за гробом", и указываете, что это "обещает нам воскресение Христа"...

Мне это не кажется так.

Прежде всего, "воскресение Христа" ничего не обещает нам. Он — Бог, мы — люди: из "воскресения" Бога ничего не вытекает для человека. Бог мог воскреснуть, а человек, может быть, и не может воскреснуть? Не знаю. Меня "воскресение Христово" не убеждает, что я воскресну... В идеях гг. Эрна, Вл. Соловьева, Мережковского, Тернавцева, которые все указывают на "Воскресение Христово", говоря, что там содержится некое обещание и нам, я не нахожу связности. От большего и разнородного нельзя заключать к меньшему и неоднородному. "Бог" и мир сотворил, а я — не могу.

Хотел ли бы я очень воскресения? Не знаю. Ведь есть и очень мучительное в жизни, стыдное. Мы воскреснем "со всем в себе", а не "по-хорошему"... Как же тогда? Не лучше ли быть совсем забытым, исчезнуть? Не знаю, что лучше, что больнее. Говорят: "все всем будет прощено", или: "все воскреснем со стыдом, и поэтому никому не будет стыдно". Не знаю, хорошо ли и это: такое было бы печальное зрелище. Да и это взаимное прощение, "потому что все преступники"... бррр...

Я почти не желаю воскресения или желаю с тем, чтобы быть только с Богом и без "других"... Без свидетелей и очевидцев. Я бы желал "воскреснуть" и не "для Бога" в богословском смысле, а чтобы продолжать помнить и продолжать любить тех, кого знал и любил на земле. В последнем анализе "земля" для меня все: сужу по тому, что без воспоминания "о земле" и "земных людях" я решительно не хочу "воскреснуть". Не имею интереса к "воскрешению"...

Так думаю. Может быть, скверно, но так думаю.

Самый "Бог" для меня какая-то сумма узанных, встреченных... милых... людей, удлиненная, бесконечная, но — она... Я путаюсь, неясен, чувствую это. Без "этих людей" сам Бог для меня как-то не нужен, т. е. "тот Бог, какой-то огромный, огромный, и чужой, и страшный или там "наказывающий", что ли... Это так огромно и далеко, что я не умею ни любить "этого огромного", ни не любить. Ничего. Если Он хочет меня за это "наказать" — пусть.

Я очень мал. За что Богу меня наказывать? Не знаю. Бороться со мною, победить меня, искалечить меня, "сжечь огнем"? Не знаю, не знаю. До того "не знаю", что не боюсь.

Быть вечно с памятью о милых людях, — да, это манило бы... Другого, пустого, с "обнажением" и "свидетелями", я не хотел бы. Но

если будет такой всемирный скандал, ну, что же... Зажмем глаза руками. Не будем смотреть. Не осудим друг друга. Не заставит же Бог нас плевать друг на друга, не устроит такой всемирной плевательницы.

Нет, это так глупо, что, конечно, этого не будет.

Просто, я думаю, умрем... Отчего это так страшно, отчего нам всю жизнь об этом думать, отчего "при наличности смерти — все радости не в радость" (тезис г. Эрн)?

Эрн, положим, через три года потеряет имущество, какое имеет: неужели же из-за этого ему не идти сегодня в кухмистерскую обедать? Будет голодно — он будет голодать; но когда можно быть сытым, почему же не быть сытым? Не понимаю. Эта философия мне кажется туманною. Мне кажется, г. Эрн одевает смерть *мистицизмом*, а жизнь он мистицизмом *не* одевает. Мистицизм имеет свойство все удлинять, расширять, простирать "куда-то", "обесконечивать"... Увитая *мистицизмом* "смерть" и представляется бесконечною, огромною, все закрывающею. Но ведь с таким же правом и *жизнь* может потребовать себе мистического одеяния: и под его покровом она представится еще неизмеримо бесконечнее смерти, бесконечнее смыслом своим, драгоценностью своею, милостью своею, тем, что она мила и чем и почему мила.

Хотите "мистицизм" — *туда*, берите (или допускайте) его и *сюда*. А если вы жизнь, еду, довольство, литературу признаете только "маленькими эмпирическими фактами", то позвольте мне и на смерть взглянуть, что вот я "простужусь, будет воспаление легких, поколет в груди, покашляю и — *умру*". Только. Почему не *только*? Эмпирический факт смерти не длиннее всякого эмпирического факта в жизни, а мистический факт смерти гораздо короче и проще факта жизни под углом мистического на нее воззрения.

Мне кажется, наше дело на земле просто: делай хорошо свое дело. И больше — ничего! Никаких страхов, опасения "за будущее". Делал хорошо свое дело: а "там" счет может быть представлен "с пристрастием" или без пристрастия. Если бы "пристрастия", то мне и "там" будет хорошо, потому что за что же будет худо?! А если "с пристрастием": то это исключает самую идею "суда" и кассирует "судию" (именно как *судию*) и открывает возможность "черт знает чего такого", и в таком случае я об этом ни думать не хочу, ни бояться этого не хочу и вообще все считаю в "ничто".

Итак, *работа* здесь — вот и все! И никакого беспокойства, ни страха за "там". Если здесь хорошо (исправно), то и "там" хорошо; а если "там" — ничего, то это тоже ничего. Пожили. Любили. Трудились. Осмысливали, многое осмыслили. Как это хорошо было, счастливо, радостно. Сколько я радостей пережил, когда писал книгу "О понимании" (очень длинную). Сказать, что это "ничто" и будто смерть "поглотит все" — чепуха. Не поглотит же она моей *бывшей* радости (когда писал книгу "О понимании"), да и вообще *ничего она не поглотит*, потому что и нельзя ей ничего поглотить, кроме вот той недели, "когда

я простужусь и начну кашлять” и проч. Ну и пусть возьмет ту неделю. Это так же просто, как то, что сегодня у меня не было денег и я не пообедал.

Может быть, я глуп и мое рассуждение глупо? Может быть. Но я написал книгу ”О понимании” (5 лет сидел за одной книгой) и не постигаю, почему я глупее Эрна. Может быть, мы все неумны? Вероятно. Но для чего эту ”вероятность” тянуть в черную, темную сторону — не понимаю же. Оставьте все, как есть. Не тяните ни туда, ни сюда. Есть черное, есть светлое. Смерть, конечно, тяжела, но радость жизни бесконечнее ее. Сами говорите, что смерть ”бессмысленна”. Ну, а о жизни никак этого нельзя сказать, а все ”осмысленное”, конечно, длительнее, *сложнее* ”бессмысленного”. Что такое ”бессмысленное” в конце ”осмысленного”? Точка. Ну и пусть ставится эта ”точка” после прекрасной книги, какою была наша жизнь.

Эта книга мудрая (у всякого). Это книга сладкая. Это книга горькая. И святая, и грешная. Бесконечная книга! Ничего (во всем мироздании) нет столь великого, неоцененного, дорогого, лучшего из лучшего, чем обыкновенная жизнь обыкновенного человека. Только по отношению к ней я чту и так называемое св. Писание (кажется, и все так делают), и, таким образом, она для меня и есть св. Писание, реальное священное Писание.

Будем, друзья, жить хорошо, — и авторы-друзья, и читатели-друзья! Не будем всматриваться в это ”там” и анализировать, что есть ”точка”? Будем внимательнее, с великою страстью, с великим благоговением всматриваться в ”здесь”... Если бы я был великим иереем, все молитвы я положил бы на ”здесь”, ”сюда”... Я сотворил бы религию ”здесь” и ”здешнего”: и, уверен, тогда бы нас гораздо лучше судили и ”там”, если вообще есть ”там” суд, что, впрочем, и не интересно, раз уж все положено ”здесь”...

Будь, человек, хорош: и оставайся спокойным в отношении страхов и здешних и ”тамошних”. Для тебя равно хорошо и ”все” и ”ничего”. И что будет дано, то и прими с радостью. Умру? Умру. Страшно? Не страшно. ”Бог будет судить, Бог засудит...” Не сможет, не за что; а если все-таки ”осудит” и ”не за что”, то какой же и почему же он для меня ”Бог”, — и, я думаю, это просто маленький ”бог” маленьких попов, судящий дела мирские, как они судят ”дела” в консистории. Слишком антропоморфично и даже консисторо-морфично. Перед этим я не питаю испуга, а все другое или неясно, или хорошо.

ЕЩЕ О ВЕЧНОЙ ТЕМЕ

Д. С. Мережковский в газете ”Свободные Мысли” и г. Свенцицкий в ”Живой Жизни” нападают на меня, — не скажу — с гневом, но с большою мукою сердца, — за мои приблизительно отрицательные мысли, — или, точнее, ”не интересующиеся” мысли касательно судьбы нашей за гробом.

На ту же тему (судя по ссылкам Мережковского) писали и другие. Но меня в особенности тронули частные письма, с теплыми, милыми укорами, получаемые в значительном числе и отсюда, и из-за границы.

Так хотелось бы их всех благодарить за участие, пожать руки как братьям, и Свенцицкому, и Мережковскому...

Но что же мне делать, если я не то что не верую, а в самом деле не интересуюсь, что будет "там"? Конечно, теперь я могу быть в иллюзии, потому что здоров. Имея в виду теперешнее состояние, *опираясь на него* только, конечно, я не вправе был бы писать того, что писал. Но лет восемь назад, вследствие чего-то съеденного, у меня произошло, как объяснил проф. В. Н. Соротинин потом, — "отравление головного мозга птомаинами", и я впал в обморок, — причем врач, следивший за пульсом, говорил, что не мог его прощупать, т. е. что сердце почти остановилось. В безмерной слабости я, однако, думал. Думал, что вот — умираю.

Я был не дома. В это время я только думал о том, как будут испуганы мои домашние, когда меня принесут мертвым домой. И мне было очень печально за них. Также я беспокоился о том, что будет с ними потом, без меня, с одними. Что им будет тяжело и трудно существовать — это меня очень томило.

Было вообще печально, "нехорошо".

Боли я не чувствовал, была только слабость, — ужасная, неопишная! Мысли были не затемнены, не спутаны. Текли тихо и *невяло*.

У меня не было никакого беспокойства о душе своей. Ни малейшей тревоги о "там". Ни о "суде", ни о "награде" я не думал; ни — хотел их, ни — не хотел. Ничего.

Верил ли я тогда в Бога и теперь верю ли? Об этом надо условиться. Когда я размышляю о Боге, пишу о Нем и (как кажется) чувствую Его, — мне тепло, хорошо, уютно. Все "по мне" и "собой доволен". Таким образом, "религиозная идея" есть какая-то "естественная для меня идея", при которой я как бы "закругляюсь", становлюсь "полным", мне нечего желать, меня ничто не мучит, я сыт. А когда очень уходишь в "суету" и "мирское", то становится скучно. Впрочем, оговорюсь: размышления или слова о "мирском" и "суете", у меня по крайней мере неотделимы от постоянного как бы вездиприсутствия Божия в этих самых мелочах, в самой этой "суете", и я особенно люблю маленькие житейские дела, ибо общение с ними и участие в них есть моя постоянная религия, и от этого я так "сыт" на маленьких делах и чувствую себя в совершенной гармонии, когда нахожусь в гармонии с ними. "Безбожная суета" для меня наступает, когда я сержусь, соперничаю с кем-нибудь или когда желал бы славы и проч. Но Бог дал мне спокойствие, и я этим не томлюсь: кроме редчайших случаев, когда я чувствую себя несчастным, безбожным, как бы болеющим.

Если такое постоянное и общее самочувствие и самосознание есть "религия", то я религиозен. Но если этого мало и под "религиозностью"

понимается что-то конвульсивное, какая-то судорога души, взывания, вопли, слезы, тоска, отчаяние, невыразимые умиления, то во мне этого нет; но мне кажется, эти состояния суть более психиатрические, чем религиозные: и "Бог" в них, очень может быть, является только "навязчивою идеею" и проч., а не Тем, Кого мы видим и знаем спокойным и простым сознанием, спокойною и простою душою.

Я отношусь к Богу спокойною и простою душою, и вот ею я Его люблю, что и без Него не мог бы жить. Если этого мало — у меня больше нет. Но мне это достаточно.

Я позволяю себе сказать все это или исповедоваться во всем этом, потому что, судя по письмам и печатным статьям, множество людей чрезвычайно этим тревожатся, этим озабочены; озабочены этим "общим вопросом", как чем-то "своим", личным и дорогим.

В частных письмах все это сказалось прекрасно и неутилитарно. Видно, что идея "бессмертия души" и "Бога" важна сама по себе, драгоценна и возлюблена сама по себе без "прикладных последствий"... Я с прискорбием читаю у Свенцицкого и у Мережковского строки о какой-то, если можно выразиться, "прикладной религии". Впрочем, "прикладною религиею" уже был озабочен Достоевский. Достоевский, Мережковский, Свенцицкий — все они говорят: что же будет *на земле, в людских отношениях*, если люди утратят великую идею загробного существования?

Ощупываю себя, сознаю все свое прошлое и отвечаю: *да ничего не будет.*

Чем я стал, какие я злодеяния совершил, утратив "великую идею"! Да никаких особенных и чрезвычайных. Был не очень хорош "при идее" и после нее не стал нисколько хуже. Это я *отчетливо знаю тем внутренним, молчаливым сознанием*, которое не обманывает, не лукавит.

Но все люди — как я: отчего же они станут хуже на случай потерянной "идеи"? Не понимаю. Нет доказательств.

Мережковский говорит, что тогда придут "мистические хулиганы" и настанет пора всеобщего отчаяния, зверства, аморальности. То же повторяет Свенцицкий. "Откуда тогда будет жалость к людям? Тогда врач, чем заботиться о спасении новорожденного или о помощи роженице, — сядет на лихача и прогуляет лишний рубль". — "Без Бога, — говорит Ракитину устами Мити Карамазова Достоевский, — ты, подлец, набьешь на говядину цену в лишний гривенник и купишь себе на прибыль каменный дом".

Как известно, под Ракитиным Достоевский вывел известного Елисева, одного из редакторов "Отечественных Записок". Этот Ракитин-Елисеев никакого дома себе не нажил, был, правда, "материалист-атеист", но чрезвычайно великодушный человек, умевший прощать обиды, и иногда, как мне рассказывали, — обиды и "прискорбия" чрезвычайные... А главное, он о Федоре Михайловиче никакой обиды не сказал: а Федор Михайлович какую о нем сатиру написал?!

Наконец, вот теперь мы живем при повышенных ценах на говядину: ее набили именно "верующие в загробную жизнь" мясники-торговцы.

”Веровавшие в загробную жизнь” сидели вокруг костров, когда на них горел человек, горел Сервет в Женеве, Савонарола во Флоренции и сколько, сколько в Испании, в Германии! Все кричали:

— Больно! Жжет! Развяжите веревки! Дайте водицы!

”Веровавшие в загробную жизнь” молчали и не трогались.

— Именем Бога! Именем вечных мук, вечной награды — спасите нас! Те молчали.

Так о чем же мы будем говорить с Димитрием Сергеевичем, с Федором Михайловичем и со Свенцицким? Темы наши *вчера* доказаны, и нужно истинно ”мистическое хулиганство”, чтобы перерешать их сегодня на гробах Гуса, Савонаролы, Сервета... Сперва воскресите *тех*, и вот тогда я и воскликну с вами: ”Осанна сыну Давидову”, — и все прочее ”по Требнику” и уж прибавлю: ”вечная жизнь здесь и *там*, вечная и *блаженная*”. А пока я все вижу и слышу вокруг ”со святыми упокой” и обещания чего-то и кому-то ”назавтра”...

— *Придут хулиганы!*..

Но я говорю, что они *были*.

— Придут без веры в загробную жизнь!..

Но я указываю, что именно *творчески*, т. е. с *бесконечною верою*, разрисовали ”будущую жизнь” те самые люди, которые видели страдание человеческое, вот сейчас, перед глазами, осязательно, ослепительно: и хоть *могли бы*, но *ничего не захотели* сделать, чтобы его погасить!

Не произнесли даже *слова*, не то чтобы дать работы, потрудиться...

В заключение к пожелательным или, лучше сказать, ”нежелательным” своим мыслям мне хочется прибавить одно чисто теоретическое соображение. Да, загробная жизнь, так цветисто разрисовавшаяся в монастырях христианских и вообще так колоссально начавшая расти с началом новой эры, *девственно-аскетической*, не есть ли иллюзорное перенесение ”туда” тех естественных возможностей и ожиданий, какие обычно осуществляются и должны осуществляться здесь, на земле! В Библии — молчание о ”жизни будущего века”. Но Библия — вся в рождениях, там все и постоянно рождают. Как только это ”закрылось” и проведена была религиозная черта поверх рождений, так сказать, закупорившая их: так воображение, мечта, сердце и потянулись ”туда”. ”Там” будет вечная жизнь, ”там” мы насладимся сладостью, нас там окружают ангельские лики, которые ведь суть — по живописи и представлению — какие-то новорожденные или недавно рожденные младенцы.

Все ”там”...

Но это оттого, что здесь нечестиво (как я думаю) отказались от рождения живых, настоящих, ”как следует”, детей.

Самое появление и рост монастырей и монашества, может быть, здесь имеет глубочайшее объяснение: ”*Стесним* все здесь, *откажемся* от всего здесь — и начнем расти *туда*...” Выше стена монастыря, стена вокруг *меня*: и шире раздвигаются ”райские видения”. Так, *розы* вырастают на *могиле*... Земля — могила; в небе — розы. Нет, хуже: чем земля

могильнее, тем розовее небо... Но, Боже: как же быть при этом представлении, как могло и *имело силы* человечество жить при бесспорной мысли, овладевшей им или ему навязанной, что "человек живет на земле для того только, чтобы умереть" (Лиза Калитина), что самое его появление на землю есть что-то случайное, не самоценное, почти не нужное и "грешное". Уже монах Владимир Соловьев, в начале "Критики отвлеченных начал", цитировал безбожно:

*Кто б ни был ты в сем мире,
Есть нечто лучшее — не жить!*

О чем говорили или, лучше сказать, "стенали" и все монашествующие тысячу лет. Переборая это, — чуть-чуть, еле-еле тянулась жизнь. В Греции, на протяжении 500 лет, сколько было сотворено! А на Волге, во всем приволжском бассейне, тысячу лет тянулось одно "прозябание": "жили-были", ни себе ни другим не на радость. Ведь есть мысли радующие и *ростящие*, и есть мысли печальные и *заглушающие*. Ужасно, когда в самые *аксиомы* жизни входит такое заглушение; когда это становится *народно*, пословицей... Когда это "бежит по улице" и "знает каждая бабушка". Но "роза на небе", связанная с "могилою здесь", есть именно такая народная и убивающая идея. Как я сказал, — ее родник монастырь; или и обратно: самый монастырь родился для ее культа. Тут взаимно работалось: факт над идеею и идея над фактом. Все это я не умею лучше объяснить, как сравнив с тем, что однажды удивленно рассматривал в детстве. Это — беленькая, тоненькая, чахлая малинка-прутышек, выросшая у нас в саду, в бане, куда случайно занесло зернышко. Какая она была жалкая, несчастная! Тянулась к окошку из темного уголка своего, но как бессильно! Не принесет она, бедная, плода; не сорвут его дети, не порадуются ему. А *живет*, есть *жизнь*! Как трагично, — если подумать с точки зрения мировой метафизики. "Кто за эту малинку Богу ответит?" Вот с этим случайным и *ошибочным* заносом семени, откуда проистекло несчастье и чужая чахотка, — только я и умею сравнить роль в мире и внутреннюю собственную сущность идеи, проистекающей из "нерождения здесь" и заключающейся в уверенности, что будем жить "там"...

КАК СВЯТОЙ СТЕФАН ПОРУБИЛ "ПРОКУДЛИВУЮ БЕРЕЗУ" И КАК НАЧАЛОСЬ НА РУСИ ПЬЯНСТВО

I

Мне хочется выразить мысль, которую я много лет ношу в душе своей, но не было определенного повода ее высказать, хотя она чрезвычайно важна, принципиально и сложно важна. Буду излагать эту мысль почти в той истории, как она у меня возникла.

Лет восемь назад сижу я в гостях и от нечего делать перебираю книги на столе. Попалась следующая: "Святый Стефан Пермский. Издание т-ва И. Д. Сытина, под редакциею Н. Ф. Берга. Москва. 1900 г.". Книжка сопровождается богатыми картинками, в золоте и красках. Стиль рисунков, этот великолепный византийский стиль, на котором запечатлелось столько духа, в котором отпечатлелась целая цивилизация, не оставляет сомнений, что они все взяты откуда-нибудь из древнего христианского списка, что это суть миниатюры, украшавшие другой текст, славянский, древний. Все это делает честь вкусу составителя книжки. На рисунках передана жизнь и деяния св. Стефана: вот — он учится читать и писать, вот — идет построение храмов в стране зырян, дотоле языческой, вот совершается народное крещение тех же зырян, вот — ярость зырян против святителя, вот святитель влечет волхва зырянского, Пама, в огонь зажженного костра, — особенное испытание "истины вер" в древности; вот он является в Москву и просит у великого князя и митрополита назначить для Пермской земли епископа, вот он посвящается сам в епископа, вот он блаженно кончается. И, наконец, последнею картинкою является изображение храма Спаса на Бору, что стоит в Московском Кремле, среди дворцов и соборов, — маленький, древнейший во всей Москве. В храме этом почивают мощи св. Стефана.

Все как следует, как мы привыкли, как мы любим. Любил долго и я. Где же и греться, как не в родной истории. Ведь все другие солнца — нам чужие солнца: и светят, да не греют. Пока длинный ряд соображений, длинные и горькие наблюдения в родной земле не сошлись в уме моем в какой-то тупик недоумений, вот как есть непроходимые тупики среди московских улиц, из которых никуда выехать нельзя, кроме как двинувшись назад, обратно. Приведу по крайней мере некоторые из этих недоумений. Отчего это нигде по деревням русским, по селам русским не видно деревьев? Ни садов при домах, ни деревца перед окном. "Дерево" у нас — хозяйственная вещь, экономическая статья, которую поворачивают так и эдак, как всякий "движимый доход" или "расходуемый расход". В дереве нет самостоятельности, нет у нее своей цены, независимой от нужды человека; нет на него любования, глубокого взгляда. Оговорюсь, что всего этого попадаются кое-где *следы*, но попадаются в таком виде и в такой разрозненности, что явно — это неистребленные остатки чего-то очень древнего. Попадают они в песне, попадают в сказке, т. е. в очень древнем по происхождению слове. "Цветник" — опять совершенно неизвестная вещь в народе; это — "барская затея", роскошь, праздность, что-то ненужное и неинтересное. В цветнике тоже нет самостоятельности, своего, "души". Теперь с этим общим наблюдением, верность коего можно опровергать только частными и ничего не значащими исключениями, у меня связывается одно воспоминание детства. В детстве мне часто приходилось присутствовать при еде мужиков, костромских плотников. Помню, как деревянной лопаткой мешали они кашу (помаслив) в громадной общей чаше, помню, как, едя щи, долго не

брал никто первого куска говядины и потом, взяв этот первый кусок, быстро вылавливали остальное, но с такой строгостью "второго", "третья" и проч. куска, что явно ни одному не перепадало лишнего куска, т. е. ни один не был лишаем своего куска. И теперь вкусно об этой еде вспомнить: до того они ели с аппетитом. Перед обедом неизменно ополаскивали руки. "Святыня". Все это было очень хорошо и было приятно смотреть. Но у меня через сорок лет сохранился в памяти случай, почти испуг, от следующего. Раз в кухню, где ели плотники, в отворенную вошедшим дверь вбежала незаметно собака и сейчас — под стол, а уж из-под стола, известно, высунулась морда, ожидая "кое-чего". Была это наша дворовая собака, должно быть Шарик, сторожившая нас всех (впрочем, сторожить было нечего) и ничего никому не стоившая. Ела, что выбрасывали, а не выбросят, то и поголодает. И вот, невозможно передать той грозы и злобы, с которой мужики поднялись на собаку, и я хорошо помню слова: "Тут люди трапезают, а он, поганый пес" и проч. Чем разговаривать, отворить бы дверь и выпустить собаку, очень испугавшуюся: нет, ее хотелось ударить и, чтобы побольнее было, старались, хоть и не попадали, пнуть сапогом под бок или в морду. Она оскорбила всех: "Тут святая трапеза, люди вкушают, а он, поганый пес, вошел сюда..." Между тем эти бедные мужики, так ловившие куски говядины, если чем и светились, даже перед образованными людьми светились, то тем, что все-то, все-то они были "Лазари", в труде, в скорби, в нужде и полуголоде. Ну, а Лазаря и представить себе нельзя без того, чтобы пес облизывал ему раны. В вековечной красоте Евангелия это так и сопоставлено, так и сблизено. Краска к краске, бесприютность к бесприютности, унижение к унижению. Но тут "Лазарь" встал — и сапогом в морду псу, да чтобы больнее было. Отвратительно, — нет Евангелия, ничего нет. Есть голод и работа, есть брюхо и еда, и это до того страшно и так уныло, так не обещает из себя ничего, что возможен выкрик, несправедливый, скверный, но он возможен: "Э, да провалитесь вы, все и всякие, к черту. Ну, и голод, ну и умрешь: ведь издыхают же псы. И если издыхают и ты его не пожалел, то почему будут жалеть тебя богатые, которым ты представляешься тем, чем тебе представляется пес".

Если в гармонию картины не ввести "и пса", то вся картина рассыпается, обесмысливается, остается без идеала и без возможности к лучшему. Получается тот последний пессимизм, при котором вообще ничего не хочется и ничего не нужно. Хулиганство, гадость и гибель.

Но вот "пса"-то и не введено в русскую бедность. Русская бедность есть "голытьба", — характерное словцо. Давно и всеми замечено, до чего русский мужик жесток ко всему, что стоит еще ниже его, под ним; к своему соседу-голяку, если мужик зажиточен, ко всей деревне, если он умный, "мудрый" кулак (ведь кулаки — мудрецы в практике); и, в особенности, до чего мужик жесток и беспощаден в обращении со всею "тварью", с которою он может распорядиться, начиная с жены и детей,

но в особенности применительно к животным. Опять оговорюсь о "свя-
тых исключениях", но опять с горем констатирую, что не святые ис-
ключения составляют колер жизни, уклад ее, тех "трех китов", на
которых жизнь держится и которую суть вообще "твердыня земли".
Святые исключения не только ничего не говорят и ни в чем не обнадежи-
вают, но они только мучительнее подчеркивают то общее горе, в кото-
ром мы живем и против которого не "святой истерике" бороться. Нет,
тут нужно другое, "общий поворот всего"... Сто "святых", хоть обсадись
они "цветочками" и хоть ласкай всех животных, по подобию Франциска
Ассизского, годны только в оперу, а то и в оперетку. *Народ* насытить
можно только *хлебом*, а "исключительные совершенства" суть всегда
конфетки, и в этом их бессилие и в конце концов ненужность...

Впервые русские поэты и прозаики, т. е. люди *искусственного*, нена-
родного образования, люди богатого *личного*, "своего" развития, — на-
чали воспевать около человека и животного, стали, рисуя человека,
помещать около него и животное. Лучшая в этом отношении вещь
— "Кузнечик-музыкант" Полонского; его же (уже старческая) поэма
"Собаки" — очень слаба. С чувством жалости говорит о животном
Некрасов, например в известном стихотворении, где он передает, в 2—3
строках, о лошади, которую мужик сечет сперва "вообще", когда она не
может свезти перегруженный воз, а затем начинает хлестать ее "по
глазам". Это описанное у Некрасова истязание лошади Достоевский
поместил в "Преступлении и наказании", в вещем сне Раскольников.
Раскольников, уже решивший весь план убийства процентщицы и вместе
с тем угнетенный овладевшей им идеей, увидев этот сон, посвежел,
повеселел в настроении духа: сон, увиденное во сне истязание лошади,
которое ему показалось так ужасно, бесчеловечно, дико, страшно, со-
здал в нем крепкое намерение "не убивать". Действительно, "не убий"
сказано не об одном человеке, это — космическая заповедь. И собствен-
но человека, никакого человека, нельзя убить потому, что уже страшно
убить и животное; а если "нисколько не страшно" убить животное, то
тот, кому это не страшно, может раньше или позже, так или иначе,
прийти к мысли или вообще почувствовать возможность убить и челове-
ка; ну, — человека-"вошь", как называет Раскольников процентщицу. Во
сне Раскольников получил предостережение. Но не послушал его и по-
гиб. Из других наших художников-поэтов на животных останавливается
Тургенев (его "Муму") и особенно Толстой. Его "Холстомер" (имя
лошади, давшее название рассказу), лягавая собака Левина и Фру-Фру
Вронского — это уже гениальное проникновение в душу животного. Затем,
чтобы перейти к своей теме, я припомню его рассказ "Три смерти".
В нем описаны, сближены и противопоставлены три умирания: каприз-
ной и злой барыни, которая все барахтается, умирая, — точно ее топят;
крестьянина, который умирает совершенно спокойно, и... кончив читать
рассказ, вы ищите, где же третья смерть? И, взглянув на конец рассказа,
видите: когда умер мужик, то другой мужик, взяв топор, пошел выру-

бать ему крест. Дерево качнулось, застонало и упало. Тоном немногих строк, простых, без сантиментальности, Толстой дал почувствовать, что мужик зарубил дерево, зарубил что-то живое в нем, а не просто экономически срубил березу. И дерево "умирает", сказал Толстой. Иначе, чем мы, однако же умирает, а следовательно, и живет в отдаленном подобии, как мы. По-маленькому, по-своему и дерево — человек. Теперь мы совсем подошли к рисунку, который так поразил меня, что я выпросил у знакомых книжку, надеясь когда-нибудь ею воспользоваться для разъяснения больших тем; и вот теперь, когда Чельшев поднял свой вопрос и вся Россия жадно слушает, отчего же и как произошло на Руси пьянство, и настало время привести его.

II

На рисунке, под которым стоит подпись: "Св. Стефан порубил прокудливую березу", весь фон ее залит золотом; т. е. там, где мы на обычных *натуральных* картинах видим перспективу, небо и воздух, положен золотой лист. И картинка, все фигуры ее, сцена ее нарисованы, собственно, на золотом или позолоченном грунте. Вы не знаете, этот великолепный византийский фон: что в Венеции ее незабываемые мозаики, то в Византии ее знаменитые позолоты. Секрет, конечно, лежит в размещении ее, в тоне ее, в оттенках ее: более бледном или более темном, вероятно, в гармонии с красками, положенными в самый рисунок. В Москве, молясь в университетской церкви, я, бывало, не могу оторвать глаз от большой, аршина в 1½—2 длиной, иконы, где изображена стоящею одна из великомучениц, вот тоже на этом золотом фоне. И совсем недавно мне была исполнена икона Божьей Матери "Нерушимая Стена", написанная в учебной мастерской* комитета иконописи в селе Палехе (Владимирской губ.) на том же золотом фоне.

Давно я в душе, в сердце враждебен этим золотым фонам; а увидишь — и что-то скажется в душе, и вот закажешь, деньги заплатишь, т. е., значит, действительно обаятельно: ибо денег во всяком случае за "не нравится" не заплатишь. Многозначаща эта обаятельность вещей, не зависящая от их утилитарности, и даже, как в данном случае, противоречащая всему "строю убеждений" и переборающая его. Мне эти

* Школа эта, одна из основанных комитетом попечительства о русской иконописи, под ближайшим руководством академика Н. П. Кондакова, изготавливает образа по древним византийским образцам за изумительно дешевую цену. Живописцы, знакомые с техникою и стоимостью этого рода работ, оценили сделанную мне икону "не менее как в пятьдесят рублей", тогда как она стоила всего пять рублей: с золотым фоном, в красках, сделанная от руки в 2 четверти вышины. Лавка икон этой мастерской находится в Петербурге, на Надеждинской ул., д. 27, и нельзя не рекомендовать ее, за дешевизну и изящество работы, всем, желающим иметь хороший образ дома. Работы исполняются крестьянами и учениками, а самая традиция наложения красок, изготовление грунта и проч., идет *без перерыва* через всю старую Москву из Византии.

”обаятельности”, раскиданные там и здесь, в жизни давно кажутся гораздо более таинственными и до известной степени полными ”духов” и ”духовности”, чем те маленькие и глуповатые ”духи”, похожие на шутов, с которыми беседуют гг. спириты, оккультисты и вообще мудрецы патологической школы. Ибо эти таинственности вполне здоровы, захватили огромные области цивилизации и постоянно покоряют и обольщают наш вкус. Вот и эти ”позолоты”, как и вообще вся Византия, мне представляются магическим очарованием, пропитанным сладкою ядовитостью, которой и подчинился наш русский народ, а вовсе он не подчинился нагорной проповеди, ”миротворцам”, ”миролюбцам” и проч., что очень хорошо, совершенно ясно, но не содержит в себе ничего таинственного и никакой загадки; а потому не содержит, в собственном смысле, и обаяния. А история, безропотно почти, построена на ”обаяниях”... Золотые фоны я потому не люблю и, наконец, ненавижу, что где же тут *небо* и *воздух*?! Они *выкинуты*!! Ужасно, чудовищно, нагло, бессовестно: Византия или византийский строй церкви взял и вышвырнул за порог от себя натуральное небо, естественный воздух, и солнце, и звезды, все. ”Не надо”... Кому не надо? — ”Мне, церкви”. — А народу? — ”Все равно. Мне не надо”. И заволок все этим золотым фоном: ну, который *великолепием* на глаз, конечно, лучше каких-то сереньких облаков, дня с дождичком и вообще всего ”нашего”, ”земного”, хотя иконописцу он и стоит всего две копейки, и наводит он это ”золотое небо” для русских деревень и сел...

”Золотой фон” картин, т. е. более или менее обширных сцен из действительности, сближен с позолоченным *иконостасом* византийских храмов и, наконец, — с золотыми или позолоченными ризами на образах. И золотой этот фон, которым замещены небо и воздух, показывает общую тенденцию византийской церкви, как эта церковь сложилась к десятому веку, когда ее принял русский народ, — заместить собою *все* для человека, стать для него ”универсом”, закругленностью, завершенностью, которая самодовлеет и ни в чем не нуждается. Выкинуты небо и солнце оттого, что они *очаровывают*, что их *любит* человек; наконец, что ими целится, исцеляется человек. ”Какое исцеление и откуда, если не из церкви?” *Святое* исцеление, *чудо* — вот чего должен ждать человек, а не надеяться на медиков и знахарей, на шарлатанов. Кто наблюдал по глухой Руси, по уездным даже городам, не только селам, — тот хорошо мог видеть, до чего духовенство смотрит враждебно и именно сопернически-враждебно на докторов, на медицину. ”Надеяться” на них — значит не очень надеяться на ”чудо”, а это оскорбляет. И самое распространение медицины или гигиены, попытки привить их народу оскорбительны для церкви и духовенства, для всего круга принесенной из Византии ”святости”.

Я как-то однажды заспорил о природе, о небе, звездах с одним крепким византистом из основателей религиозно-философских собраний в Петербурге:

— Ах, оставьте, — сказал он мне и резко, и сокрушенно. — Никогда небо, вот то небесное, синее, не заменит человеку купола церковного, свода храма. "Природа", "природа", — твердите вы. Что в природе? Болезни, гадость. Природа — ужас. Именно оттого, что простолюдин страдает, угнетен, беден, безнадежен, — он никогда не утешится вашей "природою", которая ничего ему не дала, ни от чего не избавила, и всегда будет искать и томиться по другом небе. Вот это другое небо и лучшее небо он и находит под куполом храма, где ползущие клубы ладанного дыма заменяют ему облака, а мерцания восковых свечей заменяют ему звезды. И не надо им этих изменчивых, обманчивых звезд! Церковь — выше, святее. Она рыдает с человеком, утешает его, чего никогда не сделает ваша природа.

Он был очень красноречив; какой-то "моменталист" в красноречии: слова, образы, мысли родились у него в разговоре моментально и в изумительной красоте. Но он их забывал и ничего не умел даже сносно написать. Был ленив какою-то ужасною, первобытною и непоправимою ленью. Читал прислуге "Катакомбы" Евгения Тур и нигде не служил. Днем, бывало, наложит в медную полоскательную (из-под чая) чашку зажженного ладана, — и курил им по всем комнатам квартиры. "Ничего нет слаще". А живя рядом с лесом (на даче, для детей), никогда не ходил в лес. Любил разговоры, споры, но непременно в комнате, в душевой. И, будучи вообще безмерно вялым (кроме красноречия), любил одной—двумя—тремя рюмочками приводить себя в семинарское возбуждение.

Связываю все это в один образ (подлинный), потому что тут есть о чем подумать г. Челышеву. Это — органы одного организма.

Но он был очень умен, — и вот его цельный и красивый и, если хотите, основательный взгляд на вещи, которого я даже не умею оппорить, но как-то инстинктивно его ненавижу, чую в нем народную гибель. Оспорить этот взгляд, может быть, и невозможно, ибо в природе действительно есть и болезни, и голод; но чтобы именно победить их, *чего ведь никогда и церковь не сделала*, — нужно оторваться от этого взгляда, нужно форменно поднять против него войну, вот как была между Валленштейном и Густавом Адольфом. Да, из-за вопроса о том, которое же небо лучше, натуральное или с византийскими позолотами и водочкой для утешения, поднимется когда-нибудь настоящая религиозная война в России, для которой уже сейчас есть больше горючего материала, чем сколько его было в Германии в XVI веке, когда люди разделились, в сущности, по таким богословским, комнатным вопросам, как о том, спасаются ли они "одною верою" (Лютер) или верою "и добрыми делами" (католическое богословие). Что касается меня, то я давно решил, что эти подкрававшиеся византийские позолоты, заместившие собою свежее, легкое, голубое небо, где так легко физически дышится, под которым мы набираемся силами, энергией, деловитостью, предприимчивостью, все эти "позолоты", и "ладаны", и "свечи" (все — с во-

дочкой) суть тихий, кроткий, незаметный и тем более яростный внутри бунт против Бога, Творца миров и настоящего натурального неба... И для настояще религиозной, подлинно религиозной войны потому и есть условия, что война эта будет за возвращение к настоящему Богу, к Творцу миров, и звезд, и луны; к Богу *подлинному* взамен кого-то другого, о чем на и нашептала умиравшая тогда Византия.

III

В рисунке "Св. Стефан порубил прокудливую березу" — она вся, эта Византия, стоит перед нами, как живая... Как "живая"? Нужно читать — как "подлинная": ибо о "жизни" тут не может быть и речи. Напротив, подлинность и выдержанность в передаче византийского мотива и заключается в том, что все здесь, все фигуры, люди, действия их уже суть "во умерщвлении", умерли; суть схемы, манекены. Вот горка, желтообразного цвета, позади людей. Камни это или не камни — и не разберешь. "Человек не взирает на природу", — и иконописец, зная, что молящиеся "не взирают на природу", изобразил явно *горы* — как ряд желтоватых, совершенно бессмысленных овалов, без единой подробности и без всякого сходства с чем-нибудь действительным. Между тем *горы* ведь нарисовать так легко, — но они так же убраны, как и небо, позолотою и заменены вот этими овалами. Под ногами "травие" — схема травы; даже цвет ее не зеленый, а какой-то коричневый, хотя в листьях "прокудливой березы" дана зеленая краска и, следовательно, она была в обладании живописца. Но живописец-иконописец не заметил, что трава бывает зеленая. "Не надо" или "все равно". Это ведь не ладан, которого выбирается всегда хороший сорт ("росной ладан").

И вот, наконец, люди! Отрок со сложенными ручками благочестиво глядит вперед; он — умилен: как бы смотрит на какое священнодействие. Позади его четыре фигуры. Три — "так себе", схемки; схемки изнеможения и старости; однако у всех в очертаниях рта какая-то безгливость или недоумение. "Какая гадость завелась на свете"... Гадость — это то, что порубает св. Стефан. Но сперва о четвертой фигуре, которая из собирательного "народа" одна вычерчена ясно. Расставив ручки, склонив голову, она выражает одновременно и одобрение подвигу св. Стефана, и недоумение о том, как же люди осмелились в самом деле завести такую гадость и нечисть, как эти "прокудливые березы". "Брады" пуще-но больше, чем на остальных фигурах, и вообще старости и дряхлости больше. Одежда у всех, кроме отрока, длинная, важная, и вообще это перед нами как бы *senatores regni caelestia**...

И вот, наконец, св. Стефан. По житию судя, в пору срубания прокудливой березы он был еще в цвете сил. Но история, *точная* биография,

* сенаторы, повелевающие небесными сферами (*лат.*).

сырые факты ее так же не нужны здесь, как и природа, горы, трава. Не трава, а "травие". "Травие", заменившее траву, наполняет и житие святого, откуда убрано все несхематическое, все сырое, действительное; и, наконец, общая тенденция к "травию" перенесена и на рисунок. Не *настоящий* Стефан, срубивший в цвете лет языческое дерево, стоит перед нами, а уже совершенно изнеможенный, предгробный старец, с белым, бескровным лицом. Последнее выражено через то, что хотя брада и сделана длиннее, чем на остальных всех фигурах, но штрихов на нее положено гораздо меньше, она чуть-чуть очерчена с каемочки, с боков и снизу; и белая бумага с этими чуть-чуть черточками дает впечатление "побледневшего, как бумага", бескровного, почти мертвого лица. Одевание — монашеское: этот черный почти чепчик (куколь, что ли), узко охвативший голову и гладко положенный далее на плечи, дает лику вид последней кротости и незлобия. "Сим победиши мир"... В фигуре нет гнева (к прокудливой березе), только недоумение: "Как сие могло стать?" То же недоумение выражено в левой полуприподнятой руке с отставленным большим пальцем: не то благословляет она, не то дивится. Привыкла благословлять, а на сей раз удивляется! В правой руке... но это уже не рука, а десница. Кулачок маленький и еле-еле держит топорик. И топорик — наподобие секир московских, но маленький, "кроткий", — скорее приложен к дереву, чем рубит его. Таким кротким топориком, в таком благословляющем жесте, нельзя не то что срубить матерую березу, но и нащепать лучины. И вот, наконец, она, злодейка, — "прокудливая береза": на ее сучьях и ветвях накинут, кажется, мех (убитого зверя) и красная тряпка (лента, полотнище материи?). Она обряжена бедная зырянами, подобно как наш мужичок в светлую, благую, позволю сказать себе, — в *святую* минуту обряжает коня, рабочего друга своего, завивая в гриву его ленты и обвивая вокруг дуги тряпку. "Сам наряден, и коню — наряд". И хорошо, нечего смеяться. Но тут я взглянул на пояснительный текст.

"...Иоанн Васильевич III, собиратель Русской земли, для окончательного покорения зырян посылал 12-тысячный отряд; зыряне были побеждены и поднесли воеводе шестнадцать сороков соболей, тридцать поставов сукна, три панциря, шишак и две сабли булатные..."

Все наше, родное, из Иловайского. Или гораздо лучше — эта Русь, забредшая к зырянам, на Урал, — напоминает нам сцену из странствий Руслана и Фарлафа в воображении ли Пушкина или Глинки. Эти "сорок сороков соболей" даже звучат хорошо; а уж поносить на плечах такую красоту...

Но будем продолжать.

"Зыряне были язычники, они поклонялись идолам, многим величественным неодушевленным предметам и таинственным явлениям: солнцу, луне, звездам, грому, молнии, лесу..."

Легко написать и напечатать: "поклонялись луне и лесу..." А вообразить? Невозможно *для нас!* До того уже давно все умерло! Ну, однако же, ну — что-нибудь представить? "Поклонялись" луне и лесу — что же

и может обозначать другое, как что и "луна" и "лес" им представлялись живыми и одушевленными, но зачарованными и зачаровывающими? Это не "лес", как его почувствовал бы Островский или Репин, а лес Жуковского или Нестерова; и луна эта — не та, на которую смотрит в трубу проф. Глазенап, а та, о которой Бюргер и Жуковский оба говорят:

Светит месяц, дол сребрится...
Мертвый с девицею мчится.

Который месяц лучше и, наконец, который *истиннее*, — Глазенапа или Жуковского? Оба хороши, и даже оба — истинны! В другом месте той же "Людмилы" поэт говорит:

Вот усыпала звездами
Ночь спокойный свод небес;
Мрачен дол и мрачен лес.
Вот и месяц величавый
Встал над тихою дубравой...

Если и "лес" — только ботаника или сюжет лесного департамента, то позвольте спросить, отчего мне, отчего всякому, отчего при Рюрике и в сем 1908 году он кажется "мрачным", т. е. дающим какое-то психическое впечатление, приблизительно такое же, какое от него испытывал Жуковский? Лес — конечно, ботаника, и луна — предмет астрономии. Но это — одна половина явления, и поэзия открывает нам другую и точь-в-точь столь же истинную половину их, что они "чаруют" и "зачаровывают", что в них есть *начало* сказок, страхов, видений, привидений, чего угодно, и истинного, и неистинного, полуистинного, ну вот именно "сказочного", но с оттенком правдоподобия. Не как на сказку смотрим мы, в нее не верующие, а как на сказку смотрели бы бабушки, в нее веровавшие.

Чу, в лесу потрясся лист!
Чу, в глуши раздался свист!
Черный ворон встрепенулся;
Вздрогнул конь и отшатнулся;
Вспыхнул в поле огонек...

Этого кто же не видал, на это кто же не озирался, кто не знает этих звуковых и теневых совпадений, которые, бывало, как увидишь, услышишь мальчиком, — так страх и забирается за рубашонку, ноги слабеют, до дому добежать далеко, закричать — кому же?.. Да ведь и теперь, взрослым и ученым, кое-что такое же переживаешь и *впечатление*, во всяком случае, есть у всякого, *впечатление*, протягивающееся не к наблюдениям проф. Глазенапа, а протягивающееся и почти до протягивающееся до переживаний Жуковского и Лермонтова:

...Бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним...

Или:

Ночевала тучка золотая
На груди утеса великана...

Это — "олицетворения" природы... Опять в учебничке легко сказать — "олицетворение", а ведь, по существу-то, действительно во всей природе рассеяны эти "лица" вещей, ведь каждый предмет имеет в себе свое "лицо" и свою заднюю сторону или боковые стороны... И, например, сила человека, сила мыслителя, сила поэта, да даже и практического дельца заключается в том, чтобы уметь брать предметы и уметь относиться к явлениям "с лица их"... Я бессилён выразить мысль свою, и, может быть, мне поможет сближение с известной, с понятной и признанной поговоркой: "взять быка за рога", — что относится отнюдь не к "рогатым" предметам. В человеке, его фигуре, его душе дан "последний чекан", но уже и до человека все вещи "чеканились", — и во всех их, много ли, мало ли, проступала эта будущая окончательная форма, т. е. все стремилось к человеку, все очеловечивалось заранее...

Древний так называемый язычник, вот, например, эти зыряне, и прозирали "лицо" в окружающих предметах и явлениях, видели "лицо" солнца, "лицо" луны, "лик" звездного неба, "душу" грома, "душу" молнии, "душу" леса: они имели, так сказать, метерлинковский взгляд на вещи, а не взгляд писаревско-добролюбовский. И они не фантазировали, а просто душа их, еще не износившаяся в истории, представляла, так сказать, более восприимчивую, тоньше восприимчивую фотографическую пластинку для отражений природы, нежели, например, наша душа, душа современного человека, какая-то резиновая, мертвая и загрязненная, которая "чувствует" только тогда, когда по ней обухом стучат. Было утро человечества, — и был утренний взгляд на все, этот свежий, этот чистый, этот благородный и необыкновенно *здоровый* взгляд...

Читатель уже догадывается, на что св. Стефан поднял топор.

IV

Продолжим рассказ о зырянах и их старом язычестве.

"Главным богом признавался идол *Иомал*, — он был украшен золотым венцом с 12 дорогими камнями, с дорогим ожерельем, стоявшим несколько сот тысяч рублей, и богатейшею разноцветною одеждою и самыми дорогими мехами".

"Венец" — это всегда повторение солнечного *диска* с лучами... И может быть, "12 камней" на нем, не меньше и не больше, выражали 12 месяцев года, 12 маленьких "личиков" его: ибо и мы даже говорим, что март и декабрь имеют совершенно разную "физиономию"... Эти венчики из лучей, *ничего уже более не выражая*, — перешли и на наши образа. Но *происхождение* их — солнечное, языческое.

”Кроме Иомала большим почетом пользовалась целая семья богов — идолы: *Златая Баба* с сыном и внуком, и ее муж *Войпель*. Златая Баба была сделана из камня и покрыта золотом; она изображала собою старуху, на руках держала младенца, — это был ее сын; другой младенец стоял возле нее, этот считался ее внуком”.

От солнца — все растет, и оно святее всего; ”святее” не в нашем смысле, вот чего-то старенького и ветхонького, а потому и ”святого” (все безусловно лики на наших иконах), а ”святее” в смысле более верховного могущества, — могущества более изначального и независимого. Вы видите — совсем другая категория святости: это не ”святость” мощей, которые лежат, а ”святость” солнца, которое двигается и от которого все тоже двигается, растет, расцветает, приносит плоды. Но во главе всех растущих вещей стоит рост самого человека: и вот — бабушка, вот внук, вот сын ее, вот муж — целая генерация. Это — поклонение генерационному, родовому началу мира, той тайне всего живого и высшего, по которой в нем ничего не появляется вновь и самостоятельно, ничто не существует одиночно и независимо, а все связано со всем, все растет из всего, и целый мир является как бы мировым деревом, где есть смерть частей и нет и никогда не будет смерти целого. Я говорю, что ”мир является”, а не что мы ”представляем мир себе...”. Зыряне поклонялись не ”представлениям” своим, не фантазиям, а действительно и справедливо проникнутому ими *существо* мира...

”В честь Златой Бабы устраивались богатые капища; ей приносились в жертву лучшие олени и другие дорогие звери; шкуры навешивались на идола и затем поступали в пользу идолослужителей; мясо тут же жарилось на костре и съедалось приносителями. Войпель, супруг Златой Бабы, держал на коленях большую золотую чашу, сюда клалось золото и серебро, приносимое в жертву богу-идолу и поступавшее в пользу старцев-наставников”.

Ну, это суеверие, *нарост* на истине, каких и у нас около православия по уездам много. ”Суеверие” всегда надо отколупнуть и посмотреть, что за ним лежит: если — здоровое мясо, свежая истина, то его надо ”постричь” и ”пообчистить”, как мы остригаем ногти на пальцах, а не ”вырывать с мясом”, что и вредно, и больно, и, наконец, — просто ложно. ”Суеверия” — кора на Древе жизни, мохнатая, корявая, но красивая и без которой дерево не живет, умирает.

”Кроме этих идолов с особым благоговением зыряне поклонялись *Прокудливой березе*. Эта вековая береза отличалась громадною высотой и толщиной; она росла в Усть-Выми, на высоком крутом берегу реки Выми при слиянии с Вычегдою. Все стволы, сучья и ветки ее обвешивались полосами разноцветных материй. Кроме этих божеств у зырян было много и других: они признавали разных духов — лесного, водяного, земляного, домового, овинного, банного, печального, портящего и др.; они верили в Бога вездесущего и всемогущего, и в злого духа, и в нечистого. Кроме общественных идолов, стоящих в кумирнях, было

много идолов домашних. Зыряне также верили, что вся природа населена враждебными или дружелюбными духами-божествами, и поэтому почитали большие горы, высокие обрывистые утесы, громадные камни, больших медведей, озера и рыб”.

В этом кратком очерке-перечне, который составляет современный интеллигент, — уже ничего разобрать нельзя. ”Пришел в *Бежин Луг*: траву скосил, а духов не встретил”, — мог бы сказать Писарев, Базаров, говорили Бокль, Дрэпер, говорит половина человечества... Но мальчики с ”Бежина Луга” рассказывали ночью около костра, что они видели совсем другое... Шекспир в ”Буре” совершенно иначе говорит о мире, чем Дрэпер. К Шекспиру примыкают Жуковский, Лермонтов, Гоголь, поэты и вообще поэзия; какой, например, древностью веет от слов Касьяна из ”Красивой Мечи” (Тургенев): ”Кровь *нельзя показывать*, кровь — *солнышка никогда не видит!*” Действительно, — ”увидит” и свернется, умрет. Действительно, ”нельзя показывать”: ”не убий!” Каким образом тайна моральная и тайна космологическая связываются?! Да, мир имеет не только что тех ”духов”, ту степень повсюдной одушевленности, какая представлялась зырянам: а можно сказать, что ”духов” в нем еще гораздо больше, и так много, что все Олимпы и Капитолии тесны для них...

Что же такое сделал св. Стефан, когда он поднял топор на ”Прокудливую березу”? Он поднял его против мальчиков из ”Бежина Луга” и поднял его за Дрэпера-Бокля-Писарева и ”Stoff und Kraft”... ”Все это — глупости, ничего нет, пустое, *призраки*”, — сказал он. И срубил все ”призрачное”, ”полуистинное”, пока его самого не спросили: ”Да у вас то самих не *полупризрачное ли?*” Вот история богословия, круг которого заканчивается в наши дни: тем самым топором, которым была срублена ”Прокудливая береза”, — *именно этим топором* рубится теперь и все богословие, в котором если выбросить ”полупризрачное” и ”полуистинное”, то останется такая скука, такой календарь всяких сведений, такая высохшая семинарская тетрадка, от которой стошнит всякого и которой никто в человечестве не поклонится и не должен поклониться.

V

Суть, главная суть смены язычества христианством заключалась в перемене поклонения, которое раньше относилось к ”ликам” природы, ”полуистинам” и ”полупризракам”, вложенным в существо натуральных и извечных вещей, — и в отнесении этого поклонения к полупризракам же и полуистинам биографического характера, к ”легендам”, ”преданиям”, ”житиям”. Это — одно, перемена адреса. Другое: все прежние ”полупризраки” были утреннего, молодого, сильного характера; новые адресаты все суть старообразного, болезненного характера, ”калеки” и калечество, ”юродивые” и юродство, ”блаженненькие” и блаженство;

все — прихрамывающее, кашляющее и обыкновенно лежащее или сидящее. Лучше лежащее.

Вот и все. Вот главное.

”Слово о полку Игореве” — на сотни лет забылось! Не горе бы, если бы его уничтожили, вырвали, убили. Нет, произошло хуже: оно всем стало не нужно, не интересно. Грамотные жили, но его не читали. Списывали много: но его не списывали. ”Не интересно! Не влечет!” Вот ужас, вот настоящий ужас: и сохранилось, завалилось, спаслось чудом всего два списка. Вообразите время, когда Пушкин станет до того неинтересным, что его сохранится всего два экземпляра в России, в старом чулане уездного помещика! Пушкина забудут. ”Не интересно! Не влечет!” Не правда ли, если бы это произошло с Пушкиным, мы прокляли бы эпоху, прокляли бы тех русских, которым Пушкин сделался окончательно и совершенно ненужным! В сердце своем мы полагаем, что Пушкин есть мера русского ума и души: мы не Пушкина измеряем русским сердцем, а русское сердце измеряем Пушкиным: и Россия, отряхнувшая от своих ног Пушкина, — просто для нас не Россия, не отечество, не ”своя страна”...

Но ”Слово о полку Игореве” — это как бы Пушкин ранней России. И на месте его Византия воздвигла ”Киевский Патерик”, где кто-то кого-то искушал и кто-то чем-то не соблазнился, и вот что он не соблазнился и воздержался — это для всей России должно было стать интереснее войны с половцами, и песен Баяна, и плача Ярославны!

Россия сжалась, высохла. Народ — молоденький, ему по возрасту 12 лет: но он обязан был сгорбиться, покрыться морщинами, начать хотя бы искусственно кашлять и прихрамывать. И это такая ”суть” России до Петра, которая важнее сотен страниц, где Соловьев или Карамзин разъясняют по рубрикам их разницу.

Все — второстепенное, это — главное. Главное — старость, обязательный образ старости, устав старости.

Явно, что народ, в сущности, с юными силами задыхался под этим. На Западе Шекспир — у нас ”Патерик”; на Западе Колумб плывет в Америку, Коперник рассматривает небо — у нас ”Патерик”; там турниры — у нас опять ”Патерик”. ”Патерик” — и ничего, кроме ”Патерика”. Народ стал забывать сказки, народ стал забывать свои песни. Все это едва терпелось, терпелось не на виду, под спудом. ”На виду” — только Патерик. Наконец стал перерезываться или, точнее, перетираться пульс самой сказочности и песенности: ”не хочется” читать ”Слово о полку Игореве” и также ”не хочется” слушать сказку, слушать песню: ибо в душе зародились мотивы все ”слезные”, все ”хромающие”.

И затянул народ ”горькую”... Я хочу сказать и, наконец, я хочу крикнуть, что, конечно, индивидуально, там и здесь, лично и фамильно, ”запой” возникает в силу конкретных причин, указуемых, называемых... Но они — обманывают. Это ”деревья”, а не ”лес”. Лес пьянства, как народного явления, как явления всеобволакивающего быта, — и пьянства

не как "хмелька", здорового и поэтического, а этого горького, унылого, беспесенного — лежит в глубокой подсеченности сил народа, подсеченности не налоговой, не финансовой, не полицейско-правительственной (хотя все это есть и выходит в пьянство "боком", а не "с лица"), а вот этой более глубокой и более страшной, что природа и ее великие "олицетворения" угасли для народа, и он стал одинок, остался единственным "лицом" в мире, скучающим, томящимся. Он стал "городским" человеком даже и в деревне, как, конечно, можно быть "деревенским человеком" и в городе. Суть города не в мостовых, а в отсутствии сказок. Суть нового разрыва в том, что человек везде стал видеть ботанику и дровяные склады, что "воздух" заменился для него "смесью кислорода и азота" и ему стало нечем дышать... Нечем дышать душе его... скажем для осторожности — и в Византии. Для олицетворений в природе — нет игры фантазии; нет сочувствия к природе — просто холодно стало человеку жить в похолодевшем мире. "Надо согреться..." Разумный все поймет в моих словах. И я ему доскажу только, как заплакала "Прокудливая береза", когда ее срубили. Это удивительно близко к тому, что сказал о срубленном дереве гр. Л. Толстой в "Трех смертях". В Толстом точно заговорило древнее язычество: какой поздний отпрыск!

"Ради упрочения своей проповеди св. Стефан пожелал разрушить главную кумирницу и срубить Прокудливую березу. Это дело было очень трудное, и святитель долго молился и просил у Бога помощи. И удостоился он получить откровение от Бога: "Мужайся, Стефан, испепели кумирницу и искорени Прокудливую березу: Я твой помощник". С твердою надеждою на Бога св. Стефан начал рубить дерево; после каждого удара, по зырянским преданиям, разносились по воздуху жалобные стоны и крики мужские, женские, старческие и младенческие: "Стефан, Стефан! зачем нас гониши? Сие есть наше древнее пребывание". Это вопили, по верованию зырян, темные, тайные духи, которые находились здесь. За каждым ударом лились из дерева разноцветные струи как бы крови, т. е. березового сока. В первый день св. Стефан не мог срубить дерева; на другой день утром он снова приступил к работе; к изумлению святителя и ужасу язычников, дерево оказалось целым. Проповедник не смутился этим явлением и снова стал рубить дерево; только на третий день он успешно покончил с березой. Срубленная береза свалилась с крутого утеса в реку Вымь: произошел страшный шум, потряслась земля, всколыхнулась река. Когда наступила тишина, св. Стефан приказал зырянам-христианам рубить дерево на части, а кумирницу разрушить. При этом было много устрашающих воплей. Но святитель ничем не смущался и ободрял бывших с ним. Разрубленная береза, разобранная на части кумирница и бывшие в ней идолы, — все это было сложено в костер, сожжено и обращено в пепел. Налетел внезапный бурный вихрь и развеял пепел; неожиданно прошел сильный проливной дождь и омыл место".

Так были срублены сказки и все сказочное; и был основан первый кабак на Руси.

Задуматься есть над чем. Ну, вот этот "дождь, омывающий землю после язычества", и внезапно "налетевший бурный вихрь", — не есть ли это та же "Прокудливая береза", прокрававшаяся в житие святого? Вечное — вечно, а ложь сама в себе умирает. Уберите из жития эти "говоры стихий", и что от него останется? И почитать нечего. "Говоры стихий", — но ведь это и есть то самое, чему поклонялись зыряне и что срубить только попытку сделал Стефан. "Вечное — вечно": сказка убрала житие святого, и по присутствию "милых призраков" новые христиане любовно начали читать "жития" святых. Без них, т. е. в последнем анализе без той же "Прокудливой березы", из них вылетел бы дух, смысл, милое и прекрасное. Знаете ли, что церковь, порубившая "вечные деревья", только и живет веточками их же? И не будь внесено их в храм христианский — ему нечем было бы и вздохнуть.

Вот Троицын день — и опять березки. И в руках — цветы. Самый светлый праздник в году, *народный, деревенский*. На Пасху христосуемся яичками, чем-то вышедшим из *живого существа*, окрашенным, нарядным! Ведь эти яички с "Прокудливой березы" — кто об этом не догадается? На Флора и Лавра кропят св. водой лошадей и коров. Св. вода — опять *стихия*, т. е. одна из "разноцветных струй", которые с плачем потекли из Прокудливой березы. Без "Прокудливой березы" шагу ступить нельзя: умри она действительно, испепелись окончательно — и все уснуло бы, погибло или стало бы до того скучным, безнарядным, томительным, что преступления из десятков возросли бы в тысячи и народ не оторвать бы от горлышка бутылки. Пока что спасается — еще ею спасается. Ее мнут и никак не могут замять. Знаете ли, что лучшее освещение дел Петра Великого отсюда же получается: "он поднял "матушку-березку" и опять посадил, ну, кое-как, ну, сколько-нибудь, сколько можно еще; и из нее зацвели науки и искусства. "Прокудливая береза" — это сам народ, великое его тело, которое то сохнет, то опять оживает. И жить ему вечно; и поклонимся без рассуждений, без умствований, наивно и народу-дереву и... деревцу-человечку, его маленькой и темненькой душеньке. И поклонимся поэтам-провидцам, всему слову и всякой словесности и живописи человеческой, которая, посмотрите, как, например, "в русском ландшафте" уловляет особое, исключительное, неповторимое "олицетворение" русского леса, русского поля, русской избы. Но это все знали уже зыряне, как и помнят дети с "Бежина Луга", перешептываясь, что есть "духи домовые", и "лесные", и "ручьев", и "гор"...

Будем любить природу. Будем любить жизнь. И мы выздоровеем! И когда мы выздоровеем — мы перестанем пить. Пьянство — болезнь. Или, точнее, — оно показатель, симптом глубоких заболеваний, духовных и биологических, народа. Знаете ли, что "лечит пьянство", "борется против пьянства" всякий, подносящий к носу своему цветок, и всякий,

сажающий дерево, и всякий, срубающий себе избу... Но это уже детали "Прокудливой березы", которые подберет себе и по-своему всякий и каждый удлинит их до бесконечности... Она вечна и она всемирна, мистична, религиозна, и в ней вечная жизнь... "Дерево огромное и старое", — как записано и в житии святого, бессильно старавшегося срубить ее и рубившего только ее призрак, ее внешность, ее кору, но не ее сердечку и существо.

РЕЛИГИОЗНАЯ МИСТЕРИЯ СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИЯ, ГРЕХА И ОЧИЩЕНИЯ

Снова зажгутся на вышках колоколен пасхальные огни, снова молящиеся с зажженными свечами потекут вокруг церковных стен, снова погребальные тоны великой субботы встретятся с победными возгласами воскресения и разольется по всей великой Руси красный звон, нарядные одежды светлых цветов и приветствия на улицах друг друга со стороны даже незнакомых людей:

- Христос воскрес!
- Воистину воскрес!

И каким-то примирением, чем-то восторженным все это прокатится от Великого океана до Атлантического, от Ледовитого моря до благословенной Тавриды и Греции.

Дни Страстной седмицы с днями "Цветной недели", как именуются пасхальные семь дней в церкви, образуют единое целое, выраженное в двух противоположных членах. Как голова и ноги не имеют ничего между собою сходного и, однако, образуют "единый организм", так и тут. В праздник Пасхи, самые ранние мотивы которого лежат далеко за пределами христианства и находятся еще в древнем язычестве Сирии и Египта, в этом празднике слились определенный евангельский рассказ о событиях из жизни Иисуса Христа с каким-то более общим, более универсальным ощущением важной мировой тайны, которую наравне с христианами испытывают и не-христиане, с образованными людьми чувствует и *темный народ*.

Все рождается и расцветает, потом все стареется и умирает. Что это такое, почему?

Еще мы более поразимся, обратив внимание на то, что *расцвет* и *гибель* присущи именно высшему, одушевленному, прекраснейшему в мире. Камни не умирают, а вот человек, — как он мучится иногда и умирает в стенаниях, в плаче. Отчего именно высшему присуще страдание? И если мы перенесем эту мысль или, лучше сказать, это наблюдение к высшему из высших существ, к самому Богу, то не повторится ли эта мировая тайна и в отношении Его? Трепещем спросить, а не можем удержаться, чтобы не спросить: уж не умирает ли

и Бог? "Бог безначален, вечен, неизменяем", — учит богословие в первом своем томе. А во втором оно же учит: "Христос, Бог наш, умер и был погребен за грехи наши".

И воскрес!

Вот камни не знают тоже и *воскресения!* Что не расцветает, не было рождено, что не мучилось и, наконец, не погибло, — не знает и тайны воскресения, вторичного оживления, второй жизни. У них больше бытия, у этих камней, они *дольше* существуют, но существование-то это какое-то неглубокое. *Воскреснуть* — это как бы в *секунде* бытия хлебнуть столько жизни, почерпнуть такую глубь бытия, засверкать таким сверканием душевности, оживления, напряжения всех его способностей, что годы и века тягучей жизни "так себе" не могут пойти с этим в сравнение. Разве одинаково здоровое состояние с *выздоровлением?* В выздоровлении — особое сияние, особая душевность. Выздоровление не только живет, но как-то светится, и светится собою. Выздоровление то же в сравнении с здоровьем, что цветок сравнительно со стеблем растения: оно все разукрашено, пахуче, дрожит чем-то новым и блаженным в каждой ниточке своей, в каждой минуточке своей. Выздоровление — удесятенное здоровье. Ну, а воскресение — это как бы сто жизней, тысяча жизней, совокупленных в одну жизнь, совершающихся в одном существе, и именно после того, как оно умерло, заболело невероятным заболеванием, единственным, исключительным.

Смерть — *предел* болезни, как воскресение — *предел* жизни. "Предел" в смысле того, к чему приближаются болезнь, с одной стороны, и жизнь — с другой, но чего они не достигают. *Смерть* — о ней уж никто не расскажет, что она такое: смерть — такая же тайна, как и воскресение, столь же непостижимая. Нам даны, мы испытываем только *приближения* к одному и к другому: приближения к смерти — в болезни, приближения к воскресению — в выздоровлении. Но очевидно, что *приближается*, то и имеет *предел*: нет пути без *конца* пути. Эти "концы" — смерть и воскресение.

В 14 днях, в величайшем годовом празднике или, точнее, в величайшем за год религиозном торжестве и проходит перед очами задумывающегося человека великая мистерия смерти и воскрешения... Отнесенная к Богу, совершающаяся в отношении И. Христа, она, однако, выражает собою то самое, то объемлет и нас всех, и эта мистерия есть поистине не только зрелище, но и *испытание*. Можно, конечно, на Страстной седмице и в Цветную неделю только смотреть и молиться, взирать и соучаствовать как бы чему-то чужому, *не своему, не личному*, но это не есть настоящее и глубокое отношение к празднику. Его нужно *переживать* трепещущему и ограниченному, испуганному и грешному человеку как что-то *свое, личное*: "До смерти — *подумай о смерти*, ранее воскресения — жди и *обрадуйся воскресению*, как бы оно уже совершилось с тобою. Погрузись, — не мыслью одною, но самым животом своим, всем трепетом своего существа, — в пучину смерти, ожидающей тебя, и в пу-

чину воскресения, обещанного тебе... *"Сойди и восстань!"* Вот великое поучение праздника, великий призыв его. Как мало людей, которые его слышат; как немногие это понимают!

Гераклит, греческий философ, прозванный "темным" за особенную глубину своего учения, нераздельную с некоторою неясностью, учил, что все в мире и, наконец, весь мир подобны напряженному противопоставлению лука и тетивы его. Нельзя *натянуть* лук, не оттянув тетивы его в сторону, обратную самому луку, — тогда только пущенная стрела и полетит хорошо. Одна рука при натягивании *отодвигает* лук от груди стрелка, а другою рукою он *притягивает* к груди своей тетиву. Кажется, *противоположность!* Кажется, *вражда!* "Да, но из *вражды*-то и образуется все в мире и вражда есть родитель всех вещей", — учил этот темный Гераклит. В *смерти* и *воскресении* замкнуто существо человека, и это ведь "тетива" и "лук", смерть — тетива, воскресение — лук; но и живет-то человек в каждый миг свой раздираемый *грехом* и *покаянием*. И это также — тетива и лук морального существования человека, в этих состояниях бьется пульс человечества! Все грешим. Отчего, — никто не знает! Камни не грешат. И все бьем себя кулаками в перси, рыдаем, истаиваем в слезах сожаления. Этого тоже не знают камни! Зачем это все? Никто не знает. Но это есть.

Есть, как смерть и воскресение, таинственный пульс нашей биологии, нашей космологии. Почему-то умираем и воскресаем, почему-то грешим и каемся.

Что такое грех? Смерть души, умирание души, болезнь души. А раскаяние — ее воскресение! Биологическим фактам, космологическим фактам сопутствуют или, вернее, текут с ними параллельно факты душевные, аналогичные, подобные, хотя в своей сфере, в *другой* сфере. В раскаянии душа не только возвращает "все свое", все "прежнее", но еще в это прежнее она входит посвежевшею и усиленною! Невинность, состояние до греха подобно здоровью; оно ровно, спокойно, прекрасно, но не имеет в себе сияния, сверкания. Невинность — матовое добро. Состояние *после* раскаяния все полно этих сверканий, слез и восторгов, учащенного биения сердца. Поистине это воскресение! Такими восторгами нельзя часто жить, как и нужно, конечно, избежать необходимости каяться, т. е. удерживаться от греха, не допускать себя до него, быть осторожным. С понятием и чувством греха и раскаяния сделано чрезвычайно много злоупотреблений, особенно в католичестве. Находились люди, которые *преднамеренно* искали греха, совершали тяжкие проступки, чтобы испытать сладость и восторг покаяния. Но явно, что это есть злоупотребление, как если бы кто-нибудь, указывая на то, что вода дана для питья, опился. Вода дана для удовлетворения *жажды*, и великий акт покаяния, способность его введена в душу человека как средство великого исцеления на случай "несчастий" совести, "впадений" человека в бездну слабости и увлечений. Но самое-то падение есть все-таки падение *книзу*, да и покаяние, рассчитанное наперед, никогда не есть настоящее

покаяние, а лишь его риторика и форма. Как и все святые акты души, покаяние "выходит" только тогда, когда оно нечаянно...

Четырнадцать дней Страстной седмицы и Цветной недели и включают в себе первым актом *покаяние*. Народ наш инстинктивно сочетал думу о смерти и воскресении с актами раскаяния и очищения. Все "говеют" на Страстной, чтобы "радостно встретить праздник"; исповедуются и причащаются, чтобы светлыми пойти к заутрене. Что это есть менее церковное правило, нежели обычай народа, нежели инстинкт общечеловеческого сердца, — видно из того, что в аналогичных праздниках древней Сирии и Египта, еще задолго до Рождества Христова, "покаяние" и "очищение", слезы, рыдания и биение себя в грудь, притом целого народа, также входили в первую часть "воскресной" мистерии. Теперь перейдем к ней в самом ее центре.

Бог умер за грехи мира... Отец послал Сына на землю, чтобы умереть за грех человеческий. Мысль эта, представление это, догадка эта поражают воображение трагичностью, величием и неизмеримою любовью. Можно сказать, что народ, — если он вжился в это представление, приблизился к нему и усвоил его себе, — на нем одном воспитывается более, чем сколько бы он мог воспитаться на бездне школок, книжечек, лекций. Вот отчего никто не скажет, чтобы наш "темный" народ сколько-нибудь умственно и особенно душевно уступал, напр., столь грамотным немецким простолюдинам. Ничего подобного мы не скажем о своем народе, да не скажут этого и иностранцы, кроме разве очень подслеповатых. Мы же, образованные люди, при первом знакомстве с народом, при первом прикосновении к нему обыкновенно поражаемся необычайною глубиной, сложностью и красотой его душевного развития, его сердечного понимания, его воззрений на человека, на совесть, на судьбу человека. Это передали все наши великие писатели, от Пушкина до Толстого; на этом удивлении основано наше литературное и общественное "народничество". Разумеется, причины этого множественны и на первом месте следует поставить врожденную даровитость народа; но даровитость могла бы пойти и Бог знает на что, — даровитые люди населяют и остроги. Великие концепции о грехе и смерти, о воскресении и Божеском страдании за грех человеческий придали "даровитости" народной культуре, дали ей закал в добрую, нравственную, в глубокую сторону. Просто нельзя остаться *легкомысленным*, нося в душе мысль о такой мировой трагедии, мировой тайне. Мир облекается в смысл при таком о нем представлении, он получает одеяние трагическое, но не до конца, он имеет восторг в себе, но без капельки комедии и комедийного.

Бог умер за грех человеческий... По представлению народному и религиозному, в три дня, пока Его тело пребывало в гробу, душа Его сходила в самый ад и победила ад... Бог, нисходящий в ад, — какая идея!! Мы только привыкли к ней, но в момент, когда она впервые представилась уму человеческому, ум этот не мог не затрепетать в каком-то мистическом ужасе, не мог не задрожать как перед какой-то

смертной опасностью! Есть смелость идей, есть *дерзость* идей, но это "сошествие Божества в ад" принадлежит к числу таких головокружительных идей, подобных которой никогда и ничего не появлялось у Байрона, у Вольтера, у Руссо, у *смелых* людей европейского человечества. Нет, в конце концов Восток глубже Европы, и европейские отрицатели, скептики и новаторы и до краешка не доходили до тех бездн созерцания, до которых давно уже, тысячелетия, дошел горячий, южный Восток...

Между тем, уже "сошествие Бога на землю", самая *суть* христианства, как, впрочем, и *суть* многих ранних восточноазиатских культов, требует естественного дополнения себе в "сошествии в ад". Грех не был бы окончательно побежден, он был бы побежден только эмпирически, в "верхушечке", если бы Бог не спустился ниже земли, в преисподнюю, где лежат корни всего, корни земных дел, грехов человеческих. "Искоренить грех" можно, только сойдя в ад. Но что такое само "нисхождение"? Нисхождение все-таки есть нисхождение "куда-то вниз", "к греху". Потому мы и назвали все эти идеи чрезвычайными, головокружительными, что в них воображение и мысль человеческие закружились над самой опасной бездной. Уже "Бог и на земле" есть по существу своему *смешивание* земного и небесного, с надеждою, что небесное выживет. Но все-таки это есть именно смешение, соединение, причем небесное и божественное, конечно, умаляется, темнеет; темнеет и вместе *светлеет*, умаляется и *увеличивается* до восторга: Бог является в *смирении*. Бог *смиряется*, отказывается от высоты и недосыгаемости своей *ради любви к падшему, униженному, грешному*. Конечно, — это *возвеличение!* Но возвеличение нравственное ценою все-таки умаления, так сказать, космологического, метафизического существа своего. Бог умалился, отрекся от божества Своего (в смысле недосыгаемости), чтобы войти в узкие пределы человеческого существования и даже в последний и самый страшный предел человеческий — в *смерть его*. "Я умер с людьми", "Бог умер с вами"; и Он, как мы, страдал, был унижен и, наконец, погиб, даже не обыкновенною смертью, но больною из больных, и притом позорною, как *преступник*, как *отверженец* от людей. Вот полная концепция христианства.

У нас все теперь и уже давно пошло во фразу, в бездушную риторику, в величавые слова, и мы давно вынули из христианства всю бесконечную скорбь и муку его, какие были в действительности и сочетались с первоначальным понятием. Мы вытерли "кровавый пот" с лица Спасителя, вытерли его расшитым золотом церковным "воздухом", как именуется покров над чашею св. даров; мы устранили человечески-униженное, человечески-страдальческое в Нем, желая почтить Его божество. Мы давно уже "монофизиты" и "монофилиты", хотя и не исповедуем этих древних ересей, но *существо* их мы приняли в том основном воззрении своем, что божество в Иисусе Христе мы признаем совершенно поглотившим Его человечность, человекоподобность, человекосущность. Так и в этом воззрении: задачей христианства требуется,

чтобы мы признали в Нем небесную муку самоумаления, самоограничения не как чего-то *кажущегося*, до некоторой степени театрального и актерского, — пусть будут прощены эти нужные слова, которых совершенно заслуживают пошлые установившиеся представления, — а как настоящую *действительность*. Не величественный Бог величественно сошел на землю и совершил по ней торжественное шествие к прославляемой (нами теперь) Голгофе, — нет, но ко дню земной жизни своей Он *смешался* с людьми и всем человеческим, не внешне, а внутренне, не "кажущимся", а существенным способом, т. е. Он страдальчески умалился в божестве Своем, как, положим, *чистая* вода умалывается в пресности своей, размещиваясь с солью. Вот понять это-то разрушение в Божестве Божества и есть задача постижения христианства. Без него его нет, все превращается в "докетизм", в "кажущееся, а не бывшее".

Нет, настоящее *дело* заключается в том, что Бог смешался с человеческим, что "святое" соединилось с грешным, даже до смерти, даже... до Ада! С надеждою, что святое и божеское выживет, а грех и смерть разрушатся! Но именно только с надеждою, и вообще с чем-то "в будущем", а не то чтобы уже в те 33 года все было "совершено", и Ад "погиб", и грех "побежден". Это опера, а не история; зрелище, а не религиозная мистерия. Повторяю: мы обволокли И. Христа какою-то позолотою, сквозь которую не проникает ничто *настояще-человеческое, существенно-человеческое*, каковое есть прежде всего его слабость, робость, угнетенность и также другие важные черты.

Натуральная, почти натуралистическая религиозная мистерия включает в себе идею о полуразрушении неба в целях воссоздания земли — в надежде великой конечной целостности и Неба, и земли. В одном из халдейских мифов передается, что Бог, чтобы сотворить мир, пролил *кровь свою*, ранил себя. Вот один из самых ранних прообразов христианства, ибо миф этот возник в колыбели человечества, на заре истории, и вместе он уже содержит главную мысль Христовой загадки: о Боге как *жертве*. Бог и *жертва?!..* Ведь обычная мысль состоит в том, что Богу приносится жертва, что Он ее принимает, а не дает. Кому же *еще-то* Он может приносить жертву?.. Это как будто совершенно ниспровергает идею божества, ставит *над Ним* что-то высшее и тем совершенно опрокидывает Небо, обуславливает его и ставит на второе место? Ибо, очевидно, *первый* есть тот, кто принимает жертву. В "Христовом пришествии" на землю первенствует и принимает жертву земля, слабое и грешное человечество, которому Христос "служит"; и даже у богословов 33 года Его жития на земле именуются "служением", "уничижением". Слабость и грех в отношении силы и святости как бы стали *выше*, повернувшись в ободу мирового колеса! Помните эти колеса, с внутренними и внешними ободьями на них, таинственной Колесницы, которая была показана в видении пророку Иезекиилю и в строении и тайне которой он рассматривал самое существо Божие, чего никому не дано

было узреть. Талмуд говорит, что тайны этой Колесницы (Меркаба) так велики, что их можно объяснить не более как только одному ученику, наедине, да и что лишь в том случае, если учитель по каким-нибудь признакам догадается, что тот, кому он хочет сообщить учение, уже сам знает объяснение ее. Это подчеркнутый способ сказать: "Никогда и никому не объясняй". Так, в своеобразной еврейской психологии хранилась эта "неизреченная" тайна Божества, а мы, когда говорим, что "обод колеса повернулся" и все верхнее стало нижним, а нижнее стало верхним в "жертвоприношении Божиим", несколько говорим об этой именно тайне. Как иногда, чтобы *побороть*, великий в силах и искусстве борец падает на колени, становится *ниже* побораемого, принимает его тело на себя, так, чтобы "победить грех", Бог... сошел в Аид? Чтобы *спасти землю*, Он ушел *под* землю! Вот полное дело искупления. Мы знаем о нем только золотые слова. Все облеклось в фразеологию. Но было дело. То ужасное дело, от которого "небо почернело" и "земля сотрясалась в своих основах". Это — не знамение, а самое дело, ибо на трое суток мир как бы был лишен своего Создателя, без "Хозяина", и на секунду все превратилось в такой пессимизм и нигилизм, коего и края не видно.

Безбожие — вот смысл "смерти Бога"; само божество приняло в себя безбожие, рассеялось в себе, перестало быть, испразднилось, чтобы потом, ценою этой жертвы самоуничтожения, воссоединить с собою слабое и грешное человечество и вернуть ему вечность и бессмертие. "И ад раскрыл свой зев и вернул мертвецов..."

Вот полный очерк мистерии этих 14 дней, которую мы должны бы переживать, чтобы "соучаствовать" ей, а не быть только ее пассивными, любующимися зрителями... В мистерии этой запутано множество загадок, и мы не то чтобы разъяснили их, а только указали пальцем: "Вот они". Но, по всему вероятно, они и никогда не будут разгаданы, и даже грешно, может быть, в них заглядывать, а нужно принимать просто, ибо это "дано". На то это и "религия", а не наука, где все ясно, "как дважды два". Этого "дважды два" и не нужно звать в религию, да, впрочем, сколько бы и ни звали, оно не придет. Религия сама себя оберегает. Она — сокровенное.

Ну, хорошо: и пройдут 14 дней, все уляжется, и "колесо" нижней бездны, нашей грязной земли, покатится по-прежнему по навозу, по крови, по воровству, по братоненавидению. Хорошо гадали халдеи, а мы все "ни при чем". Право, есть отчего "померкнуть солнцу" и даже "попадать звездам с неба" уже не от великого таинства смерти Бога за мир, а по ужасной *бестайности*, какую вокруг себя мы до того очевидно видим! Эта наша бестайность, эта плоскость земли, эта *обыкновенность* наших созерцаний, наших чувств, наших поступков есть что-то до того ужасное, что рвется из уст печальное слово: "Бес победил..." Да, ад остался несокрушенным, ибо из его корня произрастают деревья и приносят они плоды, которых, кто ни вкусит, — "смертию умирает".

Оглянитесь на цивилизацию, оглянитесь на все. Неужели, чтобы убедить читателя к согласию, надо переписывать сюда газеты или вписывать сюда историю Шлоссера, — такую *обыкновенную!*.. Все *обыкновенно*, и вот когда через призму этого "обыкновенного" рассматриваешь мифы Халдеи и все последовавшее, то, кажется, не видишь ничего перед собою, кроме сахарного яичка, купленного в мелочной лавке, которого никто не съедает, но оно через несколько месяцев "куда-то деваётся", засаливается или раскалывается так, что на следующий год приходится опять покупать это "сахарное яичко", и т. д., в этой тоже в своем роде маленькой "колеснице" сахарных, куриных и деревянных "подобий". И становится так грустно и так плохо на душе, что шепчешь: "Ничего я не имею! И ничего мне не надо".

И между тем мифы есть, мистерия совершается: ведь это — наглядно, это "дважды два". Что же думать? Не то ли, что мировое колесо дрогнуло и повернулось, но... не довернулось, а стоит на полуобороте. Т. е. что мистерия в самом деле есть, но она есть не в пышных церемониях, с золотыми и позолоченными словами, а *совершается она в самом мироздании и далеко еще не завершилась*. В таком случае "Иову на гноище", с которым можно сравнить человечество в истории, еще остается надежда.

"Боже, раб Твой не исцелен еще. Приди и исцели!"

Вот как мы должны думать и эти четырнадцать дней, и весь год, и всю жизнь.

ЯЗЫЧЕСТВО В ХРИСТИАНСТВЕ

I

Лет восемь назад, на переезде из Севастополя в Феодосию (сколько помню), я спускался в легонькой крымской пролетке с высоты Таврического хребта к Черному морю: кто испытывал, знает, до чего этот спуск, т. е. самое движение экипажа, какое-то быстрое и легкое, приятен. Крымские горы, которые по карте и географии совсем невелики и представляются шуткою, в физическом ощущении огромны, колоссальны. Несколько часов, полдня, все летишь вниз и вниз, — и никак не долетишь до дна, до берега моря. Над головой вертикальная стена, под ногами пропасть: дорога, превосходно сделанная, но узкая, лепится по уступам этих стремнин, перебегая от одного уступа к другому, нижайшему. Она как-то вьется между ними, и, должно быть, много потрудились гг. инженеры, пробивая ее, — к общему удовольствию. Я люблю эту государственную культуру: работал Иванов, а пользуюсь я, Василий, даже и не зная его имени. Но всегда хочется сказать "спасибо" этому неведомому "Иванову", на добросовестности труда которого основывается безопасность и, наконец, удивительный комфорт моей езды. Все

связано, все мы связаны; и будем хоть телепатически и "втемную" поминать друг друга и старые поколения.

Лошади вдруг остановились.

— Может быть, разомнете ноги, — проговорил ямщик, ткнув кнутовищем в сторону маленькой церкви.

Дорога делала "петлю", что ли, но только на сгибе ее образовалась площадка, такая крошечная, что вот только и можно было поставить крохотную эту церковь. Я вышел из пролетки и подошел к церкви. Она была заперта. Конечно, для кого же ее и отпирать! Не помню хорошо, видел ли через окно, чтобы там горела хоть одна свеча, но только церковь не представлялась мне мертвой, безжизненной. Она была только заперта, но жива, *умна* в себе самой. Стал обходить вокруг, и когда перешел к "той стороне", то увидел, что стена церкви почти сливалась со стремниной пропасти, до того глубокой, до того *далекой* в дне, что дух захватывало смотреть туда. Я оглянулся на площадку, на церковь.

— Кто же это строил? Зачем?

Уже целый день я молчал. А молчанье, как известно, сосредоточивает, сгущает думы. Да я и не отрицаю вообще иллюзии, происшедшей и от уединения, и молчания, и красоты природы, и быстрого движения вниз, подобного полету. Но, может быть, иллюзия и всяческие "предрасположения" вовсе не навевают нашей душе чепуху, а только поднимают душу до нормы, из которой она и не выходила бы вовсе, не будь мы житейски погружены в "суету", т. е. именно в чепуху. Эта "чепуха жизни" подобна пыли, а уединение разгоняет ее и открывает чистое небо. Небо, конечно, такая же "истина" и так же твердо, как и пыль, хотя мы и реже его видим, менее чувствуем, чем глотаемую пыль.

— Господи, кто же это строил и зачем? И кто тут служит? Никто. Некому служить и не для кого служить. Полдня молчания впереди, полдня молчания позади. Одни горы, спуск, крутой спуск. Ни садов, ни полей, никакой их *возможности* и *вековечной* возможности. Совсем ни для чего строил человек. А как хорошо! Хорошо ли? Да *лучшего* я и не испытывал, не видел. Эта церковь, построенная в совершенной пустыне и ни для чьего употребления, как очевидно, и не для пользования строившего, который не в пещере же тут жил и не ходил сюда по таким горам, представилась мне чем-то совершенно выходящим из уровня обыкновенного, знакомого, памятного, бывалого.

— Но ведь он тратился, заставил рабочих работать, возил кирпич, — и за все платил полным рублем. Столько денег и... ни для чего!

— А как хорошо! Столько денег и ни для чего — это-то и составляет острую точку этого безумного великолепия, такого *умного*, до того *умного*. Ибо он не построил ни трактир, ни памятник себе, а храм Божий, где вообще везде и всюду молятся, кроме этого места, где нельзя и некому молиться. Верно, *он-то* помолился тут. Пусть раз. Но кто же *он*, что была за *душа* у него? Построил ли он церковь от великой грусти, обнявшей его душу и уже не сходявшей с души, — или от избытка

радости, от восторга к чудной точке местности? Ничего не сказал о себе этот "Иванов"...

Все так же глаз пронизывал синюю даль внизу. Все то же молчание. Тот же напор чувств в груди, — и первый раз у меня мелькнула мысль, которая потом стала темой долгих лет и бесчисленных недосказанных статей.

— Главное в христианстве — не Евангелие. Главное — *сам человек* и тот сок, который он дал из себя, реагируя на Евангелие. Христианство в страшной тяжеловесности своей, необозримом объеме, невыразимой красоте и есть застывший и ставший вечным, наконец, ставший осязаемым и видимым этот сок души человеческой, — подобно как камень и янтарь, вытекающий из ствола дерева. Дерево — человек: Евангелие его секло, царапало, запечатлеvalo — и все тек и тек сок, там тек, везде тек, потом застывал, принимал формы, и вот это-то, т. е. сок человеческий, текший *в ответ на Евангелие*, и есть "христианство", "христианская цивилизация", "христианская культура", "христианская жизнь". Вся эта янтарность, пахучесть христианства — от сердца человеческого, восприимчивого, благородного... Жизнь секла его грозой и молнией, пекла солнцем и счастьем, — и на все, на все оно давало все новый сок, все новый сок, — и эти чудовищные горы человеческих чувств, гораздо больше Крымских и лучше Крымских, они-то и составляют *суть* всего в христианстве. Но эти "Иваны", молитва которых, красота которых составила все, не оставили имен своих. Время шло, имена забылись или даже и *не произносились*, и память человеческая все отнесла и приурочила к "Евангелию" и назвала эти горы человеческих чувств "евангельской историей", как бы историей и судьбой Евангелия в человечестве. Между тем это не так, и совершенно не так! Христианство выжал из себя человек... ну, соглашаюсь, в ответ на "бесконечное и неведомое", что окружает его, что над ним, что выше его. Словом, молитва, конечно, — к Богу. Но молитва — *из человека*. В эмпирической действительности все-таки *молящийся человек* есть главное, есть постоянное зрелище религии, есть *факт* религии... А прочее — именно "неведомое и высшее", что, конечно, *есть*, но мы его не можем ни ухватить, ни созерцать, ни рассуждать о нем.

Я плохо, слабо говорю. Уже прошло много лет. Но в ту минуту я с необычайной ясностью почувствовал, что при изложении "истории христианства" или при догматизировании "сути христианства" мы всегда делаем ошибку, — и делали ее первоклассные умы, — когда все дело относили ко "кресту", "Голгофе" и "искуплению", к "вочеловечению Сына Божия и искуплению нашего греха" и пр. и пр. и пр. Ну, вот, например, Владимир Соловьев все девять томов сочинений написал об этом. А он был историк и теоретик христианства, *обдумыватель* его. Об этом написана история церкви Макария. Все об этом, все "Сын Божий воплотился и снял грехи", "богочеловечество соединилось с сыновством" и пр. и пр. Но ведь *очевидно же*, что эта церковь в Крымских горах

построилась не потому, что "богочеловечество соединилось с сыновством", а по *чему-то совсем другому*. Почему? Да потому, что был *прекрасный человек*. Что он чувствовал, как думал — тайна: но эта церковь в таком *пустом месте*, ни для себя и ни для кого, очевидно, она вылилась не потому, что "богосыновство соединилось с богочеловечеством", а из строя души, необыкновенно полюбившей спокойствие и уединение, необыкновенно сознавшей ненужность суеты, и... и храм почти так и можно называть: "Храм Тишине". Скажут: "это — отвлеченно"; я и не настаиваю. Что-то *вроде* этого: тихою, *созерцательною* душою человек поклонился *тишине и созерцательности*. Но поставили над нею крест и назвали постройку "православною церковью": против чего скромный "Иван", конечно, и не спорил, да и не сознавал, что в его *сущности* не так. А о ста и тысяче таких храмов Макарий написал "Историю церкви", где все фигурируют "воплощение", "богосыновство", о которых "Ивановы" и не думали, или, по крайней мере, *не останавливались над этим мыслью*. А все дело и заключается, конечно, в том, "на чем *остановилась* мыслью".

Храмы строили тишине и созерцательности.

Храмы строили страданию человеческому.

Храм строил тот, кто терял *дочь, сына, мать, жену*.

Скорби своей, радости своей — всему строил человек храм.

А сказали, что "храмы эти построились *оттого, что* богосыновство соединилось с человечеством" и что "при Понтийском Пилате" и проч. *Да вовсе не этому* строили храмы: а тернистому пути человеческому, всей муке человеческой, слезам человеческим и, наконец, солнцу человеческому (радости).

Дерево дало камедь. Дерево — человек. Камедь окаменела: это и есть "христианство". Т. е. так названо.

Всмотритесь и *вдумайтесь* в толпу идущих, спешащих, бредущих к храму: в чем тут *суть*? Вот идет согбенная старушка... и придет, и положит поклон, и поставит свечку. Печальное, старое лицо. "Уже недалек мой час..." Чему же она "поставила свечу" и "поклонилась"? — *Вечности!*

— Как? Религия Вечности? Поклонение Вечности?

Не религия, но *часть религии* — да! Религия — множественна, она имеет мириады сосредоточений себя, мириады источников себя. Религия — звездное небо, а не пустое место с солнцем-*solo*. А между тем мы всегда представляем ее себе с солнцем-*solo*, и даже отсюда заимствовали для нее имя. Но это не так.

На умные слова и маленький скептицизм Лаврецкого Лиза Калитина отвечает:

— Я думаю, что мы должны верить в Бога не потому, что небо так или иначе устроено, а *потому, что каждый человек должен умереть*.

Чему же она верует, чему поклонилась? Тому ли, что "при Понтийском Пилате"?.. Нет, она поклонилась грусти человеческой, одиночеству человеческому, ограниченности человеческой. "Я чувствую себя *сиротою*. А сироте нужно за чью-нибудь руку держаться. И я верую". Вот

исповедание Лизы. А сколько богословов, да и вся Русь умилилась: "Какая православная!" Между тем в ее исповедание вовсе и не входит "богосыновства и богочеловечества", ибо у нее нет *первого* слова христианства: "Смертию Иисуса Христа мы искуплены в вечную жизнь". У нее нет ни чувства искупленности, ни чувства и надежды на вечную жизнь. "Все кончится. Мрак. Будем молиться". Это — до-христианская исповедница, как бы до пришествия И. Христа молящаяся. И молящаяся вовсе не Христу, а *мировой сиротливости* (языческое чувство).

Наивные скажут: однако она *пошла в монастырь*. Как и все язычество, *приняло христианство*, не понимая его, кротко, послушливо, то ища созерцательности, то грусти об одиночестве и вообще поклоняясь "бесчисленным звездам", мириадам религиозного сосредоточения, а вовсе не И. Христу. Знаем ли мы пути свои, разбираемся ли в них? Нет, да и не нужно. "Великая молитва к Богу" и "где люди молятся, — там и я стану молиться". Молиться одинокому нельзя. Молиться надо со всеми. "Со всеми" теплее: а где теплота — там и Бог. "Идем в отворенную дверь": и что там Лизе Калитиной или какому-нибудь Лопатину до того, что была война, были свары, ссоры, кто-то кого-то бил, кто-то кого-то победил. Они ищут, где "отворена дверь, чтобы помолиться; и не думают *созерцательною душою* о том, "как устроено небо и земля и кто сотворил мир", а тревожась о том, что "всем надо помереть".

В Нортумберланде, в Англии, грубые воины и начальники маленьких племен выслушивали проповедь первых христианских проповедников. Проповедники говорили, конечно, о том, о чем учат наши школьники в первом классе. Воины так же мало трогались, как и наши первоклассники. "Бог что, — прервал их один из вождей. — Вот мы все сидим здесь, и здесь светло и тепло; вдруг влетает в окно птичка; полетала, полетала и вылетела в другое окно. Жизнь человека подобна судьбе этой птички. Мы откуда-то приходим, куда-то уходим. Если то, что вы предлагаете нам, может разъяснить, откуда человек приходит на землю и куда он уходит после смерти, то мы примем вашу новую веру, ибо, значит, — она истинная". Проповедники "использовали момент" и "разъяснили" то, чего, как известно, в Евангелии вовсе не содержится, — ибо "рай" или "ад" тамошний содержится и во всех язычествах. И христианство в Нортумберланде было принято. По какому же мотиву? По *тому же*, по которому Лиза Калитина любила слушать рассказы странников и бабушек, по которому она пошла в монастырь. "Страшно. Мы так одиноки... Нет ли еще кого, кого я могла бы взять за руку и держаться, кто знает больше меня, кто верит сильнее меня. Вот эта *бабушка*, вот *странник*, вот *народ*".

"Тесно, душно, отворите дверь, мне надо куда-нибудь пройти..."

Благородное существо человека всегда чувствовало себя "душно" на земле: вот один из источников религии. В религии всегда и по существу содержится бесконечность. Религия всякая бесконечна.

Но при чем тут "при Понтийском Пилате"? Просто это есть свойство души человеческой.

Если мы возьмем то, что всемирно считается патетическим центром Евангелия, — Нагорную проповедь, — то совершенно нельзя постигнуть, каким образом *от нее* можно прийти к *порыву* построить церковь. "Блаженны чистые сердцем, ибо они *Богу узрят*", "блаженны нищие духом, ибо их есть *царство небесное*", "блаженны вы, когда вас будут гнать" и проч. Так, "Бога узрят" и "царство небесное" — это совсем не то, что я ставлю восковую свечу и кладу поклон перед образом. *Тут нет связующего*. Не без причины, не без внутреннего духовного повода, не без связи со всем духом Евангелия И. Христос, конечно, разрушал наличный религиозный культ, который был при нем. Пустая отговорка, что Он, "однако, входил в храм" и "праздновал праздник Пасхи", уничтожается тем, что Он в храм входил потому, что там *был собравшийся народ*, которому Он и проповедовал, и что там лежали священные книги, тексты которых он хотел перед лицом народа приложить к Себе. Но Он первым же шагом своего выступления на проповедь сделал опрокидывание этого культа, как и потом во все три года учения всегда отрицал *ритуал* и *форму*, без которых, конечно, вообще никакого культа нет и он невозможен. Попробуйте в наших условиях служить обедню то утром, то вечером, "по благодатному влечению сердца", или петь за всенощной то, что полагается петь за литургией, и наоборот, смотря "по настроению души", — подавать просфоры за всенощной и проч. и проч. — и, конечно, вы этим "благодатным духом" все православие разрушите. Церкви не останется. Не останется порядка и формы. Ничего не будет. Но я договорю: опрокидыванием ветхозаветного культа было знаменитое "изгнание торгующих из храма", которое у нас перетолковывается глупо, фальшиво, лицемерно и злостно. Как известно, никакой *литургии* в ветхозаветном храме не происходило, не было торжественных входов и выходов священников, не было порядка и системы чтений и песнопений. Словом, "обедни" не было, ни чего-либо ей подобного. Богослужение или, точнее, замещение его, *реальное его выражение* заключалось единственно в жертвоприношениях, которых ежедневно в храме творилось столько же, сколько у нас в церкви произносятся слов. Жертвоприношение и было молитвою, формою древней молитвы, древнего богообщения. Что же сделал Иисус, как только вышел перед народом? "И опрокинул столы торгующих, и рассыпал деньги их, и, взяв бич, выгнал их из храма, говоря: дом *молитвы* не делайте домом *торговли*". Идеально, и совершенно по Евангелию; основывалась новая религия, — *устных молитв*, вот будущей *литургии*. Но что это было для того времени? Полное разрушение культа. Выгнать "торгующих" из храма значило выбросить из храма и "товар" их: а товаром были — жертвенные животные. И "изгнание торгующих" на самом деле было насильственным и полным уничтожением ветхозаветных жертв, которые приносились тысячу лет, приносились праотцами народа, Иаковом,

Исааком, Авраамом, приносились сейчас по выходе из рая Адамом, как передано в Библии, и чему народ не мог не верить, приносились Ноем, и *подробнейший ритуал* которых был принесен законодателем с Синая. Таким образом, истолкование этого места на уроках Закона Божия, как и распространенное его объяснение, поддерживаемое всеми священниками, совершенно фальшиво и хочет что-то *скрыть* в поступке И. Христа, как будто тут есть что-нибудь дурное. И эта фальшь происходит от чрезвычайно запутанного отношения нашего собственного культа, *новозаветного*, к этому поступку И. Христа. На самом деле И. Христос "изгнанием торгующих из храма" (ведь это только *заглавие* гимназических историек, а в тексте Евангелия просто передано событие *сплошь* с предыдущим текстом) разрушил *единственное и все*, в чем состоял ветхозаветный культ. Вот к этому культу, ежедневному, как наша литургия, И. Христос никогда не примкнул: и в Евангелии действительно *поразительно*, что Он *нигде и ни разу* не принес в храме жертвы, что было обязательно, как для нас "сходить к обедне" или "зажечь в дому лампадку". Что касается "празднования пасхи", то ведь Христос "смирен сердцем" был, — и этот совершенно неизбежный праздник, пренебрежение которым было бы, так сказать, "объявлением возмущения", началом "религиозной войны", — Он проводил, но проводил совершенно пассивно. Евангелие вообще полно "тихих веяний", от которых повалились горы. "Бурю" Евангелия послан был и призван был совершить ап. Павел, который своего и *нового*, своего и *оригинального* ничего не сделал и не создал, но только шепоты Евангелия произнес громко. Именно он выбросил обрезание, с чего и начался Ветхий Завет, т. е. *расторг* его. Да и надо это было, раз заключен был на Тайной Вечери завет новый. Что ап. Павел и сам знал, что всему вообще ветхозаветному пришел конец, видно из его собственного признания, что "в обрезании содержатся и *все дальнейшие законы*", т. е. все прежнее законодательство, весь этот необозримый, физический "культ храма", и вместе культ домашней жизни, культ народного быта. При "обрезании" — кровь, и в жертвоприношениях — кровь же, вот краткий намек на связь, чтобы не распространяться о дальнейшем. Ап. Павел был как тот бич, которым И. Христос "изгнал торгующих из храма": но уже теперь этот бич до всего хватил, всего достал: и посыпались жертвы, ритуалы, обычай, правила, быт, затряслись стены, в сущности, ни для чего больше не нужного храма. Пока пришел римский кесарь и окончательно расшвырял кирпичи самого фундамента здания. "Пашите здесь поле и засевайте землю. Ничего никогда здесь больше не будет". Христианские священники договаривали: "Никогда не будет ничего построено на этом *проклятом месте*".

Две религии разошлись, как два взаимных проклятия. А у нас-то пытаются *соединить*: "одно *продолжает* и *развивает* другое. Хорошо "развитие"...

Но что же *основал* и чего *хотел* ап. Павел? Буря прошла: и что осталось для *мирной жизни*? Культа нет; новозаветный еще не начался; храмов не было, наших милых восковых свечей не было, наших лампад не было или они были как-то промежуточно, — таились в уголках, как последний луч древних вер, *всех* вер. Ибо лампы были во *всех* религиях, — и обильнее, чем где-либо, — были в Египте: там в некоторые ночи вся страна светилась лампадами, врывающимися прямо *в землю*. Нашей Херувимской еще не было: она потом была составлена одним византийским царем. Что же было? Сказать ли истину, ужасно горькую и печальную, ужасно бедную: был наш *штундизм*, вот эти бедные общины не очень умных людей, которые собираются "все равно где-нибудь по благодати", и читают Евангелие, и кое-что поют, и затем очень желают друг другу всякого "счастья". Религия была *уничтожена* и заменена моралью, "всеобщим желанием друг другу счастья"... Где, однако, какое же утешение *мне*, с моим одиночеством, с моими вопросами, с моею слабостью, с моим грехом, ограниченностью и ...бесконечностью!

"Желать другому счастья" — это $1/1000$ меня. Куда же деваться мне с $999/1000$? В ответ *бесконечной* душе человека апостолом Павлом, уничтожившим культ и оставившим одни штундистские общины, дано было что-то мизерное.

Что слова мои *исторически* верны, видно из того, что все протестанты и евангелики, которые тянут возвратиться к "простоте религии при апостолах" или "к простоте Евангельской", "к первым общинам христианским", — и создают именно штундизм и его варианты. И ничего *другого* создать не могут. Т. е., *vice versa**, настоящее и реальное, что было сотворено или, вернее, оставлено человеку апостолами, — чего мы не видим более и не чувствуем, о чем даже теперь не догадываемся, — был именно приблизительно наш южнорусский штундизм. Тот же *вид*, та же *суть*.

Но началась великая *реакция церкви!* "Невозможно без культа, задыхаемся"! "Нельзя жить без законов, по благодати: тогда один другому перережет горло, хитрый оберет простодушного, отец смесится с дочерью" (наши хлысты, живущие *исключительно* "по благодати", как "дух накатил"). Да и вообще без *форм* нельзя; даже без "торгующих в храме": откуда же взять просфору, свечку? Без осязательного, вещественного, без формального начала жизни ("causa formalis"**) Аристотеля) — вообще совершенно немислима и в действительности не существует никакая жизнь, иначе как кретинов, слабоумных, или сумасшедших, или вовсе пропащих людей. *Бесформальность* есть просто *безобразие*, а никакая не "благодать"... Мы хотим законов, правил, быта, форм семейной и об-

* наоборот (лат.).

** формальная причина (лат.).

щественной жизни, — но прежде всего надо "утешение сердцу", нужен нам храм!

Куда же пойти, где же молиться? Всем вместе, с народом? "В одиночестве"! Да, Лиза Калитина и испугана этим одиночеством, сиротливостью. Ей нужно "вместе с кем-нибудь"... "Нет, что бы ни говорило Евангелие и как ни настаивал ап. Павел, будто никаких законов не надо и что благодать все возмещает собою, — нам нужен и культ, и молитвы, и ритуалы". Но как мы тоже "кротки и смиренны сердцем", то, не возражая прямо, будем все это строить *во имя Евангелия и даже во исполнение ап. Павла!* К чему войны, ссоры, свары: было бы *сделано*. И благочестие соблюдено: ибо мы поклоняемся Иисусу Христу и апостолу Павлу; но и "наше" соблюдено, — вечное, человеческое: вот и вербы, и деревянное масло, и освящение яблоков в августе месяце, и окропление святою водою, и опять свадьбы, и опять законы о свадьбах, целая "Кормчая", и правил, правил, мелочей и мелочей — без конца. Где жмет или жало — там и помогло новое правило. Все — уют. Чем больше правил, тем больше правильности: что же в безобразии, в хаосе жить, без крыши, без мебели, без обстановки. Птица заводит себе маленькую "обстановку" в гнезде; собака в бурю прячется в конуру: одному человеку жить без конуры и гнезда, при слишком проблематической "благодати"...

— Мы не цыгане.

— Да, мы — христиане. И "как истинные христиане" и, еще более, — "истинные православные", мы переплели Евангелие в такой тяжелый оклад, что и разогнуть невозможно, держать в руках немислимо, на стол положить — стол ломится; и читает его диакон и еще лучше протодиакон таким красивым голосом и с такими украшениями в интонации, в произношении, что, конечно, только и следишь за ними, зачаровываешься, дремлешь в сладкой звуковой дремоте, — и где уж и *когда* тут вдуматься в смысл, — впрочем общеизвестный, — читаемого... И ризы, и позолоты, и драгоценное "камение", и звук молитв, этой таинственной Херувимской, сложенной благочестивым царем, и поднимающийся от кадила дым, и мерцание свечей, и столько народа, счастливого, уверенного, твердого, счастливого именно твердостью...

И вот в уголку где-нибудь стоит бледная девушка, — тоже Лиза Калитина и, может быть, еще лучше, — и утирает текущие слезы, и сердце бьется, бьется:

— Вот *где* отрада! Вот *кто* меня защитит! Этот *народ*, эти "все"... Как мне с ними не молиться?

И старушка, согбенная годами, у двери думает:

— Ну, что же, "близок час" — и *не страшно*: все эти люди за меня помолются. И молитвы заупокойные и поминальные есть: все продумано, все обделано, все оформлено. Не одинока я, не заброшенная вещь, не потерянная душа. Живу *в гнезде, в народном тепле*. И жить не страшно, и умереть не больно. То есть и больно, и страшно, но *не так*.

А одна... я с ума от ужаса бы сошла, хоть и сказано, что "блаженны чистые сердцем", и проч. Со всякою истиною я одна помешалась бы от страха, а со всеми и без особенных истин живу и живу...

Церковь, таким образом, в великом строительстве дала способ всем жить, все как-то "утрясла" и "уладила", стесала углы, подломила шипы, предупредила чудовищные коллизии, столкновения. Дерево жизни, великое древо-человек давало все сок и сок, пахучий, вкусный; сок затвердевал, приобретал формы. Я сказал, что ни по одному из евангельских мотивов невозможно прийти к идее построить церковь, к порыву построить церковь. По этим мотивам только штундисты собираются. Храмы все вообще построены по великим космическим чувствам, живущим в человеке, по основаниям космических категорий, пересекающихся в существе человека, — и по великим психическим, личным, биографическим мотивам: церкви — у нас, как и в древних религиях, — все космичны или психичны, и только, и этому конец. Но мы уже "смирны сердцем", от борьбы устали, — и "была бы отворена дверь и куда бы нам пройти", а чье имя тут поставлено — не станем об этом спорить. И что могут сделать ссылки на Евангелие, на *точный* смысл Христовых слов, против этого всенародного:

— Мне тут *хорошо!*

— Пробуждают что-то *теплое* в *моей* груди эти фимиамы, кадильный дым, образа, вся *видимость*.

— Это мне *нужно!*

АФРОДИТА И ГЕРМЕС

Могло ли бы когда-нибудь прийти на ум окружить религиозным культом питание, кровообращение, дыхание, мускульный труд и ввести это в обряды церкви? Между тем это сделано, и не у одного народа, а у всех — относительно размножения. Венчание есть ритуал церкви, учение о браке есть отдел христианского богословия, и в то же время браку посвящаются длинные лекции на медицинских факультетах, а одна часть этих лекций, эмбриология, составляет узел всей биологии, — и с тем вместе предмет ее есть то, ради чего брак заключается и существует. Если принять Гермеса за родоначальника наук, согласно древним мифам, то здесь Венера и Гермес подают руку друг другу, — и оба вместе сидят в христианском алтаре (венчание). Мало сказать — "сидят": церковь, духовенство не допускают и мысли, чтобы эти древние "боги" вышли из христианского алтаря, чтобы образовался "гражданский брак" и люди размножались просто и природно, как питаются, как дышат. Да и одни ли Венера и Гермес? Тут и Деметра или Церера (у греков и у римлян), научившая людей "элевзинским таинствам", с корзиною, засеянною быстро всходящими семенами — символом роста, произрастания: как и эмбриология занимается зародышевым развитием не одного человека, а обнимает развитие всех животных и охватывает всю

ботанику. Церера научила людей элевзинским "тайнствам", а богословы настаивают, что венчание не есть только обряд, ритуал, а "тайнство". Профессор и священник Горчаков, избранный от белого духовенства в Государственный Совет, написал книгу-диссертацию: "О тайне *супружества*", и так как в венчании нет еще "супружества", то, очевидно, центр церковного тайнства он переносит в биологию, то есть совпадает с учением Цереры. Какие это чудеса, не правда ли? Пол, два пола — мужской и женский — есть такая очевидная "тайна", разлитая в существе моем, вашем, всех тварей, всего живого, в фундаменте жизни, о которой мы не думаем только потому, что она всегда перед нами. И между тем о столь важной вещи, которую чтут религия и наука, из которой мы все происходим, которая есть "податель нашей жизни" и, след., почти божественна, мы и все народы не говорим вслух, а шепотом, и закрываем ее пологам, а ночь закрывает ее темнотою, и вообще "глаз не должен ее видеть", а язык не должен произносить ее "имя": совершенная параллель тому, что мы знаем об Изиде египетской, которую греки приравнивали к своей Деметре, но о которой обитатели дельты Нила сделали то добавление, что "покрывала ее не подымал ни один смертный". Один юноша из Саиса поднял его и тут же умер: а таинственный Иегова евреев, в ответ на желание Моисея увидеть его, ответил: "лица Моего *невозможно увидеть человеку и не умереть*". Какое совпадение! Особенно если мы припомним, что и Зевс одной из своих земных возлюбленных, которую он посещал только ночью, ответил на желание ее увидеть его при свете дня этим же таинственным предупреждением: "Ты умрешь, как только увидишь меня". Дерзкая все же исполнила желание свое — и умерла, как юноша из Саиса. Право, этот темный "х" можно или хочется назвать гермафродитом, который египтянам показался под женскими формами (Изида), а грекам — под мужскими (Зевс). Поразительно еще, что звук или призыв Иеговы, выражаемый знаменитою еврейскою "тетраграммою", слышался и в элевзинских тайнствах: "Iaω! Iaω! Точных до абсолютности звуков не уловлено и в еврейском имени "Iehowah"; об этом существует целая литература; но если "h" принять за придыхание, то оба имени, с одинаковым страшным предупреждением произносить его где-нибудь, кроме "священного места", и открывать кому-нибудь, кроме "посвященных", — совпадают. Конечно, в этом имени или призыве по местностям и расам возникли варианты, как в "деде" великороссов и "діде" малороссов. "Когда мы, бывало, пели псалмы в храме (Соломоновом), — записана памятка одного "учителя" в Талмуде, — то я, стоя близко к первосвященнику, слышал, как он *вливал в наше пение имя Иеговы*", т. е. те же "тайнственно слышавшиеся звуки — Iaω! Iaω! Очевидно, имя не произносилось, а вибрировало и было, собственно, каким-то гортанным звуком, в который входили буквы "I", "A", "O", — как основные, с этнографическими придыханиями или прищептываниями. Отчего ученые думают, что "Иегова" есть "имя", "название", как бы особая и исключительная "фамилия", всегда выдаваемая для отличия одному лицу среди подобных? Бог "подобных" не имеет, "отличаться" Ему не от

кого; и слова Его к Моисею: "Вот, Я открываю тебе Имя, которого не знали отцы твои, — Jehowah", — то не значило ли это: "вот, Я открываю тебе *способы, звуки, которыми ты будешь призывать меня*", "услышав которые — Я всегда отзовусь", "буду около тебя". Это — призыв, а не имя, как бы таинственное религиозное "ау", но совершенно особенного смысла и исключительного адресата, чему отвечает знаменитое предание раввинизма: полная уверенность, что, "кто знает тайну произношения Имени (оно передавалось устно и никогда не записывалось полными буквами), — тот владеет силой над миром и почти над Богом" ("Бог его не может не послушаться", "он обладает — магически и властно — Самим Богом"). "Если *так* назовешь Меня — *не могу не откликнуться*". К "покрывалу Изиды" во всех этих "специфичностях" юдаизма чрезвычайно много близости!

И все близко к самому простому, всемирно известному слову Библии: "по образу *Нашему* (Божию) сотворим *его* (человека), *мужчину и женщину, сотворим их*". Переплетено все так, что есть и "два" и "одно", "человек" и — "мужчина" и "женщина", "Бог" (один) и в то же время "Мы" и "Наш образ". "Образ" этот отразился мужчиною, — *которому недостает женщины, она есть прямое и неперемное дополнение его*; и отразился — *женщиною, которой недостает полноты до "человека" в мужчине*. Самое таинственное отношение, которому мы не изумляемся только потому, что его постоянно видим: *два* существа, которые так явно *одно*, но — *разделенное* и сливающееся лишь на миг: после чего *рождается новое такое же существо, опять половинчатое, с жаждою, с исканием дополняющей себя половины!* "Любовь", "супружество", "предчувствия", "угадка", "мечты" — вся эта рубрика девичьих и юношеских грез уже заложена в библейском слове: "по образу *Нашему* сотворим *"его", "их"*! *Одно* и — *не одно!* Отсюда — искания, пыл, страсти, тоска, ревнование, "чувство собственности", дикой собственности, казалось бы, какую заявляет мужчина на тело женщины; кокетство, каким женщина привлекает, приближает к себе и приковывает к себе мужчин. "О, мне мое тело не нужно — оно *твое*; но вот за то *твое* тело — *мое*, и я не только им овладеваю, но и убью всякого, кто его посмеет коснуться". "Я — твой, а ты — моя"! Вечный крик, вечная и всем сразу понятная истина, никем не опротестовываемая, — "тайна супружества", едва ли не поглубже Горчаковской?!

Я сделал это длинное предисловие, чтобы заинтересовать читателя серьезно книгою, теперь уже не новою. Книга эта — "Половой вопрос" А. Фореля*. Гегель создал "Феноменологию духа", т. е. просто описание и исчисление "феноменов духа", как некоего природного и общеизвест-

* Половой вопрос. Естественно-исторический, психологический, гигиенический и социологический этюд, предназначенный для образованных читателей. Сочинение Августа Фореля, доктора медицины, философии и права, б. профессора психиатрии и директора психиатрической больницы в Цюрихе. Перевод С. Э. Фукс. С предисловием автора к русскому изданию. Спб., 1906. Выпуски I и II.

ного факта, являющего собою нормальные и аномальные явления, деятельность и сон, чувствования возбужденные и угнетенные, воображение, сомнамбулизм, грезы, страсти, ясновидение, пророчество и проч. и проч. и проч. Все любопытно. Вполне поразительно, что до сих пор не появилось всеохватывающей "феноменологии пола" и что ни одному немцу не пришло на ум имени, просящегося на язык науки. "Сексуалогия" — "наука о поле", "наука о полах". Впрочем, это охватывало бы одного Гермеса и не уловляло Венеры; между тем о поле менее написано прозою и более стихами, и самую науку, "сексуалогию", пришлось бы излагать, как говорит Платон в "Федре", касаясь этих же тем — "в дифирамбах": речь прозаическая здесь была бы *не точна, не верна. Т. е. не научна.*

Август Форель посвятил свою книгу "жене моей Эмме, урожденной Штейнгель, в знак любви и почитания": и это предупреждает возможность тех пошло-привычных ужимок, улыбок, застенчивости и неловкости (все — лоскуточки из "Покрывала" Изиды, охраняющего молчание, вечно окружающего и почему-то *долженствующего* охранять тайну пола), — и с какими обычно смотрят на обложку подобной книги и стесняются взять ее в руки.

Автор сделал к русскому переводу его книги специальное предисловие, где говорит, что страны завершившейся культуры, как германороманский мир, уже мало подают надежд на исправление коренных своих понятий, хотя бы и очевидно ложных, и что, напротив, молодые культуры, как русская, дают более надежд на прививку свежих реформирующих идей. К этому он прибавляет, что, может быть, нигде в такой степени, как в России, книга о половом вопросе не может возбудить к себе внимание, ибо почва здесь подготовлена некоторыми страстно поставленными тезисами, и притом поставленными народно, в быту, или в литературных произведениях, получивших огромное распространение и признание. Такова знаменитая секта скопчества и учение гр. Л. Н. Толстого, выраженное в "Крейцеровой сонате" и особенно в "послесловии" к ней. "Но и помимо этих крайностей, — говорит он, — мы замечаем в России целую лестницу более или менее аскетических и мистических оттенков, восторженных и даже экстатических воззрений, идущих вразрез с природою".

Написав книгу в сотни страниц, где, можно сказать, под микроскоп рассматриваются частные, личные случаи проституток, потерянных женщин, случаи вообще аномальных излишеств и аномального равнодушия к половой стороне жизни, — Форель мог бы уделить хотя одну главу, даже хотя бы одну страницу приведению и обсуждению того евангельского текста, который послужил источником столь губительных (на его взгляд), патологических уклонений, как толстовство фазиса "Крейцеровой сонаты" и как скопчество. Если уж исследовать, то все исследовать, и больницы, и церковь с ее учением, и проституток, и Евангелие — все. Книга его не будет, например, убедительна для Толстого

и толстовцев, как и для скопцов наших, так как он просто не останавливается на том, что их поразило. Он *прошел мимо* их боли, их страдания; ну, они *пройдут мимо* его науки. Отместка за отместку. Я бы не стал останавливаться здесь, если б не имел сказать кое-какого нового слова. Сектанты наши не столько юридически основываются, сколько увлечены, как *идеалом*, как *зовом*, как *мечтой* и *грезой*, следующим местом из "Откровения" св. Иоанна Богослова, — "откровения", т. е. как бы "истолкования", "объяснения" глубин религии, настоящей и до времени оставленной в тени воли Божией:

"И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслиях своих.

Они поют как бы новую песнь пред Престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме *ста сорока четырех тысяч*, искупленных от земли.

Это те, которые *не осквернились с женами*: ибо они *девственники*; это те, которые следуют за Агнцем, куда б Он ни пошел. Они *искуплены* из людей, как *первенцы Богу и Агнцу*" (гл. XIV).

"Сто сорок четыре тысячи! Сто сорок четыре тысячи"! Как только *накопятся* они, так и кончатся судьбы мира и человека, завершится история, исчезнет земля и откроется "Новое Небо", среди которого "как первые" будут эти 144 000 "неосквернившихся с женщинами девственников". Отсюда страшный прозелитизм наших скопцов, допускаемое ими насилие и лукавство при вовлечении неопытных и юных, даже собственных сыновей, к ужасному искалечению. "Все еще недостает до 144 000, "восполнится" — и мир кончится, и мы — первые". Вот мечта, порыв, уверенность, опирающаяся на *Евангелие*. Миссионеры наши, да и ученые богословы, профессора, архиереи ничего никогда не сумели сказать в растолкование этого места "Откровения", и по справедливости не несчастным скопцам следовало бы сидеть в острогах, а этим их "учителям", которые ничего не ответили своей заблудшей пастве. Ничего, — до полной бессовестности или полного кретинизма.

А ведь ответ под рукой: да, "144 000", и даже больше, гораздо больше, уже давно "не осквернились" в течение всего бытия на земле "с женами" и остались "девственниками": это все отроки, умершие в христианстве до десяти, до восьми лет: таких — миллионы! И земля бы давно кончилась, и Страшный суд совершился, и небо сошло на землю, все по откровению, — *если бы это место Евангелия* разумело просто голый факт и голую цифру (почему-то) "144 000", просто *не имевших полового общения с женщинами и девственников*. Явно здесь разумеется *что-то иное!!* Наконец, здесь сказано только о "девственниках", а не о "девственницах", а скопцы, как и "Крейцера соната", еще более имеют в виду женщин. Скопят и их. К чему? О них ведь не сказано? В тексте *все* важно, и нельзя к тексту прибавить "йоту". Между тем очевидно, что в "Царство Небесное", в "искупление" и "первенство перед

Богом” не будет же введено ”неравенство полов” — эта социальная, а не душевная, не праведная и не святая, группировка... ”Там” — ни дев, ни жен, ни мужчин, ни действительных статских советников, а только — души и души! Но почему же тогда в тексте сказано ”девственники” и ”перед старцами”? Явно, что говорится о чем-то таком, о чем *догадки* еще никому не пришло на ум. Между тем у Фореля, в его обширных естественно-исторических изысканиях, есть страницы, могущие повести к разгадке этого темного места: это — те страницы, где говорится об очень редкой врожденной и неодолимой, неразрушимой девственности некоторых индивидуумов, которые действительно ”никогда не оскверняются с женами” и для которых таковой случай представил бы болезненную патологию, как бы операцию, на которую они никогда бы не согласились; да ее и невозможно было бы произвести, т. е. принудить их к этому ”осквернению”, так как это требует активности, *своего* желанья, которое у них *не зарождается* и не может зародиться.

Но эта аномалия пола, глубокая аномальность всей организации мужской, — неужели она введена в Евангелие как зов, как идеал, — с обещанием награды? Нельзя этого подумать, как нельзя принять и того, что награда обещана за физическое искалечение или за монашество, особенно ”с падениями”, без каковых оно не обходится и не обходилось даже у великих подвижников церкви. В тексте сказано прямо о *фактическом* неосквернении, а вовсе не о ”чине”, не о ”звании” монашества: и ”осквернившийся” хотя бы раз, случайно или по ”слабости”, все равно уже в состав ”144 000” не входит. Таким образом, монашество, как и скопчество, равно наше хлыстовство, знающее ”падение” же из своего абсолютного безбрачия, — не подходят под этот текст и прямо отталкиваются им. Единственно, что буквально подходит, — это врожденные девственники; но такой гипотезы мы принять не смеем.

Во всяком случае, ”144 000” уже исполнилось, и даже больше, — в лице умерших частей человечества *до возраста восьми лет*. Скопчество, хлыстовство, монашество этим явно отвергаются, как не имеющие ничего общего с данным местом из ”Откровения”.

К великому сожалению, Форель вовсе не религиозный человек, т. е. не только по образованию, но и по вкусам, инстинктам, влечениям. У него вовсе нет ни догадок, ни чувства ”того света”, ”загробного мира” и, словом, ”чего-то еще” помимо этой жизни, помимо земли, государства, общества, законов и фактической, эмпирической истории. Конечно, и свет невесом; *радиоактивность* долго не была открыта: невесом, не ухватываем пальцами и ”тот свет”, которого отвергать только от этой *неухватываемости* его — невозможно! Форель поэтому выпустил из своей книги целую треть темы, треть самую интересную: ведь именно на отношении к полу разошлись язычество и христианство! Язычество здесь построило ”богов”, как бы наших ”ангелов”: мы же знаем только проституток — в излишествах пола и знаем пол умеренных и аккурат-

ных — в нормальном супружестве. Но святость "ангела" у нас положена только в воздержании от всякой половой жизни, т. е. в отрицании половой жизни, в некоторой а-биологичности, а-витализме. *Не жить* — свято, а *жить* — это всегда *грех*, более или менее; но все-таки — грех и грех. *Минус* — свят, а *плюс* — всегда грешен: отчего в христианстве все и определилось в монашество, т. е. в мировом пессимизме (определение преосвящ. Никанора, архиеп. Одесского), который едва ли далек от мирового нигилизма (в смысле — отвержения, отрицания).

Форель — просто ученый, т. е. он язычник без богов, без культа. Европа, европейцы, настолько они уже не христиане — не во враждебном, а в равнодушном смысле, — являют собой вообще чистый *этнографизм*, т. е. возвращение к язычеству *до сложения мифологии*. Языческая культура неудержимо восстанавливается в Европе в этой главной своей сущности, господствующей над разнообразною, зыбкою и сменчивою мифологиєю, — что человек просто живет своею кровью и со своею кровью, своею душою и со своею душою, один и обществом, не подчиняясь владычеству никаких "святынь" специфической природы и происхождения. Свободная "человечность", как еще пророчил Шиллер, как к этому стремился "великий язычник" Гёте, — и только. Это — недостаточно, это страшно недостаточно, несмотря на Шиллера и Гёте! Самая убогая и самая суеверная вера представляет собою что-то более человеческое, интимное, милое, теплое, дорогое, нежели этот мистический холод великих германцев. Бог с ним. Лучше быть горячей живой мышкой, чем ледяным Монбланом. Но века на два, на три, вероятно, Европа переживет этот "ледниковый период" религиозности, в который так явно вступает.

Но в остающихся двух третях темы г. Форель превосходно разработал половой вопрос, превосходно и с медико-биологической стороны, и с государственно-социальной. Взгляд его свеж и местами нов, и на каждой странице вы чувствуете, что этот добрый медик склонился над человеком, чтобы везде помогать ему, помогать и разъяснять, и очень мало морализировать, укорять и вообще произносить ненужные слова, "стяжая славу себе и черня всех". Как известно, эту часть темы присвоила себе духовная литература, и она уже разработала ее так много и горячо, что едва ли можно что-нибудь прибавить вновь.

Доктор Форель совершенно отделяет феномены пола от феноменов нравственности, этики. Он говорит, что причина почти постоянного смешивания этих двух слабостей кроется в неправильностях разговорной речи. Обычно "физическому" противопоставляют "духовное" и соединяя последнее с "нравственным", а пол относя к физической стороне жизни — порицают половую деятельность, как "не духовную". Добавим, что еще чаще в основе отрицательных на нее взглядов лежит то, что она "свойственна всем животным", есть "животные функции" в человеке, который разумом и культурою и вообще другими "благороднейшими" проявлениями уже поднялся над животными, вышел из "живот-

ного состояния". Вл. Соловьев и А. А. Киреев оба писали в этом смысле, с этою мотивировкою. Но, спрашивается, унижительно ли для нас "животное дыхание", кровообращение и пищеварение, "как у животных"? Животные суть части *космоса* — и все *космологическое* им присуще, как и человеку. Наконец, противоположение "духовного" — "физическому": прежде всего, влюбление и страсть не недуховны; а затем и самое сближение полов, передавая дитяти столько же тело, как и *душу*, с наследственными качествами физическими и *духовными* родителей — явно не есть акт физический, но духовный и физический. Оттого-то и запутывается сюда "страсть", как она не запутывается в другие чисто биологические акты (дыхание и пр.), что тут участвует душа. Ведь сопутствующие "половой страсти" феномены иллюзорности, мечты, воображения, негодования, нежности, тоски, доверия, подозрения и проч. и проч., можно сказать — весь арсенал "шекспировщины" и "шиллеровщины", — уже во всяком случае не "физичны", а именно психологичны! Таким образом, по нашему мнению, половое чувство соединено с нравственностью *положительным образом*, — соединено *плюсом*. Форель этого не говорит: но он горячо и честно отрицает *минус*. Гордо подняв научное чело, с тем вместе гуманное лицо европейски просвещенного человека, он перерезает скальпелем эту как бы пуповину, связывавшую издавна "сексуальность" с "моральностью" или, буквальнее, "сексуальность" с "имморальностью". Действительно, инквизиторы не были ли именно девственны? Что же, за эту их прекрасную девственность не звать ли их "нравственными людьми", хотя они пытали, мучили и жгли людей? Между тем затмение совести в человечестве зашло далеко, что жаргон действительно называет их "нравственными людьми", и, кажется, нигде еще не сказано, что "инквизиция была безнравственное явление", "инквизиторы были безнравственные люди". Между тем пора подать руку медикам и сказать с ними, что эти *жестокие* и *бесчеловечные* люди *eo ipso** были безнравственны, тогда как Ninon de Lenclos**, Аспазия и проч., никому вреда не причинившие, никого не заставившие страдать, были обыкновенные люди, ни безнравственные, ни нравственные, и которые устраивали личную свою жизнь так, как им казалось лучше, — и во что решительно не может вмешивать свое суждение никто третий.

* тем самым (*лат.*).

** Нинон де Лакло (*фр.*).

КОММЕНТАРИИ

В плане Полного собрания сочинений В. В. Розанова, составленном им в 1917 году, восьмым томом значится книга "Во дворе язычников". Задуманная в первые годы XX века, книга эта так и не была издана писателем, однако сохранилось ее Содержание, составленное в 1909 году. Именно оно и позволило ныне воссоздать эту книгу.

Само название книги родилось у Розанова от "удивившего" его описания: "...в Иерусалимском храме, конечно истинного поклонения, был так называемый "двор язычников" с жертвенником и проч., и здесь израильские священники принимали жертвы и приносили их, — конечно, *своему* Богу! — от эллинов, римлян, парфян, мидян, персов. Да и Христа пришли встретить "волхвы" языческие, а Христос есть заключение всей израильской истории. Таким образом, в ветхозаветном храме и, следовательно, в ветхозаветной церкви был устроен как бы "придел", особое отделение... И они несли свою "свечечку" Иегове; но ведь они могли это сделать, конечно, в том единственном случае, если между Сионом и Афинами, Сионом и Римом лежал ровик, а пропасти не было! Какой же мусульманин пойдет к нам ставить свечку Богу за своего умершего. *Пропасть* — не переступит".

После смерти Розанова его друг П. А. Флоренский стал готовить книгу к печати, однако осуществить этот замысел ему не удалось (см. статью Е. В. Ивановой "Предисловие П. А. Флоренского к неосуществленному изданию книги В. В. Розанова "Во дворе язычников" // Контекст. 1992. М., 1993. С. 127—134).

В "Контексте. 1992" было впервые опубликовано предисловие П. А. Флоренского ("От редакции") к подготовлявшейся им книге "Во дворе язычников". Воспроизводим это предисловие с пометой 16 февраля без обозначения года (1920—1922?). Публикация текста предисловия игумена Андроника (А. С. Трубачева), М. С. Трубачевой и П. В. Флоренского:

"Заглавие этой книги — "Во дворе язычников" — сложилось в мыслях В. В. Розанова давно, во всяком случае, не позже 1900 года. Но состав самого сборника в его литературных замыслах многократно и существенно менялся. Об этих изменениях можно судить по нескольким черновым планам сборника, оставшимся в бумагах Розанова, печатному списку "Собрания сочинений" в "Опавших листьях" (Короб 2-й, стр. 298—9) и по связке рукописей и печатных оттисков, отложенных для этого издания: различные проекты далеко не сходятся между собой. Кроме того, автор сделал невозможным осуществить целиком какой бы то ни было из них, напечатав еще при жизни часть относящихся сюда материалов в других книгах и предназначив издать некоторые статьи в иных сочетаниях. Редакторам не оставалось другого исхода, как, положив в основу общее ядро всех вариантов, осуществить "Во дворе язычников", имея в виду авторские распоряжения и предположения относительно его собрания в целом, в остальном же руководиться темой заглавия.

Как известно, Иерусалимский храм имел три последовательных двора: двор внешний или язычников, куда мог входить всякий; двор женщин, куда допускались только иудеи; и, наконец, двор священников, где происходило священнодействие. В религии Розанова занимало, собственно, не трансцендентное само по себе, а его испарения, он предпочитал тереться "около стен церковных". Так — вообще. Так и в отношении иудаизма: именно "двор язычников" особенно поразил воображение Розанова, тем более что, по мнению исследователей, в ограде этого двора ютились священные блудницы. Мысленно развивая возможности, содержащиеся в этом указании, Розанов представил себе древнюю религию как полное цветение пола и построил свой "двор язычников" — теплицу всяческих побегов от "древа жизни".

Но ведь это вообще — господствующая тема Розанова, и большая часть написанного им подходила бы под заглавие настоящей книги. Отсюда и перед самим автором возникла трудность точнее установить состав именно данного сборника. Только с течением времени это для него выяснилось (хотя и не окончательно) отбором статей сообразно их тону: в предназначенный сборник "Древо жизни и идея скопчества" отошли статьи, в которых Розанов хочет установить двойственный состав христианства — из положительно-полового язычества и из начала отрицательного, — бессеменного скопчества, так что "Древо жизни" по тону своему стоит между изданными при жизни Розанова книгами "Около стен церковных" и "В темных религиозных лучах" ("Темный лик"); подобным же образом в отношении иудаизма положительно-половое освещение его составляет предмет подготовлявшейся Розановым к изданию книги "Последние ханаане", а отрицательно жизневраждебное вылилось в ряд иудееборческих течений. Наконец, книга "Во дворе язычников" есть положительно-половая оценка язычества, дальнейшим углублением которой — розановским Святая Святых, — является книга об Египте: "Из восточных мотивов". Антитезы к двум последним сочинениям Розанов не написал и имел к тому побуждения, потому что истолковывал язычество как религию насквозь имманентную, т. е. не раздваивающуюся в противоречии, как это, на его взгляд, имеет место в отношении иудаизма и христианства.

Большая часть статей настоящей книги была напечатана в разных повременных изданиях, но в большинстве случаев с очень значительными цензурными и редакторскими урезками; в настоящем издании подлинный текст восстанавливается. Другая часть статей печатается нами впервые.

Библиографические и редакционные сведения даются в примечаниях после текста.

П. Флоренский

Текст книги "Во дворе язычников" печатается согласно Содержанию, составленному В. В. Розановым, хранящемуся в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 85) и опубликованному в кн.: Контекст: Литературно-теоретические исследования. 1992. М., 1993. С. 31—37 (публикация Т. В. Померанской и А. Л. Налепина).

Библиограф Розанова С. А. Цветков приводит Содержание предполагавшейся книги "Во дворе язычников" (ОР РГБ. Ф. 249. Карт. 12. Ед. хр. 2. Л. 34), в котором, помимо входящих в настоящее издание статей, названо еще шесть (а также несколько неопубликованных статей, снятых с набора). Отметим эти шесть статей:

Рецензия на кн.: *Независимый* (Ясинский П. П.). Как нам жить? Этика обыденной жизни (Новое время. 1898. 30 сентября. Прилож.) — вошло в книгу "Около церковных стен" (М., 1995. С. 154—155).

Рецензия на кн.: *Властов Г. К.* Священная летопись народов (Новое время. 1898. 11 ноября. Прилож.).

Рецензия на кн.: Иллюстрированная история религий (Новое время. 1898. 25 ноября. Прилож.) — вошло в книгу "Религия и культура" (Библиография).

Открытое письмо к Д. В. Философову (Мир искусства. 1899. № 2. Хроника. С. 57—61).

Рецензия на кн.: *Сперанский Д. А.* Из литературы древнего Египта (Новое время. 1906. 29 марта. Прилож.).

Полемиический очерк "О законе Гейнца" (Новое время. 1900. 5 мая), посвященный наготe в искусстве.

Следующие статьи из Содержания книги "Во дворе язычников" были включены Розановым в другие его книги и потому не печатаются в настоящем томе:

По поводу одной страницы в "Воскресении" гр. Л. Н. Толстого (Гражданин. 1899. № 92, 94, 95) — вошло в книгу "Семейный вопрос в России" под названием "Об отреченных и апокрифических детях".

Величайшие минуты истории (Новый журнал иностранной литературы. 1900. № 10) — "Из восточных мотивов" (в настоящем Собр. соч. в томе "В мире неясного и нерешенного". М., 1995. С. 340—351).

Занимательный вечер (Мир искусства. 1901. № 1) — "Среди художников" (М., 1994. С. 187—193).

"Демон" Лермонтова и его древние родичи (Русский вестник. 1902. № 9) — "О писательстве и писателях" (М., 1995. С. 95—105).

Концы и начала, "демоническое" и божественное", боги и демоны (Мир искусства. 1902. № 8) — "О писательстве и писателях". (М., 1995. С. 78—95).

"Ипполит" на Александрийской сцене (Мир искусства. 1902. № 9—10) — "Среди художников" (М., 1994. С. 202—211).

Педагогички-весталки (Новое время. 1902. № 9543) — "Семейный вопрос в России".

Публицистика на сцене (Слово. 1905. 5 января) — "Среди художников" (М., 1994. С. 217—227).

Зачарованный лес (Весы. 1905. № 2) — "Из восточных мотивов" ("В мире неясного и нерешенного". М., 1995. С. 352—355).

"Ното повус" (Русское слово. 1906. 20 февраля: "Новые люди") — "Когда начальство ушло", под названием "Homines novi..."

Где же религия молодости? (Русское слово. 1907. 15 февраля) — "Среди художников" (М., 1994. С. 246—252).

Танцы невинности (Русское слово. 1909. 21 апреля) — "Среди художников" (М., 1994. С. 286—295).

Магическая страница у Гоголя (Весы. 1909. № 8—9) — "О писательстве и писателях" (М., 1995. С. 383—421).

В публикуемых текстах сохраняются особенности авторской лексики. Написание собственных имен не унифицируется и не приводится в соответствие с ныне принятым (пояснения вынесены в аннотированный указатель имен). Цитирование чужих текстов отличается у Розанова неточностями, что в комментариях обычно не оговаривается.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Черновик предполагавшегося предисловия к книге "Во дворе язычников" (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 85. Л. 6) печатается по кн.: Контекст. 1992. С. 27—31. Слова, прочитанные предположительно, заключены в квадратные скобки.

О МИФОЛОГИИ

Впервые: Приложение к "Новому времени". 1897. 29 октября. № 7785. Рец. на книгу: Краткий очерк мифологии греков и римлян. Составил Евг. Ветнек. Ревель, 1897. Подпись: В.

С. 9. "*Храм всеобщего баснословия...*" — речь идет о книге "Храм всеобщего баснословия, или Баснословная история о богах египетских, еллинских, латинских и других, заключающая в себе: 1) каждого бога изображение, родословие, дела, различные названия, вещи посвященные, жертвоприношения, обряды, бывающие при оных, празднества и проч.; 2) смысл каждой басни, какой подразумевали баснословы". С лат. перевел И[ван] В[иноградов]. М., тип. Лопухина, 1785.

О ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИХ ОБЕЛИСКАХ

Впервые: Литературное приложение к "Торгово-промышленной газете". 1899. 21 марта. № 1.

С. 10. "*Там, где вечно чуждый тени...*" — М. Ю. Лермонтов. Спор (1841).

"*Цвет небес свинцово-бледный...*" — А. С. Пушкин. "Город пышный, город бедный..." (1828).

С. 12. *Бамост* — возвышенное место, служившее древним израильтянам для жертвоприношений и священных курений.

С. 13. "*Чертоги пышные построю...*" — М. Ю. Лермонтов. Демон (1841). Порядок стрóf изменен.

...по новозаветному *Тайнозрителю* — речь идет о Евангелисте Иоанне.

С. 14. "*Так, так, так, так! Пропал бриллиант...*" — Здесь и далее: У. Шекспир. Венецианский купец (I, 1).

"*Загорит, заблестит луч денницы...*" — Розанов, вслед за Ф. М. Достоевским, неточно процитировал строки из песни Рахили, персонажа драмы Н. В. Кукольника "Князь Даниил Васильевич Холмский" (акт. II, явл. 2), приведенные в "Дневнике писателя" (1877. Март. Гл. II. 3).

О ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ КРАСОТЕ

Впервые: Мир искусства. 1899. Т. 1. № 10—12 [май—июнь]. Художественная хроника. С. 105—109, 121—124; Т. 2. № 16—17 [август]. Художественная хроника. С. 1—8, 29—32.

С. 15. "*А все — Кузнецкий мост...*" — А. С. Грибоедов. Горе от ума. I, 1.

С. 16. *Отдание Пасхи* — последняя пасхальная служба года, накануне праздника Вознесения Господня.

"Тут есть дублон старинный — вот он..." — А. С. Пушкин. Скупой рыцарь (1830). Сц. 2.

С. 17. *"...прекрасное созданье..."* — М. Ю. Лермонтов. Демон (1841). Ч. II, 10.

С. 18. *"Мы — для новой красоты..."* — Д. С. Мережковский. Дети ночи (1895).

С. 20. *"...живая вода"...* за каплею которой *Рустем...* — речь идет о герое поэмы В. А. Жуковского *"Рустем и Зораб"* (переложении *"Шахнаме"* Фирдоуси) (1849). Кн. 9. Гл. VIII—IX.

С. 23. *"И долго на свете томила она..."* — М. Ю. Лермонтов. Ангел (1831).

С. 26. *"...древо жизни"* — Быт. 2, 9 — 3, 24; Откр. 2,7; 22,2 — 22,14.

С. 28. *"Ну, тащися, сивка..."* — А. Кольцов. Песня пахаря (1831).

С. 29. *Дуб Мамврийский* — место, где поселился Авраам со своей женой в Хевроне (*"дубрава Мамре"*). Быт. 13, 18; 14, 13; 18, 1.

С. 30. *"И хоть бесчувственному телу..."* — А. С. Пушкин. *"Брожу ли я вдоль улиц шумных..."* (1829).

"Бесенок, под себя поджав свое копыто..." — А. С. Пушкин. *"И дале мы пошли — и страх объял меня..."* (1832).

С. 32. *"...Корень и потомок Давида"* — Откр. 22, 16.

С. 34. *"... мани, факел, фарес"* — Дан. 5, 25: *"... мене, мене, текел, упарсин"*.

"... песья голова" по переименованию наших благочестивых старушек. — А. Н. Островский. Гроза (II, 1).

"...полуживотное, получеловек, с лицом как бы орла" — Откр. 4, 77; Иез. 1, 10.

"...апокалипсическая река воды живой" — Откр. 22, 1.

С. 35. *"...свивается" одно "небо"* — Откр. 6, 14.

С. 36. *"...жир ростовщика каплет в корыто"* — А. С. Пушкин. *"И дале мы пошли — и страх объял меня..."* (1832).

С. 38. *"...в Никею для составления символа."* — На первом вселенском церковном соборе христианской церкви, созванном в 325 г. по поводу ереси Ария, была выработана единая формула христианского вероучения — *"Никейский символ"*.

С. 41. *"О тайнах вечности и гроба"* — заключительные строки чернового варианта стихотворения А. С. Пушкина *"Воспоминание"* (1828).

С. 43. *"...в страну Аменти", "на запад"*, — в египетской мифологии богиня запада (царства мертвых) Аментет изображалась с иероглифом *"запад"* на голове; покровительница умерших.

С. 44. *"Ума холодных наблюдений"* — А. С. Пушкин. Евгений Онегин [Вступление].

"О душе" — Карус К. Г. Сравнительная психология, или История развития души на различных ступенях животного мира. Пер. с нем. А. Смирнова. Спб., 1867.

С. 45. *"Не знаю, что видел: лицо ли орлиное..."* — Откр. 4, 6—8.

ОБ АПОКАЛИПСИЧЕСКОМ ЧИСЛЕ

Впервые: Литературное приложение к *"Торгово-промышленной газете"*. 1899. 16 мая. № 8.

С. 47. *"Число это — человеческое. Кто имеет разум — прочти его"* — Откр. 13, 18.

...*"ей — человеке, помяни Мои Субботы"* — См.: Исх. 20, 8.

"И поклонятся ему все живущие на земле" — Откр. 13, 8.

С. 48. *"Аще вкусят от древа жизни — не умрут"* — См.: Быт. 3, 3.

...*"Он дал нам огонь с небеси"* — ср. 1. Пар. 21, 26.

С. 49. *"И будет земля новая и небо новое; а прежнее — совется"* — Откр. 6, 14; 21, 1.

"Бог взял семена из миров иных и насадил Сад Свой..." — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Ч. II. Кн. 6. III. Из бесед и поучений старца Зосимы.

ПРОРИЦАТЕЛЬ ВАЛААМ

Впервые: Новое время. 1899. 16 июня. № 8368. Рецензия на книгу: Прорицатель Валаам. Кн. числ. XXII—XXV. Сочинение епископа Серафима. Спб., 1899.

КУЛЬТУРА И ДЕРЕВНЯ

Впервые: Литературное приложение к "Торгово-промышленной газете". 1899. 18 июля. № 18. Статья имела подзаголовок: Сельская школа. Сборник статей С. А. Рачинского. 3-е изд., доп. Спб., 1898 г. Книге Рачинского была посвящена еще одна рецензия Розанова: "Сельская школа. Сб. статей". Изд. 3. Спб., 1898 / Новое время. Приложение. 1899. 6 января. № 8211.

С. 52. *"Дело"* — литературно-политический журнал, издававшийся ежемесячно в Петербурге в 1866—1888 гг. Г. Е. Благовосветловым.

С. 53. ...*"Чехов написал "мужиков"* — А. П. Чехов. Мужики (1897).

"История политических учений" — Чичерин Б. Н. История политических учений. Т. 1—5. М., 1869—1902.

С. 54. ...*Катков... устроил какую-то интригу в университете...* — речь идет о борьбе вокруг университетского Устава 1863 г. и гарантий автономных прав для высших учебных заведений. Потерпев поражение, ряд либерально настроенных профессоров покинул университет.

С. 55. *"Жизнь растений"* — Шлейден М. Я. Растение и его жизнь. Популярные чтения. Пер. проф. Моск. ун-та С. А. Рачинский. М., 1862.

...*игры Вакха и Киприды* — А. С. Пушкин. Воспоминание (1828). Черновая рукопись стихотворения.

"В начале жизни школу помню я..." — здесь и далее из одноименного стихотворения А. С. Пушкина (1830).

С. 57. *"Русь"* — газета славянофилов, выпускавшаяся в Москве И. С. Аксаковым в 1880—1886 гг.

С. 63. *"Круглоголовые"* — презрительная кличка, которой во времена Долгого парламента (1640—1653) сторонники короля называли сторонников парламента; была связана с характерной стрижкой в скобку, распространенной в английской буржуазной среде.

...*добродетелью Елизаветы Тюрингенской* — речь идет о дочери венгерского короля Андрея II, жене ландграфа Тюрингии Людвиге Елизавете Венгерской

(1207—1231), которая прославилась своими благотворительными деяниями и глубоким религиозным аскетизмом. Канонизирована папой Григорием IX в 1235 г.

С. 64. ...исследование "о дружбе" — речь идет о трактате Цицерона "Лелий, или О дружбе" (44 г. до н. э.).

О ПОКЛОНЕНИИ ЗЕРНУ

Впервые: Литературное приложение к "Торгово-промышленной газете". 1899. 26 сентября. № 28.

С. 66. ...бессемеровская сталь — сталь, получаемая в процессе передела жидкого чугуна в литую сталь путем продувки сжатым воздухом; отличается от мартеновской большей твердостью, упругостью и износостойкостью, а также повышенной хрупкостью.

НЕВЕРИЕ XIX ВЕКА

Впервые: Русский труд. 1899. 23 окт. № 43. С. 21. Рец. на статью Т. Буткевича "Неверие XIX века" (Вера и разум. Харьков. 1889. № 10—15).

С. 67. "Вера и Разум" — богословско-философский журнал, выходивший в Харькове с 1884 по 1916 г.

АФРОДИТА-ДИАНА

Впервые: Мир искусства. 1899. № 23/24 [Декабрь]. Художественная хроника. С. 85—91.

С. 68. "Трагедия целомудрия и сладострастия" — статья Д. С. Мережковского, опубликованная в журнале "Мир искусства" (1899, № 7—8. Художественная хроника. С. 64—66).

...в зале Дервиза — речь идет о Народном доме с театрально-концертным залом на 576 мест в Петербурге (Васильевский остров, Средний пр., 48), сооруженном на средства благотворительницы В. Ф. фон Дервиз и открытом 18 февраля 1898 г.

С. 69. ...замечательные слова Ф. И. Буслаева... — "...Гера, постоянная супруга Зевса, возвращается к нему постоянно девствующею невестою" (Буслаев Ф. И. Женские типы в изваяниях греческих богинь // Пропилеи. М., 1851. Кн. 1. С. 118).

"Пропилеи" — речь идет о книге: Пропилеи. Сборник статей по классической древности, изд. П. Леонтьевым. М., 1851—1856. Кн. 1—5.

С. 72. "Юноша из Саиса" — имеется в виду стихотворение Ф. Шиллера "Покрытый истукан в Саисе" (1795, перевод М. Л. Михайлова 1853 г.).

...из Нейт ..."солнце рождающееся" есть "рождающийся младенец", "восходящее солнце", "победитель Пифона-Сета". — Культ богини Нейт возник в Саисе и распространился по всему Египту в VII—VI вв. до н. э. В Нейт соединялись мужское и женское начало, функции демиурга (создательница семени богов и людей). В поздний период отождествлялась с Хатор (богиней неба,

изображавшейся в виде небесной коровы, родившей солнце) и с Исидой. Гор (сын Исиды) — бог солнца, ведет борьбу и уничтожает Сета, олицетворявшего злое начало, предводившего чудовищ, врагов Ра.

С. 75. *...приходит к Воозу и говорит ему в нощи слова...* — "Она сказала: я Руфь, раба твоя, прости крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник" (Руфь. 3, 9).

Афанасий Иванович... Пульхерия Ивановна — герои повести Н. В. Гоголя "Старосветские помещики" (1835).

С. 76. *"...столпообразная руина"* — М. Ю. Лермонтов. Демон (1841). У Лермонтова — "раина" (пирамидальный тополь).

Пришел Александр — и какая сила сопротивления ему у Тира! — речь идет о походе греко-македонской армии в Финикию после разгрома персидского войска (333 г. до н. э.). Лишь город Тир оказал воинам Александра Македонского ожесточенное сопротивление. Город пал после длительной осады в 332 г. до н. э.

...пришел Веспасиан к Иерусалиму. — В ходе карательной экспедиции римского войска в провинцию Иудею (67—68 гг.) во главе с Веспасианом Флавием удалось привести в повиновение большую часть страны. Но вождь восставших zelотов Иоханан поднял восстание в Иерусалиме. Город был осажден войсками римлян в 70 г. во главе с Титом Флавием, сыном Веспасиана (с 69 г. — император). После 5-месячной осады, в августе 70 г., Иерусалим и храм иудеев были разрушены.

..."развратной Ашере" — библейское название Ассирии: Ашера, или Ашшур, Ассур.

"Господи, и рабы не лишены бывают крох..." — Мф. 15, 27.

О "ДВУХ ТОЧКАХ ЗРЕНИЯ"

Впервые: Гражданин. 1900. 9 января. № 2. С. 4—6; 16 января. № 4. С. 8—11; 27 января. № 7. С. 12—14; 3 февраля. № 9. С. 7—8. Под названием "Еще" о двух точках зрения". Подпись: Безродный (№ 2, 4, 7) и В. Розанов (№ 9). Публикация была прервана редакцией газеты, окончание статьи хранится в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 244).

С. 79. *...заметку г. Влад. Заточникова* — речь идет о критической заметке Вл. Заточникова "Две точки зрения" (Гражданин. 1899. № 95. С. 5—6) о статье Розанова "По поводу одной страницы в "Воскресении" гр. Л. Н. Толстого" (Гражданин. 1899. № 92, 94, 95; перепечатано в книге Розанова "Семейный вопрос в России" (Спб., 1903) под заглавием "Об отреченных и апокрифических детях").

"Физиология обыденной жизни" — Льюис Д. Г. Физиология обыденной жизни. Пер. с англ. проф. Моск. ун-та С. А. Рачинского и Я. А. Борзенкова. М., 1861—1862.

С. 80. *..."демиург" платоновский* — термин философов Древней Греции, означавший "творца" ("мастера"), впервые введенный в оборот Платоном в "Тимее" ("Творец и отец этой вселенной").

С. 82. *"Тебе — хвала, Тебе — благодаренье..."* — стихи Франциска Ассизского в переводе Д. С. Мережковского ("Символы", год создания 1892-й, а не 1872-й, как указано в статье Розанова).

С. 84. *За последнюю вашу статью, в № 95 "Гражданина"...* — статья В. Розанова "По поводу одной страницы в "Воскресении" гр. Л. Н. Толстого", подписанная псевдонимом "Безродный".

С. 86. *"Луч Духовный"* — "Блаженного Иоанна Мосха Луч Духовный". В пер. с греч. яз. М., 1848 (сборник повестей о благочестивых людях и подвижниках византийского духовного писателя, монаха иерусалимского монастыря и Иорданской пустыни).

"De vita patrium" — "Жизнь пустынных отцов. Творение пресвитера Руфина". Пер. с лат. с объяснениями и примечаниями... свящ. М. И. Хитрова. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1898.

...в брошюре *"О христианском браке"* — речь идет о книге "Беседа высокопреосвященного Никанора, архиепископа Херсонского и Одесского о христианском супружестве, против графа Льва Толстого" (Одесса, 1890).

Русский переводчик И. Мосха — священник М. И. Хитров.

С. 87. *"Религии древнего мира"* — Хрисанф (Ретивцев). Религии древнего мира в их отношении к христианству. Историческое исследование. Спб., 1873—1878. Т. 1—3.

С. 88. *"Зачем тебе Мое имя — оно чудно"* — Быт. 32, 29.

...среди *"горящей купины"* — несгорающий куст ("неопалимая купина"), явившийся во сне Моисею (Исх. 3,2).

С. 89. *"Легенда о Великом инквизиторе"* — речь идет о работе В. В. Розанова "Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского", впервые напечатанной в журнале "Русский вестник" (1891, № 1—4), затем вышедшей отдельной книгой (Спб., 1894; 2-е изд. Спб., 1902; 3-е изд. Спб., 1906).

"Духовной жаждою томим..." — А. С. Пушкин. Пророк (1828).

За 99 год в "Русском Труде" появилось письмо г. Мирянина — против брака. — Мирянин. О В. В. Розанове и его "религии" брака (Два письма редактору) // Русский труд. 1899. 19 июня. № 25. С. 14—16; 26 июня. № 26. С. 10—12. Перепечатано в книге Розанова "В мире неясного и нерешенного" (Спб., 1901) под названием "О воззрениях г. Розанова на супружеское соединение".

С. 90. *Кондр. Селиванов назвал свою операцию "очищением"* — речь идет об оскотлении у сектантов Орловской губернии во 2-й пол. XVIII в.

С. 92. *Переводчик на русский язык Платона, академик Карпов* — "Сочинения Платона, переведенные с греческого и объясненные профессором Санкт-Петербургской духовной академии Карповым". Спб., 1841—1842. Ч. 1—2. Диалог "Пир" вышел во 2-м издании (Спб., 1863—1879, Ч. 4).

"Брак и христианство" — цикл статей В. Розанова, впервые опубликованный в газете С. Ф. Шаропова (и с его примечаниями) "Русский труд" (1898, № 47—52) с подзаголовком "Моя переписка с православным священником" (А. П. Устьянским). Эта работа вышла затем в книге В. Розанова "В мире неясного и нерешенного" (Спб., 1901).

"А правда ли, правда ли..." — Ф. М. Достоевский. Бесы. II, 1.

С. 93. *"Если бы сделать стыд..."* — Там же.

С. 97. *...орел летящий Апокалипсиса* — Откр. 4, 7.

"Ни один народ еще не устраивался..." — Ф. М. Достоевский. Бесы. Ч. 2. Гл. 1.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ "НОВОЕ ВРЕМЯ"

Впервые: Новое время. 1900. 29 февраля. № 8623. Подпись: Мнимо упавший со стула. Письмо явилось откликом на публикацию (без подписи) в "Новом времени" (1900. 28 февраля) отчета о лекции Вл. Соловьева "Конец всемирной

истории". По своему содержанию письмо стоит в одном ряду со статьей Розанова "К лекции г. Вл. Соловьева" (Мир искусства. 1900. № 9/10), критически рассматривавшей лекцию философа в зале петербургской Думы. Известны отклики на поведение Розанова во время лекции: *Чуносков М. Новорожденный Антихрист // Ежемесячные сочинения. Литературный журнал И. Ясинского. 1900. Апр. № 2/3; Блок А. А. Рыцарь-монах // О Владимире Соловьеве. М., 1911.*

К ЛЕКЦИИ г. Вл. СОЛОВЬЕВА ОБ АНТИХРИСТЕ

Впервые: Мир искусства. 1900. № 9/10 [Май]. Художественная Хроника. С. 192—195. Редакция газеты "Новое время" отклонила публикацию этой статьи. В журнале "Мир искусства" статья публиковалась с сокращениями. Печатается по книге: "Контекст. 1992", где статья опубликована по гранкам с авторской правкой, хранящимся в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 59). Все изменения и вставки в гранках заключены в квадратные скобки.

С. 100. *"Жизнь"* — литературный, научный и политический журнал. Издавался в Петербурге с 1897 по 1901 г. М. С. Ермолаевым.

"Ежемесячные сочинения" — Литературный журнал, ежемесячное издание И. И. Ясинского (Максима Белинского); выходил в Петербурге с 1900 по 1903 г.

...излагают и критикуют лекцию почтенного нашего философа — имеются в виду обзор Андреевича (Е. А. Соловьева) "Очерки текущей русской литературы" с иронической оценкой выступления В. С. Соловьева в главе "Об антихристе и других странных вещах и между прочим об "истории новейшей русской литературы" А. М. Скабичевского" (*Жизнь*. 1900. Т. 3. С. 302—311) и статья М. Чуносова "Новорожденный антихрист" (*Ежемесячные сочинения*. 1900. Апрель. № 2/3. С. 195—207), в которой дается юмористическое изложение постулатов соловьевской лекции, а ее содержание напрямую увязывается с падением В. В. Розанова со стула.

С. 101. *"Сквозь туман кремнистый путь блестит..."* — М. Ю. Лермонтов. "Выхожу один я на дорогу..." (1841).

С. 102. *"...Студеный ключ, играя по оврагу..."* — М. Ю. Лермонтов. "Когда волнуется желтеющая нива..." (1837).

"Иоани Дамаскин" — поэма А. К. Толстого 1859 г. *"Грешница"* — его же поэма 1858 г.

С. 103. *"Творения Иннокентия"* — речь идет о книге "Сочинения Иннокентия, Архиепископа Херсонского и Таврического". Общедоступное изд. Спб., 1870—1874. Т. 1—6.

Святой Грааль — священный сосуд, часто фигурировавший в средневековых легендах Западной Европы, ради которого совершались рыцарские подвиги; иное название — чаша Иосифа Аримафейского, в которой якобы были собраны капли крови распятого Христа.

С. 104. *"Царство Мое не от мира сего"* — Ин. 18, 36.

С. 105. *"...уловил г. Вл. Соловьев в "Книжках Недели"...* — содержание лекции В. С. Соловьева тесно переплеталось с его "Повестью об Антихристе", опубликованной в ежемесячном петербургском литературном журнале "Книжки "Недели" (1885—1901) в мартовском номере за 1900 г.

ВОЗРАСТЫ И ШКОЛА

Впервые: Новое время. 1900. 16 мая. № 8699.

С. 113. *Харатейные списки* — рукописи на пергаменте.

...зоологические *Четьи-Минеи Брема*. — Речь идет о книге: *Брем А. Э. Жизнь животных*. Полный пер. со 2-го нем. изд., вновь обраб. Р. Шмидтлейном для школы и домашнего чтения, под ред. проф. П. Ф. Лесгафта. Спб., 1900—1902. Т. 1—3.

"Педель" — надзиратель, следивший за поведением студентов; уничижительное прозвище.

...должны быть *Сократы*; ибо все люди этих лет — *Федры* — речь идет о героях диалога Платона *"Федр"*.

...*Алкивиад шутил свои гениальные озорства*. — Афиняне приписывали Алкивиаду членовредительство по отношению к гермам (изображения бога Гермеса у дорог).

С. 114. ...*Великое Восстановление* — речь идет о труде английского философа Ф. Бэкона (1561—1626) *"Великое восстановление наук"*.

С. 115. *"Метод"* — сочинение французского философа Р. Декарта (1596—1650) *"Рассуждение о методе..."* (1637, рус. пер. 1953).

"Открылись вещи зенницы..." — А. С. Пушкин. Пророк (1828).

СКАЗОЧНОЕ ЦАРСТВО

Впервые: Новое время. 1900. 26 мая. № 8708.

Рецензированию этой книги Эдуарда Рене Лабулэ де Лефевра В. В. Розанов посвятил еще одну статью — *"Сказки и правдоподобия"* (1900), помещенную в книге *"Среди художников"*.

С. 117. *Пашалык* — турецкая административная единица прошлого века; слово производно от названия губернатора — паша.

С. 120. *Исаак оставался Аврааму* — речь идет о библейском сюжете принесения Авраамом в жертву Богу единственного сына Исаака (Быт. 22,9—12).

"Алмазна сыплется гора" — Г. Р. Державин. Водопад (1791—1794).

С. 122. ...*Камбиз — уже растленный кесарь* — речь идет о царе древней Персии, сыне Кира, Камбизе, правившем в 529—522 гг. до н. э. и страдавшем природной душевной болезнью. Ряд древних авторов повествует о его жестокости в завоеванном Египте, о разрушениях и осквернениях храмов.

Кобден хлопотал около хлебных законов... — речь идет об английском политике, идеологе промышленной буржуазии Ричарде Кобдене, одном из руководителей *"Лиги против хлебных законов"* (1838—1846), выступавшей против законодательства, удорожавшего стоимость рабочей силы и цены на сырье, добившейся успеха в ходе длительной борьбы.

С. 124. *"Прозрачный сумрак, блеск безлунный..."* — А. С. Пушкин. Медный всадник. Вступление (1833).

...*что час наказания его за беззакония сыновей — пришел...* — речь идет о библейском первосвященнике и судье Илие (ок. 1115 — ок. 1075 до н. э.), отличавшемся благочестием, кротостью и слабостью характера; он не сумел

обуздать негодные поступки своих сыновей и остановить зло, распространяемое ими в Израиле (1 Цар. 2,12—17), они навлекали гнев Божий, о чем возвестил благочестивый отрок Самуил. Воззвание Божие и ответ Самуила цитирует Розанов в предыдущих строках (1 Цар. 3, 4).

ВОСТОК

Впервые: Гражданин. 1900. 28 мая. № 50. Подпись: Орион.

С. 125. *...в психологию и обстановку бунта военных поселений в холерное время* — речь идет о городских, крестьянских и солдатских волнениях в связи с поразившей Россию в 1830—1831 гг. эпидемией холеры.

...борьбы венецианцев с далматинцами — с X в. Венеция вела захватническую политику в Далмации (восточное побережье Адриатики). С XII по нач. XV в. Далмация находилась под властью Венгрии, с 1420 по 1797 — под властью Венеции (кроме города Дубровника).

...разыгрывается... или может разыгаться в Китае — речь идет об ихэтуаньском (боксерском) восстании крестьян и городской бедноты Китая (1899—1901) против засилья европейского капитала.

С. 127. *...история между Фомою Бекетом и английским королем* — речь идет о борьбе архиепископа Кентерберийского и королевского канцлера св. Томаса Бекета с королем Генрихом II Плантагенетом, стремившимся к подчинению церкви светской власти. Результатом стало убийство архиепископа в его соборе в 1170 г.

ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ

Впервые: Новое время. 1900. 23 августа (№ 8796). Напечатано с редакционными сокращениями, по сообщению С. А. Цветкова (ОР РГБ).

С. 130. *"Любви все возрасты доступны"* — неточная цитата из "Евгения Онегина" (VIII, 29) А. С. Пушкина.

С. 131. *...Соломон "имел триста жен и шестьсот наложниц"* — "И было у него семьсот жен и триста наложниц..." (3 Цар. 11, 3).

С. 132. *...как жена Пентефрия — в Иосифа.* — Пентефрием В. Розанов называл библейского Потифара, царедворца египетских фараонов, начальника телохранителей (Быт. 39,7—19).

...дочь Кочубея — Мария, героиня поэмы А. С. Пушкина "Полтава" (1828).

С. 135. *"Вновь я посетил..."* — из одноименного стихотворения А. С. Пушкина (1835).

...сбеганье "варварского рисунка" — аллюзия на стихотворение А. С. Пушкина "Возрождение" (1819).

"Здравствуй племя младое, незнакомое!" — А. С. Пушкин. "Вновь я посетил..." (1835).

С. 136. *...по поводу двух коронованных свадеб последнего времени* — речь идет о морганатическом браке наследника австрийского престола 37-летнего эрцгер-

цога Франца-Фердинанда с графиней Софи Шотек (Хотек)-Шотковой 32 лет из обедневшего чешского дворянского рода. Сообщение о браке поступило 15 июня. А 23 июля 1900 г. 23-летний сербский король Александр I Обренович (1876—1903) вступил в брак с фрейлиной своей матери, вдовой полковника Мишана Драгой, которая была старше жениха на 10 лет.

...*"вот она взята от костей моих, посему наречется мне в жену!"* — Быт. 2, 23.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ НЕПРОЧИТАННОЙ КНИГИ

Впервые: Северные цветы на 1901 год, собранные книгоиздательством "Скорпион". М., 1901. С. 169—179.

С. 137. *...в Белом* — 10 августа 1891 г. Розанов переехал в город Белый Смоленской губернии "для предупреждения пересудов" после тайного венчания с В. Д. Бутягиной в Ельце. Здесь он преподавал в городской прогимназии до марта 1893 г.

С. 139. *Сидели у нас (в Ассерне около Риги) две гости, наши русские староверки...* — Летом 1899 г. семья В. В. Розанова снимала дачу под Ригой. Впечатлениям, вынесенным от общения с местными старообрядцами, посвящен его очерк "Федосеевцы в Риге" (Новое время, 1899, 27 августа; перепечатан в книге: Розанов В. В. Около церковных стен. СПб., 1906 (переиздано: М., 1995).

С. 140. *"Я и отец одно"* — Ин. 10, 30.

С. 142. *"Кроткий демонизм"* — статья В. Розанова в "Новом времени" (1897, 19 нояб. № 7806), перепечатана в кн. Розанов В. Религия и культура (СПб., 1899), в которой писатель полемизирует с М. О. Меньшиковым, разбиравшем в осенних выпусках "Книжек недели" за 1897 г. факт плотской любви в духе взглядов Л. Н. Толстого, изложенных в "Крейцеровой сонате".

МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОПРАВКА

Впервые: Новое время. 1901. 17 января. № 8941.

С. 144. *...г. Д. Мережковский недавно посвятил этой теме красноречивые страницы...* — речь идет о публикации в журнале "Мир искусства" критического исследования Мережковского "Лев Толстой и Достоевский" (1900. Хроника. № 1—4, 7—12; 1901. № 4—12; 1902. № 2). Высокая оценка работе Д. С. Мережковского была высказана Розановым в "Письме в редакцию" журнала от 19 июля 1900 г. (Мир искусства. 1900. № 15—16).

С. 145. *"Место христианства в истории"* — статья В. В. Розанова, составленная на основе его "Речи, произнесенной по поводу 900-летия крещения русского народа на публичном акте Елецкой гимназии 1 октября 1888 г.", опубликована Н. Н. Страховым в "Русском вестнике" (1890. № 1. С. 94—119) без начала и заключения, с изменением авторского названия (у Розанова: "Об историческом положении христианства"). Вышла отдельным изданием с восстановленным текстом (М., 1890; 2-е изд. СПб., 1904) и включена в книгу В. Розанова "Религия и культура" (1899).

С. 146. *... "воскурится" к нему, как жертва Авеля* — Быт. 4, 4.

С. 149. "...что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам". — Втор. 26, 3.

"...Отец мой был странствующий арамеянин..." — Втор. 26, 5.

С. 150. ...пророс, дал листья и плоды жезл Ааронов — Чис. 17, 8.

...жезл обратился в змею и обратно, как было в Египте... — Исх. 4, 3.

...заблестал не бывший там сапфир — Исх. 24, 10.

...Сарра в невозможные 90 лет проросла "первенцем" — Быт. 21, 1—2.

...скрижали Завета — Исх. 34, 28—29.

С. 151. "Изобрази на них (вперемежку) яблоко и позвонок" — Исх. 28, 34.

"Второго года от освобождения Сиона" (67 по Р. Х.) — речь идет о монете периода антиримского восстания в Иудее в середине 60-х гг., приведшего к иудейским войнам периода римской императорской династии Флавиев.

..."и помажь кровью рога жертвенника" — Исх. 29, 12; Лев. 8, 15.

СЕРИЯ НЕДОРАЗУМЕНИЙ

Впервые: Новое время. 1901. 16 февраля. № 8970. Окончание статьи было снято редакцией газеты из корректуры.

С. 152. Переводчик "Дафниса и Хлои", автор "Воскресших богов"... — речь идет о книгах: Лонгус. Дафнис и Хлоя. Древнегреческий роман. Пер. Д. С. Мережковского. Спб., 1896 и Д. С. Мережковский. Воскресшие боги. Леонардо да Винчи (Мир Божий. 1900. № 1—12).

С. 153. "Благовест" — журнал, "имеющий целью выяснение духовно-нравственных стремлений и задач и бытовых условий жизни России и остального славянства"; издавался в Петербурге в 1890—1894 гг. под ред. А. В. Васильева.

"Русская Беседа" — ежемесячный литературно-политический журнал, выходивший в 1895 — 1896 гг. в Петербурге под ред. А. В. Васильева.

Марафон — древнегреческое поселение в 40 км северо-восточнее Афин, в районе которого в 490 г. до н. э. афинский полководец Мильтиад одержал победу над персами.

Капуя — древний город в Кампании (Юж. Италия), ставший символом богатства, роскоши и разврата.

...Он сравнивает царство Божие с виноградником — Мф. 21, 28—32.

С. 154. Онтология, выражаясь богословски — составная часть дисциплины духовных учебных заведений "Основное богословие" (или "Апологетика"), излагающая проблемы творения с точки зрения теологии.

..."нравственное богословие" — дисциплина, изучающая христианскую мораль и этику.

"Слово (Бог) стало плотью и вселся в ны" — Ин. 1, 14.

"Кто не ест Мою плоть..." — Ин. 6, 54.

ЧУДЕСНОЕ В ЖИЗНИ И ИСТОРИИ

Впервые: Новое время. 1901. 22 февраля. № 8976.

С.155. Ог. Конт, посвятив несколько томов рассмотрению всех отраслей наук — Конт О. Курс положительной философии. Полный пер. с послед., 5-го франц.

изд. под ред. с примеч. и статьями проф. С. Е. Савича, О. Д. Хвольсона, Д. И. Менделеева и др. Спб., 1899—1900. Т. 1—6.

С. 156. ...*Я написал торжествующую статейку в "Русском Вестнике"* — речь идет о статье В. В. Розанова "Нечто об "излечениях" и о чудесном" (Русский вестник. 1896. Январь. С. 331—338; перепечатана в кн.: *Розанов В. В. Природа и история*. Спб., 1900 под названием "О чудесном мире").

С. 157. "*Очерки*" — *Драгомиров М. И. Очерки: Разбор "Войны и мира"*. — Русский солдат. — Наполеон I. — Жанна д'Арк. Киев, 1898.

С. 159. *Когда англичане осадили Орлеан...* — В 1428 г. англичане и бургундцы осадили Орлеан.

Дофин — Карл Валуа, коронован 17 июля 1429 г. королем Франции (Карл VII) в Реймсе благодаря победам армии, вдохновленной Жанной д'Арк.

С. 161. "*Блаженны нищие духом...*" — Мф. 5, 3; Лк. 6, 20.

...*миротворцы* — Мф. 5, 9; ...*кроткие* — Мф. 5, 5; ...*гонимые* — Мф. 5, 10.

"*Господи, Владыко живота моего: дух праздности, уныния и любоначалия не даждь ми...*" — молитва св. Ефрема Сирина; покаянная молитва, читаемая в начале Великого поста.

С. 162. *Друиды* — жрецы у кельтских народов.

С. 163. "*Норма*" — опера итальянского композитора В. Беллини, написанная в 1831 г. на сюжет восстания галльского племени против Рима.

МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР

Впервые: Исторический вестник. 1901. Март. С. 1193—1196.

С. 163. ...*говоря о Каабе и в ней о черном камне* — речь идет о священном храме мусульман в Мекке, внешне имеющем форму куба (Кааба), в наружной стене которого находится специальная ниша с "черным камнем" (Асвад) — главной культовой святыней. По преданию, Асвад был принесен ангелом Адаму из рая, а в стену храма был вделан Авраамом, установителем хаджа (паломничества).

С. 165. ..."*стой солнце и не движься луна*" — Нав. 10, 12.

ТЕМА НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Впервые: Новое время. 1901. 6 марта. № 8987.

С. 167. ...*старца Зосимы и двух Карамазовых, Алексея и Ивана, относительно тяготения человека к "клейким листочкам"...* — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Ч. II. Кн. 3. Гл. 3.

С. 168. "*И вдунул в нее Бог дыхание жизни — душу бессмертную*" — Быт. 2, 7. *Антоний Храповицкий, в издающихся трудах его...* — Антоний (Храповицкий А. П.). Полное собрание сочинений. Казань. 1900—1906. Т. 1—4.

С. 169. "*Дыхание Божие*" оттого и пронизало "*персть*" — Исх. 8, 16.

"*Сон смешного человека*" — фантастический рассказ Ф. М. Достоевского (Дневник писателя. 1877. Апрель. Гл. 2).

"*Видение золотого века*" ("*Подросток*") — ч. III, гл. 7.

"*Влас*" — статья Ф. М. Достоевского "Влас" (Дневник писателя. 1873. V).

...как автор *"Римских писем"* Гёте — речь идет о поэтическом сборнике И. В. Гёте *"Римские элегии"* (1790) на темы античной культуры.

"ни эллину, ни иудею" — Кол. 3, 11.

...*"не здесь и не на том месте будут поклоняться Богу, но во всяком месте"* — Ин. 4, 21—23.

С. 170. ...*"блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, которые питали Тебя"* — Лк. 11, 27.

ЭЛЛИНИЗМ

Впервые: Новое время. 1901. 11 июля. № 9105.

С. 172. *"Курьез о Троице я никогда не мог понять"* — И. П. Эккерман. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. Ч. III (4 января 1824 г.).

"Ифигения" — речь идет о трагедии И. В. Гёте *"Ифигения в Тавриде"* (1779—1786).

В Италии, около Бай, я осматривал... — Весной 1901 г. Розанов с женой путешествовал по Италии, чему был посвящен цикл его очерков в *"Новом времени"* и *"Мире искусства"* в 1901—1903 гг., составленных позднее в сборник: В. Розанов. *"Итальянские впечатления"* (СПб., 1909). Настроение от посещения храма Венеры описано им также в очерке *"Тревожная ночь"* (Северные цветы на 1902 год. М., 1902. С. 3—15).

С. 175. *Начали очень раздраженно проф. В. Модестов и кн. С. Трубецкой...* — В 1879 г. в газете *"Голос"* (СПб.) профессор Петербургской духовной академии В. И. Модестов поместил ряд статей о крайностях классической системы образования, за что вынужден был выйти в отставку. Много хлопот чиновникам от образования доставили и статьи С. Н. Трубецкого в *"Санкт-Петербургских ведомостях"* в 1899 г., отстаивавшие независимость преподавательской деятельности.

Панафинеи — древний аттический праздник в честь богини Афины; происходил ежегодно в конце июля — начале августа; состоял из шествия к Акрополю, жертвоприношения, надевания покрывала на статую Афины и состязаний певцов, музыкантов и гимнастов.

С. 176. *Елисейские поля* — в древнегреческой мифологии обитель блаженства, куда попадают после смерти любимцы богов, герои.

ИЗ ВОСТОЧНЫХ МОТИВОВ

Впервые: Мир искусства. 1901. № 8/9 [август—сентябрь]. С. 69—78 под названием *"Звезды"*. В плане книги *"Во дворе язычников"* В. В. Розанов предполагал при публикации этой статьи воспроизвести вновь рисунок Л. Бакста. Данный рисунок был им опубликован в книге *"Из восточных мотивов"* (Пг., 1916) и воспроизведен в рамках настоящего собрания сочинений в книге *"В мире неясного и нерешенного"*.

С. 177. ...*познакомившись с Вл. Сер. Соловьевым* — личное знакомство В. В. Розанова с В. С. Соловьевым состоялось поздней осенью 1895 г. по инициативе

Соловьева через посредничество Ф. Э. Шперка (см.: Золотое руно. 1907. № 2. С. 52).

С. 179. *Белинский удивился когда-то, как он, не изведав отцовского чувства, написал знаменитую "Казачью колыбельную песню"...* — В. Г. Белинский в статье "Стихотворение М. Лермонтова" (1841) писал: "Это стихотворение есть художественная апофеоза матери... Где, откуда взял поэт эти простодушные слова, эту удивительную нежность тона, эти кроткие и задумчивые звуки, эту женственность и прелесть выражения?"

С. 183. *...только он нам представляется огненно-красным.* — В русской церковной символике змееподобные чудовища являлись воплощением христианской мудрости; красный цвет служил образом очищающей божественной силы огня.

С. 184. *..."я не старуху убил — я себя убил"...* — Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. Ч. 4. IV.

...и Бог обратил их камни на их голову — Втор. 22, 21.

С. 185. *...очищались, принося горлинок в жертву Иегове* — ср. Лев. 12, 6.

О ПЕРЕВОДАХ ДРЕВНИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Впервые: Новое время. 1901. 18 августа. № 9143.

С. 186. *...знаменитые переводы г. Клевановым Тита Ливия — Тит Ливий. История народа римского. Пер. А. Клеванова. М., 1858—1867. Т. 1—5.*

У нас есть два философских общества... — Московское психологическое общество, учрежденное в 1889 г. при Московском университете и издававшее журнал "Вопросы философии и психологии"; Философское общество при Петербургском университете (1897—1922).

..."Органон" Аристотеля — логический трактат Аристотеля (рус. пер., 1859, 1939).

...проф. Мищенко, давшего нам прекраснейшие переводы Геродота, Фукидида и Страбона — Геродот. История в девяти книгах. Пер. с греч. Ф. Г. Мищенко. М., 1885—1886. Т. 1—2; Фукидид. История Пелопоннесской войны в восьми книгах. Пер. с греч. Ф. Г. Мищенко с его предисл., примеч. и указателем. М., 1887—1888. Т. 1—2. География Страбона в семнадцати книгах. Пер. с греч. с предисл. и указателем Ф. Г. Мищенко. М., 1879.

...проф. Ващенко-Захарченко, давшего классический перевод Эвклида... — Начала Евклида: с поясн. введ. и толкованиями. Орд. проф. М. Е. Ващенко-Захарченко. Киев, 1880.

"ДЕМОН" ЛЕРМОНТОВА В ОКРУЖЕНИИ ДРЕВНИХ МИФОВ

Впервые: Новое время. 1901. 21 августа. № 9146. По сообщению С. А. Цветкова, публикация статьи была прервана редакцией газеты. Окончание статьи было опубликовано в журнале "Русский вестник" под названием "Демон" Лермонтова и его древние родичи" (1902. сентябрь (№ 9). С. 45—56). См.: Розанов В. В. О писательстве и писателях. М., 1995.

С. 189. *..."отерта будет всякая слеза"...* — Откр. 7, 17; 21, 4.

..."открыто будет ему древо жизни" — Откр. 22, 2; 22, 14.

...”дабы не вкусил человек от древа жизни и не стал яко один из нас” — см.: Быт. 3,22.

С. 193. ...в *”Истории религий древнего мира”* в рубрике *”Греция”* (т. III)... — Хрисанф. Религии древнего мира в их отношении к христианству: Историческое исследование... Т. 2. Религии Египта, семитических народов, Греции и Рима. Спб., 1875; Т. 3. Библейское вероучение в сопоставлении с религиозными воззрениями древности и его отличительный характер. Учение о язычестве у древних отцов и учителей церкви. Взгляд на состояние вопроса о язычестве в современном богословии. Спб., 1878.

С. 194. *”Италия до того полна богами...”* — Петроний. Сатирикон, 17.

С. 195. ...*бунт против пифагорейцев и избиение их в Кротоне...* — Около 532 г. до н. э. Пифагор поселился в Кротоне (Юж. Италия) и основал там религиозно-философское братство пифагорейцев, которое захватило в итоге власть в Кротоне и распространило свое политическое влияние по всей Юж. Италии. В 90-х гг. V в. до н. э. в Кротоне вспыхнуло антипифагорейское восстание, изгнавшее Пифагора и его приверженцев.

С. 196. *”Римская религия от Августа до Антонинов”* — Буассье Г. Римская религия, от Августа до Антонинов. Пер. Марии Корсак. М., 1878.

ОБ АТЛАНТИДЕ

Впервые: Новый журнал иностранной литературы. 1901. № 9. Сентябрь. С. 199—203, под названием *”Атлантида — была”*.

С. 196. ...*интересную статью: ”Действительно ли существовала Атлантида”* — речь идет о двух публикациях без подписи: Роман, которому 12 000 лет // Новый журнал иностранной литературы. 1901. № 6. С. 605—607; Действительно ли существовала Атлантида? // Там же. 1901. № 7. С. 89—92.

С. 197. ...*именем ее был назван один политико-утопический трактат* — речь идет о философской повести-утопии Френсиса Бэкона *”Новая Атлантида”* (1623—1624).

НЕДОГАДЛИВОСТЬ

Впервые: Новое время. 1901. 9 сентября. № 9165. Подпись: Ibis.

ПЕРВЫЕ ШАГИ ОТЕЧЕСТВОВЕДЕНИЯ

Впервые: Новое время. 1901. 17 октября. № 9203. Печатается по книге: Контекст. 1992 (М., 1993), где статья опубликована в первоначальном, расширенном варианте, хранящемся в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 57). Все добавления к газетному варианту статьи заключены в квадратные скобки.

С. 203. *Я пришел к тебе с приветом...* — в эпиграф Розанов взял первые 4 строки из одноименного стихотворения А. Фета (1843).

Католические конгрегации — в католической церкви сообщества монашеских общин, куда вместе со священнослужителями входят и миряне.

С. 204. *Лекции этого последнего в Московском университете я еще помню* — Розанов часто в своих печатных трудах вспоминал о своих университетских учителях. При общем ироничном настрое в адрес профессуры он часто с благодарностью отзывался о Ф. И. Буслаеве, называл его "мой идеал". "Святые имена Буслаева и Тихонравова я чту" (Опавшие листья. Короб первый).

С. 205. *Я был в четвертом...* — С 1872/73 по 1877/78 учебный год В. Розанов обучался в гимназии Нижнего Новгорода.

...надобность достать Бокля или Добролюбова... Г. Т. Бокль и Н. А. Добролюбов были любимыми авторами гимназиста Розанова, "нигилиста" во всех отношениях", как признавался сам он позднее.

С. 206. *...во дворе у покойной моей матери...* — Мать писателя, Надежда Ивановна Розанова (Шишкина), овдовев, переехала весной 1861 г. с 7 детьми в город своего детства Кострому, где и жила до своей кончины летом 1870 г.

С. 211. *"Семик"* — Троицын и Духов день, Пятидесятница; седьмой от Пасхи четверг; по народному обычаю в этот день наряжают березку, водят хороводы, встречают весну, в некоторых областях поминают покойных.

ПОЛ И ДУША

Впервые: Новое время. 1902. 4 апреля. № 9369.

С. 213. *"История материализма"* — Ланге Ф. А. История материализма и критика его значения в настоящее время. Пер. с нем. Н. Н. Страхова. Спб., 1881—1883. Т. 1—2.

С. 214. *...издевался над "логической машинкой"...* — Т. Карлейль неоднократно сравнивал скудоумное сознание с паровой машиной. Ср.: "...но только за это дело нужно приняться с головою, — обыкновенная паровая машина здесь недостаточна" (Карлейль Т. Исторические и критические опыты. М., 1878. С. 266).

С. 216. *...мою теорию г. Заозерский назвал бессмысленной и атеистической...* — Заозерский А. Странный ревнитель святыни семейного очага (Богословский вестник. 1901. Ноябрь).

С. 217 *..."по образу и подобию сотворим его"...* — Быт. 1, 26—27.

С. 218. *..."книга Товии сына Товита"* — речь идет о библейской "Книге Товита".

..."человек угодный Богу и непорочный..." — Иов. 2, 3.

"Крейцера соната" — повесть Л. Н. Толстого (1891). Розанов посвятил ей критическую статью "Семья как религия" (1898), включив ее затем в книгу "В мире неясного и нерешенного".

С. 219. *"О, если бы никогда не появлялось книг, подобных настоящей"...* — начало статьи А. Заозерского в "Богословском вестнике" (1901. Ноябрь. С. 446).

...бурса Помяловского... — речь идет о жестоких нравах, царивших в духовной семинарии, описанных Н. Г. Помяловским в "Очерках бursы" (1862).

С. 220. *"Материя и сила"* — книга немецкого врача и философа Л. Бюхнера "Сила и материя" (1-е изд. на рус. яз. — М., 1860, литографированный список московского студенческого кружка; 1-е изд. книги — СПб., 1907, пер. с нем. В. В. Битнера).

С. 221. *"Вместо чувствения Евы, влекусь к умственной Еве и горько рыдаю"* — отрывок из канона Андрея Критского, молитвы, читаемой первые четыре дня Великого поста. Ср.: *"Вместо Евы чувствения, мысленная ми бысть Ева, во плоти, страстный помысел, показуяй сладкая и вкушай присно горького напоена"* (Триодь постная. М., 1974, т. 1. Служба в понедельник первой седмицы св. поста, на повечерии. Глав 6. Песнь I. С. 89 об.).

"И вдохнул в лицо его (Адама) дыхание жизни, душу бессмертную"... — Быт. 2, 7.

О КЛАССИЧЕСКОМ И НАШЕМ МИРЕ

Впервые: Новое время. 1902. 29 апреля. № 9392.

С. 223. *"История римской литературы"* — Лекции по истории римской литературы. Чит. в Ун-те св. Владимира орд. проф. В. И. Модестовым. Киев. 1873—1875. Курс 1—2.

С. 225. *"К уму своему"* — речь идет о сатире А. Д. Кантемира *"К уму своему. На хулящих учение"* (1729).

ОБ ОТРИЦАНИИ ЭЛЛИНИЗМА

Впервые: Новое время. 1902. 26 августа. № 9510. В рукописи статья имела название *"Коротенькие софизмы"*. Данная статья послужила ответом на публикацию М. О. Меньшикова *"Das Ewigweibliche"* (Новое время. 1902. 18 августа. № 9502, цикл *"Из писем к ближним"*. XXXIII), в которой он, описывая впечатления от *"Сикстинской Мадонны"*, резко отозвался обо всей античной культуре.

С. 225. *Когда М. О. Меньшиков назвал греческое искусство...* — Меньшиков М. О. *Das Ewigweibliche* // Новое время. 1902. 18 августа.

Статуя и миф Леды, так голо выдвинутые вперед... — в разделе своей статьи, названном *"Леда и Лебедь"*, Меньшиков делится впечатлениями о картине Корреджо *"Леда"* (ок. 1530), называя ее *"позорнейшей мерзостью, какую только может придумать больное воображение"*. Сам же миф характеризуется как нечто *"противное природе и грубо-уродливое"* (там же).

Все живое из яйца... — выражение английского врача У. Гарвея (1578—1675), доказательству приведенного тезиса посвящена его книга *"Исследования о зарождении животных"* (1651).

С. 226. *...картину, понравившуюся в Дрездене М. О. Меньшикову* — речь идет о картине Рафаэля *"Сикстинская Мадонна"* (1515—1519).

Климент Александрийский их порицает... — речь идет о полемическом труде учителя и отца христианской церкви Климента Александрийского *"Увещание к эллинам"*, порицающем греческое язычество за видимые нелепости культовых мистерий (Ярославль, 1888, пер. Н. Корсунского, стб. 82—89).

С. 227. *"Супруги Орловы"* — Горький М. Супруги Орловы. СПб., 1906.

"Религиозное сознание язычества" — Введенский А. И. Религиозное сознание язычества. Опыт философской истории естественных религий. М., 1902. Т. 1. Основные вопросы философской истории естественных религий (Prolegomena). — Религии Индии. 1902.

КРИТИКА г. МИХАЙЛОВСКОГО

Впервые: Новое время. 1902. 1 сентября. № 9516.

С. 228. *Г. Михайловский* последнюю рубрику своей *"Литературы и жизни"* (*"Русск. Богат."* № 8) посвятил моей книге... — речь идет о рецензии Н. К. Михайловского "О г. Розанове, его великих открытиях, его маханальности и философической порнографии" (Русское богатство. 1908. № 8. С. 76—99) на книгу Розанова "В мире неясного и нерешенного" и на статью С. Ф. Шарاپова о ней "Жмеринские львы и буйствующий В. В. Розанов. Поход против него протоиерея Дернова и генерала Киреева" (Шарاپов С. Сочинения. Вып. 4. Т. 2. (Сугробы). М., 1901) против "духа любодейного", который не удалось Шарапovu "выкурить" из названной книги Розанова, публиковавшейся в "Русском труде".

"О скудости и богатстве" — *Посошков И. Т.* Книга о скудости и богатстве (1724, изд. 1842).

С. 229. *"О понимании"* — первая книга В. В. Розанова "О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания". М., 1886.

С. 230. ...*"ложных сведений Розанова"* — Михайловский язвительно укоряет Розанова за утверждения, "что Руже-де-Лиль не написал ничего, кроме Марсельезы, и что Ришелье и Мазарини были из семинаристов", — и пишет, что указанные французские кардиналы были "чистокровные дворяне и в семинариях не бывали".

С. 231. ...*похож на мужика, побывавшего в "кунсткамере"* — Розанов намекает на басню И. А. Крылова "Любопытный" (1814).

В ЧЕМ РАЗНИЦА ДРЕВНЕГО И НОВОГО МИРОВ

Впервые: Новое время. 1902. 12 сентября. № 9527. Статья, продолжающая полемику В. В. Розанова с М. О. Меньшиковым об античной культуре (см. статью В. Розанова "Об отрицании эллинизма"). Ответ на публикацию М. О. Меньшикова "Поганое в поганом" (Новое время. 1902. 1 сентября. № 9516).

С. 231. ...*одной главы в фельетоне М. О. Меньшикова...* — последняя глава статьи Меньшикова, отвечающая на статью Розанова "Об отрицании эллинизма", названа "Непроходимая пропасть". В ней Меньшиков подтверждает утверждение Розанова, что действительно "хотел бы видеть непроходимую пропасть между язычеством и христианством".

С. 232. ...*какие он привел из Тацита и Светония.* — Ср.: "...из императорской виллы при Тиверии по утрам выбрасывали кучи трупов оскверненных и замученных детей. Император и pontifex maximus (Нерон) убивает брата, двух жен, мать, великое множество подданных, публично женится на фаворите и затем сам выходит за него замуж и пр. Император (Калигула) возводит себя в ранг высшего божества, строит себе храм, носит поочередно костюмы всех богов, даже Юноны и Венеры... император (Адриан) объявляет богом мальчика, в которого он был влюблен, и строит ему храм, а богиней свою жену..." (*Меньшиков М. О.* Поганое в поганом // Новое время. 1902. 1 сентября).

"Господи Боже наш, прости рабе твоей, днесь родившей..." — фрагмент из очистительной "Молитвы в первый день, по внегда родити жене отроча".

С. 233. *Эдилы* — должностные лица городской магистратуры в Древнем Риме (V в. до н. э.).

С. 234. *...m-me Angot* — героиня оперетты Ш. Лекока "Дочь мадам Анго" (1872).

С. 235. *"Стромата"* — "Строматы, творение учителя церкви Климента Александрийского. С первонач. текста пер. Н. Корсунского". Ярославль, 1892.

"...молю всех богов и богинь"... — усеченная форма начала речи Демосфена "За Ктесифонта о венке" (330 г. до н. э.) против Эсхина.

ИСТОРИЯ ХАЛДЕИ

Впервые: Новое время. Приложение. 1902. 2 октября. № 9547.
Подпись: В. Р-нов.

С. 236. *Переводные труды Ленормана и Масперо* — Ленорман Ф. Руководство к древней истории Востока до Персидских войн. Пер. под ред. М. П. Драгоманова. Киев. 1878—1879. Т. 1—2; Ленорман Ф. Индийцы, арабы, мидяне и персы. История происхождения и цивилизация Древнего Востока. Пер. И. Каманина. Киев, 1889; Масперо Г. К. Ш. Древняя история народов Востока. М., 1895; Масперо Г. К. Ш. Древняя история. Египет. Ассирия. Пер. Л. Ф. Пантелеев. Спб., 1892.

...вводит нас... в индостанский мир — речь идет о религиозно-мистических публикациях Е. П. Блаватской: "Дурбар в Лахоре. Из дневника русской" (Русский вестник. 1881. № 5—7), "Из пещер и дебрей Индостана. Письма на родину" (там же, 1883, № 1—4; 1885, № 11, 1886, № 2, 3, 8; отдельное изд. — М., 1883); "Загадочные племена. Три месяца на "Голубых горах "Мадраса" (там же. 1884, № 12, 1885, № 1—4; отд. изд. — Спб., 1893). Литературный псевдоним — Радда Бай.

С. 237. *"Теогония Гезиода"* — Властов Г. К. Теогония Гезиода и Прометей (служит продолж. и доп. к рус. пер. Гезиода. Спб., 1885). Спб., 1897.

...плач еврейских женщин по умершем Таммузе — Иез. 8, 14.

...в еврейском календаре... — тамуз (июнь/июль).

"Вавилонский Талмуд" более у евреев употребителен, чем *"Иерусалимский"* — названия Талмуда, по месту составления Гемары ("Завершения") — толкования на Мишну ("Повторение").

ЗВЕРИНОЕ ЧИСЛО

Впервые: Северные цветы. М., 1903. С. 85—92.

С. 238. *..."вечное Евангелие"* — Откр. 14, 6.

..."второй, новый" — однако *"Иерусалим"* — Откр. 21, 2.

...и пальма та жива ль поныне?.. — М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины (1837).

Берковец — русская мера веса, равная 10 пудам (163,8 кг); *фут* — единица длины в системе русских мер, равная 12 дюймам, или 0,3048 м.

...*"кто имеет разум — сочти"* — Откр. 13, 18.

...*"что подобно сему"* — Откр. 13, 4.

...*"это огонь с небеси"* — Откр. 13, 13.

...*"запечатанной семью печатями"* — Откр. 5, 1.

В тень образа своего сотворил Бог человека — см.: Быт. 1, 26—27.

С. 239. ...*"день же субботний Господу Богу твоему"* — Исх. 20, 10.

"Эван, эвоэ! Дайте чаши"... — А. С. Пушкин. Торжество Вакха (1818).

С. 240. *В небесах торжественно и чудно...* — М. Ю. Лермонтов. "Выхожу один я на дорогу..." (1841).

"Ты был в Едеме, был в саду Божием" — Иез. 28, 13.

"Ты ходил среди огнистых камней" — Иез. 28, 14.

"И бысть вечер и было утро — день шестой" — Быт. 1, 31.

С. 241. ...*"огнь, спадший с небеси"* — Откр. 20, 9.

...*"огни в саду Божием"* — Иез. 28, 14—16.

"И показал мне Ангел..." — Откр. 22, 17.

"Новое небо и новая земля" — Откр. 21, 1.

"И оживут кости" — Иез. 37, 5.

"Бог взял семена из миров иных..." — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Ч. II. Кн. 6. III. Из бесед и поучений старца Зосимы.

СЛУЧАИ ЛЮБВИ

Впервые: Новое время. 1903. 9 февраля. № 9675.

С. 242. *"Изида тысячеименна"* — "Исида есть женское начало природы, и она вмещает в себя всякое порождение, почему Платон восхваляет ее как "кормилицу" и как "всеобъемлющую", а большинство — как "многоименную" из-за того, что она принимает всяческие виды и формы, изменяясь по воле разумного начала" (Плутарх. Об Исиде и Осирисе. 53).

Обширный фельетон г. Е. Маркова... — речь идет о статье Евгения Маркова "Поэзия зоологической любви" (Новое время. 1903. 7 февраля. № 9673), полемизирующей со свободными взглядами на супружескую измену в статье М. О. Меньшикова "Речь философа" (Новое время. 1903. 19 января. № 9654).

...*с письмом глубокоуважаемой С. А. Толстой...* — речь идет о публикации "Письма в редакцию" С. Толстой от 1 февраля 1903 г. (Новое время. 1903. 7 февраля. № 9673) с одобрительным отзывом в адрес очередного выпуска "Критических очерков" В. Буренина (Новое время. 1903. 31 января. № 9666). С. А. Толстая поддержала отрицательную характеристику творчества Л. Андреева, "любящего наслаждаться низостью явлений порочной человеческой жизни".

ФАКТЫ В БЕЗМОЛВИИ

Впервые: Слово. 1903. 26 февраля. № 46. Подпись: В. Елецкий.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Впервые: Новый путь. 1903. Май. С. 149—162.

С. 246. *"Новый Путь"* — общественно-политический, литературный ежемесячный журнал, издававшийся в Петербурге в 1903—1904 гг. В. В. Розанов был постоянным автором журнала, вел рубрику "В своем углу".

С. 247. ...*"и были оба наги, Адам и Ева, и не стыдились"*... — Быт. 2, 25.

...*"в болезнях будешь ты рождать детей"*... — Быт. 3, 16.

С. 248. ...*"они (согрешив) взяли листья и закрылись"* — Быт. 3, 7.

...*"взяла яблоко и ела"* — Быт. 3, 6.

...*плодитесь и размножайтесь*... — Быт. 1, 22.

Ущерб, изнеможенье, и на всем... — Ф. И. Тютчев. Осенний вечер (1830).

С. 251. ...*"калибан" Шекспира (в "Буре")* — персонаж романтической драмы У. Шекспира "Буря" (1612) — Калибан.

С. 253. ...*анекдот о "сладоглотнике, разможжающем из револьвера голову младенца"* — Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1877. Февраль. Гл. 1.

...*"отрет Бог всякую слезу человеческую"*... — Откр. 7, 17.

ДАРЫ ЦЕРЕРЫ (ШЕХИНЫ)

Впервые: Новый путь. 1903. Июнь. С. 138—152. В статье передан эпизод визита В. В. Розанова к своей корреспондентке Ольге Петровне Лобри (Прохаско), письма которой писатель предполагал опубликовать в очередном томе "Семейного вопроса в России" или "Литературных изгнанников" (см.: ОР РГБ. Ф. 249. Оп. 1. М. 4202).

С. 258. ...*ухождению римлян времен Диоклетиана в катакомбы*. — В 303—304 гг. император Диоклетиан издал четыре эдикта против христиан, в которых предписывалось разрушать церкви, сжигать священные книги, обязать всех к участию в языческих культах. Христиане искали спасения в катакомбах (подземных храмах ранних христиан).

С. 259. ...*о королеве Виктории, бывшей в замужестве за двоюродным братом*, — Виктория (1819—1901), королева Великобритании (с 1837 г.), последняя представительница Ганноверской династии 10 февраля 1840 г. вышла замуж за своего двоюродного брата принца Альберта Саксен-Кобург-Готского (1819—1861), второго сына герцога Эрнеста.

...*"три года скачи — не доскачешь"* — Н. В. Гоголь. Ревизор (I, 1).

С. 261. ...*"оружие проведет через сердце ее"* — Лк. 2, 35.

С Олимпийския вершины... — В. А. Жуковский. Элевсинский праздник (1834), перевод баллады Ф. Шиллера (1798).

С. 262. *Душу Божьего творенья*... — Ф. И. Тютчев. Песни радости (1823), перевод из Ф. Шиллера (1785).

С. 263. *"Бей, но выслушай"* — афоризм афинского полководца Фемистокла, высказанный в полемике с флотоводцем Эврибадом, который замахнулся в горячности на оппонента палкой (см.: *Плутарх. Сравнительные жизнеописания*. М., 1994. Т. 1. С. 138).

ТАЙНА СТИХИЙ

Впервые: Новый путь. 1903. Июнь. С. 164—170.

С. 264. *И вот — море как бы стеклянное перед Престолом Божиим...* — Откр. 4, 6.

С. 266. *...”сними обувь: ибо земля, на которой ты стоишь — она святая”* — Исх. 3, 50.

С. 267. *”Тела ваши суть храмы Божи”*... — 1 Кор. 6, 19.

НАБЛЮДЕНИЯ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЧТЕНИЯ ”ШАХРАЗАДЫ”

Впервые: Новое время. 1903. 18 сентября. № 9892.

С. 267. *...первый полный перевод...* — Тысяча и одна ночь. Арабские сказки Шахразады. Первый полный русский перевод (по изд. Мадруса)... СПб.: ”Новый журнал иностранной литературы”, 1902—1903. Т. 1—4.

С. 269. *”Дьявол, принявший на ту пору вид ангела света...”* — 2 Кор. 11, 14.

С. 270. *Поль и Виргиния* — герои одноименного романа Ж. А. Бернарден де Сен-Пьера (рус. пер. А. Подшивалова ”Павел и Виргиния”. М., 1798).

С. 271. *Нана* — героиня одноименного романа Э. Золя (1880, пер. 1880) из серии ”Ругон-Маккары”.

С. 272. *”Правда и поэзия моей жизни”* — автобиографическая книга Гёте ”Поэзия и правда из моей жизни” (1811—1814).

С. 273. *Бог из машины...* — выражение приписывается Платону.

”Уроки великодушия и житейской мудрости” — жанр средневековой нраво-учительной фольклорной литературы у народов арабского Востока.

С. 276. *...который, доходя до Александра Македонского, начинал ломать мебель в классе.* — Н. В. Гоголь. Ревизор (I, 1).

Калам — тростниковое перо, получившее наибольшее распространение у народов Востока в средние века.

С. 279. *...Фридрих II Гогенштауфен... начал дружить с ними...* — Император Священной Римской империи Фридрих II (1194—1250) был женат на дочери иерусалимского короля Иоланте (1225); этот брак предрешил успех 6-го крестового похода, организованного им в Палестину (1229), после чего был заключен мир с султаном.

ИЗ ИСТОРИИ И ПОЭЗИИ ЕЛКИ

Впервые: Новое время. 1903. 24 декабря. № 9989.

С. 280. *”Святочная хрестоматия”* — Швидченко Е. С. Святочная хрестоматия. Литературно-музыкально-этнографический сборник для семьи и школы. СПб., 1903.

”Мальчик у Христа на елке” — рассказ Ф. М. Достоевского из ”Дневника писателя” (1876, январь).

С. 281. ...*"венчались вокруг сосенки"* — шутливое выражение о невенчанной чете с намеком на языческий обряд венчания.

...*"уже не нарекут русские люди богом древеса"* — Кирилл Туровский. Слово на антипасху (Фомину неделю) // Труды отдела древнерусской литературы. М; Л., 1957. Т. 13. С. 415.

"Опыт объяснения обычаев, созданных под влиянием мифа" — Мандельштам И. Опыт объяснения обычаев, созданных под влиянием мифа. СПб., 1882. Ч. I.

С. 282. ...у Карлейля, в одном из его прелестных *"Опытов"*... — Карлейль Т. Исторические и критические опыты. М., 1878.

С. 283. *"Разыскания в области духовных стихов"* — Веселовский А. Н. Разыскания в области русских духовных стихов. СПб., 1879—1891. Вып. 1—6.

С. 284. *"Поэтические воззрения славян на природу"* — Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. М., 1865—1869. Т. 1—3.

С. 285. ...*что сердце русское "отзывчиво на всемирные звуки..."* — Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1876. Июнь. Гл. I, 1.

С. 286. ...у Андерсена есть прекрасная сказка... — Г. Х. Андерсен. Ель (1846).

ЧТО СКАЗАЛ ТЕЗЕЮ ЭДИП? (ТАЙНА СФИНКСА)

Впервые: Мир искусства. 1904. № 2. Февраль. С. 33—41. По сообщению С. А. Цветкова, текст статьи является первой главой рукописи, продолжение которой не публиковалось в журнале.

С. 287. *Лишь перед смертью Приемнику открой...* — Софокл. Эдип в Колоне. Здесь и далее стихи указанной трагедии цитируются в переводе Д. С. Мережковского.

Эвмениды — в древнегреческой мифологии название культовых богинь родовой мести.

...*вид в Пестуме...* — Свои впечатления от посещения древнейшего римского города Пестума Розанов выразил в очерке *"Пестум"* (Мир искусства. 1902. № 2. С. 65—68), включенном в книгу *"Итальянские впечатления"* (СПб., 1909).

...*его знаменитой трилогии* — цикл трагедий Софокла *"Антигона"* (441 г. до н. э.), *"Эдип-царь"* (ок. 425 г. до н. э.), *"Эдип в Колоне"* (ок. 400 г. до н. э.).

С. 288. ...*"а число его 666"* — Откр. 13, 18.

Стародум — персонаж комедии Д. И. Фонвизина *"Недоросль"* (1781).

С. 289. *О тайнах вечности и гроба* — заключительные строки черновика стихотворения А. С. Пушкина *"Воспоминание"* (*"Когда для смертного умолкнет шумный день..."*, 1828): *"О тайнах счастья и гроба"*.

С. 291. ...*о смерти Моисея, тоже смерти "без свидетелей..."* — Втор. 34, 5—6.

"Когда умрем — все новое увидим" — См.: Откр. 21, 1; 21, 5.

...*"А может быть, виденья посетят"* — У. Шекспир. Гамлет. Монолог *"Быть или не быть..."* (III, 1).

С. 292. *"Тебе невозможно увидеть меня — и не умереть"* — Исх. 33, 20.

"Они же, Маной и Анна, испугались..." — Суд. 13, 22.

...Гелиопольских жрецов о стенах своего храма — речь идет о крупнейшем в Древнем Египте храме Солнца (Ра-Атума) в Гелиополе (IV в. до н. э.).

НАТУРАЛИЗМ И ИДЕАЛИЗМ

· Впервые: Новое время. 1904. 21 января. № 10015. Статья посвящена разбору книги: "Проблемы идеализма. Сборник статей С. Н. Булгакова, кн. Е. Н. Трубецкого, П. Г. [П. Б. Струве], Н. А. Бердяева, С. Л. Франка, С. А. Аскольдова, кн. С. Н. Трубецкого, П. И. Новгородцева, Б. А. Кистяковского, А. С. Лапо-Данилевского, С. Ф. Ольденбурга, Д. Е. Жуковского. Под ред. П. И. Новгородцева". М., 1902.

С. 300. — *Да, завтра суд.* — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Ч. IV. Кн. XI. Гл. 4.

...намек на Елисеева, одного из "триумвиров" "Отечественных записок"... — Создавая образ Ракитина, Ф. М. Достоевский полемически обыграл ряд фактов из биографии Г. З. Елисеева, начавшего свой жизненный путь семинаристом, продолжив профессором Казанской духовной академии; в начале 1860-х гг. он заведовал "Внутренним обозрением" журнала "Современник" (1861—1865) и отделом публицистики "Отечественных записок" (1868—1881).

С. 305. *...о помещике, затравившем собаками мальчика* — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Ч. II. Кн. V. Гл. 4.

...Бог друзьям Иова ответил резким упреком и отрицанием... — Иов. 42, 7—8.

... "упала стена и задавила, но не более грешных..." — Лк. 13, 4.

С. 306. *"Свою статью я заканчиваю..."* — Бердяев Н. А. Этическая проблема в свете философского идеализма // Проблемы идеализма. М., 1902. С. 136.

Литовскому князю-основателю... — речь идет о великом князе литовском (с 1316 г.) Гедимине (Гедиминасе), умершем в 1341 г.

С. 308. *... "Если срываешь яблоки в саду..."* — Лев. 19, 9—10.

ТУТ ЕСТЬ НЕКАЯ ТАЙНА

Впервые: Весы. 1904. № 2. Февраль. С. 14—19.

С. 309. *...о пьесе Анатоля Франса на... сюжет о Коринфской невесте* — речь идет о драматической поэме А. Франса "Коринфская свадьба" (1876) и балладе И. В. Гёте "Коринфская невеста" (1792), переведенной А. К. Толстым в 1867 г.

С. 310. *...и "там" он будет слышать голос любви...* — намек на стихотворение М. Ю. Лермонтова "Выхожу один я на дорогу..." (1841).

... "лица Божьего нельзя увидеть и не умереть" — Исх. 33, 20.

С. 311. *... "не приносил никто вестей"* — У. Шекспир. Гамлет. III, 1.

ПО ПОВОДУ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА

Впервые: Весы. 1904. № 5. Май. С. 4—16.

ВОЛНУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Впервые: Новое время. 1904. 28 октября. № 10295, под названием "Волнующий вопрос".

С. 321. *Отцеживаете комара и поглощаете верблюда...* — Мф. 23, 24.

...грубыми нападками, напр. со стороны проф. Гусева... — речь идет о полемической работе профессора Казанской духовной академии А. Ф. Гусева "К старокатолическому вопросу. Письмо А. А. Кирееву" (Спб., 1897), критиковавшей статью А. А. Киреева "К старокатолическому вопросу. (Письмо к редактору)" в "Богословском вестнике" (1897. Февраль. С. 320—334) и послужившей поводом к их дальнейшей полемике.

"Гражданский брак" — Киреев А. Гражданский брак. Письмо в редакцию. 14 окт. Павловск // Новое время. 1904. 18 окт. № 10285 — полемическая заметка по поводу статьи В. Розанова "Парализованный закон" (Новое время. 1904. 8 окт. № 10275) о новом законе о разводе. Киреев солидарен с Розановым в его отрицательном отношении к эпитимьи, налагавшейся на виновника развода, и предлагает гражданский брак в качестве решения проблемы.

Закон появившийся в 1841 году — речь идет об Уставе Духовных Консисторий от 27 марта 1841 года (№ 14409 Полного собрания законов Российской империи. Соб. 2. Спб., 1842. Т. 16. Отд. 1. С. 221—263), регулировавшем роль церкви в системе брачного законодательства.

С. 322. *... "Я хочу праздновать Пасху..."* — Мф. 26, 17—18; Мк. 14, 12—13; Лк. 22, 8—10.

С. 323. *...на Генисаретском озере...* — Мф. 14, 34; Мк. 6, 53; Лк. 5, 1—4.

...в Назорной проповеди... — Мф. 5—7; Лк. 6, 20—49.

...беседу с Никодимом... — Ин. 3, 1—21.

...с самарянкою... — Ин. 4, 7—26.

...как он говорил о талантах и заимодавцах... — Мф. 18, 23—35.

...о виноградаре и рабочих... — Мф. 21, 33—40; Мк. 12, 1—9.

...о званных и призванных... — Мф. 20, 16; 22, 14; Лк. 14, 24.

С. 324. *... "блаженны миротворцы"...* — Мф. 5, 9.

...о "пастухе, который, потеряв одну овцу, оставляет 99..." — Лк. 15, 4—6.

...о том, что можно исцелить человека и в субботу... — Мф. 12, 11—12.

"Не здоровые имеют нужду во враче, но больные"... — Мф. 9, 12; Мк. 2, 17; Лк. 5, 31.

... "Я пришел к погибшим овцам Дома Израилева" — Мф. 10, 6.

... "мытари и блудницы вперед вас (книжников) идут в Царство Небесное" — Мф. 21, 31.

... "легче верблюду пройти в игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное" — Мф. 19, 24; Мк. 10, 25; Лк. 18, 25.

С. 325. *...дети... "коих есть Царство Небесное"*. — Мф. 18, 3—4; Мк. 10, 15; Лк. 18, 17.

С. 326. *...Лаврецкий... Лиза Калитина* — персонажи романа И. С. Тургенева "Дворянское гнездо" (1859).

Шемякин суд — несправедный суд; выражение стало образным благодаря одноименному литературному памятнику древнерусской словесности (2-я пол. XVII в.) и его герою, судье-взяточнику Шемяке.

У молокан, рассказывает К. Н. Леонтьев... — речь идет о статье К. Н. Леонтьева "Грамотность и народность" (Заря. 1870. XI—XII. Подпись: Н. Константинов).

МАЙСКИЕ СОЮЗЫ

Впервые: Новое время. Приложение. 1905. 26 марта. № 10457.

НЕЧТО О ПРЕКРАСНОЙ ПРИРОДЕ

Впервые: Весы. 1905. № 5. Май. С. 18—25.

С. 331. ...в речи "белые дьяволицы" и "Афродиты", вечный "Аполлон" и "Дионис"... — речь идет об образах из трилогии Д. С. Мережковского "Христос и Антихрист" (1895—1905).

Сам погружен умом в зефирах и амурах... — А. С. Грибоедов. Горе от ума. II, 5.

С. 332. ...*"и вдунул в нее (глину) дыхание жизнью..."* — Быт. 2, 7.

...роль нянюшки-воспитательницы в романе Поль-де-Кока. — Поль-де-Кок. Кондитер, или Нянька, защитница невинности. Роман в 4-х частях. М., 1839.

С. 333. "*Вестник Европы*" — ежемесячный журнал истории, политики, литературы. Спб., 1866—1918. Ред. М. М. Стасюлевич.

С. 335. ...*Аристотелевский "Демииург"*... — Аристотель в своих трудах избегал употребления слова "демиург" в платоновском смысле (первотворца); "демиург" как "перводвигатель" мира присутствует лишь в раннем трактате "О философии".

"Весы" — научно-литературный и критико-библиографический журнал. Издавался в Москве с 1904 по 1909 г.

...Идите и вы, пьяненькие, идите и вы, гаденькие... — Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. Ч. I, 1.

НОВЫЕ ВКУСЫ В ФИЛОСОФИИ

Впервые: Новое время. 1905. 17 сентября. № 10612. Рецензия на книгу: Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления. Спб., 1905.

С. 337. ...в своем главном произведении Шопенгауэр — Шопенгауэр А. Мир как воля и представление (Т. 1—2, 1819—1844). Пер. с нем. А. Фет. Спб., 1881.

С. 338. "*Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше*" — Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше (Философия и проповедь). Спб., 1900.

"Достоевский и Нитше" — Шестов Л. Достоевский и Нитше (Философия трагедии). Спб., 1903.

С. 340. ...*старая победа Рудина над Пигасовым.* — И. С. Тургенев. Рудин. Гл. III.

ПРАЗДНИК И ЧЕЛОВЕК

Впервые: Русское слово. 1905. 25 декабря. № 330. Подпись: В. Елецкий.

С. 343. "*Да мимо меня идет сия чаша*" — Мф. 26, 39.

- ...*"Но, Отче, для этого-то часа Я и пришел"* — Ин. 12, 27.
 С. 344. *"Я и пришел для погибших овец Израиля"* — Мф. 10, 6; 15, 24.
 ...*"не здоровые нужду имеют во враче, а больные"* — Мф. 9, 12; Мк. 2, 17; Лк. 5, 31.
 С. 345. ...*цари принесли "ладан, золото и мирру"* — Мф. 2, 11.
 ...*"последними зваными"*... — Лк. 14, 7—11.

ЕГИПЕТ

Впервые: Золотое руно. 1906. № 5. Май. С. 51—55.

- С. 345. ...*в романе Эберса "Серапеум" мы читаем сцену, как был разрушен храм...* — Эберс Г. Серапис. Спб., 1886 (гл. 23—25).
 С. 346. ...*я увидел настоящих египетских сфинксов...* — речь идет о египетских сфинксах XV в. до н. э., установленных в 1834 г. на набережной Невы у Академии художеств.
 С. 347. *Дальше, вечно чуждый тени...* — М. Ю. Лермонтов. Спор (1841).

СТАНИСЛАВ ПШИБЫШЕВСКИЙ. ЗАУПОКОЙНАЯ МЕССА

Впервые: Золотое руно. 1906. № 7/9. Июль—сентябрь. С. 172—174 Рец. на кн.: *Пшибышевский С. Заупокойная месса.* Пер. М. Н. Семенова. М., 1906.

- С. 350. *Мудрая Порция, побеждающая Шейлока...* — речь идет о комедии У. Шекспира *"Венецианский купец"* (1600).
 С. 351. ...*языком Федра...* — имеется в виду герой одноименного произведения древнегреческого философа Платона.
 ...*"В начале сотворил Бог"*... — Быт. 1, 1.
 ...*"В начале было Слово"*... — Ин. 1, 1.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Впервые: Звонарь. 1907. № 2. Февраль. С. 34—39.

- С. 356. *"Аз есмь лоза и вы — ветви мои"*. — Ин. 15, 5.
 С. 357. ...*"Идите от Меня в огонь вечный"* — Мф. 25, 41.
 ...*"По исцелениям..."* — Мф. 10, 1; 10, 8.

ВЕЧНАЯ ТЕМА

Впервые: Новое время. 1908. 4 января. № 11427.

- С. 359. *"Живая Жизнь"* — религиозно-философский журнал, выходивший в Москве в 1907—1908 гг.

"Социализм и проблема свободы" — статья В. Ф. Эрна, опубликованная в журнале *"Живая жизнь"* (1907, № 2. С. 40—87), в основу которой был положен его курс лекций в Религиозно-философском обществе памяти Вл. Соловьева под названием *"Социализм и христианство"*.

ЕЩЕ О ВЕЧНОЙ ТЕМЕ

Впервые: Новое время. 1908. 22 февраля. № 11476.

С. 362. *"Свободные Мысли"* — ежедневная политическая, общественная и литературная газета (Спб., 1907—1908, 1911). 28 января 1908 г. в ней была опубликована статья Д. С. Мережковского *"Мистические хулиганы"* с критикой взглядов Розанова на христианство, изложенных в статье *"Вечная тема"*.

С. 362. ...г. *Свенцицкий в "Живой Жизни"* — речь идет о статье В. П. Свенцицкого *"В защиту "максимализма" Бранда"* (*Живая жизнь*. 1907. № 2. С. 11—19) с критикой в адрес антимаксималистских выпадов Розанова против героя драматической поэмы Г. Ибсена *"Бранд"* (*Розанов В. Наброски [Ибсен и Пушкин. Анджело и Брандт]* // *Русская мысль*. 1907. № 8. Отд. II. С. 108—114).

С. 364. *"Без Бога"*, — *говорит Ракитину устами Мити Карамазова Достоевский...* — Ф. М. Достоевский. *Братья Карамазовы*. Ч. IV. Кн. II. Гл. 4.

С. 366. ...*"человек живет на земле для того только, чтобы умереть"*... — И. С. Тургенев. *Дворянское гнездо*. Гл. 26.

КАК СВЯТОЙ СТЕФАН ПОРУБИЛ "ПРОКУДЛИВУЮ БЕРЕЗУ" И КАК НАЧАЛОСЬ НА РУСИ ПЬЯНСТВО

Впервые: Новое время. 1908. 2 марта, 18 марта, 24 марта, 31 марта, 7 апреля. № 11484, 11500, 11506, 11513, 11520.

С. 367. *Зыряне* — старое название народа коми.

Храм Спаса на Бору... — один из первых соборов, возведенных в Московском Кремле, построенный в 1330 г.

С. 368. ...*пес облизывал ему раны* — ср.: *"Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его"* (Лк. 16, 20—21).

С. 369. *"Кузнечик-музыкант"* — поэма Я. П. Полонского (1859). *"Собаки"* — сатирическая поэма Я. П. Полонского (1875).

...*о лошади, которую мужик сечет...* — сюжет стихотворения Н. А. Некрасова *"До сумерек"* (1859) из цикла *"О погоде"* был использован Ф. М. Достоевским при описании сна Раскольникова (*"Преступление и наказание"*. Ч. I. Гл. 5).

С. 370. ...*когда Чельшев поднял свой вопрос* — речь идет об организации широкого общественного движения борьбы за трезвость в годы работы третьей Государственной думы (1907—1912) под руководством депутата от Самарской губернии Михаила Дмитриевича Чельшева.

В Москве, молясь в университетской церкви... — В. В. Розанов имеет в виду церковь Святой Татьяны Московского университета.

С. 372. *"Катакомбы"* — Тур Е. Катакомбы: повесть из первых времен христианства. М., 1866.

...между Валленштейном и Густавом Адольфом — речь идет о полководцах времен Тридцатилетней войны (1618—1648).

С. 374. *Куколь* — монашеский капюшон, апостольник, плат, которым монахи прикрывают грудь и шею.

"Сим победиши мир" — см.: Евсей Памфил. Жизнь царя Константина (I, 28).

Сорок — старинная мера счета, четыре десятка.

Постав — штука сукна, трубка ткани после снятия ее с ткацкого стана.

С. 375. ...*"лес"*, как его почувствовал бы Островский... — речь идет о сатирической комедии А. Н. Островского *"Лес"* (1871).

...*Светит месяц, дол сребрится...* — В. А. Жуковский. Людмила (1808), переработка баллады немецкого поэта Г.-А. Бюргера *"Леонора"* (1773).

...*Бегущая комета...* — М. Ю. Лермонтов. Демон. I, 1.

С. 376. ...*Ночевала тучка золотая...* — М. Ю. Лермонтов. Утес (1841).

...*метерлинковский взгляд на вещи...* — В. В. Розанов в статье *"Метерлинк"* (*Метерлинк М.* Сочинения. Спб., 1907. Т. 1. С. 345—350) особо подчеркивал творческое новаторство этого писателя, *"художественно начертавшего мир потенций"*, воссоздающего *"сумеречные вещи"* и *"осязательность мечты"*.

С. 377. *Вымь* — река на севере европейской части России, правый приток Вычегды.

С. 378. *"Красивая Меча"* — И. С. Тургенев. Касьян с Красивой Мечи (1851) из *"Записок охотника"*.

С. 379. ...*спаслось чудом всего два списка...* — первый список *"Слова о полку Игореве"* содержался в *"Спасо-Ярославском Хронографе"* (XV в.), обнаруженном А. И. Мусиным-Пушкиным в 90-х гг. XVIII в. О втором списке существуют догадки на основании упоминания в каталоге библиотеки Иосифо-Волоколамского монастыря.

"Киевский Патерик" — сборник житий святых монахов. *"Киево-Печерский Патерик"* начал складываться в XIII в.; самый ранний список 1406 г.

С. 381. *На Флора и Лавра...* — день памяти христианских мучеников 31(18) августа.

РЕЛИГИОЗНАЯ МИСТЕРИЯ СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИЯ, ГРЕХА И ОЧИЩЕНИЯ

Впервые: Русское слово. 1908. 13 апреля. Подпись: В. Варварин.

С. 387. *Докетизм* — ересь I в., утверждавшая призрачность Богочеловека; Христос, по докетизму, только казался человеком.

...*Колесница, которая была показана в видении пророку Иезекиилю* — Иез. 1, 4—28.

С. 388. *"И ад раскрыл свой зев и вернул мертвецов"*... — Откр. 20, 13.

С. 389. ...*историю Шлоссера...* — Шлоссер Ф. Всемирная история. Пер. под ред. Н. Чернышевского. Спб., 1861—1869. Т. 1—18.

...*"Иову на гноище"*... — Иов. 7, 5.

ЯЗЫЧЕСТВО В ХРИСТИАНСТВЕ

Впервые: Новое время. 1909. 20 января. № 11803.

С. 389. *...на переезде из Севастополя в Феодосию...* — Летом 1898 г. семья Розановых выезжала на юг для лечения больной жены писателя на кисловодских минеральных водах.

С. 391. *...Владимир Соловьев все девять томов...* — речь идет о первом издании Собрания сочинений Вл. Соловьева в 8 томах под ред. брата философа М. С. Соловьева. 9-й том вышел дополнительно (Спб., 1901—1903).

...история церкви Макария... — Макарий (Булгаков). История русской церкви. Спб., 1857—1883. Т. 1—12.

С. 392. *Я думаю, что мы должны верить в Бога...* — И. С. Тургенев. Дворянское гнездо. Гл. 26.

С. 394. *"Блаженны чистые сердцем..."* — Мф. 5, 8.

... "блаженны нищие духом..." — Мф. 5, 3; Лк. 6, 20.

"И опрокинул столы торгующих..." — Ин. 2, 15; Мф. 21, 12; Мк. 11, 15.

С. 395. *Именно он выбросил обрезание...* — Рим. 2, 25—29; 1 Кор. 7, 19; Гал. 5, 6; 6, 15.

С. 396. *Херувимская* — духовная песня, исполняемая в православных храмах во время литургии перед Великим выходом при перенесении Святых Даров с жертвенника на Престол.

Штундизм — сектантское течение 2-й пол. XIX в., возникшее под влиянием протестантизма немецких колонистов на юге России. Позднее слилось с баптизмом.

Формальная причина... — форма, согласно учению Аристотеля, делает материю действительной, воплощает сущее потенциально в реальность.

С. 397. *... "кротки и смиренны сердцем"* — Мф. 11, 29.

"Кормчая" — речь идет о "Кормчей книге", сборнике церковных правил и государственных постановлений о церкви, перешедшем на Русь после принятия христианства из Византии.

АФРОДИТА И ГЕРМЕС

Впервые: Весы. 1909. № 5. Май. С. 44—52.

С. 399. *"О тайне супружества"* — Горчаков М. И. О тайне супружества. Происхождение, историко-юридическое значение и каноническое достоинство 50-й (по спискам патриархов Иосифа и Никона — 51-й) главы печатной Кормчей книги. Исследование по истории русского церковного права. Спб., 1880.

...исполнила желание свое — и умерла... — речь идет о мифической фиванской царевне Семеле, уговорившей Зевса явиться в своем божественном величии. Зевс предстал перед ней в сверкании молний и испепелил огнем смертную Семелу.

С. 401. *...в "послесловии" к ней.* — Л. Н. Толстой. Послесловие к "Крейцеровой сонате" (1891).

А. В. Ломоносов

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- А-т*, псевдоним публициста Владимира Карловича Петерсона (1842—1906) — 79
- Аарон*, в Ветхом Завете первосвященник, старший брат Моисея — 27, 150
- Абдул-феда* (Абулфеда) (1273—1331), арабский писатель и политический деятель — 165
- Август* (63 до н. э. — 14 н. э.), римский император (с 27 до н. э.) — 196, 232, 344
- Августин* Аврелий (354—430), христианский церковный деятель, теолог, философ, писатель — 193, 195, 236
- Авель*, в Ветхом Завете сын Адама и Евы, убитый своим братом Каином — 146
- Аверроэс* (Ибн Рушд) (1126—1198), арабский философ и врач — 166
- Авиценна* (Ибн Сина) (ок. 980—1037), ученый, философ, врач, музыкант, жил в Средней Азии и Иране — 166
- Авраам*, старший из ветхозаветных патриархов — 22, 36, 63, 99, 120, 138, 143, 292, 395
- Адонис*, в финикийской мифологии бог плодородия — 331
- Адриан* (76—138), римский император (с 117) из династии Антонинов — 310
- Аксаков* Иван Сергеевич (1823—1886), публицист, поэт, общественный деятель, издатель — 57, 113
- Аксаков* Константин Сергеевич (1817—1860), публицист, критик, историк, лингвист, поэт — 113
- Аксаков* Николай Петрович (1848—1909), богослов, писатель, критик, историк, философ — 79
- Александр I* (1777—1825), российский император (с 1801) — 100
- Александр Великий* (Александр Македонский) (356—323 до н. э.), царь Македонии (с 336 до н. э.), полководец — 76, 125, 276
- Александр Невский* (1220/1221—1263), князь Новгородский (1236—1251), великий князь Владимирский (с 1252), полководец — 290
- Али ибн абу-Талех* (602—661), арабский халиф (с 656), двоюродный брат и зять Мухаммеда — 166
- Алкивиад* (ок. 450—404 до н. э.), афинский стратег (военачальник и политический деятель) — 113
- Альберт* (Альберт Франц Август Карл Эммануил) (1819—1861), принц Саксен-Кобург-Готский, муж королевы Великобритании Виктории (с 1840) — 138
- Аммон* (Амон), в египетской мифологии бог солнца, отождествлялся с богом Ра — 74
- Аммон* (Аммун) (ум. ок. 350/357), христианский подвижник — 86
- Ампер* Андре Мари (1775—1836), французский ученый, один из основоположников электродинамики — 67
- Анастасий* (II в.), христианский подвижник — 86
- Андерсен* Ханс Кристиан (1805—1875), датский писатель, стал известен своими сказками — 286

- Андрей Критский* (ум. ок. 726), византийский церковный деятель, проповедник, гимнолог — 39, 50, 221
- Андромаха*, в греческой мифологии жена Гектора — 95, 131, 226
- Анна*, жена Маноя, в Ветхом Завете ее имя не названо — 292
- Анна*, по христианскому преданию, мать Богоматери Марии — 355
- Анна*, иудейский первосвященник, назначенный римлянами (6 до н. э. — 15 н. э.) — 344
- Аннибал* (Ганнибал) (247/246—183 до н. э.), карфагенский полководец — 116, 203
- Антоний* (Алексей Павлович Храповицкий) (1863, по др. данным 1864—1936), епископ, архиепископ Волынский, архиепископ Харьковский, митрополит Киевский и Галицкий (1918), член Государственного совета — 167
- Антонины*, династия римских императоров в 96—192 гг. — 196
- Анубис*, в египетской мифологии бог — покровитель умерших — 29, 33
- Апеллес* (2-я пол. IV в. до н. э.), древнегреческий живописец — 193, 195
- Аполлон*, в греческой мифологии бог-целитель, прорицатель, покровитель искусств — 9, 177, 331
- Апулей* (ок. 125—ок. 180), римский писатель — 295
- Ариадна*, в греческой мифологии дочь критского царя Миноса — 10
- Аристотель* (384—322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый-энциклопедист — 64, 115, 166, 186, 396
- Артемиды*, в греческой мифологии богиня охоты, покровительница рожениц, ей соответствует римская Диана — 116, 177
- Аспазия* (Аспасия) (р. ок. 470 до н. э.), афинская гетера, с 445 до н. э. жена Перикла — 405
- Астарта*, в финикийской мифологии богиня плодородия, материнства и любви — 76, 172, 177, 180, 237, 351
- Атлас* (Атлант), в греческой мифологии титан, держащий на своих плечах небесный свод — 79
- Афанасьев* Александр Николаевич (1826—1871), историк, литературовед, фольклорист — 204, 284
- Афина* (Афина Паллада), в греческой мифологии богиня мудрости и справедливой войны — 6, 72, 161, 163, 296
- Афинагор* (ум. ок. 177), христианский философ, писатель, апологет — 316, 320
- Афродита*, в греческой мифологии богиня любви и красоты, ей соответствует римская Венера — 68—72, 74,—78, 92—94, 99, 331, 334, 398
- Ахиллес*, в греческой мифологии герой Троянской войны со стороны греков — 251, 266
- Ашера*, в семитской мифологии богиня плодородия — 76
- Аякс*, в греческой мифологии имя двух участников Троянской войны — 79
- Байрон* Джордж Ноэл Гордон (1788—1824), английский поэт, член палаты лордов — 17, 386
- Бакст* (наст. фам. Розенберг) Лев Самойлович (1866—1924), живописец, график, театральный художник — 287
- Барсуков* Николай Платонович (1838—1906), историк литературы и общественной мысли, археограф, библиограф, издатель — 127
- Басаргин* А., псевдоним Алексея Ивановича Введенского — 253

- Батюшков* Константин Николаевич (1787—1855), поэт — 222, 225
- Баян* (Боян), легендарный древнерусский певец-сказитель — 379
- Беатриче* (Беатриче Портинари) (1265/1267—1290), флорентийка, идеальная возлюбленная Данте — 62
- Бекет* Фома (Томас) (1118—1170), архиепископ Кентерберийский (с 1162), канцлер Англии (с 1155) — 127
- Белинский* Виссарион Григорьевич (1811—1848), литературный критик, публицист, общественный деятель — 179
- Берг Н. Ф.* (возможно, Федор Николаевич, 1839—1909), редактор книги о Стефане Пермском — 367
- Бердяев* Николай Александрович (1874—1948), философ и публицист — 306, 309
- Бердников* (Бердников) Илья Степанович (1841—?), богослов, занимался проблемами церковного (канонического) права — 322
- Бернар* Клод (1813—1878), французский физиолог и патолог — 300, 301, 307, 308
- Бернарден де Сен-Пьер* Жак Анри (1737—1814), французский писатель — 270
- Бетховен* Людвиг ван (1770—1827), немецкий композитор, пианист, дирижер — 80
- Бисмарк* Отто фон Шёнхаузен (1815—1898), первый рейхсканцлер Германской империи (1871—1890) — 113
- Блаватская* Елена Петровна (1831—1891), писательница и теософ — 236
- Боборыкин* Петр Дмитриевич (1836—1921), писатель — 234
- Бойль* Роберт (1627—1691), английский химик и физик — 67
- Боккаччо* Джованни (1313—1375), итальянский писатель — 234
- Бокль* Генри Томас (1821—1862), английский историк и социолог — 97, 205, 206, 378
- Бомарше* Пьер Огюстен (1732—1799), французский драматург — 122
- Боссюэт* (Боссюэ) Жак Бенинь (1627—1704), французский церковный деятель, теолог, писатель — 41
- Боткин* Сергей Петрович (1832—1889), терапевт, основатель школы русских клиницистов — 67, 108
- Ботта* Поль Эмиль (1802—1870), французский археолог — 237
- Бредихин* Федор Александрович (1831—1904), астроном — 106
- Бругш* Генрих Карл (1827—1894), немецкий египтолог — 73, 74
- Брут* Марк Юний (85—42 до н. э.), римский республиканец, один из руководителей заговора против Юлия Цезаря в 44 до н. э. — 227
- Брэм* (Брем) Альфред Эдмунд (1829—1884), немецкий зоолог, путешественник, популяризатор — 113
- Буасье* Гастон (1823—1908), французский археолог и историк античности — 196
- Будда* (букв. "просветленный"), имя, данное основателю буддизма Сиддхартхе Гаутаме (623—544 до н. э.) — 123, 125, 126
- Буняковский* Виктор Яковлевич (1804—1889), математик — 108
- Буслаев* Федор Иванович (1818—1897), языковед, фольклорист, литературовед, историк искусства — 69, 204, 205, 207, 210, 213

- Буткевич Тимофей Иванович* (1854—1925), протоиерей, церковный историк, богослов, член Государственного совета — 67, 68
- Бэкон Фрэнсис* (1561—1626), английский философ и политический деятель — 114, 115, 213
- Бюргер Готфрид Август* (1747—1794), немецкий поэт — 375
- Бюхнер Людвиг* (1824—1899), немецкий врач, естествоиспытатель, философ — 213, 219—221, 305
- Баал* (Баал, Балу), древнейшее название бога или богов в Финикии, Сирии, Палестине — 5, 177
- Вакх*, в греческой мифологии одно из имен бога Диониса — 55, 351
- Валаам*, в Ветхом Завете прорицатель — 50
- Валериан* (ум. 230), римлянин, христианский подвижник — 86
- Валленштейн Альбрехт* (1583—1634), полководец, главнокомандующий имперскими войсками в Тридцатилетней войне (с 1625) — 372
- Валтасар* (ум. 539 до н. э.), сын последнего вавилонского царя Набонида, погиб при взятии Вавилона персами — 236
- Варрон* (116—27 до н. э.), римский писатель и ученый-энциклопедист — 193, 195
- Василий Блаженный* (ок. 1469—1552/1557), московский юродивый, аскет, обличал власть имущих — 172, 173
- Василиса* (ум. 285), христианская подвижница — 86
- Васильев Афанасий Васильевич* (1851 — после 1917), публицист, поэт, издатель, генерал-контролер (с 1893), возглавлял департамент железнодорожной отчетности, в котором служил Розанов — 153
- Васнецов Виктор Михайлович* (1848—1926), живописец — 18
- Вашингтон Джордж* (1732—1799), первый президент США (1789—1797), главнокомандующий армией североамериканских колонистов в войне за независимость — 63
- Ващенко-Захарченко Михаил Егорович* (1825—1912), математик — 186
- Введенский Александр Иванович* (1856—1925), философ, психолог, логик — 152, 336, 337
- Введенский Алексей Иванович* (1861—1913), богослов, философ, историк религии, публицист — 227, 336, 351
- Вебер Георг* (1808—1888), немецкий историк — 342
- Велес* (Волос), в славяно-русской мифологии бог — покровитель домашних животных и бог богатства — 333
- Веневитинов Дмитрий Владимирович* (1805—1827), поэт, критик, философ — 113
- Венера*, в римской мифологии вначале богиня весны и садов, затем любви и красоты — 172, 177, 351, 398, 401
- Веселовский Александр Николаевич* (1838—1906), филолог и литературовед — 283
- Веспасиан* (9—79), римский император (с 69) из династии Флавиев — 76, 151, 238
- Веста*, в римской мифологии богиня домашнего очага — 284, 286
- Ветрек Евгений Иванович*, преподаватель Одесской гимназии, составитель учебного пособия для учащихся старших классов по античной мифологии — 9, 10

- Виктория* (1819—1901), королева Великобритании (с 1837) из Ганноверской династии — 138
- Вильгельм II* (1859—1941), германский император и прусский король (1888—1918) из династии Гогенцоллернов — 143
- Винкельман* Иоганн Иоахим (1717—1768), немецкий историк искусства — 251
- Виргиния* (ум. 449 до н. э.), девушка из плебейской римской семьи, которую пытался похитить патриций Аппий Клавдий, была убита своим отцом во избежание позора — 234
- Вирхов* Рудольф (1821—1902), немецкий патолог — 30
- Владимир Красное Солнышко*, былинное имя Владимира I (ум. 1015), великого князя Киевского (с 980) — 56, 276
- Владиславлев* Михаил Иванович (1840—1890), философ, логик, психолог — 342
- Властов* Георгий Константинович (1827—1899), археолог, религиозный писатель, административный деятель — 10, 51, 237
- Вольтер* (наст. имя и фам. Мари Франсуа Аруэ) (1694—1778), французский писатель и философ — 197, 386
- Вооз*, в Ветхом Завете муж Руфи — 75
- Воротников* Антоний Павлович, актер, драматург — 68
- Врангель* Александр Егорович (1833 — после 1912), дипломат, юрист, археолог, мемуарист — 41
- Галилей* Галилео (1564—1642), итальянский естествоиспытатель и мыслитель — 67
- Галлер* Альбрехт фон (1708—1777), швейцарско-немецкий естествоиспытатель и поэт — 67
- Ганимед*, в греческой мифологии юноша — любимец Зевса, виночерпий богов — 236
- Гаршин* Всеволод Михайлович (1855—1888), писатель — 255
- Ге* Николай Николаевич (1831—1894), живописец — 170
- Гегель* Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831), немецкий философ — 168, 400
- Гезиод* (Гесиод) (VIII—VII вв. до н. э.), древнегреческий поэт — 10, 237
- Гейне* Генрих (1797—1856), немецкий поэт и публицист — 131
- Гектор*, в греческой мифологии троянский герой — 95, 131, 226
- Гера*, в греческой мифологии верховная богиня, жена и сестра Зевса — 69—71, 74—76
- Геракл* (Геркулес), в греческой мифологии герой, совершивший множество подвигов — 9, 10, 74, 79, 122, 347
- Гераклит* (ок. 540 — ок. 480 до н. э.), древнегреческий философ — 335, 384
- Гермес*, в греческой мифологии вестник богов, покровитель пастухов и путников, бог торговли и прибыли — 398, 401
- Геродот* (490/480 — ок. 425 до н. э.), древнегреческий историк — 122, 186, 224
- Геронтий*, митрополит Московский (1473—1489) — 127
- Гёте* Иоганн Вольфганг (1749—1832), немецкий писатель, мыслитель, естествоиспытатель — 63, 68, 103, 104, 160, 169, 171—176, 272, 309—312, 404
- Гизо* Франсуа (1787—1874), французский историк и политический деятель — 122
- Гиляров-Платонов* Никита Петрович (1824—1887), публицист, философ,

- литературный критик, издатель — 44, 45, 216—218
- Гипполит* (Ипполит), в греческой мифологии сын афинского царя Тесея и царицы амазонок Ипполиты — 10
- Гипполита* (Ипполита), в греческой мифологии царица амазонок — 10
- Гладстон* Уильям Юарт (1809—1898), английский политический деятель, неоднократно премьер-министр — 350
- Глазенап* Сергей Павлович (1848—1937), астроном — 375
- Глинка* Михаил Иванович (1804—1857), композитор — 374
- Гоголь* Николай Васильевич (1809—1852), писатель — 311, 342, 378
- Гокур*, один из недоброжелателей Жанны д'Арк — 161
- Гомер*, полулегендарный древнегреческий эпический поэт — 95, 277, 316, 320
- Гор*, в египетской мифологии бог солнца, покровитель власти фараона — 32, 73, 78, 179
- Гораций Коклес*, легендарный римский герой — 5
- Горгоны*, в греческой мифологии три сестры, чудовищные порождения морских божеств, младшая — Медуза — 315
- Горчаков* Михаил Иванович (1838—1910), протоиерей, профессор церковного (канонического) права, член Государственного совета — 399, 400
- Горький* Максим (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков) (1868—1936), писатель, литературный критик, публицист, общественный деятель — 227
- Гракхи*, братья, Тиберий (162—133 до н. э.) и Гай (153—121 до н. э.), римские народные трибуны — 203, 235
- Грановский* Тимофей Николаевич (1813—1855), историк, публицист, общественный деятель — 222, 225
- Грибоедов* Александр Сергеевич (1790/1795—1829), писатель и дипломат — 15, 122, 125, 331, 342
- Григорий Двоеслов* (Григорий I Великий) (ок. 540—604), папа римский (с 590) — 86
- Грот* Николай Яковлевич (1852—1899), философ и психолог — 336, 337
- Гус* Ян (1371—1415), чешский религиозный реформатор — 365
- Гусев* Александр Федорович (1842—1904), богослов и религиозный писатель — 321
- Густав II Адольф* (1594—1632), шведский король (с 1611) из династии Ваза, полководец — 372
- Гуттенберг* (Гутенберг) Иоганн (1394/1399 или 1406 — 1468), немецкий изобретатель книгопечатания — 336
- Давид*, царь Израильско-Иудейского государства (ок. 1004—ок. 965 до н. э.) — 21, 32, 149, 239, 240
- Даль* Владимир Иванович (1801—1872), писатель, лексикограф, этнограф — 204
- Дамаянти*, в древнеиндийском эпосе жена царя нишадхов Наля — 131
- Данилевский* Николай Яковлевич (1822—1885), естествоиспытатель, философ, социолог, культуролог — 67, 355
- Данте Алигьери* (1265—1321), итальянский поэт — 30, 36, 62, 80, 219
- Дарвин* Чарлз Роберт (1809—1882), английский естествоиспытатель — 55, 97, 164, 189, 342, 355

- Декарт Рене* (1596—1650), французский философ, математик, физик, физиолог — 67, 114, 115, 213—215, 217, 341
- Деметра*, в греческой мифологии богиня плодородия, покровительница земледелия — 168, 398, 399
- Демосфен* (ок. 384—322 до н. э.), афинский оратор — 235, 236
- Державин Гаврила Романович* (1743—1816), поэт — 312
- Дернов Александр Александрович* (1857—?), протоиерей Петропавловского собора, публицист, сотрудник церковных изданий — 228
- Диана*, в римской мифологии богиня луны, растительности, покровительница рожениц — 68—72, 74—78, 177, 313
- Диккенс Чарлз* (1812—1870), английский писатель — 342
- Диоген Лаэртий* (1-я пол. III в.), древнегреческий писатель, историк философии — 186
- Диоклетиан* (243—313/316), римский император (284—305) — 258
- Дион Кассий* (155/164 — после 229), древнегреческий историк — 186
- Дионис*, в греческой мифологии бог плодоносящих сил земли, виноградарства и виноделия — 331, 351
- Дионисий Галикарнасский* (2-я пол. I в. до н. э.), древнегреческий историк и оратор — 186
- Диор (Диодор) Сицилийский* (ок. 90—21 до н. э.), древнегреческий историк — 186
- Добролюбов Николай Александрович* (1836—1861), литературный критик и публицист — 113, 205
- Дольчи Карло* (1616—1686), итальянский живописец — 353
- Доминика*, христианская мученица — 164
- Доробец Николай Константинович*, приват-доцент Московского университета — 156, 157, 162
- Достоевская* (урожд. Сниткина) Анна Григорьевна (1846—1918), вторая жена Ф. М. Достоевского, мемуаристка — 41
- Достоевский Федор Михайлович* (1821—1881), писатель и мыслитель — 14, 36, 38, 40—42, 49, 57, 58, 72, 92, 93, 95, 98, 119, 126, 142, 152, 167—169, 184, 187—196, 241, 253, 280, 285, 300, 302, 303, 305—309, 311, 335, 338, 340, 351, 354, 364, 365, 369
- Драгомиров Михаил Иванович* (1830—1905), военный теоретик, генерал от инфантерии — 157—159, 161, 162
- Дрэпер Джон Уильям* (1811—1882), американский естествоиспытатель и историк — 378
- Думуци (Думузи)* — см. Таммуз
- Дэви Гемфри* (1778—1829), английский химик и физик — 115
- Дютшке (Дючке) Ганс*, немецкий историк, автор книги об античной мифологии — 10
- Екатерина II Великая* (1729—1796), российская императрица (с 1762) — 227
- Елена* (ок. 244—327), мать римского императора Константина I Великого — 164, 211
- Елизавета Тюрингская* (или Венгерская) (1207—1231), дочь венгерского короля Андрея II, жена тюрингского ландграфа Людвига IV, известная своей благотворительностью — 63
- Елисеев Григорий Захарович* (1821—1891), публицист, журналист — 300, 364

- Ельчанинов Александр Викторович** (1881—1934), философ, педагог, богослов, общественный и религиозный деятель — 359
- Жанна д'Арк** (ок. 1412—1431), французская национальная героиня, возглавила борьбу против англичан во времена Столетней войны — 157—162
- Жуковский Василий Андреевич** (1783—1852), поэт, переводчик, критик — 225, 375, 378
- Заозерский Николай Александрович** (1851—1919), профессор церковного (канонического) права Московской духовной академии, полемизировал с Розановым — 214—216, 218—221, 228, 230
- Заратустра** (Заратуштра) (между X и 1-й пол. VI в. до н. э.), реформатор древнеиранской религии, основатель зороастризма — 123
- Заточников Владимир**, автор публикаций по проблемам семьи и брака — 79, 80, 85
- Захария** (III в.), христианский подвижник — 86
- Захарьин Григорий Антонович** (1829—1897), врач-терапевт и общественный деятель — 108
- Зевс**, в греческой мифологии верховный бог — 5, 6, 23, 26, 27, 70, 71, 74, 77, 173, 295—297, 310, 316, 319, 320, 399
- Зотов**, костромской фабрикант — 206
- Иаким**, по христианскому преданию, отец Богоматери Марии — 355
- Иаков**, ветхозаветный патриарх — 36, 82, 88, 240, 344, 395
- Иегова** (в рус. пер. "Суций"), в Ветхом Завете имя Бога, которое он дал сам себе — 145, 185, 227, 399
- Иезекииль**, ветхозаветный пророк — 11—14, 18, 19, 22, 34, 42, 143, 237, 240, 387
- Иероним** (ок. 342/345—420), христианский теолог и писатель, переводчик на латинский язык Библии — 86
- Изабелла** (1451—1504), королева Кастилии (с 1474), ее брак с Фердинандом, будущим королем Арагона, привел к фактическому объединению Испании — 164
- Изида** (Исида) в египетской мифологии богиня плодородия, воды и ветра, охранительница умерших — 32, 44, 72, 76, 78, 177, 179, 226, 242, 349, 399—401
- Иисус Навин**, в Ветхом Завете преемник Моисея при завоевании израильтянами земель в Ханаане — 165
- Иисус Христос** — 6, 20, 41, 100, 101, 103—105, 154, 165, 168, 170—173, 175, 176, 208, 227, 236, 249, 280, 285, 286, 305, 321—327, 343—345, 356—360, 382, 383, 385—387, 393—395, 397, 398
- Илий**, в Ветхом Завете первосвященник во времена судей, основатель рода священников — илидов — 124
- Илия**, ветхозаветный пророк — 50
- Иловайский Дмитрий Иванович** (1832—1920), историк и публицист — 5, 374
- Иннокентий III** (Джованни Лотарио, граф Сеньи) (1160—1216), папа римский (с 1198) — 103
- Иннокентий Таврический** (Иван Алексеевич Борисов) (1800—1857), богослов, церковный деятель, архиепископ Херсонский и Таврический — 103
- Иноземцев Федор Иванович** (1802—1869), врач, физиолог, общественный деятель — 67

- Инфолио*, автор публикаций об итальянском искусстве — 222
- Иоанн*, в Новом Завете апостол, евангелист — 11, 12, 14, 19, 20, 49, 88, 91, 237, 238, 240, 241, 267, 288, 402
- Иоанн (Иван) III* (1440—1505), великий князь Московский (с 1462) — 374
- Иоанн (Иван) IV Грозный* (1530—1584), первый русский царь (с 1547) (судя по контексту, речь идет об Иване III, присоединившем Новгород в 1478 г.) — 127
- Иоанн Каламит* (IV—V вв.), христианский подвижник — 86
- Иоанн Мосх* (ум. 619), византийский (палестинский) монах, религиозный писатель — 86
- Иоанн Предтеча* (Иоанн Креститель), в Новом Завете пророк, предшественник Иисуса Христа — 41, 164
- Иов*, ветхозаветный праведник — 187, 218, 288, 305, 389
- Иона*, ветхозаветный пророк — 319
- Ионин Александр Семенович* (1837—1900), дипломат и писатель — 129
- Иосиф*, ветхозаветный патриарх — 22, 59, 132, 313
- Иосиф*, в Новом Завете плотник, обрученный с Богородицею Марией — 171
- Исаак*, ветхозаветный патриарх, сын Авраама — 36, 120, 138, 395
- Исаия*, ветхозаветный пророк — 42, 182, 280
- Истар* (Иштар), в ассиро-вавилонской мифологии богиня плодородия, плотской любви, войны и распри — 237
- Каблиц Иосиф (Осип) Иванович* (1848—1893), публицист — 204, 205, 207, 210, 213
- Каиафа* Иосиф, иудейский первосвященник, назначенный римлянами (18—37) — 344
- Калигула* (12—41), римский император (с 37) из династии Юлиев-Клавдиев — 344
- Кальвин Жан* (1509—1564), религиозный реформатор в Швейцарии — 169
- Камбиз*, персидский царь (530—522 до н. э.) из династии Ахеменидов — 122
- Канкрин Егор Францевич* (1774—1845), политический деятель и публицист, министр финансов (1823—1844), осуществил финансовую реформу — 100
- Каннинг Джордж* (1770—1827), английский политический деятель, премьер-министр (1827) — 203
- Канова Антонио* (1757—1822), итальянский скульптор — 222
- Кант Иммануил* (1724—1804), немецкий философ — 155, 215, 217, 218, 292, 305, 337, 339—342
- Кантемир Антиох Дмитриевич* (1708—1744), поэт и дипломат — 225, 342
- Капустин Михаил Николаевич* (1828—1899), юрист, профессор Московского университета (1852—1870) — 54
- Карамзин Николай Михайлович* (1766—1826), историк и писатель — 342, 379
- Карл VII* (1403—1461), французский король (с 1422) из династии Валуа, коронован в 1429 г. при содействии Жанны д'Арк — 162
- Карл Великий* (742—814), франкский король (с 768), император (с 800) из династии Каролингов — 160
- Карлейль Томас* (1795—1881), английский историк, философ, публицист — 214, 282
- Карпов Василий Николаевич* (1798—1867), философ, профессор

- Санкт-Петербургской духовной академии, переводчик сочинений Платона — 72, 92, 95
- Карус* Карл Густав (1789—1869), немецкий биолог, врач, психолог, натурфилософ — 44, 45
- Катилина* (ок. 108—62 до н. э.), римский политический деятель, его заговор с целью захвата власти (66—63 до н. э.) был раскрыт Цицероном — 344
- Катков* Михаил Никифорович (1818—1887), публицист и издатель — 54, 113, 176
- Катон Старший* (234—149 до н. э.), римский писатель и политический деятель, поборник староримских нравов — 76
- Кашин*, костромской фабрикант — 206
- Кеплер* Иоганн (1571—1630), немецкий астроном — 67
- Киприда* (кипророжденная), эпитет, данный Афродите Гомером как рожденной из морской пены близ острова Кипр — 55
- Кир II Великий* (ум. 530 до н. э.), первый персидский царь (с 558 до н. э.) из династии Ахеменидов — 122
- Киреев* Александр Алексеевич (1833—1910), генерал от кавалерии, публицист — 228, 321—324, 329, 405
- Киреевский* Иван Васильевич (1806—1856), философ, литературный критик, публицист, общественный деятель — 113
- Киреевский* Петр Васильевич (1808—1856), фольклорист, археограф, публицист — 113, 204
- Кирилл Туровский* (ок. 1130-х — не позднее 1182), древнерусский церковный деятель, писатель, проповедник — 281
- Кириша Данилов* (Кирилл Данилович) (XVIII в.), предполагаемый составитель первого сборника русских былин, песен, духовных стихов — 204
- Клеванов* Александр С., переводчик — 186
- Климент Александрийский* (ок. 150 — ок. 215), христианский теолог и писатель — 226, 235
- Кобден* Ричард (1804—1865), английский экономист, политический деятель, публицист, выступал за свободу торговли — 122
- Кожевников* Алексей Яковлевич (1836—1902), невропатолог, профессор Московского университета — 156
- Кок* Поль Шарль де (1793—1871), французский писатель — 333
- Коллатин* (Луций Тарквиний Коллатин), римский патриций, один из руководителей восстания против царя Тарквиния Гордого, в результате чего в 510—509 до н. э. был установлен республиканский строй, один из первых консулов — 234
- Колон (Конон) Исаврийский* (II в.), христианский подвижник — 86
- Колумб* Христофор (1451—1506), испанский мореплавател, родом из Генуи — 45, 164, 180, 379
- Кольцов* Алексей Васильевич (1809—1842), поэт — 28—30, 33, 212, 277
- Кондаков* Никодим Павлович (1844—1925), историк византийского и древнерусского искусства — 370
- Конт* Огюст (1798—1857), французский философ и социолог — 155, 302
- Конфуций* (Кун-цзы) (ок. 551—479 до н. э.), древнекитайский мыслитель — 172

- Коперник* Николай (1473—1543), польский астроном — 379
- Корзинкин*, московский миллионер — 14
- Корреджио* (Корреджо) (наст. фам. Аллегри) Антонио (ок. 1489—1534), итальянский живописец — 71, 73, 226
- Корш* Мария Валентиновна, переводчица — 10
- Костомаров* Николай Иванович (1817—1885), историк и писатель — 127
- Кочубей* Василий Леонтьевич (1640—1708), генеральный судья Левобережной Украины, казненный за обвинение Мазепы в измене — 132
- Кочубей* Матрена, дочь В. Л. Кочубея, соблазненная Мазепой — 134, 135
- Крафт-Эбинг* Рихард фон (1840—1902), австрийский врач-психиатр, сексопатолог — 232
- Кромвель* Оливер (1599—1658), деятель Английской революции, установил режим единоличной диктатуры (с 1653) — 63
- Кронос*, в греческой мифологии титан, оскопивший отца и ставший верховным богом, в народной этимологии его имя сблизается с наименованием времени — Хроносом — 320
- Крылов* Иван Андреевич (1769—1844), писатель, баснописец, издатель сатирических журналов — 342
- Ксенофонт* (ок. 430—355/354 до н. э.), древнегреческий писатель и историк — 122
- Кудрявцев* (Кудрявцев-Платонов) Виктор Дмитриевич (1828—1891), философ и богослов — 220, 222, 225
- Кювье* Жорж (1769—1832), французский зоолог — 354
- Кюннер* Рафаэль (1802—1878), немецкий филолог, специалист по античным языкам, автор учебников — 6, 21, 176
- Лабулэ* (Лабуле) Эдуард Рене де Лефевр (1811—1883), французский писатель, ученый, политический деятель — 117, 118, 123
- Лаван*, в Ветхом Завете брат Ревекки, тесть Иакова — 344
- Лавр* (II в.), христианский мученик — 381
- Ланге* Фридрих Альберт (1828—1875), немецкий философ и экономист — 213
- Ланкло* Нинон (наст. имя Анна) де (1616—1706), французская аристократка, хозяйка светского салона, была любовницей ряда известных людей своего времени — 405
- Леда*, в греческой мифологии жена спартанского царя Тиндарея, мать прекрасной Елены, которая считалась дочерью Зевса — 225, 227, 236
- Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646—1716), немецкий философ, математик, физик, лингвист — 67, 354
- Ленорман* Франсуа (1820—1883), французский историк-востоковед и археолог — 51, 236
- Леонардо да Винчи* (1452—1519), итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер — 226
- Леонтьев* Константин Николаевич (1831—1891), философ, писатель, публицист, литературный критик — 326, 327
- Лепсиус* Карл Рихард (1810—1884), немецкий египтолог — 22, 25, 26, 30, 35, 36
- Лермонтов* Михаил Юрьевич (1814—1841), поэт и прозаик — 17,

- 22, 76, 101, 102, 104, 179, 182, 183, 187, 310, 313, 314, 316—318, 320, 347, 375, 378
- Лесков* Николай Семенович (1831—1895), писатель — 309
- Лессинг* Готхольд Эфраим (1729—1781), немецкий драматург, теоретик искусства, литературный критик — 251
- Либих* Юстус (1803—1873), немецкий химик — 67
- Ливий* Тит (59 до н. э. — 17 н. э.), римский историк — 186
- Лоррен* (наст. фам. Желле) Клод (1600—1682), французский живописец и график — 188, 193
- Лот*, в Ветхом Завете племянник Авраама, спасшийся со своими дочерьми после гибели Содома — 233, 270
- Лошкарев* (Лашкарев) Петр Александрович (1833—1899), юрист, профессор церковного (канонического) права Киевской духовной академии и Киевского университета — 322
- Луи Филипп* (1773—1850), французский король (1830—1848) из младшей (Орлеанской) ветви династии Бурбонов — 122
- Лукиан* (ок. 120 — ок. 190), древнегреческий писатель-сатирик, автор сочинения "Лукий, или Осел" — 44
- Лукреция*, жена Коллатина, по преданию, покончила с собой, будучи обещана сыном римского царя Тарквиния Гордого — 234
- Льюис* Джордж Генри (1817—1878), английский писатель, философ, физиолог, социолог, критик — 79
- Лэбэрд*, вероятно, искаженное написание имени Лейард, см. Лэяр
- Лэяр* (Лейард) Остин Генри (1817—1894), английский археолог и дипломат — 237
- Людовик IX Святой* (1214—1270), французский король (с 1226) из династии Капетингов — 160
- Люк* Симеон Огюст (1833—1892), французский историк — 159
- Лютер* Мартин (1483—1546), немецкий религиозный реформатор — 113, 115, 169, 170, 203, 372
- Магна Анкирская* (Галатия), христианская подвижница — 86
- Магомет* (Мухаммед, Мохаммед) (ок. 570—632), основатель ислама, в котором почитается как пророк, глава первого теократического мусульманского государства (с 630) — 123, 132, 165
- Мазарини* Джулио (1602—1661), кардинал, первый министр Франции (с 1643), по происхождению итальянец — 229, 230
- Мазепа* Иван Степанович (1644—1709), украинский гетман (1687—1708) — 135
- Майков* Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт — 127
- Макарий* (Михаил Петрович Булгаков) (1816—1882), богослов и церковный историк, митрополит Московский и Коломенский (с 1879) — 391, 392
- Маледон*, возможно, автор "Краткой естественной истории" Манетон, на которого ссылается Диоген Лазерций — 186
- Малх* (II—III вв.), христианский подвижник — 86
- Мандельштам* Иосиф Емельянович (1846—1911), историк литературы — 281
- Маной*, в Ветхом Завете отец судьи и богатыря Самсона — 292
- Марий* Гай (ок. 157—86 до н. э.), римский полководец и консул — 8

- Мария* (Дева Мария), в Новом Завете Богоматерь, мать Иисуса Христа — 171
- Мария* (II в.), христианская подвижница, жена Колона (Конона) Исаврийского — 86
- Мария* (III в.), христианская подвижница, жена Захарии — 86
- Марк*, в Новом Завете евангелист — 102
- Марков* Евгений Львович (1835—1903), писатель, публицист, критик — 242, 243
- Маркс* Карл (1818—1883), немецкий мыслитель, основатель коммунистического учения, названного его именем — 302
- Марс*, в римской мифологии бог войны — 7, 194
- Масперо* Гастон Камиль Шарль (1846—1916), французский египтолог — 28, 29, 32—35, 42, 72, 78, 236, 347, 351
- Матфей*, в Новом Завете апостол, евангелист — 102
- Менделеев* Дмитрий Иванович (1834—1907), химик, педагог, общественный деятель — 111
- Меньшиков* Михаил Осипович (1859—1918), публицист, сотрудник газеты "Новое время" — 225—227, 231—235
- Мережковский* Дмитрий Сергеевич (1865—1941), писатель, публицист, философ, общественный деятель — 18, 68, 84, 144, 146, 152—154, 287, 331, 332, 334, 335, 360, 362—365
- Мессалина* (Валерия Месалина) (ум. 48), жена римского императора Клавдия, известная распутством, властолюбием и жестокостью — 232
- Мехди* (VIII в.), арабский халиф — 166
- Мещерский* Владимир Петрович (1839—1914), писатель, публицист, издатель — 229, 248
- Милитта*, греческая форма имени западносемитской богини Ваалит ("госпожа", "владычица") — 177
- Милль* Джон Стюарт (1806—1873), английский философ, экономист, общественный деятель — 342
- Мильтиад* (ок. 550—489 до н. э.), афинский полководец — 153
- Мильтон* Джон (1608—1674), английский поэт и политический деятель — 104
- Мирабо* Оноре Габриель Рикети (1749—1791), французский политический деятель, депутат Генеральных штатов (1789), где стал известен как обличитель абсолютизма — 203
- Мирон* (сер. V в. до н. э.), древнегреческий скульптор — 193
- Мирянин*, псевдоним автора статьи в еженедельнике "Русский труд", критиковавшей взгляды Розанова по вопросам семьи и брака — 79, 89, 90
- Митра*, в древнеиранской мифологии бог солнца, дневного света, мира между людьми, его культ был распространен во всей Римской империи — 237, 302
- Михайловский* Николай Константинович (1842—1904), социолог, публицист, литературный критик, идеолог народничества — 228—231
- Михин*, костромской фабрикант — 206
- Мищенко* Федор Герасимович (1848—1906), филолог и переводчик — 186
- Модестов* Василий Иванович (1839—1907), историк и филолог — 175, 223

- Моисей*, в Ветхом Завете предводитель израильтян, основатель иудаизма, пророк — 6, 22, 32, 80, 148, 151, 164, 165, 183, 237, 239, 266, 291, 292, 324, 325, 350, 358, 399, 400
- Моисей* (XV в.), новгородский архиепископ — 127
- Молешотт* Якоб (1822—1893), немецкий физиолог и философ — 213
- Морелли* Доменико (1826—1901), итальянский живописец и график — 267, 270
- Моцарт* Вольфганг Амадей (1756—1791), австрийский композитор — 160
- Навуходносор II*, вавилонский царь (605—562 до н. э.) — 236
- Надсон* Семен Яковлевич (1862—1887), поэт — 255
- Наполеон I* (Наполеон Бонапарт) (1769—1821), французский император (1804—1814, март—июнь 1815), основатель династии Бонапартов — 157, 185, 233, 238, 241, 350
- Наполеон III* (Луи Наполеон Бонапарт) (1808—1873), французский император (1852—1870) — 117
- Нарцисс*, в греческой мифологии прекрасный юноша, влюбившийся в собственное отражение в воде — 77
- Нейт*, в египетской мифологии богиня войны и охоты, воды и моря — 44, 45, 72—76
- Некрасов* Николай Алексеевич (1821—1877/1878), поэт, прозаик, издатель — 369
- Нерон* (37—68), римский император (с 54) из династии Юлиев-Клавдиев — 238, 239, 241
- Нестеров* Михаил Васильевич (1862—1942), живописец — 375
- Нестор* (XI—нач. XII в.), древнерусский летописец, монах Киево-Печерского монастыря — 290
- Никанор* (Александр Иванович Бровкович) (1827—1890/1891), архиепископ Херсонский и Одесский, богослов, религиозный писатель — 84, 86
- Никитин* Петр Васильевич (1849—1916), филолог и историк античности — 186
- Никодим*, в Новом Завете фарисей, член синедриона, интересовался учением Христа, участвовал в его погребении после распятия — 323, 356
- Николай I* (ум. 867), папа римский (с 858) — 357
- Никон* (Никита Минов) (1605—1681), патриарх Московский и всея Руси (с 1652), низложен на Большом церковном соборе 1666—1667 гг. — 283
- Нин*, легендарный основатель Ассирийского царства — 236
- Ниобея*, в греческой мифологии жена фиванского царя Амфиона, окаменевшая от горя после убийства Аполлоном и Артемидой всех ее детей — 331
- Ницше* Фридрих (1844—1900), немецкий философ — 152, 331, 338, 340—343, 355
- Новгородцев* Павел Иванович (1866—1924), правовед, философ, социолог — 300, 309
- Ной*, ветхозаветный праведник — 395
- Нут*, в египетской мифологии богиня неба — 73
- Нуфь*, христианский подвижник — 86
- Ньютон* Исаак (1643—1727), английский математик, механик, астроном, физик, создатель классической механики — 67, 215, 216, 342, 354

- Озирис** (Осирис), в египетской мифологии бог умирающей и воскресающей природы, покровитель и судья мертвых — 28, 32, 87, 294, 316, 349, 350
- Олег** (ум. 912), древнерусский князь, правивший в Новгороде (с 879), в Киеве (с 882) — 161, 195
- Омар I** (ок. 591/581 — 644), арабский халиф (с 634), один из ближайших сподвижников Мухаммеда — 165
- Островский Александр Николаевич** (1823—1886), драматург — 34, 375
- Остроградский Михаил Васильевич** (1801—1861/1862), математик и механик — 108
- Оффенбах Жак** (наст. имя и фам. Якоб Эбершт) (1819—1880), французский композитор — 247
- Павел**, в Новом Завете апостол — 329, 395—397
- Павзаний** (Павсаний) (II в.), древнегреческий писатель, автор сочинения "Описание Эллады" — 186
- Павлов Алексей Степанович** (1832—1898), богослов, профессор церковного (канонического) права Московского университета — 322
- Паллада** — см. Афина
- Парацельс** (наст. имя и фам. Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм) (1493—1541), врач и естествоиспытатель, по происхождению швейцарец — 115
- Паскаль Блез** (1623—1662), французский математик, физик, философ, писатель — 67
- Пастер Луи** (1822—1895), французский микробиолог — 301
- Пахомий Великий** (ум. 346), христианский подвижник, основатель монастыря в Египте — 86
- Пелагий Лаодикийский** (II—III вв.), христианский подвижник — 86
- Пенелопа**, в греческой мифологии жена царя острова Итака Одиссея — 95, 131, 226
- Пентефрий** (Потифар), в Ветхом Завете начальник телехранителей фараона, которому был продан Иосиф — 132
- Переферкович Наум Абрамович** (1871—1940), филолог, переводчик, комментатор Талмуда — 12, 254
- Перикл** (ок. 490—429 до н. э.), афинский стратег (главнокомандующий, политический деятель) — 122
- Периклемен**, античный скульптор — 235
- Перцов Петр Петрович** (1868—1947), публицист, литературный критик, издатель — 79
- Петр I Великий** (1672—1725), русский царь (с 1682, правил с 1689), первый российский император (с 1721) — 63, 80, 225, 235, 282, 295, 346, 381
- Петрарка Франческо** (1304—1374), итальянский поэт — 62, 63
- Петров Григорий Спиридонович** (1868, по др. данным 1866—1925), священник, публицист, депутат II Государственной думы, в 1908 г. был лишен сана — 153, 154
- Пизистрат** (Писистрат), афинский тиран (правитель) (560—527 до н. э., с перерывами), реформатор — 277
- Пилат** (Понтий Пилат), римский наместник Иудеи (26—36), согласно Новому Завету, при нем был распят Иисус Христос — 101—104, 344, 392, 393
- Пимен Великий** (ум. 450), христианский подвижник — 86
- Пирогов Николай Иванович** (1810—1881), хирург и анатом,

- педагог, общественный деятель — 67, 108
- Писарев* Дмитрий Иванович (1840—1868), публицист, литературный критик, ведущий сотрудник журнала "Русское слово" — 113, 378
- Пифагор* (VI в. до н. э.), древнегреческий философ, религиозный реформатор, математик — 169, 195
- Платон* (428/427—348/347 до н. э.), древнегреческий философ — 22, 24—28, 32, 34, 42, 44, 46, 64, 72, 80, 92, 93, 95—97, 99, 138, 196, 197, 202, 235, 236, 249, 401
- Плещеев* Алексей Николаевич (1825—1893), поэт — 280
- Плиний Старший* (23/24—79), римский писатель и ученый — 186
- Плутарх* (ок. 45—ок. 127), древнегреческий писатель и историк — 226, 235
- Победоносцев* Константин Петрович (1827—1907), юрист, обер-прокурор Синода (1880—1905), член Государственного совета — 44
- Погодин* Михаил Петрович (1800—1875), историк, писатель, издатель — 204
- Покровская*, врач — 244, 245
- Полонский* Яков Петрович (1819—1898), поэт — 369
- Полотебнова А.*, деятельница народного просвещения — 329, 330
- Помпей Секст* (ок. 75—35 до н. э.), римский полководец — 151
- Помяловский* Николай Герасимович (1835—1863), писатель — 219
- Пракситель* (ок. 390—ок. 330 до н. э.), древнегреческий скульптор — 69, 70, 77
- Пров* (ум. 304), христианский мученик — 164
- Прокопий Устюжанин* (ум. 1303), юридивый, считался чудотворцем — 18
- Прометей*, в греческой мифологии титан, похитивший у богов огонь для людей — 10, 44
- Пушкин* Александр Сергеевич (1799—1837), поэт и прозаик — 30, 55, 61—63, 124, 131, 132, 184, 225, 374, 379, 385
- Пушбышевский* Станислав (1868—1927), польский писатель — 350—352
- Ра*, в египетской мифологии бог солнца — 177
- Рагозина* Зинаида Александровна, автор книг по истории Древнего Востока — 236, 237
- Рафаэль Санти* (1483—1520), итальянский живописец и архитектор — 115, 160, 219, 226, 271
- Рачинский* Сергей Александрович (1833—1902), ботаник, деятель народного просвещения — 52, 54, 56—58, 60
- Рашель* (наст. имя и фам. Элиза Рашель Феликс) (1821—1858), французская актриса — 287
- Ревекка*, в Ветхом Завете жена Исаака — 50, 138
- Рем*, по римскому преданию, брат-близнец Ромула, вместе с ним основавший Рим — 181, 194
- Рембрандт* Харменс ван Рейн (1606—1669), голландский живописец, рисовальщик, офортист — 17
- Ренан* Жозеф Эрнест (1823—1892), французский филолог, историк-востоковед, писатель — 305
- Реньо де Шартр* (XV в.), архиепископ Реймский — 162
- Репин* Илья Ефимович (1844—1930), живописец — 375

- Рет*, египтолог (возможно, речь идет о филологе Зете) — 72
- Рич* Клодий Джеймс (1787—1820), английский археолог — 237
- Ришелье* Арман Жан дю Плесси (1585—1642), кардинал, глава королевского совета Франции (с 1624) — 229, 230
- Розанов* Василий Васильевич (1856—1919) — 81, 84, 109, 219, 228, 230, 231, 264, 332, 389
- Ромул* (VIII в. до н. э.), легендарный основатель Рима и первый его царь — 181, 194, 262, 297
- Руژه* Эмманюэль (1811—1872), французский египтолог — 35, 36
- Руژه де Лиль* Клод Жозеф (1760—1836), французский военный инженер, поэт, композитор, автор революционного гимна "Марсельеза" (1792) — 229—231
- Рукович*, редактор журнала "Живая жизнь" — 359
- Руссо* Жан Жак (1712—1778), французский писатель и философ — 115, 132, 386
- Руфин* Тираний (Руфин из Аквилеи) (345—410), христианский теолог, писатель, переводчик — 86
- Руфь*, в Ветхом Завете прабабка царя Давида — 50, 75, 76, 251
- Рцы*, псевдоним Ивана Федоровича Романова (1861—1913), писателя, публициста, друга Розанова — 79, 246—248
- Рыбников* Павел Николаевич (1831—1885), этнограф и фольклорист — 204
- Рюрик* (ум. ок. 879), по летописному преданию, предводитель варяжского военного отряда, обосновавшегося в Новгороде — 65, 66, 375
- Савонарола* Джироламо (1452—1498), настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции, выступал против правления Медичи, проповедовал аскетизм — 104, 365
- Савская царица*, в Ветхом Завете правительница Савского (Сабейского) государства (Аравия), посетившая царя Соломона — 14
- Сад* Донасьен Альфонс Франсуа де (1740—1814), маркиз, французский писатель — 232
- Салисбери* (Солсбери) Роберт Артур Толбот (1830—1903), английский политический деятель, неоднократно премьер-министр — 235
- Салтыков-Щедрин* Михаил Евграфович (наст. фам. Салтыков, псевд. Н. Щедрин) (1826—1889), писатель и публицист — 142, 342
- Самуил*, в Ветхом Завете пророк и последний из судей — 124
- Сарра*, в Ветхом Завете жена Авраама — 138, 150
- Сахаров* Иван Петрович (1807—1863), фольклорист, этнограф, палеограф — 204
- Свенцицкий* Валентин Павлович (1879, по др. данным 1882—1931), религиозный писатель и публицист — 359, 362—365
- Светоний* Гай Транквилл (ок. 70—ок. 140), римский историк и писатель — 232
- Себастиан* (Себастьян) (ум. 303/304), христианский мученик — 331, 332
- Селиванов* Кондратий Иванович (ум. 1832), крестьянин, основатель секты скопцов — 90, 94, 352
- Семенов* М. Н., переводчик — 350
- Семирамида* (Шаммурамат), царица Ассирии (кон. IX в. до н. э.) — 236

- Сенека* Луций Анней (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.), римский политический деятель, философ, писатель — 154
- Серафим* (Яков Мещеряков) (1861—?), епископ Острожский, религиозный писатель — 50, 51
- Сервет* Мигель (1509/1511—1553), испанский врач и мыслитель — 365
- Сергий*, новгородский архиепископ (1479) — 127
- Сергий Радонежский* (Варфоломей Кириллович) (1314/1321—1392), православный подвижник, основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря — 172
- Серенький*, псевдоним Иосифа Иосифовича Кольшко (1862—1920), публициста, полемизировавшего с Розановым по вопросам семьи и брака — 79
- Сет*, в египетской мифологии бог пустыни и чужеземных стран — 72, 87
- Сети I*, египетский фараон XIX династии (1337—1317 до н. э.) — 31
- Силены*, в греческой мифологии демоны плодородия, составляющие свиту Диониса — 335
- Симон*, в Новом Завете первоначальное имя апостола Петра — 356, 357
- Симон* (Симеон) *Столпник* (356/390—459), христианский отшельник, аскет, сидевший на столпе (колонне) около 40 лет — 86
- Сиф*, в Ветхом Завете сын Адама и Евы — 295, 296
- Скальковский* Константин Аполлонович (1843—1906), административный деятель, писатель, публицист, горный инженер — 228
- Скублинская* Марианна, польская акушерка, убивавшая новорожденных детей (преступление раскрыто в 1890 г.) — 263
- Слепцовский* (вероятно, Сменцовский) Михаил Николаевич (1870—?), богослов и религиозный писатель — 79
- Снегирев* Иван Михайлович (1792/1793—1868), этнограф, фольклорист, археолог — 204
- Соколов* В., историк, автор работ по религиозно-ритуальным проблемам — 170
- Сократ* (ок. 470—399 до н. э.), древнегреческий философ — 22, 24—26, 113, 154, 252, 344
- Соловьев* Владимир Сергеевич (1853—1900), философ, поэт, публицист — 99—102, 104, 105, 177, 342, 360, 366, 391, 405
- Соловьев* Сергей Михайлович (1820—1879), историк — 54, 106, 342, 379
- Соломон*, царь Израильско-Иудейского государства (ок. 965—ок. 926 до н. э.) — 14, 131, 146, 218, 237, 326
- Солон* (640/635—ок. 559 до н. э.), афинский архонт (высшее должностное лицо), реформатор — 235
- Соротинин* (Сиротинин) Василий Николаевич (1855, по др. данным 1856—1934), врач, профессор частной патологии и терапии Военно-медицинской академии в Петербурге — 363
- Софокл* (ок. 496—406 до н. э.), древнегреческий поэт-драматург — 287—290, 293, 294, 297
- Спенсер* Герберт (1820—1903), английский философ и социолог — 97, 235
- Сперанский* Михаил Михайлович (1772, по др. данным 1771—1839), политический мыслитель, ближайший советник Александра I (1808—1810), генерал-губернатор Сибири (1819—1821), с 1826 г. руководил

- работой по законодательству — 203
- Спиноза* Бенедикт (Барух) (1632—1677), голландский философ — 215
- Станкевич* Николай Владимирович (1813—1840), философ, поэт, общественный деятель — 222
- Степанов* Н. П., фольклорист — 203, 210—212
- Стефан Пермский* (ок. 1345—1396), миссионер-просветитель в землях коми, первый епископ новой Пермской епархии — 366, 367, 370, 373, 374, 376, 378, 380, 381
- Страбон* (64/63 до н. э. — 23/24 н. э.), древнегреческий географ и историк — 186
- Страхов* Николай Николаевич (1828—1896), философ, публицист, литературный критик — 21, 43, 110, 156, 157, 161, 162, 213
- Суворин* Алексей Сергеевич (1834—1912), журналист и издатель — 65
- Суворов* Александр Васильевич (1730—1800), полководец, генералиссимус (1799) — 211
- Суворов* Николай Семенович (1848—?), автор книг по церковному (каноническому) праву — 322
- Сулла* (138—78 до н. э.), римский полководец, консул (88 до н. э.), диктатор (82—79 до н. э.) — 8
- Сумцов* Николай Федорович (1854—1922), этнограф и фольклорист — 283
- Сусанна*, в Ветхом Завете женщина, спасенная пророком Даниилом от несправедливого обвинения — 270
- Сципионы*, известные римские полководцы — 122, 344
- Сытин* Иван Дмитриевич (1851—1934), издатель — 367
- Тамерлан* (Тимур) (1336—1405), среднеазиатский эмир (с 1370), полководец — 46, 185
- Таммуз* (Думузи), в древневосточных религиях умирающий и воскресающий бог плодородия, скотоводства, соответствует финикийскому Адонису — 237, 298
- Тарновский* Вениамин Михайлович (1837—1906), венеролог и сексолог — 138, 232, 311
- Татиан* (ок. 125—ок. 175), христианский апологет, писатель, философ — 235
- Тацит* (ок. 58—ок. 117), римский историк — 232
- Тезей* (Тесей), легендарный афинский царь, согласно греческим преданиям, совершил множество подвигов — 9, 10, 287—291, 294, 296, 297
- Тернавцев* Валентин Александрович (1866—1940), богослов, чиновник особых поручений при обер-прокуроре Синода, религиозный писатель — 360
- Тертуллиан* Квинт Септимий Флоренс (ок. 160—после 220), христианский теолог и писатель — 41, 236
- Тиверий* (Тиберий) (42 до н. э. — 37 н. э.), римский император (с 14) из династии Юлиев-Клавдиев — 344
- Тит* (39—81), римский император (с 79) из династии Флавиев — 151, 185, 238, 239
- Тициан* (Тициано Вечеллио) (ок. 1476/1477 или 1489/1490—1576), итальянский живописец — 226
- Товия*, в Ветхом Завете центральный персонаж книги Товита — 251
- Толстая* (урожд. Берс) Софья Андреевна (1844—1919), жена Л. Н. Толстого — 242
- Толстой* Алексей Константинович (1817—1875), писатель — 102, 104, 309

- Толстой Дмитрий Андреевич** (1823—1889), политический деятель и историк, обер-прокурор Синода (1865, по др. данным 1864—1880), министр народного просвещения (1866, по др. данным 1865—1880), министр внутренних дел (с 1882) — 176, 221, 225
- Толстой Лев Николаевич** (1828—1910), писатель и мыслитель — 53, 80, 85—87, 103, 142, 152—154, 157, 326, 331, 338, 340, 342, 346, 369, 370, 380, 385, 401
- Топелиус Цакарнас** (1818—1898), финский писатель — 331
- Тот**, в египетской мифологии бог луны, мудрости, счета и письма, покровитель наук, священных книг и колдовства — 25, 26, 33, 35
- Троцкий Матвей Михайлович** (1835—1899), психолог и философ — 342
- Трубецкой Евгений Николаевич** (1863—1920), философ, правовед, публицист, общественный деятель — 309
- Трубецкой Сергей Николаевич** (1862—1905), философ, публицист, общественный деятель — 175, 309
- Тур Евгения** (наст. имя и фам. Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир, урожд. Сухово-Кобылина) (1815—1892), писательница — 372
- Тургенев Иван Сергеевич** (1818—1883), писатель — 53, 126, 309, 369, 378
- У-ский А.** — см. Устьянский А. П.
- Уваров Сергей Семенович** (1786—1855), политический деятель и мыслитель, министр народного просвещения (1833—1849) — 222
- Улисс**, латинизированное Одиссей, в греческой мифологии царь острова Итака, отличавшийся хитроумием и отвагой — 95
- Уран**, в греческой мифологии бог неба, был свергнут сыном Кроносом — 320
- Устьянский Александр Петрович** (1854/1855—1922), протоиерей из Новгорода, друг Розанова и его многолетний корреспондент — 79, 81, 82, 85, 90, 99, 248
- Фалес** (ок. 625—ок. 547 до н. э.), древнегреческий философ — 340
- Фальеро Марино** (1274—1355), венецианский дож (1354), пытался выступить с помощью народа против власти патрициев, за что был казнен — 176
- Фальконет (Фальконе) Этьен Морис** (1716—1791), французский скульптор — 346
- Фарадей Майкл** (1791—1867), английский физик — 115
- Федор Кузьмич** (ум. 1864), старец, отшельник, живший с 1837 г. в Томской губернии, согласно неподтвержденной легенде, под этим именем скрывался Александр I — 100
- Федра**, в греческой мифологии дочь критского царя Миноса, жена Тесея — 10
- Фемистокл** (ок. 525—ок. 460 до н. э.), афинский полководец — 153, 263
- Феогния** (II в.), христианская подвижница, жена Анастасия — 86
- Феодор** (IV в.), христианский подвижник, отшельник — 86
- Феодорит (Теодорет)** (393—460), христианский церковный деятель, епископ Кирский, богослов, писатель — 86
- Феофил** (ум. 1485), новгородский архиепископ (в 1470-х гг.) — 127
- Фердинанд II Арагонский** (1452—1516), король Арагона (с 1479), первый

- король объединенной Испании — 164
- Фидий* (нач. V в. — ок. 432/431 до н. э.), древнегреческий скульптор — 69, 143, 252
- Филарет* (Василий Михайлович Дроздов) (1783, по др. данным 1782—1867), митрополит Московский (с 1826), богослов, философ, историк, проповедник — 227
- Филипп II Август* (1165—1223), французский король (с 1180) из династии Капетингов — 103
- Флор* (II в.), христианский мученик, брат Лавра — 381
- Фон-Визин* (Фонвизин) Денис Иванович (1744/1745—1792), писатель и социально-политический мыслитель — 342
- Форель Август* (Огюст) (1848—1931), швейцарский невропатолог, психиатр, энтомолог, общественный деятель — 400, 401, 403—405
- Форель* (урожд. Штейнгель) Эмма, жена А. Фореля — 401
- Фотий* (ок. 810/820—890-е гг.), патриарх Константинопольский (858—867, 877/878—886) — 357
- Фохт* (Фогт) Карл (1817—1895), немецкий философ и естествоиспытатель — 220
- Франклин* Бенджамин (1706—1790), американский политический деятель и ученый — 63
- Франс* Анатоль (наст. имя и фам. Анатоль Франсуа Тибо) (1844—1924), французский писатель — 309
- Франциск Ассизский* (наст. имя и фам. Джованни Бернардоне) (1181/1182—1226), итальянский проповедник, религиозный поэт, основатель ордена францисканцев — 82, 87, 89, 369
- Фридрих II Штауфен* (1194—1250), германский король (с 1212) и император Священной Римской империи, король Сицилии (с 1197) — 279
- Фрина* (IV в. до н. э.), древнегреческая гетера — 251
- Фукидид* (ок. 460—400 до н. э.), древнегреческий историк — 186, 224
- Хадиджа* (ум. 620), первая жена Мухаммеда — 132
- Холин*, учащийся гимназии, где преподавал Розанов — 109
- Хомяков* Алексей Степанович (1804—1860), философ, писатель, публицист, общественный деятель — 113
- Хрисанф* (Владимир Николаевич Ретивцев) (1832—1883), преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, религиозный писатель, историк религии — 51, 87, 193
- Цезарь* Гай Юлий (102/100—44 до н. э.), римский диктатор, полководец, писатель — 8, 162
- Цельз* (Цельс) Авл Корнелий (I в. до н. э.), римский писатель, автор энциклопедического сочинения "Искусства" — 186
- Церера*, в римской мифологии богиня плодородия, покровительница земледелия, соответствует греческой Деметре — 254, 260—263, 398, 399
- Цецилия* (III в.), христианская подвижница, жена Валериана — 86
- Цицерон* Марк Туллий (106—43 до н. э.), римский политический деятель, оратор, писатель — 64, 143
- Чайковский* Петр Ильич (1840—1893), композитор — 280

- Челышев** (Челышов) Михаил Дмитриевич (1866—?), депутат III Государственной думы — 370, 372
- Череванский** Владимир Павлович (1836—?), историк, бывший товарищ государственного контролера, член Государственного совета — 163, 166
- Чехов** Антон Павлович (1860—1904), писатель — 53
- Чичерин** Борис Николаевич (1828—1904), философ, историк, правовед, публицист, общественный деятель — 53, 54
- Шамполион** (Шампольон) Жан Франсуа (1790—1832), французский филолог, археолог, египтолог — 72
- Шарапов** Сергей Федорович (1855—1911), экономист, публицист, издатель — 79, 92, 95, 228
- Шаховской** Николай Владимирович (1856—1906), публицист — 44, 45, 216
- Швидченко** Евфимий Созонтович, составитель хрестоматии о святочных праздниках — 280, 283
- Шейн** Павел Васильевич (1826—1900), фольклорист и этнограф — 204
- Шекспир** Уильям (1564—1616), английский драматург и поэт — 13, 14, 103, 104, 160, 233, 234, 251, 269, 273, 291, 294, 378, 379
- Шелгунов** Николай Васильевич (1824—1891), публицист, литературный критик, общественный деятель — 229
- Шестов** Лев (псевд. Льва Исааковича Шварцмана) (1866—1938), философ и литературовед — 336, 338—341, 343
- Шиллер** Иоганн Фридрих (1759—1805), немецкий поэт, драматург, теоретик искусства — 72, 103, 104, 219, 261, 404
- Шлейден** Маттиас Якоб (1804—1881), немецкий ботаник — 55
- Шлоссер** Фридрих Кристоф (1776—1861), немецкий историк — 342, 389
- Шопенгауэр** Артур (1788—1860), немецкий философ — 337, 341, 343
- Шперк** Федор Эдуардович (1870, по др. данным 1872—1897), философ, поэт, критик, друг Розанова — 43
- Штейн** Генрих (1757—1831), глава прусского правительства (1807—1808), осуществил ряд преобразований — 203
- Штраус** Давид Фридрих (1808—1874), немецкий теолог и философ — 305
- Щедрин** — см. Салтыков-Щедрин М. Е.
- Эберс** Георг (1837—1898), немецкий египтолог и писатель — 345, 347
- Эвклид** (Евклид) (III в. до н. э.), древнегреческий математик — 186
- Эврипид** (Еврипид) (ок. 480—406 до н. э.), древнегреческий поэт-драматург — 68
- Эдип**, в греческой мифологии сын царя Фив, по неведению убивший отца и женившийся на матери; узнав правду, ослепил себя, персонаж трагедии Софокла — 287—291, 293—296, 299
- Эдиссон** (Эдисон) Томас Алва (1847—1931), американский изобретатель и предприниматель — 115
- Эйлер** Леонард (1707—1783), математик, механик, физик, астроном, по происхождению швейцарец — 67
- Эккерман** Иоганн Петер (1792—1854), личный секретарь И. В. Гёте — 172
- Энгельс** Фридрих (1820—1895), немецкий мыслитель и политический деятель, соратник К. Маркса — 302

- Эндимион*, в греческой мифологии юноша, которого Зевс обрек на вечный сон, тем самым сохранив ему вечную молодость — 313, 316
- Эос*, в греческой мифологии богиня утренней зари — 195
- Эпиметей*, в греческой мифологии титан, брат Прометея — 44
- Эрн* Владимир Францевич (1882—1917), философ, историк философии, публицист — 359—362
- Ювенал* Децим Юний (ок. 60—ок. 127), римский поэт-сатирик — 345
- Юлиан* (III в.), христианский подвижник — 86
- Юпитер*, в римской мифологии верховный бог — 194, 281, 297
- Юстин Философ* (ок. 100—ок. 165), христианский апологет, мученик — 77, 97, 247
- Юстиниан I* (482/483—565), византийский император (с 527) — 350
- Янь* (VII в.), китайская принцесса — 284
- Ярославна* (Ефросинья Ярославна) (2-я пол. XII в.), жена князя Новгород-Северского Игоря Святославича, дочь князя Галицкого Ярослава Владимировича Осмомысла — 227, 379

Составитель *В. М. Персонов*

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие</i>	5
О мифологии	9
О древнеегипетских обелисках	10
О древнеегипетской красоте	15
Об апокалипсическом числе	47
Прорицатель Валаам	50
Культура и деревня	52
О поклонении зерну	65
Неверие XIX века	67
Афродита-Диана	68
О "двух точках зрения"	79
Письмо в редакцию газеты "Новое Время"	99
К лекции г. Вл. Соловьева об Антихристе	100
Возрасты и школа	105
Сказочное царство	117
Восток	125
Возрасты любви	130
Заметки на полях непрочитанной книги	136
Маленькая историческая поправка	144
Серия недоразумений	152
Чудесное в жизни и истории	155
Мусульманский мир	163
Тема нашего времени	167
Эллинизм	171
Из восточных мотивов	177
О переводах древних писателей (Письмо в редакцию)	186
"Демон" Лермонтова в окружении древних мифов	187
Об Атлантиде	196
Недогадливость	202
Первые шаги отечествоведения	203
Пол и душа	213
О классическом и нашем мире	221
Об отрицании эллинизма	225
Критика г. Михайловского	228

В чем разница древнего и нового миров	231
История Халдеи	236
Звериное число	237
Случай любви	242
Факты в безмолвии	244
Замечательная статья	246
Дары Цереры (Шехины)	254
Тайна стихий	264
Наблюдения, извлеченные из чтения "Шахразады"	267
Из истории и поэзии елки	279
Что сказал Тезею Эдип? (Тайна Сфинкса)	287
Натурализм и идеализм	299
Тут есть некая тайна	309
По поводу одного стихотворения Лермонтова	313
Волнующие вопросы	321
Майские союзы	329
Нечто о прекрасной природе	331
Новые вкусы в философии	336
Праздник и человек	343
Египет	345
Станислав Пшибышевский. Заупокойная месса	350
Возрождение	355
Вечная тема	359
Еще о вечной теме	362
Как святой Стефан порубил "Прокудливую березу" и как началось на Руси пьянство	366
Религиозная мистерия смерти и воскресения, греха и очищения .	382
Язычество в христианстве	389
Афродита и Гермес	398
КОММЕНТАРИИ	406
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	439

Василий Васильевич Розанов

Собрание сочинений

ВО ДВОРЕ ЯЗЫЧНИКОВ

**Заведующий редакцией *М. М. Белая*
Ведущий редактор *П. П. Апрышко*
Редакторы *Т. И. Аверьянова* и *Ж. П. Крючкова*
Технический редактор *Т. А. Новикова*
Корректор *Е. А. Рыбина***

ЛР № 010273 от 10.12.97.

Сдано в набор 17.11.98. Подписано в печать 06.09.99.

Формат 60 × 84¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура "Таймс".

Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,97. Уч.-изд. л. 31,70.

Тираж 5000 экз. Заказ № 4477.

Электронный оригинал-макет подготовлен в издательстве.

Издательство "Республика"

**Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.**

125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Полиграфическая фирма "Красный пролетарий".

103473, Москва, Краснопролетарская, 16.